литературное
НОВОЕ
обозрение

Содержание № 178 [6’2022]

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Специальный выпуск

К ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

7 *Ирина Паперно*. «Это даже не блокада и не осада. Это простой, обыденный советский день»: послевоенные записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория

АНКЕТА

29 Гуманитарная наука после 24 февраля (*Сергей Зенкин*, *Сергей Ушакин*, *Александр Семенов*, *Николай Плотников*, *Катриона Келли*, *Елена Чхаидзе*, *Ханс Ульрих Гумбрехт*, *Эллен Руттен*, *Кевин М.Ф. Платт*, *Марк Липовецкий*, *Евгений Добренко*, *Риккардо Николози*, *Алейда Ассман*, *Михаил Ямпольский*) (*пер. с англ.* Даниила Аронсона)

НАУКИ О ТЕКСТЕ И НАУКИ О ДЕЙСТВИИ

64 Круглый стол
Модератор: *Сергей Зенкин*. Участники: *Александр Филиппов*, *Олег Хархордин*, *Михаил Маяцкий*, *Павел Арсеньев*

IN MEMORIAM

98 *Олег Хархордин*. На смерть Латура

ЭВОЛЮЦИЯ ДИСЦИПЛИН В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ И ПУБЛИЧНОМ ПОЛЕ

104 *Евгений Добренко*. Читая сталинизм: сталинская культура как исследовательское поле

125 *Елена Трубина*. Тридцать лет академической урбанистики в постсоветской России: между фундаментальным и прикладным

146 *Элла Россман*. От социализма к социальным медиа: женская и гендерная история в постсоветской России (*авториз. пер. с англ.* Нины Ставрогиной)

166 *Николай Плотников*. От «социализма с человеческим лицом» к «национальному социализму». Дискурсы справедливости в постсоветской России

189 *Татьяна Венедиктова*. Прагматический поворот — со скрипом

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ КАК ОБЪЕКТ (ПОСТ)КОЛОНИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

201 *Кевин М.Ф. Платт*. Постсоциалистические постколонии и руины глобальной истории (*пер. с англ.* Ксении Гусаровой)

220 *Марина Могильнер*. Раса в России как фигура умолчания

235 *Екатерина Болтунова*. Региональная история России: исследовательское поле и архивная практика (1990-е — начало 2020-х годов)

251 *Илья Калинин*, *Клавдия Смола*. Империя постколониальных ситуаций: логики (холодной) войны

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СРЕДИ ДРУГИХ ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

273 *Сергей Зенкин*. Семиотика культуры и интеллектуальная история

281 *Тимур Атнашев, Михаил Велижев.* Языковой реализм и два вида интеллектуальной истории

СОВЕТСКИЙ МОДЕРНИЗМ: МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ

302 *Надежда Плунгян.* Советский модернизм 1920—1950-х: опыт научно-художественного осмысления проблемы в эпоху 2010-х годов

320 *Ольга Казакова.* О проблемах и перспективах изучения архитектуры советского модернизма в постколониальную эпоху

335 *Лёля Кантор-Казовская.* Взгляд на Сретенский бульвар из Восточной Европы и децентрализация нарратива о международном модернизме

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА: СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРИИ МОДЫ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ

348 Круглый стол журнала «Теория моды»
Модератор: *Людмила Алябьева*. Участники: *Ольга Вайнштейн, Ксения Гусарова, Ирина Сироткина, Ольга Аннанурова*

БИБЛИОГРАФИЯ

368 *Татьяна Венедиктова.* Европейские сливки с американской культурной критики (Рец. на кн.: Culture²: Theorizing Theory for the Twenty-First Century, Vol.1. Bielefeld, 2022)

378 *Евгений Пономарев.* Эмигрантика за тридцать лет: от возникновения до расцвета

397 *Евгений Савицкий.* Глобализация и неравенство в современном искусствоведении (Рец. на кн.: Elkins J. The End of Diversity in Art Historical Writing: North Atlantic Art History and Its Alternatives. Berlin; Boston, 2021)

404 *Артем Зубов.* «Nobrow» — гармония эстетики и коммерции? (Рец. на кн.: Swirski P. American Crime Fiction: A Cultural History of Nobrow Literature as Art. L., 2016; When Highbrow Meets Lowbrow: Popular Culture and the Rise of Nobrow. L., 2017; Ngai S. Theory of the Gimmick: Aesthetic Judgment and Capitalist Form. L.; Cambridge, Mass., 2020)

АНКЕТА

416 Науки о литературе и/или о культуре: немецкий кейс (*Лариса Полубояринова*, *Вера Котелевская*, *Ульрих Фрёшле*, *Альбрехт Кошорке*, *Дорис Бахманн-Медик*) (*составитель и пер. с нем.* Сергей Ташкенов)

435 Наши авторы

437 Summary

442 Table of Contents

445 Our Authors

Редакция

Ирина Прохорова (основатель и учредитель журнала) *канд. филол. наук*

Татьяна Вайзер (шеф-редактор) *канд. филос. наук; PhD*

Даниил Аронсон (теория) *канд. филос. наук*

Ольга Аннанурова (история) *магистр культурологии*

Александр Скидан (практика)

Абрам Рейтблат (библиография) *канд. пед. наук*

Владислав Третьяков (библиография) *канд. филол. наук*

Надежда Крылова (хроника научной жизни) *магистр культурологии*

Редколлегия

Константин Азадовский
кандидат филологических наук

Хенрик Баран
PhD. Университет штата Нью-Йорк в Олбани, профессор

Татьяна Венедиктова
доктор филологических наук. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, профессор

Елена Вишленкова
доктор исторических наук. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Томаш Гланц
PhD. Цюрихский университет, профессор / Карлов университет в Праге, профессор

Ханс Ульрих Гумбрехт
PhD. Стэнфордский университет, профессор

Евгений Добренко
PhD. Университет Венеции Ca'Foscari, профессор

Александр Жолковский
PhD. Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, профессор

Андрей Зорин
доктор филологических наук. Оксфордский университет, профессор / Московская высшая школа социальных и экономических наук, профессор

Борис Колоницкий
доктор исторических наук. Европейский университет, профессор / Санкт-Петербургский институт истории РАН, ведущий научный сотрудник

Александр Лавров
доктор филологических наук, академик РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, ведущий научный сотрудник

Марк Липовецкий
доктор филологических наук. Колумбийский университет (Нью-Йорк), профессор

Джон Малмстад
PhD. Гарвардский университет, профессор

Александр Осповат
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, профессор-исследователь

Пекка Песонен
PhD. Хельсинкский университет, заслуженный профессор

Олег Проскурин
кандидат филологических наук. Университет Эмори (США), профессор

Роман Тименчик
кандидат филологических наук. Еврейский университет в Иерусалиме, профессор

Павел Уваров
доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Институт всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Александр Эткинд
PhD. Европейский университетский институт (Флоренция)

Михаил Ямпольский
доктор искусствоведения. Нью-Йоркский университет, профессор

К истории политической рефлексии

Ирина Паперно

«Это даже не блокада и не осада. Это простой, обыденный советский день»:

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЗАПИСКИ ОЛЬГИ ФРЕЙДЕНБЕРГ КАК МИФОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Irina Paperno

"This Is Not Even the Blockade or a Siege. This Is an Ordinary Soviet Day": Olga Freidenberg's Postwar Notes as a Mythopolitical Theory

Ирина Паперно (Университет Калифорнии, Беркли, почетный профессор кафедры славянских языков и литератур; PhD) ipaperno@berkeley.edu.

Ключевые слова: Ольга Фрейденберг, история филологии, наука и идеология, ЛГУ, мемуары, дневники, политическая теория

УДК: 929
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_7

В статье анализируются послевоенные записки Ольги Михайловны Фрейденберг (1890—1955) и предлагается интерпретация этого текста как мифополитической теории в форме дневника/мемуаров.

Irina Paperno (PhD; Professor Emerita, Department of Slavic Languages and Literatures, University of California, Berkeley) ipaperno@berkeley.edu.

Key words: Olga Freidenberg, history of philology, scholarship and ideology, Leningrad State University, memoirs, diaries, political theory

UDC: 929
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_7

This article analyzes the postwar notes of Olga Freidenberg (1890—1955) and offers an interpretation of this text as a mythopolitical theory in the form of a diary/memoir.

«С самых ранних дней детства, как только во мне проснулось сознание… у меня было чувство… что все то, что находится во мне и вне меня, не исчерпывается собой, а имеет значение» (I, 1)[1]. Ольга Михайловна Фрейденберг (1890—1955) на-

1 Здесь и далее записки Фрейденберг цитируются по машинописным копиям, находящимся в архиве Гуверовского института в Калифорнии: *Freidenberg O.* Memoirs,

писала эти слова на первой странице своих «записок» (написала, когда ее работа над автобиографической хроникой уже подходила к концу). Она пояснила, что при других обстоятельствах могла бы стать религиозной, но родившись в секулярной еврейской семье, выбрала другой путь — литературу. В отличие от двоюродного брата, Бориса Пастернака, Фрейденберг не обладала талантом писателя. Она стала филологом. Когда Фрейденберг размышляла о своей с детства усвоенной логомании («чувство, что все… имеет значение»), к концу подходила и ее карьера профессора классической филологии в Ленинградском университете.

Презумпция смысла была свойственна гуманитарной мысли на рубеже XX века. Достаточно вспомнить о герменевтике Вильгельма Дильтея. «Жизнь», или «переживания жизни» (die Erlebnisse), получают «выражение» и таким образом «объективируются» в формах культуры и искусства, и именно человек искусства в своей способности дать выражение жизненному опыту является подлинно живущим. Но что же делать человеку, которому отказано в художественном таланте? Такому человеку остается путь «дешифровки» выражений опыта. В этом качестве, историк или филолог становится художником второй руки, способным к повторному пере-живанию (das Nachleben) жизни. Так описала герменевтический метод Ханна Арендт в эссе «Дильтей как философ и историк» (1945) [Arendt 1994]. В 1945 году (находясь в эмиграции в Нью-Йорке) Арендт смотрела на эти гуманистические представления с позиции человека эпохи Гитлера и Сталина. (В это время она начинала работать над анализом тоталитаризма.) Арендт описывает понятие о жизни, исполненной смысла и доступной пониманию благодаря усилиям искусства или истории, с горькой иронией. Слова Фрейденберг, написанные в 1947 году, лишены иронии. Едва пережив блокаду, она сомневалась, что ей удастся пережить и идеологические чистки, начавшиеся тогда в Ленинградском университете. Для Фрейденберг вера в осмысленность жизни и в свою способность интерпретировать были не только научным методом, но и стратегией выживания.

В наше время Фрейденберг, которой мало удалось напечатать при жизни, привлекает все больше внимания как значительный и еще не вполне оцененный теоретик культуры, разработавший самобытную концепцию мифа и особую методологию[2]. Как классический филолог, она нашла и сторонников, и противников[3]. В последние годы немало писали о парадоксах посмертной ре-

---

holograph and typescript (Bks 1—34). Pasternak Family Papers. Hoover Institution, Box/Folder 155—159. В круглых скобках указаны номера тетради (римскими цифрами), главы (после двоеточия) и страницы (после запятой). В тетрадях I—II (где главы нумерованы по-другому) приводятся только номера страниц; так же и в тетрадях XXXII, XXXIII, XXXIV, где главы не нумерованы.

2 Краткий обзор жизни и научного наследия Фрейденберг см. в: [Брагинская 2017; Braginskaya 2016]. См. также монографию: [Perlina 2002]. Биографический материал, библиографию трудов Фрейденберг и исследований о ней см. на сайте: Электронный архив Ольги Михайловны Фрейденберг // http://freidenberg.ru/Vxod (дата обращения: 14.10.2022). Сайт курируется Н.В. Брагинской и Н.Ю. Костенко.

3 Заметим, что враждебность по отношению к Фрейденберг сохранилась на кафедре классической филологии Петербургского университета по сей день. Краткий очерк истории кафедры, которой она заведовала с 1932 по 1949 год, помещенный на официальном сайте филологического факультета, вовсе не упоминает ее имени. См.: Кафедра классической филологии // Филологический факультет. Санкт-Петербургский государственный университет (http://phil.spbu.ru/o-fakultete-1/struktura-fakulteta/kafedry/klassicheskoi-filologii (дата обращения: 01.09.2022)).

путации Фрейденберг — о запоздалом признании, при котором ее идеи оказались предвестиями открытий других; о том, как трудно критиковать концепции автора такой трагической судьбы; о столкновении поклонников и хулителей[4].

Помимо научного наследия, к настоящему времени представленного в печати (главным образом благодаря усилиям Н.В. Брагинской), Фрейденберг оставила огромный корпус «человеческих документов», по сей день почти не опубликованный.

Через много лет после ее смерти в архиве Фрейденберг обнаружили 34 рукописные тетрадки автобиографической хроники под общим названием «Пробег жизни»[5]. В процессе писания она называла этот документ — отчасти воспоминания, отчасти дневниковые записи — «записками». Фрейденберг начала свои записки зимой 1939—1940 года, написав свою «автобиографию» (от начала до поступления в университет в 1917 году). Она вновь взялась за перо в мае 1942 года, чтобы описать блокаду Ленинграда (сначала ретроспективно, потом в форме дневника), прервала записи в апреле 1944 года (когда умерла ее мать) и возобновила в июне 1945-го, описав конец войны. Между 1947 и 1950 годом она регулярно документировала репрессии в Ленинградском университете (как и в блокаду, она писала по ходу событий или по свежим следам). Зимой 1948—1949 года, чтобы «заполнить лакуну», она написала воспоминания о своей жизни от поступления в университет до начала войны. Одновременно она продолжала описывать события дня, так что хроника настоящего и воспоминания о прошлом писались параллельно. В декабре 1950 года, после нескольких попыток, она поставила точку. Написанные в течение десятилетия, в сложной временной перспективе, записки охватывают почти всю жизнь Фрейденберг и значительную часть истории XX века.

Нет сомнения, что главной частью и центральным ориентиром записок является хроника ленинградской блокады — девять тетрадок под названием «Осада человека». История всей ее жизни ориентирована по оси «после блокады» и «до блокады».

Самый образ блокады приобрел для Фрейденберг символический смысл. Блокадный день, многократно описанный в дневниковых записях, виделся ей как «простой обыденный советский день» (XXVIII: 17, 78), а «блокада», или «осада» («двойное варварство, Гитлера и Сталина» (XVIII: 138, 10), стала своего рода полевым опытом для понимания жизни в сталинском государстве.

Записки исполнены внимания к «методу» (Фрейденберг часто употребляет это слово). Так, Фрейденберг вполне сознательно применяла ходы той методологии, которую она разработала в своей научной деятельности, «генетическую семантику»[6]. Она описывала свою жизнь через метафоры, символы и мифологические сюжеты и нередко видела свое настоящее как возвращение прошлого, а прошлое как прообраз настоящего.

Установка на научный метод в осмыслении собственной жизни была для нее вполне сознательной: «...я никогда не могла ставить перегородок между

4 С разных позиций о парадоксах репутации Фрейденберг писали Н.В. Брагинская [Брагинская 2009], Г. Тиханов [Tihanov 1999; 2012].

5 Подробное описание текста записок см. в: [Костенко 1994; 2017].

6 Грубо говоря, «генетический метод» предполагал погружение вглубь истории, выявляя образы, метафоры, сюжеты, укорененные в мифе, а затем возвращение к современности, отслеживая трансформации смыслов во времени, от мифа к фольклору и к литературе. См.: [Троицкий 2017; Tihanov 2012].

научной теорией и непосредственным восприятием жизни; одно выражало другое» (XVI: 122, 17).

При общем единстве герменевтического подхода и генетического метода в разных частях записок Фрейденберг прибегала к разным интерпретативным стратегиям и разным жанровым рамкам.

Первая автобиография — история детства, отрочества и юности, представленных как «увертюра» к жизни, когда начнется «настоящая любовь» (II, 179), была написана для одного читателя, тогдашнего возлюбленного Фрейденберг, Б. (не отвечавшего ей взаимностью). Выдержанная в лирическом тоне, напоминающем о ранней прозе Пастернака, эта часть записок исполнена пафоса любви как «особого мироощущения», наделяющего жизнь глубокой символикой (XI: 91, 201).

Блокадная часть записок — это дневник (порой «ретроспективный дневник»), подобный полевому дневнику этнографа, сознательно написанный с позиции антрополога — участника-наблюдателя, занятого описанием блокадного быта и осмыслением жизни в осажденном Гитлером городе[7]. С этой позиции Фрейденберг описывает «процесс еды» (XIV: 89, 45), «функции» тела (XIII: 52, 69), «структуру» хлеба и экскрементов (XII bis: 29, 81) — вещи обычно тривиальные, сейчас же исполненные культурного и политического значения. Она описывает государственную систему распределения, при которой человек не мог «сам для себя добывать средства пропитания», страшное неравенство, и делает значительное обобщение: «глотать и испражняться он должен был по принуждению» (XIII: 37, 15). Она сосредоточена на описании работы власти и насилия в теле, семье, городе, государстве. Она последовательно осмысляет блокадную жизнь в мифологических и мифополитических категориях: жизнь «в преисподней, куда загнал человека кровавый спрут» (XIX: 163, 71) (из контекста ясно, что под «кровавым спрутом» она имеет в виду Сталина).

Записки о блокаде (как и исполненные любви записки о детстве, отрочестве и юности) насквозь пронизаны смыслом, причем это документ не только тотального семиозиса, свойственного жизни в экстремальной ситуации, но и тотальной политизации. Это герменевтика, рожденная из опыта «осады человека», когда власть проникала в каждую клетку жизни.

Как покажет будущее, блокадный опыт оказался непреодолимым — и по силе травматического воздействия на человека, и по влиянию на метод интерпретации жизни, в котором отныне будет преобладать политическое.

Записки послевоенного времени, сосредоточенные на идеологических репрессиях в Ленинградском университете, заключают в себе последовательно (хотя и не всегда эксплицитно) разрабатываемую теорию государства, которая непосредственно восходит к опыту блокады и к блокадным запискам. Как Фрейденберг решила уже после войны, «Гитлер и Сталин, два тирана, создали новую форму правления, о которой Аристотель не мог знать» (XXVIII: 7, 47), и Фрейденберг описывает и анализирует эту систему для читателя будущего.

Мысль о будущем историке и теоретические выводы о природе сталинизма пронизывают и воспоминания о жизни в 1917—1941 годах, писавшиеся одно-

7 Нина Перлина назвала блокадные тетради Фрейденберг, в которых часть записей сделана через несколько месяцев после событий, «ретроспективным дневником» [Perlina 2002: 64].

временно с хроникой 1948—1949 года (это история жизни, написанная в остром сознании того, что последовало за событиями этих лет и соотнесенная с большой историей).

Трудно сказать, входила ли разработка политической теории в намерения Фрейденберг (скорее всего, она не осознавала свою задачу таким образом). И тем не менее в записях военных и послевоенных лет она осознано применяет к бытовым и интимным ситуациям аналитические категории политической философии и концептуальные метафоры политической мифологии: polis, body politic, état de siège и т.д. Концепт body politic, введенный Платоном и Аристотелем и развитый Гоббсом, является организующей метафорой всех записок, и Фрейденберг часто прибегает к гоббсовскому образу единого тела государства-Левиафана и к идее войны всех против всех. Проводя параллель между телом человека и телом общества, она анализирует воздействие государственной власти на человеческое тело (в современных терминах мы называем такой подход биополитическим).

В подходе Фрейденберг можно усмотреть много общего с западной политической философией ее времени, с идеями и понятиями Вальтера Беньямина, Карла Шмитта, Лео Штрауса, Карла Лёвита, Ханны Арендт и других, занятых анализом политической ситуации в Германии. Диаметрально отличаясь в оценке происходящего (Шмитт принял нацизм), эти авторы подходили к современной политике в антропологическом ключе — как к положению человека в социальном мире. Многие из них уделяли большое внимание роли мифологического мышления, пользуясь (в разных целях) образом Левиафана[8].

Особенно бросаются в глаза параллели между Фрейденберг и Ханной Арендт. И Арендт настаивала, что государство Гитлера и Сталина было «новой формой правления», которая «существенно отличается от всех иных форм политического подавления» [Арендт 1996: 597]. Как и Фрейденберг, она была классиком по образованию, и для нее слово «политика» непосредственно связывалось с греческими полисом и идеей body politic, а Гоббса она считала теоретиком тоталитарного государства avant la lettre. Во многих отношениях Арендт и Фрейденберг пришли к сходным выводам.

Фрейденберг, которая работала (как она сама писала) в «полной культурной изоляции» (XXVII: 83, 9), едва ли могла знать об этих авторах. Тем более значительны эти странные сближения.

Между Фрейденберг и современниками на Западе имеются и существенные различия. Фрейденберг выстраивала свою политическую теорию изнутри тоталитарного государства, и в некоторых отношениях (главным образом в своем видении исторического процесса) она думала по-другому. Более того, работая в единственно возможной в этих условиях форме — частной, тайной хро-

8 Существует обширная научная литература о политической философии в Германии 1920—1930-х годов. О возрождении мифа сошлемся в качестве примера на статью Дж.П. Мак-Кормика [McCormick 1994]. Как отмечает Мак-Кормик, при общем интересе, отношение к мифу было разным. И Карл Шмитт, принявший нацизм, и Лео Штраус, эмигрировавший в США, посвятили в это время книги «Левиафану» Гоббса. При этом только Шмитт принимал миф как эффективный инструмент государственной власти. Для критиков режима возрождение мифа в эпоху нацизма было знаком регрессии — отказом от идеалов Просвещения; об этом тогда писали Теодор Адорно и Эрнст Кассирер, см.: [Ibid.: 626] и сн. 19.

ники — она создала политическую теорию, неотделимую от наблюдений над своей повседневной жизнью, теорию-дневник, в которой организация быта предстает как модель действия государственной системы.

Имея много общего с западной политической мыслью, записки Фрейденберг кажутся явлением редким, если не уникальным, среди известных нам документов ленинградской блокады и сталинских репрессий. Однако зачатки такого подхода можно найти в блокадных записках (тоже тайных) современницы Фрейденберг, ленинградского литературоведа Лидии Гинзбург. И Гинзбург (хотя и не так последовательно, как Фрейденберг) старается осмыслить бытовой опыт блокады в терминах политической теории, и она смотрит на блокаду как на модель положения человека в ситуации террора, и она пользуется образом государства-Левиафана и идеей войны всех против всех, а также проводит параллель между дистрофическим телом блокадника и body politic[9]. По всей видимости, Фрейденберг не знала не только о Ханне Арендт, но и о концепциях, которые в то же самое время разрабатывала в своих записных книжках Лидия Гинзбург, хотя они жили на одной улице (в 350 метрах друг от друга, на противоположных сторонах канала Грибоедова)[10].

Для нас это свидетельствует и о социальной разобщенности, и об общности мысли — прочнейшей из связей среди людей.

В военные и послевоенные годы Фрейденберг считает ведение тайной хроники «долгом перед историей», и она не раз обращается к непонятливому будущему историку («Историк не поймет, как население могло выносить подобную систему подавлений и насилий. Так вот, я ему отвечаю...» (XXXII, 77)). Она пишет в сознании опасности ведения таких записок: «И хоть я не знаю, увидят ли они свет (кто их спрячет? куда?), я не хочу отказаться от того, что я считаю своим долгом перед историей. <...> Лучше рисковать жизнью, но тайно писать» (XXXII, 45).

Она сочла необходимым упомянуть и о недостатках записок: «Да, я еще забыла рассказать об одной вещи (мои записки свободны от принуждения, сбивчивы, непоследовательны и написаны бедным языком, отражая утомленный и обедненный мозг)» (XXVII, 83, 12—13). Владея даром наблюдения и формулировок, Фрейденберг действительно не всегда пишет хорошо. В записках то и дело встречаются повторения (порой навязчивые), длинноты, сбивчивость, поспешный и бедный язык. (Она часто писала быстро и всегда без черновика.)

---

9 Заслуга анализа политической концепции, содержащейся в блокадных записях Лидии Гинзбург, в контексте западной политической мысли принадлежит Ирине Сандомирской, см.: [Сандомирская 2013: 173—265; Sandomirskaia 2010]. Сандомирская исходила из организующей роли концептуальной метафоры body politic в создании такой теории. Она указала на сходство между Гинзбург и Фрейденберг (на основании отрывков в «Минувшем»), см.: [Сандомирская 2013: 255, сн. 187]; Sandomirskaia 2010: 307, ft. 2; 317—318, ft. 38, 40]. Анализ записок Гинзбург, проделанный Ириной Сандомирской, помог мне сформулировать смысл теорий Фрейденберг.

10 По всей видимости, Фрейденберг и Гинзбург не общались друг с другом (следов этого мне найти не удалось), но у них были общие друзья и враги (Б.М. Эйхенбаум, В.В. Пропп, В.М. Жирмунский, Г.А. Гуковский, М.Л. Тронская и др.). Тронская, которую Фрейденберг считала своим врагом на факультете, с детских лет была приятельницей Гинзбург, и она упомянута в записях и Гинзбург, и Фрейденберг.

Написанные тайно (и в этом смысле свободные от принуждения), записки Фрейденберг свободны и от соблюдения некоторых конвенций хорошего тона. В своих моральных суждениях она бывает безжалостной и к себе, и к другим. Она включает отвратительные детали, которые не часто встретишь даже в интимном дневнике.

Отчасти это можно объяснить позицией антрополога. Так, в хронике блокады Фрейденберг описывает функции тела в ситуации голодания, включая постоянные поносы, описывает дом и город, покрытые экскрементами, — что входит в задачу этнографа. Документируя чистки в Ленинградском университете, она описывает, не гнушаясь подробностями, склоки и интриги на кафедре, своего рода «стоки советских академических нечистот» (XXV: 71, 43). В безжалостной хронике советского быта, будь то блокадный или послевоенный день, человек предстает «в неубранном естестве» (XXVIII: 17, 78). (Это фраза Фрейденберг, не стеснявшейся показать человека со спущенными штанами и в прямом, и в переносном смысле.) Под ее пером хроника повседневности во всей ее непривлекательности получает символическое и теоретическое осмысление и обращается в этнографию, историографию, политическую теорию. Как этнограф, Фрейденберг выступает в двойственной роли наблюдателя и участника, и не мудрено, что порой и она может показаться читателю в неприглядном виде.

Мы, далекие потомки, не можем поставить под сомнение ни ее восприятие жизни, какой бы непривлекательной не казалась открывающаяся картина, ни тот высокий пафос истории, который подлежит запискам, написанным с опасностью ареста и гибели. Но роль читателя-исследователя состоит и в том, чтобы подвергать документы анализу и интерпретации.

Написанные человеком, жившим в эпоху Гитлера и Сталина, записки отражают и утомленный мозг измученного автора. И в этом состоит их ценность как документа — свидетельства об эпохе и ее страшном давлении на человека.

Едва ли будет преувеличением сказать, что записки Фрейденберг — история жизни, совпавшей с революцией, двумя мировыми войнами и сталинским террором, хроника, написанная исследовательницей культуры, которая теоретизировала свое восприятие жизни, представляют собой один из самых замечательных человеческих документов XX века.

Ко времени ее смерти в 1955 году архив Фрейденберг был упакован в железный сундук, в котором он пролежал в квартире ее душеприказчицы, Русудан Рубеновны Орбели, до начала 1970-х годов.

История архива сама по себе свидетельствует и о времени, в котором она жила, и о нашем времени, и заслуживает внимания.

По одной версии, первым, кто открыл этот сундук, был Ю.М. Лотман. В 1973 году он опубликовал в «Ученых записках Тартуского университета» три статьи «из научного наследия О.М. Фрейденберг», сопроводив их своих предисловием, в котором он назвал Фрейденберг предтечей семиотического метода [Лотман 1973]. Архивом заинтересовалась семья Пастернаков. Тогда же Н.В. Брагинская обнаружила на дне сундука переписку Ольги Фрейденберг с Борисом Пастернаком[11]. Опубликованная по-русски в Нью-Йорке в 1981 году,

11 Брагинская несколько раз рассказывала о своей находке, в последний раз в: [Брагинская 2017: 13].

эта переписка была переведена на несколько языков и привлекла значительное внимание. В России переписка публиковалась (в различных изданиях) начиная с 1988 года[12].

В середине 1970-х годов записные книжки Фрейденберг были переданы семье Пастернаков в Москве, перепечатаны на машинке (в объеме более чем 2400 страниц) и переправлены в домашний архив семьи Леонида Пастернака в Оксфорде. С 2015 года записки находятся в Гуверовском институте при Стэндфордском университете в Калифорнии и доступны для исследователей.

Когда переписка Ольги Фрейденберг и Бориса Пастернака была подготовлена к печати (это сделали Евгений Борисович и Елена Владимировна Пастернак, но их имена по понятным причинам не были указаны при первых, тамиздатских публикациях), многочисленные отрывки из записок Фрейденберг использовались в качестве соединительной ткани между письмами.

В течение 1980-х годов в эмигрантской печати были опубликованы два значительных фрагмента, исполненные острого политического содержания: о блокаде и о репрессиях в Ленинградском университете в 1946—1948 годах. На публикации стояло имя «Невельский», а за ним скрывалась Юдифь Матвеевна Каган, классический филолог из Москвы (дочь философа Матвея Кагана, члена Невельского кружка Бахтина)[13].

В 2012 году записки Фрейденберг были использованы в документальном труде Петра Дружинина «Идеология и филология», посвященном репрессиям в Ленинградском университете в конце 1940-х годов [Дружинин 2012]. Дружинин цитировал послевоенную хронику Фрейденберг, в частности ее резкие суждения о поведении коллег, оказавшихся объектом чисток и проработок, в качестве комментариев к опубликованным им документам. Вокруг этого разгорелась дискуссия, в ходе которой достоверность мемуарных свидетельств Фрейденберг, а также ее моральный облик и научная состоятельность стали предметом страстной полемики. Нападки поступили со стороны филолога-классика из Ленинградского университета Ирины Левинской, которая почувствовала необходимость заступиться за учителей и коллег, представленных в записках в неприглядном виде. Левинская заявила, что Фрейденберг была склонна считать «доносчиками и интриганами» своих соперников по науке. Брагинская ответила, что Фрейденберг — «один из самых чистых людей», каких она знала, «и нет никого, кто мог бы по праву бросить в нее камень». Она также признала, что больше сорока лет держит текст записок «под спудом», отчасти из страха такой реакции, «но теперь время пришло». (Тогда, в августе 2013 года, Брагинская сообщила, что весь текст записок «выложен на сайте “Архив Фрейденберг” под паролем и может быть открыт в один день»[14].)

---

12 Первая публикация переписки: [Пастернак 1981]. Среди российских публикаций отличается особой тщательностью: [Пастернак 2000].

13 См.: [Фрейденберг 1986; 1987]. Отрывки из воспоминаний об университетских годах опубликованы в: [Фрейденберг 1991].

14 См.: [Брагинская 2013; Левинская 2013]. Обе части полемики были также помещены на сайте «Нового литературного обозрения»: Ирина Левинская vs Нина Брагинская: полемика по поводу книги Петра Дружинина “Идеология и филология” // https://www.nlobooks.ru/node/3659%22%20/h (дата обращения: 21.04.2016). (При попытке доступа 28 августа 2022 года обе публикации реплики Брагинской оказалась недоступными.)

Этот эпизод не только позволяет поставить вопрос о статусе дневников и мемуаров как исторического свидетельства, но и показывает эмоциональное напряжение, которое вызывают такие свидетельства у членов сообщества даже двумя поколениями позже.

По сей день записки Фрейденберг остаются запертыми «под паролем».

Предлагаемая здесь читателю статья представляет собой конспективное изложение книги, которая в настоящее время готовится к печати. Эта книга задумана как опыт чтения записок Ольги Фрейденберг и путеводитель по этой гигантской хронике. В настоящей статье моей основной задачей является проявить ту герменевтическую и политическую теорию, которая заключается в записках, и основное внимание будет уделено послевоенным запискам. Записки послевоенных лет тесно связаны с блокадными записями, которым посвящена статья, опубликованная ранее на страницах этого журнала. Отсылаю читателя к этой публикации [Паперно 2016].

«Быт строго выдержан по-сталински»

Описав блокаду, Фрейденберг вернулась к своим запискам (а она перестала писать после смерти матери в апреле 1944 года) в июне 1945 года. Ей кажется, что и она не пережила блокады: «Я видела биологию в глаза. Я жила при Сталине. Таких двух ужасов человек пережить не может» (XXI: 1, 2).

Вновь и вновь она пишет, что чувствует себя мертвой: «руки давно умерли», «дух угас», «мертвое сердце» (XXI: 1, 1; XXI: 4, 8). Предстоит «второе рожденье мертвецом в мир» (XXI: 4, 8). С этой позиции она продолжает писать, готовая «преодолеть самые кровоточащие травмы, чтоб только донести до чернил и бумаги рассказ о сталинских днях» (XXI: 6, 11). Но вскоре она понимает, что писать не в силах.

Через два года, в июле 1947 года, Фрейденберг возвращается к запискам.

Ее мучит ощущение беспредельности, неизбывности времени: «Теперь у меня много времени. Я брошена в него. Вокруг меня бескрайнее время» (XXI: 4, 7); «Время. Бездонная пустошь. Страшно от этой бескрайной временной пустоты. Оголенное время» (XXII: 16, 15).

Как Вальтер Беньямин, описавший «гомогенное и пустое время» в ожидании войны вскоре после подписания советско-германского пакта о ненападении[15], Фрейденберг, пережив войну, чувствует себя в плену у пустого, голого времени.

Она живет и пишет «с огромным напряжением, как насилие» (XXII: 16, 14). (Сама жизнь представляется ей насилием.) Мечтая о смерти, она обращается к запискам как «к единственному средству спасения» (XXI: 9, 18).

Сначала она описала события последних двух лет — конец войны, возвращение университета из эвакуации, попытки восстановить город с помощью «рабского труда» (XXI: 10, 20). Затем начинает описывать свою повседневность.

15 Речь идет о концепции времени, выдвинутом в знаменитом эссе Беньямина «О понятии истории», или «Тезисы о философии истории» (1940), написанном в эмиграции во Франции в ощущении неизбежности мировой войны.

«Жизнь после войны стала совсем невыносима» (XXV: 63, 9). Фрейденберг начинает с быта: «Кто может описать советский быт, быт сталинской эпохи? Он со временем будет непостижим, как фантазм» (XXIII: 34, 19). В надежде помочь историку будущего она вновь и вновь обращается к условиям бытовой жизни в послевоенные годы: «...то нет электричества, то нет воды, то испорчен телефон, то молчит радио...» (XXIII: 34, 19—20). В годы блокады она описывала страшный быт осажденного города. После войны она развивает концепцию «советского», «сталинского» быта как системы нормализованных и, более того, преднамеренно созданных, продуманных трудностей. Она многократно описывает конкретные ситуации из своего опыта (покупки в магазине, питание в столовой, лечение в больнице, попытку получить очки, потоп в квартире и проч.). Из конкретных наблюдений вытекают далеко идущие социально-политические обобщения.

Приведем конкретный пример того, каким методом создается дневник-теория.

Описывая последние месяцы 1947 года (она пишет в декабре 1947 и январе 1948 года), Фрейденберг просматривает и цитирует «свои бумажки» (короткие записи, делавшиеся для памяти в течение дня): «Мучители! Газ. Свет. Очереди нарочно» (XXVIII: 7, 46). Затем она начинает обобщать: «Смотрю поверх истории. Марксизм провалился. Национализация производства не создает национального равенства...» (XXVIII: 7, 46). Возвращается к идее быта и создает сжатую формулу: «Быт строго выдержан по-сталински». Иллюстрирует это положение примерами того, что происходит повседневно: «За одни сутки то телефон не работает, то радио замолчало, то воды не было, то электричество не горело» (XXVIII: 8, 49). Исходя из повторения ситуации она делает вывод о намеренном характере бытовых трудностей: «...быт не только в этих временных трудностях. Он — в нарочитой разрухе» (XXVIII: 8, 49). (Затем она переходит к описанию повседневных университетских дел.) Тем временем наступило 16 декабря — отмена карточной системы распределения продуктов. Описав новые бытовые проблемы, Фрейденберг обобщает в мифологических терминах: «Итак, Сталин делает из жизни Сизифов камень». Затем она перефразирует свой вывод: система трудностей «проводится с глубочайшей продуманностью» (XXVIII: 12, 58). (Повествование опять обращается к ситуации на службе, причем Фрейденберг вклеивает в тетрадь «Приказ № 2655» по ЛГУ от 24 ноября 1947 года, в котором излагается новый режим работы университета, исполненный ограничений.) Возвращаясь к домашнему быту, она повторяет, что никто никогда не узнает, и с этой мыслью снова приводит конкретную информацию на примере сегодняшнего дня: «Никогда никто не поймет, что такое советский мучительский быт. Вот сегодня. Встаю, нет света. <...> Холодно. <...> Писать? Читать? Темно» (XXVIII: 14, 68—69). Она развивает вывод о нарочитой природе бытовых трудностей как государственной репрессивной политике: «К государственному мучительству прибавляется домовое» (XXVIII: 14, 69). Вскоре она опять принимается описывать свой день: «Вот мой очередной день...» (XXVIII: 17, 76).

Работая в дневниковой форме, Фрейденберг формулирует принципы работы общества на основе своего опыта, который она описывает день ото дня, не чуждаясь повторений. В этой перспективе она видит мучительный быт как продуманную форму терроризирования населения, и на этом основании формулирует теоретический принцип: «До сих пор был известен политический и религиозный террор. Сталин ввел и террор бытовой» (XXVIII: 19, 84).

Заметим, что понятие бытового террора было не известно не только Аристотелю, но и Ханне Арендт, создавшей свою теорию извне тоталитарного общества.

Фрейденберг не раз принимается обобщать свои наблюдения, сводя воедино различные аспекты сталинской системы: принудительный труд («труд с прикреплением», «труд при грошовом заработке»), голод, преднамеренная система бытовых трудностей, принудительное сожительство с другими, ссоры и склоки, надзор (XXIII: 34, 19—20).

Она описывает устройство дома, которое воплощает и соединяет эти черты: «Дом, где в каждой комнате живет целая семья» (она неоднократно упоминает, что супруги совокупляются в присутствии стариков-родителей и детей), где в одной квартире живут люди разных социальных классов («культурный человек попадает в соседство с негодяями и бандитами»), «где у всех общая кухня и общая уборная с вечно испорченными плитами, водопроводами, стульчаками, полами, фановыми трубами»; где «драки и пьянки, громкоговорители и радиолы, площадная брань и склоки женщин» (XXIII: 34, 20). И у себя дома, как и на службе, человек живет под взглядами и надзором других: «Он брошен в “коллектив” на службе, где за ним следят и на него доносят, в собственной квартире, в собственной комнате и даже в собственной семье» (XXXIV, 144).

Принудительная совместность казалась Фрейденберг одним из главных принципов «системы». Она впервые описала эту ситуацию в записках блокадного времени. В блокадную зиму при отсутствии отопления люди вынуждены были ютиться в одной комнате, и Фрейденберг подвергла эту ситуацию культурологическому анализу: «Совместное, в кучу, проживание было изобретено цивилизацией как форма государственной кары за преступление. Только в тюрьме люди скучены...» Она продолжает рассуждать: «...если они в одной и той же комнате совместно проводят день, и спят, и испражняются тут же, где едят — то это и есть тюрьма» (XVI: 119, 6). Из этого она делает обобщение большой теоретической силы: «Тирания создала из этого нормативный быт» (XVI: 119, 6). В другой блокадной тетради она возвращается к этой идее, уточняя свой вывод о нормализации условий осады в советском быту: «История знала осады и катастрофы. Но еще никогда человеческие бедствия не бывали задуманы в виде нормативного бытового явления» (XVIII: 138, 10). (Возможно, что она имеет в виду понятие l’état de siège — осадное положение как метафору политического режима «чрезвычайного положения»; мы еще вернемся к этой теме.)

Как и Ханна Арендт в «Истоках тоталитаризма», Фрейденберг работает на материале экстремальных условий. Для Арендт лабораторией новой формы правления был концентрационный лагерь. (Для Арендт важно, что в идее лагеря, в отличие от ситуации традиционного рабства, человек «не имеет права на собственное тело» [Арендт 1996: 576].) Для Фрейденберг такой лабораторией была осада Ленинграда. При этом Фрейденберг сравнивала ситуацию человека, живущего в осаде, с тюрьмой или лагерем («осажденный город изнывал в отечественном концлагере» (XV: 108, 5)). И если в блокадных записях Фрейденберг приравнивала осажденный город к тюрьме или лагерю, то в послевоенных тетрадях само понятие блокады стало метафорой — парадигмой жизни в сталинском государстве.

Левиафан

Создавая свою политическую теорию, Фрейденберг активно пользуется метафорами и мифами. В годы блокады она описала аварию канализации в квартире, грозившую залить квартиру нечистотами, как вторжение хтонического чудовища: это «советская Тиамат, первозданный хаос и грязь» (XV: 115, 26)[16]. Фрейденберг использовала здесь образ из шумеро-вавилонской мифологии, который исследователи мифа связывали с Левиафаном[17]. Есть все основания считать новый миф, созданный Фрейденберг — «советская Тиамат» — вариантом мифа о государстве-Левиафане. Государство (или Сталин) предстает в блокадных записках также в образе страшного зверя: это царящий в преисподней «кровавый спрут» (XIX: 163, 71).

В послевоенных записках государство не раз предстает в виде гигантского тела, а в одном случае является «колоссальной звероподобной машиной» (XXIII: 34, 20). И за этим образом стоит Левиафан, как он представлен в трактате Гоббса (большой человек — огромное животное — грандиозная машина)[18].

В послевоенных записках появляется и образ советского общества как социального тела, обезглавленного тираном Сталиным: «Обезглавив Россию, убив всю интеллигенцию, Сталин создал из страны одно туловище» (XXIII: 34, 21); «Человеческое туловище, лишенное головы, стало распутным» (XXV: 63, 11). (В этом контексте она вновь пишет о патологической совместности в коммунальных квартирах, являющейся частью «государственной системы бесчестья» (XXV: 63, 11).)

В написанных одновременно с хроникой 1948—1949 годов воспоминаниях о своей довоенной жизни Фрейденберг прибегает к этому образу, когда она описывает (для историков будущего) 1937 год, и здесь она вплотную подходит к созданию своей версии политического мифа:

> Сталин… проходил по стране смертью. Он совершал процесс беспощадной расправы над населением и отрубаньем [sic] у народа головы; отныне оставалось в живых одно туловище. Такой версии мифа человечество никогда не придумывало, даже самое дикое. Ходили мифы о гидре, о голове Руслана, но никому не приходила на ум ужасающая картина отрубленных и функционирующих туловищ — даже самому Иоанну Богослову (XI: 86, 159).

Исходя из логики этого образа, Фрейденберг отделяет государство от общества. Для нее государство — это не сила, которая объединяет все общество в одно социальное тело под властью головы-суверена (как видит Левиафан Гоббс и Шмитт). Тело общества — это жертва тирана-Сталина, обезглавившего (а не возглавившего) его; жертва, ужасающая в своей распутности.

---

16 Этот эпизод подробно описан в: [Паперно 2016], но тогда я не связала Тиамат с Левиафаном.

17 О том, что в Левиафане историки мифологии пытались распознать Тиамат, божество из вавилонской легенды о древнем потопе, писал Карл Шмитт [Шмитт 2006: 107].

18 Как указал Шмитт, у Гоббса государство-Левиафан предстает и как «большой человек», и как гигантский «зверь», и как «машина», которые для Шмитта — в отличие от Фрейденберг — являются символами спасительного единства сильного государства [Шмитт 2006: 123—125].

«Преследованье науки приняло форму травли ученых»

При всем внимании к политическому значению быта и склонности к мифологическим символам Фрейденберг отнюдь не ограничивается этим в своем анализе. Записки подробно описывают и документируют идеологические «чистки» и «проработки» в Ленинградском университете в 1946—1950 годах. С наибольшей тщательностью она описывает ситуацию на своей кафедре, причем кафедра и университет были для нее моделью государства. «Университет — это Россия в миниатюре» (XXIX: 5, 19). «В большой международной политике делается то же, что у меня на кафедре» (XXXII, 52). Позже она напишет о кафедре как о «сталинском микрокосме» (XXXIII, 111).

Начиная с осени 1946 года (с постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”») Фрейденберг фиксирует новый политический курс в стране — поворот в сторону «великого русского народа», прочь от «низкопоклонства перед Западом» (XXIV: 58, 58), и начавшиеся «публичные поругания» (XXIV: 59, 60). «В зиму 1947 года все эти черты сгустились до невозможности...» (XXV: 64, 15). Она пишет об изъятии духовной культуры, об институциях для «травли отдельного человека» (XXV: 64, 15), о том, как создавалась «искусственная культур-изоляция» (XXV: 64, 16).

Чувствуя себя во все большей изоляции, она думает о мире за пределами «сталинского застенка», и мысль, что там знают об их жизни, вызывает в ней надежду: «Наше вечное, всеобщее “знает ли заграница?” нашло, наконец, разрешенье. Да, знает! И эта мысль дает спокойно умереть» (XXV: 72, 49).

Как филолог она видит сталинскую систему в языке («полицейский эпический язык») и жанре («единственный жанр, который культивировался, была схематическая утопия»). Собирая конкретные наблюдения, она комментирует употребление эпитета «сталинский», исчезновение слова «хорошо», изменение в общем языке значения таких слов, как «родной», «любимый», «друг», «отец», «учитель», которые в политической сфере прилагались к Сталину, и другое (XXV: 64, 13—14).

(В Германии Гитлера наблюдения над языком, «Lingua Tertii Imperii», проводил другой филолог, Виктор Клемперер, также оставивший обширный дневник, из которого и были почерпнуты эти наблюдения [Клемперер 1998].)

Пристально следя за развитием событий, зимой 1948 года Фрейденберг вновь отмечает, что «политические тучи сгущались»: «Настал момент, когда когти Сталина добрались до академических представителей. Преследованье науки приняло форму травли ученых» (XXIX: 7, 29).

В своих записках об этом времени Фрейденберг сочетает информацию о конкретных людях с обобщениями, сделанными на основе наблюдений над собой и коллегами по филологическому факультету. Она пересказывает речи и покаянные выступления, включая и свои собственные; приводит тексты приказов и распоряжений, делает обобщения («структура “заседанья” была такова» XXIX: 7, 32). Она сообщает свои оценки поведения коллег и учеников — суждения далеко не беспристрастные.

Фрейденберг описывает, как «позорили всех профессоров литературы», которых «принуждали под давлением политической кары отрекаться от собственных взглядов и поносить самих себя». Она описывает, как одни каялись «“изящ-

но" и лихо»; другие «старались уберечь себя от моральной наготы и мужественно прикрывали стыд». Третий «уже терял чувство достоинства, которое долго отстаивал» (она называет имена). «Прочие делали, что от них требовалось» (XXIX: 7, 30). Замечая, что профессоров «пытали самым страшным инструментом пытки — научной честью» (XXIX: 7, 30), она приводит свои суждения о том, как коллеги вели себя под пытками. (Особенное внимание уделяется поведению тех, кого она считала приспособленцами и «блатчиками», когда и их коснулись репрессии.) Пишет она и о хулителях и проработчиках, и о предательстве учеников (студентов поощряли доносить на учителей). Описывает и собственное поведение (как кажется, не всегда понимая возможные последствия своих выступлений).

Как обойтись с такими записями? Опустить и игнорировать — это значит представить записки в искаженном виде. Неуместными кажутся и попытки разобраться в том, были ли у Фрейденберг реальные основания предъявлять моральные претензии к поведению отдельных коллег или учеников. Речь здесь идет не о том, как дело обстояло «на самом деле», а о том, как Фрейденберг видела мир вокруг себя и как она его описывала.

Какой же смысл имеют для Фрейденберг эти записи, сделанные на большом эмоциональном накале, об окружавших ее людях и о себе самой? От нее не укрылась неприглядность и мелочность того, о чем она снова и снова пишет — нехорошие люди, гадкие процедуры, то или иное поведение лиц, которых она не уважает.

Добавим, что большое место в ее хронике, еще до начала публичной травли, занимает то, что она сама называет обычными академическими склоками, включая напряженное соперничество с ближайшим коллегой по кафедре Иосифом Моисеевичем Тронским, которое описывается из тетради в тетрадь как военная кампания с активным участием жены Тронского Марьи Лазаревны («У Марьи Лазаревны был штаб, где все моментально делалось известно» (XXI: 3, 4)). Тема склочной борьбы на кафедре (и образ «штаб-квартиры» Марьи Лазаревны) проходит через все записки послевоенных лет, вплоть до последней страницы (о чем еще будет сказано).

Проиллюстрируем же, как работает дневник-теория на одном примере: он касается понятия «склока». В этом случае Фрейденберг переводит суждения из бытовой области склок и сплетен (не редко получающей отражение в частных записках) на уровень крупных обобщений, сформулированных в политических и символических терминах. Сама Фрейденберг представляет свою позицию следующим образом:

> Меня не может задеть ни человек, ни явление, которого я не уважаю: травля, нападки, публичное советское обвинение; или то или иное поведение лиц вроде Мещанинова или Жирмунского, — людей завистливых, продажных и патологически тщеславных. Не они поражают меня, эти стоки советских академических нечистот. Но жизнь всегда меня поражает. Мой ум обобщает ничтожные явления, видя в них голос целой эпохи (XXV: 71, 43).

(Заметим, что здесь она ставит в один ряд имена людей, которые для многих коллег и тогда, и сейчас не являются равноценными.)

Поясним ее стратегию: Фрейденберг метафоризирует, обобщает, теоретизирует.

Судя по фразеологии («эти стоки советских академических нечистот»), она проводит символическую параллель между отвратительными явлениями пос-

левоенной жизни и теми потоками реальных нечистот, о которых она писала во время блокады с откровенностью, которой избегали другие хроникеры и мемуаристы.

А к концу записок то, что она ранее называла «склоки на кафедре», или «обычные академические интриги» (XXIV: 46, 5, 9), обращается в категорию политического анализа. «Сталин породил совершенно новое понятие и новый термин, не переводимый ни на один культурный язык: склока. Всюду, во всех учреждениях, во всех квартирах чадит склока». Она поясняет (сначала в бытовых, потом в политических терминах): склока — «это низкая, мелкая вражда... Это доносы, клевета, слежка, подсиживанье, тайные кляузы...» Затем она обобщает: «Склока — это естественное состоянье натравливаемых друг на друга людей, беспомощно озверевших, загнанных в сталинский застенок». И наконец, завершает теоретическим выводом: «Склока — это руль "кормчего коммунизма" Сталина. Склока — его методология» (XXXIV, 150—151).

В конечном счете Фрейденберг приходит к важному историческому выводу, что склока — это часть гоббсовского принципа войны всех против всех, которая непрерывно идет в сталинском государстве. Если по Гоббсу государство существует именно для прекращения «войны всех против всех» как «естественного состояния» (то есть состояния в догосударственном обществе), то по Фрейденберг (которая также пользуется фразой «естественное состояние»), вражда людей друг против друга — это результат сознательной политики сталинского государства, натравливающего людей друг на друга.

В последней тетради, в которой она окончательно обобщает свой опыт, Фрейденберг пишет: «Сталинизм, несомненно, внес много нового. Он забросил на чердак устаревшего и наивного Макиавелли. Ввел он другую государственную методологию» (XXXIV, 148). Она уточняет, что Сталину «принадлежит введенье и нового строя, до той поры неслыханного, — состоянье войны с каждым в отдельности человеком, входящим в состав населенья России» (XXXIV, 48).

Повторим, что, как и немецкие философы ее времени, Фрейденберг работает в ключе политической философии и политической мифологии. Живя и работая в культурной изоляции сталинского государства, Фрейденберг мыслит в тех же категориях, что и «заграница». При этом, пользуясь теми же составляющими, заимствованными у Гоббса (государство-Левиафан, война всех против всех), она создает — не всегда последовательно — свой вариант теории государства, призванный описать новый, до сих пор неслыханный строй.

«Чувство истории»

Напомним, что, в отличие от своих современников на Западе, Фрейденберг и после войны пишет свои записки перед лицом смерти, «чтоб только донести до чернил и бумаги рассказ о сталинских днях» (XXI: 6, 11). Все послевоенные годы она живет в мысли о смерти как об избавлении. Она часто думает о самоубийстве, но как? В один прекрасный день ее «осветила мысль»: «...голод! Ведь я видела, как от голода можно, лежа у себя дома, обессилеть и умереть». (Опыт блокады подсказал решение.) Она тут же добавляет: «Нужно эти записки закончить во что бы то ни стало. Я не умру молча. Нет, свое дело я доделаю. Я ненавижу молчащих перед тиранией жизни» (XXV: 67, 25). (Сама жизнь оказывается тиранией.)

Именно в эти «хорошие дни» — дни ожидания скорой смерти — ленинградская Публичная библиотека обратилась к ней с предложением передать архив (рукописи, письма, заметки, материалы к биографии, записки и т.д.) в фонды библиотеки. Воодушевленная, Фрейденберг формулирует свою идею архива и истории:

> Чувство истории как объективного процесса всегда говорило во мне с огромной силой. Здесь лежала моя уверенная вера, абсолютное мое преклонение перед объективным надчеловеческим процессом, — мой, если угодно, матерьялизм, для которого единая человеческая жизнь составляла составную часть всего сущего. Я говорю не об историографии, этой жалкой науке, а об истории как мировом процессе. Здесь ничто не бывает презрено или забыто. Это абсолютная жизнь бытия и небытия, выражающаяся в вечной изменчивости. Рай, который строили народы, бессмертие, «тот свет» — это все существует, но его зовут не небом, не парадизом, не валгаллой, а историей. Обмануть ее невозможно, сколько бы ни фальсифицировались документы и ни искажались или утаивались факты; это можно обмануть только историографию. Не раз я слышала от друзей: «Этого никто никогда не узнает! Все источники будут подделаны, все следы преступлений скрыты. Никогда не узнает история нашей жизни!» <…>
>
> Идея архива была идеей истории. На меня пахнуло большим временем. Патетика над-личного и над-эпохального была для меня родной стихией. Я получала письмо, из которого я узнавала, что не одна на свете. Архив приобщал меня к братству мирового человека.
>
> Я стала неузнаваема. Лицо стало мягким и светлым. Это была давно покинувшая меня радость (XXVI: 75, 56—57).

Фрейденберг описывает здесь понимание истории, которое она разделяла со многими из своих современников: история как «объективный», «над-личностный», «над-эпохальный» процесс, как «абсолютная жизнь». От своих истоков в европейском и русском гегельянстве посленаполеоновской эпохи до послереволюционных лет вера в искупительную силу истории вдохновляла несколько поколений русских интеллигентов, особенно тех, кто жил в годы грозящих гибелью социальных катастроф. История «нашей жизни» виделась в этом ключе как неотъемлемая часть истории как мирового процесса, то есть жизни абсолютной. Многие дневники и мемуары — частные архивы советской эпохи — вдохновлялись этой верой.

Такой историзм не был чужд и европейским интеллектуалам. И Дильтей исходил из представления о том, что жизненный путь отдельного человека следует ходу истории, понимаемой (в гегельянском духе) как абсолютный, надличностный процесс. (Автобиография и автобиографические документы играли едва ли не главную роль в таком истолковании жизни.) Однако по мере того, как разворачивались события XX века, вера в эсхатологический потенциал мирской истории, а также уверенность в сохранности своей индивидуальной жизни в рамках исторического процесса покидала даже близких к гегельянству теоретиков.

Фрейденберг едва ли могла себе позволить усомниться в спасительной силе истории. Как историк культуры, она понимает, что такое представление об истории — это секулярный вариант бессмертия, и она осознанно описывает «архив» как материальное средство преодоления смерти; «чувство истории» как эквивалент религиозного чувства. Архив предлагает надчеловеческое и надвременное бытие даже материалисту. (Это торжественное заявление заканчивается

на иронической ноте: она переживает мысль о своей скорой смерти и будущем бессмертии в истории как светлую радость и физическое преображение.)

Вскоре Фрейденберг стало ясно, что отправить свой архив в государственное учреждение никак не возможно. Так возникла идея железного сундука.

К осени 1947 года она организует тетради в единый текст и дает название своей хронике: «Пробег жизни». Она решает прекратить писать: «Жизнь моя окончена. На этом я обрываю ее рукопись» (XXVII: 83, 6); «Записки я прекращаю. Сюжеты, формы, истолкования будут неизменно повторяться» (XXVII: 83, 10). (И жизнь, и записки описаны здесь в текстовых категориях.) Но вскоре она возвращается к запискам, давая новой тетради название «Послесловие», затем «Затяжное послесловие»[19].

Время от времени она теряет веру в архив: «Архив! Кто потащит этот сундук? Куда?» (XXVIII: 19, 86). Она и хочет, и не смеет надеяться на земное возмездие: «До возмездия я не доживу. Я не увижу Московского Нюрнберга...» (XXVII: 83, 9).

Представляется, что «Нюрнберг», или «московский Нюрнберг» (о чем она писала неоднократно), был для нее секулярным вариантом Страшного суда.

Эта идея — восходящая к знаменитой формуле Гегеля «Weltgeschichte ist Weltgericht» (мировая история есть всемирный суд) — занимала и ее современников вне советской России. За этой формулой стояло гегелевское представление, усиленное Марксом, об истории как о телеологическом процессе, подобном христианской истории, то есть ведущем в конечном итоге к возмездию и искуплению. Об историческом сознании Нового времени как секуляризации иудохристианского эсхатологического мышления писал Карл Лёвит в книге «Смысл в истории», опубликованной в 1949 году в США (куда ему удалось бежать из гитлеровской Германии). Однако Лёвит описал такие идеи (от Гегеля и Маркса до Дильтея), а особенно представление об истории как о международном трибунале, как трагическую «иллюзию», и притом в политическом смысле весьма опасную, полагая, что в условиях современности (а именно в гитлеровской Германии) политическая теология, а с ней секуляризованная вера в объективный смысл истории и надежды на спасение помогли некоторым мыслителям (прежде всего Карлу Шмитту) принять мессианистическую идеологию нацизма[20].

В России непоколебимая ничем вера в историю, несущую возмездие (даже если оно предстоит после нашей смерти или вовсе вне времени), была частью интеллигентского сознания от гегельянского варианта в XIX веке до марксистского в XX-м. Для Фрейденберг и ее современников в Советском Союзе эти идеи оставались актуальными и очень личными. (Им хотелось истолковать формулу Гегеля именно в том смысле, что история есть эквивалент международного трибунала.) Эта идея подлежала всем запискам, которые, как многие дневниковые и мемуарные документы советской эпохи, предназначались и как свидетельские показания на своего рода Нюрнбергском суде истории[21].

---

19 В конечном варианте записок тетради XXVII и XXVIII имеют подзаголовок «Затяжное послесловие», причем слово «затяжное», по-видимому, прибавлено позже.

20 См.: [Лёвит 2021]. О критической позиции Лёвита по отношению к гегельянскому и постгегельянскому историзму в контексте нацизма см.: [Barash 1998].

21 О таком историческом сознании и его роли в дневниках и мемуарах советской эпохи подробнее речь идет в: [Паперно 2021: 23—31; 75—77].

L’état de siège

Итак, Фрейденберг продолжала писать. Сюжеты и образы повторяются. Она вспоминает о блокаде. Она ненавидит Сталина. Она по-прежнему любит Б. (Десять лет ее чувство оставалось нереализованным, а в блокаду она боялась, что, пережив одну голодную зиму с «Гитлером-Попковым»[22], при возможной встрече с Б. она уже не будет женщиной (XIII: 52, 68).)

Летом 1948 года она записала: «…я отдалась ему» (XXXI: 20, 14). Она объяснила неудачу в исторических терминах: «Современному советскому мужчине я оказалась непригодна» (XXXI: 21, 16). Проблемой оказалось тело: «Б. отверг меня за то, что я не сумела обойтись с его телом» (XXXI: 23, 23).

Во все послевоенные годы блокада преследует ее в мыслях и воспоминаниях, и иногда образ блокады настигает неожиданно, как флешбэк (говорящий о клинической травме). Вот она стоит у окна:

> Стою и думаю о блокаде, думаю новыми думами. Мне становится ясно, что вся блокада была паспортом советского строя. Вы внезапно открываете дверь и видите человека в неубранном естестве. — Все, что пережито в блокаду, было типичным выражением сталинской нарочитой разрухи и угнетения, затравливания человека. Но это было краткое либретто. До и после блокады — та же тюремная метода, разыгранная медленно и протяжно. <…> Я эти строки пишу почти в темноте. Мне светит история. Я замерзаю. Это даже не блокада и не осада. Это простой, обыденный советский день (XXVIII: 17, 77—78).

Повторим, что для Фрейденберг блокада была и символом советского строя, и той лабораторией, в которой черты новой формы правления, неизвестной Аристотелю, проявились с полной очевидностью. Начав анализировать эту систему в блокадных записях, она развивала свои выводы в записках послевоенного времени. Эта теория включала представление о блокаде, или «осаде», как об исключительном положении, ставшем обыденным явлением — о нарочитой нормализации катастрофического в советском быту.

И в этом Фрейденберг следовала методологии и понятийному языку, которыми пользовались и современные ей западные авторы. Понятие об «осадном положении» (état de siège) было использовано в качестве метафоры особого состояния общества уже Гоббсом, а в политической практике использовалось в период Французской революции. В преддверии Второй мировой войны оно приобрело особое значение. Карл Шмитт (как юрист он играл роль в создании теории нацистского государства) разработал свою концепцию état de siège (или «чрезвычайного положения») как особого режима действия органов государственной власти, при котором правовые нормы временно отменяются с целью защиты от внешней или внутренней угрозы[23]. Фраза «осадное положение» использовалось и как метафора тоталитаризма: в 1948 году Камю написал пьесу «L’état de siège» — аллегорию прихода тоталитарного режима в один отдельно взятый город.

---

22 Попков был городским главой в блокадном Ленинграде, ответственным за распределения питания.

23 В наше время идея «чрезвычайного положения» стала популярной и благодаря Джорджо Агамбену, который говорит об «état de siège» и как о ситуации, когда произвол и террор приняты в качестве нормы также и в либеральном обществе.

Для Фрейденберг «осадное положение» было не только метафорой или понятием политической философии, но и реальным бытовым опытом.

«Окончание»

Наступил день, когда Фрейденберг («заполнив лакуну» в описании своей жизни между 1917 и 1941 годом) подошла к концу своих записок. Она «глубоко оплакивала кафедру, дело своей жизни...» (заведование кафедрой, от которого ее вынудили отказаться, «быстро», как она отметила, согласился взять на себя ее коллега Я.М. Боровский) (XXXIII, 94). В 1950 году она после многих колебаний ушла на пенсию и окончательно покинула университет.

В последней тетради (тетрадь XXXIV, датированная 1950 годом, имеет подзаголовок «Окончание») она подводит итоги своему анализу сталинизма: «Сталинизм, несомненно, внес много нового...» (речь об этом шла выше).

Как уже не раз указывалось (и в будущей книге предстоит пояснить), в концепции Фрейденберг есть много общего с теорией, разработанной ее западной современницей Ханной Арендт. Есть и различия. Арендт, видевшая концлагерь как воплощение новой формы правления, полагала, что с внутренней точки зрения не возможен ни непосредственный рассказ, ни воспоминание о таком опыте. О переживших концлагерь Арендт пишет, что «возвращение в психологически или как-то иначе понятный человеческий мир напоминает воскресение Лазаря». «Воспоминание помогло бы здесь не более чем свидетельство очевидца, который не способен сообщить свой опыт другому человеку» [Арендт 1996: 572].

Фрейденберг могла бы узнать себя в образе воскресшего Лазаря. В течение всех послевоенных лет она (не употребляя этой метафоры) вновь и вновь пишет о себе как живом мертвеце, насильно возвращенном к жизни. И тем не менее Фрейденберг оказалась способна на то, чтобы сообщить другим свой опыт (хотя и не лагеря в буквальном смысле), оставив-таки не только свидетельство, но и теоретическое осмысление.

Как я старалась показать, ее записки — это дневник-теория (или теория-дневник), то есть теория, пережитая как опыт и отрефлексированная как концепция.

Последние полторы страницы («эпилог») записок посвящены итогу и смыслу («семантике») ее жизни (XXXIV, 153—154)[24]. Перечислив потери и поражения (в семье, в науке, в любви, на кафедре), она заключает, что «самое ужасное — осада, которую я увидела воочью, то скальпирование живого человека, перенести которое не может ничья душа».

Она говорит о своих записках в апокалиптических терминах (как о протесте «против артиллерии антихриста») и утверждает свою готовность бороться и дальше:

> Я, конечно, внутренне не сдамся и дальше. Записки, написанные среди обысков, арестов и казней, есть мой человеческий протест против артиллерии антихриста. Я буду дальше рыться в земле в поисках целебного корня и выступать против

24 Все цитаты, приведенные ниже, находятся на этих страницах.

> штаб-квартиры Марьи Лазаревны и кретинизма Боровского, буду бунтовать, делать усилия, чтоб написать последнюю книгу; я буду верить в науку и в историю.

Вера в историю (и в науку) осталась с ней до конца, непоколебимая ничем.

Заметим, что такое восприятие истории было чуждо ее западной современнице Ханне Арендт. В «Истоках тоталитаризма» она подвергла критическому анализу гегельянски-марксисткое представление об истории как надчеловеческом, абсолютном процессе, «движущемся по своем законам к концу исторического времени». Она видела представление об истории как о некоем «высшем суде» как легитимацию террора, использованную государством Сталина [Там же: 601—603]. Позже, рассуждая о европейских левых, Арендт напишет, что «пакт Гитлера-Сталина был поворотным пунктом»: «...теперь пришлось отказаться от всякой веры в историю как высшего судию над делами человеческими» [Arendt 2007: 299].

Фрейденберг не отказалась ни от веры в историю, ни от бунта против тирании во всех ее формах, ни от намерения продолжать противостоять злу. При этом даже в эту торжественную минуту она упомянула борьбу против «штаб-квартиры» коллеги по факультету Марьи Лазаревны Тронской и Боровского, то есть университетские склоки.

В последних строках Фрейденберг делает попытку, обычно недоступную в автобиографии или дневнике — дописать свою хронику до конца, до момента своей смерти. Перед лицом смерти она вновь призывает торжественный образ Страшного суда истории, «московский Нюрнберг», в непосредственной связи с образом матери, погибшей в блокаду:

> Не знаю, когда и от чего я умру. Но одно знаю: если я буду умирать в сознаньи, в моих глазах будут стоять два образа — моей матери — и московского Нюрнберга.
>
> О. Фрейденберг
>
> 10 декабря 1950 г.

Ольга Михайловна Фрейденберг умерла 6 июля 1955 года от рака. Ее записки остаются неопубликованными по сей день.

Библиография / References

[Арендт 1996] — *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И.В. Борисовой и др.; послесл. Ю.Н. Давыдова; под ред. М.С. Ковалевой, Д.М. Носова. М.: ЦентрКом, 1996.

(*Arendt H.* The Origins of Totalitarianism. Moscow, 1996. — In Russ.)

[Брагинская 2013] — *Брагинская Н.В.* Дух записок: реплика Н.В. Брагинской по поводу интеллектуального наследия О.М. Фрейденберг и книги П.А. Дружинина «Идеология и филология» // Гефтер.ру. 2013. 16 августа (http://gefter.ru/archive/9736 (дата обращения: 21.04.2016)).

(*Braginskaya N.V.* Dukh zapisok: replika N.V. Braginskoy po povodu intellektual'nogo naslediya O.M. Freydenberg i knigi P.A. Druzhinina "Ideologiya i filologiya" // Gefter.ru. 2013. August 16. (http://gefter.ru/archive/9736 (accessed: 21.04.2016)).)

[Брагинская 2017] — *Брагинская Н.В.* «У меня не жизнь, а биография» // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культуро-

логия. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 11—38.

(*Braginskaya N.V.* "U menya ne zhizn', a biografiya" // Vestnik RGGU. "Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie" Series. 2017. № 4 (25). P. 11—38.)

[Брагинская 2009] — *Брагинская Н.В.* Мировая безвестность: Ольга Фрейденберг об античном романе. М.: ГУ-ВШЭ, 2009.

(*Braginskaya N.V.* Mirovaya bezvestnost': Ol'ga Freydenberg ob antichnom romane. Moscow, 2009.)

[Дружинин 2012] — *Дружинин П.А.* Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. Документальное исследование. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

(*Druzhinin P.A.* Ideologiya i filologiya. Leningrad, 1940-e gody. Dokumental'noe issledovanie. Moscow, 2012.)

[Клемперер 1998] — *Клемперер В.* LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Пер. с нем. А.Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998.

(*Klemperer V.* Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen. Moscow, 1998. — In Russ.)

[Костенко 1994] — *Костенко Н.Ю.* Проблемы публикации мемуарного и эпистолярного наследия ученых: по материалам личного архива проф. О.М. Фрейденберг: Дипломная работа. М., 1994. (http://freidenberg.ru/Issledovanija/Diplom (дата обращения: 28.08.2022)).

(*Kostenko N.Yu.* Problemy publikatsii memuarnogo i epistolyarnogo naslediya uchenykh: po materialam lichnogo arkhiva prof. O.M. Freydenberg: Graduation thesis. Moscow, 1994. (http://freidenberg.ru/Issledovanija/Diplom (accessed: 28.08.2022)).)

[Костенко 2017] — *Костенко Н.Ю.* «Я не нуждаюсь ни в современниках, ни в историографах»: история архива Ольги Фрейденберг // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 117—127.

(*Kostenko N.Yu.* "Ya ne nuzhdayus' ni v sovremennikakh, ni v istoriografakh": istoriya arkhiva Ol'gi Freydenberg // Vestnik RGGU. "Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie" Series. 2017. № 4 (25). P. 117—127.)

[Левинская 2013] — *Левинская И.* О филологии без идеологии. Реплика по поводу двухтомника П.А. Дружинина «Идеология и филология» // Звезда. 2013. № 8. С. 173—183.

(*Levinskaya I.* O filologii bez ideologii. Replika po povodu dvukhtomnika P.A. Druzhinina "Ideologiya i filologiya" // Zvezda. 2013. № 8. P. 173—183.)

[Лёвит 2021] — *Лёвит К.* Смысл в истории. Теологические предпосылки философии истории / Пер., примеч. и предисл. А. Саркисьянца. СПб.: Владимир Даль, 2021.

(*Löwith K.* Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History. Saint Petersburg, 2021. — In Russ.)

[Лотман 1973] — *Лотман Ю.М.* О.М. Фрейденберг как исследователь культуры // Труды по знаковым системам. Тарту: Тарт. ун-т, 1973.

(*Lotman Yu.M.* O.M. Freydenberg kak issledovatel' kul'tury // Trudy po znakovym sistemam. Tartu, 1973.)

[Паперно 2016] — *Паперно И.* «Осада человека»: Блокадные записки Ольги Фрейденберг в антропологической перспективе // Новое литературное обозрение. 2016. № 139. С. 184—204.

(*Paperno I.* "Osada cheloveka": Blokadnyye zapiski Ol'gi Freydenberg v antropologicheskoy perspektive // Novoe literaturnoe obozrenie. 2016. № 139. P. 184—204.)

[Паперно 2021] — *Паперно И.* Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

(*Paperno I.* Sovetskaya epokha v memuarakh, dnevnikakh, snakh. Moscow, 2021.)

[Пастернак 1981] — *Пастернак Б.* Переписка с Ольгой Фрейденберг / Под ред. и с коммент. Э. Моссмана. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981.

(*Pasternak B.* Perepiska s Ol'goy Freydenberg / Ed. and comment. by E. Mossman. New York, 1981.)

[Пастернак 2000] — *Пастернак Б.* Пожизненная привязанность: переписка с О.М. Фрейденберг / Сост., вступл. и прим. Е.В. и Е.Б. Пастернак. М.: Арт-Флекс, 2000.

(*Pasternak B.* Pozhiznennaya privyazannost': perepiska s O.M. Freydenberg / Comp., introd. and notes by E.V. i E.B. Pasternak. Moscow, 2000.)

[Сандомирская 2013] — *Сандомирская И.* Блокада в слове. Очерки критической теории и биополитики языка. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

(*Sandomirskaya I.* Blokada v slove. Ocherki kriticheskoy teorii i biopolitiki yazyka. Moscow, 2013.)

[Троицкий 2017] — *Троицкий С.А.* Генетический метод О.М. Фрейденберг в исследовании культуры // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2017. № 4 (25). С. 39—60.

(*Troitskiy S.A.* Geneticheskiy metod O.M. Freydenberg v issledovanii kul'tury // Vestnik RGGU. "Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie" Series. 2017. № 4 (25). P. 39—60.)

[Фрейденберг 1986] — *Фрейденберг О.М.* Будет ли московский Нюрнберг? (из записок 1946—1948) // Синтаксис. Париж. 1986. № 16. С. 149—163.

(*Freydenberg O.M.* Budet li moskovskiy Nyurnberg? (iz zapisok 1946—1948) // Sintaksis. Paris. 1986. №. 16. P. 149—163.)

[Фрейденберг 1987] — *Фрейденберг О.М.* Осада человека / Публ. К. Невельского // Минувшее: исторический альманах. Paris: Atheneum, 1987. Вып. 3. С. 7—44.

(*Freydenberg O.M.* Osada cheloveka / Publ. by K. Nevel'skiy // Minuvshee: Historical almanach. Paris, 1987. Iss. 3. P. 7—44.)

[Фрейденберг 1991] — *Фрейденберг О.М.* Университетские годы / Предисл., публ. и коммент. Н.В. Брагинской // Человек. 1991. № 3. С. 145—156.

(*Freydenberg O.M.* Universitetskiye gody / Forew., publ. and comment. by N.V. Braginskaya // Chelovek. 1991. № 3. P. 145—156.)

[Шмитт 2006] — *Шмитт К.* Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / Пер. с нем. Д.В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2006.

(*Schmitt C.* Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Saint Petesburg, 2006. — In Russ.)

[Arendt 1994] — *Arendt H.* Dilthey as Philosopher and Historian // Essays in Understanding / Ed. by J. Kohn. New York: Schoken Books, 1994. P. 136—139.

[Arendt 2007] — *Arendt H.* Remembering Wystan H. Auden // Reflections on Literature and Culture / Ed. and introd. by S.Y.-Ah Gottlieb. Stanford: Stanford University Press, 2007. P. 294—302.

[Barash 1998] — *Barash J.A.* The Sense of History: On Political Implications of Karl Löwith's Concept of Secularization // History and Theory. 1998. Vol. 37. № 1. P. 69—82.

[Braginskaya 2016] — *Braginskaya N.* Olga Freidenberg: A Creative Mind Incarcerated // Women Classical Scholars: Unsealing the Fountain from the Renaissance to Jacqueline de Romilly / Ed. by R. Wyles and E. Hall. New York: Oxford University Press, 2016. P. 286—312.

[McCormick 1994] — *McCormick J.P.* Fear. Technology, and the State: Carl Schmitt, Leo Strauss, and the Revival of Hobbes in Weimar and National Socialist Germany // Political Theory. 1994. Vol. 22. № 4. P. 619—652.

[Perlina 2002] — *Perlina N.* Ol'ga Freidenberg's Works and Days. Bloomington, Indiana: Slavica, 2002.

[Sandomirskaia 2010] — *Sandomirskaia I.* A Politeia in Besiegement: Lidiia Ginzburg on the Siege of Leningrad as a Political Paradigm // Slavic Review. 2010. Vol. 69. № 2. P. 306—326.

[Tihanov 1999] — *Tihanov G.* [Review of] Mythopoetic Roots of Literature by Olga Freidenberg, ed. by Nina Braginskaia and Kevin Moss // The Slavonic and East European Review. 1999. Vol. 77. № 1. P. 160—162.

[Tihanov 2012] — *Tihanov G.* Framing Semantic Paleontology: the 1930s and beyond // Russian Literature. 2012. Vol. 72. Iss. 3—4. P. 361—384.

Анкета

Гуманитарная наука после 24 февраля

Часто считается, что наука не та область, где изменения могут происходить за одну ночь. Даже эпохальным открытиям и новшествам порой требуются десятилетия для того, чтобы оказать заметное влияние на исследования. Но гуманитарная наука настолько плотно укоренена в исторической действительности, что на ней едва ли могут не сказаться те политические, дипломатические и экономические изменения, которые последнее время переживают Россия, Украина и все сколько-нибудь связанные с ними страны. Уже несколько месяцев обрываются научные связи между Россией и странами Запада: отменяются международные проекты и конференции, издательства перестают давать права на публикацию переводов и т.д. И если верно, что природа не терпит пустоты, то со временем на смену исчезнувших связей придут новые. А поскольку гуманитарное знание отражает и выражает историческую среду, в которой существует, то вместе с институциональной структурой гуманитарных наук должно измениться и содержание того, что они изучают. Так, в западной академической среде уже идут разговоры о «деколонизации» славистики и других областей гуманитарного знания, касающегося России, Средней Азии и Восточной Европы: предполагается, что им предстоит не только рефлексировать собственные имперские или колониальные корни (что происходило и раньше, в том числе на страницах нашего журнала[1]), но и меняться в таких направлениях, которые в настоящий момент может быть трудно вообразить.

Прямо сейчас нелегко предсказать, каким именно изменениям в гуманитарном знании положило начало 24 февраля. Но в гуманитарных науках речь никогда не идет об одном только предсказании. Формирование повестки собственных дисциплин всегда входило в задачи гуманитариев. И если времена

1 См. специальные номера «Нового литературного обозрения»: «(Пост)имперское воображение и культурные практики» (2017. № 144); «Постсоветское как постколониальное. Специальный выпуск. Часть I» (2020. № 161); «Постсоветское как постколониальное. Специальный выпуск. Часть II» (2020. № 166).

исторической неопределенности затрудняют прогнозирование, то для переосмысления целей и ориентиров они подходят как нельзя лучше. В надежде стимулировать этот процесс мы сформулировали несколько вопросов, касающихся недавнего прошлого и ближайшего будущего гуманитарных дисциплин, и задали их нашим постоянным авторам и давним друзьям-гуманитариям.

Наблюдаете ли Вы фундаментальные трансформации Вашей дисциплины за последние тридцать лет? Какие достижения и лакуны в исследовательских практиках можно констатировать в рамках Ваших научных интересов?

Сергей Зенкин (*Свободный университет, РГГУ и НИУ ВШЭ, профессор*): В мировой литературной науке главное изменение состоит в том, что она все больше взаимодействует с новой дисциплиной — cultural studies — и под ее влиянием постепенно изживает фиксацию на «великих» и «образцовых» авторах (от которой один шаг до культурного империализма). В России этот процесс задержался: после антикоммунистической революции начала 1990-х годов филологи и критики занялись не столько деконструкцией, сколько реконструкцией, реорганизацией литературного канона, заменой одной классики на другую (возвысить Серебряный век по сравнению с Золотым, на место Горького поставить Солженицына, на место Маяковского — Бродского…). Другая перемена, происшедшая по соседству с русской литературной наукой, — возникновение интеллектуальной истории, которая не существовала как таковая при советской власти; одним из ее предметов является история филологии, и здесь уже сделано кое-что интересное: я имею в виду, например, многочисленные работы о «русской теории» 1920-х годов.

Сергей Ушакин (*профессор кафедры антропологии и кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета*): Да, конечно, наблюдаю. Тридцать лет — это все-таки слишком большой срок, чтобы не увидеть изменений даже в самых консервативных и традиционалистских дисциплинах. В американской антропологии за эти годы концептуальные и этнографические ориентиры сменились довольно сильно. Установка на «насыщенное описание», введенная Клиффордом Гирцом, постепенно сошла на нет. Вместо дискурсивных кружев и риторических поисков скрытых смыслов и ассоциаций появились совсем другие исследования.

Интерес к телу (как уход от зацикленности на дискурсивности и текстуальности) естественно спровоцировал попытки пересмотреть наше понимание материальности в целом. В итоге появились «новые материализмы», «теория вещей» и прочие «объектно-ориентированные онтологии». С другой стороны, то же самое недовольство засильем «текстуальности» и «семиотики» выразилось в стремлении присмотреться внимательнее к роли и месту аффекта в социальных отношениях. Собственно, «аффективный поворот», начавшийся лет двадцать назад, удачно совместил в себе интерес к телесности и материальности с осознанными попытками не сводить все лишь к знакам и символам.

Интерес к материальности и объектности любопытным образом пересекся с темами климатических изменений и экологии, которые стали все сильнее

звучать в антропологии. А критика антропоцентризма, естественная в данном контексте, привела к росту аналитического внимания к разнообразным нечеловеческим акторам — от камней и животных до электричества.

Иными словами, я не вижу недостатка методов и аналитических подходов в своей дисциплине. Насколько ситуация отличается в российской антропологии, мне судить сейчас сложно. Мне кажется, попытки делаются. Книги переводятся, но поскольку в России этой дисциплиной занимаются мало, то ее эффект довольно незначителен.

Если говорить о славистике, к которой я тоже принадлежу, то тут ситуация, на мой взгляд, иная. Это поле никогда не отличалось концептуальными амбициями. Ставка всегда делалась, так сказать, на сам факт. Принципиальное советское методологическое достижение — жанр научного комментария к текстам классиков — в общем продолжает оставаться одним из самых главных способов организации научного исследования и его презентации. В итоге пространства для выработки новых концепций и теорий нет.

В этом плане интересно сравнивать схожие исследовательские поля в России и за рубежом. Например, начиная с конца 1980-х годов исследования холокоста последовательно формировали интеллектуальную повестку дня в гуманитарных исследованиях, привлекая внимание сначала к теме памяти и ее подавления, затем — к статусу жертвы (victimhood), затем — к проблематике свидетельствования и свидетелей (witnessing and witnesses), к войнам памятей (memory wars) и, наконец, к теме выживания (survival). Каждый поворот сопровождался волной этнографических и теоретических споров, конференций и антологий.

Исследования насилия в западной славистике и в России идут совсем по иному пути — по пути все того же наращивания фактической базы — больше документов, больше писем, больше дневников, больше баз данных и т.д. Но сколько-нибудь значимого концептуального осмысления самого материала не происходит. Появились замечательные серии опубликованных документов — скажем, многотомная «Россия. XX век», — а вот оригинальных теорий насилия на основе этих материалов так сформулировано и не было. «Тоталитаризм» и «Большой террор», возникшие в годы холодной войны, продолжают служить универсальными концептуальными отмычками. Исследования диссидентства, мне кажется, тоже примерно в таком же интеллектуальном состоянии: базовая бинарность «подавление/сопротивление» оказывается и началом, и концом концептуальных амбиций уже много лет. Интеллектуальная пустота таких «вечных отмычек» сегодня особенно очевидна. Например, термины «фашизм» и «нацизм» подверглись полной и бесповоротной, как сейчас говорят, детерриториализации и используются по обе стороны баррикад, не имея никакой внятной дескриптивной основы.

Или еще один пример — исследования Второй мировой войны. Начиная с 1990-х годов появились действительно интересные работы, посвященные самым разным аспектам этого периода, но я не могу сходу назвать ни одной популярной концепции, которая возникла за последние тридцать лет, скажем, в исследованиях блокады, партизанского движения или коллаборационизма. Показательны в этом плане дискуссии о работах Светланы Алексиевич. Вопросов о *методах*, с помощью которых конституируется речь свидетелей в ее книге, вопросы об *этике* ее работы с чужими свидетельствами — то есть вопросы о том, как именно происходит актуализация материалов прошлого

в этом жанре парадокументальной прозы, — практически не поднимаются. Споры в основном ведутся о политической позиции автора. Как говорил когда-то Виктор Шкловский: хватит писать о Толстом, давайте писать о «Войне и мире». Мне кажется, он был, как всегда, прав.

Если материал не отливается в понятия, если он не превращается в аналитический прием, то в итоге не появляется и новых концептуальных полей, не возникает основы для выработки теорий, которые могли бы быть перенесены в смежные дисциплины. Установка на материал — неплохая сама по себе — оказывается самодостаточной. И мне кажется, что это ошибка.

Что делать с этим, мне не очень понятно. Я надеялся раньше, что этот теоретический ступор в гуманитарных науках — это следствие их интеллектуальной выхолощенности в советский период (позитивистская опора на факт позволяла избежать идеологизации). То есть мне казалось, что это явление временное. Но, судя по отсутствию прорывов в этой области, мне кажется, корни этого явления нужно искать где-то еще. Хотя — стоит ли искать?..

Александр Семенов (*приглашенный профессор истории в Амхерст-колледже*): В мировой историографии я бы выделил два важных изменения в исторических исследованиях, которые связаны с взрывным развитием новой имперской истории и глобальной истории. Новая имперская история — это направление, связанное не только с осмыслением исторических процессов разнообразия и связанности в большом регионе Северной Евразии и опознаваемое по публикациям в журнале «Ab Imperio». Если посмотреть шире, данное направление развивается в британской истории (см., например, Стивена Хау (Stephen Howe) и его интерпретацию new imperial history), в области переосмысления глобальной истории империи Джейн Бурбанк и Фредериком Купером. Исторически интерес к проблематике разнообразия в его политическом и социальном выражении вырос из поля теоретической рефлексии над проблемами национализма и колониализма. Классические критические теории национализма поставили проблему несоответствия рамки национальной истории разнообразному пространству опыта прошлого, но при этом не предложили нового языка и видения для создания новых исторических нарративов. Многие наблюдатели говорят о сохранившемся методологическом национализме в работах деконструкторов нации и национализма — имеется в виду телеологичность в воображении магистрального направления истории Нового и Новейшего времени, устремленного к форме национального государства и нации как форме политической принадлежности и социальной солидарности. В рамках новой имперской истории как раз и происходит творческая работа по созданию новых нарративов исторического развития, которые высвечивают множественность форм суверенитета (супранациональные политические формации и системы разделенного суверенитета) и социальной солидарности (постколониальной и постимперской гибридной субъектности) в прошлом и ставят вопрос об исключительной монополии нации и национального государства на будущее.

Сходным образом в рамках глобальной истории (которую не следует путать, по удачному выражению Себастиана Конрада, с историей глобализации) происходит критика национально-контейнерного видения пространства прошлого опыта. Дополнительным импульсом для развития глобальной истории явилась ревизия евроцентризма в разных его формах (нарративных и эпистемологиче-

ских). Аналогично новой имперской истории в рамках глобальной истории ставится проблема исторического нарратива — как описать глобальное разнообразие прошлого вне заданного нарратива возвышения Запада как привилегированного субъекта истории и без порожденного колониализмом представления об антизападной аутентичности? Отсутствие готовых лекал нового исторического нарратива и языка описания разнообразия стало для выделенных мной двух направлений исторической мысли толчком к рефлексии и творческому экспериментированию с языком и формой исторического повествования.

Николай Плотников (*Рурский университет Бохума, профессор русской культурной и интеллектуальной истории Института славистики и русской культуры им. Лотмана*): В исследованиях интеллектуальной истории России в последние тридцать лет непрерывно усиливался тренд, который можно назвать «самоориентализацией». Он распространялся с начала 1990-х годов после крушения советской модели «истории общественной мысли», которая в марксистском духе укладывала все факты в единую линию неуклонного прогресса, кульминацией которого был сам советский марксизм в его ленинско-сталинском варианте. Эта модель не была ни подвергнута критике, ни деконструирована, а просто отброшена после распада СССР. Ее место довольно быстро заняла модель «самобытной русской философии», позаимствованная из эмигрантской философской литературы середины XX века и в первую очередь из трудов Н.А. Бердяева, а также из «Историй русской философии», вышедших из-под пера В.В. Зеньковского, Н.О. Лосского и др. Отныне «русская религиозная философия» установилась как новая «генеральная линия» в исследованиях интеллектуальной истории России (и в сфере преподавания этой истории).

Факторы, способствовавшие установлению этой модели, были отнюдь не только идеологического характера. Конечно, антикоммунистический импульс, заключавшийся в стремлении заменить идеологический каркас советской философской науки прежде запрещенными идеями эмигрантских религиозных философов, был чрезвычайно силен. Но довольно быстро в производство текстов о «русской идее» и «самобытной русской философии» включились многочисленные когорты бывших преподавателей марксизма-ленинизма, увидевшие в новой модели знакомое по советским временам подчинение автономного философского знания идеологическим постулатам, теперь лишь религиозного порядка.

Вместе с тем укреплению этой парадигмы способствовало и вполне научное стремление исследователей обратиться к изучению и открытию прежде неизвестного и недоступного интеллектуального наследия русской эмиграции и философии дореволюционного периода — стремление, входившее в резонанс с литературоведческим и культурологическим открытием культуры «Серебряного века». Поток републикаций русских философских текстов начала XX века и эмиграции с новыми предисловиями, публикаций архивных биографических документов, переписки и ранее неопубликованных текстов захлестнул публичное пространство науки с 1990-х годов. При этом не было почти никаких попыток критической рефлексии ни самого этого републикуемого наследия, ни той историко-философской модели, которая заимствовалась из эмигрантских обзоров русской философии.

Так случилось, что историко-архивный позитивизм вместе со своим антиподом в виде устремления прежних идеологических работников к новой «на-

циональной идее» укрепили парадигму «самобытной русской философии» в понимании интеллектуальной истории России. Отличительными особенностями этой парадигмы было почти полное заимствование концептуального горизонта дискуссий первой половины XX века, обогащенное новыми биографическими данными и архивными материалами.

Развитие дисциплины интеллектуальной истории в два десятилетия XXI века происходило уже в рамках сложившейся парадигмы «самобытности», окончательно институционализированной в университетском образовании. В отличие от предшествовавшего стихийного ее формирования в первое постсоветское десятилетие, теперь для ее обоснования задействовались аргументы из западных концепций «культурного релятивизма», критики «европоцентризма» и даже постколониальных теорий. Тезисы о несоизмеримости культурных и исторических контекстов, несовместимости «цивилизационных кодов» и неприменимости «западных» и «европоцентристских» концептов к изучению «русской духовности» становились базовыми в стратегии иммунизации собственной позиции от всякой критики, а также помогали представить изучаемые традиции как некое гомогенное пространство культурной самобытности. Следствием распространения такого культурного релятивизма и связанных с ним стратегий гомогенизации стало представление «русской философии» как жертвы западной колонизации, с одной стороны, и вместе с тем господствующей традиции на всем культурном пространстве бывшего СССР — с другой.

Принуждение российских университетов к включению в глобальный научный процесс через внедрение принципов Болонской системы и необходимость печататься в западных журналах и издательствах в последнее десятилетие нисколько не пошатнули парадигму самобытности, а, наоборот, ее только усилили, позволив представить «русскую философию» (в которую постепенно было включено и советское наследие) как предмет философской экзотики, в которой антизападный ресентимент вполне сочетался с логикой научного маркетинга и продвижения в западных публикациях.

Отсутствие критической рефлексии базовых предпосылок этой парадигмы самобытности в сочетании с переориентацией на рыночные стратегии способствовали тому, что исследования русской философии оказались неспособными противостоять политическим манипуляциям и превращению в идеологическое оружие борьбы с Западом, которые стали в последнее десятилетие основными способами авторитарного давления на науку.

Военная катастрофа демонстрирует с особенной отчетливостью полную интеллектуальную несостоятельность этой парадигмы и обнаруживает необходимость ее критической деконструкции.

Катриона Келли (*профессор русистики Тринити-колледжа Кембриджского университета*): Я бы сказала, что трансформация истории литературы и культуры началась значительно раньше, чем тридцать лет назад. Некоторые исследования, оказавшие фундаментальное влияние на эту область, восходят к 1970-м годам (назовем только три: «Надзирать и наказывать» Фуко, «Сыр и черви» Гинзбурга и «Возвращение Мартена Герра» Натали Земон Дэвис). На самом деле можно утверждать, что движение в сторону «антропологизации» прошлого заметно уже, скажем, в «Homo Ludens» Йохана Хейзинги, в трудах Филиппа Арьеса или в книге Энид Уэлсфорд «Дурак: его социальная

и литературная история» (первоначально опубликованной в 1935 году, но переизданной в 1961-м и 1968-м). И это не говоря о влиянии школы «Анналов», а в Великобритании и США — академических беженцев из Третьего рейха (например, Зигфрида Кракауэра и Эрвина Панофски). Младший представитель этой когорты беженцев, Зигберт Правер (1925—2012), исследователь и писатель, изучавший фильмы ужасов, а также немецкий романтизм и немецко-еврейскую литературу, в частности Гейне, был профессором немецкого языка на кафедре Тейлора, когда я училась в Оксфордском университете. Чрезвычайно важный вклад внесли Ричард Хоггарт, Стюарт Холл и другие сотрудники и бывшие студенты (например, историк-феминистка Кэтрин Холл) Центра современных культурных исследований Бирмингемского университета (Centre for Contemporary Cultural Studies), основанного в 1964 году (и закрытого в 2002 году руководством университета, для которого библиометрия была более важным критерием, чем международный статус), а также более старыми левыми фигурами, такими как Рэймонд Уильямс и Э.П. Томпсон.

Если говорить о том, когда стал мейнстримом подход (или подходы — их было много) «литература как культура», то одним из критериев будет его институционализация в престижных консервативных университетах. Я помню негодование, когда в 1981 году постструктуралисту Колину Маккейбу отказали в постоянной должности в Кембриджском университете; волны скандала не только ощущались в академических кругах, но затронули и более широкое общественное мнение. В конце 1980-х годов, будучи постдоком и пытаясь сформулировать концепцию своей первой книги, посвященной русскому уличному театру, я узнала о Карло Гинзбурге, чему обязана случайному разговору с приглашенным американским историком Тимоти Брином (меня немного вывело из себя, когда он сказал, что микроистория Гинзбурга придется мне по душе, но он был прав). Вскоре я переключилась на Стивена Гринблатта и других деятелей нового историзма, не говоря уже о культурной антропологии (в то время мое воображение занимал не столько Гирц, сколько Джим Клиффорд. Меня до сих пор интересуют некоторые поставленные им вопросы о том, чем определяется ценность; полагаю, в некоторых отношениях книга была вызовом кантовской «Критике способности суждения», которую я читала на последнем году школы).

Похоже, что в Россию изменения, которым подверглась культурная история, пришли позднее. При этом, конечно, бывало и наоборот: Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, а позднее М.М. Бахтин оказали большое влияние на западное мышление о культуре, подобно тому, как до них это сделали русские формалисты, иногда опосредованно, скажем через Цветана Тодорова. В любом случае я не претендую на роль первооткрывательницы. Я бы сказала, что на моей собственной работе интерес к теории культуры сказался не раньше 1990 года, когда у меня вышла книга «Петрушка: русский карнавальный театр кукол» («Petrushka, the Russian Carnival Puppet Theatre»), — название, конечно, дань уважения Бахтину, но в книге присутствует и много других влияний. Таким образом, то, чем я занималась, шло в ногу с событиями в России (о чем свидетельствуют немногочисленные, но вовлеченные реакции российских читателей на «Петрушку»). В целом, однако, я полагаю, что трансформация культурной истории приняла в России весьма отличную [от западной] форму. Так, рискну сделать поверхностное обобщение: [в России] примечательной чертой было сравнительно незначительное влияние Франкфуртской школы — без со-

мнения, по той причине, что марксистская социально-политическая критика мало привлекала тех, кто был вынужден изучать марксизм-ленинизм и диамат на протяжении своего образования.

Что касается достижений и лакун: когда я писала введение к своему сборнику «Не в фокусе: русская культура на полях» («Out of Focus: Russian Culture at the Margins»), в который вошли тексты 1990—2000-х годов, — книгу заказало оксфордское издательство «Legenda publishers» для своей серии сборников эссе — я осознала некоторые продолжительные идиосинкразии своих исследований, в частности внимание к группам и текстам, не входившим в мейнстрим. Название сборника — каламбур; оно предполагает помимо прочего и то, что акцент делается на микроисториях и изучении кейсов (однако дело еще и в выбранном жанре, поскольку несколько моих книг имели панорамный охват). Во введении к «Не в фокусе» я дала своему интересу к маргиналиям культуры биографическое объяснение: в частности, я росла членом этнического и конфессионального меньшинства в Англии, стране, имеющей достойную восхищения недавнюю историю терпимости (институционально закрепленную, к примеру, биллем об эмансипации католиков 1829 года) в сочетании с ужасающим прошлым религиозного фанатизма и, разумеется, крайне проблематичной имперской историей.

Елена Чхаидзе (*сотрудник Рурского университета, доктор филологии*): Свою преподавательскую и исследовательскую деятельность я начала в конце 1990-х годов на постсоветском пространстве, в Грузии, а в конце 2000-х продолжила ее в западноевропейском, в Германии. Это дало возможность познакомиться с двумя научными мирами, существовавшими на тот момент. В первом я наблюдала, как в литературоведение в формате «моды» или «шарма» вводилась терминология западной науки, начинались разговоры о компаративистском подходе к гуманитарным дисциплинам. Единичные молодые ученые «пугали» старшее поколение новыми словами. Во втором я уже жила в пространстве относительно новых для меня теорий и терминологии.

На мой взгляд, в литературоведении на постсоветском пространстве за последние три десятка лет происходила трансформация подходов и методов исследования, что было обусловлено облегченным доступом к трудам западных коллег и стремлением стать частью глобального научного сообщества. Грубо говоря, сформировались две группы ученых: 1) продолжающие работать в рамках методов исследования советского периода / советской школы и 2) исследователи, которые стали активно опираться на западные тематические векторы и методологию. Вне зависимости от языка публикации труды ученых второй группы обрели более широкую известность. Если говорить о моих личных научных интересах (вопросы межкультурных, транснациональных, гибридных взаимодействий), то работы американских и европейских ученых стали основой, от которой я отталкивалась. После развала европейских империй появились труды, в которых исследователи попытались определить особенности иерархии и взаимодействия «чужих и своих», а также «гибридов» межкультурного общения (Х. Бхабха, Э. Саид, А. Каппелер, С. Лейтон, Р. Росальдо, Р. Сани). В советской науке эти понятия старательно вписывали в рамки идеологемы «дружбы народов», а в западной науке такого не было. Книги упомянутых авторов повлияли на формирование новых подходов к анализу литературных произведений и литературного пространства как советского, так

и постсоветского периодов. На сегодняшний день существует множество открытых вопросов, касающихся межкультурных пространств. И на них предстоит дать ответы.

Ханс Ульрих Гумбрехт (*философ, теоретик литературы и историк культуры, профессор французской, испанской, немецкой и португальской литератур Стэнфордского университета*): Затрудняюсь сказать, в рамках каких дисциплин я работал последние тридцать лет. Официальный и номинальный ответ на этот вопрос был бы «сравнительное литературоведение» (comparative literature), но в американской университетской среде этим словосочетанием называют, во-первых, [изучение] самого широкого круга национальных и региональных «литератур», а во-вторых, все те философские традиции, которыми не занимаются на факультетах философии — последние почти всегда ориентированы на «аналитический» подход. Другими словами, вплоть до выхода на пенсию — а произошло это четыре года назад — я преподавал и исследовал как «литературу», так и «философию». С учетом сказанного я не вижу, чтобы в недавнем прошлом случились какие бы то ни было основательные или решающие перемены в гуманитарных науках в целом. Вне всякого сомнения, активная «политическая» ангажированность, которую избрали многие коллеги из моего поколения (его часто называют поколением «студенческого переворота» 1968 года), пошла на спад, тогда как «профессионализм» стал новой мантрой индивидуальной и коллективной ориентации. Но что означает «профессионализм»? Здесь видится попытка удовлетворить институциональные ожидания, способствующие карьерному продвижению или даже гарантирующие его. Если в большинстве стран из-за этой переориентации на «профессионализм» гуманитарные науки явно потеряли общественный резонанс, то среди неакадемических деятелей и организаций я наблюдаю и нечто противоположное — новый и удивительный интерес к гуманитарным исследованиям. Другой вопрос — получится ли у нас, академических гуманитариев, быть на уровне подобных ожиданий.

Эллен Руттен (*глава департамента русистики и славистики Амстердамского университета, профессор*): Тридцать лет назад, живя в деревне на юге Голландии, 16-летняя школьница, — я понятия не имела о таких феноменах, как славистика и русистика. Я начала активно работать в области славистики и литературных теорий только с начала XXI века. Между этим моментом и сегодняшним я наблюдала ряд трансформаций (и расширений) дисциплины. Прежде всего, этот ряд включает движение от close reading highbrow к менее текст-ориентированным методам и подходам, рассмотрение литературных практик в социоэкономической перспективе, а относительно недавно — концептуальный интерес к постгуманизму и антропоцену. Главный концептуальный сдвиг последних лет, однако — быстро нарастающий призыв к деколонизации дисциплины, как часть более широкого призыва гуманитариев к деколонизации. В нашей дисциплине последний интерес по понятным причинам экспоненциально растет начиная с февраля этого года.

Отдельный плодотворный сдвиг, который я и наблюдала, и лично чувствую как славистка, — эволюция феминизма от чуть ли не ругательного слова в ранние 2000-е годы до мощного исследовательского инструмента в контексте queer studies и sexuality studies сегодня. В 2000-е годы при защите диссертации

я роптала на феминистские прочтения русской классики Барбарой Хелдт; сегодня я переоткрыла для себя важность и этой, и других ранних феминисток-слависток. И если раньше я называла себя постфеминисткой, то сегодня (отчасти благодаря моим твердо приверженным феминизму студентам) с большим профессиональным интересом изучаю таких славистских феминисток и квир-мыслителей, как Галина Рымбу.

Кевин Платт (*профессор сравнительного литературоведения и исследований России и Восточной Европы в Университете Пенсильвании*): За последние тридцать лет гуманитарные науки претерпели кардинальные изменения в первую очередь в связи с радикальным изменением инструментов, используемых в применении к темам гуманистических исследований (язык, история, культурная жизнь). Моя академическая карьера взяла старт в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В этом смысле я современник НЛО. Когда я начинал работать, гуманитарии, интересующиеся «теорией», имели возможность обратиться к относительно устойчивому теоретическому канону европейской философии (главным образом континентальной), воздвигнутому на древних и патристических сочинениях от Аристотеля до Августина построенному вокруг традиций европейской философии Нового времени от Декарта до Хайдеггера и достигающему высшей точки в деконструкции и других постструктуралистских течениях.

Простой пример единства этого канона — структура докторской программы по сравнительному литературоведению и теории литературы, которой я десять лет руководил в Пенсильванском университете, а основала ее в 1970-х годах мыслительница-деконструктивистка Барбара Херрнстейн Смит. В своем первоначальном виде наша программа призывала всех студентов изучить «список пятидесяти книг», которые являли собой теоретический канон и давали, как мы думали, фундаментальную подготовку в области гуманитарной теории и методов. Тем не менее 1990-е и 2000-е годы засвидетельствовали умножение новых школ гуманитарной теории и методов: от теории травмы, постгуманистической мысли, экокритицизма и гендерных исследований до исследования материальных текстов, получившей новую жизнь социологии литературы, квир-теории, междисциплинарных обращений к культурной антропологии и многого другого. Применительно к данной анкете наиболее значимым можно считать появление постколониальной и деколониальной теории.

К середине первого десятилетия нового тысячелетия мне и моим коллегам стало ясно, что никакой единственный канон не в состоянии выступать от имени всей совокупности теоретических ресурсов и традиций гуманитарных наук. В конце концов мы отказались от унифицированного «списка пятидесяти книг» и вместо этого предложили студентам нашей программы составлять собственные списки теоретических и методологических инструментов при содействии факультетских экзаменаторов. Заглавия некоторых списков, составленных студентами, поистине вдохновляют: «Гендер и сексуальность», «Теория медиа: публики и адресаты» («Media theory: publics and receptions»), «Черные/панафриканские феминизмы», «Теория травмы», «Постколониальные исследования», «Гендерная теория», «Языковой выбор и колониализм» («Language choice and colonialism»), «Поэтика», «Коммуникации, системы, сети», «Классические исследования», «Экотеория/экокритицизм», «Нарратология», «Расовые исследования», «От структурализма к деконструкции», «Теория пространства»

(«Spatial theory»), «Модернизм», «Социология и литература», «Транслингвальность», «Материальные тексты», «Психоаналитическая критическая теория», «Социалистический феминизм», «Антиевроцентрические методы», «Цифровые гуманитарные науки» и т.д.

Как видно из этого примера, за последние три десятилетия гуманитарные науки пережили настоящий взрыв альтернативных теорий и методов. Отвечая на ваш вопрос: в таком необъятном многообразии подходов невозможно идентифицировать специфические лакуны. Очевидно, что возможности для дальнейшего умножения новаторских теоретических формаций неисчерпаемы. Но важно также заметить, что многие новые теоретические течения и школы стремятся не просто предъявить «еще один новый подход», но осуществить революцию в структуре целого. Адепты многих новых теоретических формаций от феминистического критицизма до экокритицизма и постколониальных исследований предлагают тотальную и радикальную смену оптики и переориентацию на новые объекты исследования, новые и существенные проблемы или новые каноны первоисточников. Часто новые школы мысли требуют новых институциональных и дисциплинарных организационных принципов: новых курсов, новых профессур, новых центров и департаментов, новых журналов, новых профессиональных организаций и т.д. Равным образом, с учетом необъятного разнообразия новых течений, никакое единственное течение не может увидеть собственное отражение во всей совокупности дисциплинарного ландшафта. Каждая из этих соперничающих и идущих параллельными курсами революций с необходимостью частична, оспариваема и вечно незакончена. В результате текущую ситуацию в гуманитарных науках можно описать либо как перманентную революцию (если вы находите радикальные изменения живительными), либо как перманентный кризис (если вы ностальгируете по дисциплинарной определенности).

Марк Липовецкий (*профессор кафедры славянских языков Колумбийского университета, доктор филологических наук*): На наших глазах бесповоротно закончилась, можно даже сказать — была перечеркнута, эпоха, которая начиналась в перестройку. Для меня эта эпоха связана в первую очередь с НЛО — как журналом, как издательством, а главное, как центром идей и проектов. Возможно, я чересчур субъективен, но, на мой взгляд, наиболее фундаментальные трансформации науки и русской литературы совершались именно здесь. В 2010 году, в 100-м номере НЛО, Ирина Прохорова опубликовала манифест, в котором говорила в первую очередь о необходимости преодолеть «изоляционистскую традицию изучения отечественного историко-культурного опыта как самодостаточной закрытой лейбницевской монады… со своими тайными законами и путями развития»[2]. Этот подход должен был противостоять как националистической, так и ориенталистской интерпретациям русской культурной и исторической исключительности. Новый взгляд, как верилось более десяти лет назад, мог бы ввести русские сюжеты в глобальный контекст. Новейшая теоретическая оптика, в свою очередь, должна была способствовать компаративистскому подходу к русскому материалу.

2 *Прохорова И.* Новая антропология культуры. На правах манифеста // Новое литературное обозрение. 2009. № 6 (https://magazines.gorky.media/nlo/2009/6/novaya-antropologiya-kultury.html?ysclid=la4etem96y667789987 (дата обращения: 05.11.2022)).

Сразу скажу, что, с моей точки зрения, задача преодоления культурного изоляционизма, свойственного российской гуманитаристике, была решена в одностороннем порядке. Уже несколько поколений исследователей русской культуры и в России, и за ее пределами, говорят на едином концептуальном языке — или же на его взаимопереводимых диалектах. Независимо от места жительства, наши коллеги опираются на общий круг теоретических авторитетов, хотя, разумеется, и с небольшими вариациями. В этом кругу, возможно, центральное место принадлежит Фуко, однако и сторонники германской критической теории, и французские постструктуралисты, а также гендерные и квир-исследования, trauma and memory studies, а в последнее время и думаю, в близком будущем, постколониальные концепции занимают в нем почетное место, наряду с почти обязательным Агамбеном. Из российских ученых в него в основном попадают формалисты, иногда Бахтин и Лотман.

С другой стороны, наш костер по-прежнему в тумане светит, и мало кого, кроме нас самих, греет. Русский материал, как и тридцать, как и пятьдесят лет назад, входит в поле зрения западных исследователей (если вообще входит) по нескольким узким каналам: первый — Толстой и Достоевский, второй — Бахтин (и немного Шкловский); третий — Эйзенштейн (и немного Дзига Вертов плюс Тарковский). Думается, для этой узости есть глобальные причины, в первую очередь связанные с особенностями западных моделей гуманитарного образования.

Евгений Добренко (*профессор факультета языков и сравнительных исследований культуры Венецианского университета Ка-Фоскари*): В течение последних тридцати лет в русистике произошли радикальные перемены: в ее статусе (он несколько раз сменился на Западе), методологии (она успела пройти через несколько важных «поворотов»), понимании самого предмета и статуса субдисциплин. После перестроечного бума, и в особенности после распада СССР, интерес к русистике упал (особенно в англо-американском мире), закрылись многие кафедры и программы в университетах. Затем интерес начал медленно возрождаться, начался рост студентов, привлеченных, видимо, перспективами бизнеса в России. Все это теперь, конечно, обрушится.

Тридцать лет назад русистика представляла собой странный гибрид: в ее основании лежал XIX век (главным образом Достоевский); огромное, совершенно неадекватное место занимал Серебряный век, который вырос до непропорциональных размеров; от него рос «великий русский авангард»... Определяющие факторы в истории русской литературы XX века (такие, как сталинская культура) вообще были вытолкнуты за пределы изучения и с презрением третировались как недостойные науки. Например, в англо-американской русистике десятками и сотнями выходили статьи о книги о третьестепенных авторах Серебряного века, тогда как о советском романе сталинской эпохи вышла одна книга. Единственной книгой о советском кино в течение десятилетий была книга Джея Лейды, написанная более шестидесяти лет назад, и т.д. Все это за тридцать лет сильно изменилось. Сегодня изучение русской культуры XX века выглядит качественно иначе. И методологически, и в том, что касается материала. Новые направления исследований возникли. Другие усохли. Дисциплина стала более сбалансированной, более отвечающей запросам сегодняшнего дня, более вписанной в мировой контекст. До недавнего времени я рассматривал происходящее в западной русистике в целом весьма опти-

мистично. Но теперь все изменилось. Не столько для нас, сколько для западного восприятия.

Разница в том, что в 1950—1980-е годы русистика все еще питалась повесткой дня эмиграции первой волны, имела «призвание» и «миссию» (третья волна была не столько историей литературы, сколько тем, что в книжных магазинах стоит под рубрикой «Current affairs»). Так вот — этот статус «великой классики» сегодня прошел и, кажется, бесповоротно. Это касается не только Серебряного века, но даже и Золотого. Нет, речь не о пресловутой «отмене». Сама Россия себя «отменила». На фоне брутальности происходящего все рассуждения о «всемирной отзывчивости», «совестливости», «соборности», «загадочной русской душе» и т.п. полностью обесценились. Еще больше обесценилась питавшая Серебряный век «русская религиозная философия» — весь этот националистический стон, полный имперских фантомов, непереваренного народничества, дремучего мистицизма, а нередко и просто фашизма. Все это тонет на наших глазах в картинках «Русского мира» и с мест боев. Русская литература потеряла свое главное достояние — moral ground. А без моральной почвы ее «вечные вопросы» превратились в риторику. В результате «великая литература» перестала производить актуальные смыслы. Вернее, так: Россия повернулась к миру такой стороной, что теперь актуальные смыслы производят разве что «Клеветникам России» Пушкина, «Дневник писателя» Достоевского, «Скифы» Блока, «На независимость Украины» Бродского… И это не скоро изменится. Не уверен, изменится ли на нашем веку. Поскольку если тридцать лет назад распад Советского Союза был воспринят в мире с энтузиазмом и надеждой, то после нынешнего политического фиаско законный скептицизм на Западе столь велик, что он не очень не скоро сменится хотя бы осторожным оптимизмом.

Риккардо Николози (*профессор славянских литератур Мюнхенского университета*): В немецких университетах моя специальность называется славистикой и имеет похожую дисциплинарную структуру, что и у других специальностей по иностранной филологии, таких как романистика, скандинавистика или англистика/американистика. Это означает, что она состоит по меньшей мере из двух отдельных дисциплин, литературоведения и лингвистики, а в учебную программу входят иностранный язык и методология преподавания предмета. Таким образом, в немецкой славистике, как в преподавании, так и в научных исследованиях, языкознание играет бóльшую роль по сравнению с другими западными странами (однако здесь я сосредоточусь на предмете своей специализации, литературоведении). Еще одна особенность немецкой славистики заключается в том факте, что славистические кафедры, как правило, не подразделяются в соответствии с национальными филологиями (то есть они не делятся исключительно на русистику, полонистику, богемистику и т.д.), но отвечают за несколько — обычно два — славянских языков и литератур каждая. Это сказывается на образовании немецких славистов, которые хотя по большей части и русисты, но не всецело и не по принуждению: считается само собой разумеющимся, что к исследовательскому профилю немецкого слависта принадлежит полонистика и в меньшей степени богемистика и южная славистика. И если по всему миру сегодня говорят о том, чтобы деколонизировать славистические исследования и тем самым поставить предел господству русистики, которое воспринимается как

имперское, то в немецком контексте эта проблема так остро не стоит. Если русистика и является самой преподаваемой и исследуемой славистической дисциплиной, то в Германии она не имеет такого господствующего положения как, например, в США. Таким образом, немецкая славистика в меньшей степени организована по принципу «национальных литератур», что имеет несомненные преимущества: это позволяет изучать сцепления и переплетения славистических культур вне границ, задаваемых национальными филологиями.

За последние тридцать лет немецкая славистика претерпела основательные изменения. После объединения восточногерманские славистические институты подверглись ревизии и реструктурированию, и этот процесс не прошел без болезненных последствий для их старых сотрудников, работавших в ГДР. В то время как в Восточной Германии таким образом произошла примерно такая же революция гуманитарного знания, как и во всей Восточной Европе, в немецкой славистике в целом дали о себе знать изменения методологии, затронувшие все немецкое литературоведение. В славистике возник методологический плюрализм, типичный для немецкого литературоведения последних тридцати лет, хотя, разумеется, не без своих особенностей. Формалистские, структуралистские, герменевтические и семиотические принципы по-прежнему составляют базис славистического литературоведения, которое все больше определяет себя как науку о культуре и проникает в разные исследовательские области: постколониальные и гендерные исследования, теорию медиа, поэтологию знания и т.д. В целом в Германии последних десятилетий можно наблюдать серьезное взаимодействие и сочленение гуманитарных наук, которое сделало методы немецкой славистики более совместимыми [с методами других наук] и повысило ее способность к диалогу. Этому есть и институциональные причины, потому что исследования на средства третьих лиц, значение которых растет, требуют междисциплинарности, и такая малая специальность, как славистика, вынуждена развивать способность к диалогу с другими дисциплинами (германистикой, романистикой, англистикой, но также с историческими науками, социологией, политологией и т.д.), в чем еще несколько десятилетий назад не было нужды. Включение славистики в большой совместный проект, с одной стороны, дало позитивный теоретический толчок, но с другой — привело к утрате специальных знаний, от чего в особенности пострадали узкофилологические начинания, прежде всего в области медиевистики. Одновременно обнаруживается институциональная тенденция приписывать славистику к регионоведению, то есть рассматривать ее как часть междисциплинарных исследований Восточной Европы, что может привести к утрате подлинно филологического момента, связанного с литературоведением и языкознанием.

Алейда Ассман (*профессор университета Констанц, исследователь культурной памяти*): Я действительно наблюдаю огромную перемену в нормах, ценностях и негласных аксиомах, из которых складывалась гуманитарная наука 1980-х и 1990-х годов. Прежде всего я заметила глубокий кризис «режима времени модерна», как я это назвала, который на протяжении холодной войны был всеобщим верованием даже несмотря на острое противостояние политических идеологий. Капитализм и коммунизм оба были построены на допущении, что прошлое — это прошлое, его можно забыть и не принимать

в расчет, и только такое будущее, которое отсоединено от прошлого, может быть источником новой энергии, инновации и преобразования[3].

Для меня 1989 год был определяющим поворотным пунктом, изменившим мою оптику гуманитарного ученого. Я стала рассматривать режим времени модерна как «нормативное мировоззрение», которое не подвергается критической инспекции, пока не обнаружит своих явных недостатков. Для меня 1989 год был не концом истории, но ее возвращением и началом памяти. В то время такое восприятие вещей было распространено, но многие дисциплины продолжают следовать временно́му режиму современности. Этот временно́й режим по-прежнему функционирует, его нельзя и не следует отменять, потому что он по-прежнему действует в естественных науках и в хозяйстве, где он поддерживает современную, основанную на науке и технологиях, цивилизацию. От него нельзя совсем отмахнуться, но мы научились видеть его в перспективе, начали учитывать вред, который он причиняет, и пересматривать вписанные в него ценности.

Мой интерес к культурной памяти и к тому, как общества помнят и забывают, был вызван довольно резким возвращением памяти о холокосте в Западной Германии в 1980-е и 1990-е годы. Этот личный опыт заставил меня погрузиться в парадигму, которая фокусировалась также и на других возвращениях травматических воспоминаний, которые я изучала с растущим интересом, заново открывая аффективное измерение истории, которое историография полностью отрицала или недооценивала.

Михаил Ямпольский (*профессор Нью-Йоркского университета, доктор искусствоведения*): Мне непросто отвечать на вопросы вашей анкеты. Связано это с тем, что я не причисляю себя ни к какой дисциплине и издавна отношусь к дисциплинарности с большой подозрительностью. В университете я существую между кафедрами русистики и компаративистики. Компаративистика меня всегда привлекала больше, потому что не обладала дисциплинарной определенностью, но многие годы я был свидетелем того, как компаративисты пытались оформиться в дисциплину с методом, кругом тем и проч. И я всегда был против этого. Дисциплина — это всегда догматизация взгляда и претензия на возможность некоего единого метода. Но главное — это принятие неких предпосылок, иерархий и догм без критического осмысления. А значит — это почти всегда путь в тупик.

Что касается новых трендов внутри дисциплин, то я отношусь к ним очень критически. Большая часть моей гуманитарной работы прошла в Соединенных Штатах, где новые тренды и субдисциплины формируются гораздо агрессивнее и жестче, чем в Европе, куда, как и в Россию, они постепенно приходят из-за океана. Первоначально новые подходы могут быть интересными и внушающими надежду, но они почти мгновенно институционализируются, тира-

3 См. мою вышедшую в 2016 году книгу «Расшатался ли век?» («Ist die Zeit aus den Fugen?»), а также ответ рецензенту: How the Future Fell from Grace and How to Repair It. Changes in Time-Consciousness in the Late Twentieth and Early Twenty-first Century: A Response to Joe Davidson's "From the Future to the Past (and Back Again?): A Review of Aleida Assmann's *Is Time Out of Joint? On the Rise and Fall of the Modern Time Regime* (Ithaca: Cornell University Press and Cornell University Library, 2020)" // International Journal of Politics, Culture, and Society. 13 October 2021 (https://link.springer.com/article/10.1007/s10767-021-09413-8#citeas (дата обращения: 21.10.2022)).

жируются в сотнях диссертаций и монографий и стремительно превращаются в невыносимую догматику, тормозящую развитие мысли. В итоге мы всегда имеем дело с колоссальным тиражированием бессмыслицы и некритического мышления. Это произошло и с постколониальными и с гендерными исследованиями. Все это всегда заставляло меня держаться вдали от трендов и не связывать с ними надежды на дисциплинарное обновление.

Ощущаете ли Вы потребность в изменении методологии Вашей дисциплины и обновлении ее теоретических оснований в связи с новым вызовом времени? Если да, то какие изменения Вы бы приветствовали и почему?

Сергей Зенкин: По-видимому, «вызов времени» потребует чего-то вроде нового «политического поворота» в гуманитарных науках. Пора осознать (в других странах это уже до какой-то степени сделано), что для них политика — как природа: гони ее в дверь, она влетит в окно. Вот, например, я упоминал Серебряный век как часть нового, постсоветского литературного канона; но ведь его можно использовать и как удаленную, допускающую относительно беспристрастное рассмотрение модель для нынешних споров об «ответственности русской культуры». Как получилось, что эта великая культура допустила катастрофу 1914 года и все, что за нею последовало? Виновата ли она и если да, то в чем? Хоть я и не русист, но все же говорю здесь не совсем как посторонний, потому что тот же вопрос можно задавать и в отношении других культур и литератур, например французской.

Сергей Ушакин: Лет пятнадцать назад, когда я начинал говорить о постсоветском как постколониальном, собеседники смотрели на меня с удивлением и быстро уходили в сторону. Не было такой темы в постсоветском обществоведении. Ну, практически. За последние годы ситуация изменилась немного. Но изменения эти скорее риторические, чем сущностные. Большинство постколониальных исследований, делающихся на местном материале, — это прикладные попытки приспособить Саида и Спивак к местным условиям. В итоге получаются странные интеллектуальные кульбиты. Например, если у Саида на основе критики колонизации и империализма вырастает «Ориентализм», то у нас в лучшем случае получаются разнообразные версии импортозамещения — в виде «самоориентализаций» всех мастей. Такая бесконечная апроприация в режиме лакановской «зеркальной стадии».

Эти попытки, разумеется, обнадеживать не могут (лет двадцать пять назад сходным способом «переводили» на русский язык гендерную теорию и феминизм, которые так и остались в странном положении не то дичков, не то экзотов). И причина безнадежности не только в том, что социальная теория — это всегда теория, заземленная в специфических, местных социальных условиях. Проблема еще и в другом: прикладничество в использовании условных Саидов и Спивак противоречит самой логике постколониальности, которая требует активации *своих* способов производства знания, опоры на *свои* интеллектуальные ресурсы и способности выстраивать диалог с господствующими парадигмами и концептами на *своих* условиях. Мне бы, естест-

венно, хотелось, чтобы мы об этих собственных возможностях знали больше. И о теории антиколониального сопротивления узнавали не только от Фанона, но и от Сафарова.

Еще одна большая тема, столкновения с которой, мне кажется, нам не избежать, — это выяснение отношений с двумя ключевыми понятиями и практиками социально-культурного устройства: государством-нацией и государством-империей. Как соотносить те принципы и практики космополитизма, модернизма, универсальности и прочей, как ее называл Шестов, беспочвенности, которые так широко были продемонстрированы двумя декадами глобализации, с практиками социальной организации, которые строятся вокруг Gemeinschaft, то есть сообществ, для которых аффективность и география являются определяющими? Или, с другой стороны, что делать, когда претензии тех или иных практик на универсальность оказываются лишь прикрытием стремления к гегемонии?

Я не думаю, что это противостояние империи и нации можно преодолеть путем сведения его к теме онтологического разнообразия («что немцу смерть, то русскому здорово»). Перспективизмом тут не обойдешься. Понятно, что необходимы какие-то более амбициозные концептуальные дебаты об империи, формах колониальной зависимости, постколониальных суверенитетах и деколониальных трансформациях. И на мой взгляд, без возвращения и вторичного анализа истории формирования советских наций, без внимательной реконструкции, так сказать, истории этой болезни в рамках постколониальных исследований и деколониальных процессов нам не обойтись.

Александр Семенов: В области методологии исторических исследований стоит несколько серьезных теоретических вопросов. Первый из них касается сохраняющегося методологического национализма, который находит свое выражение в структуралистском полагании коллективных идентичностей, политической легитимации и исторического нарратива. Интересно заметить, что параллельно с новой имперской историей в переосмыслении исторического опыта Северной Евразии развивался так называемый имперский поворот. Удивительным образом исследования в рамках «имперского поворота» не привели к существенной ревизии исторического нарратива истории государственности и «государствообразующего русского народа», если использовать слова последних поправок к Конституции Российской Федерации. Карамзинско-соловьевская историческая схема осталась на прежнем месте как смыслопорождающая основа исторической интерпретации. Неизменность исторического нарратива при заявленной интенции ревизии исторической интерпретации — это самый формальный тест на негативный результат методологической инновации. Но как в рамках этой схемы понять и объяснить реалии современной России: как понять возникновение федеративной структуры современной Российской Федерации? откуда вывести систему духовного мусульманского управления как одной из российских исторических религий? как контекстуализировать появление Сибири и Дальнего Востока в политическом пространстве России? Очевидно, что проблема проваленной методологической инновации в рамках «имперского поворота» заключается в сохранении структуралистского представления о политическом суверенитете и онтологии социальных групп. Иными словами, сохраняющийся исторический нарратив не справляется с адекватной репрезентацией гетерогенного исторического опыта и не отвечает на вопросы совре-

менного общества, которое интересуется вопросами разнообразия, например различия сексуальных ориентаций.

В рамках исторический профессии встает и еще один кардинальный вопрос, суть которого в профессиональной идентификации историка. Является ли история гуманитарной дисциплиной, где острие научного метода направлено на схватывание многообразных и нередуцируемых идентичностей и субъективностей? Или история является также и социальной наукой, которая призвана если не вскрывать причинно-следственные связи, то объяснять логику исторических развилок и смены эпох? Новую имперскую историю часто обвиняют как раз в том, что она напоминает демократический хор, где каждый имеет голос, но вот исполнение уже напоминает постмодернистскую какофонию. На мой взгляд, современная работа с логикой исторического нарратива, с темпоральными рамками (долгим историческим временем и пунктирной историей смены поколений и социальных парадигм) и пространственным контекстом как раз и возвращает истории эту важную функцию социальной науки.

Николай Плотников: ...потребность в смене исследовательской парадигмы в изучении интеллектуальной истории становится первостепенной. А в процессе смены этой парадигмы произойдет и перенастройка методологических инструментов этих исследований. Одним из ведущих трендов этого процесса станет отказ от ригидной бинарной оппозиции России и Европы/Запада как основной модели интеллектуального развития и переход к анализу восточно- и центральноевропейского поля взаимосвязей, подчеркивающему культурный плюрализм в развитии идей и контекстов этого развития. В методологическом отношении для этого потребуется переход от фронтальных сравнений и глобальных моделей влияния (типа «Соловьев и Шеллинг», «Гегель в России») к учету сложных переплетений интеллектуальных трансферов на всем пространстве распадающихся империй уже не по оси Берлин — Москва, но из самых разных географических точек и концептуальных узлов дискуссионного поля Центральной и Восточной Европы.

Как раз благодаря многим публикациям издательства «НЛО» подходы к такой плюрализации интеллектуальной истории (в работах Р. Козеллека, М. Эспаня, Кембриджской школы) становятся в последнее время необходимой составляющей научной дискуссии о методах исследования в российской интеллектуальной истории. Чисто позитивистская био- и фактография, встроенная в спекулятивные конструкции «самобытной русской цивилизации», окончательно уходит в прошлое.

Катриона Келли: В некоторых отношениях — подход, тема, даже эпоха — моя работа всегда была весьма разнообразна: я писала о женском письме и об истории русской культуры начиная с конца XVIII века. Но в другом отношении фокус [моих исследований] более узок. Последние тридцать лет я уделяла основное внимание пониманию русской культуры в мировом контексте. Студенткой я глубоко интересовалась сравнительной литературой (и даже получала мягкие упреки за то, что тащила в свои эссе по немецкой литературе слишком много примеров из английской или русской литературы, или за примеры из английской и немецкой литературы в эссе по русской). Моя докторская диссертация была посвящена рецепции греческой и латинской литературы в Рос-

сии начала XX века (в частности, в поэзии, эссе и пьесах Иннокентия Анненского). И все же в основном я проводила сравнения по оси Россия — Запад. Так, например, написанная мной история детства в Российской империи и СССР хотя и уделяла большое внимание влиянию западных идей на русскую мысль и практику, явным образом была сосредоточена на населении России (включая детей русских евреев и татар как примеры крупных этнических меньшинств, которые в значительной степени были ассимилированы большинством населения). Таким образом, даже мои исследования меньшинств вписывались в общий контекст русской культуры: это относилось и к статье для номера НЛО о диаспорах, которую я посвятила мигрантам из бывшего СССР в Санкт-Петербурге и тому, как представления о Петербурге как о «европейском городе» провоцируют отвращение к так называемым азиатам[4].

Тем не менее задолго до политического и морального кризиса, который начался 24 февраля 2022 года, я пришла к выводу, что настало время уделить больше внимания российскому «ближнему зарубежью», а именно отношениям, сложившимся в позднесоветский период между российской метрополией и республиками. Катализатором стала моя недавняя работа о позднесоветской киноиндустрии «Дом советского искусства: Студия “Ленфильм” при Брежневе» («Soviet Art House: Lenfilm Studio under Brezhnev»). Советская киноиндустрия была, конечно, «имперской» в том смысле, что она управлялась из Москвы, причем с явственным упором на иерархии, идущей от столицы к периферии. Так, когда Илья Киселев, директор «Ленфильма» с 1961 по 1972 год, решал, что делать с режиссерами, которых он считал не очень хорошими, он предложил отправить их в Среднюю Азию. Вспоминаются заключительные строки знаменитой юмористической поэмы Хилэра Беллока о сентиментальном лорде Ланди, который, после того как «в политику был втянут», опускается все ниже и ниже, пока в конце концов его не изгоняет из страны его собственный разъяренный дедушка: «В глазах темнеет… Сяду в кресло… Иди! Правь Новым Южным Уэльсом!»[5] Империя здесь свалка, куда отправляют бесполезных. И все же киноиндустрия была не просто центром метропольного снобизма. Она была поистине пансоветским феноменом — куда более, чем литература, живопись или даже музыка, — и некоторые связи более или менее обошли стороной центр: известный случай — это Сергей Параджанов, армянин, родившийся в Грузии, работавший в Киеве, Ереване и Тбилиси, чья карьера приняла совершенно новую форму, когда, будучи не особо примечательным штатным режиссером на студии Довженко, он получил поручение экранизировать повесть Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков» («Тіні забутих предків»). Мой новый проект, над которым я начала работать в 2020 году, посвящен историческому кино после 1953 года, включая фильмы, снятые не только в России, но и на Кавказе, в Украине, Средней Азии и Прибалтике.

В целом сдвиг в моем мышлении от «национального» к «имперскому» подходу случился задолго до 24 февраля 2022 года. В то же время этот сдвиг

---

4 *Келли К.* «Гости нашего города»: мигранты в «самом европейском городе России» / Пер. с англ. А. Горбуновой // Новое литературное обозрение. 2014. №3 (https://magazines.gorky.media/nlo/2014/3/gosti-nashego-goroda-migranty-v-samom-evropejskom-gorode-rossii.html (дата обращения: 10.10.2022)). — *Примеч. ред.*

5 *Беллок Х.* О Лорде Ланди / Пер. с англ. М. Полыковского (https://stihi.ru/2012/05/29/2781 (дата обращения: 05.11.2022)) — *Примеч. ред.*

был несомненно ускорен тем фактом, что в последние несколько месяцев вопросы империи и исторической мифологии сделались гораздо более актуальными, чем кому-либо хотелось бы.

Елена Чхаидзе: Потребности в изменении методологии в моих исследованиях я не предвижу, но становится ясно, что после 24 февраля при желании публиковаться в России придется обращать более пристальное внимание на тему и контекст. Публиковать современные исследования на русском языке и в России весьма важно, так как должно быть услышано множество голосов и должен быть продолжен разноликий исследовательский процесс, а не биполярный. Скорее всего, «вызов времени» заставит ученых, которые работают в России и хотят там публиковаться, обратиться к самоцензуре и любимому в советские времена эзопову языку. Последние события поставят исследователей перед выбором: выживать или лезть на рожон, но не находясь в России, а уехав за границу. В это очень турбулентное время я стремилась бы исходить из принципа «Не навреди!».

Если говорить о пожеланиях, то хотелось бы, чтобы в европейских университетах среди лекционных курсов, касающихся советских и постсоветских исследований, появились дисциплины, изучающие советское пространство не только исходя из перспективы «центра». Где лекционные курсы, связанные с межнациональными культурными/литературными пространствами бывших советских республик? Ясно, что из-за последних событий тема Украины, украинского языка и литературы зазвучит громко, но где курсы, фокусирующие внимание на роли и на культурно-литературных связях бывших советских азиатских или закавказских республик и их автономий?

Ханс Ульрих Гумбрехт: Последние двести лет, то есть на протяжении того времени, когда гуманитарные науки возникли и приобрели относительную значимость в качестве кластера академических дисциплин, их внутренние изменения, как мне кажется, были продиктованы главным образом интеллектуальной логикой, а не внешними импульсами — и возможно, что такая независимость обуславливала их интеллектуальную силу (а порой и отсутствие общественного резонанса). Как я уже говорил выше, я не вижу и не помню никаких основательных перемен или судьбоносных инноваций в «методологии» и «теории» наших дисциплин на протяжении последней четверти века. В том, что касается моего собственного скромного вклада в «теоретическое обновление», а именно продолжающейся рефлексии по поводу того, что я называю «присутствием» в культурном и текстуальном анализе, мне хватает оптимизма полагать, что некоторые недавние политические, социальные и культурные перемены согласуются с понятиями и аргументами, касающимися присутствия[6]. Например, такие понятия и аргументы способны помочь в объяснении того, откуда взялись широко распространенные чаяния «горизонтов», на которые можно было ориентироваться в обстановке, сложность которой кажется чрезмерной, или в анализе возврата к неприкрытому использованию военного (и не только военного) насилия и (к сожалению) к восхищению им.

6 *Гумбрехт Х.У.* Производство присутствия: Чего не может передать значение / Пер. с англ. С. Зенкина. М.: Новое литературное обозрение, 2006. — *Примеч. ред.*

Эллен Руттен: Вижу и приветствую растущий методологический интерес к дигитальным исследовательским инструментам. Но, как мне кажется, методологическое изменение, особенно ценное именно для славистов, — громко звучащие уже с середины 2000-х годов призывы к не столь бинарным видам аналитического мышления о, скажем, «публичном» и «приватном», «диссидентах» и «власти» или, скажем, об «онлайн» и «офлайн» публичных сферах. Среди коллег, которые меня вдохновляют, — Алексей Юрчак, Евгений Добренко, Клавдия Смола, Марк Липовецкий, Маша Энгстрем, Сергей Ушакин, Вера Зверева, Генрика Шмидт и Ади Кунцман. Несмотря на серьезную, неустанную работу этих и других коллег, призыв не думать в жестких оппозициях остается важным методологическим жестом в нашей профессии.

Марк Липовецкий: Мне как русисту необходимо научиться помещать русофонные культурные феномены в сопоставительный контекст. Это может быть контекст хотя бы одной из славянских культур или хотя бы одной из культур бывшего СССР. Продолжая заниматься культурой XX—XXI вв. — это область моей специализации — я не могу теперь не думать о том, почему в очередной раз провалилась трансформация России из авторитарного в свободное общество, почему значительные — тридцатилетние! — достижения на этом пути в конечном счете привели к тому беспросветному тупику, итогом которого стало 24 февраля 2022 года. Чтобы искать ответы на этот главный вопрос, разумеется, необходимо иметь в виду, с одной стороны, те постсоветские культуры, где подобный поворот был возможен, но не произошел, а с другой стороны, те, где он тоже произошел, несмотря на культурную специфику. Разумеется, этот вопрос не под силу одному человеку или даже международному коллективу ученых. Но он, на мой взгляд, должен определить направление исследований постсоциализма — с разных точек зрения, в том числе и с точки зрения истории культуры. И он, по-видимому, определит тот спектр методологий, а также новых теоретических моделей, которые могли бы продвинуть эти исследования.

Ведь нынешний тупик российской модернизации при всей его трагической уникальности резонирует с глобальными тенденциями. Официальная российская политическая риторика — в свою очередь, поддержанная российской культур-индустрией, — начиная с 2014 года вызывала широкую поддержку среди американских и европейских ультраправых. Она вливалась в достаточно широкое культурно-политическое движение национализмов и популизмов, направленное против глобализма, миграции, феминизма, ЛГБТК, мультикультурализма, постмодерной этики (снисходительно называемой политкорректностью) и аналогичных культурных тенденций. Именно это движение привело к власти Трампа и других лидеров «иллиберальных» режимов. Однако катастрофические последствия, которые этот культурно-политический феномен породил в России, сопоставимы с тем, как европейская левая идея трансформировалась в русский большевизм в 1917-м.

Естественно, всякая модерность включает в себя контртенденции, но почему в России с такой регулярностью именно они берут верх, приводя к коллапсу всего того ценного и живого, что десятилетиями создавалось по кирпичику? Как мы, исследователи культуры, можем ответить на этот вопрос? На этих путях, по-видимому, придется довольно далеко уходить от существующих научных моделей, намечая собственные теоретические подходы. Теории ресен-

тимента, фашизма, ностальгии, а также существующие модели национализма лишь отчасти и явно неточно объясняют происходящую сегодня катастрофу.

Мне кажется, выросшие на страницах НЛО методы исследований, обращенные на повседневные практики, на невидимые, но влиятельные механизмы культуры, на неочевидные, но неустранимые паттерны в литературе и искусстве, особенно массовом, могут помочь понять, как происходит воспроизводство русского имперского национализма *на уровне языка и воображения*, на уровне социальных рефлексов и фантомов, а уж затем — идеологии. Аналогичным образом именно методы «антропологического поворота», обогащенные компаративистской перспективой, могут прояснить внутренние механизмы российской «абортивной модернизации» (Л. Гудков), — я бы сказал: суицидальной модерности — механизмы, отличающие ее от других (не всех, разумеется) постсоветских и постсоциалистических культур, таких как украинская, чешская или польская, в которых сходные тенденции не породили столь разрушительных результатов.

Иными словами, мы возвращаемся к тем же задачам, которые обсуждались десять лет назад (и более): необходимости преодоления «изоляционистской традиции изучения отечественного историко-культурного опыта как самодостаточной лейбницевской монады». Усвоение современных теоретических языков, как видим, не решает эту проблему в полной мере.

Евгений Добренко: Несомненно, такая потребность есть. Но проблема в том, что мы все оказались заложниками политических процессов, в рамках которых формируется отношение не столько к нашей дисциплине, сколько к самому ее объекту — России. От наших пожеланий поэтому мало что зависит. Для того чтобы какие-то содержательные методологические изменения произошли, необходимо, чтобы для этого сложились институциональные предпосылки, а в их отсутствие все это благие пожелания. Что касается методологических изменений, то изменения, которые нас ждут в России, предсказать несложно — в этих водах мы уже бывали. Легко предсказать на одном полюсе расцвет православно-патриотического «литературоведения» с его ресентиментом, автаркией, словоблудием и национальной спесью — эдакой смеси «мрачного семилетия» со ждановщиной. На другом полюсе — реакцию высоколобого академизма, замыкающегося в архивный эмпиризм и уходящего в глухую текстологию, с его методологическим изоляционизмом, агрессивным антитеоретизмом и обращением к заведомо маргинальному материалу. В России дисциплину ожидает не методологическое обновление, а дальнейшая архаизация и провинциализация. Из-под обломков этого мусора выбираться будет очень непросто.

Алейда Ассман: Вопрос, который гуманитарные ученые напрасно долгое время упускали из виду, оставляя его политологам, — это вопрос о статусе национального государства. До недавнего времени поддержка национального государства была редкостью. Большинство интеллектуалов считали его устаревшим пережитком прошлого, который в глобализованном и космополитическом мире автоматически исчезнет. В 1980-е и 1990-е годы таково было влиятельное мнение известных социологов, таких как Никлас Луман и Ульрих Бек. Левые интеллектуалы тоже относили нацию к числу вещей, которым нужно сопротивляться любой ценой. В их глазах она обязательно была связана с пра-

вым национализмом и этническим шовинизмом. Нам нужен новый дискурс о национальном государстве, чтобы создать понятия и мерила для оценки различных исторических контекстов, которые могут помочь предотвратить опасные тенденции и усилить положительные.

Буква Н в аббревиатуре ООН означает «нация», причем имеется в виду национальное государство. Существуют очень разные национальные государства — в форме диктатур и демократий, автократий и империй. После падения железного занавеса, которым закончился временно́й режим современности, мы пережили возрождение интереса к истории и новую волну этнизации во многих восточноевропейских странах, восстановивших в памяти травматические истории собственных страданий. Такие страны, как Китай и Россия, тоже отошли от космополитического и мультикультурного мышления и вновь стали определять себя коллективным образом, по-новому реконструируя свою историю.

Если после 2000 года желание иметь историю и память, заново обрести прошлое, строить национальные идентичности возвращается с удвоенной силой, то какую роль отвести гуманитарным наукам, чтобы они дали руководство в этом лабиринте понятий, конфликтов и политических эмоций?

Вклад в эту тему, который я сделала в своей последней книге, заключался в том, что я провела различие между «гражданским» и «военным» национальным государством. Я считаю, что «гражданское» национальное государство было очень важной и поздней исторической инновацией, которая появилась вместе с Европейским союзом. Этот союз возник как экономическая ассоциация, предназначенная обеспечить богатство и благосостояние, но также определявшая себя по ряду нормативных принципов, таких как преобразование диктатур в конституционные демократии, учреждение новых международных законов, создание институтов просвещения публики о жестокостях прошлого, поддержка прав человека и превознесение культурного разнообразия. В отношении ЕС интересно то, что он есть нечто большее, нежели сумма его государств-членов. Подлинная ценность и историческое новаторство этой ассоциации заключается в том, что она осуществляет контроль над своими государствами-членами, отказавшимися от суверенитета, чтобы иметь возможность действовать вместе на основе общих принципов. В своей книге я резюмировала эти принципы как «европейскую мечту». К их числу относятся уважение к людям независимо от их происхождения, правовая система, которая поддерживает безвластных и сдерживает злоупотребление властью, а также ответственность за то, чтобы сосуществовать поверх границ национальных государств в условиях устойчивого взаимного мира.

Эта мечта о «европейской мечте» обнаружила свои изъяны после 2000 года, когда восточноевропейские государства стали переоткрывать свою историю и национальные идентичности, что увеличило значение этнического принципа членства, который привел к исключению других [этносов], стал угрожать им и поставил под угрозу взаимное признание и социальный мир в обществе. В своей инаугурационной речи после победы на выборах в 2019 году президент Владимир Зеленский назвал «европейскую мечту» ви́дением, объединяющим его страну, и пообещал вести украинцев в этом направлении, на Запад. Никто тогда не представлял, как спустя три года эти слова станут правдой в ситуации такой боли и травматического давления. <...>

Михаил Ямпольский: Я являюсь убежденным сторонником междисциплинарности, так как не вижу перспектив на обновление внутри дисциплин. Есть вещи, которые мне кажутся нужными и перспективными, например более последовательное применение генетического взгляда, прослеживающего всякое явление в его зарождении и генезисе. Этот подход может помочь отойти от анализа структур и систем как некой данности, пригодной для определенного метода. Именно поэтому, взяв такое структурное и статическое понятие, как *форма*, я пытаюсь последнее время подойти к нему как к результату безостановочного становления и разложения, не позволяющих прийти к стабилизации смыслов.

В последнее время меня в определенной степени занимает возрождающийся интерес к риторике. Интерес этот постоянно возникает и угасает, по счастью не превращаясь в доминирующий тренд. Риторика мне кажется интересным замещением семиотики, так как сосредотачивается на фигурах переноса и сочетания несочетаемого и разнородного. В каком-то смысле всякая культура основана на риторике, так как позволяет соединение того, что логически или семиотически несовместимо. Культура, в конце концов, — это клубок, глубоко противоречащий всякой формальной логике. Особенно любопытны, на мой взгляд, попытки создать инструментарий риторической антропологии.

Считаете ли Вы, что события последних месяцев могут повлиять на институциональное положение Вашей дисциплины, ее академический статус и работающих в ней исследователей? Если да, то какие изменения кажутся Вам перспективными? Возможно ли появление принципиально новых образовательных и исследовательских институтов, включая неформальные?

Сергей Зенкин: ...моя дисциплина — не русистика, а компаративистика и теория, их статус в мире вряд ли изменится. Не думаю даже, что снизится интерес историков к «русской теории» XX века, к ее деятелям и концепциям: ученые — прагматичные люди, они не станут «отменять» работающие идеи из-за того, что их придумали сто лет назад во враждебной сегодня стране. Осложняется, конечно, текущее и особенно институциональное сотрудничество с иностранными коллегами, но так во всех дисциплинах, ничего специфического здесь нет. Неформальные институты могут чем-то помочь делу; они возникали и до 24 февраля, и будут еще возникать, в некоторых я сам участвую, например в Свободном университете.

Сергей Ушакин: Мне кажется, что такие изменения зависят не только от дисциплины, но и институциональных ресурсов. Расширение тематического спектра требует новых исследований (и исследователей), ставок и т.п. академической бухгалтерии. Изменение этих условий — дело долгое. Российско-украинские события, конечно, повлияют на тематику курсов и диссертаций, но я пока не вижу, как будет меняться институциональная структура антропологии в этом плане. Скажем, война в Афганистане, Ираке и Сирии мало что изменила в этом отношении. Движение «Black Lives Matter» в значительной степени изменило атмосферу в американских кампусах, резко повысив нетер-

пимость к любым проявлениям расизма, но институциональных изменений пока было очень мало.

Александр Семенов: Отсутствие открытого горизонта будущего и социальной дискуссии о возможном воображении будущего сделало историю идеологическим знаменем официального российского политического курса. Когда грохочут пушки, музы молчат. Но проблема еще и в другом: введение политической цензуры и появление самоцензуры приведет к возвышению вполне себе сохраняющейся советской практики узкого толкования ремесла историка. Эта практика заключается в преобладающем эмпиризме, стремлении свести логику исторического исследования к источниковедению и уходе от сложных вопросов исторической интерпретации и аналитического языка для описания прошлого. С этой привилегированной точки современности мы можем теперь увидеть, что часто ругаемые 1990-е годы были весьма продуктивным временем теоретической рефлексии и творческого переосмысления дисциплинарной идентичности истории. Речь должна будет идти не о консервативном сохранении наследия, но о его сохранении и творческой переработке.

Николай Плотников: Военные действия России в Украине ознаменовали распад глобального академического пространства и приостановку многочисленных научных и образовательных связей, благодаря которым функционировала международная академия, интегральной частью которой была Россия. Приостановление институционального сотрудничества с Россией во всех дисциплинах ведет в случае гуманитарных наук к полной изоляции российского научного сообщества от глобального научного развития. Ученые еще могут продолжать контакты как частные лица, но научное сотрудничество на базе академических институций становится невозможным. Для исследований интеллектуальной истории это означает не только ограничение научного общения с коллегами, но также и затруднение доступа к архивам, к библиотекам и текущим научным публикациям в глобальном масштабе. Сокращаются возможности публикации научных результатов как в России, так и за ее пределами.

Все эти тенденции вряд ли можно назвать перспективными для развития гуманитарных дисциплин. Вместе с тем разрушение форм научной коммуникации, сложившихся за последнее тридцатилетие, может привести к отчасти вынужденной, отчасти сознательной перефокусировке исследований от «русоцентричности» на выявление плюрализма интеллектуальных центров — Одессы, Варшавы, Вильнюса и др., которые перестанут восприниматься как «периферия империи», а станут новыми отправными точками, из которых могут быть развернуты новые попытки картографирования интеллектуального пространства Восточной Европы.

Это касается не только предмета исследований интеллектуальной истории, но и перефокусировки всей их институциональной инфраструктуры, включая усиление и расширение научного сотрудничества с восточноевропейскими академическими центрами, университетами, архивами и проч. Данный процесс приведет с большой вероятностью к возникновению новых образовательных и исследовательских институций, которые дадут новый импульс к развитию и большей консолидации центрально- и восточноевропейского академического пространства, раздиравшегося прежде соперничающими национально-государственными проектами.

Катриона Келли: В англоязычном мире уже очевидны два результата этих трагических событий. Первый — это радикальный рост интереса к культурам помимо российской среди академиков, работающих в области исследований России и Восточной Европы. Другой — возрождение внимания к истории России и СССР как империй. Политическая, общественная и культурная история, изучающая имперское наследие, существует не первый год, о чем свидетельствуют как отдельные исследования, так и коллективные инициативы, такие как «Ab Imperio» и некоторые серии, публикуемые НЛО. Но как недавно доказывал антрополог Сергей Абашин, исследования империи не имеют того резонанса и институционального влияния, которого заслуживают.

Обе эти тенденции — растущее внимание к не-российским культурам и к связи между российской культурой и империей — вне всяких сомнений позитивны. Отличные исследования, не касающиеся напрямую России, начинают получать должное внимание. В дополнение к этому наше понимание самой российской культуры обогащается, когда мы смотрим на нее с постколониальных позиций. Некоторые ранние образцы могли бы дать повод к уголовному преследованию, но это неизбежно (вспомните о ранней феминистской литературной критике, такой как вышедшая в 1968 году книга Мэри Эллман «Думать о женщинах» («Thinking About Women»)). А некоторые из тех, кто громче всех заявляет, что в растущем внимании к имперскому контексту выражается «отмена» российской культуры, сами делают больше всех для ее «отмены», кривыми путями продвигая в качестве манифестов «национальной идеи» и легитимации агрессии софистицированные и двусмысленные тексты. Так или иначе, имперское влияние определенно вошло в повестку. В том, что касается институционального стимулирования этой дискуссии, многое можно быстро сделать неформальными средствами, с помощью авторских колонок, подкастов и онлайн-дискуссий (что уже и происходит). Но такие журналы, как «НЛО», играют решающую роль в публикации более основательных материалов, за которыми стоит более длительная рефлексия. Можно лишь надеяться, что слово «влияние», используемое в поправках к закону об иностранных агентах и допускающее разные толкования, не станет непреодолимым препятствием для плодотворного международного диалога, который начался в конце 1980-х годов и в который само НЛО сделало такой значительный вклад.

Елена Чхаидзе: События последних месяцев уже повлияли на ощущения, с которыми ты преподаешь русский язык или русскую литературу. Они могут повлиять и на статус, и на исследователей. Конечно, пока не напрямую, из управления университетов, а косвенно. Но явно уже то, что программы по обмену студентами (Германия — Россия) закрыты. О появлении неформальных институтов сложно сказать. На мой взгляд, если говорить о России, то новые не появятся. Мы находимся на переломе эпох, который пока не дает возможности определить перспективу. Прошло только несколько месяцев. Более-менее все станет проясняться, может быть, через год.

Ханс Ульрих Гумбрехт: …я не думаю, что академические дисциплины, которые мы называем «гуманитарными», обязаны, да и вообще способны быстро реагировать на изменения политической обстановки. Честно говоря, я задаюсь вопросом о том, могу ли вообще в качестве профессора-эмерита «сравнитель-

ного литературоведения» претендовать на то, что обладаю точкой зрения или знаниями, которые делали бы мои суждения о текущих событиях и их предыстории более вескими, чем, скажем, суждения коллег с медицинского факультета или любого гражданина моей страны. Разумеется, я могу и даже обязан реагировать на такие важные политические события как гражданин, то есть лицо, чувствительное к вопросам политики, — но не как бывший преподаватель и исследователь в области «сравнительного литературоведения» (по крайней мере, никаких специфических прав или обязанностей этот мой статус не создает). Что касается возможности изобретения и создания новых институциональных сред для преподавания и (производительного) мышления, порой я боюсь, что история «западного университета» в той форме, которая берет начало от эпохи Просвещения и от движения просветителей, подошла к концу. «Передача профессионального знания», которая в настоящее время чаще всего преподносится как цель и функция существующих университетов, — это точно не то, что имел в виду, к примеру, Вильгельм фон Гумбольдт, когда формулировал свои нормативные и получившие позднее большое влияние идеи по поводу призвания университета как институции.

Хотя меня бы и расстроило, если бы традиционный университет исчез (я ничуть не жалею, что он был моим интеллектуальным домом), я вполне могу вообразить, что будут изобретены другие учебные среды — возможно, меньшие по масштабам и более персональные, чем сегодняшние гигантские (в историческом сравнении) академические институции. В конце концов, похоже, что вопреки ожиданиям сегодня имеется спрос на тип мышления, культивируемый гуманитарными науками, и этот спрос вполне может вылиться в активную трансформацию, а возможно и замещение, университетов, какими мы их знаем.

Эллен Руттен: По постам в соцсетях я вижу, что разговоры об этих вопросах сейчас в полном разгаре. Рано предугадать, чем они закончатся, — но наблюдаю с интересом и отношусь с симпатией к тем, кто переживает.

В любом случае мне кажется, что сейчас нужен новый университет, в котором примерно половина позиций будет отведена для тех многочисленных исследователей, художников, писателей, философов и студентов, чьи жизнь, достаток или свобода сейчас находятся под угрозой. Их, увы, так много, что существующих программ не хватает: понадобится новое учреждение. Именно это убеждение побудило меня и семерых коллег уделять большую часть своего времени работе над Университетом новой Европы (University of New Europe; https://neweurope.university). В этой инициативе участвуют коллеги из Украины, России и других европейских стран. В Университете новой Европы 50—60% позиций будут выделены студентам и исследователям из иллиберальных обществ, а его программа будет ответом на те геополитические и экологические кризисы, с которыми мы сегодня сталкиваемся в Европе.

Новый университет — *sine qua non* в сегодняшней Европе. Но я хочу упомянуть и другую концептуально и институционально важную трансформацию, которую сейчас трудно *не* наблюдать. Я имею в виду разговор о деколонизации славистики, который сейчас ведется, мне кажется, на всех себя уважающих кафедрах нашей дисциплины. На меня, так же как и на многих коллег, большое впечатление произвела программная лекция украинского историка и писательницы Олеси Хромейчук в апреле этого года на британской славистской

конференции BASEES. «Где находится Украина на ментальной карте академического сообщества?» — спросила Хромейчук в сугубо личной и порой надрывной речи, в которой она критиковала обыкновение славистов затушевывать нерусские корни знаменитых «русских» художников и писателей (почему мы называем отчасти польского и выросшего в Украине художника Малевича «русским авангардистом», например?). Хромейчук также порицала тенденцию превращать Россию в ориентир для учебных программ, заявок на гранты и других инициатив, связанных со славянскими языками и культурами. Попытки решить эту проблему я вижу у коллег по собственной учебной программе — когда, например, они организуют новые курсы, вносят дополнения в учебные планы или устраивают публичные встречи, в которых более мощно звучат украинские или, скажем, белорусские голоса.

Такие же попытки мы предпринимаем в редколлегии журнала «Russian Literature», главным редактором которого я являюсь. Начиная с февраля у нас в редакции резко усилились уже существующие тревоги по поводу того, что мы анализируем белорусскую, украинскую, боснийскую и другие славянские литературы меньше, чем хотели бы. В недавней редакторской колонке я разделила с читателями чаяние чаще публиковать размышления о разных славянских литературах и языках.

Это всего лишь примеры первых, ценных, но очень еще несовершенных попыток перепридумать дисциплину. Какие интервенции понадобятся в долгосрочной перспективе — пока говорить рано. Но в том, что сейчас выстраивается новый баланс учебных и исследовательских материалов, — где вклад российских материалов падает за счет нероссийских, — у меня мало сомнений.

Кевин Платт: Здесь я ограничусь в своих комментариях теми институциональными распорядками и областями исследований, которые касаются отдельных регионов. Обычно эти мультидисциплинарные формации включают не только гуманитарные дисциплины, но и социальные науки, и называются по-разному: «русские и восточноевропейские исследования», «русские, восточноевропейские и азиатские исследования», «славистические исследования», «постсоциалистические исследования» и т.д. Скажу прямо: облик этого поля всегда отражал имперские структуры власти в регионе, которому оно посвящено. В США, чью ситуацию я знаю лучше всего, всегда преобладали курсы, факультеты и исследования, сосредоточенные на русском языке, литературе, культуре и истории, а в рамках исследований России (Russian studies) приоритет имели канонические тексты и проблемы, тогда как все остальные языки, литературы, культуры и истории подвергались маргинализации, игнорировались или рассматривались только лишь в связи с гегемонной и господствующей метрополией.

Не буду углубляться в исторические обстоятельства, которые на протяжении XX века вели к такому результату. Тем не менее необходимо заметить, что ввиду той лавинообразной деколонизации, которую регион де-факто претерпел за последние тридцать лет (как мы видим сейчас, этот процесс далек от завершения), можно было ожидать, что институциональная и академическая жизнь тоже начнет перестраиваться на иных принципах, соответствующих распаду империи и деколонизации народов. На деле же было сделано очень мало. Лишь в начале нового тысячелетия исследователи стали применять к региону постколониальную и деколониальную оптику, а более-менее масштаб-

ной и последовательной эта практика стала в 2010-х годах (в том числе благодаря усилиям НЛО) — тем не менее, несмотря на недавнюю публикацию важных и прорывных исследований, она так и не заняла центрального места в методологическом репертуаре. Программы учебных курсов, институциональные структуры и сам по себе академический дискурс по-прежнему в огромной степени зациклены на источниках и проблемах, порожденных российской метрополией. Исследованиям России уделяется до неприличия больше внимания, чем любому другому языку, культуре или традиции. Путь к исправлению этой ситуации очевиден: нужна радикальная перемена в организации академической жизни наших полей. Скорее всего, чтобы осуществить ее, понадобится целое поколение исследователей, которые по-настоящему деколонизируют как институты, так и научный дискурс.

Марк Липовецкий: Нынешняя историческая катастрофа (а мы имеем дело именно с ней) действительно обнажила то, что давно требовало ревизии. Русская культура, разумеется, не должна замещать собой богатый и разнообразный мир славянских культур, а должна пониматься как *одна из них*. Это, конечно, институционная проблема, касающаяся преподавания и обучения специалистов. Деколонизация русистики, о которой много говорят наши коллеги сегодня, действительно необходима, но она не должна стать самоцелью, а хуже того, элементом научного этикета. Я глубоко убежден, что не столько социальные теории, сколько гуманитарные исследования, в которых русский материал изучался бы в постоянном сопоставлении с материалом культур, находившихся в сфере имперского влияния России, может привести к новым теоретическим поворотам и парадигмам. Введение в наши исследования украинской, белорусской или польской перспектив способно сыграть остраняющую роль и обнажить культурные механизмы, остающиеся незаметными изнутри русской культуры. На этом пути, само собой, неизбежна реконфигурация гуманитарного поля, а потребность в новых институциях назрела давно и, возможно, нынешняя ситуации тут сыграет роль катализатора.

Евгений Добренко: Чем скорее все мы поймем, что мир после 24 февраля 2022 года изменился радикально и необратимо, тем лучше. Причем речь идет именно об институциональных изменениях — разрушены институциональные связи, обмены, контакты и совместные проекты… Связь с российскими институциями сделалась невозможной. После письма российских ректоров стало невозможным сотрудничество с вузами. Конечно, что-то, хотя и далеко не все, возможно на персональном уровне, но институциональное положение дисциплины на Западе изменилось полностью. Не нужно обманывать себя: Россия превратилась (сама превратила себя!) в главного врага Запада и будет теперь позиционироваться в этом качестве. Ничего нового тут нет: русистика была рождена на Западе как наука о враге и в таком качестве просуществовала полвека холодной войны, поэтому возврат к этому ее статусу многими воспринимается как возвращение к извечному порядку вещей. Конечно, многими он будет воспринят драматично, поскольку за тридцать лет пришло целое поколение русистов, привыкших к нормальному статусу своей дисциплины. И для них (нас) эти изменения ничего «перспективного» не несут. Они несут статус дисциплины-изгоя о стране-изгое.

Риккардо Николози: Для развития немецкой славистики в последние тридцать лет была характерна растущая интернационализация. В области русистики, о которой здесь следует сказать, после падения Советского Союза открылась такая нужная возможность сотрудничества с российскими учеными, чему способствовали основание, либо реформа университетов, исследовательских центров и издательств. Обмен шел в обоих направлениях, исследователи обоюдно влияли друг на друга и практиковали диалог, через который вместе росли. В этом диалоге принимали участие коллеги из славистических институтов других стран, сотрудничество русистов со всего мира было значительно и для всех плодотворно. Я использую здесь прошедшее время, потому что после 24 февраля 2022 года все изменилось. Совместная работа с российскими образовательными и исследовательскими институциями стала невозможной, и в обозримом времени здесь ничего не изменится. Сегодня приходится ставить вопрос о том, возможна ли немецкая славистика без кооперации с Россией. Ответ: да, разумеется, она возможна, потому что, как было объяснено выше, славистика в Германии — это далеко не только русистка. Это может удивить русистов по всему миру, потому что они не ведают этого разнообразия своих институций, а также потому что они никогда по-настоящему не интересовались тем, что происходит в славистике за пределами русистики. Вполне возможно (и желательно), что прочие славянские культуры выйдут из этой ситуации, сделавшись сильнее.

Сегодняшняя ситуация тяжела и для самой немецкой русистики. Проблемы нельзя игнорировать, соответственно нельзя и надеяться, что скоро все станет как раньше, потому что оправданной надежды на это нет. Тяжела не столько даже ситуация в немецких университетах, где в текущем положении запрос на предметное знание русской культуры отчасти даже вырос. Ситуация тяжела по причине разрыва связей с Россией. Поэтому встает вопрос о том, возможна ли зарубежная русистика практически без контактов с Россией. Тем, чьи исследования требуют доступа к архивам и библиотекам в России, утрату этой возможности едва ли можно чем-то компенсировать. Менее серьезны проблемы тех, кто, как я, не работает с архивными материалами. Тем не менее встает вопрос о том, что это будет значить, если регулярный обмен с российскими коллегами станет в известной степени невозможен. Следует опасаться, что мы получим новый раскол на внутреннюю и зарубежную русистику, который будет обусловлен не только технологиями коммуникации, но и институциональной идеологией. Волна эмиграции из России и политически управляемая, идеологическая реполитизация российского гуманитарного знания могут привести к тому, что в ближайшем будущем язык науки изменится. В конечном итоге это несет двойную угрозу: с одной стороны, российская русистика рискует лишится международного доступа, а с другой — исследования России могут подвергнуться колонизации зарубежной русистикой. Там самым мы окажемся в ситуации, напоминающей холодную войну, а радостные тенденции последних тридцати лет, поставившие на повестку глобализацию русистики, моментально обратятся вспять. Текущее положение вещей таково, что это будет лишь малая и по существу незначительная часть намного большей трагедии.

Алейда Ассман: Мы подошли к очередному переломному моменту, когда за будущее борются два мировоззрения и две политические системы, противостоящие друг другу. В этой ситуации важная роль гуманитарных наук —

информировать и просвещать людей о происходящем, наделять их способностью понимать конфликт в его более широкой исторической и культурной перспективе. Процитирую письмо украинской беженки в Германии, которая обратилась за советом в том, как ей реорганизовать учебу: «Я не практикующий исследователь, но уже несколько лет ищу возможность продолжить образование и обучение в области, в которой их начинала. Я хочу заниматься исследованиями памяти. Я считаю, что это очень важная и актуальная область исследований для Украины, особенно сегодня. Эта область почти никогда не исследуется должным образом, и Украине предстоит найти свой способ работы с памятью о событиях советского прошлого, о советских репрессиях, о событиях, начавшихся в 2014 году, и о событиях 2022 года».

Допускаете ли Вы возможность радикальной реконфигурации сложившихся дисциплин и всего гуманитарного поля в связи с усиливающимся в последние годы процессом культурной «деколонизации» в мировом академическом сообществе?

Сергей Зенкин: Не берусь судить о мировых процессах, но Советский Союз и постсоветскую Россию, конечно, следует изучать как империю, на сегодня вполне зловредную. Я только не уверен, что к ней точно применим термин «колониальная»: многие из ее этнически специфичных частей было бы лучше называть не «колониями» в новоевропейском смысле слова, а «провинциями», какие существовали, например, еще в Римской империи. К тому же эта империя, страдая всемирной отзывчивостью, все время ревниво оглядывалась на «Запад», опасалась и одновременно желала культурной (ну или хотя бы научно-технической) колонизации с его стороны. В наши дни эти национальные комплексы отражаются, помимо прочего, в ходе научного обмена: российские ученые могут свысока глядеть на коллег из соседних стран, но при этом сами нередко жалуются на колониальную эксплуатацию со стороны западных славистов, которые-де выделяют им только роль «провинциальной», эмпирической науки, собирающей сырой материал для изучения в мировых столицах. Сегодня, когда Россия вся в целом выглядит в глазах мира как воспалившийся сырьевой придаток, этот соблазн ресентимента рискует усилиться.

Сергей Ушакин: Радикальная реконфигурация поля гуманитарных дисциплин требует как наличия людей, способных совершить эту радикальную реконфигурацию, так и идей, на основе которых эта реконфигурация может произойти. Деколонизация знания — это не только процесс (политического) устранения имперского господства, но прежде всего формирование альтернативной исследовательской повестки и методов изучения. В этом плане противоречивая история антиколониального движения 1950—1960-х годов, с его тягой к определенному универсализму (панафриканизм, теория негритюда) и заурядному национализму, скорее говорит об обратном: быстрых деколонизаций не бывает. Поскольку главная-то задача, как мне кажется, не в том, чтобы переписать прошлое, а в том, чтобы формировать будущее, не похожее на вчера.

Александр Семенов: Это отдельный и интересный сюжет. Растущие усложнение и гибридизация всех современных обществ остро ставят вопрос об аутентичности и собственности на исторически сформированные коллективные идентичности. Растущая взаимосвязанность мира также ставит вопрос о долгоиграющем историческом наследии имперских формаций и колониализма. Историческая деколонизация (начиная с имперских трансформаций после Первой мировой войны, включая 1917 год) в смысле образа будущего являлась глубокой национализацией политических структур и форм социальной организации. Вопросы деколонизации, как они поставлены сейчас, показывают нам тупиковость деколонизации в смысле перехода от империи к нации. Оказывается, что история не останавливается и изнутри сложившейся гегемонии национальной рамки прорываются стремления к различности самых разных жанров и регистров.

Но может быть, мы находимся в плену ближней перспективы? Разве появление женской и гендерной истории не воспринималось как радикальная ломка сложившейся логики академической жизни и производства знания? Я очень хорошо помню наши дискуссии в Казани в начале 2000-х годов, когда попытка поставить вопрос о месте и субъектности женщин в истории России встречала неумолимый ответ — нет соответствующих источников. А потом источники нашлись. Источники всегда найдутся, но они молчат без вопрошания историка, работает ли он в рамках гендерной истории или в рамках деколониального поворота.

Николай Плотников: Вследствие внешней политики России и ее открыто колониального характера, следует почти с неизбежностью ожидать усиления в глобальном масштабе «деколонизации» в исследованиях российской интеллектуальной истории, которая будет связана как с более жесткой критикой идейных проектов русского национализма и его исторических гештальтов, так и с увеличением интереса к авторам и концепциям, утверждавшим антиавторитарные и антиколониальные идеи в контексте российской интеллектуальной истории.

Катриона Келли: Однозначно да. Такая радикальная реконфигурация необходима, чтобы адекватно понять прошлое и настоящее. И под «деколонизацией» я бы понимала внимание не просто к истории разных этнических групп, но и ко всему спектру групп, которые с точки зрения основного течения культуры были «иными»: к женщинам, детям и молодежи (да и к старикам), сексуальным и религиозным меньшинствам, к тем, о ком забыла неолиберальная политика, например обездоленным региональным сообществам.

Елена Чхаидзе: Термин «деколонизация» применительно к постсоветскому пространству относителен, и его надо уточнять, объясняя разницу его употребления по отношению к европейским империям и к СССР. Теоретическая «деколонизация» постсоветского пространства в западных исследованиях продолжится, но в российском научном поле будет в силе советский образец — «Снова изобретем автомат Калашникова!»

Ханс Ульрих Гумбрехт: Если «деколонизация» подразумевает, что гуманитарные науки сосредоточат внимание на культурах, которые они до сих пор

игнорировали, столкнутся с незападными способами мышления и сами станут активно к ним прибегать, то я целиком и полностью за такую реконфигурацию. Опасность я вижу в том, что сегодня стали называть «политической корректностью», то есть в подходе, отталкивающемся от того, что представляется политически и этически несомненным, когда производство духовной сложности и постановка новых вопросов зачастую подменяются переутверждением и повторением собственных позиций. В принципе, «деколонизация» в хорошем смысле может рассматриваться как продолжение того, что я считаю лучшей традицией и лучшим наследием гуманитарных наук (а возможно, и всей западной академической жизни), а именно такого подхода, когда развитие мысли и постановка проблем осуществляется без заранее намеченного результата. Это вылилось бы не просто в создание новых дисциплин, например «исследований Африки» или «музыки Океании». Подлинный вызов заключается в том, чтобы быть открытыми для разных стилей мышления, дискуссии и письма. Когда я думаю о потенциале, который несут в себе подобные перемены, то жалею, что преклонный возраст вряд ли позволит мне лицезреть их результаты.

Эллен Руттен: О подобной возможности хотелось бы подумать подольше — тем более что постановка вопроса довольно широкая: мне трудно говорить за все гуманитарные науки сразу. Но сам вопрос кажется мне верным и важным.

Кевин Платт: Очевидно, что текущий кризис требует неотложного внимания к беде украинцев, которые столкнулись с попытками другого государства отрицать, что они вообще обладают независимой политической, национальной, культурной и языковой идентичностью. Российское государство занимается (ре)колонизацией. Мы, как ученые, должны противостоять этому, используя научные инструменты, которые есть в нашем распоряжении. Но деколонизация наших дисциплин должна произойти на всех уровнях, а не только в том, что касается различия между русским и нерусским, которое в центре нашего внимания сегодня. В ближайшие десятилетия мы должны не просто со всей многозначительностью переместить фокус нашего внимания с имперского центра на народы, которые прежде были колонизированы, но и выявить имперский след, который воспроизводится по всему региону, внутри и вовне каждого государства, нации или культурной формации. В данном регионе, как и в любом другом, много сообществ, народов и языков, чьи идентичности не соотносятся ни с каким государством, а их политическая или институциональная власть минимальна или вовсе отсутствует. Идентичности и сообщества рассеяны по ландшафту [этого региона] неравномерно. Сами по себе языки и культуры, включая русский язык и русскую идентичность, множественны, фрагментированны и взаимопроникающи, а отнюдь не монолитны, обособлены и неделимы. Поэтому задача деколонизации наших дисциплин состоит не в том, чтобы попросту нарезать карту на новые образования и каноны, которые соответствовали бы политическим реалиям наших дней, но в том, чтобы со всей тщательностью отследить то, как политическая власть отражается на нашей жизни и научных институциях, на любых масштабах и во всех географических регионах, поставить ее под вопрос и найти ей противовес.

Евгений Добренко: Нет. Во-первых, потому, что за разговорами о «деколонизации» вижу немало политкорректной компанейщины, которая, как и

всякая компанейщина, пройдет, не оставив глубокого следа, кроме терминологического: русофонных авторов перестанут называть «русскими», а тех из них, кто родился вне России, станут называть «русским писателем украинского (или иного) происхождения». Нового здесь ничего нет. Все это давно уже произошло, например, в романистике, где есть целые области, занимающиеся франкофонной (francophone) литературой Африки или португалоязычной (lusophone) литературой Латинской Америки и т.д. Не думаю, что это что-то радикально изменит в нашем понимании литературы, в том числе и национальной литературы. Во-вторых, нельзя не видеть нарастающего противоположного тренда, направленного на подчеркивание национальной специфичности в противовес мультикультурности, которая, по крайней мере в политической сфере, стала чуть ли не бранным словом. Все это заложено в самой природе политики идентичности (politics of identity), которая, с одной стороны, является продуктом того же дискурса, что питает «деколонизацию», а с другой — пестует дискурсы разъединения, когда безбрежный глобализм разбивается о множество волнорезов идентичностей национальных, этнических, религиозных, гендерных, возрастных, профессиональных и т.д. меньшинств. Все они производят целые субдисциплины со своими теориями и историями, которые часто оказываются совершенно непереводимыми и неприложимыми в смежных дисциплинах, а во многих случаях и академически непригодными и бесплодными, поскольку являются просто сублимированными формами политического активизма.

Алейда Ассман: Для меня деколонизация духа — насущный вопрос, дающий глобальный импульс всем нациям и культурам, потому что от этого зависит выживание человечества. Западная культура должна проработать свое колониальное прошлое и признать ту аборигенную травму, которая тесно связана с западной триумфальной историей открытий, расширения, прогресса и богатства. Этот знакомый набор ключевых слов следует пересобрать, чтобы он впитал и вобрал элементы насилия и власти, жестокости и жадности, силы и равнодушия. Сегодня понятие о выживании требует пересоздать понятие «человечества», чтобы оно могло превратить людей в коллективную действующую силу с волей к сотрудничеству, к созданию основы для сосуществования в условиях устойчивого мира и к объединению усилий для того, чтобы обеспечить светлое будущее человечества, планеты и последующих поколений. Здесь огромная ответственность лежит не только на науке и технике, но и на гуманитарных науках, потому что их обязанность — держать зеркало перед людьми с их историей, помогая им критически смотреть на свои ценности, цели и на свой собственный образ в транснациональной и мировой перспективе.

Михаил Ямпольский: Что касается деколонизации, то тут, на мой взгляд, следует различать два аспекта. Первый, связанный с дисциплинарной «деколонизацией», скорее всего приведет к глупым и догматическим результатам вроде попыток маргинализации богатых и «доминантных» «имперских» культур. Второй аспект — это закономерное крушение классических филологических дисциплин — русистики, англистики, французистики и германистики — то есть тех дисциплин, которые занимались выработкой культурных канонов и *нормализацией* национальных культур начиная с эпохи складывания наций и империй. Я думаю, что сегодня исчезла основа легитимизации таких дис-

циплин и они постепенно войдут в иной дисциплинарный комплекс, не связанный с языками и государственностью. Такая «деколонизация» мне скорее симпатична.

Что касается событий последних месяцев, то я думаю, что на какое-то время в западных университетах они смогут привести к конъюнктурному росту «украинистики», хотя такая дисциплина и кажется мне изначально устаревшей. Мне представляется, что речь не должна идти о хотя бы частичном вытеснении архаической русистики в чем-то похожей на нее украинистикой, а о создании какого-то совершенно иного и более адекватного комплекса знаний.

Науки о тексте и науки о действии

Круглый стол

«XXVIII Банные чтения
“Трансформация гуманитарного знания
в постсоветской России”»

1 апреля 2022 года

Round Table. “XXVIII Bath House Readings
‘Transformation of Humanitarian Knowledge in Post-Soviet Russia’.” April 1, 2022

УДК: 30+80
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_64

В дискуссии выступили: **Александр Филиппов** (НИУ ВШЭ), **Михаил Маяцкий** (независимый исследователь), **Олег Хархордин** (Европейский университет в Санкт-Петербурге), **Павел Арсеньев** (Женевский университет), **Сергей Зенкин** (Свободный университет, РГГУ и НИУ ВШЭ), а также главный редактор «Нового литературного обозрения» **Ирина Прохорова** и другие участники «Банных чтений», которые задавали вопросы докладчикам.

UDC: 30+80
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_64

The following speakers took part in the discussion: **Alexander Filippov** (HSE University), **Michail Maiatsky** (independent researcher), **Oleg Kharkhordin** (European University at St. Petersburg), **Pavel Arsenev** (Université de Genève), **Sergey Zenkin** (Free University, RSUH, HSE University), along with the editor-in-chief of the *New Literary Observer* Publishing House **Irina Prokhorova** and other participants of the Bath House Readings who asked questions to the speakers.

Ирина Прохорова: От лица «Нового литературного обозрения» я приветствую вас на 28-й ежегодной конференции «Банные чтения». В последнее время многие коллеги задаются вопросом, возможно ли заниматься любимой профессией в ситуации, в которой мы все против воли оказались. Мне представляется, что как раз сейчас нам и нужно рефлексировать по поводу наших занятий, потому что речь идет не просто о разговорах о трансформации гуманитарного знания в постсоветской России, как мы назвали эту конференцию еще, так сказать, в довоенное время. Речь идет о судьбе профессии; не только о славистике как дисциплине, но и о том, чем может и должен заниматься

гуманитарий сегодня в России, потому что у всех есть ощущение, что дальше работать по привычке невозможно и требуется более глубокое осмысление перспектив нашего дальнейшего существования. Наша конференция и посвящена пересмотру основ нашей деятельности с точки зрения журнала, который в этом году празднует свое тридцатилетие. Его главный посыл в начале девяностых годов состоял в радикальном пересмотре состояния гуманитарного знания. Тогда было то же ощущение, что дальше невозможно работать так, как работали в советский период; надо было активно осваивать новые тренды, новые направления мировой гуманитаристики, от которой мы были отрезаны долгие годы. Сегодняшняя конференция будет, с одной стороны, посвящена тому, насколько изменилось российское гуманитарное знание за эти тридцать лет, а с другой — насколько оно действительно готово к радикальному пересмотру имперской государственной истории, которая у нас до сих пор остается главным вектором преподавательской и исследовательской работы.

С момента основания конференции «Банные чтения» в 1993 году нашей главной задачей были не просто выступления, а мощная дискуссия после каждого доклада. В этом году мы начинаем нашу конференцию с круглого стола, что очень символично, потому что в свое время, в далеком 1996 году, в 17-м номере НЛО по инициативе Сергея Зенкина был опубликован круглый стол, который назывался «Философия филологии». В нем участвовали замечательные коллеги, представители разных дисциплин, некоторых из них, увы, уже нет с нами; Владимир Бибихин, Михаил Гаспаров, Екатерина Деготь, Борис Дубин, Сергей Зенкин, Андрей Зорин, Вера Мильчина, Валерий Подорога обсуждали, в каком состоянии находятся их дисциплины и предметы их исследований. Это был срез той эпохи, и сегодня наша идея состояла в том, чтобы посмотреть, каково нынешнее состояние гуманитарного знания столько лет спустя, насколько оно готово к серьезным переосмыслениям и профессии, и предмета исследования, и поэтому я с радостью передам слово Сергею Зенкину, который вновь модерирует организованный им новый круглый стол.

Сергей Зенкин: Я должен начать с благодарности редакции журнала в лице Ирины Прохоровой и Татьяны Вайзер, которые предложили мне подготовить этот круглый стол; посмотрим, что из него выйдет.

Мы собрались за этим виртуальным столом в чисто мужской компании, это неправильно, но получилось случайно: одна очень известная ученая дама, которая собиралась принять участие в нашей дискуссии, вынуждена была в последний момент отказаться. Другие два параметра дискуссии выбраны сознательно. Во-первых, здесь находятся люди, работающие как в России, так и за ее пределами, и во-вторых, за исключением меня самого все остальные коллеги являются нефилологами или не совсем филологами. Александр Филиппов и Олег Хархордин — политические философы, Михаил Маяцкий — философ более широкого профиля, а Павел Арсеньев хотя и защитил диссертацию по литературе, но приглашен сюда скорее в качестве медиолога — специалиста по материальным носителям культуры и по материальным реализациям литературного творчества. Задача в том, чтобы посмотреть на филологию со стороны, глазами других наук.

Конференция затевалась несколько месяцев назад, и предполагалось осмыслить завершающийся, а может быть, уже завершившийся период в истории российского гуманитарного знания. К сожалению, сегодня этот период не то чтобы

завершился, но оборвался самым катастрофическим образом, и для отечественной науки случившиеся с тех пор события — так называемая специальная военная операция на территории Украины, реакция на нее мирового сообщества, изменения во внутреннем климате России — грозят самыми скверными последствиями. В ближайшей перспективе можно вполне реалистически предвидеть, во-первых, обнищание науки (средств на всех не хватит), во-вторых, уже начавшийся и далеко зашедший разрыв с мировой наукой, изоляцию если не интеллектуальную, то организационную, включая отток лучших мозгов, и, в-третьих, усиление в научных институциях России цензуры, мракобесия и академической коррупции. Эти тенденции очень хорошо уживаются вместе. Сейчас приходится с ностальгией и одновременно с ужасом оглядываться на то, что было раньше, и пытаться подвести какие-то итоги.

Как мне видится, последние тридцать лет для постсоветских гуманитарных наук были важным периодом накопления знаний, идей, квалификации. Российские исследователи интегрировались в мировой научный контекст, происходил массовый импорт идей и текстов из-за границы, образовалась огромная и очень ценная библиотека переводов иностранных научных и философских исследований, в ней собралось большое количество книг, многие из них вполне качественно, грамотно изданные. Я не уверен, что этот импорт идей сопровождался столь же интенсивным экспортом, то есть созданием конкурентоспособных научных концепций, интуиций, научных школ, которые бы утвердили нашу науку в мире. Об экспортных возможностях российских гуманитарных наук давно уже размышляли социологи знания, например Михаил Соколов и Кирилл Титаев в своей знаменитой статье о «провинциальной» и «туземной» науке[1]; получалось, что современная российская гуманитарная наука — это наука преимущественно провинциальная, ориентирующаяся на заграничные научные столицы, но занимающаяся главным образом тем, что снабжает их местным материалом, прилагая к нему их идеи. Год назад, тоже в апреле, но уже как будто в прошлой жизни, мы с Олегом Хархординым вместе участвовали в специальной конференции в Тюмени, которая была посвящена проблеме этой вынужденной или добровольной провинциализации российской науки[2]. К сожалению, сегодня есть опасность провалиться уже не в провинциальную, а в туземную науку, которая вообще знать не знает никаких «столиц» и живет в своем изолированном мирке.

Еще одна важная перемена, которая стала исходной идеей этого круглого стола, — изменение воображаемой иерархии наук в России. В Советском Союзе, особенно позднем, царицей гуманитарных наук была филология, что объяснялось идеологическим подавлением социальных наук, выхолащиванием философии и социологии. Именно филология оказалась хранительницей культурного наследия, великой традиции, прерванной в советский период, поэтому ведущие филологи воспринимались как совесть нации. В восьмидесятых годах несколько знаменитых филологов — Дмитрий Лихачев, Сергей Аверинцев, Вячеслав Всеволодович Иванов — стали народными депутатами СССР, это была высшая честь не только для них, но и для науки, которую они

1 *Соколов М., Титаев К.* Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 239—275.

2 Конференция «Ревность к Копернику: международный кругозор российской науки», 24—25 апреля 2021 г.

представляли. Сегодня же само понятие культурной традиции оказалось под вопросом после ее постмодернистского пересмотра, и это особенно заметно в последние месяцы, в контексте нервных дискуссий о том, насколько русская культура виновата в происходящем и насколько она состоятельна перед лицом случившихся событий. Во всяком случае, несомненно другое: филология, изучающая историю культуры, прежде всего литературную, в сознании общества уступила место другим наукам, прежде всего общественным, таким как обновленная социология и вновь появившаяся политическая наука, которой вообще не было в Советском Союзе; поэтому есть возможность посмотреть на филологию инодисциплинарными глазами.

Филология по своей природе накопительная, сохраняющая наука, обращенная в прошлое; она лишь иногда преодолевает себя в производстве общих научных идей и тогда называется теорией литературы, которая активно развивалась в XX веке (в том числе и в нашей стране) и многого добилась. В качестве такой охраняющей — не охранительной, разумеется, но сберегающей наследие — науки филология изучает языки и тексты прошлого, то есть неподвижные, часто просто мертвые, мало кому понятные сегодня памятники культуры. Она не привыкла рассматривать *действия*, социальные или индивидуальные. История литературы пытается преодолевать эту ограниченность, находить и в текстах литературы, и в жизни их создателей действенную составляющую (отсюда, например, биографии писателей, которые часто выходят за пределы собственно анализа их текстов). И все же главная роль в исследовании действия, конечно, у социальных наук. Они могут предложить филологии некоторые объяснительные схемы — так, в современной отечественной филологии большим успехом пользуется социологическая теория Пьера Бурдье. Переход от изучения текста к изучению действия имеет не только российское, но и мировое измерение, потому что его можно рассматривать как реакцию на обесценивание любых текстов, художественных и нет. В ситуации, которая называется сегодня ситуацией постправды, когда любые слова кажутся сомнительными и малоавторитетными, именно действие может стать тем оселком, на котором измеряется достоинство текстов. Социальные науки, науки о действии, могли бы, как мне видится, создать новую основу, новую эпистемологическую базу для обновления филологических исследований. Вопрос в том, сумеют ли и в мировом масштабе, и в нашем печальном российском контексте гуманитарные и социальные науки — науки о тексте и науки о действии — найти какой-то новый альянс, новую возможность продуктивного взаимодействия.

Дальше я передаю слово своим коллегам. Александр Филиппов, может быть, вы начнете?

Александр Филиппов: У меня есть небольшой написанный текст и есть небольшая моментальная реакция на то, что вы сейчас сказали. Первое, что я хотел сказать: обстоятельства, в которых находятся сейчас наши науки, находимся мы все, достаточно печальные. Я не вижу особого резона об этом умалчивать. Если не у всех, то у большинства из нас есть друзья, или коллеги, или просто знакомые, которые сейчас в Киеве, Харькове, в других местах, находящихся под угрозой, и какие-то жалобы на будущее гуманитарных наук в Москве, где тепло, светло и тихо, с некоторым удивлением могут восприниматься людьми в том же Харькове, с которым еще некоторое время назад удавалось связаться, или в Днепре (Днепропетровске), или в Киеве. Разумеется, невоз-

можно постоянно повторять одно и то же, но и делать вид, что этого нет, было бы неправильно, и я специально подчеркиваю это в самом начале. Тем не менее это не отменяет и второго обстоятельства, с которого я начал: перспективы науки в России, я считаю, плохие. Они плохие потому, что мы рискуем оказаться в ситуации, с одной стороны, достаточно хорошо нам знакомой и именно поэтому кажущейся отчасти безобидной, то есть в ситуации позднего Советского Союза, когда мы с трудом получаем какие-то тексты, но, получив их, чувствуем себя на вершине мировой науки. То есть мы читаем тот же текст, который читают ученые по всему миру, и мы тоже как бы мировые ученые, потому что мы читаем одни и те же тексты. Думаю, что здесь не надо быть социологом, для того чтобы это сказать, но все равно как социолог я считаю, что наука не делается в библиотеке, даже филологическая наука, а уж любая другая — тем более. Наука делается в лаборатории, она делается в курилке, она делается на конференции, она делается там, где происходит передача знания буквально из рук в руки. Живое общение между равными и живое общение ученика с мастером не может быть заменено ничем, то есть то отсечение от мировой науки в плане личного общения и передачи знания, которое мы все предвидим, как я полагаю, будет иметь катастрофический характер. Эта провинциализация, или превращение науки в туземную, — это не то, что является предметом дискуссии, здесь не о чем дискутировать. Какое-то время те, кто являются инкорпорированными носителями знания, полученного из рук в руки, будут его передавать ученикам, а потом возникнет разрыв. Этот разрыв невозможно преодолеть никакими средствами, скажем, с помощью пиратского присвоения текстов, к которому мы привыкли, или замыкания в стенах библиотеки. Это первое, что я хотел сказать; с этим придется так или иначе иметь дело, но лучше это принимать как неизбежность, чем по этому поводу дискутировать.

Теперь я бы хотел произнести краткий текст, связанный с вопросом о действии, который поставил Сергей Николаевич, поскольку с проблемой действия тоже не все просто. Пока мы можем говорить научным языком и ставить научные проблемы, это нужно пытаться делать. Этот короткий текст называется «Что значит быть наукой о действительности?».

В первой половине XX века — и даже немного позже — одно из самоназваний социологии было «наука о действительности». Это вообще-то немецкое выражение, но пафос стремления к действительности разделяли социологи разных стран, в том числе Франции и Америки. Изучение действительности противопоставлялось не просто выдумкам и метафизическим схемам, оно отличалось — как однажды сформулировал Ханс Фрайер (и в этом его поддержал Парсонс) — от наук о логосе, то есть о смыслах[3]. Это кажется, на первый взгляд, довольно простым, но некоторые сложности здесь есть. Я сразу укажу на одну из них. По-русски «действительность» перекликается с «действием», хотя, ко-

3 Эту историю при более подробном изложении пришлось бы начинать по меньшей мере с Генриха Риккерта и Макса Вебера, но именно Фрайер в 1930 году положил классификацию «науки о природе / о логосе / о действительности» в основу амбициозного проекта. См.: *Freyer H.* Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1964. S. 79 ff., 169 ff., 199 ff.; *Parsons T.* The structure of social action. New York: MacGraw Hill, 1937. P. 762, fn. 1.

нечно, стоит только назвать ее «реальностью», и перекличка исчезнет. Это иногда мешает переводчикам, которые имеют дело с немецкой и английской версиями одного и того же термина. Действие — это старая, почтенная область изучения для социологов. Макс Вебер, на которого во многом опирался и которого критиковал Фрайер, называл социологию наукой о действительности, и он же называл ее наукой о социальном действии. Действие же, напомню его определение в сокращенной форме, — это осмысленное поведение[4]. И вот здесь обнаруживается самое сложное. Если вы хотите разобраться с действием, говорит Вебер, вы должны его *понять* и *истолковать*, а тем самым *каузально объяснить его протекание и его результат*. Формулировка известная и очень коварная. Понять и истолковать действие — значит выяснить смысл действия. Иначе говоря, социология может стать наукой о смысле, о смыслах, то есть, в терминах Фрайера, наукой о логосе. И собственно говоря, когда Поль Рикер предлагал исследовать осмысленное действие как текст и начинал с определений Вебера, он сосредоточивался именно на смысле[5]. К этому я еще вернусь. Но протекание и результат действия определяются вовсе не одним только субъективным смыслом! Дональд Дэвидсон приводил немного искусственный, но показательный пример: некто путешествует на самолете и намерен лететь в Лондон, Великобритания, идет по указателям со стрелками и улетает в Лондон, провинция Онтарио в Канаде (дело было еще в шестидесятые годы прошлого века). Его *резоны* позволяют понять, почему он вообще сел на самолет, направляющийся в Лондон, но в терминах интенционального действия резоны не позволяют понять, почему он улетел в другую страну, чем собирался[6].

Задачей Дэвидсона в данном случае было исследование понятия намерения. Ирвинг Гофман подошел к делу с другой стороны, но не без влияния Дэвидсона. Если мы разовьем приведенный выше пример, то скажем, что все время полета путешественник мог определять свою ситуацию как «полет в Лондон, Англия». В социологии есть известная теорема Томаса, которая стала общим местом: «Если люди описывают ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям». Однако если в самолете путешественник определяет свою ситуацию как «полет в Лондон, Англия», он в результате все равно прилетит в Лондон, Онтарио. Определения ситуации как реальной недостаточно, говорит Гофман в «Анализе фреймов», это «влечет за собой определенные последствия, но, как правило, они лишь косвенно влияют на последующий ход событий»[7]. Из смысла действия, будь то субъективный смысл или целый универсум смыслов, не выводится действительность действия, как и наоборот.

---

4 Вебер достаточно последовательно использует термин «Handeln», когда говорит об общих характеристиках особого рода человеческого поведения. Поэтому я предпочитаю переводить его как «действование», оставляя «действие» для «Handlung». См.: *Вебер М.* Основные социологические понятия // Вебер М. Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова. М.: Рипол Классик, 2018. С. 154 и далее.

5 *Рикер П.* Модель текста: осмысленное действие как текст / Пер. с англ. А. Борисенковой // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 29.

6 См.: «Его резоны объясняют, почему он намеренно сел на самолет “на Лондон”. <…> И, конечно, его резоны не могут объяснить, почему он намеренно сел на самолет, направлявшийся на Лондон, Онтарио, если у него не было такого намерения» (*Davidson D.* Essays on Action and Events. New York: Oxford University Press, 2001. P. 76).

7 См.: *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. Р.Е. Бумагина, Ю.А. Данилова, А.Д. Ковалева, О.А. Оберемко. М.: ИС РАН, 2003. С. 61.

С социальной действительностью есть та проблема, что она, помимо смысла, кажется неуловимой. Можем ли мы говорить о ней, не говоря некоторым образом о смысле? Луман назвал смысл основным понятием социологии[8], и он же сформулировал основную особенность смысла. Это особый вид отрицания, когда отрицаемое не уничтожается, но сохраняется как возможность. Возможно, это звучит несколько темно — тем более при сжатом изложении. Но я попытаюсь внести некоторую ясность, хотя и с неизбежными упрощениями. По Луману, социальное — это множественность элементарных событий, которые возникают на краткое время и потом исчезают. События моментальны, процессы складываются из череды событий. События, как и все социальное, контингентны, то есть все могло бы быть иначе, потому что человеческое, историческое, как издавна считается, это область не-необходимого, иначе возможного. Это значит, что здесь нет ничего субстанциального, необходимого. А раз так, то и отрицание события — это отрицание иначе-возможного, всякое возникновение, существование и прекращение могли бы и не быть[9]. Простой пример поможет это иллюстрировать. Скажем, вы совершаете платеж — это элементарное событие коммуникации в системе экономики. Платеж отклонен, но это не значит, что следующий платеж не пройдет или что этот, непрошедший, так сказать, погибает. Отрицание сохраняет возможность другой операции, это встроено в сам ее смысл.

Однако Луман в общем плохо справлялся с тем, что — я здесь позволю себе использовать собственную терминологию — можно было бы назвать абсолютными событиями. Абсолютные события, например рождение и смерть, означают старт или прекращение цепочки операций, то есть открыты для примыкания других событий, так сказать, только с одного конца. Очень давно я задал Луману вопрос, как можно считать «сохраняемой» возможность быть по-другому, если речь пойдет об убийстве человека. Он ответил, что нет разницы, убить ли человека или съесть яблоко. При всем цинизме этого ответа он точен. В области смысла убить или не убить, съесть или не съесть равно контингентные события. Нам, пожалуй, мешает здесь лишь то, что мы не готовы уподобить убийство или поедание неудачному платежу.

Между тем если вернуться к терминологии аналитической философии, несостоявшийся, а равно и состоявшийся платеж — это однократные, эфемерные события[10]. Если мы пропишем, как когда-то Дэвидсон, все обстоятельства платежа (совершенного таким-то человеком, в таком-то банке, такого-то числа и с такой-то целью), то и он окажется уникальным событием. Таков действительный платеж! Нам трудно увидеть здесь что-то большее, чем методологическую последовательность, мы это большее видим только в случае таких необратимых событий, как смерть и рождение. Смерть и отклоненный платеж — не одно и то же, потому что платеж можно повторить, смерть прекращает уникальную жизнь, а рождение ее начинает. — Но только в действительности! В тексте,

---

8 В полемике с Ю. Хабермасом. Несмотря на то что она состоялась полвека назад, многие ее аспекты все еще актуальны. См.: *Habermas J., Luhmann N.* Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie — was leistet die Systemforschung? Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1971.

9 До сих пор лучшее изложение у самого Лумана в кн.: *Luhmann N.* Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984.

10 См. полемику Дэвидсона с Р. Чизолмом: *Davidson D.* Eternal vs Ephemeral Events // NOÛS. 1971. Vol. 5. № 4. P. 335—349.

в смысловых комплексах возможно все, вплоть до отмены смерти, если так захочет автор. Шерлок Холмс и Джон Сноу возвращаются.

С этим может быть связано желание пробиться к действительности через текст — но тут мы обнаруживаем под видом действительности новый текст. Умерший царь возвращается под другим именем, канонические версии истории переписываются; наконец, по мере развития коммуникаций реальность несомненного оспаривается и высмеивается. В этой связи само предложение рассматривать осмысленное действие как текст и сделать акцент на какой бы то ни было герменевтике текста вызывает, пожалуй, особого рода возражение. Я напомню о первых шагах к тексту, которые делает Рикер, обосновывая свой проект. Он говорит об остенсивных референциях, которые преодолеваются в дискурсе и далее в смысловых образованиях. Эти последние предполагают целый мир неостенсивных референций. Вот там действительно возможна герменевтика осмысленного действия как текста. Это значит, что каждое высказывание, дискурс, отсылает либо к такому предмету или событию, на которые можно прямо показать, либо же, наоборот, эта определенность преодолевается, отсылка идет именно к большому миру смысла. Решительная альтернатива этому — то, что Х.-У. Гумбрехт называет «присутствием в настоящем», понимая это, как он сам пишет, пространственным, а не темпоральным образом[11].

Проблема, которую я вижу сейчас, состоит в том, что при попытке осмыслить происходящее социальная наука буквально, как когда-то говорил Теодор Лессинг, придает смысл бессмысленному, вписывая события в рассказ, который предполагает множество событий с тем же смыслом. Множеству событий действия, которые могли быть — по смыслу — совершены кем угодно и где угодно и сейчас интересны лишь как пример того, что известно, потому что этот смысл не сегодня возник, противостоит этика прямого морального вменения. Иначе говоря, анонимное — для социальных наук — событие переописывается для вменения как процесс и результат морального выбора того, кто лично действует здесь и сейчас. Это в принципе правильно (и можно было бы сказать с известной осторожностью: это не в духе Лумана, но в духе Рикера), но это означает, на мой взгляд, слишком быстрый отход из области остенсивных референций, прямого указания на не поддающееся отмене уникальное событие, прежде всего здесь и сейчас, именно событие смерти, прекращение присутствия в результате действия. В области действия мы нуждаемся в связке между очевидностью базисного действия и очевидностью «кто» как начала. В начале есть действующий с его ответственностью, то есть тот, кто сразу видит результат, для кого, в сущности, нет разницы между действием и тем, что вызвано этим действием. Восстановление в правах действительности, не растворяемой в текстах и смыслах, нуждается — и еще долго будет нуждаться — в восстановлении в правах самых коротких каузальных цепочек, прямых обозримых связей — именно тогда, когда этот результат, грубо говоря, нельзя не только отменить, но и заболтать.

---

11 Разумеется, «“негерменевтика” и “производство присутствия” никоим образом не элиминируют измерение интерпретации и производства смысла» (*Gumbrecht H.U.* Production of presence: What meaning cannot convey. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. P. 18). Отношение Гумбрехта к Луману заслуживает отдельного исследования.

Сергей Зенкин: Спасибо, Александр Фридрихович. Образовалась мощная философская рамка для нашей дискуссии: фактически вместо критического разговора о филологии началась философская самокритика самих социальных наук, которые, как вы показали, готовы впасть в некую доморощенную филологию, сводя свой предмет к чему-то вроде текстов, к тому же текстов повторяющихся, чуть ли не бросовых.

Сейчас мы не будем открывать дискуссию по каждому выступлению, пока соберем все идеи вместе, и тогда желающие будут задавать вопросы и возражения.

Пожалуйста, Олег Хархордин.

Олег Хархордин: Спасибо. Я думал, что сначала было бы хорошо филологов послушать.

Сергей Зенкин: Филологов здесь нет. Только я, и то я стараюсь сидеть в своем углу.

Олег Хархордин: Я долго думал, есть ли мне что сказать на эту тему, и понял, что, наверное, то, что я хотел сказать, я сказал в 87-м номере НЛО за 2007 год, в статье про отличие гомилетики от герменевтики[12]. Для тех, кто не слышал термин «гомилетика», поясню, что это такая же дисциплина, как герменевтика, которая преподавалась в духовных семинариях и академиях, это стандартный курс. Если герменевтика — это дисциплина, которая преподавалась будущим священнослужителям, это искусство интерпретации библейского текста, то гомилетика — это искусство написания проповеди. Она выросла из классической риторики, но имеет некоторые особенности. И мне кажется, что гомилетическая традиция свойственна российскому типу гуманитарного знания и акцентирована в XX веке. Исследования семиотики московско-тартуской школы и в последнее время интерес к исторической семантике, которая обычно обозначается как история понятий (это школа Райнхарта Козеллека и школа Квентина Скиннера, то есть кембриджская школа истории понятий), как-то затемнили ту российскую традицию, которая связана с этим гомилетическим типом производства знания. Попытаюсь напомнить некоторые особенности этой традиции, которая кажется мне важной, во-первых, потому, что мы не обязаны копировать герменевтические методы, не обязаны размышлять о Рикере, не обязаны думать только о том, что надо интерпретировать социальное действие как текст, а наоборот, мы можем подойти гомилетически, несколько с другой стороны. Во-первых, это давняя традиция, российский XIX век после возрождения практики чтения святых отцов экспериментировал с этим; это воплотилось, например, в прозе Достоевского, а Достоевский — это наше все. Во-вторых, как это ни прискорбно, гомилетические методы объясняют эффективность советской пропаганды от Володарского до Ленина и даже Сталина; все они пользовались гомилетическими методами при структурировании своей речи. Мне хотелось бы, конечно, сказать, что Достоевский кажется нам теперь более гуманным примером, ведь, опираясь на него, наверное, мож-

12 *Хархордин О.* Секуляризованная гомилетика: демонстрация метода? // Новое литературное обозрение. 2007. № 5 (https://magazines.gorky.media/nlo/2007/5/sekulyarizovannaya-gomiletika-demonstracziya-metoda.html (дата обращения: 29.09.2022)).

но достичь большего, чем опираясь на тот извод гомилетики, которым занимались большевистские пропагандисты. Но сейчас, возможно, этот тип знания тоже уместен — в ситуации, с отсылки к которой начал свое выступление Александр Фридрихович, когда нас спрашивают как профессионалов, что можем делать сейчас мы, то есть те, кто не занимается дисциплиной international relations (теорией международных отношений). По крайней мере, в нашей области исследований, в политической теории, политической социологии или политической философии, трудно преподавать греков и римлян или Ханну Арендт про внутриполитические проблемы, понимая, что тебе почти что ничего сказать про межстрановые конфликты.

Мне кажется, что наша профессиональная позиция должна сейчас заключаться не только в том, *что* сказать о происходящем, но и *как* сказать. Это нам по силам. Потому что контраст герменевтики и гомилетики, если его взять и риторически заострить, состоит в том, что герменевтика — это отношение к актам как текстам, а гомилетика — это отношение к текстам как актам. Гомилетика — это попытка исследования перформативного эффекта текста или попытка произведения такого текста, который имеет не чисто информативный характер, то есть который не пытается просто сообщить некоторую информацию, который слушатель получит, положит в карман, уйдет и будет знать нечто. Дело в том, что гомилетические тексты имели троякую структуру: они должны были не только просветить ум, но и направить и убедить волю, а также впечатлить чувства. Текст должен иметь такую троякую цель, как писалось во всех учебниках гомилетики (можете посмотреть, например, учебник гомилетики, первый российский учебник, написанный в Киеве в 1848 году профессором Амфитеатровым и выдержавший четырнадцать изданий до начала XX века).

Когда мы сейчас думаем о судьбе гуманитарной традиции в современной России, мы должны не забывать об этих перформативных функциях текстовых произведений, которые мы пишем, исходя из злободневности второй и третьей функций текста. Он должен быть не чисто информативным, а должен направлять и убеждать волю, впечатлять или внушать чувства. Отчасти это также связано с тем, что не из-за злободневности, а из-за особенностей российской национальной традиции на этом можно выстроить некоторую отдельную программу в рамках гуманитарных наук. Она будет отличаться, например, от немецкой не тем, что мы анализируем другие тексты, которые немец не может прочесть, потому что он не знает русского (поэтому он будет заниматься Рильке, а мы будем заниматься Пушкиным или Баратынским, но теми же самыми методами). Мы могли бы отличаться методом, подходом к тексту и действительности — не герменевтическим, а гомилетическим, который рассматривает эффекты текстов как действий, как трансформирующих реальностей, и пытается структурировать свои собственные тексты так, чтобы они несли в себе все гомилетические эффекты.

Здесь мне видятся две задачи: во-первых, авторизовать и отчасти секуляризовать саму традицию. К примеру, когда Дильтей пытался описать различие наук о духе и наук о природе, то он опирался на нормальную церковную герменевтику Шлейермахера, но секуляризовал ее и сделал методом, который потом назвали понимающей социологией, то есть когда можно любой вид действия интерпретировать как текст. Так же мы можем секуляризовать то, что долго делали в российской религиозной традиции XVII—XIX веков и что по-

том большевики использовали для своих политических целей. Однако гомилетический метод имеет и очень позитивные примеры, когда он не относится ни к чисто церковной сфере, ни к чисто политическому использованию гомилетики большевиками. Например, как я уже сказал, Достоевский, но это не единственный сюжет.

Чтобы дать вам пример такого текста, позволю себе остановиться на том, на что опирался Достоевский. В его архиве осталась двадцать одна брошюрка под названием «Внимай себе»: это такая брошюрка-четвертинка на пятнадцать страниц, напечатанная крупным шрифтом, которую мог купить читающий рабочий или крестьянин. Эта брошюрка была написана Тихоном Задонским и взята из его громадного собрания сочинений. Как мы знаем, Тихон Задонский был одним из прообразов старца Зосимы. Зачем Достоевскому надо было покупать все двадцать одно издание этой брошюрки, мне не очень понятно, потому что текст там один и тот же. По-видимому, ему нравилось также посмотреть, как графически эта брошюра могла воздействовать на читателя, поэтому он собрал все издания. Напомню, что Тихон Задонский — один из четырех святых, которые были канонизированы русской церковью в XIX веке, когда не было массовой канонизации. В XIX веке только немногие могли позвонить Богу, когда хотели, — как это делал, например, Серафим Саровский в описании Мотовилова. Так вот, Тихон Задонский — один из примеров этой религиозной искусности, если не сказать искусства. К тому же он был одним из тех, чьи тексты были написаны очень простым языком, понятны очень многим, а потому использовались, как говорили большевики, для церковной пропаганды среди грамотных крестьян и рабочих.

Текст брошюры «Внимай себе» организован достаточно интересным образом. Тихон Задонский обращается к читателю: ты спрашиваешь, что такое «внимай себе» (это библейский призыв или, возможно, даже призыв из греческой классической философии). Но вместо того, чтобы отвечать, Задонский дает пятнадцать страниц дополнительных вопросов. Он говорит: послушай, ну вот ты называешься добрым христианином, но не оскверняешь ли ты свои руки воровством и святотатством? Внимай себе. Ты говоришь, что живешь по Божьим законам, но не думал ли ты о прелюбодеянии, не думал ли ты о том, чтобы украсть собственность брата своего? Внимай себе. И далее пятнадцать страниц такого текста, где рефреном идет «внимай себе»; задаются вопросы, и предполагается, что читатель, если он читает и пытается ответить на каждый вопрос, должен заглянуть в себя по окончании каждого этого предложения, то есть заняться интроспекцией отчасти или рассмотреть, просветить свои дела, если он анализирует не движения души, а дела, совершенные им за последний год или за всю свою жизнь. Кончается брошюра следующим образом: ты спрашивал меня, что такое «внимай себе», но вот ты только что сейчас это сделал. Не дается ответа о том, что значит «внимать себе» как практика, то есть, как сказал бы последователь Джона Остина, значение передается здесь в виде перформативного эффекта, а не в виде констативного значения. Текст ни разу не отвечает на вопрос, что такое «внимать себе»; он не дает информации, но структурирует позицию читателя так, чтобы, дойдя до конца текста, человек телесно знал, что это такое, за счет того, что он попробовал это делать, отвечая на вопросы, заданные в тексте, и подчиняясь перформативному эффекту тех высказываний, которые на него обрушиваются или которые ему предлагаются. В результате этого гомилетического сюжета мы получаем три-

аду, с которой я начинал: текст должен просветить ум, направить или убедить волю, впечатлить чувства. Он должен быть направлен на всю трехчастную структуру души по Платону: не только на ум, но также и на волю и эстетику чувства. И это «движущий» текст, по сравнению с текстом, который имеет чисто информативное содержание или, как сказали бы последователи Джона Остина, имеет только констативное значение.

Естественно, в учебниках по гомилетике есть особые приемы, как структурировать проповеди, чтобы вызывать Божественное озарение; каким языком писать, чтобы простой народ тебя понимал, и какие критерии рецепции аудитории, как мы теперь сказали бы, являются доказательством того, что ты написал искусный текст, который не заставляет читателя ходить по герменевтическому кругу, как искусно написанный текст Гадамера, а который его заставляет трансформировать собственную жизнь за счет телесного восприятия эффектов текста. Можно назвать это гомилетическим кругом, или гомилетическим эффектом. Например, знаменитая речь Достоевского на юбилее Пушкина[13], когда все закончилось восклицаниями аудитории: «Вы нас разгадали, вы наш пророк!» — и истовым возвеличением Достоевского как человека, который объяснил слушателям, что они из себя представляют как русские. Эта знаменитая речь структурирована примерно следующим образом: секрет первой части, а именно просвещение ума, во многом сводится к тому, чтобы дать человеку озарение — не знания на уровне инструментального знания, которые можно использовать потом в жизни, заколачивая гвозди, а возможность, как говорят феноменологи, посмотреть на ситуацию другими глазами, to see it in a different light or with different eyes. И для этого надо угадать аудиторию для нее самой. В этой речи Достоевский говорит о том, что такое русский. Известна обычная интерпретация этого, противостояние между западниками и славянофилами: мы или принадлежим Европе, или нет. Ответ Достоевского марксисты называли бы диалектическим, но можно назвать его гомилетическим: быть русским — это значит довести в своей душе противоречия европейские до предела и примирить их окончательно. То есть стать русским — это переевропеить европейцев до предела. Чтобы доказать этот тезис, он берет известную всем историю любви Татьяны к Онегину и превращает это в великое торжество российского характера, когда Татьяна становится героиней этого сюжета, а Онегин — малопонятным повесой, с которым расправляется величие русского духа. Достоевский говорит: вы сами в себе это несете и собою это представляете, вы, сидящие передо мной, потому что в этом ваша миссия.

Нам это может показаться странным, но просвещение ума, первая функция гомилетического текста, во многом связана с тем, что человек выходит после чтения текста с трансформированным пониманием того, кто он или она есть, которого он или она не имели до того, как прочитали текст. Это понимание, возможно, дискурсивно не схвачено; многие из тех, кто слушал тогда Достоевского, вышли из зала с ощущением, что было что-то очень крутое, но что, описать невозможно — всех унесло. Это, кстати, третья функция гомилетического текста — внушить чувства или впечатлить чувство красотой, то есть тут одним из критериев является самозабвение слушателей в процессе восприятия; как

13 *Достоевский Ф.М.* Пушкин. (Очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей русской словесности // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 136—149.

теперь говорит молодежь, это был улетный момент — в том отношении, что все улетели. Как Бибихин для нас расшифровывал термин «восхищение», которым описывается состояние человека при его или ее полной включенности в ход гениальной театральной пьесы или фильма: это значит «возвышенное хищение», когда тебя у тебя самого украли, ты настолько поглощен тем, что происходит, тебя в этот момент нет. Когда ты смотришь суперфильм, или сидишь на суперпьесе, или стоишь на проповеди, которая действительно движет твою душу, тебя в этот момент нет, ты полностью где-то в другом месте; восхитительное существование, когда тебя у себя украли, ты улетел.

И еще один момент насчет убеждения воли: очень часто эту функцию текста, естественно, можно увидеть описанной в учебниках, например по которым преподавали на том факультете, где я учился в советское время. Это был экономический факультет ЛГУ, и называлось это «Методика преподавания политэкономии», что очень смешно, потому что нас в общем-то образовывали не как ученых-экономистов, а как священников, которые должны были знать три тома священной книги «Капитал» наизусть, вплоть до того, что мы могли цитировать отдельные параграфы, например второго тома про отличие основного от оборотного капитала. Предполагалось, что, если нас разбудить ночью, мы бы все равно сразу спросонья сказали, чем отличается одно от другого, и указали точный номер страницы, где это говорится в «Капитале». В этом курсе под названием «Методика преподавания политэкономии» честно объяснялось, что убежденность лектора гораздо важнее, чем то, что он несет. Достоевский знал это на самом деле не хуже, чем другие, ну а среди большевиков Сталин как недоучившийся семинарист тоже про это слышал.

Не говорю, что это можно или надо возродить; естественно, при секуляризации традиции надо отказаться от одиозных элементов, рафинировать ее и трансформировать примерно так, как поступили те, кто сделал герменевтику распространенной общественно-научной методической процедурой, свойственной Западной Европе и Северной Америке. С гомилетикой, как мне кажется, можно было бы поступить так же. И здесь есть некоторый потенциал другого соотношения филологии и наук о действии. Это тоже попытка выйти на связь наук о слове и наук о действии, попытка выйти на то, что давно известно как лингвистическая философия в англо-американском мире, но там это все разрабатывалось с помощью Витгенштейна, Остина, Гилберта Райла, Уилфрида Селларса и их последователей, которые доминируют на всех философских факультетах англо-американских университетов. У нас же отношение к слову как к акту имеет свою собственную традицию, но она не дистиллирована и не очищена. Как мне кажется, внимание московско-тартуской школы к структурам и к структурализму немного задвинуло этот аспект на задний план, хотя большие книги, например та же диссертация Бахтина о Рабле, имеют сильный гомилетический элемент. Человек заканчивает чтение этой книги, поменявшись; ему его разгадывают за то время, пока он читает, он видит себя в этом зеркале, очень часто он знает, что прочел великий текст, но не знает почему, хотя знает, что было что-то крутое. Примерно так же, как молодежь знает: если вечеринка удалась вчера, то утром просыпаешься и понимаешь, что что-то не так, вчера было событие, хотя рассказать об этом внятно часто и не можешь. В книге Бахтина есть не только элемент информирования о том, как Рабле описал разъятое тело, что там было с карнавалом, и так далее и тому подобное. Там есть все те элементы, про которые я говорил.

Сегодня из всего творчества Ханны Арендт мы вновь и вновь перечитываем ее эссе 1964 года про ответственность при диктатуре, когда она отвечала критикам своей книги «Эйхман в Иерусалиме». Что делать в этой ситуации, о чем говорил сегодня Александр Фридрихович, — каждый отдельный человек, у которого есть гражданское сознание, сам решит для себя, но что делать нам как профессионалам, которые пишут тексты, которые должны быть действенными (если брать различие, которое подчеркнул Александр Фридрихович), а не только правильными? Я бы сказал, что нужно подчеркнуть и то, что еще и из-за этой ситуации гомилетическая традиция требует актуализации. Спасибо.

Сергей Зенкин: Спасибо, Олег Валерьевич. Действительно, наука, научное слово должно не только говорить о действии, но и само являться действием. Эта важная перспектива, которую надо иметь в виду в разговорах о любых науках, особенно, конечно, о гуманитарных. Я только сделаю одну оговорку, которая в этой связи возникает. Дело в том, что именно в последнее, постсоветское тридцатилетие гомилетические дискурсы в нашей стране получили широчайшее и во многом, я бы сказал, злокачественное, опошленное развитие — во-первых, в пропаганде (в Советском Союзе она тоже была, но единообразная, а с тех пор диверсифицировалась, и каждый может найти себе пропаганду по вкусу и питаться ею до скончания века), во-вторых, в рекламных дискурсах и, в-третьих, в дискурсах коучинга, психологического сопровождения, консультирования. Для науки сейчас встала задача отмежеваться от этих ненаучных гомилетических практик.

Я передаю слово Михаилу Маяцкому.

Михаил Маяцкий: Я, как и все говорящие, не могу абстрагироваться от происходящего и с немалым трудом вспомнил, о чем я хотел говорить, когда организаторы сделали мне предложение участвовать в чтениях. Я хотел говорить о лингвистическом повороте в философии, который нас, философов, связал с филологами едиными узами в некий неравный брак, и этот брак определил истекший век. Я хотел обсудить принципы, ресурсы, границы этой связи, но карта легла иначе — случилась цезура 24 февраля с последующей катастрофой, которые обща нам всем, но у всех разные регистры, характер, оттенки, и они часто совершенно не сравнимы, и упоминание одних бед звучит почти оскорбительно в контексте других. Я сам нахожусь в ситуации абсолютного комфорта по сравнению с другими, но у людей вокруг меня тоже возникают острые переживания по этому поводу, даже у простых швейцарцев, которые, казалось бы, ни сном ни духом, а вот они впервые за больше чем два века должны отказаться от своего нейтралитета, и это как-то пошатнуло их идентитарные основы. Естественно, встает вопрос об ответственности и вине, который заслуживает более подробного рассмотрения, и я не буду здесь его касаться, хотя в какой-то степени это оказывается неизбежно. Недавно в своем посте филолог и политический мыслитель Денис Драгунский в свойственном ему афористическом ключе сформулировал три вреда русской литературы. Первый вред отмечал еще Розанов: русская литература целый век высмеивала, унижала тех людей, которые составляют опору нормального общества. Второй вред заметил Тургенев, говоря об обратных общих местах у Достоевского: вор непременно честный, убийца — ходячая совесть, пьяница и распутник — философ (конечно, бывает и наоборот: философ — пьяница и распутник), проститутка —

великая душа, идиот умнее всех. Но для нас из литературоцентричной русской философии важен третий вред имени Тютчева: по словам Драгунского, это постоянное упорное убеждение всех и уговаривание самих себя, что мы особенные, что нам не писан никакой закон, ни европейский, ни славянский, ни христианский, ни, боже упаси, общий для всех людей — типа международного права. Почему? А потому, что мы такие уникальные, отдельные, ни на кого на свете не похожие. Русская литература долго лелеяла этот застарелый подростковый комплекс, и философия от нее не отставала. Можно назвать этот вред *дефицитарной парадигмой*, и сегодня она стала ясна как никогда, потому что этот месяц принес новую ясность, новую очевидность, спали ветхие лохмотья с русской особости, с русского пути. «Пути России» — очень интересный семинар и многотомный альманах, которые вы прекрасно знаете, в которых некоторые из вас участвовали, в которых даже либеральные интеллектуалы были втянуты в обсуждение экономической и политической проблематики, отечественной и международной, именно с точки зрения уникальности. Не той тривиальной уникальности, которой уникальны любая страна и любой человек, а нашей особой, уникальной уникальности: мы не просто особенные — мы хуже и поэтому лучше. В силу этого «лучше» можно вспомнить диалектику стигмы Ирвинга Гофмана, где стигма, социальный изъян может стать новой привилегией. Это начинается с Чаадаева, с его первого «Философического письма» (это самый конец 20-х годов XIX века), которое фактически единодушно считается и первым текстом собственно русской философии, хотя и написано по-французски. Это письмо пронизано тем самым мотивом: мы ущербны, у нас нет истории, традиции, законов, мыслителей, идей, и поэтому мы привилегированные (эта каузальность «и *поэтому* привилегированные» была добавлена уже после Чаадаева). В этой дефицитарной парадигме развивается русская философия, что пародийно сформулировал поэт Игорь Иртеньев: они (имеются в виду американцы, но и все прочие) другие, так вот: «Они устроены иначе / В связи с отсутствием корней, / Пусть в чем-то нас они богаче, / Но в чем-то главном мы бедней».

Симптоматический пример этого феномена — оппозиция права и морали. Я здесь обращусь к одному перестроечному тексту. Собственно, Ирина Прохорова начала именно с этого: не только юбилей НЛО, но и происходящие события принудительно и жестко отсылают нас к событиям девяностых или семидесятых годов; не только экономически, но и в плане интеллектуальной повестки мы вынуждены будем пересматривать уроки перестройки или ранних девяностых. Упомянутый мной текст написан еще в советское время, в конце восьмидесятых годов. Это великий текст ныне здравствующего и бодрого Эриха Соловьева, которому все мы можем пожелать долгих лет жизни и творчества, под названием «Дефицит правопонимания в русской моральной философии»[14]. Цитирую: этот дефицит «в сфере самих моральных отношений выражал себя прежде всего как отсутствие уважения к индивидуальной нравственной самостоятельности (автономии) и как упорное сопротивление идее примата справедливости над состраданием. Высокая нравственная притяза-

14 *Соловьев Э.Ю.* Дефицит правопонимания в русской моральной философии // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). М.: Политиздат, 1991. С. 230—234 (https://scepsis.net/library/id_2659.html (дата обращения: 30.09.2022)).

тельность слишком часто перерастала у нас в моралистическую нетерпимость. Ее постоянными спутниками были бестактное доброхотство, общинное инквизиторство и стремление к принудительному осчастливливанию людей по расхожей уравнительной мерке. В периоды социокультурных кризисов дефицит правосознания губил, случалось, самое нравственность как нравственность. Дефициту правосознания в национальном сознании соответствовал *дефицит правопонимания* в отечественной философии, тесно связанный с ее этикоцентризмом и проповедью *абсолютного нравственного подхода к жизни*»[15]. Далее Соловьев приводит в свою очередь цитаты Толстого и другого Соловьева, Владимира: «Возведение беды в добродетель — настоящее проклятие философствующего русского ума. И не приходится удивляться, что Л.Н. Толстой ставит в заслугу своим соотечественникам буквально следующее: “Русский народ всегда относился к власти иначе, чем европейские народы. Он никогда не боролся с властью и, главное, никогда не участвовал в ней. Русский народ всегда смотрел на власть как на зло, от которого человек должен устраняться. Легенда о призвании варягов вполне выражает отношение русских людей к власти. Русский народ в своем большинстве подчиняется власти потому, что всегда предпочитал подчинение насилию борьбе с ним или участию в нем”. В.С. Соловьев в “Трех силах” рассуждает еще удивительнее, еще дерзостнее: “Высший образ раба, в котором находится русский народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего”»[16]. Такова паралогика, комментирует уже Эрих Соловьев, «абсолютного нравственного подхода к жизни — паралогика, которую необходимо и изжить. Нынешнее обостренное внимание к отечественному философскому наследию — это, конечно же, не просто мемориальный интерес. Мы стремимся к возрождению прошлого, которое бы обновило и обогатило наш собственный способ мысли»[17]. Далее он перечисляет важные имена русских философов и заключает: «Вместе с тем я отваживаюсь утверждать, что русская философия — сомнительный и ненадежный союзник в нашей сегодняшней борьбе за право и правовую культуру»[18]. На этом примере видно, как из ущербности выводится добродетель. Первый тезис: на Западе развито право, у нас — нет. В отсутствие права у нас как-то все регулируется — обычным правом, обычаем, нравами, а раз нравами, значит, нравственностью; а раз так, то второй тезис, нравственность у нас высоко развита, следовательно, вывод, на Западе она недоразвита, Запад аморален. Не очень замысловатый силлогизм.

Если возвращаться к перестроечной повестке, то, когда рухнула советская коммунистическая идеология, возникли разные сценарии философского развития: что будет дальше, куда дальше пойдет философия. Было много конференций и круглых столов на эту тему, и некоторые участники еще хорошо их помнят. Ни один из сценариев не состоялся в том виде, в котором предлагался, но они дополнили друг друга в качестве тенденций философского развития.

---

15 *Соловьев Э.Ю.* Выступление на круглом столе «Проблемы изучения русской философии и культуры» // Вопросы философии. 1988. № 9. С. 137.

16 Там же. С. 140.

17 Там же.

18 Там же.

Первый сценарий состоял в том, чтобы абстрагироваться от этих ошибочных семидесяти годов, вернуться к точке условного 1913—1917-го года и продолжать философию, как если бы этой последующей ошибки не было. Второй сценарий — мыслить Россию под разными соусами: историософски, политико-идеологически, геополитически, но все с тем же ресентиментным знаменателем — что нам или, как вариант, нашему суверену закон не писан и не должен быть писан. Третий сценарий — возвращение к подлинному Марксу: да, советская философия была тупиком, но она была тупиком, потому что изменила подлинному Марксу, к которому нужно теперь вернуться (сразу после-сталинскому или до-сталинскому). Эта тенденция была свернута быстрее всего или представлена наименьшим количеством людей и усилий. Четвертый сценарий — развивать неофициальную философию советского времени, имеется в виду не марксистскую или ту, которая прикрывалась лишь для вида этой этикеткой. Еще один сценарий состоял в том, чтобы тоже забыть по-своему об этих семидесяти годах и примкнуть к нормальной мировой философии, понятное дело, попытавшись ее догнать, потому что она в течение семидесяти лет не стояла на месте. Часто предлагалось и практиковалось заниматься просто историей философии, отбросить философию в традиционном школярском смысле, отбросить пока систематическую философию ради истории философии, учитывая огромное опоздание и огромный пробел. Коротко упомяну, что мне пришлось в ходе подготовки к изданию и редактированию «Черных тетрадей» Хайдеггера окунуться в отечественное хайдеггероведение, в котором есть, разумеется, прекрасные исследователи, но даже здесь есть тенденция утверждать (как раз особенно по поводу «Черных тетрадей» и дискуссий, развернувшихся на Западе), что западное хайдеггероведение потерпело фиаско, показало свою несостоятельность, зато наше может указать подлинный смысл и понять Хайдеггера лучше, чем западное все вместе взятое. И там не нужно долго скрести, чтобы добраться до могучей фигуры Александра Дугина. В наибольшей степени реализовался второй сценарий — мыслить Россию (не то чтобы он был единственным, который реализовался, но он официализировался). Особенно здесь показателен случай недавней попытки холд-апа Института философии Российской академии наук. Институт вообще-то был абсолютно лояльным, там работают сотни самых разных исследователей, но официально на своем сайте, в куче своих публикаций он был демонстративно лоялен и надеялся этой лояльностью выкупить себе относительную свободу исследований и творчества. Его сайт всегда пестрил формулами типа «российская цивилизационная парадигма», то есть, читай, все та же особость. Но это не помешало попытке грубого *гляйхшальтунга*, которому Институт был подвернут совсем-совсем недавно, за пару месяцев до СВО. И остальные тенденции стали, как сейчас выяснилось в ходе обретения новой ясности, некоей витриной, декором, экраном; более-менее ясно оказалось, что все мы, живущие в России, связанные с Россией, пишущие, думающие на русском языке интеллектуалы, художники, спортсмены и артисты, мы оказались привилегированными узниками Терезиенштадта, такого «витринного» лагеря, которые своим бурным творчеством должны наглядно показывать, что режим не такой уж и уродский. Или другая метафора, еще более прямая: мы — часть отвлекающего маневра в конфликте с соседом или с миром, на который обиделся наш суверен.

Что может понадобиться завтра? Завтра нам понадобится наш Клемперер, чтобы анализировать отечественный аналог языка Третьего рейха, и кажется,

один филолог плотно этим занимается, наш всеобщий друг Гасан Гусейнов. Нам понадобится наш Адорно, чтобы увидеть и развенчать *жаргон подлинности*, или, скорее, в нашем случае жаргон особости, и наш Ясперс, чтобы помочь разобраться с нашей виной и ответственностью. Спасибо за внимание.

Сергей Зенкин: Спасибо, Михаил Александрович: печальные и нелицеприятные итоги идейного развития. Я бы хотел отметить, что в числе востребованных сегодня дискурсов — филологический дискурс Виктора Клемперера, рассматривающий именно словесную, дискурсивную сторону ситуации, в которой мы оказались. Это особенно важно для нашей дискуссии.

Я передаю слово Павлу Арсеньеву.

Павел Арсеньев: Здравствуйте, коллеги. Я рад участвовать в этой, по-видимому претендующей на характер исторической, экскурсии. Некоторые аналогии уже были проведены, упомянуты события тридцатилетней давности, учредительные для журнала «НЛО» и «Банных чтений», и в то же время коллеги уже высказали соображения методологического характера. Я готовился к довольно невеселым рассуждениям, сосредоточенным вокруг сюжета военных действий; этого тематического натяжения сейчас сложно избежать. Я постараюсь выполнить то обещание, которое дал, и поговорить о медиологии, однако на каком-то фразеологическом уровне речь все равно будет тяготеть к неизбежным нынче милитантным метафорам. В последнее время у меня крутится в уме формула «эпистемический передел»: раз уж мы говорим о чрезвычайных событиях, попробуем извлечь какие-то эпистемические выводы, если не выгоды; сделать выводы из признания морального поражения, а то и эпистемологического поражения отечественной культуры в том случае, если уж она действительно является отвлекающим маневром, как это Михаил диагностировал, ширмой или чем-то подобным из терминологического арсенала критики идеологии. Я хотел бы избежать широкополосных генерализаций и каких-то решительных призывов, касающихся этого гипотетического эпистемического передела. Скорее в моем выступлении речь будет идти о скромных подсчетах и установлении связей между некоторыми фактами. В заключение я бы взялся продемонстрировать работу медиологического метода на материале истории русской литературы XIX века, но в некоторой, может быть, неожиданной комплектации — с наукой и техникой этого же периода.

Сергей Николаевич попросил меня представительствовать за медиологию; я действительно последние годы сильно ассоциировал себя с этой дисциплиной — или, может быть, лучше сказать тенденцией, — поэтому сначала скажу о ней несколько вступительных слов. Сразу предупрежу, что свой собственный метод я назвал бы смежной историей литературы и науки, куда медиология привходит наряду с другими дисциплинами или техниками описания. Но сначала немного о медиологии — причем именно в ее французской огласовке, ведь она возникла в растворе аналогичных медиааналитических тенденций или даже «ересей» (если уж «Нового времени не было»), в частности она должна опознаваться по контрасту с немецкой медиаархеологией.

Медиология в версии Режиса Дебре представляет собой очень интересное теоретическое предложение, которое имеет самое что ни на есть милитантное происхождение. Если немцы-медиаархеологи любят анализировать в том числе военные генеалогии техники и науки, прежде всего в своей собственной

национальной традиции, то французская дисциплина в лице ее основателя и главного идеолога происходит из гражданской войны внутри французского интеллектуального поля или на его границах. Режис Дебре долгое время был прежде всего активистом, причем не таким, как часто принято это понимать, — не активистом университетских аудиторий или прилегающих к кампусу территорий, но активистом международного пошиба, ни много ни мало правой или левой рукой Че Гевары. На русском существует только одно его издание — перевод книги «Введение в медиологию», выпущенный издательством «Праксис». Это, конечно, непропорционально мало относительно написанного им. А публичное представление о нем, когда он приезжал в Петербург, и вовсе исчерпывалось легендой (из-за чего о медиологии не говорилось даже на авторской встрече с основателем дисциплины).

В чем специфика этого метода? Метод медиологии в значительной степени обязан собственной политической и институциональной судьбе Реже Дебре, поскольку его ранний интерес к разным дисциплинам, к прагматике коммуникации, например к внутренней социологии французского интеллектуального поля, был связан с политическим активизмом и, что, может быть, еще важнее, организационным опытом. То есть опытом не только более или менее действенных речей — упражнений в этих речах, — но и попыткой создания или участия в некоторой организации, то есть опытом перехода от упоения перформативностью речи (в которой он очень быстро разочаруется и сделает интересные выводы) к исследованию тех материальных и организационных условий, в которых она может (или не может) стать успешной. Я, видимо, оказываюсь в некотором вынужденном полемическом отношении с выступлением Олега о гомилетике, поскольку вслед за Дебре полагаю, что не всегда старые благородные дисциплины, в частности богословие или выработанная им риторика, позволяют описать феномен коммуникаций в ситуации новых медиа. Вероятно, что сегодня слово делают действенным совершенно другие материальные и институциональные условия, нежели даже во времена большевистской пропаганды, о которых шла речь, не говоря уж о временах Тихона Задонского. Именно так Режис Дебре тематизирует политические разочарования в семидесятых годах прошлого столетия, которые ему пришлось пережить как политическому активисту и одновременно сделать медиа- и технические выводы из этих разочарований в действенном слове.

Враждебность к университетскому марксизму и структурализму тоже немаловажная черта в профиле медиолога. Несмотря на то что Дебре был выпускником Эколь нормаль супериор и учеником Луи Альтюссера, он получает свою докторскую степень только в пятьдесят три года, то есть уже после довольно длительного и вполне трагического активистского опыта (ему пришлось провести несколько лет в латиноамериканской тюрьме, быть оттуда вызволенным благодаря кампании, очень напоминающей нынешние кампании поддержки, то есть с очень большим трудом, а потом — стать дипломатом во французском правительстве). Итак, он «выходит на защиту» только в девяностые со своим тезисом, с теоретической программой, которая была выстрадана некоторым организационным опытом. Его тезис о том, что одного излучения (émission) действенности речей недостаточно, был основан на его собственном опыте коммуникативных неудач и организационных коллапсов. Нечто похожее мы или некоторые из нас, кто участвовал в политическом активизме, имели возможность пережить в ходе или после «болотных протес-

тов», когда риторический восторг от создания лозунгов, а также сам телесный опыт говорения на публике перед большим скоплением народа постепенно стали осмысляться как провалившиеся, и очень часто это связывалось с конкретными техническими и институциональными условиями, которые перестали выполняться, — начиная с того, что митинги стали модерироваться, и заканчивая тем, что сцена становилась все выше, на ступеньках стала появляться охрана и свободная циркуляция слова была осложнена чисто технически и институционально (передачей микрофона). В силу той же своей своеобразной институциональной судьбы Дебре приходится самому создавать инфраструктуру для своих идей: в 1996 году он создает журнал «Cahiers de médiologie». В жюри на защите его диссертации присутствуют многие участники редакционного совета журнала, что можно назвать тоже примечательной ситуацией: сначала медиолог создает чисто технический орган излучения своих идей, а впоследствии получает относительное признание академией этих самых идей. Вследствие этого прагматику любых актов высказывания Дебре и погружает в плотную ткань институциональных принуждений (contraintes) и материальности коммуникации (как это примерно в это же время называет Гумбрехт), и все это основывая на собственном опыте, телесно-техническом и организационно-коллективном. Теперь посмотрим, что это все могло бы значить для исследований культуры, к примеру российской или русскоязычной культуры (непонятно, как ее теперь и называть — навряд ли просто русской, как корабль); а если в нашей нынешней ситуации объектом будет являться эта самая культура, то точка, инстанция, из которой происходит исследовательская инициатива, размещается неизбежно после 24 февраля.

В ходе своей работы над диссертацией я уже скорее отстраивался от этой исконно французской дисциплины, поскольку, с одной стороны, Швейцария (где я писал диссертацию) находится между двумя традициями, и излучение немецкой интеллектуальной традиции там ощущается не менее сильно, а с другой стороны, сама русскоязычная культура, исследованием которой я в основном занимался, оказывается в таком же положении между перекрестными влияниями или даже опылением французской теоретической традицией и немецкой на протяжении XIX века. В современной ситуации медиология может оказаться дисциплиной довольно опасной, потому что если чесать не только историю, но и методологию против шерсти, может статься, что мы находимся не в пресловутом 1937 году, как принято считать в социальных сетях, а, например, неожиданно в 1855 году, в момент поражения в Крымской войне, аналогии с которой фраппируют, но в то же время и допускают умеренный оптимизм, поскольку после этого поражения приходит совершенно новый период общественной жизни и расцвет наук и искусств, как будто непредсказуемый. Ну и, чтобы держать в уме параллельно немецкое влияние, надо сказать, что война — довольно частый кейс для исследований медиаархеологического толка, назовем это даже исследованием перевооружения науки и литературы. Так, для немецкой традиции медиаархеологии, которую представляют Фридрих Киттлер и Бернхард Зигерт, мировая история вообще оказывается глобальной писательской ассоциацией; а уж XX век и вовсе такой постоянно переоборудуемый бункер, в котором происходят все новые и новые изобретения. Так, к примеру, с Первой мировой войной для каждого из каналов (акустического, оптического или цифрового) появляются электрические технологии передачи — радио и телевидение. А начиная со Второй мировой войны, кото-

рой они особенно любят заниматься в таком изобретательно-пораженческом духе, схематика печатной машинки (в версии машины Тьюринга) становится технологией (де)кодирования. Вывести из этого факта технического изобретения — радио или печатной машинки — следствия для современных им литературных техник в принципе не сложно. Однако мне кажется, что французская версия медиатеории интереснее тем, что она склоняется не столько к археo-, сколько к -логии медиа, и в этом смысле она менее детерминистично и каузально настроена, но при этом дает больше возможностей для обратных заимствований, то есть заимствований наукой и техникой из литературного воображаемого или из вымечтанных литературой диспозитивов.

Итак, как работает медиология? Возьмем тему нашего круглого стола или ту конститутивную для русской культуры формулу, которая тут угадывается: о словах и делах поэта. Это пушкинская формула, никто точно не может сказать, как и когда она была произнесена, но мы все знаем, насколько важные последствия она имела для отечественной традиции. Вся эта драма, это qui pro quo слов и дел разворачивается в лингвопрагматических координатах, о которых говорил уже Олег. И здесь действительно не обойтись без аналогий, может быть, небесспорных, но неизбежных, просто чтобы как-то локализовать это методологически, — аналогий с Рикером и Остином. Если переписать в прагматических терминах эту формулу, можно сказать, что романтизм, преодоленный Пушкиным на уровне стиля, сохраняется на уровне философии языка, поскольку если слово в этой формуле и не противопоставляется некой безупречной в своей неизреченности мысли (как в другой формуле), то только потому, что оно сближается с речевым действием или актом высказывания. То есть слова поэта приравниваются к его делам — при всей неоднозначности вектора и невозможности понять, то ли подразумеваются некоторые оперативные действия поэта и гражданина при помощи слов или даже подчинение поэзии задаче социальной критики, то ли, наоборот, некоторая скидка, освобождение поэта от непосредственного гражданского участия, потому что он пишет хорошие стихи. По моей версии, одно слово в этой формуле, редко замечаемое, говорит скорее о втором варианте: «уже» подразумевает, что слова поэта уже его дела, значит, с делами можно, в принципе, не торопиться, а просто располагать лучшие слова в лучшем порядке (точно так же, как поэт может не доезжать до декабристского восстания в силу символическо-логистических обстоятельств, в отечественной традиции он может и не доходить до дел, если его слова действительно в романтическом ключе оказываются лучшими в лучшем порядке). Проблема не в самом этом представлении XIX века о действенности слова (возможно, вполне обоснованном в свое время), а в том, что оно не обновлялось ввиду появления новых коммуникаций, и этой формулой продолжают щеголять в XX и даже в XXI веке те, кому необходимо оправдать свою институциональную стратегию или свое политическое бездействие. В этом смысле медиология дисциплина политическая, а не только основана политическим активистом.

Итак, если романтическая философия языка, выраженная в этой формуле, подразумевает, что романтический поэт не может знать, как это позже будет сказано, чем слово наше отзовется, то при этом в силе последствий он вроде бы не сомневается. То есть романтическая философия языка относится к словам как действиям, однако недооценивает институционные условия их эффективности. Можно сказать, что поэт отказывается контролировать прагматические эффекты высказывания и плохо осведомлен об институциональном и тем

более физическом устройстве среды его распространения. Ведь, чтобы обеспечить эффективность сказанного, необходимо учитывать еще и материальную организацию — быт, а не одну только силу слов. И здесь мы переходим к ограничениям уже не только пушкинской, но и собственно прагматической философии слов как действий и действий как слов, потому что мы говорим уже не только об институциональном устройстве среды (что дополнительно после Остина социологизировал Бурдье, когда писал о социальных условиях успешности высказывания). Мы говорим еще и о техническом устройстве среды, о материальном быте, и вот здесь начинается территория медиологии. Медиолог — это прагматик, как подчеркивает Дебре, но не только. Он не отказывается от выводов лингвопрагматической философии, но показывает, что этого недостаточно и необходимо обратить внимание на физические условия распространения сигнала.

Русские формалисты в свое время предложили ряд понятий, которые будут пытаться закрепить литературное высказывание в какой-то среде, впрочем, весьма абстрактно понимаемой. Я имею в виду, конечно, понятие литературного быта или более производственническое понятие «второй профессии» у Шкловского. Сюда же можно добавить понятие литературной личности у Тынянова. Все эти теоретики пытались отдать должное тому факту, что слова существуют не в вакууме, а в некоем прагматическом растворе, включающем не только знаки, но и их пользователей, контекст дел, действий, а то и социальности (хотя, может быть, это социальность самой литературы). Но несмотря на обильную индустриальную фразеологию и технические метафоры (в основном у Шкловского), здесь все равно не хватает техники. Рассуждения о быте, второй профессии становятся намного конкретнее и, как мне кажется, интереснее, если дополнить формализм технологическими рассуждениями, предложить апгрейд до техноформализма и обратить внимание на материальные носители и институциональные условия, материализованную организацию и организованную материю, как это называет Дебре. Так, к словам и делам, которые существовали в плотном сотрудничестве со времен Пушкина, у формалистов добавляются вещи и как-то начинают действовать. Другими словами, успешность высказывания оказывается обязанной уже не только риторическим добродетелям и социальной ситуации, но и материально-технической среде, в которой оно совершается. Причем это же сразу и историзует высказывание. Философия языка может существовать совершенно в вакуумной внеисторической ситуации: вот какие-то слова, какие-то дела поэта, какой-то текст, какое-то высказывание. Но, как только мы говорим о материально-технических условиях, мы не только технологизируем речь, но и историзуем условия ее успешности, поскольку распространение сигнала с помощью радиосети или с помощью клавиатурного набора помещает это высказывание — именно это, а не какое-то другое, — сразу в очень конкретную историко-политическую ситуацию, а не просто изолированную от всего остального историю техники. Это значит, что политический проект, начинающийся с Просвещения и заканчивающий свою жизнь, возможно, на наших все более обращенных к экранам глазах, обязан своим успехом не только силе слов, но и материальной организационной инфраструктуре книги или газеты — в любом случае ротационному прессу, как утверждает Дебре.

Попробуем теперь не только дополнить формализм медиатехническим анализом (как и сами формалисты предложили новый взгляд на русский XIX век),

но и посмотреть, не было ли медиологических интуиций в самой отечественной традиции. В рассуждениях разночинной тенденции эти интуиции присутствовали, и можно выстроить их генеалогию на российском материале начиная с XIX века. Приведу цитату из Герцена: «...вся литература времен Николая была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом против правительственного гнета, подавлявшего всякое человеческое право. <...> *Слагая песни, она разрушала; смеясь, она подкапывалась. Раздавленная в газете, она возрождалась на университетской кафедре; преследуемая в поэме, она продолжала свое дело в курсе естественных наук.* Она проявлялась даже в молчании и сумела проникнуть сквозь стены и двери». И еще одна цитата: «У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Как и полагается, здесь все речевые акты переводятся в подрывное действие. Михаил говорил о неизбывной сервильности русской культуры — возможно, этому можно противопоставить какие-то контртенденции (кстати, очень часто вперемешку, особенно у Белинского). Каждое действие в этой цитате Герцен подает как подрывное, не просто перформативное, а милитантно перформативное: слагая песни, она разрушала, а смеясь, она подкапывалась. Еще интереснее интуиции Герцена, которые можно назвать медиологическими в собственном смысле слова, поскольку выясняется, что из естественной материальной среды обитания для XIX века, то есть газеты, литература помещается в нехарактерную для себя институциональную оболочку университетской кафедры, а во втором примере центральный литературный жанр поэмы конвертируется в риторическую процедуру научного цикла — курса естественных наук. И подобное смещение медиума (газеты) и жанра (поэмы) способствовало — во всяком случае, в воображении Герцена — сближению письменной процедуры и гражданского действия на уровне идей и метафор. Медиология здесь могла бы подчеркнуть еще раз, что она не прагматика, не риторика и не социология действия и что успеху этих протеических перерождений на службе антигосударственных настроений способствует определенная инфраструктура, в которой циркулируют все эти слова, а вместе с ними и идеи. Сама сила слов распространяется, по мнению Дебре, не бесконечно и непроизвольно, как это можно прочитать даже из этих уже посаженных на определенную материальность примеров Герцена, а только в той степени, в какой это позволяют материальные носители и институциональные установления. Можно даже перевести это на латуровский язык: настолько, насколько проложены институциональные и материальные рельсы для радикальных идей, настолько они и могли продолжать свою жизнь. Кстати, Латур и Дебре не только ровесники, но и у них были в свое время общие contributors, то есть те, кто писал в «Cahiers de médiologie» и одновременно работал в Институте исследований инноваций, — например, такой интересный исследователь, как Антуан Эньон. Дебре даже ссылается на Латура в своих манифестах; но понятно, что он в большей степени сосредоточен на культуре, а не на науке, когда это еще можно было разделить.

Так и получается, что в российской ситуации книга могла стать трибуной, потому что трибуна уже была обязана книге. Поскольку первый русский революционный печатный орган начинает действовать за границей, на физической дистанции от своей аудитории, то это и должно отражаться в его заглавной инструментальной метафоре: «Колокол». Если развивать это медиологическое

воображение и учитывать, что сигналу, в данном случае акустическому, требуется преодолевать физическую дистанцию, то, конечно же, журнал должен называться уже не «Русское слово» и тем более не «Русская мысль», а именно «Колокол». Это медиологическое воображение развивается и в последующих дополнениях и уточнениях: когда в том же самом «Колоколе» незадолго до того, как он смолкает, появляется публикация текста за подписью «Русский человек», то там предлагается уже «не благовестить к молебну, а звонить в набат». По аналогии с этим мне хочется предложить говорить не просто о «трансформациях гуманитарного знания» (всегда в целом прогрессивных и контролируемых), но именно об эпистемическом переделе.

Я заключаю, что на уровне такого инструментального анализа метафор тоже возможна ревизия отечественной традиции. Но главное в нем, конечно, само сочетание учета институционных условий и материально-технической обшивки, которая существует не только на уровне фразеологии (хотя и это тоже немало), не только на уровне названий журналов (в конце концов, иногда они были совсем другими, менее технически чувствительными), но еще и на уровне метонимическом. В отличие от инструментальных метафор, которые выносятся на обложку, технологическая метонимия связывает силу слов с тиражами, а саму возможность высказывания — с таким институционным обстоятельством, как отмена предварительной цензуры, которая дает возможность говорить о действительности, жизни или реальности только потому, что эти слова напечатаны в «Современнике». Переворачивая формулу, можно сказать, что все печатное было действительным, а все действительное — печатным, и в этом контексте можно даже говорить о периоде с позднего Белинского до закрытия «Современника» не только как о славном периоде русской мысли, сопротивлении унифицирующим государственническим тенденциям, но еще и о примере работы чисто теоретического метода, примере идеологического эффекта возросших тиражей и соответствующих реформ.

Сергей Зенкин: Спасибо, Павел Арсеньевич. О важности того аспекта, о котором сейчас говорилось, свидетельствует хотя бы тот медиум, который в вашем выступлении ни разу не был упомянут, но в котором мы сейчас все с вами сегодня находимся, а именно интернет — важнейший инфраструктурный фактор всей современной идеологической и культурной жизни.

Ирина Прохорова: Тогда вот вопрос о самиздате, который немного подрывает эти рассуждения. Там было печатное, но неформальное слово; никто не знает, в каких количествах оно распространялось, в данном случае это тоже любопытно. Не очень понятно, были ли большие тиражи или небольшие, подсчитать это невозможно. Поэтому здесь, мне кажется, с точки зрения медиологии надо учитывать и такую специфику, когда иногда вместо чтения книги пересказывались на кухнях. Как это транслировалось — особая сфера, довольно интересная. В данном случае советская неподцензурная практика информационно и культурно может очень сильно подправить некоторые теоретические выкладки. Потому что были колоссальные официальные тиражи — что-то печаталось по тридцать-сорок тысяч экземпляров, и это считался небольшой тираж, а были варианты, когда на машинке сделано пять слепых копий и непонятно, через кого они распространялись. Поэтому здесь была бы очень интересна советская практика. Ваш доклад был очень важным, но любопытно,

как это было и в описываемое вами время, когда этот самый «Колокол» проникал из-за рубежа малыми тиражами, буквально единичными, и при этом как-то очень распространялся. Здесь было бы любопытно ввести еще какие-то параметры...

Павел Арсеньев: Я соглашусь с соображениями о самиздатских технологиях и тем более об интернете, но разница заключается в том, что если сегодня медиа повсюду, они омнипредставлены и поэтому не замечаются, то тогда, наоборот, их участие было сравнительно скромнее, но при этом воспринималось как значимая интервенция — в «человеческое общение», «общественную дискуссию» и тому подобное — пусть и ограниченного радиуса действия (ср. «Эрика берет четыре копии»). Хотя уже сама эта знаменитая фраза про «эрику», берущую соответствующее число копий, — это вполне конкретное эмпирическое указание если не на масштаб аудитории, то на плотность сетей распространения текстов, то есть опять же некоторый чисто медиологический параметр. Разумеется, ничто не мешает заниматься социологическими или статистическими выкладками или какими-то качественными исследованиями того, как одна и та же копия еще передавалась после того, как была взята «эрикой», но это будет не медиологией, а только рецептивистикой. Медиологически интересной здесь может быть сама социально-техническая асимметрия, при которой пять копий якобы оказываются могущественнее тиражей «Советского писателя» (если только мы не впадаем с этой гипотезой в диссидентскую аппроксимацию и не переоцениваем пресловутую вненаходимость советских людей).

В случае XIX века, когда есть тиран и сопротивляющаяся ему редакция или поэт и просто его речь, эта медиологическая составляющая еще менее заметна. Все это еще менее предметно, чем в советские времена (от которых еще остались те, у кого брать эти качественные интервью). Но именно это определяет сложность эмпирического доступа и делает амбициозным поиск примеров медиологических интуиций такого переописания или передела именно там, а не в недавнем прошлом.

Николай Плотников: Вопрос Михаилу Маяцкому: откуда взяться русскому Адорно и русскому Ясперсу? Это вопрос не риторический. Появление их работ стало возможным в пространстве интенсивной этической рефлексии о структурах нормативного сознания в обществе и основных нормативных понятиях. Видишь ли ты какие-то интеллектуальные предпосылки для формирования такой критической нормативной теории в сегодняшней России, то есть теории, которая бы оказалась в состоянии рефлектировать произошедшую моральную катастрофу?

Михаил Маяцкий: Если очень быстро, то вопрос об ответственности и вине в последние дни очень часто возникает в медиа, естественно, не в просто медиа, а в социальных медиа. Поэтому я особо не беспокоюсь о том, что такой рефлексии не возникнет или нет достаточного интеллектуального потенциала, чтобы она была развернута. Специфика России, но на самом деле не только России, в том, что именно правосудие является одним из институтов, которые разрушены нынешним режимом, поэтому в рамках таких раздавленных институтов невозможно получить никакую правовую оценку происходящего. А то, что этическая оценка производится постоянно, это мы знаем, но она произво-

дится опять же в полярных — пока полярных — высказываниях типа «Один Путин виноват» и «Все вы, русские, замешаны», то есть это два противоположных тезиса, которые оба несостоятельны. Если только Путин виноват, тогда никто другой не виноват, а если все виноваты, тогда все виноваты одинаково. Чтобы не быть голословным, что есть потенциал, я вам покажу книжку, которой повезло, потому что она вышла до текущих событий, в 2021 году. Два юриста, Николай Бобринский и Сергей Дмитриевский, написали аналитический доклад на триста страниц «Между местью и забвением. Концепция переходного правосудия для России»[19]. Нынешними событиями тогда еще не пахло, хотя понятно, что они в той или иной форме витали в воздухе. И речь у этих авторов идет именно о восстановлении самого правосудия, о вершении суда в условиях отсутствия или разрушенного правосудия. В институте права и публичной политики это очень артикулированное и, понятно, исторически уже во многом устаревшее, хотя и совсем недавнее высказывание, но даже для юридического осмысления происходящего есть потенциал, а что касается анализа философского и, шире, идеологического дискурса, ну вот тебе, Коля, и нам всем это задача на будущие годы. Спасибо.

Сергей Зенкин: Вопрос (через чат) Михаила Давыденко, по-видимому, адресованный Павлу Арсеньеву: можно ли изучать с предложенных позиций случаи, когда собирались воспоминания для проектов «Истории фабрик и заводов» и так далее?

Павел Арсеньев: Спасибо за вопрос. Я думаю, что у метода медиологии или материально-технической истории литературы нет каких-то привилегированных или табуированных периодов. Есть разные объекты, и какие-то из них лучше прилегают к методу, какие-то хуже, и как только появляется такой новый объект литературного описания, коллективное воспоминание или эмоция, конечно, возможно применение этого метода. Почему бы не написать материально-техническую историю эмоций путинской России и описать то, как в них соучаствовали оскорбленные чувства верующих, архитектура фейсбука и радикальный акционизм? Но с эмоциями просто сложнее работать, потому что их сложнее формализовать. Горьковская же «История фабрик и заводов» — это все-таки тексты, пусть даже несколько искусственно привязанные к определенной индустриальной обшивке, и в этом смысле здесь их можно и датировать, и технологически описать, а значит, попробовать увидеть, в какой степени они в свою очередь были обязаны индустриальному оптимизму, в какой — раннесоветской гордости, а в какой — литературной политике Горького.

Ирина Прохорова: Михаилу Маяцкому по поводу особого пути: мне кажется, что стараниями Андрея Зорина и его коллег подробно рассмотрен генезис «особого пути» как немецкой романтической философской традиции. Но если мы серьезно исследуем то, что называется дефицитарной парадигмой, то не правильнее бы было рассматривать ее в сравнительной перспективе: как складывается идея особого пути в разных странах под влиянием вынужденной, стре-

19 *Бобринский Н.А., Дмитриевский С.М.* Между местью и забвением: концепция переходного правосудия для России: аналитический доклад. М.: Институт права и публичной политики, 2021.

мительной, догоняющей модернизации. Получаются очень похожие кейсы, но с точки зрения теории множественных модерностей, по-моему, это продуктивное направление мысли. Чаадаевские идеи особости и самоуничижительности весьма характерны для большого количества культур, и в том числе Японии и Индии. Европеизированная, англизированная индийская элита тоже очень похожа на российскую с ее критикой невежественного народа. Очень много похожих кейсов в африканских странах, элита которых была насильственно европеизирована колонизаторами. Может быть, отойдя от «варения» в самих себе и постоянного самокопания, мы могли бы лучше понять специфику дефицитарной парадигмы как феномена модернизационного проекта?

Михаил Маяцкий: Да, «немцы — учители наши» и в этом отношении. Германский дискурс verspätete Nation («запоздалой нации») послужил матрицей для российского догоняющего развития. Наряду с этой проблематикой множественных модерностей можно еще привести подход к частностям с точки зрения мировой истории. Французский историк Патрик Бушон возглавил огромный коллектив авторов, которые написали мировую историю Франции, «L'Histoire mondiale de la France», показав, что школярским, школьным образом обсуждать отечественную историю — французскую или в нашем случае российскую историю — это значит искусственно вырывать объект исследования из многообразия связей, которые его соединяют с соседями, с прошлым и будущим. И эта критика тоже способствует преодолению изоляционистского и ресентиментного подхода, была бы на то воля. Сам по себе этот дискурс, если он миноритарен, если он присутствует на философской палитре в качестве одной из красок, — почему нет. Но когда он возведен в квазиофициальную идеологию, когда этим занимается Институт философии Академии наук, когда это становится его главным идеологическим продуктом и когда параллельно (поскольку «совесть нации» в виде ведущих интеллектуалов ушла в перестроечное прошлое) нравственным мерилом пытается стать РПЦ, правда, всем понятно, с каким успехом, — тогда это рискует привести к последствиям, которым мы все являемся свидетелями. То есть проблема не в самом этом дискурсе, а в том, что он превращен в официальный и привилегированный.

Ирина Прохорова: Правильно, потому что никакого другого альтернативного дискурса не было и нет пока, но мы прекрасно понимаем, что власть заимствует наиболее влиятельный дискурс или наиболее понятный…

Михаил Маяцкий: Власть назначает дискурс, который потом становится самым влиятельным. Есть полно дискурсов, в том числе и в русском, и во французском контексте. Я целое лето работал над одной главой немецкой книжки о российской философии за последние тридцать лет, кучу вещей для себя открыл, много всего там было. Но нет, сверху был сделан выбор совершенно определенный. Так же как делается выбор в области кино, например, где без государственных инвестиций трудно что-то сделать. Мы видим, в какую безвкусно патриотическую сторону государство склонно сегодня толкать творчество, то же самое в философии.

Павел Арсеньев: В дополнение к тому, что сказал Михаил: действительно ведь интересно, что если в случае кино производство сложно без финансиро-

вания, но многие справляются все-таки, — то вот, казалось бы, философия только задним числом может быть назначена главной, но парадоксально, что и она нуждается в государственной поддержке.

Михаил Маяцкий: А где тут парадокс? По-прежнему есть преподавание, есть сотни тысяч преподавателей по всей стране.

Павел Арсеньев: Я имею в виду, что философия не такое затратное производство, как кино, и тем не менее стилизует себя под материально затратное производство.

Михаил Маяцкий: Эта самая цивилизационная парадигма, которая возведена практически в главную идеологему, моет мозги молодежи по всей стране.

Ирина Прохорова: Сергей, в начале вступления ты упомянул воображаемую иерархию наук, которая существовала в позднесоветском гуманитарном академическом мире. А мы сейчас можем говорить о иерархии нынешних наук, или вообще слово «иерархия» здесь неуместно, а у нас есть некоторая горизонтальная модель — модель наук, взаимодействующих друг с другом? Как ты видишь?

Сергей Зенкин: Мое собственное видение нерепрезентативно: я представитель поколения, которое выросло в Советском Союзе и впитало тогдашнюю топографию научного знания. Скорее всего, более показательным является ощущение младших поколений — тех, кому сегодня двадцать-тридцать-сорок лет: вот, например, Павел Арсеньев в лучшем положении, чем я. По очень неуверенному моему ощущению, сегодня в самом деле есть неопределенное — не то чтобы горизонтальное, но переменчивое — соотношение между разными дисциплинами, причем филология находится скорее на понижающейся траектории по сравнению с другими. Это видно по популярности профессии, по количеству и качеству студентов, приходящих на филологические специальности. В конце восьмидесятых — девяностые годы студенты-филологи передовых, наиболее серьезных вузов легко меняли профессию и становились политическими журналистами, политологами, иногда даже политическими деятелями, выдвигаясь на авансцену общественной жизни. Сегодняшние филологи, по-моему, к этому мало предрасположены, у них более узкие профессиональные амбиции, что неплохо для самоощущения в профессии, но говорит о сужении общественных рамок филологии.

Михаил Маяцкий: В дополнение: у меня тоже возник этот вопрос, но я просто боялся, что упустил из твоего выступления это слово — мне казалось, что ты даже слова «антропология» не произнес, а это ведь, на мой взгляд, нынешняя царица наук. Пусть она тайная царица, подпольная, эзотеричная, элитарная, но это явная альтернатива филологии.

Сергей Зенкин: В общем, да. Можно напомнить давний, но важный манифест Ирины Прохоровой в НЛО о переориентации журнала с узкофилологической на антропологическую проблематику. Да, в той аудитории, где мы находимся, это весьма актуальная традиция. Сложность с сегодняшней антро-

пологией в том, что ее трудно отличить от других наук. Это не антропология английского образца, которая занимается первобытными традиционными обществами, это не антропология немецкого образца, которая занимается уделом человеческим в общем виде, это скорее другое название для того, что называется сегодня на Западе cultural studies и отличается как раз очень широкой и неопределенной своей референцией. В любом случае это некоторое расширение и даже отрицание традиционного филологического текстуального центризма.

Павел Арсеньев: Раз уж я нахожусь в выгодном положении, как было сказано, для этого суждения, видимо, должен тоже ответить. Помимо описания иерархий и отказа от иерархических отношений между науками (в самом вопросе уже заключена горизонтальность отношений), я хотел бы сказать не о том, кто является царицей, если еще можно так сегодня выражаться, наук, а о том, какой тип субъективности или эпистемических добродетелей сегодня кажется заслуживающим внимания. Если ставить вопрос, где филологи по отношению к другим специалистам, какую роль они играют в общественной жизни, — мне кажется, все это вопросы не очень точные, то есть тут нужно скорее спросить о том, а где еще водятся эти чистые филологи. Вот было сказано, что на этом мероприятии их нет, тем самым стало понятно, что, чтобы говорить даже о филологии, могут оказаться полезны некие внешние опыления. Точно так же субъективность сегодняшнего исследователя в существенной степени смещена не в сторону чисто академических заслуг, иерархии и так далее, а в сторону некоей роли, может быть, исследователя как организатора — по аналогии с автором как производителем. И такой тип гибридной идентичности исследователя, вовлеченного в публичные процессы, оказывается более привлекательным в том числе для молодых преподавателей, чем чисто библиотечное заточение… Во всяком случае такие фигуры, как известный поэт, противостоящий вырубке леса, или успешный математик, выдвигающийся в муниципальные депутаты, кажутся вполне достойным продолжением той отечественной радикально-демократической линии, о которой я говорил выше.

Олег Хархордин: Думаю, что вопрос об иерархии разных дисциплин не стоит, учитывая, какое количество дипломированных филологов производится, согласно официальным классификациям профессионального выпуска в Российской Федерации, — по сравнению с теми, кто занимается, например, политическими науками. На самом деле превалирование филологии отчасти связано для российской культуры и с тем, что все понимают, что открытое размышление о политике после разгрома декабристов и последовавшей николаевской реакции на случившееся было невозможно, как и политическая философия, и размышление о свободе и достоинстве; все эти размышления ушли в литературу. Поэтому сейчас, по-моему, фактом является не то, что кто-то филологию заменяет на дискурсивном междисциплинарном троне или пытается сделать ее недоминантной наукой, а возникновение других дискурсивных полей, где есть своя внутренняя иерархия. Например, в прошлом году была зарегистрирована Российская ассоциация политической философии как юридическое лицо, и в принципе это означает, что сложилось другое дисциплинарное поле. С точки зрения социологии знания важно, по Бурдье, что в каждой из дисцип-

лин складывается свое поле со своими позициями, взаимоотношениями. То, что эти поля каким-то образом перекрещиваются, это естественно, но как раз динамика последних тридцати лет состоит в том, что рядом со сложившимся полем филологии (которая вынуждена была, пока не было социологии, политических наук и политической философии, заниматься тем, что Эткинд обозначил как культуральные исследования, то есть говорить литературным языком об общественно-политической значимости), наконец оформились другие дисциплины. Кстати, интересно, как сложившиеся дисциплины и филология будут развиваться в ближайшие три-четыре-пять лет в своей оценке происходящего и в реакции на происходящее.

Ирина Прохорова: У меня еще один вопрос как раз по поводу доклада Олега Хархордина. Мне кажется, очень важный момент — это попытка опереться на отечественную традицию, которая долгое время не рассматривалась как реальный тренд и возможная точка опоры. Можем мы сейчас поговорить о том, что есть еще какие-то точки опоры из наработанного российской гуманитарной наукой? Скажем, мы говорили о филологии, но из практики НЛО у меня есть ощущение, что произошла как раз экспансия филологии в другие дисциплины. Мы видим антропологизацию гуманитарного знания, которая прошлась по всем дисциплинам, но так же и ведущие филологи с конца восьмидесятых проделали интересную эволюцию, не отказавшись полностью от текста, но при этом уже совершенно по-другому вписывая его в свое научное исследование. А где еще были перспективные направления, которые позволяют выстроить какую-то систему знания? Или мы совсем не можем это вычленить? Но вот Олегу удалось, например. Есть ли еще возможность что-то найти из того, что было наработано к концу восьмидесятых годов? Мы знаем, что наш почти единственный продуктивный экспорт — это Бахтин, которого, кстати, не мы подняли на знамя, а западные слависты и выстроили вокруг него колоссальное количество исследований. Какие у нас еще есть предметы экспорта, которые мы не удосужились предложить?

Олег Хархордин: Лотман — второй предмет экспорта, совершенно очевидный.

Ирина Прохорова: Ну да. В меньшей степени, как ни странно…

Сергей Зенкин: Русский формализм — третий, не уступающий бахтинской индустрии. Это опять же экспорт традиции, достояния прошлого, а не современных знаний и достижений.

Ирина Прохорова: За тридцать лет тоже много наработано: и появление новых дисциплин, и трансформации в дисциплинах. А на каком фундаменте может все-таки строиться новая эпистемологическая база альянса дисциплин? Да, антропологический вектор мог бы это скрепить, ну а есть ли собственно наши и недавние традиции? Такой, простите, детский вопрос, но он для меня всегда очень важен.

Павел Арсеньев: Попробую дать детский ответ на него. Мне кажется, тут стоит задаваться вопросом не о том, что еще есть в запасниках или что сейчас может пойти в качестве экспорта (по аналогии с импортом и его замещением),

а о самой модели, предложенной Олегом в той статье о гомилетике. Или же вот предложенный мною апгрейд формализма до техноформализма, также опубликованный в НЛО. Альтернативой по отношению к экспорту, которая не стремится что-то экспортировать, навязывать (что не лишено некоторого колониального аффекта, а то и экспансионистского рефлекса), могло бы быть стремление модифицировать и обновлять, перепрошивать отечественную традицию, будь то XVIII век, или XIX, или даже XX. То есть сама русская теория, как это Сергей Николаевич назвал, уже этаблирована, дальше необходимо подвергнуть ее ревизии, решительному пересмотру, чтобы отделить в ней прогрессивное от обскурантистского, чтобы развивать ее далее на новых основаниях и в новых терминах. Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы говорить о формализме, но с некоторым сдвигом в сторону техники.

Сергей Зенкин: Да, конечно, нужно научиться давать в мировое обращение какие-то современные, а не только старые, из запасников извлеченные, пусть и очень ценные идеи. Только это не связано с колониальной ситуацией, потому что экспорт — совершенно нормальное занятие любой страны, даже самой высокоразвитой. Вопрос лишь в том, *что* она экспортирует. Россия экспортирует сырье, а российская наука экспортирует старые идеи, которые были выработаны уже сто лет назад… некоторые из них.

Олег Хархордин: Вы же со мной даже участвовали в этой конференции в Школе перспективных исследований в Тюмени год назад, где описывалась ситуация с нашими гуманитарными науками как resource curse — проклятие того, что мы поставляем в основном сырье и иногда делаем импортозамещение, пиша свои учебники на западные темы, но редко занимаемся вывозом знания, привлекательного для западного или восточного потребителя, на мировой рынок. Ну и, вы помните, в заключение этой конференции было предложено очень мало методов, которые можно экспортировать. Павел упомянул трансформируемый формализм, я настаивал на гомилетике пятнадцать лет, но мало кто это услышал, потому что это не дистиллировано как понятный, преподаваемый метод, который можно освоить. Еще один пример: в 2015 году я написал статью для «American Historical Review» о развитии гуманитарных наук в России[20] и там выделил пять сфер, где экспорт мог бы быть возможен, — исходя из того, что нам традиционно приписывается как сильные стороны знания. Одно из них, например, — это византинистика, она у нас в НЛО не очень сильно представлена, но Александр Каждан, извините, — это очень сильно. Все, кто доходили до Дамбартон-Оукса, библиотеки в Вашингтоне, — знают, что это тоже очень здорово. И конечно, у нас активно публикуется по-английски Сергей Иванов, он признанный мастер международного жанра. Но если бы нашу византинистику еще раз сделать основой международной дискуссии, было бы очень хорошо. Я удивился, например, когда предпоследний номер «Slavic Review» взял мою статью о Византийской республике и привлек для ответов на нее трех авторов, два из которых обычно в «Slavic Review» не публикуются. Там был Мигель Ваттер, политический теоретик, Энтони Калдел-

20 *Kharkhordin O.* From Priests to Pathfinders: The Fate of the Humanities and Social Sciences in Russia after World War II // The American Historical Review. 2015. Vol. 120. Iss. 4. P. 1283—1298.

лис, историк и классицист, и Нэнси Колман[21], которая занимается средневековой Русью, она, конечно, внутри Russian studies. Вот один из наших факторов возможного роста, который пока нами игнорируется, а это же большая традиция. Кстати, специальный номер НЛО по возрождению этого с редактором в лице Сергея Иванова — было бы очень здорово.

Ирина Прохорова: Я только за! Забиваем идею, пусть никто больше не берет.

Сергей Зенкин: Если обобщить, то речь идет о развитии интеллектуальной истории, но только такой, которая не просто изучает мертвые тексты прошлого, а ищет в них живые идеи для будущего. Конечно, предметом ее может быть не обязательно своя, отечественная история, но и чужая, очень старинная, в том числе византийская.

Ирина Прохорова: Здесь есть очень важный момент: мы уже давно не разделяем российское гуманитарное знание и зарубежные наработки в русистике. С начала девяностых годов они стали наконец сообщающимися сосудами, и до сих пор уже в практике не только журнала, но и издательства «Новое литературное обозрение» видно, сколько мы переводим работ, особенно американских; очень продуктивное сотрудничество, и его можно было бы дальше развивать. Целый ряд более поздних наработок — это все, что связано с изучением сталинизма и давно уже развивалось в зарубежной русистике. По понятной причине теперь неизвестно, как дальше будет развиваться взаимообмен, но, во всяком случае, импорт пока продолжается, хотя насколько мы это до конца проанализировали, тоже вопрос. У меня есть все время какое-то внутреннее ощущение, что мы не до конца внимательно отслеживаем то, что было сделано, неважно, там или здесь. Недавно в неформальной беседе обсуждали с рядом коллег, в том числе и с Андреем Зориным: а почему у нас не появляются новые школы? Не знаю, возможны ли вообще сейчас научные школы в мировой гуманитарной среде… потому что их нигде особенно не видно, но через тридцать лет постсоветского развития логично было бы предположить, что в России начинают складываться какие-то центры научной мысли, которые влияют на дальнейшее развитие гуманитаристики.

Сергей Зенкин: Ирина Сандомирская оставила в чате реплику: «Мне кажется, русская/советская гуманитарная мысль вообще в основном обязана людям, которых в науку не очень пускали», которые в силу этого не могли создать никакую устойчивую школу. Действительно, есть такая повторяющаяся ситуация в советской и постсоветской науке, и мы, возможно, продолжаем переживать ее.

Ирина Прохорова: Вообще-то формализм начинался совсем не в академической реальности, так и многие школы возникают не обязательно внутри ака-

---

21 См.: *Kharkhordin O.* Authority and Power in Russia // Slavic Review. 2021. Vol. 80. Iss. 3. P. 469—488. Полемика, о которой упоминает Хархордин: *Kaldellis A.* Response to “Authority and Power in Russia” // Slavic Review. 2021. Vol. 80. Iss. 3. P. 489—491; *Kollmann N.S.* A Muscovite Republic? // Slavic Review. 2021. Vol. 80. Iss. 3. P. 492—497; *Vatter M.* The Third Rome and Russian Republicanism: A Comment on Oleg Kharkhordin “Power and Authority in Russia” // Slavic Review. 2021. Vol. 80. Iss. 3. P. 498—503.

демии: собственно, что сейчас мешает? Особенно с новыми технологическими возможностями.

Михаил Маяцкий: Формалисты как раз все-таки на периферии академии.

Павел Арсеньев: Я бы назвал их контракадемическими сепаратистами. Если можно, я подхвачу мысль: важнее не степень их включенности в поле (вообще топология академии — парадоксальная вещь), а скорее та роль, тот тип субъективности, который они являли, которому мы во многом обязаны привлекательностью их теории: положение между ролью поэта, критика, литератора и одновременно исследователя.

Олег Хархордин: У меня еще одно замечание: внутри академии школы-то складываются, но у нас нет рефлексии о том, как они складываются. Я, например, до последнего время серьезно не преподавал, был администратором от науки, у меня не было времени. А Александр Фридрихович создавал школу тридцать лет. Сначала это, казалось, переводы и укоренение в нашей мысли Карла Шмитта, и комментарии к нему, потом Гоббс, потом громадное количество интересных размышлений, у него супержурнал, супербольшое количество учеников, и никто это до сих пор не помыслил, потому что зачинатель школы жив. Вот лет через...

Ирина Прохорова: Так, извините. (*Смех.*) Мы нашли наконец причину.

Олег Хархордин: ...мы узнаем на самом деле. Нет, посмотрим, какие школы складываются, просто это осмысление задним числом и внешними комментаторами.

Сергей Зенкин: Я в качестве итога хотел бы сказать вот что. Мы, в общем, выполнили задачу, которую я держал в голове, придумывая этот круглый стол. Мы мало говорили о филологии как таковой, но мы все время говорили о том, что филологию преодолевает, что находится по ту сторону филологии, что она должна иметь в виду. Недаром Александр Филиппов вспоминал о преодолении события, о его сберегающем отрицании, что, конечно, есть вариант диалектического снятия. По-видимому, разные дисциплины, разные подходы в гуманитарных науках сегодня все по-своему преодолевают филологическую традицию. Например, ищут возможность видеть за повторяющимися текстами некое необратимое событие — одно из таких фундаментальных событий мы переживаем сегодня, на нашу и не только нашу беду. Или же можно искать, как говорил Олег Хархордин, собственный действенный потенциал слова. Или учитывать, как предлагал Павел Арсеньев, материальную оснастку слова, которая непосредственно влияет на его возможности: что мы можем и что не можем сказать. Или, наконец, обращать внимание на такие опасные тенденции, как превращение самостоятельного слова в ширму, в симулякр для беспринципной политики, о чем говорил Михаил Маяцкий. Все эти проблемы должна учитывать филологическая мысль, если она хочет быть современной наукой и оставаться в равных отношениях с другими.

На этом я оставляю свои обязанности модератора — с большой благодарностью коллегам, которые продемонстрировали лучшее, что у нас есть сегодня

в гуманитарной рефлексии. Круглый стол закрыт, я передаю бразды правления Ирине Прохоровой.

Ирина Прохорова: Я хочу поблагодарить всех участников за этот продуктивный разговор. Идея повторения круглого стола на другом этапе развития гуманитарной мысли мне кажется очень важной. Действительно, были замечательные выступления и очень живая дискуссия, которая выявила очень много проблем и вопросов, которые, я надеюсь, будут обсуждаться и дальше.

In Memoriam

На смерть Латура

9 октября 2022 года ушел из жизни знаменитый французский мыслитель Бруно Латур, один из основоположников акторно-сетевой теории, автор книг «Нового времени не было», «Пересборка социального», «Политики природы», «Исследование модусов существования» и других. Публикуем некролог, написанный ***Олегом Хархординым****.*

Мы последний раз виделись с Бруно 11 июля. Он собирался уехать на следующий день из Парижа в свой сельский дом, не дожидаясь обычного для французов дедлайна для отпусков — Дня взятия Бастилии. Все прогнозы обещали canicules, а это по-французски означает не «каникулы», а «собачьи дни», если исходить из латинской этимологии этого слова, — то есть жуткую жару. Погода мощно влияла на расписание многих, если не всех. Мы ужинали в ливанском ресторане недалеко от дома Латура с ним и его соавтором Николаем Шульцем. Меня интересовали детали аргументов, приведенных в их совместной книге про экологический класс; их же больше интересовало то, что происходило на Украине. Военные действия посреди Европы, как казалось, отменили на время все климатические заботы. Разговор о возможной скорой и внезапной гибели человечества как-то сдвинул в неактуальность разговор о постепенной его смерти от климатических перемен.

Перед тем как мы расстались, я задал Бруно дурацкий профессиональный вопрос: «Что вы пишете сейчас?» Он ответил: «Я не пишу. Читаю. Знаешь La Grande Mort у Рильке?» Я мотнул головой — Рильке был из той плеяды модернистских авторов, на которых, как на китах, покоился XX век, как сказала Ахматова (у нее, правда, троицей святых были Кафка, Джойс и Пруст), — но читать Рильке в оригинале, учитывая всего три года, потраченных в университете на изучение нежеланного немецкого, было мне не по силам. Дойдя до дома, в интернете я быстро нашел строки из французского перевода третьей книги «Часослова»:

O mon Dieu, donne à chacun sa propre mort,
donne à chacun la mort née de sa propre vie
où il connut la mort et la misère.

Car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille,
mais le fruit qui est au centre de tout
c'est la grande mort que chacun porte en soi.

Классический русский перевод Сергея Петрова выглядит так:

Любому, Боже, смерть его пошли —
Той самой жизнью умирать, когда
В нем горе, разум и любовь прошли!

Ведь мы одна листва да кожура,
А смерть великая есть плод нутра,
И в нас он долгожданная нужда[1].

Перевод этот, как казалось мне, должен был бы сказать «умирать той самой смертью, которая проистекает из жизни, проведенной в любви, смысле и нужде» («Das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not»). В переводе Николая Болдырева:

Господь, дай каждому заслуженный финал.
Пусть смерть придет из глубины прожитой жизни,
из той любви, нужды, что, сотворив, познал.

Кто мы? всего лишь листья, кожура, листва.
А смерть великая, что в нас, в своей отчизне,
то плод, вокруг которого наш танец торжества[2].

Перечитывая эту часть «Часослова» сейчас, после смерти Бруно, хочется примитивно найти в строках этих стихов ключ к последним моментам его жизни. Рильке писал о великой смерти, которая зреет в каждом из нас как плод, вокруг которого все вертится в этой нашей жизни. Но чаще всего к концу человеческой жизни этот плод созреть не успевает. И мы боимся умирать, так как умираем не своей, сладкой, великой смертью, а умираем чужой, не нашей, нежеланной. А плод великой смерти остается незрелым или недоношенным — перевод Сергея Петрова передает это с помощью метафорики аборта:

Как жены-пустоцветы, не рожая,
Мы не приносим сладкой смерти плод.
<…>
Мы с вечностию сотворили блуд,
И нашей смерти выкидыш рожаем
<…>

1 *Рильке Р.М.* Часослов. СПб.: Амфора, 2012. С. 123.
2 *Рильке Р.М.* Избранные сочинения и судьба: В 5 т. / Сост., пер. с нем., ст. и коммент. Н. Болдырева. Т. 2. М.: Водолей, 2017. С. 100.

И все кончают, мучаясь и тужась,
сечением кесаревым потаскух[3].

Английский подстрочный перевод вместе с напечатанным рядом с ним немецким оригиналом дают мне примерно такое понимание строк, что следуют за этими: Бог может ниспослать в мир одного или нескольких, способных на великую смерть. Этот один станет «чреватым, когда он небывалое зачнет», и через некоторое время «разродится смертию-владыкой», как переводит Петров[4]. Роль поэта — ждать этого Смертоносца (Tod-Gebärer, our own death's bearer[5]) и быть его предтечей и восславителем его миссии как Мессии. Миссия же в том, чтобы показать, что Великая смерть — их собственная, родная и сладкая смерть, — доступна людям, и потому ее не надо бояться.

Банальным будет утверждение о том, что Рильке всю жизнь думал о смерти. Привести многие строки его стихов об этом несложно. Незадолго до своей смерти (13.12.1925) Рильке писал польскому поэту и переводчику Витольду Гулевичу про свои стихи:

> Утверждение жизни и утверждение смерти в «Элегиях» становится единством. Признавать одну без другой было бы, как здесь это выясняется и провозглашается, в конечном счете лишь ограниченностью, исключающей все бесконечное. Смерть есть скрытая от нас, не освещенная нами *сторона жизни*: мы должны попытаться выработать то высшее сознание нашего бытия, *которое, будучи у себя дома в обеих неразграниченных сферах, неистощимо питается из обеих*... Истинный образ жизни простирается сквозь обе области, кровь величайшего круговорота устремляется сквозь обе: *нет ни этого, ни того света, но лишь великое единство*, где превосходящие нас существа, «ангелы», пребывают дома...
>
> Мы, здешние и сегодняшние, отнюдь не утолены своим мгновеньем во временном мире, пребывая в нем; но мы непрерывно переходим к предшественникам, к нашим истокам и к тем, кто, вероятно, придет после нас. В этом величайшем, «*открытом*» мире все *присутствуют* — нельзя сказать, чтобы «одновременно», ибо как раз исчезновение времени и предполагает, что все они *есть*. Преходящесть повсеместно врывается в это глубокое бытие. И таким образом, все воплощения и формы здешнего следует не просто использовать в их временной ограниченности, но, насколько мы это в состоянии делать, включать в те превосходящие смыслы, к которым мы причастны. Однако вовсе не в *христианской парадигме* (от которой я все более страстно ухожу), но в неком чисто земном, глубоко земном, блаженно земном осознавании делать так, чтобы все *здесь* нами созерцаемое и осязаемое вводить в более широкий, в широчайший круг бытия. Нет, не на тот свет, чья тень омрачает землю, но в некую целостность, в *эту целостность*[6].

Хайдеггер именно это письмо цитирует в эссе «Нужны ли поэты?» (1946), вошедшем в его знаменитый послевоенный сборник «Holzwege». Правда, другой отрывок из этого письма. Для Хайдеггера важно сказать: животное и растение, по Рильке, впущены в открытость мира, они стоят в нем. Человек же

---

3 *Рильке Р.М.* Часослов. С. 125.
4 Там же. С. 126.
5 *Rilke R.M.* The Book of Hours / Transl. by S. Ranson. Rochester, N.Y.: Camden House, 2008. P. 170—171.
6 *Рильке Р.М.* Избранные сочинения и судьба. Т. 5. С. 73—75.

стоит «перед» миром, уставившись на него и разглядывая его как пред-ставление, поставленное перед ним и стоящее перед ним для разглядывания и пред-метного обращения с ним. Мир вметан перед (пред-метан) человеком Нового времени для покорения его. Это предметно-инструментальное отношение к миру опасно для сущности человека. Дело даже не в том, что недавно взорванная атомная бомба угрожает угробить весь мир; дело в том, что поэты помнят про сущность человека (по-другому относиться к миру), а в повседневной жизни почти все мы подчинены голому хотению для самопродвижения к успеху внутри этого мира, чтобы сделать жизнь или счастливой, или хотя бы сносной. Сущности человека угрожает неограниченность его голого хотения в смысле преднамеренной победительной устремленности-к-успеху во всем. Из-за постоянной тяги производить все больше предметов для улучшения человеческой жизни, она подчиняется этому опредмечиванию, а смерть становится чем-то негативным. Рильке же, по Хайдеггеру, помнит об обратном. Смерть — преграда к опредмечиванию мира, она напоминает о том, что можно уклониться от этого опредмечивания, и побуждает к этому. Потому Рильке писал в письме от 6 января 1923 года: «…слово “смерть” надо прочитывать без негации»[7].

Латур был многогранен, и среди его достижений можно отметить и то, что в книге «Нового времени не было» он гениально высмеял Хайдеггера. Однако строки Хайдеггера позволяют нам заметить в строках Рильке, которые читал Бруно перед смертью, внимание к тому, что мы умираем иначе, чем звери и растения, которые открыты миру по-другому, нежели мы:

О Господи! Мы жальче жалких тварей,
Зане у них слепая смерть зверей.
А мы — мы неподвластны даже ей.
Пошли нам смерть-разумницу скорее,
Чтобы жизнь она в цветах весенней яри
Пораньше заплела нам из ветвей
<…>
Ужель в моей гордыне я не прав,
И лучше нас деревья?[8]

Иными словами, зверям и растениям умирать не страшно; их смерть если и не их, не своя, то, по крайней мере, им не страшна. И если мы способны взрастить в себе великую смерть, то не наша, чужая смерть нам тоже будет не страшна.

Как взрастить ее в себе? Хайдеггер цитировал письмо Рильке Гулевичу ради заключительных строк пассажа о смерти как части целостности «жизнь — смерть». Вот он:

> Природа, предметы нашего обихода и пользования — зыбко-неустойчивы и преходящи; и однако они, покуда мы здесь, являются *нашим* достоянием, нашими друзьями, посвященными в наши нужды и в наши радости, как это было уже и у наших предков. Так что нам не только следует не разрушать, не умалять, не унижать всё здешнее, но как раз ради его бренности, которую они делят с нами, мы

7 *Хайдеггер М.* О поэтах и поэзии. Гельдерлин, Рильке, Тракль / Пер. Н. Болдырев. М.: Водолей, 2017. С. 45, 54, 65.

8 *Рильке Р.М.* Часослов. С. 124—125.

> должны постигать все явления и вещи и трансформировать их, преобразовывать неким глубочайше задушевным постижением. Преображать? Да, ибо наша задача — так выстраданно и так страстно принять в себя эту предваряюще-преходящую, дряхлеющую землю, чтобы ее сущность снова «невидимо» в нас восстала. *Мы — пчелы невидимого*. Nous butinons éperdument le miel du visible, pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'Invisible[9].

Латур — в этих строках. Во-первых, книгу про несводимость (вещей к чему-либо другому — иными словами, надо дать вещам быть самими собой) он считал своим ранним манифестом, слишком ницшеанским (или делезовским?), но проложившим путь к писавшейся сорок лет зрелой книгой о модусах существования. Во-вторых, последние годы его трудов все потрачены на заботу если не о дряхлеющей, то о кончающейся Земле (если так можно перевести рильковский термин «hinfällge Erde», цитируемый Хайдеггером)[10]. В-третьих, его настойчивая мысль, что современная технонаука покоится прежде всего на аппаратах визуализации, открыла нам не видимую без этих аппаратов правду о том, что мы делаем, когда занимаемся наукой.

И слово «преображать» в тексте Рильке не кажется мне случайным — особенно если мы применим его к Латуру. Такие православные теологи, как Каллистос (Тимоти) Уэр, считали одной из главных отличительных черт православия доктрину трансфигурации — преображения и соответствующую ей практику theosis'a, обожения[11]. «Часослов» Рильке написан под влиянием двух визитов в Россию в 1899 и 1900 годах вместе с Лу Андреас-Саломе. Многие комментаторы отмечают его всеохватывающее преображение во время пасхальной службы в Москве, после чего он некритически относился к народу России как к хранящему глубокую религиозную истину мира, иногда называл Россию своей истинной родиной. Рильке, как мы знаем, посещал Толстого, познакомился с отцом Бориса Пастернака, с кем потом долго переписывался (переписка с самим Борисом случилась только незадолго до смерти Рильке). Про свое понимание Толстого Рильке записал в дневнике в 1900 году:

> Я говорил о страхе перед смертью, о том, что наступает такой момент, когда тебя впервые охватывает сознание смерти, и что это одновременно — первый момент возвышенной и всесторонней жизни. Я говорил о необходимости стать кем-то, чтобы получить возможность не быть никем, и еще о том, что такое изменение, втиснутое в немногие отведенные умирающему часы, протекает крайне насильственно. И я назвал Толстого человеком, который сделал из жизни дракона, чтобы вступить с ним в битву и стать героем[12].

Комментарий Константина Азадовского на странице до этого говорит, что Рильке считал, что Толстой на самом деле не исполнил своей жизненной миссии, и потому ему должно было страшно умирать. Потому что «лишь тот, кто

---

9 «Мы исступленно собираем мед Видимого, накапливая его в больших золотых ульях Невидимого» (фр.) (*Рильке Р.М.* Избранные сочинения и судьба. Т. 5. С. 75; *Хайдеггер М.* О поэтах и поэзии. С. 71.

10 *Heidegger M.* Holzwege // Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 5. Frankfurt am Main: Klostermann, 1977. S. 308.

11 *Ware T.* The Orthodox Church. London: Penguin, 1964. P. 230—231, 239—242.

12 Цит. по: *Азадовский К.* Рильке и Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 70.

создал нечто великое, обретает право на бессмертие, и ему нечего бояться, что он умрет»[13].

Эта интерпретация позиции Рильке по поводу Толстого слишком похожа на прочитывание жизни по древнегреческой или римской модели — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — которая легла в основу пушкинского века русской литературы. Потому есть соблазн прочесть и жизнь Латура так же — как процесс снискания им себе земного бессмертия за счет своих замечательных достижений. Например, в такую интерпретацию жизни Латура (по модели Рильке в версии Азадовского) легко укладывается следующий примечательный эпизод. Харри Коллинз, один из друзей-соперников Бруно по социологии науки, после двух дней преподавания в Европейском университете в Санкт-Петербурге в начале 2010-х годов воскликнул, обращаясь к студентам: «Ну сколько можно цитировать Латура! Я думал, что еду в Санкт-Петербург, а оказалось, что приехал в Бруноград!»

Другие скажут, что популярность Латура в России, возможно, объясняется не антично-греческо-римским, а скрыто-христианским, и иногда теологическим измерением его творчества. Не зря его диссертация была написана о Шарле Пеги и экзегезе священных текстов. Но как и Рильке хотел уйти от христианства к чистому познанию и преображению вещи, так и мне хочется подчеркнуть тот же мотив в Латуре. Отсюда любовь к Земле, отсюда особая стойкость при перспективе скорой смерти. К последним дням Латура применимо то, что Рильке писал в письме 1915 года о Толстом:

> Его могучее восприятие природы (я не знаю другого человека, который был бы так страстно привязан к природе) удивительным образом заставляло его думать и писать, исходя из целого, из ощущения жизни, которое было настолько ***пронизано наиточнейше распределенной смертью***, что она, казалось, присутствует всюду, как ***своеобразная пряность, усугубляющая вкус жизни***[14].

Латур не дал нам понять, что он боялся смерти. Хотя, если боялся, то у него, как у Толстого (неявного героя книжки Бруно про микробов), «та сила, с которой он осознавал еще и признавал свой растраченный страх, превращалась у него в последний момент, кто знает, в недоступную действительность, неожиданно становясь и прочным фундаментом этой башни [страха], и пейзажем, и небом, и ветром, и птицами, летающими вокруг нее»[15].

---

13 Там же. С. 69.

14 Цит. по: Там же. С. 94—95. Курсив мой. — *О.Х.*

15 Цит. по: Там же.

Эволюция дисциплин в институциональном и публичном поле

Евгений Добренко

Читая сталинизм:

СТАЛИНСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ

Evgeny Dobrenko

Reading Stalinism: Stalinist Culture as a Field of Research

Евгений Добренко (Университет Венеции Ca' Foscari, профессор; PhD) evgeny.dobrenko@unive.it.

Ключевые слова: сталинская культура, историография, советология, русистика

УДК: 316.7+930
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_104

Статья представляет анализ исследовательского поля, посвященного сталинской культуре, которое стремительно менялось с начала 1990-х годов, когда изучение сталинизма вышло из сферы традиционной советологии и постепенно стало одним из доминирующих направлений в истории XX века. Среди основных факторов, оказавших влияние на формирование этого научного поля, можно назвать смену поколений исследователей, интердисциплинарность и методологические сдвиги, демократизацию, открытие архивов, а также изменения в академической экономике. Однако в целом анализ западной и российской историографии обнаруживает многочисленные лакуны в исследованиях сталинизма и необходимость новых методологических и институциональных изменений.

Evgeny Dobrenko (PhD; Professor, Ca' Foscari University of Venice) evgeny.dobrenko@unive.it.

Key words: Stalinism, historiography, Sovietology, Russian studies

UDC: 316.7+930
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_104

This article analyzes the research field of Stalinist culture, which has been rapidly changing since the early 1990s, when the study of Stalinism left the sphere of traditional Sovietology and gradually became one of the dominant subjects in the history of the 20th century. Among the main factors that influenced the formation of this research field, one can name the change of generations of researchers, interdisciplinarity and methodological shifts, democratization, and the opening of archives, as well as changes in the academic economy. However, in general, the analysis of Western and Russian historiography reveals numerous gaps in the study of Stalinism and the need for new methodological and institutional changes.

В 1991 году мне пришлось параллельно заниматься двумя проектами. Для издательства «Советский писатель» я составлял сборник о соцреализме, где собрал материалы дискуссий о нем, проходивших в СССР начиная с 1987 года. А для журнала «Вопросы литературы» — специальный номер «Тоталитаризм и культура». Вышло так, что книга «Избавление от миражей» [Избавление от миражей 1990] оказалась последней книгой о соцреализме, вышедшей в СССР, а специальный номер «Вопросов литературы» [Вопросы литературы 1992] оказался первым сборником работ о сталинской культуре, вышедшим уже в постсоветской России.

Задним числом ясно, что назвать дискуссии эпохи перестройки полноценными нельзя. Это было скорее прощупыванием почвы: насколько далеко можно было продвинуться в критике. Говорили тогда все, по сути, одно: надо ломать старый каркас истории русской литературы XX века, долой сталинские схемы, да здравствует «настоящая», «возвращенная», «потаенная», «великая» литература. Напор этот был настолько сильным, что смолкли даже записные обскуранты, поняв, что пришло какое-то невероятное время. Помню, каких трудов мне стоило найти кого-нибудь, кто заступился бы за «метод»: для «дискуссии» нужны были «разные точки зрения»... Разности достичь между тем было невозможно. По существу, разными были лишь степени отрицания ненавистного соцреализма.

Работы западных коллег о сталинской культуре до 1980-х годов мало отличались от того, что писалось в СССР в последние годы его существования, поскольку в сложившейся в постсталинскую эпоху модели истории литературы не было места не только репрессированным писателям или «полочным» книгам. В эпоху оттепели из нее была вычищена и сталинская литература. Помню, как поразило меня в свое время первое посещение спецхрана, где на полках книги Солженицына соседствовали с фолиантом «Сталин в поэзии народов СССР», а сразу за Собранием сочинений Сталина следовали тома Троцкого, рядом с книгами и брошюрами Бухарина и Зиновьева лежали книги и брошюры Маленкова и Кагановича, а рядом с русским изданием «Большого террора» Роберта Конквеста стояла книга о пламенном наркоме Ежове 1937 года издания. Сталинская культура не только не существовала в СССР как предмет анализа, но была практически полностью выведена из публичного поля, где соцреализм существовал в виде секретарской литературы и нераскупаемых книг литературных чиновников от Маркова и Софронова до Суркова и Грибачева. Да, не поощрялись работы о Бабеле или Булгакове, о многих произведениях Платонова или Мандельштама нельзя было и упоминать, а имена Замятина или Набокова и вовсе были табуированы. Но ведь и о Бабаевском никто не мог писать. Неупоминаемым был «Доктор Живаго», но ведь исчезли и самые одиозные произведения сталинской литературы. Так, ушла под воду вся сталиниана — эта Атлантида сталинского искусства. Ее нельзя было упоминать так же, как литературу русского зарубежья, а антисталинские стихи Мандельштама или Ахматовой были точно так же неупоминаемы, как и стихи с восхвалениями Ежова... То же самое происходило и с живописью, скульптурой, кино: К. Малевич, В. Кандинский, П. Филонов оказались в запасниках рядом с А. Лактионовым и Д. Налбандяном, М. Хмелько и А. Герасимовым, И. Тоидзе и Ф. Решетниковым, Ф. Шурпиным и А. Феногеновым, исчезли грандиозные памятники Е. Вучетича и С. Меркурова, а фильмы А. Тарковского и С. Параджанова легли на полку по соседству с фильмами М. Чиаурели, Ф. Эрмлера, И. Пырь-

ева… Как заметил еще в середине 1980-х годов Борис Гройс, «искусство сталинского периода сейчас официально табуировано в Советском Союзе не меньше, чем искусство авангарда» [Гройс 2003: 24].

Это культурное обнуление сталинизма с обеих сторон было идеологической стратегией брежневской эпохи, результатом компромисса между иллюзиями шестидесятнической идеологии и пределами политических реформ в созданной Сталиным стране. Перестройка одним рывком преодолела эту половинчатость, оказавшись на другой стороне исторической пропасти. Однако у революционных эпох плохо по части строительства мостов. Эти эпохи славятся тягой к их сжиганию. Их возведение не входит в задачи революции. Но революция создает для этого предпосылки — и в этом ее огромная заслуга перед историей.

Призывы вернуть всю неупоминаемую литературу воспринимались как едва ли не кощунство. И в самом деле, кому нужен Бабаевский, когда бороться надо за Булгакова, кому нужен Сурков, когда остается неопубликованным Мандельштам? Спору нет, с точки зрения Литературы Бабаевского и Суркова не существует. Но в СССР была еще и литература (со строчной буквы) как крупнейшая культурно-идеологическая институция по формированию советского воображаемого, кодификации советского языка и артикуляции советских ментальных клише. Спустя тридцать лет можно констатировать, что без работы с этим механизмом, без анализа этой культуры история обречена на рецидивы, чему свидетельством — политическая культура современной России. Перефразируя известный афоризм, можно сказать: в стране, где огромное число людей величайшим политическим деятелем признает величайшего в ее истории политического преступника, есть вещи поважнее, чем литература.

Словом, к большому своему удивлению и еще большему удивлению моих друзей и коллег я не перестал заниматься соцреализмом ради чего-то, что всем вокруг казалось куда более интересным, содержательным и важным, оказавшись уже в новой для себя научной среде, как раз в тот момент, когда эта тема воспринималась как совершенно маргинальная. Отношение к сталинской культуре на Западе мало отличалось от отношения к ней в России: в доперестроечном СССР она игнорировалась по политическим соображениям, а после — как недостойная рассмотрения. Ровно то же было и на Западе: занятия сталинской литературой рассматривались как курьез. Об этом писала, открывая свою книгу «Советский роман: История как ритуал», Катерина Кларк:

> Когда во время какой-нибудь случайной встречи в профессиональном собрании я слышу вежливый вопрос, чем я «занимаюсь», я оказываюсь в тяжелом положении, будучи вынуждена признать, что занимаюсь советским романом. Сначала обычно мой собеседник пытается мне помочь, предполагая, если он знает что-нибудь о советской литературе, что ответ должен означать, что я занимаюсь одним из солидных писателей вроде Платонова, Булгакова, Пастернака или Солженицына. «Нет?.. Ну тогда хотя бы кто-то вроде Федина… Не совсем?.. О!» Затем следует страшная пауза, когда все выясняется: я занимаюсь советским романом, теми сотнями нечитаемых текстов, которые служат примерами социалистического реализма. То есть я занимаюсь не хорошими романами, опубликованными в Советском Союзе, или даже не хорошими примерами типичной советской литературы, но действительно теми произведениями, авторы которых *умышленно* следовали конвенциям социалистического реализма. В этот момент я начинала понимать, как чувствовали себя прокаженные. Мой собеседник отвечает либо

> отказом от дальнейшего разговора на эту тему, либо начинает бормотать слова сочувствия и удивления: «Как вам вообще удается пройти через это?!»
>
> Советский социалистический реализм практически табуированная тема в западной славистике. Хотя и не совсем табу, потому что ее можно обсуждать, но желательно только в тонах возмущения, недоумения, насмешки или элегии [Clark 1981: IX].

Такова была ситуация на Западе в начале 1980-х годов. В России сталинская культура как предмет исследования тридцать лет назад вообще не существовала. Помню, как в 1992 году с Томасом Лахусеном, Катериной Кларк и Нэнси Конди мы организовывали секцию о соцреализме на очередной конференции Американской ассоциации развития славистики (The American Association for the Advancement of Slavic Studies. AAASS). Среди сотен (!) секций о Серебряном веке, эмигрантской литературе и русской классике наша секция была единственной посвященной сталинской культуре. Именно тогда с Хансом Гюнтером мы задумали проект «Соцреалистический канон», в создании которого приняли участие десятки коллег как из России, так и из Европы и США. В результате мы не только подготовили книгу [Гюнтер, Добренко 2000], но и смогли впервые собрать разбросанных по всему миру специалистов, занимавшихся сталинской культурой. Сегодня ситуация совсем иная. Мне посчастливилось быть свидетелем и участником превращения этого исследовательского поля в одно из ведущих в современной русистике. В течение всех этих лет я по мере возможностей также старался знакомить читателей «Нового литературного обозрения» с происходящими переменами в этой сфере, регулярно публикуя обзоры и рецензии на новые работы, выходившие как в России, так и на Западе.

Формативный период нового подхода к соцреализму как к серьезной исследовательской проблеме пришелся на 1980-е годы. Именно тогда, в самом начале десятилетия на Западе появляются пионерские книги Катерины Кларк [Clark 1981] и Ханса Гюнтера [Günther 1984], в середине 1980-х годов издается «Культура Два» Владимира Паперного [Паперный 1985], в конце десятилетия по-немецки выходит книга Бориса Гройса [Groys 1988], а уже в 1990 году публикуется «Тоталитарное искусство» Игоря Голомштока [Golomstock 1990]. Именно о них я писал в своем первом обзоре тридцатилетней давности для «Вопросов литературы» [Добренко 1992]. Что же представляло собой это научное поле? Помимо традиционной советологии, в которой, кстати, было немало первоклассных работ — сошлюсь на книги Эдварда Брауна о РАППе [Brown 1953], Германа Ермолаева о теоретических предпосылках соцреализма [Ermolaev 1963], Веры Данам о сталинской послевоенной беллетристике [Dunham 1976], Мориса Фридберга о русских классиках в советских обложках [Fridberg 1962]. В отличие от страстных антикоммунистических манифестов типа «Писателей в униформе» Макса Истмена [Eastman 1934], блестящих иронических памфлетов типа знаменитого эссе Синявского «Что такое социалистический реализм» и поверхностно-обзорных работ о советской литературе [Brown 1982; Through the Glass of Soviet Literature 1953; Slonim 1964], здесь была и серьезная источниковая база, и качественный историко-литературный анализ.

Однако уже в этих работах рассматривались разные аспекты — историко-литературный (у Гюнтера), структурный (у Кларк), историко-культурный (у Паперного), актуально-эстетический (у Гройса), компаративно-искусствоведческий (у Голомштока). При этом они были написаны в чрезвычайно ши-

роком методологическом диапазоне — от традиционного исторического нарратива и правоверного структурализма до постмодернизма. Но конечно, это были лишь первые подступы к огромному материалу.

Сдвиги, происшедшие в западной русистике в последующие полтора десятилетия, пожалуй, наиболее очевидны в смещении научного интереса и в его концентрации на советской истории, а еще точнее — на сталинской эпохе. По крайней мере, три группы причин этого кажутся мне определяющими.

Во-первых, это причины поколенческие: то обстоятельство, что XIX век превратился почти в Античность, а работы по досоветской эпохе стали сравнительной редкостью, частично объясняется уходом старшего поколения славистов (нередко учеников русских эмигрантов первой волны); резкое снижение интереса к революционной эпохе, бывшей невероятно популярной начиная с 1960-х годов, тоже может быть объяснено уходом поколения шестидесятников, левые политические симпатии которых привели их в свое время в русистику. И все же в том факте, что «молодежь выбирает Сталина», видится мне некий универсальный поколенческий принцип: первое поколение (поколение участников исторической эпохи) слепо, второе поколение (их дети, несущие в себе комплексы и травмы своих родителей) — глухо, и только третье поколение имеет историческую тактильность к собственному прошлому.

На смене актантов и поколений в русистике следует остановиться подробнее. Несколько поколений исследователей сменились в западной русистике со времени ее возникновения. Вначале были эмигранты-миссионеры первой волны и последующее поколение (частично потомки этой первой волны эмиграции, частично представители второй волны), которые, собственно, и стояли у истоков русистики как научной дисциплины на Западе, возникшей одновременно с началом холодной войны, условно говоря, поколение 1950-х. Часть из них занимались советологией, но большая часть — русской классикой и Серебряным веком. Уже тогда между этими группами возникли отношения отталкивания/притяжения. «Классики» (включая прежде всего специалистов по Серебряному веку) презирали советологов за политическую ангажированность, считали их не филологами, но скорее политологами и едва ли не журналистами. Те, в свою очередь, считали, что «классики» зря едят хлеб, и вместо того, чтобы заниматься изучением врага [Engerman 2010], занимаются никому не нужными филологическими экзерсисами. Однако куда важнее этих расхождений то, в чем эти группы сходились идеологически, — в политическом и эстетическом ретроградстве.

Им на смену уже в 1970-е годы пришли их ученики. Не обязательно в буквальном смысле. Речь идет об эмигрантской генерации третьей волны, которая по своим взглядам, интересам и предпочтениям была прежде всего антисоветской и нашла в традиции, созданной предшественниками, готовое и освященное поле для приложения сил. Поскольку представителей этой волны интересовало только пространство вне советской идеологии, они им и занимались. Именно тогда окончательно сложилось разделение обязанностей между, условно говоря, «филологами» и «советологами». Первые занимались «высокой литературой», вторые — советскими темами. Подобное разделение позволяло обоим направлениям проводить свою повестку: «филологам», которые все активнее перемещались в пространство Серебряного века, это позволяло создавать дополнительный «символический капитал» на фоне «несуществующей» советской словесности, которая вся была объявлена эстетически неполноцен-

ной и потому недостойной серьезного научного интереса (после 1917 года изучать в России нечего, кроме того, что сохранилось от Серебряного века); «советологи» же сходились с «филологами» в главном — в том, что имеют дело с политико-пропагандистским материалом, отношение к которому они разделяли. Одновременно в русистику пришла западная левонастроенная молодежь, для которой занятия революционной Россией были формой протеста против доминировавшего тренда и советологии.

«Филологи» отлично вписывались в этот поколенческий разлом. Парадоксальным образом защита Красоты и Искусства от большевистского варварства, эстетический и методологический консерватизм, элитизм и принципиальная антитеоретичность, питавшие эти исследования, была не столько высоколобой оппозицией советологии (как они сами себе это представляли), сколько ее эстетической изнанкой. Кастовая замкнутость этих исследователей, не способных к методологическим новациям, и их агрессивный эмпиризм питались их политическими предпочтениями: «филологам» претили западные теории, которые все были «левыми», что обрекало их на последовательный методологический обскурантизм, который был возведен в добродетель. «Советологи», более открытые политически и методологически, незашоренные эстетскими предрассудками предшественников и рассуждениями о «высокой литературе», испытывали интерес к происходящему в советской культуре за пределами цензуры. В силу консерватизма академических структур еще двадцать лет назад первые занимали абсолютное доминирующее положение на кафедрах славистики и составляли славистический истеблишмент. Русистика вплоть до 1980-х годов застыла в материале и методологии вековой давности. Все это начало меняться в 1990-е.

Во-вторых, причины внимания к сталинскому времени были культурно-исторические. Здесь актуальный интерес оказывается двояким. С одной стороны, стало ясно, что советская эпоха закончилась (а ее настоящим нервным центром был, конечно, сталинизм) и пришло время историков; с другой — стало очевидным, что советская эпоха не завершилась и постсоветское общество — от массовых ожиданий и ментальности до преференций, комплексов и фобий политических и культурных элит — это практически то же советское общество, и потому, чтобы понять постсоветскую современность, нужно пристально всматриваться в ее советские корни.

В-третьих, вниманию к сталинской эпохе способствовали внутридисциплинарные причины. В русистике произошел глубокий сдвиг (не очередной поворот, но именно сдвиг): социальная и культурная история практически полностью вытеснила политическую историю, любимицу эпохи холодной войны. Пересмотр универсальной тоталитарной модели в анализе советского прошлого очень многое изменил в западной историографии Советской России [David-Fox 2015; Fitzpatrick 1999; Beyond Totalitarianism 2008]. Доминирование политической истории весьма способствовало развитию «филологизма» в русистике: социальная и культурная сферы были отрезаны от политики, и исследователи могли позволить себе аполитизм. Культурная история, напротив, потребовала не только поворота предмета к политике, но и междисциплинарности, без которой сегодня не выживет ни одна дисциплина. Вначале этот сдвиг произошел в российской историографии благодаря приходу поколения историков-ревизионистов на рубеже 1980-х годов и отступлению политической истории перед культурной. Параллельно с этим традиционные «гумани-

тарные» дисциплины (искусствознание, литературоведение, киноведение и другие) начали сдвигаться в область cultural studies (наиболее прагматичное объяснение этому — необходимость выживания в эпоху изменившегося статуса русистики на западном интеллектуальном и академическом рынке). Сама же культурная теория (cultural theory), по крайней мере на протяжении последних двух десятилетий, дрейфовала как раз в противоположном направлении — к политическому полю (political theory), демонстрируя интерес к политическому воображаемому. Такие интердисциплинарные подходы позволили по-новому понять большие темы сталинской культуры, например культуру повседневности [Куляпин, Скубач 2013; Посадская 2013; Balina, Dobrenko 2009; Boym 1995; Gronow 2003; Kucher 2007; Piretto 2001], историческую мифологию [Brandenberger, Platt 2006; Neuberger 2019; Platt 2011; Perrie 2001] и пространственные измерения сталинизма [Dobrenko, Naiman 2002; Schlögel 2008].

Резкий (и к тому же межпоколенческий) переход от зацикленности на узко определяемом политическом поле традиционной советологии к области культурной репрезентации не был безболезненным. Историки оказались в новой «эпохе великих открытий» — они вдруг открыли для себя сферу культуры — литературу, фильм, искусство, область культурного производства и функционирования культурных институций. С другой стороны, если для русистов прежде считалось неприличным отвлекаться от «филологии» на политику и марать науку о «дрянную идеологию», то теперь литературоведы, киноведы, искусствоведы открыли для себя область политического не как чуждую сферу идеологических клише, но как сферу, располагающую тонким аналитическим инструментарием.

Уже к началу 2000-х исследования культуры сталинизма формировались в условиях междисциплинарности. Причем целый поток работ очень высокого уровня и масштабных исследовательских проектов создавался специалистами всех дисциплин — историками, литературоведами, киноведами, искусствоведами — как старшего поколения (книги Виктории Боннель о советском политическом плакате [Bonnell 1999], Ханса Гюнтера — о советском героическом мифе [The Culture of the Stalin Period 1990; Günther 1993], Джефри Брукса — о сталинской публичной культуре [Brooks 2001], Катерины Кларк — о Петербурге и Москве как культурных столицах Советской России [Clark 1995; 2011], Томаса Лахусена — о том, как создавался образцовый советский литературный текст [Lahusen 2002], Бернис Розенталь — о ницшеанском следе в советской культуре [Nietzsche and Soviet Culture… 1995; Rosenthal 2002], Ричарда Стайтса — о советской массовой культуре [Stites 1992; 1995], Нины Тумаркин — о мифах вождя и Победы [Tumarkin 1983; 1995] и другие), так и среднего и молодого поколения (книги Светланы Бойм о советском китче [Boym 1995], Дэвида Бранденбергера — о массовой культуре и национал-большевизме [Brandenberger 2002], Майкла Дэвида-Фокса — о культурной дипломатии 1930-х [David-Fox 2012], Катрионы Келли — о советском детстве [Kelly 2008], Стивена Коткина — о сталинской цивилизации [Kotkin 1997], Юрия Слезкина — об истоках сталинской политической культуры [Slezkine 2017], Игала Халфина и Йохена Хеллбека — о сталинском субъекте [Halfin 2003; 2009; Hellbeck 2009], Дэвида Хоффманна — о формировании массовой культуры и ценностей в сталинизме [Hoffmann 2003; 2011], Карэн Петроне — о праздничной культуре сталинизма [Petrone 2000], Синтии Рудер — о мифологии Беломоро-Балтийского и Волго-Донского каналов [Ruder 1998; 2018] и многие другие). Картина этой междис-

циплинарной идиллии не должна вводить в заблуждение: ученые принесли из своих дисциплин не только определенные навыки, знания и опыт, но и предрассудки и комплексы. Кроме того, то, что полезно (и даже необходимо) в одной дисциплине, оказывается иногда нефункциональным (а то и вредным) в другой. Навыки и опыт историка часто означают отсутствие навыков и опыта, например, филолога (скажем, в чтении и интерпретации текстов), и, наоборот, умение работать с текстом вовсе не обязательно гарантирует умение работать с архивом или способность к широким историческим обобщениям. То же относится и к знаниям, которые всегда оборачиваются определенной степенью незнания в соседней дисциплине.

Сегодня доминировавшие тридцать лет назад в области исследований культуры XIX век, Серебряный век и революционный авангард оказались далеко позади сталинизма, который вышел на передний план. Причем наиболее продуктивным оказалась интердисциплинарная по определению область политической репрезентации. Здесь встречаются работы историков культуры, философов и политологов, специалистов в конкретных областях литературы, искусства и медиа. Эта область исследований была понята как изучение механизмов перевода с языка политического на язык культурный (и наоборот), с языка медиального на языки искусства и политики. Это многое изменило в исследовании сталинской эпохи. Прежде всего, открылись сюжеты, которые в эпоху дисциплинарного изоляционизма просто не могли появиться. Советология пребывала в методологическом вакууме, она находилась в стороне от современной политической и культурной теории, в результате обширные пласты материала ранее либо игнорировались, либо рассматривались односторонне. Открытие новых областей культурной и политической теории для широкого круга историков и гуманитариев, сама возможность работы над междисциплинарными культурно-историческим проектами если не свели на нет, то заметно смикшировали политическую ангажированность, которая всегда была присуща советологии.

После распада Советского Союза многие предвещали ее конец. На самом же деле на Западе (в отличие от России) произошло неожиданное ее возрождение, но в совершенно ином статусе. Освобождение от политической ноши «кремлелогии» и статуса «политико-идеологической дисциплины» эпохи холодной войны, который подпитывал (прежде всего финансово) Soviet studies, вдохнуло в предмет новую жизнь, а поле политической репрезентации оказалось куда более плодотворным, открытым к другим областям. Русистам вдруг стало интересно то, что делают историки Франции (чего раньше не замечалось), поскольку методологический поиск пошел в близком направлении, а историки Германии заинтересовались работами коллег-русистов.

Я бы хотел обозначить основные факторы, оказавшие влияние на формирование исследований сталинской культуры в течение последних тридцати лет.

Во-первых, помимо упомянутой смены поколений, я обратил бы внимание на смену исторической перспективы. Со второй половины 1980-х годов в науку начало входить поколение, которое со всей вероятностью воспроизвело бы поколение предыдущее, если бы происходившие в Советском Союзе события самым радикальным образом не изменили бы перспективу. Стало ясно, что разворачивавшиеся там события — после десятилетий безвременья — были настоящей историей в действии. Соответственно, возник интерес к *реальному* историко-политическому и социально-культурному процессу и его предпосыл-

кам, к чему Серебряный век имел мало отношения, будучи всецело продуктом ситуации, окончательно провалившейся в прошлое. Замечу, что в России процесс пошел в прямо противоположном направлении. Поэтому эти исследования в том виде, в котором они сложились в предыдущую эпоху, потеряв историческую релевантность, стали все больше замыкаться в архивный эмпиризм и уходить в глухую текстологию; усиление методологического изоляционизма и обращение к заведомо маргинальному материалу стали свидетельством упадка этой области исследований, которая продолжает существовать на Западе за счет двух факторов: сохранившегося с 1980-х годов, хотя и неотвратимо убывающего, институционального влияния сторонников этого направления, и авторитета этих исследований собственно в России. Этот авторитет, в свою очередь, основан на влиянии все тех же западных исследователей и методологической девственности российских исследований, что вполне отвечало ситуации методологического кризиса, в котором оказалось литературоведение в России после коллапса СССР. Попытки скрещения материала начала XX века с модными методологическими парадигмами (типа гендерных исследований) способны, вероятно, поддерживать интерес к теме, но не способны более восстановить ее статус.

Во-вторых, с концом СССР стало ясно, что советский проект отнюдь не был классовым, но был типичным национальным модернизационным проектом, лишь завернутым в марксистскую риторику. Более того, именно этот аспект создания новых наций стал определяющим в Восточной Европе, включая постсоветское пространство. Это полностью сместило фокус с прежнего идеологического объяснения к более традиционному национальному, в результате чего статус «русской революции» и «авангардного искусства» с их левизной сильно снизился. Только в идеологической проекции холодной войны русская революция была центральным событием XX века. В национальной перспективе центральной точкой становился сталинизм. Стало понятно, что революция 1917 года оказалась лишь толчком, тогда как фундаментальные основы советской нации являлись продуктом именно сталинизма, в котором был создан и укоренен экономический, политический, идеологический и культурный фундамент советского режима, просуществовавшего в созданных Сталиным рамках еще почти четыре десятилетия после его смерти. Пришло также и понимание того, что постсоветская идентичность опирается на прежние советские традиции, корни которых не столько в революции, сколько в сталинизме, чему последние события стали ярким подтверждением.

В-третьих, важно упомянуть о смене академической экономики. Распад Советского Союза привел к глубокому кризису советологии, которая оказалась неспособной предвидеть произошедшее и, поскольку советология во многом определяла состояние русистики в целом, к глубокому кризису последней. Но самым драматическим был эффект, произведенный изменением статуса постсоветской России в мире и, как следствие, прекращением финансирования этой области исследований. В 1990-е годы, после кратковременного перестроечного бума, резко упали наборы студентов, началось повальное закрытие славистических кафедр в западных университетах. Нет нужды приводить цифры этого драматического спада — низкое количество студентов и высокое количество закрытых русских кафедр и программ. Привлекательность дисциплины стала вопросом выживания. С подобным вызовом западная русистика не сталкивалась с момента своего возникновения. Дисциплина встретила этот вызов в полной неготовности. Черты, которые характеризовали ее в то время — это

высоколобый академизм, оторванность от актуального исторического процесса, неспособность сделать материал релевантным и интересным для сегодняшнего потребителя (будь то студенты или коллеги-нерусисты), архивный эмпиризм и глухая текстология; методологический изоляционизм, агрессивный антитеоретизм и обращение к заведомо маргинальному материалу и т.д.

Все это потребовало привлечения новых людей, открытости к новым подходам, темам и материалу. Следует помнить, что русистика — в отличие от романистики или германистики — не была рыночной. Ее экономическая выживаемость на протяжении десятилетий поддерживалась бюджетными вливаниями. Это сформировало целые поколения исследователей, которым не надо было заботиться о том, чтобы то, чем они занимались, можно было «продавать» студентам или издателям. Приходилось «с колес» адаптировать успешные программы коллег-компаративистов и привлекать их для совместных проектов, с тем чтобы сделать русские программы более привлекательными. Но с последними у русистов не было общего языка: десятилетия методологического обскурантизма и новый эмпиризм, шедший против теоретического мейнстрима, давали себя знать. Все это самым печальным образом сказалось на тех дисциплинах, которые определяли облик русистики: начался интенсивный отток исследователей из областей, посвященных XIX веку, породив парадоксальную ситуацию, в которой сегодня возник дефицит специалистов, способных преподавать Достоевского и Толстого, недостаток специалистов по поэзии; исследования Серебряного века начали таять на глазах. Зато сталинская эпоха и смежные с литературой дисциплины (киноведение, медиа, визуальные искусства) начали интенсивно развиваться. Достаточно указать на появление целого ряда первоклассных музыковедческих работ, в центре которых как раз сталинская эпоха [Власова 2012; Воробьев 2013; Максименков 1997; Минералов 1995; Музыка вместо сумбура 2013; Раку 2014; Fairclough 2016; Frolova-Walker 2016; Soviet Music and Society 2004; Tomoff 2006; 2015], или работ по истории архитектуры [Косенкова 2009; Хмельницкий 2007а; 2007б; DeHaan 2016; Hatherley 2015; Hudson 2015; Zubovich 2020], а также работ (их особенно много) по истории советской живописи [Морозов 2007; Сальникова 2014; Чегодаева 2003; Янковская 2007; Bonnell 1999; Bowen 1998; Golomstock 1990; O'Mahoni 2006; Piretto 2009; Plamper 2012; Rusnock 2010].

В-четвертых, изучение сталинской культуры было обусловлено уже отмеченными методологическими сдвигами и отзывчивостью к ним. Новое поколение русистов оказалось более открытым к другим литературам и культурам. Их формирование проходило под влиянием компаративистики, что, в свою очередь, питало интерес к методологическим новациям, к теории, к интердисциплинарности, к смежным областям. В качестве примера достаточно привести взрывной рост работ по истории советского кино. До 1990-х годов на Западе набрался бы едва ли десяток киноведческих книг, посвященных российско-советским сюжетам. Сегодня их число исчисляется сотнями. Киноведение как на Западе, так и в России в значительной степени питалось исследованиями в области сталинской культуры [Дашкова 2013; Добренко 2008; Кремлевский кинотеатр 2005; Belodubrovskaya 2020; Kaganovsky 2008; Kenez 1992; Spring, Taylor 1993; Widdis 2003]. Отсюда — интердисциплинарность и конец литературоцентризма.

В-пятых, на исследовательское поле повлияла демократизация. Расширение материала шло под влиянием самого предмета исследований: в ста-

линизме мы имеем дело с массовой культурой и массовым вкусом. Cultural studies, которые начиная с 1990-х годов все больше вытесняли традиционное литературоведение, нашли в советской культуре адекватный материал. Рост тематического диапазона исследований связан с самим статусом предмета и расширением содержания понятия «культура», которое в XX веке было беспрецедентно политически инструментализировано. Революционная культура любого типа — фашистская, нацистская или коммунистическая — по определению есть культура преодоления изоляции дореволюционного периода. Производя новых субъектов, новых граждан, массовые общества, современная революционная культура расширяет и втягивает в себя все новые и новые реальности. В этом контексте понятие «культура» обретает набор значений, проходящих полный спектр превращений — от сопротивления к автономности и от нее к инструментализации. Фундаментально отличным от предыдущих веков и либерально-демократических режимов образом культура *чрезвычайно важна* для диктаторских режимов и основанных на насилии национальных государств. Она важна потому, что является универсальным орудием политической власти: как необходимый объект централизованного планирования и координации; как способ дотянуться, кооптировать или противопоставить политических субъектов; как домен, который не может быть оставлен в руках традиционных патронов, поскольку культура является единственным способом производства властью собственного образа и легитимации. Культура рассматривается как домен, который должен быть поставлен под контроль и наблюдение государства. Поэтому культура современных диктатур, включая сталинскую, перемещается за пределы своего традиционного пребывания при дворах, в салонах, галереях, театрах. Она выходит на площади, в библиотеки и школы, в государственные институции, на спортивные арены, на телевидение — излюбленные пространства массовых обществ, где развитая печатная культура все больше взаимодействует с визуальным образом, голосом и коммуникационными технологиями. Все это делает изучение сталинской культуры чрезвычайно актуальным в современной России, где практики власти вырастают из сталинизма.

В-шестых, изучение сталинизма было бы невозможно без открытия архивов. Произошедшая после крушения СССР архивная революция не только изменила наши представления о сталинской эпохе и позволила определить новые подходы к ней (о чем ниже), но сыграла с историографией злую шутку: открыв долгожданные архивы, она ослепила многих историков возможностью легкого воссоздания «реального» развития тех или иных исторических сюжетов, восстановления «точной» картины прошлого, реконструкции облика действующих лиц и мотивов их действий и т.д. Все это, несомненно, обогатило наши представления о советской истории, но концептуально и методологически затормозило развитие дисциплины: эпоха высокой нефтедобычи не способствует, как известно, инновациям.

В-седьмых, распад прежних объясняющих матриц потребовал новых объяснений и реконцептуализации объекта исследования. Когда в 1995 году на обоих побережьях США вышли две книги — Стивена Коткина о Магнитогорске [Kotkin 1997] и антология советских дневников эпохи Большого террора, которая стала результатом пионерской работы гефтеровской группы историков в Советском Союзе и позже в России, но впервые увидела свет по-английски [Intimacy and Terror… 1995], — мало кто осознал, что они ознаменовали окон-

чательное изменение направления исследований в области истории сталинизма. На протяжении десятилетий в ней безраздельно царила советология. Именно на материале этой истории советология сформировалась, в нем обрела свой голос, через него сложился дискурс и система аргументации, которые не просто вписывались в политическую повестку дня эпохи холодной войны, но стали ее частью. Когда в 1980-е годы безраздельному владычеству советологии бросили вызов историки-ревизионисты, обозначив сдвиг от политической «истории сверху» — к социальной «истории снизу», на смену устоявшимся политическим и идеологическим советологическим аксиомам пришли куда более сложные ревизионистские теоремы (далеко не все из которых, впрочем, были впоследствии доказаны).

Сегодня, однако, прошли времена ожесточенных «идеологических битв» на «историческом фронте», когда советологи называли ревизионистов едва ли не сталинистами, а те, в свою очередь, обвиняли советологов чуть ли не в маккартизме. Сегодня ясно, что оба направления создали свою классику, где свое место заняли представители обоих направлений — Роберт Конквест и Моше Левин, Ричард Пайпс и Шейла Фицпатрик. Сегодня уже вряд ли кто-то сомневается в том, что ни одно из этих направлений не самодостаточно. Именно их взаимодополняемость позволяет понять сталинизм глубже и полнее. Но это идеологическое противостояние не было только поколенческим. Напротив, подобно тому, как в пору расцвета тоталитарной школы пионерские работы патриарха ревизионизма Моше Левина, принадлежавшего к поколению Пайпса и Конквеста, вдохновляли представителей молодого поколения историков, эволюция Шейлы Фицпатрик сделала ее активным участником того методологического сдвига, свидетелями которого мы являемся.

За сменой научных школ стоит не только смена методологии, но и смена оптики, которая фактически и конструирует объект. Сталинизм не есть нечто постоянно «данное нам в ощущении», но результат понятийного, дискурсивного, идеологического конструирования, которым занимается наука. Разные школы не просто по-разному подходят к исторической реальности. Говоря «об одном и том же», они нередко имеют в виду различную реальность и отчасти ее конструируют.

Осознание последнего обстоятельства кажется мне основанием того сдвига, который и произошел в связи с выходом указанных двух книг. Коткин впервые подошел к сталинизму не просто как к феномену политической и социальной истории, но как к «цивилизации», обратив внимание на те аспекты советской повседневности, которые в то время нередко проходили мимо внимания социальных историков. Так, его рассмотрение «большевистского языка» позволило не только концептуализировать и по-новому осветить этот материал повседневности, но и определенным образом позиционировать его в отношении к политической и социальной истории, открыв измерение, ранее неизвестное историкам сталинизма [Богданов 2014; Вайскопф 2000; Гройс 2007; Купина 1995; Сандомирская 2013; Gorham 2003].

Вышедшие в том же году дневники советских людей разных поколений, происхождения и опыта, представлявших различные слои населения эпохи Большого террора, напротив, были подчеркнуто лишены какой бы то ни было концептуальной рамки. Но и без нее стало ясно, что как советологическая схема, согласно которой люди умирали от страха, а не ходили в кино, женились, рожали детей, были молоды и счастливы даже в 1937 году, так и ревизионистская

социальная история, часто основанная на социологических выкладках, показывающих «среднюю температуру по больнице», упускали нечто принципиально важное. И это важное было наконец названо: советский субъект. Субъект, выражающий себя посредством письма, реализующий себя в тексте — это уже предмет не столько политической и социальной истории, сколько дискурсивного анализа и культурной истории. Имеется в виду при этом широкое понимание культуры. Не случайно поэтому представителей так называемой школы советской субъективности относят к культурным историкам, хотя они имеют дело с материалом, типичным для социальной истории. Тому есть несколько причин.

Первая — это введение новой информации: открывшиеся архивы не только расширили представления о происходивших в сталинском обществе процессах, что сыграло ключевую роль в происшедшей в 1980—1990-е годы ревизии советологической модели. Расширение источниковой базы заставило задуматься о жанровой природе вводимых материалов, в особенности тех из них (как, например, дневники), что вообще ранее не были предметом интереса историков [Paperno 2011].

Вторым важным фактором стал пристальный и плодотворный интерес к методологии смежных наук (например, к антропологии, социологии или археологии знания). Если в работах историков-ревизионистов первого призыва он во многом способствовал реконцептуализации подходов, выработанных тоталитарной школой, то новое поколение историков не только прямо апеллирует к современным культурным теориям, но делает опору на методологию смежных гуманитарных наук программной.

Третьим фактором является осознание методологических и дисциплинарных границ истории, когда историки стали рефлексировать по поводу таких факторов, как исторический нарратив (несомненно, ключевым стал здесь лингвистический сдвиг). Для нового поколения историков опыт нового историцизма стал определяющим, а интерес к форме высказывания — критически важным. Пришло понимание того, что содержание, сообщаемое источником, отнюдь не безразлично к форме, в которой оно дается. Требуется не просто поправка на форму, но полноценный анализ и учет ее специфики.

Четвертый фактор связан с культурой и идеологией: они стали мыслиться как некая среда, в которой протекают те или иные исторические события и которая в значительной мере их определяет. На смену плоско институционально понятой культурной истории как некоей цепи событий в области культурной и интеллектуальной жизни пришел полноценный интерес к синтезу исторических поддисциплин, осознание того, что ни политическая, ни социальная история не могут быть полноценно рассмотренными вне культурной и интеллектуальной истории.

Наконец, пятая причина — это пересмотр устоявшихся каузальных исторических связей. Когда из одной теоретической предпосылки следовали в логической последовательности все остальные, а материал должен был подтверждать «историческую логику». Успех виделся в том, чтобы заставить материал работать на общую модель, чему идеально способствовала тоталитарная конструкция, основанная на «истории сверху». Ревизионизм, напротив, усложнил картину, показав встречные интенции, взаимодействие и трансформацию исходящих снизу и сверху практик. Новое поколение историков сталинизма окончательно фрагментировало картину, введя в нее понятие сталинского субъекта и приблизившись к тексту на максимально короткое расстояние.

Если на Западе начиная с 1990-х годов сталинская культура, выйдя из сферы традиционной советологии, где она пребывала в течение многих десятилетий, превратилась в один из доминирующих объектов исследования в истории XX века, далеко обошедшей ушедший на задний план Серебряный век и революционный авангард, которые почти монопольно доминировали в русистике ранее, то в России ситуация развивалась совершенно иначе.

Выученная в советское время привычка уходить от актуальности, от всего, что за версту отдает политическим ангажементом, превратилась в устойчивую модель поведения и сослужила плохую службу. В России в это время появилось несколько интересных работ о сталинском искусстве и архитектуре, кое-что о сталинском кино и практически ничего о сталинской литературе. Из сделанного в России мне представляется наиболее ценным прежде всего то, что связано с публикацией документов. В особенности — по истории советской цензуры [Большая цензура 2005; Власть и художественная интеллигенция 1999; Дружинин 2012; Исключить всякие упоминания 1995; История советской политической цензуры 1997; Между молотом и наковальней 2011; Мы предчувствовали полыханье 2015; Сталинские премии 2007; Счастье литературы 1997; Цензура в советском союзе 2004]. Упомяну в этой связи основанные на архивах работы Дениса Бабиченко [Бабиченко 1994], Арлена Блюма [Блюм 1994; 2000], Геннадия Костырченко [Костырченко 2005; 2009], Натальи Громовой [Громова 2009]. Из концептуальных работ — это прежде всего книги Михаила Рыклина [Рыклин 1992; 2002] и Михаила Алленова [Алленов 2003], из работ по конкретным аспектам сталинской культуры — уже указанные выше книги Константина Богданова, Леонида Максименкова, Александра Морозова, Натальи Купиной, Марии Чегодаевой, Евгения Громова, Дмитрия Хмельницкого.

Если интерес к соцреализму на Западе все больше сдвигается в область историко-компаративных исследований [Добренко 2007; Aucouturier 1998; Gutkin 1999; Robin 1986; Socialist Realism… 1997; 2018], то в России с печальной регулярностью выходят апологетические книги о соцреализме иногда вполне анекдотического характера [Борев 2008; Булавка 2007; Куренная 1995; 2004; Чайковская 2019]. Это и неудивительно: чего можно было ожидать, когда тридцать лет назад большинство литературоведов ринулись в Серебряный век и эмигрантскую литературу и когда даже ведущие исследователи литературы советской эпохи гордились тем, что никогда не упоминали соцреализм, отказывались употреблять понятие «советская литература» в своих работах, называя ее «литературой советского прошлого», и стыдились того, что в западных библиотеках сохранились книги сталинской эпохи. К сожалению, аргумент о том, что этот предмет недостоин филологии, действовал (и до сих пор нередко действует) безотказно. В этой связи вспоминается цитата, которую любил приводить Михаил Гаспаров, рассказывая об английском филологе-классике А.Э. Хауэмене. Он — сам очень талантливый поэт — говорил: «Если для вас Эсхил дороже Манилия — вы не настоящий филолог. Не смущайтесь, — добавлял Гаспаров, — Манилий — это такой поэт, которого и меж специалистов читал один из сотни»[1]. Требование восстановить «реальную полноту» историко-литературного процесса, понимаемое как восстановление картины большой Литературы, история «хороших» авторов и книг при полном игнорировании

1 http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/ml_gasparov.html (дата обращения: 20.10.2022). Впервые опубликовано в: Alma Mater (Тарту). 1990. № 2.

«плохой» литературы «советского прошлого» обернулось созданием новой мифологии. Нежелание заниматься сталинской культурой одних (главным образом литературоведов) и неумение других (главных образом историков, не умевших работать с текстами) привели к ситуации, которую я описал бы вслед за классиком так: филологи не хотят, историки не могут.

Мне представляется, что отношение к сталинской культуре, которое сложилось в советской интеллигентской среде и не преодолено по сей день, состоит в неразличении двух наций, которые параллельно сложились в России в результате Петровских реформ — европейские русские и собственно русские. Та великая Литература, жрецами которой себя почитает российская интеллигентская публика, является продуктом первой. Но те люди и порожденная ими культура погибли в XX веке. Остались только сполохи той эпохи. На авансцену вышли совсем другие русские. Отцом этой нации был Сталин — их зеркало, их создатель и сам их продукт. Сталинизм создал совершенно аутентичную культуру; просто это культура *иной* нации — не низкой и не высокой — но другой, лишь этнически схожей с европейской русской культурой. Те, кто требовали и требуют не приближаться к соцреализму, идентифицируют себя с ушедшей с исторической арены нацией, по недоразумению думая, что она одна, и не подозревая, что соцреализм — это не низкая культура. Это высокая культура азиатских русских. И хотя между этими двумя нациями лежит пропасть, тяга друг к другу была с обеих сторон. За протекшее столетие европеизация перекинулась на неохваченные Петровскими реформами 95 процентов населения страны, но процесс этот отнюдь не закончен. Но и думать, что азиатскую Россию можно игнорировать, — большое заблуждение.

Подводя итоги тридцатилетнего развития исследований советской культуры, замечу: современная западная, да и российская историография, посвященная советской (и прежде всего сталинской) эпохе, не радует ни глубиной обобщающих идей, ни богатством синтеза, ни теоретической широтой, ни методологическим разнообразием. При наличии ряда добротных и нескольких первоклассных и ярких работ в массе своей она страдает позитивизмом и неспособностью выйти за пределы узкой русско-советской специфики, и чаще всего кроме пересказа событий и систематизации тех или иных фактов авторам большинства этих работ не о чем поведать читателю.

Разумеется, в постсоветологической историографии имеется немало исследователей, в основном среднего поколения, интерес которых к обобщающим концепциям позволил создать работы, резко выделяющиеся на общем фоне. Но будем честны: по гамбургскому счету, даже лучшие работы редко выходят за дисциплинарные границы русистики и традиционной позитивистской истории. Факт остается фактом: в постсоветологической историографии трудно назвать хотя бы пять книг, подобных блестящим и, увы, не изданным в России работам о нацизме последних десятилетий немца Клауса Тевеляйта [Theweleit 1977—1978], англичанина Яна Кершоу [Kershow 2001] или француза Эрика Мишо [Michaud 1996]. Список можно продолжить, дополнив его именами историков итальянского фашизма, таких как Джеффри Шнапп, Джеймс Мэнган, Барбара Спэкман [Mangan 1999; Spackman 1996; Schnapp 1996]. Объясняется это исторически: исследования культуры нацизма и фашизма как дисциплины развивались в свободном интеллектуальном соревновании, в открытом диалоге различных методологических направлений, в реальной борьбе за студентов и читателей, тогда как советология, имея особые происхож-

дение, статус и финансовую и институциональную поддержку, существовала нередко не только в архивном, но интеллектуальном и методологическом вакууме, следуя почти исключительно актуальной политической повестке. Более высокий уровень работ по истории нацизма или итальянского фашизма в сравнении с работами по истории сталинизма объясняется не только их многолетней институциональной свободой, но и дисциплинарной открытостью. Благодаря этой открытости в историографии нацизма могли появиться, например, психоаналитические книги Клауса Тевеляйта, а в советологии — как пародия на психоанализ — жалкие штудии Ирины Жеребкиной [Жеребкина 2006] или Даниеля Ранкур-Лаферриера [Rancour-Laferriere 1988].

Так или иначе, рождение этого научного поля в России состоялось, хотя оно все еще очень слабо оформлено, дисциплинарно изолировано и излишне идеологизировано, лишено традиции и апробированного категориального аппарата, а социальный запрос на эти исследования все еще очень слаб, так же как и их институциональная поддержка. В одном из своих последних интервью Майя Туровская говорила о том, как трудно было победить фашизм в Германии после войны и о том, что «в Германии изучалось и продолжает изучаться ее собственное прошлое. О нем пишут, снимают фильмы в огромном количестве. У нас тоже много всего сделано о фашизме. Но только — о немецком». О нашей трагической истории, продолжает Туровская, стали выходить книги, но им еще только предстоит найти свою аудиторию. И только «с этого начина[ется] новая для страны, для народа эпоха» [Туровская 2007]. Без этой работы, которая только начата в России, развитие страны невозможно. Сегодня особенно ясно, что сталинизм, будучи продуктом всей российской политической культуры, является генетической болезнью постсоветского общества. Проект постсоветского национального и культурного строительства без лечения или хотя бы без диагностирования этой болезни обречен на провал. Если есть актуальный исторический сюжет для современной России, то это сталинизм.

Библиография / References

[Алленов 2003] — *Алленов М.* Тексты о текстах. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

(*Allenov M.* Teksty o tekstakh. Moscow, 2003.)

[Бабиченко 1994] — *Бабиченко Д.* Писатели и цензоры: Советская литература 1940-х гг. под политическим контролем ЦК. М.: Россия молодая, 1994.

(*Babichenko D.* Pisateli i tsenzory: Sovetskaya literatura 1940-kh gg. pod politicheskim kontrolem TsK. Moscow, 1994).

[Блюм 1994] — *Блюм А.* За кулисами «министерства правды»: Тайная история советской цензуры, 1917—1929. СПб.: Академический проект, 1994.

(*Bljum A.* Za kulisami “ministerstva pravdy”: Taynaya istoriya sovetskoy tsenzury, 1917—1929. Saint Petersburg, 1994.)

[Блюм 2000] — *Блюм А.* Советская цензура в эпоху тотального террора, 1929—1953. СПб.: Академический проект, 2000.

(*Bljum A.* Sovetskaya tsenzura v epokhu total’nogo terrora, 1929—1953. Saint Petersburg, 2000.)

[Богданов 2014] — *Богданов К.* Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

(*Bogdanov K.* Vox populi: Fol’klornye zhanry sovetskoy kul’tury. Moscow, 2014.)

[Большая цензура 2005] — Большая цензура: писатели и журналисты в Стране Советов, 1917—1956 / Сост. Л. Максименков. М.: Материк; Демократия, 2005.

(Bol’shaya tsenzura: pisateli i zhurnalisty v Strane Sovetov, 1917—1956 / Comp. by L. Maksimenkov. Moscow, 2005.)

[Борев 2008] — *Борев Ю.* Социалистический реализм. Взгляд современника и современный взгляд. М.: АСТ, 2008.
(*Borev Ju.* Sotsialisticheskiy realizm. Vzglyad sovremennika i sovremennyy vzglyad. Moscow, 2008.)
[Булавка 2007] — *Булавка Л.* Социалистический реализм. Превратности метода. Философский дискурс. М.: Культурная революция, 2007.
(*Bulavka L.* Sotsialisticheskiy realizm. Prevratnosti metoda. Filosofskiy diskurs. Moscow, 2007.)
[Вайскопф 2000] — *Вайскопф М.* Писатель Сталин. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
(*Vajskopf M.* Pisatel' Stalin. Moscow, 2000.)
[Власова 2012] — *Власова Е.* 1948 год в советской музыке. М.: Классика XXI, 2010.
(*Vlasova E.* 1948 god v sovetskoy muzyke. Moscow, 2010.)
[Власть и художественная интеллигенция 1999] — Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917—1953 / Сост. А. Артизов, О. Наумов. М.: Демократия, 1999.
(Vlast' i khudozhestvennaya intelligentsiya: Dokumenty TsK RKP(b) — VKP(b), VChK — OGPU — NKVD o kul'turnoy politike. 1917—1953 / Comp. by A. Artizov, O. Naumov. Moscow, 1999.)
[Вопросы литературы 1992] — Вопросы литературы. 1992. № 1. Тоталитаризм и культура.
(Voprosy literatury. 1992. № 1. Totalitarizm i kul'tura.)
[Воробьев 2013] — *Воробьев И.* Соцреалистический «большой стиль» в советской музыке (1930—1950-е годы). СПб.: Композитор, 2013.
(*Vorob'ev I.* Sotsrealisticheskiy "bol'shoy stil'" v sovetskoy muzyke (1930—1950-e gody). Saint Petersburg, 2013.)
[Гройс 2003] — *Гройс Б.* Искусство утопии. М.: Художественный журнал; Знак, 2003.
(*Groys B.* Iskusstvo utopii. Moscow, 2003.)
[Гройс 2007] — *Гройс Б.* Коммунистический постскриптум. М.: Ad Marginem, 2007.
(*Groys B.* Kommunisticheskiy postskriptum. Moscow, 2007.)
[Громова 2009] — *Громова Н.* Распад: Судьба советского критика: 40—50-е годы. М.: Эллис Лак, 2009.
(*Gromova N.* Raspad: Sud'ba sovetskogo kritika: 40—50-e gody. Moscow, 2009.)
[Гюнтер, Добренко 2000] — Соцреалистический канон / Ред. Х. Гюнтер, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000.
(Sotsrealisticheskiy kanon / Ed. by H. Gjunter, E. Dobrenko. Saint Petersburg, 2000.)
[Дашкова 2013] — *Дашкова Т.* Телесность — Идеология — Кинематограф. Визуальный канон и советская повседневность. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
(*Dashkova T.* Telesnost' — Ideologiya — Kinematograf. Vizual'nyy kanon i sovetskaya povsednevnost'. Moscow, 2013.)
[Добренко 1992] — *Добренко Е.* К истории исследования тоталитарной культуры. Обзор литературы // Вопросы литературы. 1992. № 1. Тоталитаризм и культура. С. 359—363.
(*Dobrenko E.* K istorii issledovaniia totalitarnoi kul'tury. Obzor literatury // Voprosy literatury. 1992. № 1. Totalitarizm i kul'tura. C. 359—363.)
[Добренко 2007] — *Добренко Е.* Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
(*Dobrenko E.* Politekonomia sotsrealizma. Moscow, 2007.)
[Добренко 2008] — *Добренко Е.* Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
(*Dobrenko E.* Muzey revolyutsii. Sovetskoe kino i stalinskiy istoricheskiy narrativ. Moscow, 2008.)
[Дружинин 2012] — *Дружинин П.* Идеология и филология: Документальное исследование: В 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
(*Druzhinin P.* Ideologiya i filologiya: Dokumental'noe issledovanie: In 2 vols. Moscow, 2012.)
[Жеребкина 2006] — *Жеребкина И.* Феминистская интервенция в сталинизм, или Сталина не существует. М.: Алетейя, 2006.
(*Zherebkina I.* Feministskaya interventsiya v stalinizm, ili Stalina ne sushchestvuet. Moscow, 2006.)
[Избавление от миражей 1990] — Избавление от миражей: Соцреализм сегодня: Сб. ст. / Сост. Е.А. Добренко. М.: Советский писатель, 1990.
(Izbavlenie ot mirazhey: Sotsrealizm segodnya Sb. st. / Comp. by E.A. Dobrenko. Moscow, 1990.)
[Исключить всякие упоминания 1995] — Исключить всякие упоминания...: Очерки истории советской цензуры / Сост. Т. Горяева. М.; Минск: Время и место; Старый Свет-Принт, 1995.
(Isklyuchit' vsyakie upominaniya...: Ocherki istorii sovetskoy tsenzury / Comp. by T. Gorjaeva. Moscow; Minsk, 1995.)
[История советской политической цензуры 1997] — История советской политической цензуры: Документы и комментарии / Сост. Т. Горяева. М.: РОССПЭН, 1997.
(Istoriya sovetskoy politicheskoy tsenzury: Dokumenty i kommentarii / Comp. by T. Gorjaeva. Moscow, 1997.)

[Косенкова 2009] — *Косенкова Ю.* Советский город 1940-х — первой половины 1950-х годов: От творческих поисков к практике строительства. М.: Либроком, 2009.

(*Kosenkova Ju.* Sovetskiy gorod 1940-kh — pervoy poloviny 1950-kh godov: Ot tvorcheskikh poiskov k praktike stroitel'stva. Moscow, 2009.)

[Костырченко 2005] — Государственный антисемитизм в СССР: От начала до кульминации, 1938—1953 / Сост. Г. Костырченко. М.: Материк, 2005.

(Gosudarstvennyy antisemitizm v SSSR: Ot nachala do kul'minatsii, 1938—1953 / Comp. by G. Kostyrchenko. Moscow, 2005.)

[Костырченко 2009] — *Костырченко Г.* Сталин против «космополитов»: Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М.: РОССПЭН, 2009.

(*Kostyrchenko G.* Stalin protiv "kosmopolitov": Vlast' i evreyskaya intelligentsiya v SSSR. Moscow, 2009.)

[Кремлевский кинотеатр 2005] — Кремлевский кинотеатр: 1928—1953: Документы / Сост. К.М. Андерсон, Л.В. Максименков. М.: РОССПЭН, 2005.

(Kremlevskiy kinoteatr: 1928—1953: Dokumenty. Moscow, 2005.)

[Куляпин, Скубач 2013] — *Куляпин А., Скубач О.* Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской эпохи. М.: Языки славянской культуры, 2013.

(*Kuljapin A., Skubach O.* Mifologiya sovetskoy povsednevnosti v literature i kul'ture stalinskoy epokhi. Moscow, 2013.)

[Купина 1995] — *Купина Н.* Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург; Пермь: Изд-во Урал. ун-та, 1995.

(*Kupina N.* Totalitarnyy yazyk: slovar' i rechevye reaktsii. Ekaterinburg; Perm, 1995.)

[Куренная 1995] — Знакомый незнакомец: Социалистический реализм как историко-культурная проблема / Ред. Н. Куренная. М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1995.

(Znakomyy neznakomets: Sotsialisticheskiy realizm kak istoriko-kul'turnaya problema / Ed. by N. Kurennaja. Moscow, 1995.)

[Куренная 2004] — *Куренная Н.* Социалистический реализм. Историко-культурный аспект (Из опыта восточноевропейских литератур. 1930—1970-е годы). М.: Институт славяноведения РАН, 2004.

(*Kurennaja N.* Sotsialisticheskiy realizm. Istoriko-kul'turnyy aspekt (Iz opyta vostochnoevropeyskikh literatur. 1930—1970-e gody). Moscow, 2004.)

[Максименков 1997] — *Максименков Л.* Сумбур вместо музыки: Сталинская культурная революция, 1936—1938. М.: Юридическая книга, 1997.

(*Maksimenkov L.* Sumbur vmesto muzyki: Stalinskaya kul'turnaya revolyutsiya, 1936—1938. Moscow, 1997.)

[Между молотом и наковальней 2011] — Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии / Сост. Т.М. Горяева, З.К. Водопьянова и др. М.: РОССПЭН, 2011.

(Mezhdu molotom i nakoval'ney. Soyuz sovetskikh pisateley SSSR. Dokumenty i kommentarii / Comp. by T.M. Gorjaeva, Z.K. Vodop'janova et al. Moscow, 2011.)

[Минералов 1995] — *Минералов Ю.* Так говорила держава: XX век и русская песня. М.: Литературный институт им. А.М. Горького, 1995.

(*Mineralov Ju.* Tak govorila derzhava: XX vek i russkaya pesnya. Moscow, 1995.)

[Морозов 2007] — *Морозов А.* Соцреализм и реализм. М.: Галарт, 2007.

(*Morozov A.* Sotsrealizm i realizm. Moscow, 2007.)

[Музыка вместо сумбура 2013] — Музыка вместо сумбура: Композиторы и музыканты в Стране Советов. 1917—1991. Документы / Под ред. Л. Максименкова. М.: Фонд Демократия, 2013.

(Muzyka vmesto sumbura: Kompozitory i muzykanty v Strane Sovetov. 1917—1991. Dokumenty / Ed. by L. Maksimenkov. Moscow, 2013.)

[Мы предчувствовали полыханье 2015] — «Мы предчувствовали полыханье...». Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 — сентябрь 1945 г.: Документы и комментарии. М.: РОССПЭН, 2015.

("My predchuvstvovali polyhan'e…". Soyuz sovetskikh pisateley SSSR v gody Velikoy Otechestvennoy voyny. Iyun' 1941 — sentyabr' 1945 g.: Dokumenty i kommentarii. Moscow, 2015.)

[Паперный 1985] — *Паперный В.* Культура Два. Ann Arbor: Ardis, 1985.

(*Paperny V.* Kul'tura Dva. Ann Arbor, 1985.)

[Посадская 2013] — *Посадская Л.* Советская повседневность в художественных текстах (1920-е — 1990-е годы). М.: АИРО—XXI, 2013.

(*Posadskaja L.* Sovetskaya povsednevnost' v khudozhestvennykh tekstakh (1920-e — 1990-e gody). Moscow, 2013.)

[Раку 2014] — *Раку М.* Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

(*Raku M.* Muzykal'naya klassika v mifotvorchestve sovetskoy epokhi. Moscow, 2014.)

[Рыклин 1992] — *Рыклин М.* Терроррологики. Тарту; М.: Эйдос, 1992.

(*Ryklin M.* Terrorologiki. Tartu; Moscow, 1992.)

[Рыклин 2002] — *Рыклин М.* Пространства ликования: Тоталитаризм и различие. М.: Логос, 2002.

(*Ryklin M.* Prostranstva likovaniya: Totalitarizm i razlichie. Moscow, 2002.)

[Сальникова 2014] — *Сальникова Е.* Советская культура в движении: от середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты. М.: ЛКИ, 2014.

(*Sal'nikova E.* Sovetskaya kul'tura v dvizhenii: ot serediny 1930-kh k seredine 1980-kh. Vizual'nye obrazy, geroi, syuzhety. Moscow, 2014.)

[Сандомирская 2013] — *Сандомирская И.* Блокада в слове. Очерки критической теории и биополитики языка. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

(*Sandomirskaja I.* Blokada v slove. Ocherki kriticheskoy teorii i biopolitiki yazyka. Moscow, 2013.)

[Сталинские премии 2007] — Сталинские премии: Две стороны одной медали: Сб. документов и художественно-публицистических материалов / Сост. В. Свиньин, К. Осеев. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2007.

(Stalinskie premii: Dve storony odnoy medali: Sb. dokumentov i khudozhestvenno-publitsisticheskikh materialov / Comp. by V. Svin'in, K. Oseev. Novosibirsk, 2007.)

[Счастье литературы 1997] — «Счастье литературы»: Государство и писатели, 1925—1938: Документы / Сост. Бабиченко Д. М: РОССПЭН, 1997.

("Schast'e literatury": Gosudarstvo i pisateli, 1925—1938: Dokumenty / Comp. by D. Babichenko. Moscow, 1997.)

[Туровская 2007] — *Туровская М.* Обыкновенный фашизм, или Сорок лет спустя // Искусство кино. 2007. № 7. С. 117—118.

(*Turovskaja M.* Obyknovennyy fashizm, ili Sorok let spustya // Iskusstvo kino. 2007. № 7. P. 117—118.)

[Хмельницкий 2007а] — *Хмельницкий Д.* Архитектура Сталина. Психология и стиль. М.: Прогресс-Традиция, 2007.

(*Hmelnitsky D.* Arhitektura Stalina. Psikhologiya i stil'. Moscow, 2007.)

[Хмельницкий 2007б] — *Хмельницкий Д.* Зодчий Сталин. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

(*Hmelnitsky D.* Zodchiy Stalin. Moscow, 2007.)

[Цензура в Советском Союзе 2004] — Цензура в Советском Союзе, 1917—1991. Документы / Сост. В. Воловников, А. Блюм. М.: РОССПЭН, 2004.

(Tsenzura v Sovetskom Soyuze, 1917—1991. Dokumenty / Comp. by V. Volovnikov, A. Bljum. Moscow, 2004.)

[Чайковская 2019] — *Чайковская В.* Дух подлинности: Соцреализм и окрестности. М.: Iskusstvo—XXI vek, 2019.

(*Chajkovskaja V.* Dukh podlinnosti: Sotsrealizm i okrestnosti. Moscow, 2019.)

[Чегодаева 2003] — *Чегодаева М.* Социалистический реализм: Мифы и реальность. М.: Захаров, 2003.

(*Chegodaeva M.* Sotsialisticheskiy realizm: Mify i real'nost'. Moscow, 2003.)

[Янковская 2007] — *Янковская Г.* Искусство, деньги и политика. Художник в годы позднего сталинизма. Пермь: ПГУ, 2007.

(*Jankovskaja G.* Iskusstvo, den'gi i politika. Khudozhnik v gody pozdnego stalinizma. Perm, 2007.)

[Aucouturier 1998] — *Aucouturier M.* Le réalisme socialiste. Paris: PUF, 1998.

[Balina, Dobrenko 2009] — Petrified Utopia: Happiness Soviet Style / Ed. by M. Balina, E. Dobrenko. London: Anthem Press, 2009.

[Belodubrovskaya 2020] — *Belodubrovskaya M.* Not According to Plan. Ithaca: Cornell UP, 2020.

[Beyond Totalitarianism 2008] — Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared / Ed. by M. Geyer, S. Fitzpatrick. Cambridge: CUP, 2008.

[Bonnell 1999] — *Bonnell V.* Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. Berkeley: University of California Press, 1999.

[Boym 1995] — *Boym S.* Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, MA: Harvard UP, 1995.

[Bowen 1998] — *Bowen M.* Socialist Realist Painting. New Haven: Yale UP, 1998.

[Brandenberger 2002] — *Brandenberger D.* National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931—1956. Cambridge, MA: Harvard UP, 2002.

[Brandenberger, Platt 2006] — Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda / Ed. by D. Brandenberger, K. Platt. Madison: University of Wisconsin Press, 2006.

[Brooks 2001] — *Brooks J.* Thank You, Comrade Stalin!: Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton, NJ: Princeton UP, 2001.

[Brown 1953] — *Brown E.* The Proletarian Episode in Russian Literature, 1928—1932. New York: Columbia UP, 1953.

[Brown 1982] — *Brown E.* Russian Literature since the Revolution. Cambridge: Harvard UP, 1982.

[Clark 1981] — *Clark K.* The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

[Clark 1995] — *Clark K.* Petersburg, Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1995.

[Clark 2011] — *Clark K.* Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism and the Evolution of Soviet Culture, 1931—1941. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 2011.

[David-Fox 2012] — *David-Fox M.* Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union, 1921—1941. New York: OUP, 2012.

[David-Fox 2015] — *David-Fox M.* Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015.

[DeHaan 2016] — *DeHaan H.* Stalinist City Planning: Professionals, Performance, and Power. Toronto: University of Toronto Press, 2016.

[Dobrenko, Naiman 2002] — *Dobrenko E., Naiman E.* The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space. Seattle, 2002.

[Dunham 1976] — *Dunham V.* In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. Durham: Duke UP, 1976.

[Eastman 1934] — *Eastman M.* Artists in Uniform: A Study of Literature and Bureaucratism. New York: A.A. Knopf, 1934.

[Engerman 2010] — *Engerman D.* Know Your Enemy: The Rise and Fall of America's Soviet. Oxford: OUP, 2010.

[Ermolaev 1963] — *Ermolaev H.* Soviet Literary Theories 1917—1934: The Genesis of Socialist Realism. Berkeley: University of California Press, 1963.

[Fairclough 2016] — *Fairclough P.* Classics for the Masses Shaping Soviet Musical Identity under Lenin and Stalin. London: Yale UP, 2016.

[Fitzpatrick 1999] — *Fitzpatrick S.* Stalinism: New Directions. London: Routledge, 1999.

[Fridberg 1962] — *Fridberg M.* Russian Classics in Soviet Jackets. New York: Columbia UP, 1962.

[Frolova-Walker 2016] — *Frolova-Walker M.* Stalin's Music Prize: Soviet Culture and Politics. London: Yale UP, 2016.

[Golomstock 1990] — *Golomstock I.* Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy, and the People's Republic of China. London: Collins Harvill, 1990.

[Gorham 2003] — *Gorham M.* Speaking in Soviet Tongues: Language Culture and the Politics of Voice in Revolutionary Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2003.

[Gronow 2003] — *Gronow J.* Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the Good Life in Stalin's Russia. London: Bloomsbury, 2003.

[Groys 1988] — *Groys B.* Gesamtkunstwerk Stalin. München; Wien: Hanser Verlag, 1988.

[Gutkin 1999] — *Gutkin I.* The Cultural Origins of the Socialist Realist Aesthetic, 1890—1934. Evanston: Northwestern UP, 1999.

[Günther 1984] — *Günther H.* Die Verstaatlichung der Literatur. Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch-realistischen Kanons in der sowjetischen Literatur der 30er Jahre. Stuttgart: Metzler, 1984.

[Günther 1993] — *Günther H.* Der sozialistische Übermensch. M. Gor'kij und der sowjetische Heldenmythos. Stuttgart: Metzler, 1993.

[Halfin 2003] — *Halfin I.* Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge, MA: Harvard UP, 2003.

[Halfin 2009] — *Halfin I.* Stalinist Confessions: Messianism and Terror at the Leningrad Communist University. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.

[Hatherley 2015] — *Hatherley O.* Landscapes of Communism: A History through Buildings. London: Allen Lane, 2015.

[Hellbeck 2009] — *Hellbeck J.* Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, MA: Harvard UP, 2009.

[Hoffmann 2003] — *Hoffmann D.* Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917—1941. Ithaca, NY: Cornell UP, 2003.

[Hoffmann 2011] — *Hoffmann D.* Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914—1939. Ithaca, NY: Cornell UP, 2011.

[Hudson 2015] — *Hudson H.* Blueprints and Blood: The Stalinization of Soviet Architecture, 1917—1937. Princeton, NJ: Princeton UP, 2015.

[Intimacy and Terror… 1995] — Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930's / Ed. by V. Garros, T. Lahusen, N. Korenevskaya. New York: New Press, 1995.

[Kaganovsky 2008] — *Kaganovsky L.* How the Soviet Man Was Unmade. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2008.

[Kelly 2008] — *Kelly C.* Children's World: Growing Up in Russia, 1890—1991. London: Yale UP, 2008.

[Kenez 1992] — *Kenez P.* Cinema and Soviet Society: From the Revolution to the Death of Stalin. Cambridge: CUP, 1992.

[Kershow 2001] — *Kershow I.* The "Hitler Myth": Image and Reality in the Third Reich. Oxford: OUP, 2001.

[Kotkin 1997] — *Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1997.

[Kucher 2007] — *Kucher K.* Der Gorki-Park: Freizeitkultur Im Stalinismus 1928—1941. Cologne: Bohlau, 2007.

[Lahusen 2002] — *Lahusen T.* How Life Writes the Book: Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia. Ithaca, NY: Cornell UP, 2002.

[Mangan 1999] — *Mangan J.A.* Shaping the Superman: Fascist Body as Political Icon — Aryan Fascism. London: Routedge, 1999.

[Michaud 1996] — *Michaud E.* Un art de l'éternité. L'image et le temps du national-socialisme. Paris: Gallimard, 1996.

[Neuberger 2019] — *Neuberger J.* This Thing of Darkness: Eisenstein's Ivan the Terrible in Stalin's Russia. Ithaca, NY: Cornell UP, 2019.

[Nietzsche and Soviet Culture… 1995] — Nietzsche and Soviet Culture: Ally and Adversary / Ed. by B. Rosenthal. Cambridge: CUP, 1995.

[O'Mahoni 2006] — *O'Mahoni M.* Sport in the USSR: Physical Culture — Visual Culture. London: Reaktion Books, 2006.

[Paperno 2011] — *Paperno I.* Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams. Ithaca, NY: Cornell UP, 2011.

[Perrie 2001] — *Perrie M.* The Cult of Ivan the Terrible in Stalin's Russia. London: Palgrave Macmillan, 2001.

[Petrone 2000] — *Petrone K.* Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington: Indiana UP, 2000.

[Piretto 2001] — *Piretto G.* Il radioso avvenire: mitologie culturali sovietiche. Torino: Einaudi, 2001.

[Piretto 2009] — *Piretto G.* Gli occhi di Stalin: la cultura visuale sovietica nell'era staliniana. Milano: Cortina Raffaello, 2009.

[Plamper 2012] — *Plamper J.* The Stalin Cult: A Study in the Alchemy of Power. New Haven: Yale UP, 2012.

[Platt 2011] — *Platt K.* Terror and Greatness: Ivan and Peter as Russian Myths. Ithaca, NY: Cornell UP, 2011.

[Rancour-Laferriere 1988] — *Rancour-Laferriere D.* The Mind of Stalin: A Psychoanalytic Study. Ann Arbor: Ardis, 1988.

[Robin 1986] — *Robin R.* Le Réalisme socialiste: Une esthétique impossible. Paris: Payot, 1986.

[Rosenthal 2002] — *Rosenthal B.* New Myth, New World: From Nietzsche to Stalinism. University Park, PA: Penn State UP, 2002.

[Ruder 1998] — *Ruder C.* Making History for Stalin: The Story of the Belomor Canal. Gainesville: University Press of Florida, 1998.

[Ruder 2018] — *Ruder C.* Building Stalinism: The Moscow Canal and the Creation of Soviet Space. London: I.B. Tauris, 2018.

[Rusnock 2010] — *Rusnock A.* Socialist Realist Painting During the Stalinist Era (1934—1941). Lewiston: The Edwen Mellen Press, 2010.

[Schnapp 1996] — *Schnapp J.* Staging Fascism: 18 BL and the Theater of Masses for Masses. Stanford: Stanford UP, 1996.

[Schlögel 2008] — *Schlögel K.* Terror und Traum. Moskau 1937. München: Hanser, 2008.

[Slezkine 2017] — *Slezkine Yu.* The House of Government: A Saga of the Russian Revolution. Princeton, NJ: Princeton UP, 2017.

[Slonim 1964] — *Slonim M.* Soviet Russian Literature: Writers and Problems: Writers and Problems, 1917—67. Oxford: OUP, 1964.

[Socialist Realism… 1997] — Socialist Realism without Shores / Ed. by T. Lahusen, E. Dobrenko. Durham, NC: Duke UP, 1997.

[Socialist Realism… 2018] — Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures under Stalin: Institutions, Dynamics, Discourses / Ed. by E. Dobrenko, N. Skradol. London: Anthem Press, 2018.

[Soviet Music and Society 2004] — Soviet Music and Society under Lenin and Stalin: The Baton and Sickle / Ed. by N. Edmunds. London: Routledge, 2004.

[Spackman 1996] — *Spackman B.* Fascist Virilities: Rhetoric, Ideology, and Social Fantasy in Italy. Minneapolis: Minnesota UP, 1996.

[Spring, Taylor 1993] — *Spring D., Taylor R.* Stalinism and Soviet Cinema. London: Routledge, 1993.

[Stites 1992] — *Stites R.* Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. Cambridge: CUP, 1992.

[Stites 1995] — *Stites R.* Culture and Entertainment in Wartime Russia. Bloomington: Indiana UP, 1995.

[The Culture of the Stalin Period 1990]— The Culture of the Stalin Period / Ed. by H. Günther. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1990.

[Theweleit 1977—1978] — *Theweleit K.* Männerphantasien. 2 Bände. Stroemfeld Frankfurt am Main Basel: Verlag Roter Stern, 1977—1978.

[Tomoff 2006] — *Tomoff K.* Creative Union: The Professional Organization of Soviet Composers, 1939—1953. Ithaca, NY: Cornell UP, 2006.

[Tomoff 2015] — *Tomoff K.* Virtuosi Abroad: Soviet Music and Imperial Competition during the Early Cold War, 1945—1958. Ithaca, NY: Cornell UP, 2015.

[Through the Glass of Soviet Literature 1953] — Through the Glass of Soviet Literature: Views of Russian Society / Ed. by E. Simmons. New York: Columbia UP, 1953.

[Tumarkin 1983] — *Tumarkin N.* Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge, Mass: Harvard UP, 1983.

[Tumarkin 1995] — *Tumarkin N.* The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia. Basic Books, 1995.

[Widdis 2003] — *Widdis E.* Visions of a New Land: Soviet Film from the Revolution to the Second World War. London: Yale UP, 2003.

[Zubovich 2020] — *Zubovich K.* Moscow Monumental: Soviet Skyscrapers and Urban Life in Stalin's Capital. Princeton, NJ: Princeton UP, 2020.

Елена Трубина

Тридцать лет академической урбанистики в постсоветской России:

МЕЖДУ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ И ПРИКЛАДНЫМ[1]

Elena Trubina

Thirty Years of Academic Urban studies in the Post-Soviet Russia:
Between the Fundamental and the Applied

Елена Трубина (Уральский федеральный университет, Центр глобального урбанизма, директор; Университет Северной Каролины в Чэпел-Хилл, Центр славистских, евразийских и восточно-европейских исследований, исследователь; Тюменский государственный университет, лаборатория междисциплинарных исследований пространства, исследователь; PhD) elena.trubina@gmail.com.

Ключевые слова: урбанистика, неолиберальный университет, магистратура, социальная мобильность

УДК: 378.4+ 304.44
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_125

Город постоянно напоминает нам о том, что могло бы быть, но чего нет, — пишет городской антрополог Абдумалик Симон. Эволюция российского урбанистического знания тоже включает множество историй незавершенных трансформаций. Пережив слом эпох, сегодня целый ряд исследовательских групп и харизматичных экспертов и активистов продолжает дело, начатое десятилетия назад Глазычевым и Высоковским, Коганом и Мееровичем, Раппопортом и Лаппо. Эта работа впечатляет упорством и разнообразием рефлексии городского роста и организации научных центров и магистратур. Промежуточным результатом этой эволюции является то, что «город» — в разных его модусах — вызывает неизменный интерес и используется для создания все новых междисциплинарных образований и образовательных проектов. В своей статье я обращусь к попыткам коллег соединить «гуманитарное» (историю) и «социальное» (география и социология), создавая на пересечении этих полей знания образовательные программы и научные

Elena Trubina (PhD; Professor, Center for Global Urbanism, Ural Federal University; Research Fellow, The Center for Slavic, Eurasian and East European Studies, University of North Carolina at Chapel Hill; Research Fellow, Laboratory of Interdisciplinary Space Studies, Tyumen State University) elena.trubina@gmail.com.

Key words: urban studies, neoliberal university, master's program, social mobility

UDC: 378.4+304.44
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_125

The city constantly reminds us of what it could be, but what is not, writes urban anthropologist Abdoumaliq Simone. The evolution of Russian urban knowledge also includes many stories of unfinished transformations. Having survived the transition years, today a number of research groups, research centers, MA programs, experts and activists continue the work begun decades ago by Glazychev and Vysokovsky, Kogan and Meerovich, Rappoport and Lappo. This work is impressive in its persistence and diversity of reflection on urban growth and other processes. The intermediate result of this evolution is that the "city" — in its different modalities — is of continuing interest and is used to create ever new interdisciplinary formations and educational projects. I will address the colleagues' attempts to combine humanities (history) and social sciences (geography and sociology), creating educational programs and research projects with "city" at their intersection, in particular the MA programs in historic urban studies. The experience of such programs prompts us to address the problem of the high value of applied knowledge in the eyes of education organizers, grant

1 Статья написана в рамках выполнения грантового проекта при поддержке РНФ (№ 22-18-00679) (https://www.rscf.ru/project/22-18-00679/) и гранта Правительства РФ (проект № 075-15-2021-611) «Человек в меняющемся пространстве Урала и Сибири».

проекты с «городом» в их центре, в частности проекты по исторической урбанистике. Опыт работы в таких программах побуждает обратиться к проблеме высокой ценности прикладного знания и в глазах организаторов образования, и в глазах грантосоискателей, и в глазах студентов. Проведя ряд параллелей между состоянием академической урбанистики на Западе и в России, я покажу, что в новых таксономиях успеха и в условиях нарастающей конкуренции высоко ценится знание, сулящее прагматическую эффективность, а обещающие его создать игроки получают больше шансов продолжать осмысленную деятельность. Я рассмотрю, к чему именно «прикладывается» знание о городе и какие коллизии возникают в ходе интенсификации процессов этого приложения.

seekers, and students alike. Drawing a number of parallels between the state of academic urbanism in the West and in Russia, I will show that in the new taxonomies of success and in the face of increasing competition, knowledge that promises pragmatic efficiency is highly valued, and players who promise to create it have a greater chance of continuing with meaningful (and funded) activities. I will consider what exactly knowledge about the city is applied to and what conflicts arise as the demands for making urban knowledge useful intensify.

Организация университетского урбанистического преподавания и исследования в России осуществлялась в особое время. Человечество недавно пережило переломный момент: сейчас впервые в истории большинство людей живет в городах. Трудно понять, что именно делать с этим демографическим фактом, и трудно понять, почему так мало внимания было уделено этой точке в развитии человечества. Но «городское состояние», «городские» жизнь, культура или опыт — это то, что вызывает сильный интерес, и это нечто гораздо более существенное, чем количественный демографический переломный момент. Призывы интернационализировать городские исследования на Западе раздаются давно, и самое интересное в этом научном поле — это попытки бросить вызов имеющимся вариантам осмысления городов, для которых главная модель — типичный европейский или американский город. Так, гости организованной нами в рамках празднования 20-летия издательства «НЛО» в 2012 году «городской» конференции на «Стрелке» (среди них были Харви Молоч, Стив Пайл, Людек Сикора, Каролин Шредер, Наталья Самутина (светлая ей память), Оксана Запорожец, Сергей Иванов) призывали добавить российский городской опыт к мировому посредством создания, скажем, Московской урбанистической школы — в дополнение к школам Чикагской и Лос-Анджелесской. Обе эти школы были школами в нескольких смыслах, наиболее важным из которых, по моему мнению, является тот, что в них транслировали создаваемое профессорами знание и учили его умножать. Сейчас непонятно, в каком времени говорить о сложившихся в России урбанистических научных школах (или их зачатках). Все постсоветское замкнулось в тридцатилетний круг, но в образовании и академической жизни, повторю, много инерции: занятия идут и планы строятся. Момент невероятной неопределенности мне, к примеру, мешает строить анализ чисто интеллектуальных трендов, поэтому мой текст, во-первых, представляет собой рефлексию организационных и институциональных моментов в преподавании и исследовании городов, а во-вторых, по состоянию на осень 2022 года фиксирует «срез» достигнутого (неизбежно неполный). До 24 февраля, готовя критические обзоры положения дел в тех или иных вузах или дисциплинах, мы привычно повторяли «требуется больше исследований на эту тему», но сейчас нет уверенности в том, что

те или другие исследования будут проведены. Вряд ли и жизненный опыт, близкий читателям этого журнала, а также практики и места современных географов, социологов, антропологов будут в скором времени рефлексивно схвачены. Какие профессиональные позиции были доступны и использованы работающими в этом поле специалистами и какие процессы их породили? Как академические урбанисты перемещались между такими субъектными позициями, как автор, активист и преподаватель?

Есть несколько личных и профессиональных причин, по которым эти вопросы мне особенно интересны. Работав на полную ставку в одном вузе и по совместительству еще в нескольких, сравнивая и наблюдая, участвуя в урбанистических конференциях и иных форумах, я задавалась вопросом о природе академической работы, ее эфемерности, ее специфической пространственности и временности, особенно в связи с реальностью «после 24 февраля». До этой вехи эфемерность российской академической работы усиливалась новыми приоритетами, вызванными существенной (и продолжающейся) реструктуризацией учебных заведений. Теоретически рассуждая, одним из способов, каким вузовские работники могли бы изменить ситуацию сверхцентрализованного распределения направляемых на городское развитие ресурсов, могло бы стать преподавание критической городской теории; такое преподавание, снова говоря теоретически, может быть механизмом социальных изменений [Нау 2001].

Упомяну в этой связи две фундаментальных сложности. Во-первых, урбанистика у нас предлагается главным образом в магистратуре. Начинать ей учить нужно с первого курса университета, как это делается в специализированных зарубежных департаментах, с тем чтобы и гуманитарный компонент органично входил в учебный план (та же история городов), и навыки критичности молодежь получала с младых ногтей, слушая своих профессоров, которые пишут критические работы и их на лекциях пересказывают. В вузах за пределами России студенты иногда жалуются на чрезмерный акцент преподавателей на критическом анализе, вплоть до того, что те провозглашают на занятиях, что если все студенты не выйдут с их курса критическими социальными исследователями, они будут считать свою миссию неудавшейся. Это, возможно, крайность, но у нас-то крайность противоположного толка. Если ты пишешь критические тексты о городах, приготовься к тому, что финансирование будет получать весьма сложно. К примеру, в России единственный городской грантовый проект, в котором я была руководителем, был поддержан РГНФ в 2010—2011 годах, хотя разнообразных заявок на гранты было послано десятка два. Вторая сложность — одно из самых драматичных последствий неолиберализации университетов. Несмотря на его предполагаемую важность, преподавание теряет значимость, так как университетские администрации более заинтересованы в исследовательских, а точнее в публикаторских, достижениях вузовских работников. В то же время магистратуры, представляя для администраций финансовую значимость, были для преподавателей хорошей возможностью разработать и прочитать новые курсы.

Мне важно донести до читателя компоненты интеллектуальных и педагогических проектов, задуманных и осуществленных по большей части нестоличными вузовскими преподавателями, с работой которых я знакома. Я вижу ключевой интеллектуальной задачей освещение различных способов, которыми знания и личности тех, кто преподает или проводит исследование,

влияют на их результаты. В идеале участвующее исследование строится на сотрудничестве, которое включает все аспекты исследовательского процесса, от определения исследовательских вопросов до популяризации результатов [Rosen 2021], в данном же случае сотрудничество, иногда мимолетное, послужило поводом написания для этой статьи. Иными словами, ниже я обращусь к тем проектам и текстам, с большинством исполнителей и авторов которых я так или иначе взаимодействовала[2]. Как и у всех проектов, у них есть начало и конец, как есть временные и пространственные пределы собственной включенности. Вначале я сформулирую ключевые посылки своего анализа, затем обращусь к моему центральному кейсу — магистратуре по исторической урбанистике в Тюменском государственном университете, освещу место пишущих о городах и о городском и «просто» пространстве российских ученых в глобальной журнальной индустрии, коснусь работ авторов, которые, по-моему, составляют лицо российского урбанистического знания, и намечу некоторые итоги.

До и после 24 февраля

В своем понимании того, как шло и как идет преподавание урбанистики (наряду с урбанистическими исследованиями) в вузах России, я исхожу из четырех посылок. Во-первых, преподаваемые в вузах теория и история городов часто масштабны и абстрактны [Баканов 2013], а «приложить» их требуется к конкретным городам и конкретным профессиональным траекториям; во-вторых, история нестоличных образовательных и научных инициатив недостаточно описана, и часть своей задачи я вижу в том, чтобы привлечь к ней внимание. В-третьих, эта моя «сумма» неизбежно субъективна и строится, повторю, на моих контактах, сетях, опыте работы, попытках самой что-то организовать и провести. В-четвертых, хотя 24 февраля 2022 года многое в российской университетской жизни навсегда поменялось, она продолжается: диссертации надо дописать и защитить, за гранты — отчитаться, а учеба и работа в российском вузе может быть для многих молодых людей временным выходом в условиях нулевой социальной мобильности и ненулевой мобилизации.

Понимая под академической урбанистикой ту, которая сложилась и воспроизводится в вузах, отражается в академических же публикациях и ищет связь между университетами и урбанистическим знанием, я хочу подчеркнуть еще два момента. Во-первых, академическая урбанистика и то специфическое знание (часто неявное), которое задействовано в принятии решений девелоперами и чиновниками, сосуществуют почти без соприкосновения. Приглашенные, к примеру, на Урбанфорум звезды мировой науки о городах, составляют скорее декорум, призванный придать престиж этому собранию представителей властей и застройщиков. Во-вторых, следует подчеркнуть проницаемость границ между академической урбанистикой и публичными образовательными

2 Большое спасибо организаторам конференций и иных событий, где я со многими познакомилась: Ирине Нам, Кириллу Кобрину, Михаилу Лурье, Галине Янковской, Любови Фадеевой, Михаилу Рожанскому, Андрею Кабацкову, Илье Калинину, Василию Аузану, Софье Гавриловой, Михаилу Мальцеву и Денису Корнеевскому, Владимиру Козлову, Софье Мокрушиной, Ирине Кузнецовой, Карин Клеман и многим, многим другим.

программами (edutainment) — сотнями лекций о городской проблематике, записанных создателями разнообразных лекториев и прочитанных в центре «Смена» в Казани и в Ельцин-центре, на КРЯКК и «Нон-фикшн» и во множестве других институций. Кроме того, есть несколько значимых урбанистических просветителей, которые по разным причинам не работают в стандартных вузах (или их недавно покинули), к примеру социолог Петр Иванов (Москва — Красноярск) преподает в Свободном университете. Политолог Дмитрий Москвин — городской активист и популярный в Екатеринбурге гид, благодаря которому движение городских экскурсоводов пополнилось десятками членов, а их экскурсии всегда собирают публику. Там же, в Екатеринбурге, искусствовед Елена Ваулина работает экскурсоводом в конструктивисткой Белой башне, собирая средства на поддержание башни в пригодном для экскурсий состоянии. Политолог Всеволод Бедерсон организовал в Перми множество публичных событий. Социолог Марья Леонтьева в Казани занята поисками идентичности столицы Татарстана. Социолог Елена Коркина координирует проект «Город иначе» в Иркутске. В Томске историк искусства Екатерина Кирсанова — краевед, градозащитник, куратор выставочных проектов, автор телевизионных циклов об истории города и также экскурсовод. Начальник отдела творческих проектов ГЦСИ в Нижнем Новгороде Александр Курицын среди прочих вел проект «Нижний Новгород: попытка современного описания (Арсенал / НЛО. Серия исследовательских резиденций)».

Поскольку в популяризации урбанистики я тоже принимала участие, поясню и лично свою позицию. Мой взгляд на развитие междисциплинарного поля преподавания и исследования «города» в России и ретроспективен, и сиюминутен, то есть я пытаюсь писать, оглядываясь назад, фиксируя при этом изменения «после 24 февраля». М. Фуко называл интеллектуалов «журналистами для себя самих», считая «озабоченность современностью» характерной чертой этой профессиональной группы, которая стремится «понять, что происходит в настоящий момент, что мы делаем, каковы властные отношения, пронизывающие нас без нашего ведома» [Фуко 2013: 22]. После выхода в свет моей книги «Город в теории» (2010), написанной по итогам лекционных курсов, прочитанных в УрФУ, Европейском гуманитарном университете (Вильнюс — Минск), Университете Тампере и т.д., летних школ и множества конференций я включилась в бум вокруг урбанистики, пришедшийся в России на 2010-е годы. Проявлениями этого бума были создание в НИУ ВШЭ (Москва) Высшей школы урбанистики (которая теперь носит имя ее основателя А.А. Высоковского) и ее научного журнала «Городские исследования и практики»; деятельность в столице Сергея Капкова; феномен парка Горького; работа института «Стрелка» и центра городских исследований бизнес-школы «Сколково» под руководством Ксении Мокрушиной (теперь возглавляющей один из отделов мэрии Бостона); онлайн-журнал «Урбан-Урбан», сделанный Егором Коробейниковым; серия «Studia Urbanica» НЛО, опубликовавшая не только переводы значимых книг, но и прекрасные сборники работ российских и иных авторов (см., например: [Бредникова, Запорожец 2014]); исследование «Urban Index Russia 2011» (опрос трех сотен экспертов из двенадцати российских миллионников); сотни лекций и круглых столов по всей стране, часть которых прочитала и провела я. Памятны мои интеллектуальные резиденции в Нижнем Новгороде и Кулдиге (Латвия), организованные по инициативе Кирилла Кобрина, что вылились в статьи, опубликованные для широкой российской пуб-

лики в «Неприкосновенном запасе» и других изданиях. С другой стороны, как вузовский работник и исследователь, согласившийся с глобальными правилами игры (publish or perish), я публикую статьи, в основном критические, в зарубежных урбанистических, географических и прочих журналах и вошла в ряд оплачиваемых и неоплачиваемых исследовательских проектов с финскими, немецкими, швейцарскими, американскими, французскими, английскими и т.д. коллегами. Вместе с Мартином Мюллером я создала исследовательский центр (Центр глобального урбанизма), «привезла» многих зарубежных коллег в Россию, и все вместе это создавало ощущение нормального профессионального существования. Мне довелось дискутировать с несколькими московскими (на Урбанфоруме), нижегородскими (на организованной Михаилом Калужским дискуссии в связи с ЧМ-2018) [Trubina 2020a] и екатеринбургскими чиновниками. На крутой перелом российской внутренней и внешней политики в 2014 году я отозвалась статьей под названием «“По-большому”: городская инфраструктура и власть над пространством» [Трубина 2014] (на Youtube есть еще запись моей лекции в Европейском университете на эту тему), на компанию «Моя улица» в Москве — другой статьей [Trubina 2020b], и возможность критически анализировать происходящее в России, в других местах и, конечно, в городской теории была и остается драгоценной. Сдавая настоящую статью в печать осенью 2022 года, я одновременно начинаю новый лекционный курс «Разрушенные и восстановленные города» для архитекторов и планировщиков одного европейского вуза.

Урбанистика и историки (на примере тюменской магистратуры «Историческая урбанистика»)

Популярность городской проблематики достигла своего пика к 2010-м, и редкий вуз в нашей стране не попытался этим воспользоваться. Слово «урбанистика» было пристегнуто к большому числу специальностей, от факультета урбанистики и городского хозяйства Московского политехнического института до «урбаниста-эколога», на которого учат в Дальневосточном федеральным университете, от магистратуры «Управление умным городом» в Санкт-Петербургском университете до многочисленных вариантов «городского развития и управления», предлагаемых в магистратурах по всей стране. Биологи и градостроители, социологи и политологи, экономисты и айтишники попытались воспользоваться популярностью городской проблематики для привлечения студентов. Но нас больше интересуют гуманитарии, а в соединении городского и исторического знания и преподавания особенно активны историки. Среди урбанистических магистратур я бы выделила те, которые попытались соединить историю и урбанистику, то есть гуманитарное и социальное знание. В стране существует шесть магистерских программ по исторической урбанистике, и в одной из них, созданной в Тюменском университете, я читала введение в урбанистику в течение трех лет, так что представляю, как там обстоят дела. Чикагская школа социологии, как мы помним, немало сделала для институционализации дисциплины, а в Тюмени были предприняты усилия по институционализации урбанистики. Там «историческую урбанистику» сделали единственной магистерской программой на истфаке, и тут, конечно, сказался авторитет историка Александра Еманова — автора книг о Кафе-Феодосии

[Еманов 2018] и Тюмени и Таре [Еманов 2021]. Что касается последней, то Еманов расшифровал, прокомментировал и снабдил историческим контекстом старинную рукопись, написанную на старорусском и церковнославянском, о событиях июля — ноября 1634 года, когда на Тару и Тюмень — бывшие земли Орды — совершили набег кочевники. Он занимался историей Чинги-Туры, столицы Сибирского ханства, а также Татаро-Бухарской слободы, где потом стали селиться русские, и эти истории (в сочетании с неизменно популярной риторикой умного города) активно использовались его командой для того, чтобы привлекать интерес к магистерской программе со стороны городских властей и готовить места для практики магистрантов [Белоусова 2019]. Мы помним, что лидеры чикагской урбанистики активно, как говорится, готовили себе научную смену, так и Еманов и его другие старшие коллеги вдохновляют на научные подвиги среднее поколение ученых. Более того, расспрашивая магистрантов, над какими проектами они работают, я с удивлением услышала, что уже с первого месяца учебы была налажена их работа под началом научных руководителей: кто выбрал археологов, кто географов, а кто историков.

Мне кажется, комплекс географических и урбанистических инициатив в Тюменском университете из всех городов страны больше претендует на звание «школы» (в смысле Чикагской). Научные и преподавательские школы в социологии науки определяют по-разному. Ли Харви дает такой перечень их форм: 1) небольшая неформальная подгруппа в департаменте; 2) формализованная подгруппа, также в департаменте, созданная в академических целях; 3) весь департамент; 4) неформальное объединение подгрупп из нескольких департаментов; 5) формальное объединение некоторых членов участвующих департаментов; 6) формальное междисциплинарное и/или междепартаментское объединение; 7) весь колледж; 8) автономная исследовательская организация, прикрепленная к колледжу [Harvey 1987]. Поскольку тюменская магистратура и связанные с ней инициативы сложились совсем недавно (а теперь вообще сложно сказать, что с ней будет, так как не все преподаватели останутся в ней работать), я бы сказала, что второй и четвертый варианты больше всего подходят для описания ее специфики, с той оговоркой, что тюменцы объединили подгруппы из нескольких департаментов нескольких вузов России, включая НИУ ВШЭ (Иван Митин [Митин 2017]) и УрФУ (Константин Бугров [Бугров 2018] и я).

Понятно, что аналогия с Чикагской школой социологии (надеюсь, лестная для тюменских коллег) может показаться весьма натянутой. Но ведь и история данной классической школы сопровождалась попытками максимально разнообразить спектр исследований. Это затрудняло видение общих оснований как изнутри Чикагского университета, так и при взгляде коллег из других вузов со стороны. Ссылок на школу нет даже в трудах самих ее выпускников [Harvey 1987: 259]. Для меня особенно значимо, что как в первой половине XX века авторитет чикагских ученых меркнул по сравнению с влиянием, которое имели их коллеги в Гарварде и Колумбийском университете, так и в недавнем нашем прошлом тюменский истфак, на котором была открыта обсуждаемая магистратура, ассоциации с высокой наукой или со средоточием урбанистического знания вызывал не у всех.

Другой момент, которым Тюменский университет интересен, состоит вот в чем. В нем, как и во многих других, проявляется коммерциализация и деполитизация существования вузов. Сокращение государственного финансирова-

ния оборачивается тем, что за все более широкий спектр дипломов студентам надо платить, и диплом становится товаром (или очень ненадежным обещанием продвижения в карьере). Существуя под давлением нестабильного финансирования, распределяемого между лучшими лоббистами и генераторами инновационных программ, университеты перманентно испытывают кризис и реформируются. Реорганизация осуществляется в форме слияния департаментов в институты, ребрендинга и мобилизации в ответ на приоритеты государства. Университетские преподаватели теперь постоянно участвуют в решении значимых для вузовских администраций задач реорганизации, пытаясь сократить нестабильность своего положения [Ball 2012]. В России нет системы пожизненного найма преподавателей, так что необходимость защищать свои шансы на работу систематически для десятков тысяч людей оборачивается необходимостью поддерживать спускаемые сверху инициативы, приоритеты и способы учета продуктивности.

Есть хорошая книга Джерри Мюллера «Тирания показателей» [Мюллер 2019], в которой он описывает, как государственные учреждения вводят разнообразные KPI, исходя из того что всю работу можно оценить количественно. Многие из нас в недавнем прошлом почувствовали себя поставщиками показателей для университетских администраций, и процесс этот глобальный. Все знают, что в России на смену знаменитой Программе повышения конкурентоспособности (или 5/100) пришел «Приоритет 2030» — новая схема финансирования преподавания и исследований, и для того, чтобы получать финансирование на научные исследования, нужен «взрывной рост показателей» (очень характерный термин), и этот рост легче демонстрировать административно, умножая число научных центров. Осенью прошлого, 2021 года коллеги в Тюмени планировали создать ни много ни мало пять урбанистических научных центров, отдельно по культурным трендам, прикладной урбанистике, исторической географии, урбанистической антропологии и средневековому урбанизму и т.д. В показатели потенциальных работников этих центров — что опять весьма предсказуемо — были включены и «договоры с реальным сектором» в размере 400 тысяч рублей в год, и привлечение новых внешних средств (гранты 1 млн рублей), и публикация Scopus- и WoS-статей к 2025 году[3]. В каждый из этих центров предполагалось взять на работу молодые кадры, и тут вопрос об отсутствии места для академической урбанистики в существующей в России номенклатуре учебных и научных дисциплин встал достаточно остро. Нереалистично ожидать, что начальство разрешит нанимать «неостепененную» молодежь в эти центры, а если это молодежь со степенью, то она уже социализована в какие-то имеющиеся дисциплины, и почему она должна начать писать о «городе» (пусть даже и за хорошую зарплату)? Больше того, «неостепененной» молодежи нужны диссертации, чтобы увеличить свою социальную защищенность (иначе они так и будут кочевать «писателями статей» из проекта в проект, и это еще в лучшем случае), но какие?

Моя «молодежь» в Уральском федеральном университете сталкивается с подобными сложностями: аспиранту никто не мешает провести качественное исследование по городской мобильности и публиковать об этом статьи, но диссертацию он будет защищать, скажем, по «пространству и времени как факто-

3 Приведенные здесь данные основаны на беседе с организаторами этого проекта, в ходе которой мне было предложено возглавить одну из упомянутых лабораторий.

рам и формам социокультурного процесса» (я цитирую здесь ваковский «паспорт специальности» по социальной философии), то есть нужно продолжать *имеющуюся в номенклатуре* дисциплину, упражняясь в привязывании к ней городской проблематики. Иными словами, магистратуру можно закончить по «умному городу», а диссертацию нужно защищать по социологии или истории, и на работу бы лучше устроиться на какой-то факультет, а не во временный грантовый коллектив. Вопреки этим сложностям и нереализованным замыслам в Тюмени сложился замечательный коллектив ученых — это Федор Корандей, Михаил Агапов [Корандей, Агапов 2015], Игорь Стась [Стась 2022] и еще несколько коллег, и до последнего времени в магистерскую программу по исторической урбанистике они ежегодно привлекали по двадцать-тридцать человек.

Чем это соединение истории и урбанистики интересно? Напомню, что ученые Чикагской школы в 20—30-е годы прошлого века использовали авторитет естественных наук для того, чтобы укрепить научную легитимность исследований социальных явлений. Город они сравнивали с живым организмом, на манер лабораторных экспериментов организовали массовые полевые исследования, а главное — на деньги филантропов — наладили опять же массовое написание научных текстов, частично объединенных методологией, рядом понятий и политическими взглядами. А сегодня организация и научной жизни и преподавания отмечена уже не синтезом естественного знания и знания социального (либо попытками максимально приблизить знание социальное и гуманитарное к позитивистским идеалам научности), а присоединением одного — популярного — поля деятельности (и то, что границы его размыты, в данном случае полезно) к другому полю, которому в условиях неолиберализации университетов надо доказывать свою полезность. Социально непрактичное и экономически бесполезное — так мыслится гуманитарное образование в кулуарных разговорах чиновников. Хронически невыгодные гуманитарные науки должны демонстрировать свою значимость, и урбанистика становится способом просигнализировать о привлекательной и для администраторов и для студентов полезности. Обещание возможности приложить полученное знание и успешно предложить на рынке труда диплом магистра-урбаниста — вот чем привлекали эта и другая магистратуры.

Хорошей стороной здесь является то, что «преподаваемые» исследования часто ведутся по месту жительства (я об этом писала и сама много таких провела) и продуцирование научного знания тем самым закрепляется, оседает в конкретных физических местах, материальных объектах и историях, которые мы о них рассказываем. Убедительность и притягательность местного и историй о нем тем самым встраивается в эту подчас весьма грустную грантовую политэкономию.

Тюменцы интересны еще и тем, что как ученые они занимаются тончайшими гуманитарными материями, а как организаторы образования они, возможно вынужденно, наращивают в нем прикладные аспекты. Другие компетенции выходят на передний план, в учебные программы закладывается компонент оценивания компетенций уже не «знаниевый», а «функциональный» (хотя сегодня мы не знаем, что останется от этого «болонского», на компетенциях основанного жаргона, поскольку наращивание суверенитета российского образования идет полным ходом). Предусмотрены практики не в научных учреждениях и университетах, а в организациях, занятых развитием

города, преподавание ряда дисциплин отдано специалистам из компаний, проектирующих городские пространства. Скажем, застройщик «Брусника» хочет понять образ старой заречной стороны, где в позднее Средневековье была Бухарская слобода, и здесь носители специализированной исторической экспертизы получают свой шанс. Между тем магистранты исторической урбанистики вполне реалистично оценивают перспективы «продажи» своих навыков на рынке труда или быстрого обретения известности. Последний свой курс в Тюмени я прочитала прошлой зимой. Я предложила магистрантам для финальных эссе прикладные задания, к примеру такое: «Вы опубликовали несколько статей о креативном сохранении исторического наследия Тюмени, но на Московский урбанистический форум вас по-прежнему не зовут. Как вы думаете почему?» Или такое: «Некий российский фонд недавно заказал российской культурной институции исследование: разработать KPI, то есть способы подсчета влияния культуры в городе на благополучие жителей. Фонд принадлежит одному из олигархов. Сформулируйте, (1) зачем такой заказ от олигарха последовал и (2) смогли бы вы с коллегами такой заказ интересно выполнить».

Эти мысленные эксперименты были предложены, чтобы проверить, до какой степени студенты очарованы типичными урбанистическими мифами («Сделаем везде Барселону»), и я была рада услышать, что особых иллюзий по части взаимодействия с городскими властями или с застройщиками молодые люди не питали. Мой опыт общения с властями и застройщиками весьма ограничен, а на занятиях я слушала тех, кто готов пополнить их ряды, но пытается понять сопряженные с этим риски. Не зря исследователи интересов экспертов указывают на «странную неопределенность современного управленческого разума, разочарование и раздвоение сознания его практиков и алхимию уверенности и двойственности» [Kennedy 2016: 286].

В Тюмень приехали учиться молодые люди из разных мест, и учеба в магистратуре познакомила их не только с тюменскими преподавателями. Межвузовские и международные партнерства и в целом вопрос о том, насколько российские исследователи городского пространства вошли в международную науку, составят следующую часть моего краткого обзора.

Межстрановые аффилиации: российские исследователи городского пространства и международная наука

Пытаясь понять, как изменилось место не только российских, но всех постсоциалистических ученых в глобальном академическом разделении труда, мы с коллегами (Надей Имхоф, Мартином Мюллером, Дато Гогишвили) провели масштабное исследование [Trubina et al. 2020] о том, как ученые из постсоциалистических стран Глобального Востока вошли как авторы (но не только) в международные географические журналы. Представленные ниже абзацы представляют краткий итог этого коллективного исследования. Мы использовали страну институциональной принадлежности в качестве косвенного признака для отнесения ученых к тем или иным группам. Инициировав концептуальное движение под названием «Глобальный Восток» [Mueller, Trubina 2020; Мюллер 2020; Трубина 2020], в отличие от других исследователей геополитики академических изданий, которые сравнивают англоязычных и не-

англоязычных авторов, мы выделили в отдельную группу этот мировой регион. К «Востоку» относятся 30 постсоциалистических стран: Вышеградская группа (Чешская Республика, Венгрия, Польша, Словакия); государства — преемники Югославии (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Хорватия, Косово, Черногория и Северная Македония); (другие) балканские государства (Румыния, Болгария, Албания); 15 государств — преемников Советского Союза; и Монголия. На основе лонгитюдной базы данных, включающей сведения о редакторах, членах редколлегий и авторов 22 ведущих англоязычных географических журналов с момента распада Советского Союза в 1991 году, в статье показано, как число авторов из постсоциалистических стран, в частности из новых стран — членов ЕС, выросло почти в семь раз с 1990-х годов (это самые высокие темпы роста среди всех регионов мира). Однако их представленность в качестве редакторов и членов редколлегий значительно слабее. В первый рассмотренный нами период (1991—1999) российские авторы *лидировали* среди всех постсоветских государств, но потом это лидерство потеряли. Подчеркну также, что мы рассматривали и урбанистические и общегеографические журналы. Две трети всех публикующихся по-английски авторов (на протяжении всех тридцати лет) — из Чехии, Венгрии, Польши, Словакии. Лидерами (из всех постсоциалистических стран) являются Чехия и Польша, а из всех постсоветских — Эстония. К 2017 году в международных журналах ежегодно публиковалось до пятидесяти чешских и польских ученых, до или около двадцати эстонских, венгерских и румынских, до двенадцати словацких и лишь около десяти российских авторов.

Статья стала частью эпистемологических дискуссий о маргинальной роли постсоциалистического Глобального Востока в «геополитике знаний» (и можно было бы сделать отдельную статью о причинах маргинальной роли изучающих города и в целом пространство российских ученых даже *внутри* группы своих постсоциалистических коллег). Да и о российских городах нашими и «ненашими» авторами написано крайне недостаточно. Приведу такой пример. В 2003 году я пыталась помочь немецкой приятельнице с доступом к начальству московских стадионов. Она делала книгу о стадионах мира и их экономике. Очень быстро мы с ней услышали дружеский совет: «Девочки, хотите жить — найдите другую тему!» Книгу приятельница все же сделала [Steets, Frank 2010], просто там нет главы о Москве. А вот главы о стадионах Руанды и Ирана есть.

Есть миллиарды, которые тратятся на Урбанфорумы и иные способы «продвижения» позитивного образа столицы. Но мало серьезных глав и статей об экономике и политике современных российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, во многих зарубежных урбанистических сборниках и журналах. Есть хорошая книга Ольги Шевченко о кризисе и повседневности в Москве [Shevchenko 2009], но со времени ее выхода прошло больше десяти лет. На дворе другие кризисы — и какие! Поиск по зарубежным журнальным базам данных дает лишь считаные статьи о Москве после 2010-го, не говоря уже после 2014 года (я перечислю их ниже). В России есть, конечно, ряд людей, отлично работающих на современном материале, но они разрознены. Сложно получить финансовую поддержку исследований тех же стадионов, мегасобытий, культурной политики — практически всего, что чревато более или менее критическим анализом городской современности (и городских властей). Именно современности. Столицы империи — пожалуйста; умные города — конечно:

очень популярная у начальников тема. Безопасное (и лестное) далекое прошлое, манящее будущее, добротная, впрочем, история разнообразного советского либо стерильное теоретизирование вне времени.

Работая над анализом представленности постсоциалистических ученых в глобальных журналах, мы пришли к выводу о том, что поскольку, несмотря на постоянные проблемы, ученые из постсоциалистического Глобального Востока становятся все более заметными на международном уровне, то сейчас самое время сформулировать коллективный эпистемологический проект. Мы начали добиваться большей роли в переопределении условий и форм нашего участия, при этом не забывая, что никакие концептуальные инновации, ожидаемые от ученых региона, не смогут компенсировать отсутствие критического осмысления сложных политических вопросов, присущих все более неолиберализованному производству академического знания. В статье и на конференциях, где мы представляли этот проект, мы призывали коллег активнее читать статьи друг друга и активнее цитировать друг друга же, а не только англоязычных классиков. В кулуарах же мы все друг другу признавались, что именно цитирование известных западных авторов и работа с их аргументами многим из нас и открыла дорогу на международный публикаторский рынок. Люди также сетовали, что даже внутри своих стран ученые плохо представляют, чем занимаются коллеги в других вузах, ссылаясь и на плохое качество библиографических баз, и на упомянутую выше ориентацию не на своих авторов, а на западных.

Когда мы работали над этим проектом, то также столкнулись с такой трудностью: куда относить авторов родом из Софии или Москвы, которые давно или недавно переехали за рубеж, но продолжают изучать города и процессы в постсоциалистическом регионе? Для нас они были позитивным примером «пробившихся», в данном случае воспользовавшись условиями западной академии (далеко не всегда идеальными) и привнесших академические традиции вузов, в которых учились в аспирантуре и работали, в изучение российского материала.

Одними из первых с российской городской современностью продуктивно стали работать сын московского географа Юрия Голубчикова английский ученый Олег Голубчиков и его коллега Анна Бадьина [Badyina, Golubchikov 2005], проницательно разобравшие финансовые и административные механизмы образования московской Золотой мили на основе теории джентрификации. Авторы вместе с географом из МГУ Аллой Махровой затем обратились к более общему анализу неравномерности российского городского и пространственного развития [Badyina, Golubchikov 2014]. Эту неравномерность они увязывают с возникновением в России неолиберального режима, то есть в избирательном направлении федеральных инвестиций в конкретные города или их отдельные районы или проекты и отсутствием на федеральном уровне четко сформулированной городской стратегии. Еще одно «трио» (немецкий урбанист Даниэла Зупан, американский географ Вера Смирнова и американский специалист по компаративной политической экономии Аманда Задорян) развили понятие «столичной практики» для демонстрации того, как в сверхцентрализованном государстве после начала затяжного экономического кризиса в 2014 году региональные элиты конкурировали за символические, а не финансовые ресурсы для реализации политики. Они показали, как центральные власти инструментализируют опыт Москвы, представляя его как ресурс,

доступный регионам. На примере программы реновации жилищного фонда в Москве и ее расширения в масштабе страны побуждение регионов подражать столице проанализировано авторами как создание видимости добровольности, в действительности только усиливающее зависимость городов и регионов от федерального центра, вынуждая их подчиняться политическим целям развития центра и делая городское развитие способом их реализации [Zupan et al. 2021]. Исследователь из Университета Хельсинки Анна Желнина разобрала московскую компанию под углом зрения процессов политической мобилизации [Zhelnina 2021], внеся в имеющиеся исследования мобилизации важный акцент на взаимодействиях и частных жизненных стратегиях и показав, что ряд жителей были политически мобилизованы в результате совпадения или конфликта между их частными жизненными и жилищными стратегиями и программой реновации. Аспирантка Института европейских урбанистических исследований в Баухаус-Веймар Дарья Волкова критически рассмотрела логику коммуникации органов власти с обществом и выявила в ней две тенденции: успешно отчитаться и выставить себя главным героем всего достигнутого. Обезличенные горожане призваны — в отчетах и массмедиа — подтверждать правильность и успешность всех принятых решений [Волкова 2021]. Противоречия реализации московской модели реновации продемонстрировал другой международный коллектив, включивший берлинского урбаниста Матиаса Бернта, директора Центра прикладных исследований Европейского университета Олега Паченкова, аспирантку CUNY Ирину Широбокову и санкт-петербургского антрополога Екатерину Кораблеву [Korableva et al. 2021]. Они показали, что реализованный в России вариант приватизации обернулся фрагментарными вариантами собственности, что помешало внедрить «экстремальные» модели регенерации больших жилых массивов. Однако, несмотря на неудачу этой политики, городская администрация Санкт-Петербурга стремится внедрять московскую модель, которая ограничивает право вето домовладельцев, допускает большие расстояния при переселении жителей и сориентирована на сверхприбыли застройщиков без предоставления льгот широким слоям населения.

Отличный дуэт миланского планировщика Елены Батуновой и работающей сейчас в проекте в Оксфорде Марии Гунко специализируется на убывающих городах. Настаивая на неизбежности этой тенденции и проанализировав содержания генеральных планов более чем ста городов, а также проведя интервью, ученые констатируют отсутствие у местных властей способности к стратегическому долгосрочному мышлению и пониманию связей между местными и более масштабными процессами. Их вывод решителен: «...бессмысленно принимать стратегии, ориентированные на рост, призывающие к поиску новых подходов, чтобы сбалансировать потребность в улучшении текущих условий жизни с уменьшением спроса на жилье и инфраструктуры в будущем» [Batunova, Gunko 2018: 1593]. Малыми и моногородами занимаются исследователи Наталья Веселкова и Елена Прямикова (над этой же темой с ними работал преждевременно умерший Михаил Вандышев). В центре их внимания масштабы социальной памяти, то есть механизмы приписывания местам разного смыслового веса и значимости (к примеру, индивидуальной, локальной или глобальной значимости) и возможности межпоколенческой трансляции памяти жителей новых и старых промышленных городов [Веселкова и др. 2016]. Понятие региональной памяти использует художник и географ со сложной аффилиацией Софья Гаврилова для освещения роли, которую играют крае-

ведческие музеи в сохранении сложной памяти, в том числе памяти о ГУЛАГе [Gavrilova 2021].

После 24 февраля с уверенностью хоть о чьей-то аффилиации и месте жительства говорить невозможно, но мне хочется все же дать краткое описание узлов той сети вузовских преподавателей, которые в разных городах страны что-то «о городе» сделали и написали. Эти узлы — города: российские урбанисты чаще пишут о своих или географически близких городах. Начну с Востока России. В Хабаровске я хочу выделить дуэт Натальи Рыжовой (теперь работает в Праге) и Татьяны Журавской, которым интересно, как возросшая транснациональная мобильность повлияла на процессы урбанизации в городах и на самопонимание граждан. Мобильный образ жизни мигрантов и иных живущих между несколькими странами людей и создает городские пространства и проблематизирует представления о себе и других. Осуществив длительное полевое исследование в «городах-близнецах» на противоположных берегах Амура Благовещенске и Хэйхэ, авторы проницательно (и пророчески с учетом драматичных идеологических коллизий 2022 года) зафиксировали, как наплыв китайцев после 2014 года неумолимо откорректировал националистические иллюзии россиян. Он перевернул «условную геополитическую иерархию»: «вера в свое превосходство как представителей «великой державы» не иссякла не только в 1990-е, но и в 2000-е, когда изменения по ту сторону границы уже невозможно было игнорировать. Пока кризис 2014-го вдруг не изменил направление турпотока, пока в шоп-туры вдруг не поехали в Россию туристы из Поднебесной…» [Рыжова, Журавская 2021: 201].

Улан-Удэ прочно нанесли на карту городских исследований Николай Карбаинов (теперь в Санкт-Петербурге) и Анатолий Бреславский. Николай Карбаинов сочувственно описал «нахаловки» — незаконные поселения, возведенные на окраинах столицы Бурятии в 1990-х годах главным образом сельскими бурятами. Администрации города оказалось не под силу справиться с низовой самоорганизацией граждан [Карбаинов 2005]. Показательна смена тематики в разговорах о городе после наступления 2000-х, ее условно можно обозначить так: от внимания к городским конфликтам и борьбе граждан за свои права — к разнообразно понимаемому «брендингу». Один из образов Улан-Удэ в книге Анатолия Бреславского — «город с азиатской душой». Ученый продумывает возможности привлечения в город туристов и умножения образов, которые могли бы сделать Улан-Удэ более привлекательным. Опираясь на идеи советского архитектора города Л.К. Минерта, Бреславский предлагает активнее мыслить город как фронтир между степью и тайгой и как место слияния рек Уды и Селенги, берега которых, увы, загромождены промзонами [Бреславский 2012].

В Иркутске есть целая плеяда пишущих о городах авторов. Архитектор Марк Меерович (увы, скончавшийся несколько лет назад) оставил десятки замечательных книг, из которых самой значимой мне кажется та, что посвящена истории жилищного вопроса в СССР [Меерович 2004]. Власть, несколько десятилетий изощрявшаяся в порождении и поддержании темных людских страстей на почве жилищного вопроса, к началу перестройки в одной лишь Москве умудрилась оставить около миллиона людей в коммуналках и прочем недотягивающем до ее же провозглашенных стандартов жилья. Виктор Дятлов и Константин Григоричев сделали интересную коллективную монографию о этнических рынках в России [Дятлов, Григоричев 2015]. Михаил Рожанский организовал кол-

лектив иркутского ЦНСИ на работу над двумя исследовательскими альманахами, посвященным локальным сообществам региона и им же и адресованным [Рожанский 2002; 2007]. Входившие в этот коллектив авторы много написали о малых сибирских городах, например о Байкальске [Корюхина, Куклина 2019].

Москвичка Надежда Замятина настолько плотно занимается арктической урбанизацией, объездив, кажется, большинство городов Российского Севера, что логично поместить ее в сибирскую фракцию нашего краткого обзора. Сравнив города российской и зарубежной Арктики, она в соавторстве с Русланом Гончаровым сделала типологию развития арктических городов на основании таких критериев, как транспортно-географическое положение, наличие собственного вуза, административный статус, расположение в пределах агломерации более крупного города. К числу «ключевых многофункциональных (университетских) центров» авторами отнесены Мурманск, Архангельск, Анкоридж, Тромсё и другие, где проживает почти половина населения Арктики [Замятина, Гончаров 2020].

Большая работа была проведена коллегами по осмыслению Пермского культурного проекта [Игнатьева, Лысенко 2013]. Редчайшее у нас сравнительное исследование российских городов на примерах Екатеринбурга и Перми сделали политологи Всеволод Бедерсон и Ирина Шевцова, выразительно озаглавив свою статью «Коалиции в обмен на лояльность? Отношения власти и строительного бизнеса в крупных российских городах» [Бедерсон, Шевцова 2020]. Продуктивный взгляд связанных с Пермью социологов и политологов на города отразился в проекте по созданию базы данных о городских конфликтах, их контексте и траекториях давления [Семенов, Минаева 2021]. Конфликты в Нижнем Новгороде интересно рассмотрели Елена Тыканова и Анисья Хохлова [Тыканова, Хохлова 2020].

Тема последствий для городов и граждан изменений климата, активно обсуждаемая в других странах, редко поднимается в России, и самая последовательная ее исследовательница живет в Казани. Полина Ермолаева с коллегами проанализировала освещение экологических вопросов в масс-медиа ряда российских городов и показала, что в нем доминируют проправительственные журналисты, представляющие все проблемы как успешно решаемые властями без широкого вовлечения общественности и игнорируя группы экологического движения [Ermolaeva et al. 2020]. Что касается изучения здоровья граждан и более активного к ним внимания за рубежом, в них участвуют и исследователи со сложной аффилиацией, в том числе американский урбанист Ксения Мокрушина, подготовившая с коллегами сравнительное исследование об управлении общественным здоровьем в техасском округе Харрис и городе Хьюстоне [Fulton et al. 2021].

В Иваново Михаил Тимофеев сплотил многих авторов в созданном им журнале «Лабиринт», а пишущих о городе не раз собирал на значимые конференции, посвященные авангарду, конструктивизму, равнинно-фабричной цивилизации и прочему. Он опубликовал о городе «НЕканонический путеводитель» [Тимофеев 2017] — плод глубокого и незашоренного знания города. В нем нашлось место и конструктивизму, и агиттекстилю, и ЖЭК-арту, и Сортировке, и Иваново деревянному.

Обнинск Галина Орлова с ее командой из ШАГИ исследовали как наукоград и как «город мирного атома», то есть место высокой концентрации НИИ ядерного профиля и специфических производств [Орлова 2017].

Заключение

История или генеалогия городской мысли в России не только за последние десятилетия, но и за два с лишком века — заманчивый проект, для реализации которого потребовалась бы деятельность исследовательского коллектива. От анализа работ областника Григория Потанина, интересно в XIX веке сравнивавшего между собой сибирские города, до деятельности учеников Вячеслава Глазычева, сохранивших архив и организующих конференции в его честь — многое могло бы войти в такую историю.

В предложенной статье на примере академической урбанистики я рассмотрела последствия неолиберализации высшего образования для преподавателей и ученых. Человеческое измерение этого процесса заключается в том, что деятельность и профессиональные отношения работающих в этой междисциплинарной области подчинены процессам «аудита», то есть постоянного измерения производительности академической работы и специфического подсчета результатов проведенных исследований. Статья в престижном журнале стала главным жанром работы, и этому правилу ученые подчиняются повсеместно. Если в других местах они это делают, пытаясь повысить свои шансы на академическом рынке, в России это скорее связано с шансом получить прибавку к скромной зарплате за публикации и необходимостью «отчитаться по гранту». С другой стороны, просматривая коллекции «Elibrary» и журнальные базы в поисках самых представительных текстов знакомых мне авторов, а также проведя дополнительный поиск по большинству российских городов, поиск в надежде найти побольше авторов, я думала, что не только коммерциализацией высшего образования объясняется универсальная сегодня ориентация на статьи как главный вид научной продукции. Их внушительное количество — неплохой критерий авторской состоятельности и представленности в академической урбанистике. Но даже если их всего несколько, вложенные в них труд и упорство — залог того, что автор продолжит писать. Одним из самых сильных моих собственных впечатлений от доведения статьи до публикации являются заочные встречи со щедрыми на советы и идеи и терпеливыми рецензентами. Некоторые из них, посылая тебя на второй и третий круг переделок, руководимы идеальным обликом твоего текста, который для тебя самой остается неведомым, но контраст между первым и последним вариантом статьи бывает очень сильным. Такое проявление требовательной коллегиальности драгоценно.

Приоритеты грантодателей и администраторов особенно значительно проявились в тематике проектов и текстов, в которых преобладает та, что прямо или косвенно легитимирует сложившуюся конфигурацию интересов стейкхолдеров (властей и застройщиков). Кратко разобранные здесь критические тексты главным образом написаны зарубежными авторами либо авторами со сложносоставной аффилиацией. Академическая урбанистика у нас должна была стать полем критического осмысления практики городского развития и должна была ставить под сомнение реализуемую в этом развитии политическую и экономическую логику, но вряд ли эту задачу она выполнила. Давление на людей реформ в университетах в сочетании с нулевой социальной мобильностью привели к тому, что критических и независимых авторов появилось совсем немного.

Как большинство из нас переживают счастливые моменты рождения интересной мысли, воспроизводя рутинные, технические и негламурные академические практики, так и магистранты проходят через болезненное избавление от иллюзий, которые «триумфальные», «позитивные» версии урбанистики успешно в последние десятилетия поддерживали. Этот момент ставит в сложное положение тех из нас, кто открывает урбанистические магистратуры с сильным прикладным компонентом. Мне кажется, обещание интересного трудоустройства, с которым до недавнего времени урбанистика ассоциировалась, ничем в России не подкреплено, и остается неясным, к чему именно можно было приложить полученное знание всем выпускникам таких программ. Возможность остаться в профессии (или профессиях) предполагает и устойчивость по отношению к рутине и соревнование за приличные условия взаимодействия на социальном поле на основе понимания неизбежности поворотов назад, подводных течений, специфики институциональных конфигураций и особых времен (которые, как известно, не выбирают).

Сотрудничая с большим числом западных коллег и общаясь со многими нашими авторами, часть которых — на временных контрактах и меняют работы между городами и странами, видишь, что от ненадежного профессионального и житейского положения их частично защищает хорошее владение аргументами городской теории, которая невероятно разнообразна. Тебя делают профессионалом не аффилиация, не место жительства и не паспорт, но умение построить «кейс» так, чтобы с его помощью найти лакуны даже в сегодняшнем городском знании, которое не оставило без своего внимания все масштабы происходящего — от антропоцена до цыплят на городских фермах, от войн до тюрем, от энергии до сорняков. Транснациональные условия работы проблематизируют «родные» географию, историю и институциональные и профессиональные иерархии. Появляются другие примеры для подражания и ролевые модели, а необходимость объяснить специфику российского кейса зарубежному коллеге-соавтору и анонимным рецензентам, как правило, оборачивается свежим взглядом на до боли знакомое (часто грустным).

Закончу на личной ноте. Набросок упомянутого нового курса лекций о разрушенных городах я послала другу — культурному географу. Этот черновик я написала в апреле 2022 года, и коллега предложил мне подумать о том, что, в отличие от меня, осенью этого года (когда курс будет читаться) восприятие моими европейскими студентами события, поделившего мою и многих жизнь на «до» и «после», будет, скорее всего, спокойным и дистанцированным. Поэтому я должна построить эмоционально уравновешенный курс, в котором руины и разрушения сопоставлены с тем, что *возникает* на их месте. Я должна думать об инструментальных интересах молодых людей, повсеместно озабоченных широко понимаемой продаваемостью полученных в вузе навыков и знаний. Иными словами, уверенная в том, что в вовлеченных в продолжающуюся катастрофу странах мало что в ближайшее время *возникнет*, я должна буду сосредоточиться на происходящем в других местах. Elsewhere — термин, популярный в сегодняшних городских исследованиях [Robinson 2015], и я надеюсь, что другие места, воображаемые и реальные, а также педагогическая ответственность помогут другим и мне перейти от сознания безнадежности к осмыслению напряжения между возможным и невозможным.

Библиография / References

[Баканов 2013] — *Баканов С.А.* «Urban History» и тренды конъюнктуры: опыт количественного изучения глобальной историографии // Историческая информатика. 2014. № 2—3. С. 74—79.

(*Bakanov S.A.* "Urban History" i trendy kon"yunktury: opyt kolichestvennogo izucheniya global'noy istoriografii // Istoricheskaya informatika. 2014. № 2—3. P. 74—79.)

[Белоусова 2019] — *Белоусова В.* В Тюмени появятся специалисты по созданию умных городов // Тюменская область сегодня. 2019. 4 мая (https://tumentoday.ru/2019/05/04/v-tyumeni-poyavyatsya-specialisty-po-sozdaniyu-umnyh-gorodov (дата обращения: 06.07.2022)).

(*Belousova V.* V Tyumeni poyavyatsya spetsialisty po sozdaniyu umnykh gorodov // Tyumenskaya oblast' segodnya. 2019. May 4 (https://tumentoday.ru/2019/05/04/v-tyumeni-poyavyatsya-specialisty-po-sozdaniyu-umnyh-gorodov (accessed: 06.07.2022)).)

[Бедерсон, Шевцова 2020] — *Бедерсон В.Д., Шевцова И.К.* Коалиции в обмен на лояльность? Отношения власти и строительного бизнеса в крупных российских городах. На примерах Перми и Екатеринбурга // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз. 2020. № 4 (99). С. 153—175.

(*Bederson V.D., Shevtsova I.K.* Koalitsii v obmen na loyal'nost'? Otnosheniya vlasti i stroitel'nogo biznesa v krupnykh rossiyskikh gorodakh. Na primerakh Permi i Ekaterinburga // Politiya. Analiz. Khronika. Prognoz. 2020. № 4 (99). P. 153—175.)

[Бредникова, Запорожец 2014] — Микроурбанизм: город в деталях / Под отв. ред. О. Бредниковой, О. Запорожец. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

(Mikrourbanizm: gorod v detalyakh / Ed. by O. Bednikova, O. Zaporozhets. Moscow, 2014.)

[Бреславский 2012] — *Бреславский А.* Постсоветский Улан-Удэ: культурное пространство и образы города (1991—2011 гг.). Улан-Удэ: Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2012.

(*Breslavskij A.* Postsovetskiy Ulan-Ude: kul'turnoe prostranstvo i obrazy goroda (1991—2011 gg.). Ulan-Ude, 2012.)

[Бугров 2018] — *Бугров К.Д.* Соцгорода Большого Урала. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2018.

(*Bugrov K.D.* Sotsgoroda Bol'shogo Urala. Ekaterinburg, 2018.)

[Веселкова и др. 2016] — *Веселкова Н., Вандышев М., Прямикова Е.* Дискурс природы в молодых городах // Социологическое обозрение. 2016. Т. 15. № 1. С. 112—133.

(*Veselkova N., Vandyshev M., Pryamikova E.* Diskurs prirody v molodykh gorodakh // Sociologicheskoe obozrenie. 2016. Vol. 15. № 1. P. 112—133.)

[Волкова 2021] — *Волкова Д.* Человеко-метры, потребители, «правильные» и «неправильные» жители: репрезентация горожанина в дискурсе о новых жилых районах Москвы // Социологическое обозрение. 2021. Т. 20. № 3. С. 215—243.

(*Volkova D.* Cheloveko-metry, potrebiteli, "pravil'nye" i "nepravil'nye" zhiteli: reprezentatsiya gorozhanina v diskurse o novykh zhilykh rayonakh Moskvy // Sotsiologicheskoe obozrenie. 2021. Vol. 20. № 3. P. 215—243.)

[Дятлов, Григоричев 2015] — Этнические рынки в России: пространство торга и место встречи / Под ред. В.И. Дятлова, К.В. Григоричева. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2015.

(Etnicheskiye rynki v Rossii: prostranstvo torga i mesto vstrechi / Ed. by V.I. Dyatlova, K.V. Grigoricheva. Irkutsk, 2015.)

[Еманов 2018] — *Еманов А.Г.* Между Полярной звездой и Полуденным Солнцем. Кафа в мировой торговле XIII—XV вв. М.: Алетейя, 2018.

(*Yemanov A.G.* Mezhdu Polyarnoy zvezdoy i Poludennym Solntsem. Kafa v mirovoy torgovle XIII—XV vv. Moscow, 2018.)

[Еманов 2021] — Повесть о городах Таре и Тюмени / Исслед., публ., пер., коммент. А.Г. Еманова. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2021.

(Povest' o gorodakh Tare i Tyumeni / Ed. by A.G. Yemanov. Tyumen, 2021.)

[Замятина, Гончаров 2020] — *Замятина Н.Ю., Гончаров Р.В.* Арктическая урбанизация: феномен и сравнительный анализ // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2020. № 4. С. 69—82.

(*Zamyatina N.Y., Goncharov R.V.* Arkticheskaya urbanizatsiya: fenomen i sravnitel'nyy analiz // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya. 2020. № 4. C. 69—82)

[Игнатьева, Лысенко 2013] — *Игнатьева О., Лысенко О.* Анализ одного проекта: «Пермская культурная революция» глазами социолога // Лабиринт. 2013. № 5. С. 69—80.

(*Ignat'yeva O., Lysenko O.* Analiz odnogo proekta: "Permskaya kul'turnaya revolyutsiya" glazami sotsiologa // Labirint. 2013. № 5. P. 69—80.)

[Карбаинов 2005] — *Карбаинов Н.И.* «Нахаловки» Улан-Удэ: гражданское общество на взлетной полосе // Отечественные записки. 2005. № 6. С. 192—197.

(*Karbainov N.I.* "Nakhalovki" Ulan-Ude: grazhdanskoe obshchestvo na vzlyotnoy polose // Otechestvennye zapiski. 2005. № 6. P. 192—197.)

[Корандей, Агапов 2015] — *Корандей Ф.С., Агапов М.Г.* «Дрейфующая лакуна» или «история одного поколения»? Образ прошлого тюменских краеведов // Ситуация постфольклора: городские тексты и практики. М.: Форум. 2015. С. 109—125.

(*Korandey F.S., Agapov M.G.* "Dreyfuyushchaya lakuna" ili "istoriya odnogo pokoleniya"? Obraz proshlogo tyumenskikh kraevedov // Situatsiya postfol'klora: gorodskie teksty i praktiki. Moscow, 2015. P. 109—125.)

[Корюхина, Куклина 2019] — *Корюхина И., Куклина В.* Гетеротопии коммодифицированного жилого пространства (случай Байкальска) // Социологическое обозрение. 2019. Т. 18. № 1. С. 36—55.

(*Koryukhina I., Kuklina V.* Geterotopii kommodifitsirovannogo zhilogo prostranstva (sluchay Baykal'ska) // Sotsiologicheskoe obozrenie. 2019. Vol. 18. № 1. P. 36—55.)

[Меерович 2004] — *Меерович М.Г.* Рождение и смерть жилищной кооперации: жилищная политика в СССР 1924—1937 гг. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. техн. ун-та, 2004.

(*Meyerovich M.G.* Rozhdenie i smert' zhilishchnoy kooperatsii: zhilishchnaya politika v SSSR 1924—1937 gg. Irkutsk, 2004.)

[Митин 2017] — *Митин И.И.* Ментальные карты города: история понятия и разнообразие подходов // Городские исследования и практики. 2017. Т. 2. № 3. С. 64—79.

(*Mitin I.I.* Mental'nye karty goroda: istoriya ponyatiya i raznoobrazie podhodov // Gorodskie issledovaniya i praktiki. 2017. Vol. 2. № 3. P. 64—79.)

[Мюллер 2019] — *Мюллер Д.* Тирания показателей / Пер. с англ. В. Ионова. М.: Альпина Паблишер, 2019.

(*Muller J.* The Tyranny of Metrics. Moscow, 2019. — In Russ.)

[Мюллер 2020] — *Мюллер М.* Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Югом // Социологическое обозрение. 2020. № 19 (3). С. 19—43.

(*Myuller M.* Razyskivaya Global'nyy Vostok: myshlenie mezhdu Severom i Yugom // Sotsiologicheskoe obozrenie. 2020. № 19 (3). P. 19—43.)

[Орлова 2017] — *Орлова Г.А.* Город институтов: заметки о ядерной топологии // Социология власти. 2017. Т. 29. № 29. С. 68—103.

(*Orlova G.A.* Gorod institutov: zametki o yadernoy topologii // Sotsiologiya vlasti. 2017. Vol. 29. № 29. P. 68—103.)

[Рожанский 2002] — *Рожанский М.* Байкальская Сибирь. Фрагменты социокультурной карты. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 2002.

(*Rozhanskij M.* Bajkal'skaya Sibir'. Fragmenty sotsiokul'turnoy karty. Irkutsk, 2002.)

[Рожанский 2007] — *Рожанский М.* Байкальская Сибирь. Предисловие 21 века. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2007.

(*Rozhanskij M.* Baykal'skaya Sibir'. Predislovie 21 veka. Irkutsk, 2007.)

[Рыжова, Журавская 2021] — *Рыжова Н., Журавская Т.* Время и пространство в современных исследованиях туризма // Социологическое обозрение. Т. 20. № 2. С. 118—137.

(*Ryzhova N., Zhuravskaya T.* Vremya i prostranstvo v sovremennykh issledovaniyakh turisma // Sotsiologicheskoe obozrenie. Vol. 20. № 2. P. 118—137.)

[Семенов, Минаева 2021] — *Семенов А.В., Минаева Э.Ю.* Города расходящихся улиц: развитие городских конфликтов в России 2010-х гг. // Журнал исследований социальной политики. Т. 19. № 2. С. 189—203.

(*Semenov A.V., Minaeva E.Y.* Goroda raskhodyashchikhsya tropok: razvitie gorodskikh konfliktov v Rossii 2010-h gg. // Zhurnal issledovanii sotsialnoi politiki. Vol. 19. № 2. P. 189—203.)

[Стась 2022] — *Стась И.Н.* Урбанизация в умах: сталинское «право на город», советская субъективность и практики гражданства в Ханты-Мансийске // Антропологический форум. 2022. № 52. С. 85—132.

(*Stas' I.N.* Urbanizatsiya v umakh: stalinskoe "pravo na gorod", sovetskaya sub"ektivnost' i praktiki grazhdanstva v Khanty-Mansiyske // Antropologicheskiy forum. 2022. № 52. P. 85—132.)

[Тимофеев 2017] — *Тимофеев М.* Город красной зари. Иваново. Неканонический путеводитель. Иваново: А-Гриф, 2017.

(*Timofeev M.* Gorod krasnoy zari. Ivanovo. Nekanonicheskiy putevoditel'. Ivanovo, 2017.)

[Трубина 2014] — *Трубина Е.* «По-большому»: городская инфраструктура и власть над пространством // Неприкосновенный запас. 2014. № 2. С. 175—196.

(*Trubina E.* "Po-bol'shomu": gorodskaya infrastruktura i vlast' nad prostranstvom // Neprikosnovennyy zapas. 2014. № 2. P. 175—196.)

[Трубина 2020] — *Трубина Е.* Глобальный Восток и глобус // Социологическое обозрение. 2020. № 19 (3). С. 102—129.

(*Trubina E.* Global'nyy Vostok i globus // Sotsiologicheskoe obozrenie. 2020. № 19 (3). P. 102—129.)

[Тыканова, Хохлова 2020] — *Тыканова Е.В., Хохлова А.М.* Множественные сценарии развития городских локальных конфликтов в Нижнем Новгороде: стратегическая интеракционная перспектива // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов. Сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса (Тюмень, 14—16 октября 2020 г.) / Отв. ред. В.А. Мансуров. М.: РОС; ФНИСЦ РАН, 2020. С. 2774—2785.

(*Tykanova Ye.V., Khokhlova A.M.* Mnozhestvennye stsenarii razvitiya gorodskikh lokal'nykh konfliktov v Nizhnem Novgorode: strategicheskaya interaktsionnaya perspektiva // Sotsiologiya i obshchestvo: traditsii i innovatsii v sotsial'nom razvitii regionov. Sbornik dokladov VI Vserossiyskogo sotsiologicheskogo kongressa (Tyumen', 2020 October 14—16) / Ed. by V.A. Mansurov. Moscow, 2020. P. 2774—2785.)

[Фуко 2013] — *Фуко М.* Мы пытались сформулировать идею интеллектуала, говорящего только исходя из области своего опыта / Пер. с фр. К. Саркисова // Неприкосновенный запас. 2013. № 2. С. 88—90.

(*Foucault M.* L'inquiétude de l'actualité. (Un entretien inédit avec Michel Foucault, enregistré en juin 1975 par Roger-Pol Droit) // Neprikosnovennyy zapas. 2013. № 2. P. 88—90. — In Russ.)

[Badyina, Golubchikov 2005] — *Badyina A., Golubchikov O.* Gentrification in central Moscow — a market process or a deliberate policy? Money, power and people in housing regeneration in Ostozhenka // Geografiska Annaler. Series B: Human Geography. 2005. Vol. 87. Iss. 2. P. 113—129.

[Badyina, Golubchikov 2014] — *Badyina A., Golubchikov O., Makhrova A.* The hybrid spatialities of transition: capitalism, legacy and uneven urban economic restructuring // Urban Studies. 2014. Vol. 51. Iss. 4. P. 617—633.

[Ball 2012] — *Ball S.J.* Performativity, commodification and commitment: an I-Spy guide to the Neoliberal University // British Journal of Educational Studies. 2012. Vol. 60 (1). P. 17—28.

[Batunova, Gunko 2018] — *Batunova E., Gunko M.* Urban shrinkage: an unspoken challenge of spatial planning in Russian small and medium-sized cities // European Planning Studies. 2018. Vol. 26. № 8. P. 1580—1597.

[Ermolaeva et al. 2020] — *Ermolaeva P., Ermolaeva Y., Kuznetsova I., Basheva O., Korunova V.* Environmental issues in Russian cities: towards the understanding of regional and national mass media discourse // Russian Journal of Communication. 2020. Vol. 12 (1). P. 48—65.

[Fulton et al. 2021] — *Fulton W., Mokrushina K., Witt A., Fedorowicz N.* A Tale of Two Departments: Public Health in Harris County and the City of Houston. Houston: Rice University Kinder Institute for Urban Research, 2021. https://doi.org/10.25611/5S5R-EB18

[Gavrilova 2021] — *Gavrilova S.* Regional Memories of the Great Terror: Representation of the Gulag in Russian Kraevedcheskii Museums // Problems of Post-Communism. 2021. https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1885981

[Harvey 1987] — *Harvey L.* The nature of "schools" in the sociology of knowledge: the case of the "Chicago School" // Sociological Review. 1987. Vol. 35. № 2. P. 245—278.

[Hay 2001] — *Hay I.* Critical geography and activism in higher education // Journal of Geography in Higher Education. 2001. Vol. 25. P. 141—146.

[Kennedy 2016] — *Kennedy A.* World of Struggle: How Power, Law, and Expertise Shape Global Political Economy. Princeton: Princeton University Press, 2016.

[Korableva et al. 2021] — *Korableva E., Shirobokova I., Pachenkov O., Bernt M.* Dwelling in failure: power and uncertainty in a socialist large housing estate regeneration program in Saint Petersburg, Russia // Journal of Housing and the Built Environment. 2021. https://doi.org/10.1007/s10901-021-09924-y

[Mueller, Trubina 2020] — *Mueller M., Trubina E.* The Global Easts in global urbanism: views from beyond North and South // Eurasian Geography and Economics. 2020. Vol. 61. Iss. 6. P. 627—635. https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1777443

[Robinson 2015] — *Robinson J.* Thinking cities through elsewhere: Comparative tactics for a more global urban studies // Progress in Human Geography. 2015. Vol. 40. № 1. P. 3—29.

[Rosen 2021] — *Rosen R.* Participatory research in and against time // Qualitative Research. 2021. https://doi.org/10.1177/14687941211041940

[Shevchenko 2009] — *Shevchenko O.* Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2009.

[Steets, Frank 2010] — *Steets S., Frank S.* Stadium Worlds. Football, Space and the Built Environment. London: Routledge, 2010.

[Trubina 2020a] — *Trubina E.* Discussing the Use of Public Goods for Private Ends // Javnost. Ljubljana, Slovenia. 2020. Vol. 27. № 1. P. 65—79.

[Trubina 2020b] — *Trubina E.* Sidewalk fix, elite maneuvering and improvement sensibilities:

The urban improvement campaign in Moscow // Journal of transport geography. 2020. Vol. 83. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102655

[Trubina et al. 2020] — *Trubina E., Gogishvili D., Imhof N., Müller M.* A part of the world or apart from the world? The postsocialist Global East in the geopolitics of knowledge // Eurasian Geography and Economics. 2020. Vol. 61. № 6. P. 636—662.

[Zhelnina 2021] — *Zhelnina A.* Bring Your Own Politics: Life Strategies and Mobilization in Response to Urban Redevelopment // Sociology. 2021. Vol. 56. Iss. 4. P. 783—799. https://doi.org/10.1177/00380385211059438

[Zupan et al. 2021] — *Zupan D., Smirnova V., Zadorian A.* Governing through stolichnaya praktika: Housing renovation from Moscow to the regions // Geoforum. 2021. Vol. 120. P. 155—164.

Николай Плотников

От «социализма с человеческим лицом» к «национальному социализму»

ДИСКУРСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Nikolai Plotnikov

From “Socialism with a Human Face” to “National Socialism.” Discourses of Justice in Post-Soviet Russia

Николай Плотников (Рурский университет Бохума, профессор по русской культурной и интеллектуальной истории Института русской культуры им. Ю.М. Лотмана; доктор философии) nikolaj.plotnikov@rub.de.

Ключевые слова: справедливость, советский дискурс, научный дискурс, перестройка, социальная теория, национализм, культурная идентичность

УДК: 81.42+32.019.5+316.7
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_166

В статье рассматриваются основные этапы и траектории дискуссий о справедливости в философии и социальных науках после перестройки. Вопреки распространенному представлению о советском режиме, понятие справедливости никогда не было элементом советского идеологического словаря и отсутствовало в лексиконе социальных наук. Лишь в эпоху перестройки оно становится не только ключевым понятием официальной риторики власти, но и лозунгом протеста против системы. Напротив, в постсоветской социальной теории не сформировалось никакого специального интереса к проблематике справедливости за пределами лобового столкновения либерализма и социализма, как политического, так и философского. Только в последнее десятилетие в контексте формирования новых протестных движений в России существенно увеличивается теоретический интерес к проблеме справедливости, который свидетельствует о формировании новой парадигмы в социальной теории.

Nikolai Plotnikov (PhD; Professor for Russian Cultural and Intellectual History at the Yu.M. Lotman Institute of Russian Culture Ruhr University of Bochum) nikolaj.plotnikov@rub.de.

Key words: justice, Soviet discourse, scientific discourse, Perestroika, social theory, nationalism, cultural identity

УДК/UDC: 81.42+32.019.5+316.7
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_166

The article examines the main stages and trajectories of discussions about justice in philosophy and social sciences after perestroika. Contrary to the popular perception of the Soviet regime, the concept of justice was never an element of the Soviet ideological vocabulary and was absent from the lexicon of the social sciences. Only in the era of perestroika it became not only a key concept in the government’s official rhetoric, but also a slogan of protest against the system. On the contrary, post-Soviet social theory has not developed any special interest in the problem of justice beyond the head-on collision of liberalism and socialism, both political and philosophical. Only in the last decade, in the context of the formation of new protest movements in Russia, there has been a significant increase in theoretical interest in the problem of justice, which indicates the formation of a new paradigm in social theory.

Понятие справедливости в социальных науках и в публичном дискурсе

В социальных науках и философии понятие справедливости является одним из ключевых инструментов нормативного реконструирования социальной реальности. С его помощью формулируется не только этически и социально

значимый образ будущего, но и анализируется фактически существующий нормативный каркас социальных отношений, регулирующий распределение благ, бремени, обязанностей и привилегий в обществе. Из взаимодействия этих двух перспектив рассмотрения социальной реальности — нормативной и фактической — возникает представление о множественности критериев и принципов справедливости, ошибочно принимаемое за утверждение о полном релятивизме справедливости, которая якобы «у каждого своя».

Но, будучи аналитической категорией для постижения социальной реальности, «справедливость» является вместе с тем и понятием публичного политического и общественного дискурса, которое объединяет вокруг себя социальные группы и мотивирует к политическим действиям. Используя известную формулу «истории понятий» Р. Козеллека, можно утверждать, что понятие справедливости является не только «индикатором» изменений социального опыта, но также и «фактором», определяющим их направление и динамику. В этом двойном качестве оно представляет собой одновременно и элемент социального знания, и элемент дискурсивно оформленной социальной фактичности. Поэтому анализ его семантических трансформаций позволяет понять как эволюцию социального знания, так и изменения общественного дискурса.

Чтобы точнее уяснить функции данного понятия в этих двух его ипостасях, нужно ответить на вопросы, при каких условиях и в какие периоды оно приобретает характер ключевого, то есть становится ареной борьбы и средством публичного самоопределения различных социальных субъектов, которые используют его как необходимый элемент своей картины мира и своего образа будущего.

Если рассмотреть понятие справедливости под углом зрения этих вопросов, то можно констатировать, что оно приобретает свою актуальность всякий раз, когда в публичном пространстве артикулируются конфликты по поводу легитимации различных нормативных порядков. Понятие справедливости — это *индикатор конфликтов*. Но важно подчеркнуть, что это не конфликты интересов, притязаний или предпочтений отдельных индивидов и групп, так как такие конфликты всегда могут найти свое разрешение в рамках уже существующих нормативных порядков (права, морали, политики, религии, экономики). Апелляция к справедливости сигнализирует, что налицо конфликт между самими нормативными порядками, поскольку в каждом из них утверждается собственный принцип разрешения социальных противоречий, а также устанавливается инстанция для нахождения баланса интересов (суд, совесть, рынок, государство). Существующий в обществе плюрализм нормативных порядков и конкуренция между ними в процессе решения социальных конфликтов приводит к вопросу об основаниях этих порядков и их претензий на значимость и легитимность. Еще более остро вопрос о легитимности порядков ставится в ситуациях их кризиса, распада или вырождения, когда они очевидным для большинства образом перестают выполнять функцию разрешения конфликтов и установления баланса интересов. Именно в этой ситуации конфликта порядков или их разложения усиливаются сомнения в их способности выступать «независимым арбитром» или, попросту говоря, в их «справедливости». В таких случаях множатся требования «справедливого суда», «честных выборов», «справедливого распределения», «достойного существования» и другие лозунги, свидетельствующие о признании существующих нормативных порядков «несправедливыми». Иначе говоря, с помощью понятия справедливости формулируется поиск независимого масштаба и критериев, на основании которых те или иные нормативные

инстанции в обществе определяются как способные разрешать социальные конфликты. В ходе возникающих таким образом *дискурсов справедливости* ставится под вопрос не тот или иной отдельный элемент нормативного порядка, но сами основания этого порядка — например, кто вправе выступать в качестве субъекта разрешения конфликта, какая инстанция является «оператором» осуществления справедливости и какой принцип справедливости должен быть принят в качестве критерия, полагаемого в основание нормативного порядка[1].

Как показывают свидетельства европейской интеллектуальной истории, проанализированные историком права Паоло Проди [Проди 2017], высокая конъюнктура этого понятия в истории Запада является следствием непрерывной конкуренции различных нормативных порядков, учреждавших справедливость, к каковым относятся государство, церковь, институты публичной сферы (Проди называет их «форумами»). Каждый из этих «форумов» не только разрабатывал собственное понятие о справедливости, но также и создавал образ институтов, ее воплощающих, и критерии, согласно которым тот или иной порядок вещей следует признать справедливым.

В России превращение этого понятия в ключевое следует отнести к периоду после Великих реформ вплоть до революций 1905 и 1917 годов, который также следует охарактеризовать как состояние нормативного конфликта порядков. Именно в этот период позитивное право самодержавного государства вступает в резкое противоречие с обычным правом, господствующим в сознании крестьянства в представлениях о собственности на землю[2]. Здесь «правда» вступает в конфликт с «законом» (отсюда, кстати, и начинает свой путь миф об особой роли слова «правда» в русской культуре).

Резюмируя размышления о функции понятия справедливости, можно утверждать, что в качестве маркера нормативного конфликта оно включает всегда два аспекта, которые могут быть выражены с разной степенью отчетливости. Оно обозначает, с одной стороны, требование выйти за пределы того или иного нормативного порядка, внутренние правила которого не позволяют соответствовать некоему масштабу справедливости. С другой стороны, это понятие всегда подразумевает создания нового порядка, в котором справедливость получила бы институциональное воплощение.

Этот двойной вектор (назовем два его направления *революционным* и *институциональным*) явным или неявным образом присутствует в каждом понятии справедливости. Даже в такой институционалистски ориентированной концепции, как теория справедливости Дж. Ролза, мы встречаемся с ним. С одной стороны, Ролз признает, что справедливость является «высшей добродетелью институтов» и реализуема только в какой-то институциональной среде, прежде всего в государстве. Но вместе с тем, чтобы определить содержание своего прин-

---

1 Подробнее о понятии справедливости в рамках публичных дискурсов см.: [Frazer 2007]. Нэнси Фрэйзер, опираясь на теорию научных революций Т. Куна и типологию дискурсов Р. Рорти, различает два понимания справедливости — одно, характерное для «нормального дискурса», легитимирующего статус-кво, и другое, возникающее в ситуации «аномального» или «революционного дискурса». Нетрудно заметить асимметрию двух этих пониманий, поскольку в ситуации «нормального дискурса» вопрос о «справедливости» существующего порядка, как правило, не ставится. Речь о «несправедливости» и, соответственно, поиске иной «справедливости» всегда является маркером «аномального дискурса», артикулирующего сомнения в справедливости статус-кво.

2 См. об этом конфликте: [Медушевский 2014].

ципа справедливости, он конструирует воображаемую ситуацию «первоначального состояния», свободного от какого-либо институционального дизайна, в котором индивиды принимают решение о том, какие институты могут вообще рассматриваться как справедливые. Опасность, имплицитно заключенная в этом понятии, состоит в том, что один из этих векторов может трансформироваться в доминирующий, в силу чего возникает дилемма институтов, лишенных справедливости, либо справедливости, реализуемой помимо институтов.

История постсоветского периода демонстрирует циклическое движение от одной из этих опасностей к другой. Отталкиваясь от нормативных конфликтов эпохи перестройки, дискурс справедливости, как в публичном пространстве, так и в социальных науках, развивается в постсоветский период сначала в направлении «диктатуры закона» или господства легальной процедуры над справедливостью. Но затем, когда «диктатура закона» все более становится просто диктатурой, озабоченной лишь сохранением и расширением власти, вопреки всем легальным рамкам, она генерирует новый нормативный конфликт, в ходе которого она сама в целях легитимации вынуждена прибегать к идее национальной «правды и справедливости», разрушая основы легального порядка. А вместе с тем такая диктатура порождает и «своего могильщика» в лице общественных групп и движений, обращающих новый дискурс «справедливости» как «честности» против господствующего порядка и требующих нового институционального дизайна для воплощения справедливости. Таким образом, анализ стратегий употребления и семантических сдвигов понятия справедливости позволяет нам понять характер и вектор развития нормативных конфликтов в постсоветской России за тридцать лет вплоть до 24 февраля 2022 года.

Справедливость в публичном дискурсе перестройки

Чтобы понять особое место эпохи перестройки (1985—1991) в истории дискурса справедливости в России, необходимо учесть тот *семантический разрыв с предшествующим советским периодом*, который происходит с началом перестройки. Свидетельством такого разрыва является уже сам факт небывалого увеличения частоты употребления этого понятия, а также появление в публичной сфере плюрализма пониманий справедливости, свидетельствующее о формировании в обществе разных векторов отношения к нормативным порядкам советского режима.

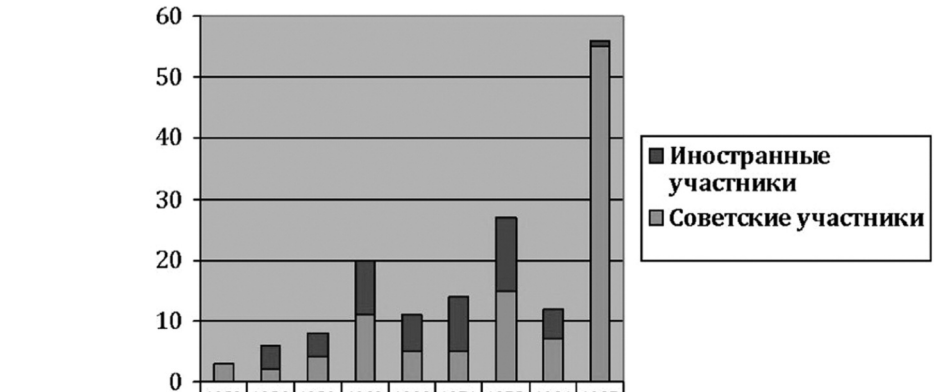
Но самым важным индикатором семантического разрыва является то, что понятие справедливости *впервые начинает* активно использоваться в господствующем идеологическом дискурсе для легитимации нового курса. Это обстоятельство необходимо подчеркнуть в противоположность широко распространенному мнению, связывающему понятие социальной справедливости с советским режимом в целом, — в период до перестройки это понятие *не входит в активный идеологический словарь советского режима*. Иначе говоря, «справедливость» не является «советским» понятием.

Представление о советской системе как «воплощении социальной справедливости» — это идеологическая конструкция, возникшая на гребне хрущевской оттепели, но детально разработанная лишь в период перестройки. Напротив, весь прежний советский идеологический дискурс, сложившийся с момента прихода к власти большевиков в 1917 году, не пользуется этим понятием в целях

самоописания, а если использует его, то маркирует как классово чуждое, буржуазное понятие, обозначающее лишь фиктивное «формальное равенство»[3]. В этом советский дискурс оказывается преемником классического марксизма, для которого семантика понятия справедливости исчерпывалась формальным равенством буржуазного права[4].

До периода оттепели, то есть до середины 1950-х годов, советские энциклопедии, политические и философские словари не содержат специальных статей о понятии «справедливость». Впервые статья с таким названием появляется во втором издании «Большой советской энциклопедии» 1957 года[5], в «Философском словаре» (под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина) статья «Справедливость и несправедливость» появляется лишь в расширенном издании 1963 года[6], а в «Философской энциклопедии» только в 1970 году[7].

Аналогичную картину (*ил. 1*) дает анализ статистики употребления в стенограммах съездов КПСС (с XIX съезда в 1952-м по XXVII съезд в 1987 году). Обращает на себя внимание резкий рост использования слова «справедливость» на последнем XXVII съезде КПСС (55 случаев при прежнем спектре от 3 до 27 на предыдущих съездах), свидетельствующий о том, что оно приобретает важную функцию в идеологическом самоописании режима.



	1952	1956	1959	1962	1966	1971	1975	1981	1987
Иностранные участники	0	4	4	9	6	9	12	5	1
Советские участники	3	2	4	11	5	5	15	7	55

Ил. 1. Статистика понятия «справедливость» в стенограммах съездов КПСС (с XIX съезда в 1952-м по XXVII съезд в 1987 году). Составитель Николай Плотников

3 Ср. статью «Справедливость» в кн.: Энциклопедия государства и права. Т. 3 / Под ред. П. Стучка. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1925—1927. С. 1030—1035.

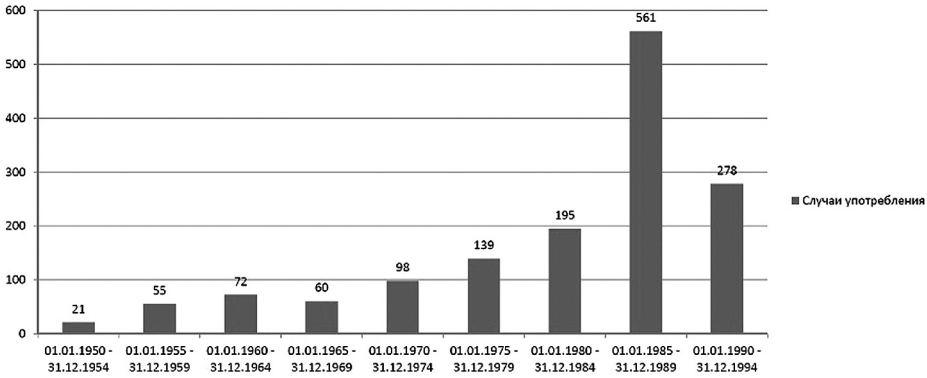
4 О семантике «справедливости» у Маркса, Энгельса и в советском марксизме см.: [Koenen 2019].

5 В первом издании «Малой советской энциклопедии» (Т. 8. М.: Советская энциклопедия, 1930. С. 311) имеется только статья «Справедливая цена». В первом издании «Большой советской энциклопедии» (Т. 52. М.: Советская энциклопедия, 1947. Ст. 454—465) — статья «Справедливые и несправедливые войны».

6 Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. М.: Политиздат, 1963. С. 430. Предыдущие четыре издания выходили с 1939 по 1955 год под названием «Краткий философский словарь» и не содержали статьи «Справедливость».

7 Философская энциклопедия. Т. 5 / Под ред. Ф.В. Константинова. М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 119—120.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что практически половина случаев использования этого слова в материалах съездов до 1987 года относится к приветственным речам делегатов от иностранных и прежде всего европейских коммунистических партий. Именно для носителей европейского политического дискурса было вполне естественным связывать идею социализма с концептом «социальной справедливости», в силу чего они описывали и преимущества советского строя в привычных для них формулировках. И без сомнения, это обстоятельство сыграло немаловажную роль в переориентации советского идеологического дискурса на европейскую модель «социализма с человеческим лицом», которая стала определяющей после прихода к власти М.С. Горбачева. Провозглашенному Горбачевым и его единомышленниками «новому мышлению»[8] принадлежит центральная роль в радикальном изменении идеологического словаря советской системы, в результате которого социализм в СССР переописывается в свете категории «социальной справедливости».



Ил. 2. Статистика словосочетания «социальная справедливость» в газете «Правда» (561 случай употребления в период с 1985 по 1989 годы). Составитель Николай Плотников

Этот семантический сдвиг тоже фиксируется языковой статистикой. Как показывает анализ случаев употребления данного словосочетания в газете «Правда»[9], период перестройки резко отличается от всех советских послевоенных лет особенно высокой частотой (561 случай употребления в период с 1985 по 1989 годы, см. *ил. 2*), что свидетельствует о переформатировании идеологического дискурса[10]. Характерно, что и сборник цитат классиков марксизма-ленинизма, всегда бывший незаменимым средством для идеологической ра-

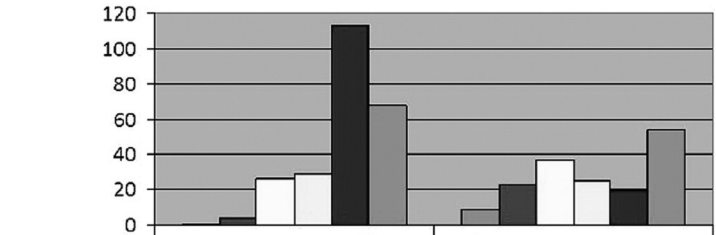
8 *Горбачев М.С.* Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М.: Политиздат, 1988.

9 Анализ проведен на основе базы данных газеты «Правда»: Pravda Digital Archive (https://www.nypl.org/research/collections/articles-databases/pravda-digital-archive (дата обращения: 20.10.2022)).

10 Первая статья, специально посвященная теме «социальной справедливости, вышла в «Правде» лишь в 1983 году (в рубрике «Вопросы теории»): *Колесников С., Усанов В.* Социализм: грани социальной справедливости // Правда. 1983. 11 ноября. С. 2—3. В Национальном корпусе русского языка первое вхождение словосочетания «социальная справедливость» (в советских, а не эмигрантских текстах) датируется 1987 годом.

боты пропагандистов в любой отрасли экономики, политики, науки и общественной жизни[11], на тему «о социальной справедливости» было составлен лишь в 1987 году[12].

Трансформация публичного дискурса в период перестройки, переопределяющего идеологическую линию партии в категориях социальной справедливости, приводит, разумеется, и к изменениям в социальных науках и философии, которые оперативно откликаются на новый запрос многочисленными публикациями о преимуществах социалистической справедливости и с критикой буржуазных теорий справедливости [Заславская 1986; Руткевич 1986; Социализм 1988; Давидович 1989]. Согласно базе данных диссертаций РГБ, охватывающей период с 1945 года, самая первая диссертация на темы, имеющие в названии слово «справедливость», была защищена в 1967 году и затем ежегодно (с перерывами) защищалась одна диссертация на такую тему. Но в 1987 году защищено было уже три диссертации, а в 1989-м — сразу семь диссертаций о справедливости (1990 — 6, 1991 — 5, 1992 — 2, и дальше снова одна-две защиты в год). Еще более наглядную картину дает статистика названий книг и статей по юридическим и социальным наукам, собранных в базе данных Юридической научной библиотеки издательства «Спарк» (см. *ил. 3*)[13]. Период с 1986 по 1990 год дает самое высокое число публикаций за всю вторую половину XX века.



	Число вхождений в название документа	Общее число документов (тыс.)
1950 – 1959	1	8,48
1960 – 1969	4	22,522
1970 – 1979	26	37,161
1980 – 1985	29	25,119
1986 – 1990	113	19,569
1991 – 2000	68	54,53

Ил. 3. Статистика понятия «справедливость» в юридической литературе в период с 1950 по 2000 годы (на основе базы данных Юридической научной библиотеки издательства «Спарк»). Составитель Николай Плотников

11 *Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И.* О биологии. М.: Партиздат, 1933; Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин об ирригации / Ин-т истории компартии при ЦК КП(б). Уз. Филиал ИМЭЛ. Ташкент: Узпартиздат, 1940; Классики марксизма-ленинизма о лесной промышленности. М., 1969; *Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И.* О женском вопросе / Сост. В.Л. Бильшай М.: Политиздат, 1971 и многие другие.

12 *Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И.* О социальной справедливости / Сост. С.В. Колесников, В.И. Усанов. М.: Политиздат, 1987.

13 http://lawlibrary.ru/ (дата обращения: 20.10.2022).

Все эти данные, свидетельствующие о неожиданном всплеске интереса к проблематике справедливости в публичной сфере и в социальных науках, являются следствиями не только изменения идеологического фасада власти. Они свидетельствуют о формировании *нормативного конфликта* в обществе, при котором активность социальных групп и их стремление к признанию уже не может быть найти удовлетворения в прежней системе, а требует новых нормативных форм социальной, политической и экономической организации[14]. Попытка власти возглавить эти изменения, провозгласив перестройку «продолжением революции»[15], порождает, однако, еще более мощную волну социальной активности, для которой идеал «социализма с человеческим лицом», лозунг «Больше социализма!»[16] и «новое мышление», постулирующее приоритет «общечеловеческих ценностей над классовыми», уже перестает быть рамкой апелляции к социальной справедливости.

Начинает подвергаться критике самое ядро социалистического принципа распределения — «оплата по труду» — в силу его неэффективности, хотя представления об альтернативах социалистическому распределению пока еще не выходят за пределы воспоминаний о НЭПе и его преимуществах, искаженных сталинской системой, а затем и в период «застоя»[17]. Эта критика получает мощную поддержку в ходе публичного обличения «привилегий» партийной номенклатуры. Тема «борьбы с привилегиями» становится одним из главных драйверов публичной дискуссии в период перестройки[18].

Другой отличительной особенностью дискурса эпохи перестройки является значительное расширение темы справедливости далеко за пределы собственно проблем экономического распределения (зарплат, общественных благ). С помощью категории справедливости начинают артикулироваться вопросы социальных лифтов, доступа к культурным благам, стремления к национальной автономии и открытости границ[19]. А с расширением «гласности» и публи-

---

14 Кур-Королева характеризует «перестройку» как «кризис справедливости» [Kuhr-Korolev 2019].

15 *Горбачев М.С.* Октябрь и перестройка: революция продолжается. 1917—1987. М.: Политиздат, 1987.

16 Ср.: «Мы исходим из того, что нам нужно больше динамизма, больше социальной справедливости, больше демократии — словом, больше социализма. В этом главный источник и резерв ускорения развития общества» (Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в Венгерскую Народную Республику 8—9 июня 1986 года // М.С. Горбачев. Собрание сочинений: в 28 т. Т. 4 / Ред. М.М. Беляев. М.: Весь мир, 2008. С. 147—156).

17 См.: *Моисеев Н.* Зачем дорога, если она не ведет к храму // Иного не дано. Судьбы перестройки. Вглядываясь в прошлое. Возвращение к будущему / Под общ. ред. Ю. Афанасьева. М.: Прогресс, 1988. С. 51—75. Также см.: *Римашевская Н.М.* Справедливость или равенство? // В человеческом измерении / Ред. А.Г. Вишневский. М.: Прогресс, 1989. С. 364—377.

18 О «борьбе с привилегиями» как центральном элементе требований «справедливости» в эпоху перестройки см.: [Kuhr-Korolev 2015].

19 Ср.: Запись беседы М.С. Горбачева с председателем Государственного совета Польской народной республики В. Ярузельским // Архив национальной безопасности. Русские программы (https://nsarchive.gwu.edu/document/25468-17-zapis-besedy-ms-gorbacheva-s-predsedatelem-gosudarst (дата обращения: 10.10.2022)): «Когда мы говорим о социальной справедливости, то имеем в виду не только зарплату. Справедливость должна быть и в продвижении по службе, в доступе к сокровищницам культуры, в поездках за границу и т.д.».

кацией документов о политических репрессиях сначала сталинского, а затем и ленинского периода одной из ключевых тем становится публичной дискуссии «восстановление исторической справедливости» и реабилитация жертв советского государственного террора[20]. Тем самым обсуждение репрессий выходит далеко за рамки господствовавшего легалистского дискурса «соблюдения социалистической законности», практиковавшегося со времен оттепели и речи Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, смыкаясь с требованиями правозащитного движения соблюдать универсальные права человека, имеющие сверхпозитивный статус.

Но помимо значительного семантического расширения этого понятия, как в публичном дискурсе, так и в социальном знании характерной чертой перестройки становится публичная «война слов» (см.: [Менцель 2006]). Семантика справедливости выходит из-под контроля официальной идеологии и становится полем дискурсивного конфликта, в котором выражается конфликт нормативный, то есть борьба общественных групп не за отдельные требования и интересы, а за само право выступать с требованием справедливости и от ее имени. Теперь уже не только сама власть стремится оправдать свой курс с помощью лозунгов справедливости, но и формирующаяся оппозиция использует их как рычаг фундаментальной социальной критики, взламывающей систему. Не только Горбачев, но и Ельцин выдвигает «восстановление социальной справедливости»[21] в качестве своего основного лозунга.

Разрыв между советским и постсоветским дискурсом. Поиски нового языка легитимации

Распад Советского Союза и начало экономических реформ в России сопровождались почти молниеносным изменением всей конфигурации дискурса справедливости. По отношению к такому изменению оправданно говорить о разрыве между советским и постсоветским дискурсом.

В публичной сфере происходило не только сокращение частоты использования понятия «справедливость», что свидетельствовало об отказе от него как ключевого понятия идеологического словаря[22], но изменяется функциональный статус этого понятия — с момента начала реформ оно последовательно

---

20 Ср., например, хронологический обзор: [Общественная жизнь Ленинграда 2009: 69, 195, 245, 497].

21 Баллотируясь на пост президента РСФСР в июне 1991 года, Б.Н. Ельцин провозглашал: «Восстановление социальной справедливости, повышение всеми доступными средствами жизненного уровня народа — и есть центральный пункт в моей программе» [Россия сегодня 1991: 332]. Ср. также его расширенную трактовку справедливости: «Принципы социалистической справедливости измеряются не только рублем, дачей или престижной путевкой. И это, разумеется, важно, но я хочу сказать о другом. Мы духовно задавили человека. Он оказался под прессом дутых авторитетов, приказаний, непререкаемых распоряжений, бесконечного количества постановлений и т.д. Мы приучили людей к единоудушению, а не к единодушию. Разве это социально справедливо?» [Горбачев — Ельцин 1992: 97].

22 Указанные выше статистики понятия «справедливость» в публичном дискурсе (газета «Правда». Ил. 2) и социальных науках (публикации в базе данных издательства «Спарк». Ил. 3) фиксируют спад его использования после 1991 года.

маркируется как «советское» и тем самым как подлежащее устранению из набора ценностей, легитимирующих либеральные реформы постсоветской России. Один из архитекторов этих либеральных реформ, Анатолий Чубайс, в одном из мемуарных свидетельств отчетливо характеризует этот ценностный выбор как отказ от понятия справедливости и от «советского культа справедливости»[23]. В этом же смысле публицист Юлия Латынина писала в 1992 году об «атавизме социальной справедливости», противопоставляя ему саморегулирование общества посредством рынка[24]. При этом как сам Чубайс и реформаторы, так и их оппоненты из среды коммунистической оппозиции, твердившие о том, что либеральная демократия исключает социальную справедливость[25], подразумевали под «советской справедливостью» некую мифологическую конструкцию, скрывающую тот факт, что система государственно-крепостнических отношений советского режима не имела ничего общего даже с тем редуцированным понятием справедливости, которое получило хождение в последнюю фазу существования СССР.

Однако, такое неприятие политической элитой этого понятия как пережитка советского мышления и в целом сужение семантики «справедливости» до «советской справедливости» явно противоречило не только представлениям населения, но и декларированной приверженности принципу социального государства, заложенному в Конституции Российской Федерации 1993 года по западным образцам, но под давлением Верховного Совета, находившегося под влиянием идей социализма. Этот разрыв между принципами, гарантированными конституцией, и политикой, ориентированной на экономические реформы, неоднократно создавал проблемы с легитимностью для правительства при президенте Ельцине.

В этом отношении показательно противостояние двух проектов Конституции — президентского проекта и проекта, составленного Конституционной комиссией Верховного Совета — проходящее, наряду с другими спорными вопросами (статуса президентской власти, федеративного принципа и т.д.) по линии отношения к принципу социального государства. Президентский проект С. Шахрая в первоначальном варианте вообще не предусматривал концепции социального государства. Но и после компромисса между разными проектами, и внесения в проект Конституции понятия социального государства, Шахрай продолжал предостерегать об опасностях расширения социальных функций государства и предпочитал говорить об «эффективном государстве»[26]. Напротив, один из создателей конституционного проекта Верховного Совета РСФСР,

---

23 *Чубайс А.* «Представление о справедливости у народа мы сломали ваучерной приватизацией» // Авен П., Кох А. Революция Гайдара: История реформ 90-х из первых рук. М.: Альпина Паблишер, 2013. С. 104. Фраза о «советском культе справедливости» принадлежит А. Коху.

24 *Латынина Ю.* Атавизм социальной справедливости // Век XX и мир. 1992. № 5. С. 11—17.

25 Ср.: «Демократия и все ее институты специально придуманы для того, чтобы исключить социальную справедливость и свободу для всех, для трудящихся. “Демократия”, “демократ”, “демагог” — все это всегда означает ложь, обман, лицемерие, фарисейство, намеренное воздействие на чувства и инстинкты масс» (*Дичев Т.* Демократизация — это массовая кретинизация? // Завтра. 1993. Декабрь. № 5. Цит. по: [Гусейнов 2003: 130]).

26 *Шахрай С.М.* О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социально-политических преобразований. М.: Наука, 2013. С. 260—261.

О.Г. Румянцев, в духе дискурса перестройки связывал основы конституционного строя с понятием социальной справедливости, признавая «императив справедливости» верховенствующим «над государством и законом»[27]. Принятый в результате компромиссный вариант в отношении статей, вводящих понятие «достойной жизни»[28] и социальные права, традиционно связываемые с «императивом справедливости», отличался чрезвычайной неопределенностью, что дало повод последующим комментаторам Конституции РФ толковать их прямо противоположным образом — как в смысле утверждения, так и в смысле отрицания социальных прав и их конституционных гарантий[29].

Разрыв между декларируемыми принципами правового государства и политической реальностью уже нельзя было преодолеть только путем отказа от коммунистической системы и предотвращения опасности ее возвращения. Зарождающийся порядок нуждался в новых основаниях для своей легитимации, а также в новой концептуализации, которая могла бы правдоподобно обрисовать картину будущего порядка, который должен был возникнуть в ходе либеральных реформ. Ведь чисто инструментальная интерпретация транзита в смысле «нормативности факта» не давала ответа на вопрос о нормативных основаниях нового политического порядка, то есть в каком смысле его можно считать «справедливым»[30]. В горизонте этого инструментального мышления переход от плановой экономики к рыночной и от тоталитаризма к демократии артикулировался прежде всего как превращение России в «нормальную» страну, как переход к «рынку» и к тем отношениям, которые являются «естественными» для всякого «нормального» общества. Такая философия «естественного»[31] как раз и оказывалась по существу признанием «нормативности факта», поскольку признавала проводимую политику не только как безальтернативную, но и нормативно оправданную тем, что она приближала к идеальному прообразу «западного» капитализма в том виде, как его понимали реформаторы.

Менее заметными в этом контексте, но зато более богатой последствиями были попытки самих реформаторов обратиться к внеинституциональным основаниям легитимности. Чтобы найти опору экономическим и политическим трансформациям, они обращались к тому, что А. де Токвиль назвал в свое время «привычками сердца», то есть к неформальным ресурсам общественной

---

27 *Румянцев О.Г.* Основы конституционного строя России: понятие, содержание, вопросы становления. М.: Юрист, 1994. С. 34. Формула «вера в добро и справедливость» из Преамбулы Конституции РФ — это тоже формулировка, взятая из проекта Конституционной комиссии, разрабатывавшегося Румянцевым.

28 См. об этом: [Плотников 2007].

29 Ср.: «К сожалению, такое право (на достойное существование. — *Н.П.*) в действующей Конституции РФ четко не обозначено. В ней лишь записано, что Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). Как видим, указанные выше международные стандарты (то есть Всеобщая декларация прав человека 1948 года. — *Н.П.*) по данной важнейшей позиции не соблюдены» [Матузов 2001: 301].

30 На сайте «Московский либертариум» (libertarium.ru) — интеллектуальном клубе поддержки реформ в 1990-е и начале 2000-х годов — понятие справедливости встречается только в контексте критики социализма в трудах теоретиков экономического либерализма, таких как Ф. фон Хайек и Й. Шумпеттер.

31 О постсоветской философии «естественного» см.: [Барабанов 2007].

солидарности, скрытым в повседневных отношениях людей, в общих традициях и обычаях. К этому ресурсу общих ценностей и традиций обращались и американские «коммунитаристы», когда критиковали формализм концепции справедливости у Дж. Ролза и подчеркивали, что представления о справедливых институтах в западных либеральных демократиях основываются на совместном историческом опыте отстаивания ценностей свободы и справедливости, а не являются лишь продуктом рациональной конструкции[32].

Однако в России такое обращение к традиции само было продуктом властного конструирования, в большинстве своем имевшее характер романтической идеализации дореволюционных обычаев. Оно апеллировало к некоей придуманной реальности традиционного русского быта и языка, якобы сохранившегося в «народе» несмотря на десятилетия коммунистического террора. Тем не менее как форма дискурса, легитимирующего политику реформ в русле официально предписанного Ельциным в 1996 году «поиска национальной идеи» для России, они вызывали широкий отклик со стороны интеллектуальной публики и становились предметом многократного подражания.

К числу таких попыток относится работа в 1999—2005 годах по созданию русского общественно-политического языка, предпринятая одним из теоретиков либеральных реформ и автором идеи ваучерной приватизации В.А. Найшулем в рамках возглавляемого им Института национальной модели экономики. Результатом этой работы стал «Букварь Городской Руси. Семантический каркас русского общественно-политического языка (β-версия)»[33] — набор сентенций о политической структуре общества, выбранных из собрания пословиц и поговорок Даля, житий святых и прочей традиционной литературы, и структурированных по разделам: «Царь», «Русские люди» (с подрубриками: «Околоток», «Земля», «Отечество»), «Суд (правда)», «Другие люди» и проч. Этот продукт псевдолингвистического конструктивизма был призван засвидетельствовать присутствие в архетипах русского политического сознания ментальности, благоприятствующей либеральным реформам, и активизировать эту ментальность посредством заклинаний «нового общественно-политического языка».

Пример «Букваря» В. Найшуля, вполне серьезно обсуждавшегося в публичных дискуссиях клуба «Полит.ру», свидетельствует, что в контексте поиска «русских архетипов» ключевым становится понятие «правда», как наиболее адекватное выражение русского «чувства справедливости» и правосознания[34]. Оно-то и начинает перенимать в постсоветский период функцию внеинституту-

32 Материалы полемики либералов с коммунитаристами см. в кн.: [Современный либерализм 1998].

33 Текст букваря доступен по адресу: https://polit.ru/article/2006/02/02/bukvar/ (дата обращения: 10.10.2022).

34 Ср. главу в «Букваре» Найшуля: «Не в силе Бог, но в Правде! Люди ищут Правду. Земля очищается. Итак:
Верноподанные служат надеждой и опорой престола и Отечества.
Благонадежные хранят тишину и покой околотка и земли.
Законопослушные защищают закон и порядок царства и государства.
Царь и русские люди созывают собор.
Царь и русская земля назначают суд.
Царь и русский народ призывают стражу.
Так утверждается суд и правда».

ционального нормативного обоснования для складывающегося политического порядка, представляя его соответствующим неким глубинным пластам традиционного сознания[35].

Этот концепт «правды» еще и потому начинает играть центральную роль, что в нем постулируется связь нормативных принципов с религиозными ценностями, каковые для постсоветского сознания практически повсеместно оказываются синонимом морали и к тому же выступают в качестве эффективного заменителя прежних социалистических представлений о социальной справедливости.

Другим фактором, способствовавшим превращению понятия «правда» в ключевую религиозно-политическую идеологему, была подчеркнутая в нем национальная компонента. В российском культурном сознании прочно утвердился миф об уникальности русского слова «правда» как обозначения единства истины и справедливости, а также непереводимости его на другие языки, что дополнительно питает сознание национальной исключительности. И как раз сочетание этих трех факторов — религиозного, политического и национального — делает понятие «правды» важным дискурсивным оператором в дебатах об основаниях нормативных порядков постсоветского периода. Триумфальная истории фразы «Не в силе Бог, а в Правде» (другой вариант «Сила в правде») из жития князя Александра Невского, транслированная в постсоветский контекст через рецепцию фильма С. Эйзенштейна, а также культового фильма «Брат-2», служит ярким индикатором религиозно-национальной «шовинизации»[36] понятия справедливости на рубеже XX—XXI веков.

Новый режим, установившийся после прихода к власти В.В. Путина в 2000-е годы, определял себя с самого начала через категорию «законности». Лозунг «диктатура закона», брошенный в период первой избирательной кампании Путина в 2000 году, делал акцент на укреплении легального порядка и соблюдении законов[37]. Несмотря на свою внутреннюю противоречивость («диктатура» означает неограниченную власть, а суть «закона» — в ограниченном применении), этот лозунг отчетливо выражал понимание права нового режима, целиком сводящееся к юридическому позитивизму, который признает в качестве правовой нормы лишь властное установление. Все последующие идеологемы официальной риторики — «укрепление вертикали власти», «суверенная демократия» — также делали акцент на представлении, что единственным источником права является сильная власть, выступающая одновременно гарантом законности и стабильности.

«Справедливости» в этом властном дискурсе места не находилось вовсе. Собственно, он в ней и не нуждался, поскольку всякое недовольство и всякий

---

35 Критику мифологии «правды» как «типично русского концепта» см. в книге: [Правда 2011].

36 Этот эпитет использован при характеристике фильма: *Гладильщиков Ю.* «Брат 2» // Итоги. 2000. № 23. Июнь. С. 78—80.

37 Сама эта формула получает хождение и раньше в заявлениях региональных политиков. Она выглядит как неумелая попытка противопоставления «диктатуре пролетариата» коммунистов. См.: Диктатура закона — во имя достойной жизни: Послание *Губернатора Д.Ф.* Аяцкова жителям Саратовской области. Саратов: [Б.и.], 1997; Диктатура закона: общественно-правовое издание / Учредитель: ООО «ИКЦ». Самара, 2000; За диктатуру закона. Информационный бюллетень Алтайской краевой правозащитной общественной организации «Бастион». № 1. Барнаул, 1999.

протест, в тенденции способный вылиться в нормативный конфликт с существующим порядком, маргинализировался и нейтрализировался. Единственный случай, когда власть вынуждена была задействовать концепт «справедливости», имел место в 2005 году после неудачной попытки «монетизации льгот», массовых протестов против отмены натуральных льгот и привилегий (ветеранам, пенсионерам и другим группам) и замены их денежными выплатами. В реакции на эту реформу критика «несправедливости» и апелляция к «социальной справедливости» использовались далеко не только лишь одной левой оппозицией, но даже и церковью, которая в лице патриарха Алексия II осудила действия светской власти[38]. Значимым фактом публичной дискуссии, развернувшейся после неудачи монетизации, стала также статья «Левый поворот» М. Ходорковского, в которой заключенный в тюрьму бизнесмен формулировал будущую политическую повестку и призывал создать новый баланс справедливости и свободы: «Новая российская власть должна будет решить вопросы левой повестки, удовлетворить набравшее неодолимую силу стремление народа к справедливости»[39].

И центральная власть, стараясь нейтрализовать возникший конфликт, стала ad hoc интегрировать (сугубо инструментально и лишь временно) риторику справедливости в господствующий дискурс в виде утверждения связки свободы и справедливости. В Послании Президента Федеральному собранию 25 апреля 2005 года слово «справедливость» и его варианты используется 17 раз, тогда как предыдущие (как и последующие) послания содержат не более одного-двух вхождений[40]. В качестве реакции на общественное недовольство Кремль также сконструировал в 2006 году и новую социалистическую партию «Справедливая Россия» путем слияния прежней Партии пенсионеров, Партии жизни и партии «Родина», стремясь создать в Думе некое подобие двухпартийной системы, воплощающей баланс правоцентристской партии «Единая Россия» и левоцентристской партии «Справедливая Россия».

Но одновременно с социальным недовольством и протестом в 2000-е годы стал набирать силу и националистический протест, также открывавший для себя риторику справедливости. В этом дискурсивном поле общей рамкой семантики справедливости выступало требование «вернуть свое»[41], направленное как против результатов либеральных реформ, якобы ущемляющих права и интересы особенно русского населения внутри страны, так и против терри-

---

38 «Глава Русской православной церкви... констатировал, что в законах о монетизации льгот “не реализованы принципы справедливости”, и потребовал “как можно быстрее дать людям положенное им по закону и по высшему, нравственному праву”» (Церковь открестилась от государства // Коммерсант. 2005. 14 января (https://www.kommersant.ru/doc/538434 (дата обращения: 20.10.2022)).

39 *Ходорковский М.* Левый поворот // Ведомости. 2005. 1 августа (https://lenta.ru/articles/2005/08/01/khodorkovsky/ (дата обращения: 20.10.2022)).

40 Ни сама «монетизация», ни вызванные ею протесты в Послании не были упомянуты.

41 Так формулировал понимание справедливости публицист Е. Холмогоров в заметке о Послании президента: «Проблема справедливости в современной России не в том, что люди хотят “широких и равных возможностей”, а в том, что они хотят вернуть свое, в то время как могущественные лица и корпорации это “свое” у них систематически отнимают» (*Холмогоров Е.* Послание резидента Российской Федерации (http://viperson.ru/articles/egor-holmogorov-poslanie-rezidenta-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 20.10.2022)). Изначально было опубликовано на сайте «Агентства политических новостей» 29 апреля 2005 года.

ториального разделения постсоветского пространства, лишившего Россию ее «исторических земель». По существу, лозунг справедливости в этом понимании заключал в себе все элементы требования «национальной революции», которая сместила бы существующий «либеральный порядок», установив национальное государство «Россия для русских».

Именно на середину 2000-х годов приходится и начало «Русских маршей» (первый организован в 2005-м), публично артикулировавших эти лозунги. Одной из первых попыток их систематизации стал манифест «Русская правда» публициста Максима Брусиловского, объединявшего оба аспекта националистического понимания справедливости — убеждение, что «справедливость есть традиционный идеал русского народа», и заявление, что «разделение русского народа государственными границами является нетерпимым» [Брусиловский 2010].

Значительную роль в формировании представления о национально-специфической семантике справедливости сыграла РПЦ, активно развивавшая убеждение, что «справедливость» — это базовая ценность русского православия и русской политической и культурной традиции в целом. Если в «Основах социальной концепции» РПЦ, принятых в 2000 году, понятие справедливости еще раскрывалось в смысле общих идей христианского богословия о справедливой оплате труда, справедливой войне, справедливости в отношениях между народами[42], то с середины 2000-х годов акцент делается на «базисные духовно-нравственные ценности» как основе русской национальной идентичности. В 2007 году РПЦ поддерживает разработку «Русской доктрины»[43] — консервативно-националистического проекта, утверждающего самобытность «русского мира» на принципах «духовного суверенитета» («самодержавие в цивилизационном смысле»), неотделимого от идеала «социальной правды»[44]. А затем и сама принимает в 2011 году на XV Всемирном русском народном соборе меморандум «Базисные ценности — основа общенациональной идентичности», в котором на первом месте в списке ценностей фигурирует «*справедливость*, понимаемая как политическое и социальное равноправие, справедливое распределение плодов труда, достойное вознаграждение и справедливое наказание, должное место каждого человека в обществе, а нации — в системе международных отношений»[45].

Хотя упомянутый свод определений ничем не отличается ни от общехристианского (например, социального учения католической церкви), ни от политической семантики этого понятия, используемого в большинстве программ западных политических партий, тем не менее эта формулировка в меморандуме отчетливо направлена против «западной идеологии прав человека», в контексте противостояния с которой развивается убеждение, что справедливость — это специфическая ценность именно русского православия.

---

42 См.: Основы социальной концепции Русской православной церкви // http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 20.10.2022).

43 См.: Вступительное слово митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на соборных слушаниях по проекту «Русская доктрина» // http://www.patriarchia.ru/db/text/283339.html (дата обращения: 20.10.2022).

44 См. текст «Русской доктрины»: *Кобяков А., Аверьянов В., Кучеренко В.* (Максим Калашников) Русская доктрина («Сергиевский проект») // http://www.rusdoctrina.ru/ (дата обращения: 20.10.2022).

45 http://www.patriarchia.ru/db/text/1496038.html (дата обращения: 20.10.2022).

Этот клерикальный дискурс справедливости смыкается в первое десятилетие XXI века с академическим консерватизмом в общественных науках, активно развивавшим концепцию «русской цивилизации», постулирующей наличие некоей «особой чувствительности к справедливости» у русского народа. Не только популярные СМИ преподносили (и преподносят сейчас) регулярные заверения, что «понятие справедливости у русских в крови» и «оно — часть национального самосознания»[46]. Современная академическая продукция также полнится многочисленными конструкциями «русской ментальности», в которых стереотипно воспроизводится убеждение в том, что справедливость является «фундаментальной ценностью» этой самой ментальности[47]. В качестве почти единственного доказательства приводится, как правило, наличие якобы уникального слова «правда» в русском языке, объединяющего в себе значение «истины» и «справедливости» (ср., например: [Колесов 2004]). Этот тезис соединяется с идеями Н. Данилевского, «евразийцев» и Л. Гумилева о самобытной «русской цивилизации». Количество диссертаций, статей и монографий по философии, культурологии, религиоведению, опубликованных в 2000-х и 2010-х годах и посвященных раскрытию значения «правды» в русской культуре, с трудом поддается перечислению. При этом они содержат стандартный набор положений: тезис о противостоянии цивилизаций и критика «западной цивилизации», утверждение о наличии «русской духовности», постулирование спасительной роли веры и правды в эпоху бездуховности и постмодернизма и т.д.[48] Но тщетно искать в них анализа теорий справедливости или разработки самостоятельных концепций. Вместо этого воспроизводится снова и снова утверждение народнического публициста Н.К. Михайловского 1896 года об уникальности слова «правда» в русском языке[49].

Было бы несправедливо не упомянуть при рассмотрении дискурса справедливости в социальных науках те исследования, которые действительно посвящены концептуальной разработке этого понятия. Характерно, что такие исследования ориентируются на универсальный смысл справедливости и

---

46 Ср., например: *Михайлов А.* Возрождение России начнется со справедливости // Владивосток. 2007. 14 сентября. № 2209.

47 Ср.: Российско-китайская социологическая конференция в Санкт-Петербурге 23—25 июня 2004 года (Информация на сайте социологического факультета СПбГУ: https://web.archive.org/web/20041214225227/http://www.soc.pu.ru/news/conf2004.shtml (дата обращения: 20.10.2022) или: [Кукоба 2004].

48 См.: *Бобылева Е.Ю.* Феномен правды как онтолого-аксиологическая доминанта русской культурной традиции: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Тамбов, 2007; *Иванова В.В.* Правда в бытии человека: Автореф. дис. ... канд. философских наук. Омск, 2005. См. также: [Денисов 2001; Черников 2002].

49 Ср.: «Всякий раз, как мне приходит в голову слово “правда”, я не могу не восхищаться его поразительною внутреннею красотой. Такого слова нет, кажется, ни в одном европейском языке. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое» (*Михайловский Н.К.* Предисловие // Михайловский Н.К. Сочинения: В 6 т. Т. 1. СПб.: Издание редакции журнала «Русское богатство», 1896). Почти одновременно с Михайловским философ В.С. Соловьев утверждал, что связь слов «правда», «правота» и «право» как раз наоборот подтверждает универсальный общечеловеческий категорий справедливости и права (*Соловьев В.С.* Оправдание добра // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 447). Но публицистическая фраза Михайловского льстила культурному самосознания русской интеллигенции и превратилась в распространенный «мем».

развивают свои положения в диалоге с современными концепциями, а также учениями из истории социальной и политической философии (см., например: [Печерская 2000; Кашников 2004; Слоян 2009; Прокофьев 2013])[50]. В них формируется «либеральный дискурс справедливости», вводящий российскую социальную науку в интернациональный контекст. Но они были и остаются точечными явлениями критической рефлексии на фоне медийных волн политическо-религиозного самовосхваления России как «цивилизации справедливости»[51]. Не они определяют тренд в публичном и академическом дискурсе справедливости.

«Национальный социализм» против «социального либерализма». Контуры нового нормативного конфликта

Эволюция семантики справедливости в публичном дискурсе последнего десятилетия все более демонстрирует признаки поляризации. Ключевым вопросом при этом является отношение к правовому государству и его институтам. На одном полюсе сближаются совершенно гетерогенные позиции национализма, неосоветского социализма и идеологии полицейского государства, отрицающие идею и практику правового государства. На другом — позиции, солидарные в представлении о «процедурной справедливости», заключенном в требованиях честных выборов, противодействия коррупции и справедливого суда[52].

Первый полюс уместно обозначить термином «национальный социализм», поскольку он сплавляет семантику справедливости в смысле национальной исключительности с идеологией социального попечения полицейского государства.

Характерным примером такой идеологической смеси является концепция «нравственного государства», разрабатывавшаяся в мозговом Центре проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, который опекал бывший путинский сподвижник, шеф российских железных дорог и по совместительству профессор факультета политологии МГУ В.И. Якунин. «Нравственное государство», авторство которого принадлежит идеологам центра С.С. Сулакшину и В.Э. Богдасаряну[53], определялась как модель госу-

50 Каталог диссертаций РГБ содержит 84 диссертации со словом «справедливость» в названии, защищенные в период с 2000 по 2010 год по специальностям «Философия», «Социология» и «Юриспруденция». С 2011 по 2020 год было защищено 53 подобных диссертации. В период с 1991 по 1999 год их было 38.

51 Ср.: *Вольнов В.Ю.* Россия как цивилизация справедливости // Агентство политических новостей. 2005. 15 апреля (текст в базе данных Integrum World Wide (http://www.integrumworld.com/ (дата обращения: 20.10.2022).

52 Термин «процедурная справедливость» отсылает к теории справедливости Дж. Ролза, хотя в российской публичной и академической дискуссии рецепция Ролза чрезвычайно малочисленна.

53 См.: Нравственное государство как императив государственной эволюции: Материалы Всерос. науч. конф., 27 мая 2011 г. / Ред. С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, Ю.А. Зачесова. М.: Научный эксперт, 2011; Нравственное государство. От теории к проекту / С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, Е.Г. Пономарева и др. М.: Наука и политика, 2015.

дарства, основанного на традиционных (духовных) ценностях и призванного сформировать у населения нравственные убеждения [Сулакшин 2011]. Первоначально возникшая в рамках государственного позитивизма эпохи «нулевых» как стратегия ценностной поддержки и легитимации существующего государственно-правового порядка, эта концепция эволюционировала в представление о специфическом русском идеале государства, который понимается как альтернатива западному правовому государству, представляющему собой угрозу российскому суверенитету: «Использование концепта правового государства в России исторически было направлено на подрыв традиционной модели российской государственности. Эту роль она выполняет и сегодня» [Багдасарян 2011: 96]. По существу, данная идея «нравственного государства» ничуть не оригинальна, а повторяет политическую концепцию евразийцев, разработавших в период между двух мировых войн идеал «государства правды» — модель идеократического государства, основанного на православии и русском образе справедливости как единства власти и веры[54], — противопоставленный либеральному правовому государству Запада. На эту евразийскую идею «государства правды» (Gerechtigkeitsstaat) сочувственно ссылался нацистский теоретик и юрист Карл Шмитт, разработавший собственную концепции «тотального государства», которое должно прийти на смену правовому государству в результате национал-социалистической революции[55]. Вполне обоснованно поэтому, что идеи Карла Шмитта получили распространение в среде околовластного академического консерватизма в университетах (ВШЭ, МГУ) и мозговых центрах (Изборский клуб, ФЭП, Институт национальных стратегий и др.), вложившихся в разработку идеологии полицейского государства в России и иных альтернатив правовому государству, среди которых «государство справедливости» или «нравственное государство» изображалось как подлинно русская модель справедливой власти[56].

Смычка публичного и академического дискурсов в социальных науках на полюсе «национально-социалистической» концепции справедливости хорошо заметна также и на примере интеллектуального сообщества журнала «Вопросы национализма», объединяющего на своей платформе как академических работников, так и политтехнологов и публицистов правого и ультраправого националистического спектра[57]. Здесь уже открыто излагается программа «национального социализма», в исторической и актуальной политической перспективе — изоляция от западной цивилизации как способ сохранения рус-

54 *Шахматов М.В.* Государство правды. М.: ФондИВ, 2008 (первоначально текст был издан в виде статьи: *Шахматов М.В.* Государство правды: Опыт по истории государственных идеалов в России // Евразийский временник. Непериодическое издание. Кн. 4 / Под ред. П. Савицкого, П.П. Сувчинского и Н.С. Трубецкого. Берлин: Евраз. книгоизд-во, 1925. С. 268—304).

55 *Schmitt C.* Rechtsstaat (1935) // Schmitt C. Staat, Großraum, Nomos. Berlin, 1995. S. 108.

56 С. Сулакшин стал позднее также писать о «государстве справедливости», модифицируя собственную концепцию «нравственного государства». См.: *Сулакшин С.* Государство справедливости: постановка задачи (5 октября 2015 года) // https://web.archive.org/web/20151205105827/http://rusrand.ru/science/gosudarstvo-spravedlivosti-postanovka-zadachi (дата обращения: 20.10.2022).

57 К числу авторов и руководителей журнала принадлежали представители российского академического и околоакадемического национального социализма: К. Крылов, О. Кильдюшов, М. Колеров, А. Тесля, А. Савастьянов, С. Иванников, П. Святенков и др.

ской самобытности, разоблачение предательства элит, направивших Россию по ложному прозападному пути развития, и создание «диктатуры снизу», опирающейся на поддержку народных масс, производящей чистку элит от прозападных либералов и воплощающей исконный русский идеал социальной справедливости — самодержавной власти, распределяющей социальные блага согласно существующей иерархии[58]. В общих чертах эта программа воспроизводит идеал диктатуры справедливости, обрисованный публицистом эпохи Ивана Грозного Иваном Пересветовым в середине XVI века[59].

Разработка этих концептуальных моделей диктатуры шла параллельно с процессом превращения политического режима в России из «диктатуры закона» просто в диктатуру, использующую закон как инструмент подавления всяких проявлений инакомыслия. Сам политический режим разрушил после 2012 года умеренно авторитарную модель государственного позитивизма, став инициатором национально-консервативной «революции справедливости»[60]. Аннексия Крыма в 2014 году стала драйвером окончательного превращения «диктатуры закона» в «диктатуру справедливости»[61]. Причем оправдывалась она как раз соображениями «правды и справедливости» и исправлением «исторической несправедливости»[62]. С этого момента можно говорить об окончательном переходе режима к консервативной революции, имеющей целью утвердить идею русского «особого пути», легитимирующей произвол власти, которая творит беззаконие под лозунгом «вся сила в Правде». Основным концептом публичного дискурса становится «справедливость». Его использует власть, объявляя справедливость «базовой ценностью русской цивилизации»[63]. Его использует церковь, провозглашая «Декларацию русской идентичности» с набором идеологических императивов «вера — справедливость — достоинство — солидарность — державность»[64]. Его используют партийные политтехнологи, конструирующие подконтрольную Кремлю партию «Справедливая Россия — За правду». Его используют и академические правоведы, выдумывающие юридическую конструкцию под названием «крымское право», чтобы оправдать аргументами «восстановления исторической справедливости» нарушение фундаментальных принципов международного права[65].

---

58 См. тематический блок «Социализм и нация» (со статьями С. Иванникова и М. Колерова) и в особенности статью С. Иванникова «Россия и социализм XXI в.» [Иванников 2019].

59 О концепции «диктатуры правды» у Пересветова см.: [Алексеев 2003; Plaggenborg 2018].

60 См. выступление А. Проханова «Революция справедливости» на заседании Изборского клуба 9 июня 2015 года (https://izborsk-club.ru/5754 (дата обращения: 20.10.2022)).

61 Об этой трансформации и об идее «справедливости без права», воплощаемой нынешним политическим режимом, см.: [Клямкин 2018].

62 См. «Крымскую речь» В. Путина 18 марта 2014 года: Обращение Президента Российской Федерации // http://www.kremlin.ru/events/president/news/20603 (дата обращения: 20.10.2022).

63 Володин назвал базовые ценности россиян. 2017. 1 ноября // https://ura.news/news/1052310924 (дата обращения: 20.10.2022).

64 Декларация русской идентичности. 2014. 12 ноября // http://www.patriarchia.ru/db/text/508347.html (дата обращения: 20.10.2022).

65 Концепцию «крымского права» разрабатывает профессор юридического факультета МГУ В.А. Томсинов, см.: *Томсинов В.А.* «Крымское право», или Юридические основания воссоединения Крыма с Россией. М.: Зерцало-М, 2015.

Маятник дискурса справедливости совершил полный круг со времен перестройки. Он начался с провозглашения справедливости универсальной ценностью, преодолевающей границы национальных и классовых ограничений, которая должна стать основанием демократизации советского общества. И он завершается в наши дни, когда военная агрессия, аннексия чужих территорий и попрание всех правовых принципов объявляются «днем правды и справедливости», который демонстрирует господство партикулярных националистических интересов, отрицающих универсалистский смысл понятия справедливости[66].

Но семантическое поле справедливости все отчетливее демонстрирует контуры *нового нормативного конфликта*. Уже протесты 2011—2012 годов и позднейшие выступления оппозиции не просто выдвигали частные требования, но артикулировали альтернативную концепцию нормативного порядка, воплощенную в понимании «справедливости как честности», возвращающую этому понятию универсалистское измерение и связь с идеей правового государства. Вокруг этой концепции формируется новый полюс дискурса, который носит отчетливо социально-либеральный смысл. В нем объединяются достаточно разнородные лозунги и концепты, которые, однако, солидарны в том, что они выступают за демонтаж «диктатуры справедливости» и возвращение к «процедурной справедливости» социального правового государства — требование честных выборов, справедливого суда, гендерного равенства, отмены цензуры, преодоление коррупции и гарантий социальных прав[67]. В какие формы этот полюс дискурса справедливости отольется в теории и на практике, покажет будущее. Но нет сомнения в том, что он будет означать деконструкцию партикуляристских представлений о «самобытной цивилизации справедливости» и «особом пути России».

* * *

На примере понятия справедливости в его постсоветской истории мы можем конкретно изучать связь социальной теории и публичного дискурса в ситуации нормативных конфликтов. В начале и в конце постсоветского периода это понятие становится индикатором и фактором социальных конфликтов — оно не только рефлектирует политические дискурсы, но и формирует их, о чем свидетельствует поляризация универсалистской и партикуляристской семантик справедливости. Вместе с тем критический анализ истории понятия позволяет показать, что социальный миф о Советском Союзе как обществе «социальной справедливости» — это позднеперестроечная конструкция, выражавшая стремление изменить несправедливый характер советского режима. Историзируя и контекстуализируя эти мифы, история понятий осуществляет тем самым и критику дискурса, которая позволяет обществу добиться адекватного знания о себе.

---

66 *Латухина К.* Сегодня день правды и справедливости // Российская газета. 2022. 30 сентября (https://rg.ru/2022/09/30/putin-vystupil-na-mitinge-koncerte-na-vasilevskom-spuske.html (дата обращения: 20.10.2022)).

67 О спектре протестных движений и их лозунгах см.: [Год Навального 2021]. См. также концепцию «переходного правосудия», предусматривающую восстановление правового порядка и справедливости [Бобринский, Дмитриевский 2021].

Библиография / References

[Алексеев 2003] — *Алексеев Н.Н.* Русский народ и государство. М.: Аграф, 2003.

(*Alekseev N.N.* Russkiy narod i gosudarstvo. Moscow, 2003.)

[Багдасарян 2011] — *Багдасарян В.Э.* Неправовых государств не существует // Правовое государство: проблемы формирования и развития. Материалы постоянно действующего научного семинара. 2011. № 4 (42). С. 93—96.

(*Bagdasarjan V.E.* Nepravovykh gosudarstv ne sushchestvuet // Pravovoe gosudarstvo: problemy formirovaniya i razvitiya. Materialy postoyanno deystvuyushchego nauchnogo seminara. 2011. № 4 (42). P. 93—96.)

[Барабанов 2007] — *Барабанов Е.В.* Постсоветская художественная субъективность: Стратегия vs. рефлексия // Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге / Под ред. Н.С. Плотникова, А. Хаардта при участии В.И. Молчанова. М.: Модест Колеров, 2007. С. 453—471.

(*Barabanov E.V.* Postsovetskaya khudozhestvennaya sub"ektivnost': Strategiya vs. refleksiya // Personal'nost'. Yazyk filosofii v russko-nemetskom dialoge / Ed. by N.S. Plotnikova, A. Haardta, V.I. Molchanova. Moscow, 2007. P. 453—471.)

[Современный либерализм 1998] — Современный либерализм / Берлин И., Дворкин Р., Ролз Дж. и др.; пер. с англ., предисл. Л.Б. Макеевой. М.: Издательство ДИК, 1998.

(Sovremennyy liberalizm / Berlin I., Dvorkin R., Rols J. et al. / Introduction by L.B. Makeeva. Moscow, 1998.)

[Бобринский, Дмитриевский 2021] — *Бобринский Н.А., Дмитриевский С.М.* Между местью и забвением: концепция переходного правосудия для России: аналитический доклад. М., 2021 // https://trjustice.ilpp.ru/ (дата обращения: 20.10.2022).

(*Bobrinskij N.A., Dmitrievskij S.M.* Mezhdu mest'yu i zabveniem: kontseptsiya perekhodnogo pravosudiya dlya Rossii: analiticheskiy doklad. Moscow, 2021 // https://trjustice.ilpp.ru/ (accessed: 20.10.2022).)

[Брусиловский 2010] — *Брусиловский М.* Русская правда. Хартия прав и свобод русского народа // Вопросы национализма. 2010. № 2. С. 214—215.

(*Brusilovskij M.* Russkaya pravda. Khartiya prav i svobod russkogo naroda // Voprosy natsionalizma. 2010. № 2. P. 214—215.)

[Год Навального 2021] — Год Навального. Политика протеста в России 2020—2021: стратегии, механизмы и последствия / Под ред. К. Рогова. М.: Либеральная миссия, 2021.

(God Naval'nogo. Politika protesta v Rossii 2020—2021: strategii, mekhanizmy i posledstviya / Ed. by K. Rogov. Moscow, 2021.)

[Горбачев — Ельцин 1992] — Горбачев — Ельцин: 1500 дней политического противостояния / Сост. Л.Н. Доброхотов. М.: Терра, 1992.

(Gorbachev — El'tsin: 1500 dney politicheskogo protivostoyaniya / Comp. by L.N. Dobrohotov. Moscow, 1992.)

[Гусейнов 2003] — *Гусейнов Г.Ч.* Д.С.П.: Материалы к русскому словарю общественно-политического языка конца XX века. М.: Три квадрата, 2003.

(*Gusejnov G.Ch.* D.S.P.: Materialy k russkomu slovaryu obshchestvenno-politicheskogo yazyka kontsa XX veka. Moscow, 2003.)

[Давидович 1989] — *Давидович В.Е.* Социальная справедливость: идеал и принцип действия. М.: Политиздат, 1989.

(*Davidovich B.E.* Sotsial'naya spravedlivost': ideal i printsip deystviya. Moscow, 1989.)

[Денисов 2001] — *Денисов С.Ф.* Жизненные и антропологические смыслы правды и неправды. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2001.

(*Denisov S.F.* Zhiznennye i antropologicheskie smysly pravdy i nepravdy. Omsk, 2001).

[Заславская 1986] — *Заславская Т.И.* Человеческий фактор развития экономики и социальная справедливость // Коммунист. 1986. № 13. С. 13—26.

(*Zaslavskaja T.I.* Chelovecheskiy faktor razvitiya ekonomiki i sotsial'naya spravedlivost' // Kommunist. 1986. № 13. P. 13—26.)

[Иванников 2019] — *Иванников С.* Россия и социализм XXI в. // Вопросы национализма. 2019. № 1 (32). С. 3—74.

(*Ivannikov S.* Rossiya i sotsializm XXI v. // Voprosy natsionalizma. 2019. № 1 (32). P. 3—74.)

[Кашников 2004] — *Кашников Б.Н.* Либеральные теории справедливости и политическая практика России. Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2004.

(*Kashnikov B.N.* Liberal'nye teorii spravedlivosti i politicheskaya praktika Rossii. Velikiy Novgorod, 2004.)

[Клямкин 2018] — *Клямкин И.М.* Какая дорога ведет к праву? М.: Мысль, 2018.

(*Kljamkin I.M.* Kakaya doroga vedet k pravu? Moscow, 2018.)

[Колесов 2004] — *Колесов В.В.* Истинная правда // Колесов В.В. Слово и дело. Из исто-

рии русских слов. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. С. 522—537.
(*Kolesov V.V.* Istinnaya pravda // Kolesov V.V. Slovo i delo. Iz istorii russkikh slov. Saint Petersburg, 2004. P. 522—537.)
[Кукоба 2004] — *Кукоба О.А.* Доминанты российского национального менталитета // Вестник Воронежского государственного университета. 2004. № 2. С. 191—208.
(*Kukoba O.A.* Dominanty rossiyskogo natsional'nogo mentaliteta // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. 2004. № 2. P. 191—208.)
[Матузов 2001] — *Матузов Н.И.* Теория и практика прав личности // Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Юрист, 2001.
(*Matuzov N.I.* Teoriya i praktika prav lichnosti // Teoriya gosudarstva i prava. Kurs lektsiy / Ed. by N.I. Matuzov, A.V. Mal'ko. Moscow, 2001.)
[Медушевский 2014] — *Медушевский А.Н.* Российская правовая традиция — опора или преграда? М.: Фонд «Либеральная миссия», 2014.
(*Medushevskij A.N.* Rossiyskata pravovaya traditsiya — opora ili pregrada? Moscow, 2014.)
[Менцель 2006] — *Менцель Б.* Гражданская война слов: литературная критика периода перестройки / Пер. с нем. Г.В. Снежинской. СПб.: Академический проект, 2006.
(*Menzel B.* Bürgerkrieg um Worte: Die russische Literaturkritik der Perestrojka. Saint Petersburg, 2006. — In. Russ.)
[Общественная жизнь Ленинграда 2009] — Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки. 1985—1991: Сб. материалов / Сост. О.Н. Ансберг, А.Д. Марголис. СПб.: Серебряный век, 2009.
(Obshchestvennaя zhizn' Leningrada v gody perestroyki. 1985—1991: Sb. materialov / Comp. by O.N. Ansberg, A.D. Margolis. Saint Petersburg, 2009.)
[Печерская 2000] — *Печерская Н.В.* Справедливость: социальная аналитика и прагматика представлений: Дис. ... канд. филос. наук. СПб., 2000.
(*Pecherskaja N.V.* Spravedlivost': sotsial'naya analitika i pragmatika predstavleniy: PhD thesis. Saint Petersburg, 2000.)
[Плотников 2007] — *Плотников Н.С.* «Право на достойное существование»: к истории дискурса справедливости в русской мысли // Логос. 2007. № 5 (62). С. 111—133.
(*Plotnikov N.S.* "Pravo na dostoynoe sushchestvovanie": k istorii diskursa spravedlivosti v russkoy mysli // Logos. 2007. № 5 (62). P. 111—133.)
[Правда 2011] — «Правда»: дискурсы справедливости в русской интеллектуальной истории / Ред. Н.С. Плотников. М.: Ключ-С, 2011.
("Pravda": diskursy spravedlivosti v russkoy intellektual'noy istorii / Ed. by N.S. Plotnikov. Moscow, 2011.)
[Прокофьев 2013] — *Прокофьев А.В.* Воздавать каждому должное...: введение в теорию справедливости. М.: Альфа-М, 2013.
(*Prokof'ev A.V.* Vozdavat' kazhdomu dolzhnoe…: vvedenie v teoriyu spravedlivosti. Moscow, 2013.)
[Проди 2017] — *Проди П.* История справедливости: от плюрализма форумов к современному дуализму совести и права / Пер. с итал. И. Кушнарёвой; пер. с лат. А. Апполонова. М.: Издательство Института Гайдара, 2017.
(*Prodi P.* Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto. Moscow, 2017. — In Russ.)
[Россия сегодня 1991] — Россия сегодня. Политический портрет в документах 1985—1990 / Ред. Б. Коваль. М.: Международные отношения, 1991.
(Rossiya segodnya. Politicheskiy portret v dokumentakh 1985—1990 / Ed. by B. Koval'. Moscow, 1991.)
[Руткевич 1986] — *Руткевич М.Н.* Социалистическая справедливость // Социологические исследования. 1986. № 3. С. 15—23.
(*Rutkevich M.N.* Sotsialisticheskaya spravedlivost' // Sotsiologicheskie issledovaniya. 1986. № 3. P. 15—23.)
[Слоян 2009] — *Слоян Г.Г.* Коммуникативный дискурс справедливости: Дис. ... канд. филос. наук. СПб., 2009.
(*Slojan G.G.* Kommunikativnyy diskurs spravedlivosti: PhD thesis. Saint Petersburg, 2009.)
[Социализм 1988] — Социализм: социальная справедливость и равенство / Отв. ред. А.П. Бутенко. М.: Наука, 1988.
(Sotsializm: sotsial'naya spravedlivost' i ravenstvo / Ed. by A.P. Butenko. Moscow, 1988.)
[Сулакшин 2011] — *Сулакшин С.С.* На пороге нравственного государства // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2011. № 4. С. 98—103.
(*Sulakshin S.S.* Na poroge nravstvennogo gosudarstva // Problemnyy analiz i gosudarstvenno-upravlencheskoe proektirovanie. 2011. № 4. P. 98—103.)
[Черников 2002] — *Черников М.В.* Философия правды в русской культуре. Воронеж: [Б.и.], 2002.
(*Chernikov M.V.* Filosofiya pravdy v russkoy kul'ture. Voronezh, 2002.)

[Frazer 2007] — *Frazer N.* Abnormal Justice // Justice, Governance, Cosmopolitanism, and the Politics of Difference: Reconfigurations in a Transnational World / Ed. by A. Appiah. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2007. P. 117—147.

[Koenen 2019] — *Koenen G.* Gerechtigkeitsvorstellungen im Marxismus und Bolschewismus // Gerechtigkeit in Russland. Sprachen, Konzepte, Praktiken / Hrsg. von N. Plotnikov. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2019. S. 187—200.

[Kuhr-Korolev 2015] — *Kuhr-Korolev C.* Gerechtigkeit und Herrschaft. Von der Sowjetunion zum Neuen Russland. Paderborn: Wilhelm Fink; Ferdinand Schöningh, 2015.

[Kuhr-Korolev 2019] — *Kuhr-Korolev C.* Gerechte Herrschaft'. Überlegungen zur Personalisierung von Herrschaft in Russland seit 1989 // Gerechtigkeit in Russland. Sprachen, Konzepte, Praktiken / Hrsg. von N. Plotnikov. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2019. S. 393—422.

[Plaggenborg 2018] — *Plaggenborg S.* Pravda: Gerechtigkeit, Herrschaft und sakrale Ordnung in Altrussland. Paderborn: Fink, 2018.

Татьяна Венедиктова

Прагматический поворот — со скрипом

Tatiana Venediktova

The Pragmatic Turn, with a Creak

Татьяна Венедиктова (МГУ; профессор филологического факультета; заведующая кафедрой теории дискурса и коммуникации; доктор филологических наук) tvenediktova@mail.ru

Ключевые слова: литературная прагматика, прагматизм, социальность, воображение, эстетический опыт, воплощенное знание, преподавание литературы

УДК: 82.0
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_189

Литературная прагматика предполагает внимание к тексту как к многослойной интеракции с участием виртуальных и реальных субъектов, с учетом множественных, изменчивых и в разной степени воображаемых контекстов. Эта работа ассоциируется пока нередко с применением к художественным текстам инструментария лингвистической прагматики, но полноценная ее реализация требует большего. Важна динамичная и плотная вовлеченность филологии в междисциплинарные сотруднические альянсы (с антропологией, психологией, когнитивистикой, социологией), а также грамотная разработка инсайтов, восходящих к классике философского прагматизма, — связанных с природой культурного, познавательного, эстетического опыта. Перенос акцента с текста-как-объекта на текст-как-взаимодействие обусловливает и необходимость обновления литературно-педагогических практик.

Tatiana Venediktova (Dr. habil.; Professor and Chair, School of Philology, Department of Discourse and Communication Studies, MSU) tvenediktova@mail.ru

Key words: literary pragmatics, pragmatism, sociality, imagination, aesthetic experience, embodied cognition, literary pedagogy

UDC: 82.0
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_189

Literary pragmatics presupposes attention to the text as a multilayered interaction with the participation of virtual and real subjects, taking into account multiple changing contexts that are imaginary to varying degrees. This work is often still associated with application of the tools of linguistic pragmatics to literary texts, but its full implementation requires more. What is important is the dynamic and close involvement of philology in an interdisciplinary working alliance (with anthropology, psychology, cognitive science, and sociology), as well as the appropriate reworking of insights dating back to classical philosophical pragmatism related to the nature of cultural, cognitive, and aesthetic experience. The shift in emphasis from text-as-object to text-as-interaction also gives rise to the need to refresh literary and pedagogical practices.

Когда и кто первым решил подумать о языке как о действии, среде взаимодействия, энергетическом ресурсе? Установить невозможно, хотя бы потому, что соответствующий интерес — к возможности осуществлять действия при помощи слов — неотделим от языкового творчества как такового. Перевооружаясь технологически, сначала посредством письменности, потом печати, потом электронного сигнала, слово по-разному являло свою силу и бессилие. Вопрос о языковой магии поднимался не раз, но… едва ли можно сказать, что мы приблизились к овладению ею или ее разоблачению[1]. Зона соответствующего ис-

1 В интеллектуальном детективе Л. Бине «Седьмая функция языка» [Бине 2020] самая загадочная из функций языка, дополнительная к общеизвестным шести, выведен-

следовательского внимания тем не менее оформилась и за последние полвека стала как никогда влиятельной. Она обозначается словом «прагматика», — не очень удобным в качестве термина, поскольку за ним тянется шлейф слишком разных значений.

Оглядываясь в историю, мы видим длинную цепочку метамофоз: от греческого *pragma* (вещь, дело, действие) образовалось позднелатинское прилагательное *pragmaticus* (имеющий к отношение к действию, действительности), которое обитало в европейских языках относительно незаметно, пока Иммануил Кант не пригласил его в науку. Последняя работа, опубликованная философом при жизни — «Об антропологии с прагматической точки зрения» (1798), — открыла «вид» на человека, осознающего себя не (только) дитятей природы, но свободно действующим агентом, способным к созиданию и самосозиданию. Это важное, если не определяющее, для современности значение слова заодно с самим словом подобрал у Канта Чарльз Пирс, а еще позже позаимствовал (к неудовольствию Пирса) Уильям Джеймс. На рубеже XIX и XX столетий философский «прагматизм» стал сначала американской, потом международной модой и, даже перестав ею быть, сохранил присутствие на интеллектуальной сцене.

«Новое волевое устремление» мысли, как сказал в 1910 году о заокеанской новинке Семен Франк (см.: [Дёмин 2019: 166]), определялось желанием фокусироваться не на умозрительных сущностях, самодостаточных объектах или объективных системах знания, а на субъектах, процессах, контекстах деятельности, на опыте отношений, на конкретных формах соучастия и режимах вовлеченности. Прагматизм, настаивал Джеймс, «прежде всего метод» (primarily a method), именно и «только ориентирующая установка» (only an attitude of orientation) [James 1987: 510], свободная от претензий на статус учения или доктрины. «Устремление», оно же «метод» и «установка», слабо отвечали позднее сложившемуся структуралистскому вкусу к строгой научности, но иным запросам культурной и интеллектуальной жизни соответствовали успешно. Из гуманитариев, работавших в постструктуралистском ландшафте второй половины XX века, редко кто не был близок в той или иной степени прагматизму, хотя редко кто себя числил прагматистом буквально. Импульсы прагматически направленного интереса происходили из разных источников, транслировались через разные интеллектуальные среды, образуя движение с общим вектором и множеством поворотов.

Способ описания научной жизни посредством «поворотов» как раз в эту пору приобрел популярность. За «поворотом к знаку» последовал «лингвистический поворот», дополненный «поворотом к читателю» (адресату, реципиенту). Начиная с 1980-х годов на внимание ученого сообщества претендовали поочередно, а то и одновременно, повороты «перформативный» (performative), «опытный» (experiential), «когнитивный» (cognitive), «медийный» (medial), «материальный» (material) и еще иные. Каждый следующий сменял и вре-

---

ным Романом Якобсоном, — магическая. В романе это предмет интереса полицейских, политиков, медийных персон и ученых, гуру семиологии и деконструкции. Читая произведение, действие которого отнесено к 1980 году, во второй-третьей декаде XXI столетия, ясно ощущаешь, что теоретическая проблема, из которой рождается интрига, растворившись с тех пор еще глубже в повседневных коммуникативных практиках, нового освещения так пока и не получила.

менно затмевал предыдущие, не скрывая родственной преемственности в отношении их и создавая ощущение неустанного продвижения, освоения все новых территорий.

По-русски есть выражение «сапоги со скрипом», — иронически напоминающее о простонародной моде на скрип как звучное оповещение о ещеноношенности обуви. Скрип — способ привлечь внимание к новизне, продемонстрировать ее как завидное достоинство. В той мере, в какой научная коммуникация последних десятилетий — на Западе больше, чем в России, — подражала рыночной, медийный «скрип» воспринимался как а) свидетельство здоровой инновативной активности и б) практическое средство раскрутки интеллектуальных брендов. Даже оглядку на подзабытое старое можно выигрышно представить как новаторский прорыв, — и в философии, например, «прагматическим поворотом» назвали проснувшийся под конец XX века интерес к «классикам»: Пирсу, Джеймсу, Миду, Дьюи. Теперь, однако, они предстали как (по Фуко) «основатели дискурсивности», и их опыт оказался релевантен не только для философов.

«Нет сомнения в том, что устремленный вперед и нестабильный характер американской жизни облегчил рождение философии, рассматривающей мир как бесконечно становящийся, открытый неопределенности, новизне и реальному будущему» [Dewey 1998: 12], — так писал Дьюи в 1925 году в статье «Развитие американского прагматизма». Сказанное об Америке справедливо, конечно, и в отношении многих других контекстов, — где «параллельно» зреют близкие форматы мысли. С этой точки зрения, например, пока еще недостаточно исследовано творчество М.М. Бахтина или Л.С. Выготского[2].

Понятие «прагматика» состоит с «прагматизмом» в родстве через семиотику. В этот особый раздел науки о знаках Чарльз Моррис предложил складывать все, что не помещалось в семантическом и синтаксическом описании языковых явлений, — связанное с пользователями и контекстами пользования речью. Объем того, что «не помещалось», но требовало к себе внимания, быстро нарастал, — так в 1970-х годах возникает лингвистическая прагматика и превращается за следующие полвека в процветающее научное поле. С самого начала поле это отличалось эклектичностью, пестротой и рыхлостью, во многом и по сей день таким остается: кто занимается речевыми актами, кто — дейктикой, кто — принципами организации спонтанной устной речи или правилами речевого сотрудничества. На художественную литературу интерес «отцов» нового направления — философов Дж.Л. Остина, Дж. Серля, П. Грайса — исходно не распространялся, — предложенные ими подходы стали предметом лингвистической разработки и лишь со временем были опробованы на поэзии и прозе. Литературная прагматика возникла, таким образом, с некоторым «запозданием» и, возможно, в силу вторичности большим обаянием не располагала [Венедиктова 2015]. Но в последние десятилетия ситуация ощутимо меняется. Усилие сосредоточиться на художественном тексте, переживаемом как процесс взаимодействий, рождает у литературоведов все более серьезный интерес к «значениям, возникающим за пределами лингвистической структуры» [Literary Pragmatics 2015: 27], к поиску альтернатив привыч-

2 Примеры сближений, пока лишь точечных, привести нетрудно. Ср. главу с выразительным названием «Любопытное сходство: Выготский, Мид и американский прагматизм» [The Cambridge Companion 2007]. См. также статью [Lorriggio 1990].

ным представлениям о языке как о системе кодов и к новым, неожиданным междисциплинарным альянсам.

1. Опыт высказывания и высказывание как опыт

Вопрос «что делает?», применяемый к литературному тексту вместо более привычного «что значит?», сопряжен с рисками хотя бы потому, что выводит за предел обжитой, предсказуемой, «нормальной» (по Т. Куну) филологической науки. Во главе угла располагаются теперь не структуры языка, наблюдаемые глазом, дисциплинированным и вооруженным лингвистикой, а интерсубъективные действия, «события» по преимуществу «текучие», слабо осознаваемые, сопротивляющиеся рационализации. Но этот же вопрос — «что делает?» — возвращает нас к базовой, интригующей для литературоведа загадке: что такое литература и для чего она нам нужна?

Вопрос о природе «литературности» ставился, как известно, много раз, но объективировать отличие литературной речи от «просто речи» так никому и не удалось. Очевидно, что дело не в особой формальной устроенности художественного текста (например, повышенной сложности или герметичности), а в формах внимания к нему и в отношениях, которые соединяют с ним читающего. То, что действия производятся текстом внутри субъекта и «понарошку», в отсутствие каких-либо прямых результатов (на каковом основании Джон Остин считал их неполноценными, etiolated), не значит, что они не происходят, более того: в воображении мы можем себе позволить даже то, на что не рискнули бы, имей такую возможность, в реальности. Предъявляя читателю некое условное прошлое, литературное произведение косвенно адресуется его (читателя) будущему. Виртуальный опыт, приобретаемый таким образом, мы удерживаем про запас, как некий резерв. В работе на будущее, ближайшее или отдаленное, кажется, и состоит «польза» литературы, — если пользу понимать широко, как открытую совокупность возможностей, к чему и приглашает корневая основа слова («льзя», то есть можно).

Коммуникация опыта, как мы знаем сегодня, предполагает по преимуществу «непрямое» использование языка, — когнитивистика активно осваивает в связи с этим понятие образ-схемы [Johnson 1990], или телесной, или миметической схемы [Zlatev 2005]. Речь во всех случаях идет о простых, но гибких, легко трансформируемых шаблонах, структурирующих наш опыт на доконцептуальном, доязыковом уровне — чувственно-эмоциональных модальностей восприятия и познавательной деятельности. В литературоведении пионерские работы в этом направлении (например, Марка Тернера [Turner 1996]) широко цитируются, хотя полноценной реализации оно пока не получило. Нарастающий интерес к миметике, непосредственной воплощенности, «материализации» смыслов, их аффективной окрашенности и наполненности, так или иначе, налицо, его нельзя не заметить[3]. При осмыслении этой относительно новой проблематики полезными оказываются ранние инсайты прag-

3 Канадский нейропсихолог Мерлин Доналд так резюмирует этот подход: «Литература в поверхностно наблюдаемых формах как будто бы больше зависит от языка, чем от непосредственного подражания, <но> в последнем счете ее формируют миметические импульсы, исходящие из глубин сознания писателя» [Donald 2006: 19].

матистов, — те самые, которыми аналитическая философия языка склонна была пренебрегать[4].

Трактуя опыт как взаимосвязь (отнюдь не противоположение!) чувственного и умозрительного, Уильям Джеймс, например, остро интересовался именно теми элементами в языке, которые за неимением более подходящего названия он описывал как «транзитивные». Фактически это зоны контакта, точки перехода, лигатуры, отношения, возникающие ситуативно и остающиеся безымянными, поскольку от означивания они ускользают. С точки зрения «нормальной лингвистики», — несущественная периферия (Джеймс и описывает ее метафорически как fringe или halo — бахрома, кромка, ореол, экспериментальный край), но с точки зрения психолога, антрополога, литературоведа — фокус потенциального интереса. Использование языка, которое кажется «непрактичным» и «непредставительным» в силу неоднозначности, неинформативности, неполноты, нестабильности контекста, непрозрачности интенции, таит в себе массу возможностей, драгоценных с точки зрения передачи опыта.

Не менее бурные дебаты развертывались в последние десятилетия вокруг категории эстетического, — и здесь тоже установки, продвигавшиеся прагматистами сто и более лет назад, оказались ложкой к обеду. Эстетикой словесного творчества «родители» прагматизма не занимались вплотную, но для них это была осязаемая лакуна, — иначе зачем бы Джону Дьюи на склоне лет браться за ее заполнение? В книге «Искусство как опыт» [Dewey 1934] он призвал отказаться от представлений об эстетике как об особой сфере, упорядоченной по законам красоты, отдельной и от полезно-практической деятельности, и от повседневной жизни. Эстетический опыт понят как наиболее полное проявление жизненного опыта как такового. Сегодня эта идея вызывает среди гуманитариев широкое сочувствие, и перед литературоведом, готовым принять прагматическую посылку, маячит допуск в огромное и разнообразное поле сотрудничества.

2. Социальность и/как активность воображения

«Общество» (society) как система, независимая от индивида, относительно стабильная и внутренне упорядоченная, с прагматической точки зрения менее интересна, чем «социальность» (sociality): совокупность практик, процессов и событий, в которых проявляется человеческая способность генерировать отношения и взаимосвязи самой разной природы. Оптимизация связей и отношений не осуществима путем директивного планирования, — она предполагает учет индивидуального, искусство гибкого маневра, работу со структурами воображаемого. У этой «хитрой», принципиально асистемной позиции есть свои плюсы и свои минусы. Те и другие интересно описывает Корнелл Уэст в книге «Американское уклонение от философии. Генеалогия прагматизма» [West 1989]. В ней он говорит о характерном для американской интеллектуальной традиции (не всей в целом, а ее прагматической составляющей) «уклонения» (evasion) от того, в чем общество традиционно усматривает долг мыслящей элиты: быть источником культурной респектабельности, надежного знания направляющих основ. Прагматист, независимо от характера политических убеждений, исходит из гипотетичности, неокончательности любой истины, до-

4 См. об этом: [Pragmatism and Embodied Cognitive Science 2016].

пускает всегдашнюю вероятность ошибки, — поэтому склонен к непоследовательности: в XX веке, показывает Уэст, многих бросало из левого утопизма в махровую охранительность или наоборот, что никого не делало счастливым. Под обложкой книги собралась причудливо-пестрая компания, в которую, помимо национальных американских классиков (Ральф Уолдо Эмерсон, Уильям Джеймс), входят мыслители самых разных направлений, включая и вовсе не американцев вроде Антонио Грамши, Мишеля Фуко или Роберто Мангабейры Унгера. Что их объединяет, на взгляд Уэста, при всей непохожести? Усилие строить многомерные модели опыта и именно на них опираться, размышляя о желаемых и возможных социальных трансформациях.

В качестве примера можно привести опыт Унгера, чьи симпатии к прагматической традиции довольно очевидны[5]. В книге «Ложная необходимость: антидетерминистская социальная теория на службе радикальной демократии» (1987) он размышляет о коммуникативных потенциалах социокультурных сообществ, поднимая, например, такие вопросы: какими формами воображения (включая воображаемые страхи) определяется привычное коллективное поведение? какие формы защиты от предполагаемых источников опасности опробуются практически и как, с каким ожидаемым или неожиданным результатом? В итоге предлагается любопытный этюд о «русских» и «американцах», достойный того, чтобы его здесь кратко резюмировать.

Для американцев, по Унгеру, расхожее представление о несчастье ассоциируется с впадением в личную зависимость, подверженностью чужой воле, пребыванием на милости и во власти другого. Защитой от этой опасности в их глазах выглядит безличность правил и процедур, а также упаковка властно-иерархических отношений в приятные оболочки приятельской или коллегиальной псевдоинтимности, «жизнерадостной, обезличенной дружественности» [Unger 1987: 109]. Русских такие решения убеждают и удовлетворяют тем менее, что они склонны предполагать неизбежность зависимости в любой социальной форме, начиная с семьи: отношения эксплуатации, обмена и взаимной любви переплетены слишком тесно, чтобы их можно было аккуратно и «начисто» отделить друг от друга. Сосуществование и смешение разных форм отношений делает социальные институты заведомо и непоправимо ущербными, но отречение от них может обернуться еще худшим ущербом — распадом, расползанием социальной ткани, чего русские как раз и боятся больше всего. На этом фоне, — поясняет далее Унгер, — получает распространение специфическая «хитрость» или «жульничество» (cheating) [Ibid.: 110]. Люди пытаются добиться каких-то выгод, иногда для себя, но чаще для того сообщества, в жизнедеятельности которого непосредственно заинтересованы (семья, рабочий коллектив, местная община), за счет интересов высшей власти или в ущерб институции-сопернице. «Далеко не всегда эти окольные действия приводят к прямому конфликту с законом. И далеко не всегда они осуждаются как безнравственные» [Ibid.]. В целом они складываются в привычно-противоречивую стратегию жизненного поведения, которая Унгером характеризуется как «неизлечимая, развращающая и искупительная» (incurable, corrupting, and redemptive) одновременно, — она соединяет в себе «банальный эгоизм и коллективно поддерживаемые, тесные узы доверия» (close collective loyalties) [Ibid.].

5 Они декларируются в том числе и прямо, в выразительном названии книги: «Пробужденное “я”: прагматизм без оков» [Unger 2007].

Американская стратегия уклонения от зависимости производит впечатление более революционной, поскольку открыто бросает вызов социальной иерархии, но опирается на неразумное (absurd) упрощение [Ibid.: 111]. Русский взгляд в чем-то более человечен, но в итоге и «более терпим к удушению личных побуждений властью» [Ibid.: 110]. Главное же состоит в том, что оба вида страха работают как самоосуществляющиеся пророчества: люди делают предмет опасений реальным, поскольку ведут себя так, как если бы он был реален, и таким образом конструируют, сочиняют социальную реальность второго порядка, способную их вдохновлять и их же ограничивать. Предрассудки или привычки, тем более стойкие, что подкрепляются историческим опытом и активно эксплуатируются политически, продолжают жить собственной жизнью, воспроизводя не только себя, но и «безутешный скепсис в отношении экспериментальной трансформируемости общественной жизни» [Ibid.]. Скепсис выглядит как оборонительная стратегия, защита от обмана и самообмана, но она-то как раз и снижает шанс успешной адаптации к будущему, — оборачивается слепотой в отношении «еще неисследованных и неосуществленных человеком возможностей жизни» [Ibid.: 113].

Мера «истинности» конструкции, выстроенной бразильским автором, не так важна, как ее эвристическая ценность. Она помогает понять, что паттерн поведения грозит стать «судьбой», будучи «только» устойчивым предрассудком, проявлением повседневного неразумия (insanity of the commonplace), возникающим «в сумеречной зоне между сбоем здравого смысла и недостатком воображения» [Ibid.: 111]. Коллективный субъект, как и индивид, по сути, сам себя закрепощает. Он способен, однако, и к самоосвобождению, — что Унгер ассоциирует с «негативной способностью». Этим словосочетанием романтик Джон Китс обозначил когда-то расположенность (более всего присущую поэтам, но в какой-то мере и всем людям) мириться со смысловой неопределенностью, усматривать в ней не препятствие, а ресурс смыслообразования[6]. В глазах Унгера это базовая прагматическая ценность, описываемая посредством неологизма: «разукрепление» (disentrenchment), «обретение силы через разукрепление» (empowerment through disentrenchment) [Ibid.: 249]. Отсутствующее в словарях, причудливое слово подразумевает ставку на осознанно-взвешенное доверие субъекта к себе и, как следствие, разумное бесстрашие перед лицом изменений. Разумеется, куда более привычна и «естественна» для нас ассоциация между ощущением силы (power), наращиванием силы (empowerment) и «укрепленностью» позиции (entrenchment), наличием сильной институциональной «рамки». Но, возражает Унгер, наделяя индивида силой, социальный институт одновременно подчиняет его себе, и стремление укрепить свою позицию нередко сочетается в человеке со страхом самоутраты. Альтернативным источником силы видится способность к воображению, внутренне связанная со способностью к творчеству и отношением доверия, включая и доверие к себе. Доверие предполагает терпимость к неопределенности, готовность встать в позицию другого, не отрекаясь от собственной, — а также способность занять в отношении властных институтов позицию, не ведущую ни к их «голому» отрицанию, ни к капитулянтству.

---

6 См.: «...то состояние, когда человек предается сомнениям, неуверенности, догадкам, не гоняясь нудным образом за фактами и не придерживаясь трезвой рассудительности» [Китс 2011: 68].

Реформистскую программу Роберто Унгера многие считают слишком умозрительной, романтичной и литературной. С социологической и практической точек зрения это, конечно, изъян, но в самой установке на понимание социального опыта через эстетический и эстетического опыта — через социальный есть немалая эвристическая ценность. К ней чуток, например, Роджер Селл, один из самых многоопытных на сегодня теоретиков литературной прагматики: секретом «литературности» он предлагает считать именно Китсову «негативную способность», притом в толковании, близком к тому, что изложено выше. Литературность, полагает Селл, — это такой модус вовлеченности в художественный текст, который сохраняет за читателем свободу творческой инициативы, уверенность в праве сотворчества, в то же время обязывает к такту в отношении партнера по интеракции и в целом располагает к «апофатической открытости сложностям жизни» [Sell 2011: 97].

3. Бесконечный разговор на ходу

Вопрос о специфике коммуникации, поддерживаемой художественным текстом, — едва ли не ключевой вопрос литературной прагматики. Текст, по свидетельству Р. Селла, «собирает вокруг себя сообщество адресатов, а те не просто выступают в роли получателей некоего сообщения, но отвечают на приглашение совместно подумать и обменяться впечатлениями по поводу того, что видится по-разному из разных жизненных миров» [Ibid.: 26]. Виртуальное сообщество, производимое литературным текстом, отмечено «щедрой готовностью к разногласию в тех случаях, когда разногласие неизбежно, и обоюдной решимостью не приписывать какой-либо из истин статус бесспорности» [Ibid.: 194]. И та и другая дефиниции прекрасно согласуются с парадоксальной моделью *образцовой, поскольку заведомо несовершенной* коммуникации, которую вынашивала прагматистская мысль.

Используя метафору своего итальянского единомышленника, писателя Джованни Папини, Уильям Джеймс предлагал представить прагматизм чем-то вроде коридора в гостинице, где у каждого временного постояльца есть свое пространство, — в одном номере человек молится, в другом сочиняет стихи, в третьем ставит химические опыты [James 1987: 510]. Привести представления о жизни и жизненные задачи к общему знаменателю, монолитному единству заведомо невозможно, — на него и нет расчета. Коридор не ассамблея, не зал суда и не академическая аудитория — здесь не выносятся судьбоносные решения, не присуждаются ученые степени: коридорный разговор свободен от проформ и пафоса, он опирается на нормы простой вежливости и исключает узурпацию внимания кем-либо. Контактное пространство, представление о котором формирует метафора Джеймса, служит всего лишь для поддержания досужего соседства, но ввиду возможностей еще неочевидных, способных возникнуть в будущем, само его наличие решающе важно.

Другую известную прагматическую метафору «бесконечного разговора» (unending conversation) мы встречаем у К. Бёрка. Представим себе, предлагает философ, светскую вечеринку на опознаваемо-американский манер — общий разговор в гостиной, куда «вы» заходите слегка припоздав. Присутствующие уже обсуждают что-то (не обязательно все — одно и то же), и им некогда прерывать дискуссию, чтобы ввести вновь пришедшего в курс дела (в такой роли —

припоздавшего к началу разговора — уже побывал любой из собеседников, восстановить все ранее состоявшиеся ходы и повороты длящегося полилога не мог бы никто, да и не это по-настоящему важно). Вы вслушиваетесь некоторое время, пока не решите, что ухватить нить (tenor — общий смысл, течение, направленность. — *Т. В.*), и готовы приложить свое усилие к к усилию общему (put in your oar). Кто-то возразит вам, и вы — кому-то, некто другой возьмется защищать вашу позицию, а еще некто — противоречить, тем либо обескураживая, либо радуя вашего оппонента, в зависимости от качества союзнического участия. Дискуссия, однако, не имеет конца. А час уже поздний, вам пора уходить. И вы уходите, дискуссия между тем продолжается с неубывающей живостью [Burke 1941: 110—111].

Всем русским читателям памятен, разумеется, толстовский скепсис в отношении бессмысленно крутящихся веретен салонной беседы, ее сравнение с прядильной мастерской. У Бёрка многоголосие и как-бы-обезличенность общего разговора — не признак пустоты и легкомыслия, а стратегическое преимущество. Эта модель общения чем-то похожа на бахтинский карнавал (разве что карнавальная стихия «приструнена» благоприличными манерами среднего класса): консенсус и в этом случае не предвидится, и не с ним ассоциируется ценность, а со взвесью возможностей, которые генерируются и плодятся по ходу взаимодействия.

Эта модель коммуникации по-настоящему очень напоминает литературное общение, где вопрошание предполагает диалог, диалог — другого, другой — продуктивную неопределенность, а неопределенность — открытое пространство маневра. Смысл переживается острее, будучи поставлен под вопрос, или когда он еще не вполне состоялся, или не устоялся, или стал сомнительным. Поэтому душа литературы с прагматической точки зрения — преобразование вопроса в ответ и ответа в вопрос, тонкое «искусство *не*достижения цели» (the art of *not* arriving) [Poirier 1992: 179], — если считать целью высказывания донесение информации или законченного смыслового тезиса. «Язык в стремлении передать поток индивидуального опыта перестает быть инструментом объяснения или достижения ясности, напротив, служит сохранению неопределенности и туманности» (saving uncertainty and vagueness) [Ibid.: 3]. Но не вступает ли этот приоритет в противоречие, притом разительное, со школьными практиками, в рамках которых большинство людей знакомятся с литературой как с культурным явлением?

4. «То, что преподается»

Полвека назад Ролан Барт заметил, что словосочетание «преподавание литературы» своего рода тавтология: мы склонны называть литературой именно «*то, что преподается*» («La littérature, c'est ce qui s'enseigne» [Barthes 1971: 177]). Не секрет, что литературное образование — самый консервативный компонент литературной жизни. Не слишком изменившись со времени своего формирования в XIX веке, оно предполагает (в господствующем представлении) трансляцию знания об общих ценностях, воплощенных в «каноне» образцовых текстов. Приобщение к первым через вторые должно способствовать правильной социализации, в итоге нравственному здоровью общества. В последнем, бесспорно, заинтересованы все. Но так же бесспорно и другое: в усло-

виях, когда визуальность и аудиальность не только вступают во все более плотный контакт с «буквенностью», но часто и затмевают ее, литературное образование становится по-новому проблематично. Можно сказать, что оно страдает одновременно от подверженности прагматизму и недостатка прагматизма (с учетом несовпадения бытового и научного значений слова).

Многие из филологов узнают себя — без всякой радости — в центральном персонаже романа Джона Кутзее «Бесчестье» (1999) — профессоре литературы, чья кафедра подверглась характерной для наших дней рационализации или прагматизации. Курсы по истории литературы оттеснены более «полезными» занятиями типа «Введения в коммуникацию» и даже в усеченном виде кажутся ненужными, — это переживается протагонистом как профессиональное «бесчестье» (усугубляемое еще букетом болезненных личных провалов). В отношении героя романа, филолога-расстриги, читатель испытывает сложную смесь сочувствия, скепсиса и отвращения, притом не может не искать — с ним вместе — ответа на вопрос: что можно противопоставить состоянию «бесчестья»? В финале герой, так и не решаясь вернуться в лоно академии, вместо очередной монографии о романтизме сочиняет камерную оперу для банджо с небольшим оркестром — конечно, о Байроне, предмете своих пожизненных штудий, точнее, о любви Байрона, или, еще точнее, о любовном воспоминании о ней, звучащем в душе Терезы Гвиччиоли, уже постаревшей и совсем не похожей на собственный романтический образ. Профессор-писатель-композитор исполнен смиренной самоиронии и не особенно верит в успех затеи, но отказаться от нее не может, ассоциируя свои усилия с заботой о неведомом будущем. Так же и автором романа, Джоном Кутзее, завзятым скептиком, движет в творчестве (по собственному его признанию) смутное чувство «ответственности перед тем, что еще не появилось» (responsibility toward something that has not yet emerged) [Coetzee 1992: 246]. Кажется, в производстве сходного чувства Михаил Бахтин видел смысл прозы Достоевского: она (как, наверное, любая хорошая проза) побуждает читателя поверить в то, что «ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди» [Бахтин 1963: 223]. Функция художественного воображения здесь усматривается в приспособлении не к тому, что уже состоялось, а к тому, что становится, зависимо и независимо от человеческих усилий.

Прагматическое представление о литературе как о своего рода лаборатории, где осуществляется экспериментальное расширение опыта, адаптация к будущему, не противопоказано школьному литературному образованию даже при его сохраняющейся ориентации на просветительскую модель знания, передаваемого от учителя, который им владеет, ученику, который его усваивает. Но соединить эти посылы нелегко, и литература как школьный предмет сегодня — источник «скрипа», возникающего за счет сопротивления, внутреннего разлада, трения несогласно движущихся частей. Этот жалобный скрип звучит одновременно с торжествующе саморекламным, о котором шла речь выше. Оба сигнала важно слышать, а думать — прежде всего о процессе (трансформации представлений о литературе), который оба сопровождают. Многие авангардистские эксперименты в XX веке были направлены на «расшатывание институционального субстрата литературы» [Арсеньев 2019: 24], даже на замещение ее авансом «чем-то вроде всеобщей коммуникативной сети по образцу современных социальных сетей» [Там же: 34]. Рано или поздно экспе-

риментальный пыл угасал, — это позволяет Павлу Арсеньеву описывать проект русских формалистов 1920-х годов как «незамеченный прагматический поворот» [Там же: 24], опробованный до времени и безвременно закончившийся. Но момент движения при этом не уходил в песок, как не исчезала и не исчезает из литературной жизни упорная склонность к саморефлексии, готовность в разных формах ставить вопрос, отсылающий к самой сути отношений пишущих и читающих: как люди становятся людьми в отсутствие заведомого нормативного аршина, в контексте взаимозаинтересованного диалога, в пространстве встречно направленного воображения?

Библиография / References

[Арсеньев 2019] — *Арсеньев П.* Литература факта высказывания. Очерки по прагматике и материальной истории литературы. СПб.: Транслит, 2019.

(*Arsen'yev P.* Literatura fakta vyskazyvaniya. Ocherki po pragmatike i material'noy istorii literatury. Saint Petersburg, 2019.)

[Бахтин 1963] — *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963.

(*Bakhtin M.M.* Problemy poetiki Dostoyevskogo. Moscow, 1963.)

[Бине 2020] — *Бине Л.* Седьмая функция языка / Пер. с фр. А. Захаревич. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020.

(*Binet L.* La Septième Fonction du langage. Saint Petersburg, 2020. — In Russ.)

[Венедиктова 2015] — *Венедиктова Т.* Литературная прагматика: конструкция одного проекта (обзор исследований литературы как коммуникации) // Новое литературное обозрение. 2015. № 135. С. 326—345.

(*Venediktova T.* Literaturnaya pragmatika: konstruktsiya odnogo proyekta (obzor issledovaniy literatury kak kommunikatsii) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2015. № 135. P. 326—345.)

[Дёмин 2019] — *Дёмин И.* Критика классического прагматизма в философии С.Л. Франка // 150 лет прагматизма. История и современность / Отв. ред. И. Джохадзе. М.: Академический проект, 2019. С. 161—172.

(*Dëmin I.* Kritika klassicheskogo pragmatizma v filosofii S.L. Franka // 150 let pragmatizma. Istoriya i sovremennost' / Ed. by I. Dzhokhadze. Moscow, 2019. P. 161—172.)

[Китс 2011] — *Китс Дж.* Письма 1815—1820 / Пер. с англ. С.Л. Сухарева. СПб.: Наука, 2011.

(*Keats J.* Letters, 1815—1820. Saint Petersburg, 2011. — In Russ.)

[Barthes 1971] — *Barthes R.* Réflexions sur un manuel // L'Enseignement de la littérature / Sous la dir. de S. Doubrovsky et T. Todorov. Paris: Plon, 1971. P. 170—177.

[Burke 1941] — *Burke K.* The Philosophy of Literary Form. Berkeley: University of California Press, 1941.

[The Cambridge Companion 2007] — The Cambridge Companion to Vygotsky / Ed. by H. Daniels, M. Cole, J. V. Wertsch. Cambridge University Press, 2007.

[Coetzee 1992] — *Coetzee J.M.* Doubling the Point: Essays and Interviews / Ed. by D. Attwell. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1992.

[Dewey 1934] — *Dewey J.* Art as Experience. New York: Capricorn Books, 1934.

[Dewey 1998] — *Dewey J.* The Essential Dewey. Vol. 1: Pragmatism, Education, Democracy / Ed. by L.A. Hickman, T.M. Alexander. Bloomington: Indiana University Press, 1998.

[Donald 2006] — *Donald M.* Art and Cognitive Evolution // The Artful Mind. Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity / Ed. by M. Turner. Oxford University Press, 2006.

[James 1987] — *James W.* Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking // William James, Writings 1902—1910 / Ed. by B. Kuklick. New York: The Library of America, 1987.

[Johnson 1990] — *Johnson M.* The Body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1990.

[Literary Pragmatics 2015] — Literary Pragmatics / Ed. by R. Sell. London; New York: Routledge, 2015.

[Lorriggio 1990] — *Lorriggio F.* Mind as Dialogue: The Bakhtin Circle and Pragmatist Psychology // Critical Studies. 1990. Vol. 1/2. P. 91—110.

[Pragmatism and Embodied Cognitive Science 2016] — Pragmatism and Embodied Cognitive Science: From Bodily Intersubjectivity to Symbolic Articulation / Ed. by R. Madzia, M. Jung. Berlin: De Gruyter, 2016.

[Poirier 1992] — *Poirier R.* Poetry and Pragmatism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

[Sell 2011] — *Sell R.* Communicational Criticism: Studies in Literature as Dialogue. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2011.

[Turner 1996] — *Turner M.* The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. Oxford and New York: Oxford University Press, 1996.

[Unger 1987] — *Unger R.* False Necessity. Anti-Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 1987.

[Unger 2007] — *Unger R.* The Self Awakened: Pragmatism Unbound. Cambridge: Harvard University Press, 2007.

[West 1989] — *West C.* The American Evasion of Philosophy. A Genealogy of Pragmatism. Madison: The University of Wisconsin Press, 1989.

[Zlatev 2005] — *Zlatev J.* What's in a schema? Bodily mimesis and the grounding of language // From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics / Ed. by B. Hampe. Berlin: Mouton de Gruyter, 2005. P. 313—342.

Российская империя как объект (пост)колониальных исследований

Кевин М.Ф. Платт

Постсоциалистические постколонии и руины глобальной истории

Kevin M.F. Platt

The Post-Socialist Postcolonial and the Ruins of Global History

Кевин М.Ф. Платт (Университет Пенсильвании, Филадельфия, США; профессор на факультете русских и восточноевропейских исследований; PhD славянских языков и литератур) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Ключевые слова: постколониальные исследования, постсоциалистические исследования, славистика, история империи, история идеологии, СССР, Латвия, Россия

УДК: 009+303.4+325.3+327.2
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_201

Критический словарь постколониальной теории редко применялся к постсоциалистическому и постсоветскому пространству до 2000-х годов, и только в последнее десятилетие стал более широко использоваться в исследовании соответствующих регионов. При этом лишь немногие результаты такого использования «классических» постколониальных инструментов вызвали резонанс за пределами славистики и евразийских исследований. Но эта тенденция, возможно, подходит к концу, как свидетельствуют успехи двух недавних монографий Моники Попеску и Россена Джагалова. Однако резкое различие между подходами авторов, очевидное в этих книгах, многое говорит о нерешенных проблемах интеграции постсоциалистических и постколониальных терминов анализа. Как будет показано в статье на

Kevin M.F. Platt (PhD, Professor of Russian and East European Studies, Slavic Languages and Literatures at the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Key words: postcolonial studies, post-socialist studies, Slavic studies, history of empire, history of ideology, USSR, Latvia, Russia

UDC: 009+303.4+325.3+327.2
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_201

The critical dictionary of postcolonial theory was rarely applied to the post-socialist and post-Soviet space prior to 2000, and only in the last decade has it been more widely used in the study of the relevant regions. Moreover, only a few results of such use of “classic” postcolonial tools have had resonance outside of Slavic and Eurasian studies. But this trend may be coming to an end, as shown by the success of two recent monographs by Monica Popescu and Rossen Djagalov. However, the sharp difference between the two approaches of the authors that is obvious in these two books tells a lot about the unsolved problems of integration of post-socialist and the postcolonial terms of analysis. As it will be shown in the article using material from the history of postcolonial and post-socialist research, the difference between these two approaches illustrates the impossibility at present of recon-

материале истории постколониальных и постсоциалистических исследований, различие между этими двумя подходами иллюстрирует невозможность в настоящее время согласовать историю империи и историю идеологии в глобально значимой форме.

ciling the history of empire and the history of ideology in a globally meaningful form.

Я начну свое рассуждение с одного примера, который помогает пролить свет на нашу общую ситуацию — момент, когда двадцать первый век, по-видимому, набирает ускорение, двигаясь по историческим траекториям, которые невозможно было предвидеть тремя десятилетиями ранее, когда заканчивался век двадцатый. На трассе, ведущей из Риги в направлении Даугавпилса, находится кафе «Дакота» (Dakota kafejnīca) — заведение, предлагающее стандартное меню классического латвийского общепита, разбавленное влиянием глобальной индустрии замороженных продуктов: отбивные в кляре, картофель фри, майонезные салаты с картофелем и/или мясом. Самое интересное в этой придорожной забегаловке не еда, а большая коллекция артефактов, демонстрируемая внутри и на всей территории кафе, состоящая преимущественно (но не только) из советского авиационного и военного снаряжения и символики, включая несколько самолетов целиком, американскую и советскую военную технику, разнообразные виды вооружения, артиллерийские снаряды, медали и значки, авиамодели и т.п.[1] Внутри и снаружи ресторана буквально умопомрачительное количество подобных объектов тщательно расставлено, образуя единое целое, напоминающее что-то среднее между историческим музеем и арт-инсталляцией. Так или иначе, никаких сопроводительных текстов нет. Однажды летним вечером 2016 года владелец этого музея-инсталляции-ресторана Юрий, авиамеханик на пенсии, развлек меня рассказом о том, как он заполучил свое главное сокровище — кабину принадлежавшего «Аэрофлоту» авиалайнера Ан-24 (*ил.*), за которую он заплатил совершенно номинальную сумму, так как самолет был списан и отдан на слом. Юрий забрал его себе, установил на своем участке и заботливо отреставрировал с помощью бывших коллег из аэропорта и друга, у которого был грузовик с платформой.

Хайдеггер в «Истоке художественного творения» объясняет, как в одном-единственном произведении искусства, например картине Ван Гога, изображающей пару крестьянских башмаков, может находить выражение человеческий мир целиком [Heidegger 1992]. Хотя коллекцию Юрия можно считать своего рода произведением искусства, реальность, к которой она отсылает, фрагментирована, ее осколки невозможно собрать воедино. Вместо целостной картины мира она являет собой памятник идеологическим конфликтам и имперским войнам, волны которых прокатывались по Европе, дробя ее территории и население, на протяжении столетий. Здесь нет единого мира, лишь пребывающие в неустойчивом равновесии визуальные отпечатки и материальные следы множества конкурирующих миров. Я трактую инсталляцию Юрия как аллегорию

1 Свое название кафе «Дакота» получило от обозначения, под которым в британских военно-воздушных силах во время Второй мировой войны был известен самолет DC-3, являющийся символом заведения и изображенный на его логотипе и вывесках.



Ил. Кабина авиалайнера Ан-24 компании «Аэрофлот» из коллекции авиамеханика Юрия, владельца кафе «Дакота» (Dakota kafejnīca). Латвия, 2016. Фотография Кевина М.Ф. Платта

исторических и политических конфликтов, терзающих в наши дни Восточную Европу, но также в некотором смысле как аллегорию положения, в котором находится каждый из нас, в какой бы точке мира мы ни находились, в ужасном 2022 году. Подобно Юрию, мы сталкиваемся с по-видимому невыполнимой задачей осмыслить застарелые следы и обломки истории колониальных империй и конфликтов времен холодной войны, национал-социализма и его многообразного наследия, общественной и экономической жизни в социалистических государствах и в эпоху неолиберального закручивания гаек, а также множества завоевательных и освободительных войн прошлого — в нашу современную эпоху в неравной степени достигнутого национального суверенитета, глобального рыночного капитализма, замороженных и новых кровавых конфликтов на границах бывшего соцблока. Подобно Юрию, будучи обитателями глобальной постсоциалистической постколонии, мы все сталкиваемся с задачей собирания этих осколков. И никто из нас не справляется с этой задачей. В этой статье я пытаюсь диагностировать нашу общую патологию. Однако прежде я должен сделать оговорку: я не готов предложить читателю особую версию истории, способную разрешить все конфликты, остановить войны, уврачевать разрывы и прийти наконец к «правильному» взгляду на прошлое, с которым все бы согласились. Подозреваю, что в настоящий момент ни одно исследование не может выполнить такой задачи. Поэтому мой подход в данной статье заключается не столько в том, чтобы отвечать на вопросы о прошлом, сколько в том, чтобы позволить прошлому задать нам вопросы.

В 1998 году Ханс-Ульрих Гумбрехт выпустил новаторскую «историю» 1926 года — книгу, в которой он отошел одновременно от исторического повествования как такового и от задачи предложить такое описание прошлого, из которого мы могли бы извлечь какую-либо существенную пользу в настоящем. Как он объясняет в послесловии к этой работе, «После уроков истории», в свете постструктуралистской критики и впечатляющего коллапса государственного социализма в Европе, который «за всю историю интеллектуальных экспериментов... был самым дорогостоящим провалом» [Gumbrecht 1998: 413; Гумбрехт 2005: 467], оказалось, что исторический нарратив представляет собой либо разновидность художественной литературы, либо отражение идеологии. «Уроки истории», которые долгое время служили прагматическим оправданием историографии как жанра и академической дисциплины, превратились в эксцентричную выдумку о прошлых эпохах, к которой больше нет доверия. Стремление поведать о прошлом «правду», которая могла бы в то же время рассказать нам что-то о настоящем и даже о будущем, зиждилось на метафизических основаниях, однако крах марксистско-ленинской футурологии обрушил последнюю великую историко-метафизическую парадигму.

Позиция Гумбрехта представляла собой специфический извод постмодернистского взгляда на мир, характеризовавшего западную интеллектуальную и общественную жизнь 1990-х — скептический ответ на влиятельный тезис Френсиса Фукуямы о конце истории. Фукуяма видел в крахе государственного социализма не закат метафизической истории, а мощное подтверждение того, что история уверенно движется в определенном направлении. Метафизическая парадигма в этом случае принимала обличье свершившегося факта. Казалось, холодная война с ее идеологическим противостоянием окончилась триумфом свободного рынка и демократии — и это означало не только то, что исторические процессы, развитие которых — согласно гегелевскому диалектическому принципу — проистекало из конфликта, достигли своего финала, но и то, что человечество наконец могло прийти к единому, согласованному пониманию мировой истории, универсальным венцом которой было бы это событие. И теперь, в отсутствие масштабных идеологических конфликтов, наконец можно было заняться более прозаическими делами по обустройству мира и будущего.

Но это так и не произошло. Критические отклики на тезис Фукуямы, которые начиная с 1990-х годов озвучивали столь различные мыслители, как Жак Деррида и Сэмюэль Хантингтон, указывали на несостоятельность предложенного им видения истории, которое очевидным образом ориентировалось на триумфальную концепцию гегемонии западного либерального капитализма. По мнению оппонентов Фукуямы, его историческая метафизика выражала отнюдь не всемирный консенсус, а наивные мечты претендента на мировое господство. В практическом плане критика этого предвзятого взгляда на историю дополнилась тем фактом, что, если даже подобный господствующий мировой порядок когда-либо маячил на горизонте, попытки воплотить его в жизнь с треском провалились. После 11 сентября, крайне неуспешных войн на Ближнем Востоке и в Афганистане, утраты оптимистической веры в демократию во многих странах мира (и даже в новой Европе) и действий Российской Федерации в Украине, насильственно утверждающих новую версию цивилизационных различий и альтернативную гегемонию, предложенное Фукуямой понимание истории кажется просто горячечным бредом.

Но Гумбрехт со своим встречным тезисом, согласно которому мир может наконец перестать «учиться у истории», столь же определенно попал пальцем в небо. Напротив, начиная с 1990-х годов, ожесточенные споры по поводу истории повсеместно стали одной из ключевых черт общественных дебатов, ресурсом политической мобилизации и в крайних случаях даже поводом для начала военных действий. В настоящий момент нет недостатка в высказываниях, авторы которых пытаются прочертить траектории будущего на основании историй нации, расы, империи или идеологической позиции. И если некоторые из этих по-новому актуализирующих историю авторов, без сомнения, являются скептиками-конструктивистами или циничными манипуляторами-«постмодернистами», в обыденной жизни мы нередко становимся свидетелями битвы альтернативных метафизических парадигм — чаще всего в форме заезженных национальных историй в ключе Гердера и Гегеля или идеологических нарративов в духе Маркса или Смита. Вместо того чтобы исчезнуть за ненадобностью, прошлое возвращается с упорством, соразмерным его спорному характеру, предвзятости, нелогичности (особенно если смотреть на вещи глобально) и явно первостепенной важности с точки зрения обустройства мира — точнее, мнимо легитимных притязаний на мировые богатства.

Позвольте мне привести еще пару примеров, при помощи которых на проблему глобальной истории можно взглянуть через замочную скважину специфического времени и места — современной Латвии, которую я уже несколько лет усердно изучаю. На главной площади Вентспилса, города в латвийской Курляндии, расположен ультрасовременный концертный зал. На этом месте раньше стоял памятник Ленину, пока его не снесли в 1991 году. Изменение городского ландшафта недвусмысленно выражает протест латвийского общества против советского господства, которое было ему насильно навязано во второй половине XX века. Для многих символическое переустройство пространства города имеет и более злободневный смысл в контексте тревоги, связанной с попытками Российской Федерации заявить свои права на сферу влияния, которая потенциально может простираться как раз до этой площади.

Однако концертный зал не единственная новая постройка на центральной площади Вентспилса. Неподалеку можно увидеть огромный фонтан в форме корабельных мачт. Это монумент фрегату «Кит» (Wallfisch), который, как гордо поясняет табличка, в 1651 году доплыл до острова, ненадолго превратившегося в одну из двух заокеанских колоний герцогства Курляндского под названием острова Святого Андрея (сейчас это остров Кунта-Кинте, входящий в территорию Гамбии). В этой связи можно также упомянуть центральный шопинг-молл города. Подобные здания, будто с неба свалившиеся в каждый город Восточной Европы за три десятилетия, которые минули с момента краха государственного социализма, являют стандартную физиономию глобальной потребительской культуры. Но этот торговый центр называется «Тобаго» — в память о второй колонии, ненадолго доставшейся Курляндскому герцогству. Однажды летней ночью 2021 года, когда я вешал замок на припаркованный у шопинг-молла велосипед, байкер из мотоклуба «Куроны» рычал двигателем своего харлея, на который в этот момент запрыгивала девушка. Кожаную куртку парня украшали перекрещенные мечи и тевтонские кресты — символ правивших Курляндией немецких дворян, потомков крестоносцев.

Другой пример: беседуя в Риге за несколько лет до того с женщиной старшего поколения, этнической русской по имени Валентина Николаевна, я невольно оказался вовлечен в малоприятный разговор о расе. «Смотрите, — сказала мне собеседница, — у меня прямо в паспорте написано “негр”». Валентина Николаевна — «не-гражданин» (nepilsonis), одна из множества жителей бывшей Латвийской Советской Социалистической Республики, кому в 1991-м отказали в гражданстве на том основании, что, хотя она и родилась в Латвии, в ее родословной не было граждан Латвийской республики, существовавшей в межвоенный период, в первой половине XX века. (В Латвии до сих пор около 200 тысяч не-граждан — около 10% от населения страны). Утверждение Валентины Николаевны, что у нее в паспорте написано «негр» — шутка, обыгрывающая сокращение от термина «не-гражданин». Латвийские не-граждане часто прибегают к этому каламбуру. (Для справки: в латвийском паспорте негражданина не написано «негр».) Валентине Николаевне и многим другим не-гражданам Латвии эта «забавная» игра слов предоставляет возможность иронически и намеренно провокационно описать социальное положение неграждан путем сравнения с расистскими режимами и дискриминацией чернокожих. Ирония, конечно, двусмысленная вещь: нельзя однозначно утверждать, что этот каламбур выражает солидарность угнетенных. Как раз наоборот, он может иметь расистский подтекст — примерно такой же, как в устойчивом выражении «я тебе не негр». Используя этот термин, Валентина Николаевна и другие люди зачастую подразумевают не то, что дискриминация — это плохо, а то, что в их случае она не по адресу: дискриминировать русских нехорошо, ну а чернокожие свой удел заслужили.

Гамбия вместо Ленина. Торговые центры и Тобаго. Крестоносцы на харлеях. Солидарность, или негативная солидарность, русских с африканцами. Искренний восторг, вызываемый откровенно эпизодической ролью Курляндии в мировом колониальном господстве европейцев, каким-то образом сосуществует с господствующим в Латвии мейнстримным историческим дискурсом касательно освобождения Латвии от русского имперского владычества и советской оккупации (никак не учитывающим тот факт, что условная латвийская нация была угнетенным населением не только в Российской империи и Советском Союзе, но и в Курляндии, феодальном государстве остзейских немцев)[2]. Русские каким-то образом умудряются представлять себя жертвами неоколониального угнетения со стороны латвийцев. Сопротивление российскому неоколониализму каким-то образом подразумевает снос памятника Владимиру Ленину, одному из самых пылких теоретиков социалистического антиимпериализма.

Противоречащие друг другу конфигурации истории повсеместно встречаются в восточноевропейских обществах: версии разнятся от страны к стране и внутри каждой из стран. К только что перечисленным можно добавить более известные и наглядные примеры: парады в честь Дня Победы в Москве, прославляющие героизм советских (но все чаще воображаемых как «русские») мужчин и женщин, победивших нацизм, конкурируют со множеством новых мемориальных комплексов по всей Восточной Европе, воздвигнутых

2 Анализ восторженного отношения современных латвийцев к короткому периоду в истории Курляндии, когда она успела побыть колониальной державой, см. в: [Dzenovska 2018: 19—24].

в память о жертвах советского режима, которые погибли во время войны и в последующие десятилетия; российская официальная риторика озвучивает «исконные» права на Крым как место крещения князя Владимира и христианизации Руси, в противовес этому украинское антикоммунистическое (или антирусское?) законодательство запускает не только уничтожение всех сохранившихся памятников Ленину, но и переименование всех мест, названных в честь Розы Люксембург; действия России в Украине в 2022 году преподносятся российским обывателям как мера по защите от неонацистского режима и ультраправого национализма, и в этом есть трагическая ирония, ведь многим в Европе кажется, что разворачивается прямо противоположный сценарий.

Во всех этих случаях современные общества старательно «учатся у истории» или же им настоятельно советуют так поступить. Точнее, история учит их актуальному для их локальной ситуации смыслу таких понятий, как политическая жизнь, нация, империя, колониальное подчинение, социализм, либерализм, капитализм, фашизм и коммунизм. Конфликт по поводу значений этих слов иллюстрирует неустойчивый характер отношений между историческими и идеологическими универсалиями и локальной спецификой. Не то чтобы многие не пытались связать их в единое глобальное целое на теоретическом и практическом уровне. Однако споры об истории, ведущиеся в Восточной Европе, обнаруживают заведомую неполноту и предвзятость подобных решений. Эти страны — бывшие окраины, или, по другой версии, бывшие оккупированные территории СССР, государства, основанного на интернациональной классовой солидарности, которое поддерживало мировой антиимпериализм, при этом все больше напоминая империю, на обломках которой оно возникло (и завещав это родовое сходство своему государству-преемнику). В происходящих на постсоциалистическом пространстве остро локальных конфликтах и дебатах можно ощутить глобальную невозможность примирить точку зрения тех, кто видел в СССР освободителя, будь то от капиталистической империи или от нацистской Германии, и тех, кто видел в нем тюрьму народов, или же тех, кто видел в СССР реализацию обещания европейского Просвещения, и тех, кто видел лишь искаженный образ последнего. И не то чтобы в этой географической зоне данные проблемы обретали внятную формулировку: обычно здесь, как и в любом другом месте, они затемнены переплетением нестыковок и конфликтов, подпитывающим современные «войны памяти» и захватнические войны. Здесь, как и во всем мире, люди учатся у истории, но ее уроки фрагментарны, противоречивы и изобилуют ошибками.

Глобальная история XX века строится вокруг двух фундаментальных аксиологических развилок: с одной стороны, идеологический и геополитический конфликт между государственным социализмом и либеральным капитализмом, с другой — масштабная драма распада созданных европейскими державами мировых империй, болезненный и сложный процесс деколонизации и продолжающиеся споры по поводу имперского исторического наследия и его долгосрочных эффектов. Ключевой вклад настоящей статьи в исследовательскую дискуссию сводится к утверждению, что эти две системы координат в корне не совпадают, на каждом отрезке блокируя пути к историческому консенсусу. В данный момент в Восточной Европе мы наблюдаем трагические последствия этих смысловых тупиков. Для понимания таких условий нашего об-

щего существования необходимо учитывать более продолжительную критическую и идеологическую предысторию, проследив пересечение имперских и идеологических категорий анализа с конца холодной войны, их латентное существование в 1990-е годы и ускоряющиеся процессы разворачивания в академической сфере исследований того, как сопрягаются постсоциалистические и постколониальные категории, а в области геополитики — «войн памяти» на постсоциалистических и постсоветских территориях. Эти интеллектуальные и геополитические процессы, протекая параллельно, за последние несколько лет достигли кульминационной точки: научные дискуссии о постсоциалистической постколониальности в недавних публикациях по вопросам глобальной истории социалистического антиимпериализма вышли на новый уровень обобщения, связав различные контексты в единое глобальное целое, а «война памяти» перешла в реальные боевые действия. Мои дальнейшие рассуждения в этой статье имеют целью проследить путь, который привел нас к этим двояким последствиям.

Фредрик Джеймисон в 1984 году начал свое эссе «Периодизация 60-х» (в пандан к влиятельной статье того же года о постмодернизме) с упоминания тупика в политической ситуации этого периода — следствия «возможностей и провалов» 1960-х годов, — а также в критических практиках осмысления прошлого: «историческая репрезентация… <…> …переживает кризис» [Jameson 1984: 178, 180]. В изложении Джеймисона истоки этих симметричных затруднений в политике и историографии коренятся в последствиях деколонизации стран «третьего мира» и связаны с вновь вскрывшимися противоречиями между классовыми и иными формами идентичности и солидарности. Отголоски этого разрыва обнаруживались в преимущественно националистической ориентации политических чаяний в бывших колониях, а также в расцвете политики идентичности в то же самое время в развитых странах. В совокупности эти две тенденции в корне подрывали «более универсальную категорию, которая до этого, казалось, охватывала все формы общественного сопротивления — а именно классическую концепцию социального класса» [Ibid.: 181]. По мнению Джеймисона, именно деколонизация и сопутствовавшее ей сплочение вокруг категорий расовой, национальной, гендерной и других видов идентичности беспрецедентным образом раздробили прежде единую историю и общую судьбу, которая мыслилась в терминах классовой солидарности.

Однако в том же эссе Джеймисон предсказал, что такая фрагментация политических целей и понимания истории не вечна: распад империй вызвал к жизни новые формы транснационального господства — процессы глобализации, собирающие мир воедино, образуя новые или восстанавливая прежние отношения власти и подчинения:

> Объединяющей силой в данном случае является новый облик капитализма, отныне глобального, который также, возможно, объединит неравные, фрагментированные и локальные формы сопротивления этому процессу. И в этом наконец найдет свое разрешение так называемый кризис марксизма вместе с отмеченной многими неприменимостью предлагаемых этой теорией форм классового анализа к новым социальным реалиям, с которыми мы столкнулись в шестидесятые. «Традиционный» марксизм, казавшийся «неверным» в этот период возникновения множества новых исторических субъектов, неизбежно вновь станет верным,

> когда мрачная реальность эксплуатации, извлечение прибавочной стоимости, пролетаризация и сопротивление ей в форме классовой борьбы постепенно вновь начнут заявлять о себе в новом, всемирном масштабе — что, по всей видимости, уже происходит [Ibid.: 208—209][3].

Однако уверенность Джеймисона в том, что условия позднего капитализма в «первом мире» должны поглотить «местное сопротивление» и «социальные реалии» стран «третьего мира», не оправдалась. Предсказанное им возникновение новой всеобщей солидарности и цельных исторических субъектов так и не произошло, по крайней мере отчасти из-за непредвиденного распада государственного социализма в странах «второго мира» (любопытным образом отсутствующего в рассуждении Джеймисона). Крах социалистического блока не только распространил охват капиталистической глобализации на весь мир, но и спутал взаимоотношения между «первым» и «третьим» миром и между нацией и классом — понятиями, на которых Джеймисон строил свой анализ. Постсоциалистическая постколониальность принесла с собой — не только для территорий, которые можно охарактеризовать как постсоциалистические постколонии в узком смысле обоих терминов, но и для многих других регионов мира — не обновление «классической концепции социального класса», а усиление значимости национальных, расовых, гендерных и других форм идентичности, а также все более и более мощные технологии, позволяющие экономическим и политическим элитам эти идентичности кооптировать. Глобальный конфликт XX века, завязанный на противостоянии сущностно различных капиталистической и социалистической версий будущего человечества, сменился неолиберальным технократическим консенсусом в вопросах управления в сочетании с острым, манипулятивным противостоянием по поводу смыслов прошлого, борьбой за ресурсы и голую власть.

В конце холодной войны не было совершенно очевидно, что четверть века спустя мы окажемся именно в такой ситуации. И необходимо воздать должное Джеймисону — он указал на феномены, которые в последующие десятилетия определяли развитие исторических событий и научных исследований: с одной стороны, ускоряющаяся глобализация, а с другой — критика имперского господства, которое в ходе глобализации воспроизводилось в новых формах. В первые десятилетия после холодной войны нацеленность элит повсюду — и в деколонизирующихся странах, и в бывшем соцблоке — на транснациональную интеграцию под знаком свободной торговли, воспроизводства западных либеральных моделей управления и неолиберальной оптимизации программ социальной защиты, кажется, подтверждала диагноз Джеймисона. Для критического осмысления этих процессов решительно задействовались инструменты постколониального анализа, позаимствованные у таких первопроходцев

---

3 Мнение Джеймисона, согласно которому всеобщая политическая солидарность должна возникнуть как результат процессов глобальной экономической интеграции в условиях гегемонии западного позднего капитализма и постмодерна, представляет собой отголосок рассуждений Маркса о британском владычестве в Индии. Признавая британские зверства в Индии, в заключение Маркс тем не менее ставит риторический вопрос: «Вопрос заключается в том, может ли человечество выполнить свое назначение без коренной революции в социальных условиях Азии. Если нет, то Англия, несмотря на все свои преступления, была бессознательным орудием истории, вызывая эту революцию» [Marx 1974: 306—307].

антиколониализма, как Эдвард Саид и Франц Фанон. Эти фигуры внезапно вышли на первый план в западном академическом мире в конце 1980 — начале 1990-х годов. Однако мало кто пытался применить их аналитические инструменты к истории и современности территорий от Варшавы до Владивостока. Вместо этого для концептуализации этих процессов использовалась парадигма политического, экономического и культурного «перехода» от форм социалистического «второго мира» к формам капиталистического «первого мира». Несовместимые с этим реалии и исторические процессы деколонизирующегося «третьего мира» при этом имплицитно предполагалось перепрыгнуть или обойти. И в кулуарах власти, и в академических кругах бывшие социалистические государства воспринимались как принципиально отличающиеся от бывших колоний по исторической траектории и нынешнему состоянию.

В последнее десятилетие XX века политический дискурс в большинстве сфер порывал с социалистическим прошлым. Это прошлое казалось чем-то вроде атрофировавшейся конечности, которую следовало признать нерабочей, забыть или отсечь и выбросить. Оно мыслилось либо как травматическое испытание, которое было успешно преодолено (так обстояло дело в большинстве стран Восточной Европы), либо как роковое и, возможно, позорное историческое заблуждение (так было в Российской Федерации). Движение в сторону глобализации и стирания национальных различий в рамках либерального западного порядка казалось столь же неотвратимым, как морские приливы. Несмотря на начало националистической войны в бывшей Югославии (журналисты и официальные комментаторы последовательно называли ее архаичной с исторической точки зрения), казалось, что с образованием Европейского союза, в который устремились государства Восточной Европы, эпоха национализма заканчивается — или, по крайней мере, входит в совершенно новую фазу. Господствовавшее в период непосредственно после холодной войны нежелание описывать бывшие социалистические общества в тех же терминах, которые применялись к бывшим колониям капиталистических империй, очевидно, к примеру, в оживленных спорах историков в начале 2000-х годов о том, применимо ли вообще к СССР понятие «империя». Тогда это емко сформулировал Юрий Слезкин: «Советский Союз был империей — в том смысле, что он был огромным, ужасным, асимметричным, иерархичным, разнородным и обреченным. <…> Но был ли он современной колониальной империей? Место ли ему на той же самой помойке, куда отправились голландская, французская и британская империи?» [Slezkine 2000: 227][4].

Но эти же дебаты, с другой стороны, служили симптомом меняющейся политической и интеллектуальной обстановки в конце первого десятилетия после холодной войны. С начала нового тысячелетия все больше ученых применяли категорию империи к изучению советской истории, а инструменты постколониальных исследований — к анализу последствий советского господства на территории самого СССР и его государств-сателлитов в Восточной Европе[5].

---

4 См. также вклад других ученых в историографическую дискуссию об «имперской» природе СССР: [Beissinger 2005; Khalid 2007; Martin 2001; von Hagen 2004].

5 Вопрос взаимосвязи постколониальной и постсоветской исследовательских парадигм впервые поставил ребром Дэвид Мур в работе: [Moore 2001]. В числе других важных рассуждений о проблемах постколониального анализа постсоветской и постсоциалистической ситуации следует назвать: [Chari, Verdery 2009; Chernetsky 2003; Otoiu 2003; Popescu 2003; Spivak 2003; Spivak et al. 2006].

Эти исследования, кульминацией которых, среди прочего, можно назвать два недавних спецвыпуска «Нового литературного обозрения», посвященных теме «Постсоветское как постколониальное», высветили как множество сходств и аспектов преемственности между советским господством и более ранними имперскими формациями, до тех пор находившимися в центре внимания постколониальной теории, так и особенности, отличавшие советские и социалистические кейсы[6]. Выявленная специфика заключалась, в частности, в сочетании мер по поддержке нерусских национальностей в СССР с жестким подавлением национального сепаратизма, реального или мнимого (см., к примеру: [Martin 2001; Northrop 2004]); в активной ориентации СССР на экономическое и социальное развитие периферийных территорий в противовес эксплуатации и выкачиванию ресурсов — вследствие чего, в частности, среднеазиатские интеллектуалы крайне неохотно признают постколониальную природу своей ситуации [Калиновский 2020; Kalinovsky 2018]; в «метапостколониальной» симптоматике применения в восточноевропейских обществах постколониальных теоретических инструментов в интересах национальных проектов[7]; и в множестве других любопытных особенностей имперского господства, возросшего на почве государственного социализма. Однако необходимо признать, что результаты этих попыток применить постколониальные категории анализа к постсоциалистической ситуации почти не произвели сколько бы то ни было значимого резонанса в международных сообществах постколониальных исследователей. Возможно, как отметила Мадина Тлостанова, это следствие того, что авторы этих работ напрямую или косвенно ассоциируются с антисоциалистическими позициями, которые идут вразрез с марксистскими основаниями большинства постколониальных интеллектуальных традиций [Тлостанова 2020].

Однако кардинальные изменения во взглядах на взаимоотношения между историей государственного социализма, постсоциалистических и постсоветских обществ и историей империи за последние два десятилетия произошли вне академической среды в той же мере, что и внутри нее. Все большее число наблюдателей не только признавали, что историческое наследие социалистического мира переплетено с историей империи и нации, но и начали выявлять в гегемонии современного либерального Запада в странах бывшего социалистического лагеря множество сходных черт с неоколониализмом и постколониальной зависимостью в других частях света. Если в некоторых местах национализм, казалось, сходил на нет, то крах социалистического блока вдохнул в него новую жизнь: национализм лег в основу государственных образований как внутри, так и снаружи подвижных новых границ Европы. С начала XXI века то, что Джеймисон назвал «локальным сопротивлением» глобализации, возникало не только в бывших колониях западных империй, но и в бывшем социалистическом мире, по мере того как пережитки империи

6 Речь идет о выпусках № 161 (1/2020) и № 166 (6/2020).

7 Пожалуй, наиболее выдающимся и часто критикуемым примером этой тенденции является работа Эвы Томпсон, исследовательницы русской и польской литературы. Томпсон одной из первых среди ученых, изучающих данный регион, предложила применять постколониальный анализ. Ее монография «Имперское знание: русская литература и колониализм» [Thompson 2000] получила широкую известность и много цитируется, особенно в польском контексте, но упрощенческий национализм автора навлек на себя волну критики. См.: [Uffelmann 2013; Zarycki 2013: 202—204].

в постсоциалистических землях проявляли себя неровным и конфликтным образом. В некоторых местах ревизия истории социализма в оптике империи приобрела форму активного и нередко ожесточенного поминания творившихся в СССР беззаконий и советского господства над периферийными республиками и государствами-сателлитами. Примером могут служить затяжные «войны памяти», связанные с Катынью, депортацией прибалтийских народов и голодомором в Украине. Другие дискурсивные узлы и топосы, напротив, актуализируют имперский ревизионизм в форме критики господства либерального западного порядка: от популистского и националистического евроскептицизма в Венгрии и Польше до все более агрессивного российского противостояния концепции «американского мира» (pax americana) по меньшей мере с 2007 года (в этой связи можно вспомнить речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности и русско-грузинский конфликт 2008 года). Пожалуй, излишне говорить, что все эти явления, как и неразрешимое противоречие между различными позициями по вопросу взаимоналожения империи и государственного социализма, получили трагическое выражение в 2022 году. Конфликт в Украине представляет наиболее шокирующий пример нынешних условий нашего существования — итог тенденций в развитии политического дискурса и критических интерпретаций, контрастирующих с нарисованной Джеймисоном в последнее десятилетие холодной войны картиной возвращения к глобальной согласованности политических процессов и подходов к их анализу. Ведь, как показывают эти трагические события, хотя понятия «империя» и «постколониальность» действительно применимы к истории социалистических и постсоциалистических обществ, само это применение оказывается предметом непримиримых споров. Смычка между империей и идеологией рассыпалась.

В самом деле, в то время как ученые, интеллектуалы, политики, генералы и армии навязывают истории и современности стран бывшего соцблока имперские категории в аналитической, политической или военной форме, разнородные результаты предпринятого ими перекодирования действительности свидетельствуют о реальной исторической и идеологической дробности, несвязности и поляризованности глобального целого. Вернемся от геополитики к аналитике: эту проблематику наглядно иллюстрируют выводы, к которым приходят авторы двух значимых недавних монографий, претендующих на глобальный охват, — Моника Попеску в книге «На острие пера: африканские литературы, постколониальные исследования и холодная война» [Popescu 2020] и Росен Джагалов в работе «От интернационализма к постколониализму: литература и кино между “вторым” и “третьим миром”» [Djagalov 2019]. Как явствует из заглавий, в обеих книгах аспекты транснациональной истории взаимопроникновения мира государственного социализма и мира бывших колоний рассматриваются в постколониальном ключе. Будто бы отчасти выполняя прогноз Джеймисона, каждая из работ опирается на классиков постколониального анализа, сформировавшихся в русле марксистских аналитических традиций — и обе они были высоко оценены международным сообществом постколониальных исследователей, решительно пробив стену, разделявшую постсоциалистическую и постколониальную проблематику. И все же, несмотря на общие идеологические симпатии и корпоративную солидарность, совместное рассмотрение этих двух работ высвечивает тупик, в котором в настоящее время находится глобальная история.

В центре внимания и Джагалова, и Попеску ориентированность многих жителей бывших колоний в период холодной войны, от народных масс до интеллектуалов и элит, на государственный социализм или нарождающийся транснациональный социализм в качестве освободительной модели, противопоставляемой капиталистической империи, неоколониализму и постколониальной зависимости. Однако эти ученые существенно расходятся в оценке описываемых ими ключевых и малоизученных проблем глобального XX века. В работе Джагалова антиимпериализм и интернационализм левого толка, которые существовали в середине XX века — зачастую, но не всегда, под эгидой СССР, — генеалогически объединяются и отождествляются с постколониальной критикой глобального капитализма в наши дни. Книга Джагалова открывается замечанием:

> ...при всех проблемах и ограничениях советского антиколониализма, которые при сталинизме только усилились, стоит помнить, что большевистское государство межвоенного периода было единственной (ведущей мировой) державой, которая не только боролась с расизмом и империализмом на собственной территории, но и продолжала эту борьбу на международной арене — о чем по всему миру с благодарностью вспоминают активисты антиколониального движения и движения за расовую справедливость [Djagalov 2019: 12].

В заключении Джагалов объясняет:

> Реконструируя одну из возможных генеалогий современных постколониальных исследований, [эта книга] вносит вклад в историческое изучение области, в которой теория традиционно предпочиталась истории. <...> Как показывает «От интернационализма к постколониализму», [применение постколониального анализа к постсоциалистическим контекстам] представляет собой лишь новейшую стадию цикла, который начался более века назад, когда бывшая Российская империя (трансформированная в СССР) стала гигантской экспериментальной площадкой для исследования и пересмотра политических, экономических и культурных иерархий, в которые выстраиваются общества как внутри СССР, так и в мировом масштабе [Ibid.: 226].

В отличие от Джагалова, Попеску описывает СССР и проекции его власти в развивающемся мире как форму «империи государственного социализма», во многих отношениях сопоставимую с империализмом и неоимпериализмом его капиталистических оппонентов и требующую более подробного анализа полязированного силового поля культуры и идеологии в эпоху холодной войны с точки зрения деколонизированных территорий, с учетом опыта их жителей. К примеру, рассматривая критику французской Коммунистической партии решившим выйти из нее Эме Сезером, Попеску отмечает:

> Хитроумная аргументация Сезера фиксирует несколько проблемных моментов, связанных с СССР. <...> Устройство Советского Союза привело к созданию форм внутреннего колониализма, воспроизводивших то господство, которое осуществляли русские в дореволюционной империи над насильственно включенными в нее народами. Столь же значима озвученная Сезером критика патерналистской роли, которую Советский Союз сам себе назначил, — узурпация лидерства, за которым скрываются формы империализма, похожие на западные. <...> Если неоколониальные амбиции Соединенных Штатов подтверждаются множеством

> свидетельств, то недавние исследования показывают, что помощь, которую оказывала выходящим из-под колониального гнета странам другая сверхдержава, СССР, также не была бескорыстной. Ее цель заключалась в том, чтобы расширить или укрепить советскую сферу влияния. Начиная с 1920-х годов Советский Союз, а затем и его восточноевропейские сателлиты выражали интерес к судьбе угнетенных этнических групп и обеспечивали поддержку антиколониальных революций, особенно если во главе их стояли коммунисты. Выражаемая в категориях интернационализма, эта активно декларируемая коммунистическая солидарность с угнетенными народами («братство народов») зачастую камуфлировала расовые стереотипы и неоориенталистские дискурсы, с помощью которых формулировалась очередная «цивилизационная миссия» [Popescu 2020: 10—11].

Эти урезанные цитаты не могут передать всех нюансов и глубины анализа в рассматриваемых работах: и Джагалов, и Попеску в полной мере отдают себе отчет в сложности выбранного предмета исследования и блестяще справляются с его представлением. Кроме того, я не ставлю перед собой задачу оценить, какая из этих двух крайне важных монографий адекватнее отражает реальность. Скорее я пытаюсь показать, что, читая их одновременно, можно понять сложности, с которыми сталкиваются в настоящее время все попытки осмыслить прошлое и настоящее, в академической сфере и за ее пределами.

Возможно, не случайно выход работ Джагалова и Попеску совпал по времени с началом военных действий в Восточной Европе. В этих книгах, отличающихся необыкновенной глубиной эрудиции и широтой взгляда, но при этом столь различных по выводам, в научной форме кристаллизовалась диалектика реального мира, которая никак не придет к синтезу. В максимально отвлеченной форме ключевой вопрос звучит так: были ли транснациональные проекты государственного социализма конкурирующим, более справедливым вариантом глобализации или альтернативной формой империи? Что остается от освободительных импульсов деколонизации и какое место они могут занять в системе прошлых и актуальных идеологических различий? Иными словами, являлись ли социалистическая и капиталистическая версии глобализации по сути просто-напросто конкурирующими разновидностями неоимпериализма?[8] Это те вопросы, которые прошлое настойчиво задает настоящему, однако на эти вопросы нет удовлетворительных ответов — по крайней мере, при рассмотрении их в глобальных масштабах. Не то чтобы на основе этих аналитических категорий невозможно было выстроить связное рассуждение, как попытались сделать Джагалов и Попеску в своих работах. Напротив, существует переизбыток подобных рассуждений, причем каждое из них представляется совершенно убедительным конкретным людям на конкретной территории. Среди предпосылок наших нынешних затруднений, испытываемых как в академической

8 Как напоминает нам Попеску, разбирая идеи Сезера, критика советского интернационализма и декларируемой солидарности с деколонизирующимися нациями как явлений неоколониальной природы не является чем-то новым. И нельзя сказать, что ее озвучивали исключительно интеллектуалы-марксисты, подобные Сезеру. Критика советского «империализма под знаменем социализма» составляла основу официальной позиции Китая по вопросам советской внешней политики после ухудшения советско-китайских отношений, см.: [Vamos 2020]. О социалистических версиях глобализации в целом см. прекрасное редакторское предисловие к тому же сборнику: [Mark, Kalinovsky, Marung 2020].

среде, так и за ее пределами, тот факт, что несмотря на ощущаемую многими насущность этих вопросов, несмотря на желание объяснить нынешний момент, используя эти категории — категории, которые история подбрасывает политикам и публике не менее настойчиво, чем ученым, — нет такой глобальной объяснительной парадигмы, которая могла бы раз и навсегда примирить истории империи и истории идеологии. Матрицы постсоциализма и постколониализма распространяются на весь мир. Но в каждой точке они пересекаются и преломляются друг в друге по-разному. Различия между подходами Джагалова и Попеску обнажают один из основополагающих факторов (безусловно, существуют и другие), способствующих поддержанию тупикового положения, в котором нынче оказалась глобальная транснациональная солидарность, какой ее мыслил Джеймисон. Этот тупик наиболее остро заявляет о себе в тех трещинах, которые проходят по Восточной Европе, отделяя друг от друга различные гегемонные порядки. Это один из ключевых движущих факторов агрессивного противостояния внутри восточноевропейских обществ и между ними — и этот фактор играет на руку тем, кому это противостояние выгодно.

Чтобы более непосредственно оценить последствия такого положения дел, вернемся к примерам, касающимся современной Латвии, которые я приводил в начале статьи. Каждый из этих примеров иллюстрирует своеобразную нестыковку, вызванную глобальной рассогласованностью историй империи и историй идеологии. Эти нестыковки лучше всего описываются не аналитическими высказываниями, а набором вопросов. Когда латвийцы сносят памятник Ленину, они выражают протест против российского империализма, отрицание государственного социализма по советскому образцу или неприятие любых современных левых политических взглядов? Когда русская женщина выражает солидарность с африканцем, отсылает ли она к долгой истории солидарности, объединявшей движения антиколониального сопротивления в Африке с борьбой за мировой социализм, или же она иронически воспроизводит разновидность расизма, в которой прослеживается идентификация с западноевропейским колониальным, русским имперским и даже советским режимами расовой дискриминации?[9] Когда латвийцы воздвигают памятник истории своего участия в европейском колониальном господстве в Африке и странах Карибского бассейна, прославляют ли они европейский характер латвийской идентичности или же наглядно иллюстрируют довод о том, что европейское и западное влияние в Восточной Европе в наши дни представляет собой всего лишь очередной пример западного империализма? Когда русские празднуют День Победы, распевая советский гимн в центре Риги, отмечают ли они победу государственного социализма над нацистской империей, строившейся в Восточной Европе, или же они оправдывают нынешнее распространение российской имперской власти на таких территориях, как Латвия и Украина?

9 Пожалуй, даже сама Валентина Николаевна не смогла бы однозначно ответить на этот вопрос. Беседуя со мной летом 2021 года, она поделилась мнением о протестах Black Lives Matter в США, причем высказала убеждение, будто американское общество относится к Джорджу Флойду с чрезмерным пиететом. «Белые не должны целовать ноги черным», — сказала она, в целом выражая негативный взгляд на США как на враждебное и ущербное общество. Однако, когда я стал задавать вопросы об истории расовой дискриминации в Соединенных Штатах, Валентина Николаевна переключилась на критику расового неравенства, вспомнила Анджелу Дэвис и свое собственное воодушевление в связи с советскими кампаниями в поддержку этой фигуры.

Ни на один из этих вопросов нет удовлетворительного ответа. Возможно, следует сказать, что каждая из этих противоречивых интерпретаций «правдива» — и именно это делает перечисленные позиции удобными инструментами политической и военной мобилизации для медиарежимов враждующих сторон. Естественным следствием осознания равной валидности этих позиций является неизбежно сопряженная с каждой из них глубокая ирония — ирония, которая в такие времена, как сейчас, отдает трагедией. Хотя нынешние политические и военные схватки во весь голос оправдываются отсылками, с одной стороны, к таким классическим идеологическим понятиям, как либерализм, фашизм или социализм, или, с другой стороны, к ключевым категориям колониальных и постколониальных противостояний, таким как империя или национальное сопротивление, все эти термины имеют какое-либо значение лишь в локальных обстоятельствах, для однородных сообществ телезрителей. Выходя на минимальный уровень обобщения, аналитик неизбежно заметит непоследовательность каждой из этих позиций, выражающуюся в противоречивых идеологических ставках, из-за которых такую позицию невозможно занимать, находясь в сходной ситуации в другой части света — или по другую сторону баррикад. Помимо совершенной невозможности осмысленного диалога между противостоящими друг другу онтологиями, еще одним следствием такого положения дел является фактический вакуум на месте идеологической борьбы, которая, несмотря на все усилия по разворачиванию «нормальной политики», основанной на состязании интересов и идеологических позиций, постоянно рискует сползти в политику этнического и национального противостояния, как в Латвии, или подменить внутреннюю политику апелляцией к внешнему геополитическому антагонизму, как в России. И в том, и в другом случае политика лишается идеологического смысла, который подменяется конфликтом из-за денег, ресурсов и голой власти, разворачивающимся внутри государства и на внешнеполитической арене. Вот та реальная форма, которую принял для нас «конец истории» — не приостановка исторических способов производства смысла, а скорее исчезновение идеологически связных дискуссий о прошлом и настоящем.

Не поймите меня превратно: я пытаюсь доказать не то, что невозможно создать связное повествование о событиях прошлого и современных реалиях, которое включало бы в себя категории империи и идеологии, — а лишь что каждый такой нарратив имеет смысл лишь в сугубо локальном онтологическом пейзаже (хотя, конечно, некоторые локусы живут фантазиями о мировом господстве). Однако, возможно, из этого следует сделать вывод не об относительной справедливости каждой из доступных позиций, а, напротив, о том, что каждая из них ложна. Таким образом мы придем к пониманию того, что единственным подходящим инструментом, который остается нам для анализа истории и современных событий, является негативная диалектика. Теодор Адорно сформулировал это понятие в тупиковый момент, подобный нашему настоящему — момент, обусловленный глобальным историческим и геополитическим разрывом между капиталистическим порядком, основанным на воспроизводстве неравенства, несмотря на декларируемый либерализм, и социалистическим миром, в котором путь «от необходимости к свободе» многих привел за решетку. В противовес школам мысли, анализировавшим противоборствующие политические, социальные и философские позиции, чтобы превзойти их посредством диалектического синтеза, опирающегося на ту или иную

обновленную систему метафизики, Адорно применял диалектический принцип как способ осознать неадекватность всех наличных позиций и любого их последующего синтеза: «Диалектика — это последовательное логическое осознание нетождественности. Она не предпосылает концепции. К диалектике мысль толкает ее неизбежная недостаточность, погрешности в мыслимом» [Адорно 2003: 15; Adorno 2007: 5][10]. Однако это не идеологический или моральный релятивизм — в основе метода Адорно лежит неустанная критика, результатом которой становится осознание не того, что все позиции стоят друг друга (Адорно описывает релятивизм как закон рынка — к этой мысли я еще вернусь), а того, что, поскольку ни одна из имеющихся позиций не удерживает целостного видения, нам остается лишь изучать доступные нам фрагменты. Диалектика Адорно носит принципиально открытый характер и избегает трансцендентных заключений, занимаясь вместо этого терпеливым созерцанием отрицания.

Утрата исторической и идеологической связности, бесконечная дистанция, отделяющая нас от какого-либо понимания целого, неизбежно наводит на размышления о чудовищном итоге постидеологической эпохи, наступление которой встречали с таким энтузиазмом тридцать лет назад. В 1989—1991 годах волна так называемой демократии свободного рынка хлынула поверх прочерченных холодной войной границ в Восточной Европе и, казалось, формировала единый, гомогенный мир — по формулировке Томаса Фридмана, «плоскую землю», населенную разделяющими одни и те же ценности обществами. И монумент в Вентспилсе, с которого я начал разговор, и события последних месяцев в Украине демонстрируют крах былых надежд на единый человеческий мир, основанный на разделяемом понимании истории, базовых политических принципах и представлениях об общественном благе. Вместо этого мы оказались в матрице все более милитаризованных границ между противостоящими онтологиями и видениями истории. Говорящие головы на Западе регулярно описывают текущие трансграничные конфликты в Восточной Европе как составляющие новой холодной войны и обсуждают «не состоявшийся переход» или «реверсивные тенденции» (backsliding) в России и других странах, как будто со времен государственного социализма ничего не изменилось. Однако, как это ни парадоксально — особенно если в полной мере учитывать преемственность деструктивных тенденций в российской политической культуре, — новая или повторная фрагментация жизненных миров на этих территориях по сути представляет собой патологию, сопутствующую глобальному капиталистическому режиму «свободного рынка». В настоящее время единственной работающей во всей Восточной Европе и во всем мире глобальной системой является рынок. Однако рынок не совместим с политической солидарностью и разделяемыми идеями, как в каждом конкретном обществе, так и в транснациональных масштабах. Напротив, несмотря на вышедшую из моды трепотню, звучавшую в аэропортах 1990—2000-х в залах ожидания бизнес-класса, о «мире без границ» и свободном движении капитала, мировой рынок процветает не только благодаря возможности глобального обмена, но и благодаря производству различий, обеспечивающих выгоду от финансовых спекуляций, и сохранению границ, позволяющих изолировать рынки дешевой рабочей силы, а также накапливать и защищать собственность

10 Подробный разбор метода Адорно см. в: [Buck Morss 1977].

и доходы. Иными словами, наша нынешняя безрадостная ситуация проистекает не только из неудач перехода постсоциалистических обществ к рыночной экономике, но и из непредвиденных следствий их успехов на этом поприще. Все государства и общества оказались сведены к положению торговцев обломками истории. Куда нас в конце концов заведут сомнительные успехи нашего постсоциалистического постколониального положения, сможет показать только какая-то новая история, история будущего.

Пер. с англ. Ксении Гусаровой

Библиография / References

[Адорно 2003] — *Адорно Т.* Негативная диалектика / Пер. с нем. Е.Л. Петренко. М.: Научный мир, 2003.

(*Adorno T.* Negative Dialektik. Moscow, 2003. — In Russ.)

[Гумбрехт 2005] — *Гумбрехт Х.У.* В 1926 году. На острие времени / Пер. с нем. Е. Канищева. М.: Новое литературное обозрение, 2005.

(*Gumbrecht H.U.* In 1926. Living on the Edge of Time. Moscow, 2005. — In Russ.)

[Калиновский 2020] — *Калиновский А.* Призывники социализма: таджикская интеллигенция и деколонизация по-советски // Новое литературное обозрение. 2020. № 161. С. 140—156.

(*Kalinovskij A.* Prizyvniki sotsializma: tadzhikskaya intelligentsiya i dekolonizatsiya po-sovetski // Novoe literaturnoe obozrenie. 2020. № 161. P. 140—156.)

[Тлостанова 2020] — *Тлостанова М.* Постколониальный удел и деколониальный выбор: постсоциалистическая медиация // Новое литературное обозрение. 2020. № 161. С. 66—84.

(*Tlostanova M.* Postkolonial'nyy udel i dekolonial'nyy vybor: postsotsialisticheskaya mediatsiya // Novoe literaturnoe obozrenie. 2020. № 161. P. 66—84.)

[Adorno 2007] — *Adorno T.* Negative Dialectics / Transl. by E.B. Ashton. New York: Continuum, 2007.

[Beissinger 2005] — *Beissinger M.* Rethinking Empire in the Wake of Soviet Collapse // Ethnic Politics After Communism / Ed. by Z.D. Barany, R.G. Moser. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005. P. 14—45.

[Buck Morss 1977] — *Buck Morss S.* The Origin of Negative Dialectics: Theodor Adorno, Walter Benjamin, and the Frankfurt Institute. London: The Free Press, 1977.

[Chari, Verdery 2009] — *Chari S., Verdery K.* Thinking Between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism and Ethnography after the Cold War // Comparative Studies in Society and History. 2009. № 51. P. 6—34.

[Chernetsky 2003] — *Chernetsky V.* Postcolonialism, Russia and Ukraine // Ulbandus. 2003. № 7. P. 32—62.

[Djagalov 2019] — *Djagalov R.* From Internationalism to Postcolonialism: Literature and Cinema Between the Second and Third Worlds. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2019.

[Dzenovska 2018] — *Dzenovska D.* School of Europeanness: Tolerance and Other Lessons in Political Liberalism in Latvia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2018.

[Gumbrecht 1998] — *Gumbrecht H.U.* In 1926. Living on the Edge of Time. Harvard University Press, 1998.

[Heidegger 1992] — *Heidegger M.* The Origin of the Work of Art // Heidegger M. Basic Writings: from Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964). San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992. P. 143—212.

[Jameson 1984] — *Jameson F.* Periodizing the 60s // Social Text. 1984. № 9/10. Special issue "The 60's without Apology". P. 178—209.

[Kalinovsky 2018] — *Kalinovsky A.* Laboratory of Socialist Development: Cold War Politics and Decolonization in Soviet Tajikistan. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2018.

[Khalid 2007] — *Khalid A.* Locating the (post-)colonial in Soviet history // Central Asian Survey. 2007. Vol. 26. № 4. P. 465—473.

[Mark, Kalinovsky, Marung 2020] — *Mark J., Kalinovsky A., Marung S.* Introduction // Alterna-

tive Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World / Ed. by J. Mark, A. Kalinovsky, S. Marung. Bloomington: Indiana University Press, 2020. P. 1—31.

[Martin 2001] — *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001.

[Marx 1974] — *Marx K.* The British Rule in India // Marx K. Political Writings: In 2 vols. Vol. 1 / Ed. by D. Fernbach. New York: Random House, 1974. P. 301—307.

[Moore 2001] — *Moore D.C.* Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique // PMLA. 2001. Vol. 116. № 1. P. 111—128.

[Northrop 2004] — *Northrop D.* Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2004.

[Otoiu 2003] — *Otoiu A.* An Exercise in Fictional Liminality: The Postcolonial, the Postcommunist, and Romania's Threshold Generation // Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. 2003. № 23. P. 87—105.

[Popescu 2003] — *Popescu M.* Translations: Lenin's Statues, Post-communism and Post-apartheid // The Yale Journal of Criticism. 2003. № 16. P. 406—423.

[Popescu 2020] — *Popescu M.* At Penpoint: African Literatures, Postcolonial Studies, and the Cold War. Durham, N.C.: Duke University Press, 2020.

[Slezkine 2000] — *Slezkine Y.* Imperialism as the Highest Stage of Socialism // Russian Review. 2000. № 59. P. 227—234.

[Spivak 2003] — *Spivak G.* In Memoriam: Edward W. Said // Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. 2003. № 23. P. 6—7, 111—128.

[Spivak et al. 2006] — *Spivak G., Condee N., Ram H., Chernetsky V.* Conference Debates: Are We Postcolonial? Post-Soviet Space // PMLA. 2006. № 121. P. 828—836.

[Thompson 2000] — *Thompson E.* Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2000.

[Uffelmann 2013] — *Uffelmann D.* Theory as Memory Practice: The Divided Discourse on Poland's Postcoloniality // Memory and Theory in Eastern Europe / Ed. by U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor. New York: Palgrave Macmillan, 2013. P. 103—124.

[Zarycki 2013] — *Zarycki T.* Debating Soviet Imperialism in Contemporary Poland: On the Polish Uses of Postcolonial Theory and Their Contexts // Empire De/Centered: New Spatial Histories of Russia / Ed. by S. Turoma, M. Waldstein. Aldershot, England: Ashgate, 2013. P. 191—215.

[Vamos 2020] — *Vamos P.* The Soviet Bloc and China's Global Opening-Up Policy During the Last Years of Mao Zedong // Mark J., Kalinovsky A., Marung S. Alternative Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World. Bloomington: Indiana University Press, 2020. P. 80—99.

[von Hagen 2004] — *von Hagen M.* Empires, Borderlands, and Diasporas: Eurasia as Anti-Paradigm for the Post-Soviet Era // American Historical Review. 2004. Vol. 109. № 2. P. 445—468.

Марина Могильнер

Раса в России как фигура умолчания

Marina Mogilner

Race in Russia as a Figure of Omission

Марина Могильнер (Иллинойсский университет в Чикаго; доцент российской и восточноевропейской интеллектуальной истории (именная профессура Эдварда и Марианы Таден) исторического факультета; кандидат исторических наук; PhD) mmogilne@uic.edu.

Ключевые слова: раса, расизм, историография, империя

УДК: 316.7; 572; 930
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_220

В статье автор задается вопросом о причинах отсутствия в современных исследованиях истории и культуры Российской империи и СССР серьезной рефлексии о расе о расизме. Подчеркивая современную политическую актуальность такой рефлексии, автор тем не менее указывает на ограниченность исключительно идеологической мотивации. В первой части статьи предлагается понимание «расы» как механизма избирательной эссенциализации различий. Во второй — разбираются последствия расхождения в русистике традиций изучения модерности и имперских формаций, которые привели к маргинализации «расы» как исследовательской проблематики.

Marina Mogilner (PhD; Associate Professor, Edward and Marianna Thaden Chair in Russian and East European Intellectual History, Department of History, University of Illinois at Chicago) mmogilne@uic.edu.

Key words: race, racism, historiography, empire

UDC: 316.7; 572; 930
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_220

In the article, the author asks the question about the reasons for the lack of serious reflection on race and racism in contemporary studies of the history and culture of the Russian Empire and the USSR. Emphasizing the political relevance of such reflection, the author, nevertheless, points to the limitations of exclusively ideological motivation. The first part of the article proposes an understanding of “race” as a mechanism for the selective essentialization of differences. In the second the author analyzes the consequences of the divergence in Russian studies of the traditions of studying modernity and imperial formations, which led to the marginalization of “race” as a research problem.

Стремительная эрозия железного занавеса с конца 1980-х годов привела к тому, что в течение неполного десятилетия и практически одновременно в научный оборот были введены все основные теории и подходы мирового обществоведения XX века. Тексты 1920-х и 1990-х годов оказались в равной степени новы для постсоветской историографии и в этом смысле актуальны. Цивилизационный подход и история ментальностей, гендерная теория и постструктурализм, неомарксизм и новая социальная история, микроистория, пространственный поворот, исследования наций и национализмов, фрагменты постколониальной теории, новая интеллектуальная история, история понятий — все это начало осваиваться одновременно, формируя причудливые бриколажи, напрочь игнорирующие интеллектуальные генеалогии и актуальные контексты формирования и приложения тех или иных подходов. В специфической постсоветской ситуации политики знания многие концепции, отражавшие демократизирующие социальные перемены 1960-х годов и формулировавшие новые

парадигмы социальной критики, были переосмыслены как консервативные инструменты генерирования и воспроизводства новой элитарности. Овладение модной терминологией вовсе не обязательно вело к деконструкции гегемонных нарративов (например, в гендерных исследованиях); новая социальная и культурная история развивались в отрыве от их оригинального неомарксистского «базиса»; Эдвард Саид прочитывался как политическая критика Запада, в то время как анализ эпистемологической гегемонии в «Ориентализме» и других текстах постколониальной традиции оставался невостребованным [Бобровников 2008]; формальное освоение теоретического репертуара дисциплины изучения наций и национализма способствовало легитимации историографического национализма и т.д.

В данном случае я лишь указываю на заметные и где-то даже преобладающие тенденции. Безусловно, в постсоветской российский историографии всегда были исследователи, которые работали с глобальным методологическим репертуаром критически и осознанно. Однако сам институт социальных наук играл в целом перформативную роль, отказываясь от актуальной социально-политической критики. Одномоментно обрушившийся на ученых объем нового знания и идей почти исключительно являлся иностранным заимствованием, сформировав компрадорскую структуру постсоветской академии. Иностранное, оно же современное, знание являлось привилегией, предполагавшей возможность качественного изучения иностранных языков в школе и университете, доступ к иностранным библиотекам, стажировкам и аспирантурам, а в конечном итоге — к грантам (в 1990-е годы) и административному ресурсу в путинской неолиберальной академии (см.: [Gerasimov, Semyonov 2022]. Привилегия «продвинутых ученых» гарантировалась их «системностью», без которой их роль компрадоров-посредников между высшим западным знанием и местной примитивной экономикой знания теряла смысл[1]. Поэтому новые идеи и модели либо представлялись в максимально безвредном виде, либо излагались птичьим языком, демонстрирующим совершенство владения эксклюзивным жаргоном. При этом цензурировались сюжеты, чреватые политическим дискомфортом.

Одним из таких сюжетов была проблематика расы и расизма. Начиная с 1970—1980-х годов постколониальная и гендерная критика и критическая расовая теория способствовали переосмыслению «расы» как сугубо биологического концепта и породили волну исследований эссенциализации и взаимоналожения классовых, гендерных и этнических категорий в процессе расоизации. Но именно эта «интеллектуальная мода» никак не затронула российское научное сообщество. Не имея собственного интереса к проблеме расы (что только подчеркивает поверхностность восприятия гендерной или постколониальной теорий), российские ученые в данном случае не испытывали и давления со стороны зарубежных коллег-русистов. Так, один злобный рецензент моей книги о расовой науке в Российской империи (вышедшей в издательстве «НЛО» в 2008 году) уверенно называл историческую реконструкцию расового мышления «политикой, опрокинутой в прошлое» (перефразируя М.Н. Покровского). После столетий расизма, писал этот рецензент, «по закону маятника значительная часть американской академии откачнулась к противополож-

1 В этой связи любопытно заново перечитать форум «Провинциальная и туземная наука» [Провинциальная и туземная наука 2013].

ной крайности — само существование рас стало отрицаться. А затем, в полном соответствии с фрейдовским принципом проекции, некоторые американские антропологи перешли в наступление и принялись искать расистов в других странах. По-русски этот принцип называется не вполне научно "с больной головы на здоровую"» [Козинцев 2009: 436].

Объявляя мою историю функционирования «расы» как научного языка разнообразия и инаковости в Российской империи рубежа XIX—XX веков вариантом американского вытеснения собственной вины (в расизме), этот критик явно кривил душой, поскольку глобальные исследования истории Российской империи и СССР игнорировали тему расы даже в США, где раса глубоко инкорпорирована в язык и политику идентичности. Лишь в последние пятнадцать лет американская русистика начала проявлять некоторый интерес к этой проблематике. Волны интереса возникали и затухали спорадически, оставляли следы на полях больших нарративов, но не оказывая на них серьезного влияния[2].

В современной России, цензурирующей обсуждение проблем, связанных с национализмом и расизмом, трудно ожидать развития критической расовой теории, истории расоизации политики или науки, а также исследований обыденного расизма (хочется думать, что тот самый злобный рецензент понимает ответственность постсоветских ученых за отказ рефлексировать исторически и политически обусловленную семантику научного языка и проблематизировать механизмы производства и социального функционирования знаний о человеческом разнообразии). Но и в западной русистике остается открытым вопрос о том, насколько нынешний политический импульс, вызванный критикой системного расизма в США и внешней политикой РФ, сможет трансформироваться в продуктивную исследовательскую модель и новые, интересные исследования. В 2010 году, когда Американская ассоциация продвижения славистских исследований (AAASS) приняла новое название — Ассоциация славистских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES*), — отказ от славяно- и русоцентризма не сопровождался переосмыслением политических и эпистемологических оснований подходов и объектов исследования, структурирующих нашу дисциплину. За формальным переименованием не последовала серьезная дискуссия о литературном или историографическом каноне (канонах), языковом протоколе и, главное, аналитических категориях, которые мы используем или не используем по умолчанию, задавая параметры изучения огромного и сложного региона. Раса лишь одна из таких недоосмысленных в нашей дисциплине категорий. Она важна тем, что позволяет иначе взглянуть на историю конструирования различий и схожести, проведения видимых и невидимых границ; внимание к расе позволяет аналитически децентрировать, гибридизировать и усложнить понимание имперской и советской модерности.

Я надеюсь, что переоткрытие «расы» как категории анализа будет сопровождаться серьезной эпистемологической критикой существующих канонов и парадигм. Перефразируя замечание Джофа Или о гендере, эта работа долж-

---

2 Все работы на тему расы можно собрать в одной сноске: [Avrutin 2002; 2007; Blakely 1986; Blitstein 2006; Bojanowska 2018; Edgar 2006; Glebov 2021; Hirsch 2002; Khalid 2006; Lemon 1995; 2002; Matusevich 2007; Mogilner 2013; 2016; 2019; Rainbow 2019; Sloin 2017; Tolz 2011; 2014; Weiner 2002; Weitz 2002a; 2002b].

* ASEEES признана нежелательной организацией на территории РФ.

на привести к тому, что «раса» «перестанет быть просто “полезной категорией исторического анализа” и превратится в необходимую категорию, позволяющую достичь более высоких форм понимания» [Eley 2005: 7]. Соответственно, в этом эссе меня интересуют два вопроса: почему глобальная русистика и новые евразийские/восточноевропейские исследования до последнего саботировали серьезную работу с расовой эпистемологией и какие «более высокие формы понимания» она предлагает исследователям бывших Российских империи и СССР как сложных имперских формаций?

В моей предыдущей книге, «Homo Imperii», я попыталась ответить на второй вопрос, продемонстрировав, что «раса» являлась одним из языков имперской саморефлексии и модернизации [Могильнер 2008]. В этом смысле мой ответ и мое понимание расы согласуются с несколько громоздким, но исключительно полезным в исследовательском смысле постструктуралистским пониманием расы, предложенным Жеральдин Хенг в ее известной книге 2018 года «Изобретение расы в европейском средневековье»:

> [Раса — это] …одно из имеющихся у нас базовых наименований — которое мы ценим за заложенные в нем эпистемологические, этические и политические ориентиры — для обозначения устойчиво воспроизводящейся тенденции (с исключительно серьезными последствиями) определять людей по различиям между ними, избирательно эссенциализируя последние как абсолютные и фундаментальные, служащие основанием для неравномерного распределения позиций и власти между человеческими группами [Heng 2018: 3].

В «Homo Imperii» я, по сути, предваряю подход Хенг, но применительно к модерному периоду, когда избирательная эссенциализация опиралась на науку и когда критерии инаковости даже в гуманитарных исследованиях и новых науках о человеке конструировались по модели естественных (точных, верифицируемых) научных дисциплин. Кроме того, я примеряю этот подход к имперской ситуации, где центры производства знания и центры власти часто не совпадают и где различные акторы как сверху, так и снизу адаптируют язык расы к своим специфическим обстоятельствам и целям. Соответственно, они предлагают разные, часто конкурентные версии «неравномерного распределения позиций и власти между человеческими группами» и демонстрируют различия даже внутри того, что в исследованиях зачастую фигурирует как некая социологическая абстракция монолитного государства — источника политического притеснения и колониальной гегемонии[3]. Расоизация укореняла коллективных имперских субъектов в «объективных» структурах большой длительности, которые номинально кодировались как культурные или биологические, но на практике всегда были гибридными. Для российских приверженцев расового дискурса принципиальным являлись его модерность, научность и универсальный характер, расширявшие возможности глобальной политики сравнения. В книге я показываю, что между расовой наукой и расоизирующим мышлением, с одной стороны, и расизмом — с другой, нет простой и буквальной связи и что импульс для последовательной политизации «расы» обычно приходит извне, подчеркивая ненейтральный характер процесса производства знания в принципе. В национализирующей империи рубежа XIX—

3 Более подробно см.: [Mogilner 2021].

XX веков обращение к расе легитимировало как различные версии иерархий и неравного распределения власти, так и гибридность как принцип имперского самоописания (концепция смешанной расы, инструментализированная как принцип политической организации). В то же время и во многом именно в контексте глобальной политики сравнения в этот период «раса» активно использовалась как язык критики «архаичности» российской имперскости и династического режима, не спешившего включать «расу» в официальный репертуар политики разнообразия и продолжавшего полагаться на другие категории различия (родной язык, сословие, место рождения и жительства). Поэтому критику империи через расовый дискурс продвигали как адепты модернизации по модели «империи знания» или империи как государства наций, так и активисты антиимперских движений. Последние часто делали ставку на саморасоизацию.

Мои новые книги — «Забег в будущее (или Раса для будущего)[4]: научные проекты модерной российской еврейскости» и «Евреи, раса и политика разнообразия: Владимир Жаботинский против Российской империи» — развивают именно эту тему, исследуя «расу» как язык антиимперского и антиколониального национализма[5]. Саморасоизация в данном случае выступает как субалтерная стратегия отделения национального тела от тела имперского. Язык расы позволяет представить империю (империализм, колониализм) как неестественные формации и процессы, пресекающие естественное развитие аутентичных — природных, первичных и длящихся — наций. Герой моей второй книги, Владимир Жаботинский, артикулировал эту мысль многократно, но впервые — в 1903 году, который знаменовал его трансформацию из российского имперского интеллигента без выраженной национальной идентификации в человека, осознанно определяющего себя как еврея и сиониста: «Естественные факторы создают *расу*. Сложная, кипучая путаница экономических факторов коверкает и видоизменяет расовые признаки… Но если прогресс когда-нибудь урегулирует этот водоворот многоразличных экономических интересов… именно тогда принцип расы, до тех пор заслоненный другими влияниями, выпрямится и расцветет»[6].

Если рассматривать политические, культурные и научные дискуссии рубежа веков из этой перспективы, их риторический репертуар, включающий «расу», выходит на передний план. Обязательные оппозиции естественных и неестественных факторов, тропы чистоты и аутентичности, обоснованные отсылками к современным научным теориям, формировали язык постколониальной денатурализации империи. Гибридные, ситуационные, многослойные и даже местные формы идентификации отвергались на основе научных, политических и эстетических соображений. Так, Жаботинский выражал базовую колониальную дилемму, общую, как он считал, для всех нерусских (украинских, грузинских, даже польских) интеллектуалов через бинарную оппози-

4 Название построено на игре слов, по-английски раса/забег, поэтому первая часть может переводиться двояко.

5 Первая книга, «A Race for the Future: Scientific Visions of Modern Russian Jewishness», выходит в Harvard University Press 1 ноября 2022 года [Mogilner 2022]. Вторая книга, «Jews, Race, and the Politics of Difference: The Case of Vladimir Jobotinsky against the Russian Empire», готовится к выходу в Indiana University Press осенью 2023 года.

6 *Altalena*. Вскользь: О национализме // Одесские новости. 1903. № 5874. 30 января. С. 4.

цию провинциализма, естественности и чистоты — и столичности, урбанности и гибридности. Нерусские культуры империи он сравнивал с «деревней», с глубокой провинцией, предвосхищая постколониальную критику тотального эпистемологического доминирования, заставляющего искать «чистые» формы мысли, искусства или социальной организации колонизованных в частном и глубоко провинциальном пространстве. Акт ухода из этого провинциального мира в имперский метрополис, символический Рим (любимый город Жаботинского после Одессы), он считал национальным предательством, актом глубоко неестественным и потому непростительным[7].

Такая эссенциализация чистоты и границ национального тела на рубеже веков вызывала сложные реакции, особенно у тех, кто в логике имперского стратегического релятивизма не понимал и не воспринимал жесткий язык идентичности, который мы сегодня, следуя за Роджерсом Брубейкером, называемым группизмом (воображение группности как «большой, длящейся, внутренне гомогенной и внешне четко очерченной границами» [Brubaker 1998: 292][8]). С другой стороны, постколониальный язык Жаботинского выражал смыслы, важные для его единомышленников. Один из них, например, чутко выделил в тексте Жаботинского описание того, что сегодня мы бы назвали колониальной мимикрией: «Вы (евреи. — *М.М.*) очень способны, но камаринскую любой деревенский парень лучше вашего протанцует. А посему мой вам совет, не кривляйтесь и будьте таковыми, каковыми вас создала природа и ваша долголетняя история»[9]. Действительно, в сконструированном Жаботинским мире бинарных оппозиций пляшущий русский деревенский мальчик — естественный продукт своей расы и национальной почвы — подчеркивал неестественность еврейского участия в «русской» культуре (гримасничанья, кривляния). Обращение к языку расы позволяло Жаботинскому описывать ситуацию субалтерности: «Со дней Бар Кохбы мы больше не принимаем никакого активного участия в нашей собственной истории», все события вокруг происходят «не по нашей воле и даже не нами вызываются»; современный еврей — это «“не я”, и надо смыть его (слой чужеродных наслоений. — *М.М.*), чтобы добраться до “я”»[10].

Императив расоизированной аутентичности гораздо больше подходил для целей политической мобилизации в национализирующей империи, чем язык имперской гибридности («русский еврей»; мусульманин, интегрированный в несколько языковых и культурных традиций и идентифицирующийся конфессионально). «Я не могу отказаться от своей двойственной природы», — отвечал Жаботинскому народник, писатель и этнограф Владимир Богораз (Тан). Поскольку я еврей и поскольку русский, я сам не знаю. Если хотите узнать, вырежьте сердце и взвесьте»[11]. Пример Богораза-Тана особенно интересен — как этнограф и просто широко образованный и политически активный человек он был знаком с современной ему расовой наукой и новым ационализмом, основанным на тропах чистоты и аутентичности, не хуже

---

7 *Жаботинский В.* Письмо (О «Евреях в русской литературе») // Свободные мысли. 1908. 23 марта. С. 3.

8 См. также критику группистского воображения в: [Cooper, Brubaker 2000].

9 *Ибн-Дауд.* Заметки // Рассвет. 1908. № 5. С. 16.

10 *Жаботинский В.* Сидя на полу… // Еврейская жизнь. 1905. 14 (10) апреля. С. 21.

11 *Тан В.Г.* Евреи и литература // Свободные мысли. 1908. 19 февраля. С. 3.

Жаботинского. Однако Богораз предпочитал использовать этот арсенал критически и только в рамках практикуемых им сибирской этнографии и народнической журналистики, изобличая расизм в русском национализме и антисемитизме властей. Так, в качестве корреспондента «Русских ведомостей» Богораз интервьюировал председателя суда по делу о Гомельском погроме 1903 года Ивана Котляревского, аккуратно фиксируя расовый национализм своего респондента:

> Еврейской ассимиляции нет. Этому противна антропология, которая учит, что еврейский тип в течение 4-х тысяч лет остается неизменным… «Я и Ренана читал, — скромно сообщил мне г. Котляревский. — И в древности было то же самое. Евреи всегда оставались вкрапленным элементом среди других народов. Этому не помогут никакие школы, никакие стремления еврейской молодежи к высшему образованию, ни русский язык, ни литература. Еврейская национальность глубже языка…»[12]

Выслушав Котляревского, Богораз сообщил ему, что тот рассуждает как сионист.

Иными словами, Богораз отвергал язык расовой группности в принципе, не делая различий между антисемитами типа Котляревского, выступавшими от лица гегемонного проекта русского национализма в национализирующей империи начала XX века, и сионистами типа Жаботинского, выражавшими антиколониальный национализм притесняемых. Но в полемике с ними Богораз занимал слабую позицию, поскольку не мог предложить альтернативной, столь же «научной» и подходящей для эпохи современной массовой политики, идиомы группности. Если в случае Котляревского раса просто объективировала колониализм, в случае Жаботинского последовательная расоизация переворачивала эту реальность с ног на голову и позволяла сформулировать логическое высказывание от лица колонизированных о том, «что их мир фундаментально иной. Колониальный мир — это манихейский мир» [Fanon 1963: 6]. Богораз болезненно реагировал именно на манихейские оппозиции этого дискурса, обвиняя Жаботинского в том, что «он построил новый чулан и зовет нас туда из нашего светлого зала»[13] (оппозиция метрополии и провинции). Если Жаботинский доказывал, что расовая неприязнь является естественной реакцией на невозможность вести «нормальную национальную жизнь», Богораз признавался: «…к одесским босякам и волынским союзникам, которых те, кому надо, науськивают из чайных, — у меня все-таки нет мстительного чувства… Это не они виноваты, но бесы, которые в них вселились… “Прости их, Господи. Не ведают бо, что творят”»[14]. В основе их расхождения лежал вопрос о субъектности и личной (и коллективной) ответственности. Богораз считал любых представителей «народа» (сибирских «инородцев», гомельских евреев и их погромщиков-пролетариев) жертвами расизма и национализма властей. Жаботинский категорически отвергал любую виктимность и субалтерность. Все расовые/национальные группы, включая русских, которые в его представлении не могли вести естественную национальную

12 *Тан В.Г.* После погрома (из гомельских впечатлений) // Русские ведомости. 1904. № 356. 24 декабря. С. 3.

13 *Тан В.Г.* В чулане. К вопросу о национализме // Свободные мысли. 1908. 7 апреля. С. 3.

14 Там же. С. 3—4.

жизнь и поэтому противостояли друг другу на антагонистическом политическом поле империи, должны были преодолеть собственную субалтерность, обрести активную субъектность, принять ответственность за собственное настоящее и будущее, и очиститься от имперской гибридности. Для Жаботинского такая самодеколонизация являлась базовым условием политического гражданства. Десятилетия спустя ту же мысль афористично выразил Франц Фанон: «Деколонизация объединяет благодаря радикальному решению ликвидировать гетерогенность и объединиться на основе нации и иногда расы» [Ibid.: 10].

В раннесоветском контексте расоизация продолжала выполнять похожую работу, формируя жесткий язык группности в соответствии с предписаниями современной науки и усиливая аргументы в пользу той или иной конфигурации советских наций в большевистской модели государства наций. В то же время расоизирующее мышление помогало натурализировать социальные классы, проявляясь в генеалогических концепциях «классового происхождения» и в эссенциализации класса в целом (достаточно вспомнить о стигматизации рожденных в семьях классовых врагов). Расоизирующее мышление лежало в основе советской биополитики как версии постколониальной чистки/самоочищения. Как показали новейшие исследования происхождения ключевой советской категории группности — этноса, она сформировалась в те же годы, когда Жаботинский формулировал свой расовый антиколониальный сионизм в диалоге с другими антиимперскими активистами и в полемике с имперскими властями и представителями модерного русского национализма (такими, например, как Петр Струве). Биосоциальная категория этноса возникла тогда, когда наука о расе еще не была дискредитирована, а, напротив, вдохновляла самые разные проекты социального реформирования — от социалистических и либеральных до консервативных и колониальных [Anderson et al. 2019; Mogilner, Glebov 2020]. Исследование «расы» и близких социобиологических категорий из этой перспективы предполагает археологию а-ля Фуко, требующую идентификации условий, при которых становится возможным знание, питающие определенный тип социального воображения и формы политического действия.

С моей точки зрения, такая археология, подразумевающая внимание к различным и часто ситуационно обусловленным структурным конфигурациям власти, колониальности, субалтерности и неравенства в целом, требует присутствия империи как контекстообразующей категории [Semyonov 2008]. Только так мы, как исследователи, можем уйти от жестких, манихейских, колониальных оппозиций, которые конструировали сами герои наших исследований, и проследить меняющуюся и сложную семантику расы, которая отражает постоянный процесс переговоров и стратегического выбора «избирательно эссенциализируемых» различий [Heng 2018]. В зависимости от имперской ситуации «раса» может быть оружием слабого или инструментом исключения и насилия, или тем и другим одновременно. Империя как контекстообразующая категория требует исторической реконструкции системы неравенства и одновременно выступает как аналитическая модель, которая постулирует наложение различных и не всегда взаимопереводимых типов различий (сословие, конфессия, национальное самоопределение, язык, регион, пол и проч.). Именно из этой перспективы мы можем увидеть «расу» как язык и нарратив, нуждающийся в плотном чтении (close reading) и интерпретации, а не как

заданную извне («с больной головы на здоровую») бинарную рамку. Более того, в исследованиях российской и советской имперских формаций мы часто сталкиваемся с «расой» не маркированной цветом или другими явными соматическими отличиями, и потому в большей степени полагающейся на эссенциализацию культурных категорий инаковости. Поздние национализирующие империи в целом активно задействовали подобные формы расизма, проводя жесткие границы внутри современных, мобильных и перемешанных в социальном и культурном отношении обществ. Сегодня мы наглядно наблюдаем подобную расоизацию в отношении украинцев в дискурсе российских СМИ.

Так или иначе, если переоткрытие «расы» в настоящей момент не сведется к текущей политической актуальности, оно потребует ответственного переосмысления Евразии как имперского пространства — организованного иерархически, но не регулярно; гетерогенного; политически демонстрирующего постоянное переопределение различий и основанных на них дискурсивной и политической власти и влияния. Империя как контекстообразующая категория для анализа социальных, политических и культурных процессов на пространстве Евразии и Восточной Европы способна превратить расу из «полезной», но необязательной категории анализа в «необходимую» категорию, действительно обещающую «более высокие формы понимания», о которых говорил Или [Eley 2005].

* * *

Почему же эти изменения не произошли раньше — в начале 1990-х, когда имперские исследования стали популярны и начали менять нашу дисциплину, или в начале 2000-х, когда все осознали, что самая большая ассоциация исследователей региона не может больше игнорировать его разнообразие и неравномерность? Объяснений может быть несколько, но я остановлюсь лишь на одном — на расхождении между исследованиями империи и исследованиями модерности в нашей дисциплине.

Начиная с 1990-х годов проблематика империи и модерности задавала главные векторы обновления «русистики/славистики»: через критическую и творческую адаптацию фуколдианской теории модерности и через деконструкцию и переосмысление России как имперской формации. «Ключи счастья» Лоры Энгельстейн положили начало дискуссиям о российском «сложносоставном отставании» (combined underdevelopment) и политике экспертной модерности [Engelstein 1992; 1993]. Представляя собой парадигмальную работу, которая, по сути, сформировала целое новое исследовательское направление, эта замечательная книга в то же время совершенно не видела империю как контекст, в котором недосформировалась та самая российская модерность (для Энгельстейн — в единственном числе). Приведу лишь один характерный пример: книга включает интересный анализ антропологических исследований Прасковьи Николаевны Тарновской, яркой представительницы ломброзианской школы криминальной антропологии, которая изучала проституток, женщин-убийц и воровок. При этом Энгельстейн оставляет нас в полном неведении относительно фиксации Тарновской на расовой чистоте героинь ее исследований, которые должны были быть унифицированы «с точки зрения

расы»[15]. Конструируя антропологическую норму и девиацию, Тарновская одновременно конструировала русскость и не-русскость (отметая всех, кто мог иметь еврейские, польские или иные корни). В отличие от нее, Энгельстейн работает с фуколдианской моделью модерности и потому воспринимает женщин из работ Тарновской как обобщенных крестьянок — унифицированный объект проекций столь же унифицированных модерных экспертов в не вполне модерном государстве.

Игнорирование империи как контекста остается характерной чертой работ, написанных в парадигме «школы модерности», берущей начало от книги Энгельстейн[16]. Пример тому — книга Даниэла Бира «Обновляя Россию», развивающая подходы «Ключей счастья» [Beer 2008]. Бир показывает структурную близость мышления экспертов в области психиатрии, медицины и прочих биосоциальных дисциплин в позднеимперский период и демонстрирует их дисциплинарную и политическую власть при большевистском режиме, но не проблематизирует имперскую, колониальную, или субалтерную позицию этих экспертов и объектов их биополитики. Например, один из героев книги Бира, профессор неврологии Киевского университета Иван Сикорский, был адептом современной биополитики и ратовал за поднятие культурного и бытового уровня крестьянства посредством внедрения мер санитарного и психиатрического контроля. Для Бира важна эта биосоциальная «фуколдианская» повестка, но не то, как она связана с расовым русским национализмом Сикорского и с критикой «архаической» не-национализированной империи. Поэтому Бир не учитывает, что экспертный дискурс Сикорского отражал не только его дисциплинарную специализацию как невролога и психиатра, но и его видение имперской ситуации. Сикорский смотрел на империю из Киева, где польский, украинский и еврейский национализмы оказывали успешную конкуренцию русскому национализму. Он, к примеру, доказывал, что украинцы не нация, потому что они в расовом отношении не отличаются от великоросов. Профессор Сикорский призывал переустроить Российскую империю так, чтобы русская метрополия напоминала современное национальное государство и была четко отделена от колониальных периферий. В его научном и политическом дискурсе «раса» играла важную роль и переходила в расизм[17]. В этом смысле Сикорский не был типичным модерным экспертом и даже типичным русским националистом, расходясь во взглядах со многими академическими коллегами и приверженцами национализации политики в империи. Все они являются героями книги Бира, но парадигма изучения модерности, в которой он работает, не восприимчива к подобным различиям. Подобно тому, как рефлексия имперского разнообразия в антропологии Тарновской оказалась в слепой зоне у Энгельстейн, Бир не обращает внимания на то, что в своих работах

15 См., например: *Тарновская П.Н.* Женщины-убийцы: антропологическое исследование с 163 рисунками и 8 антропометрическими таблицами. СПб.: Т-во художественной печати, 1902; *Тарновская П.Н.* Антропометрические исследования проституток, воровок и здоровых крестьянок — полевых работниц (заседание 21 ноября 1887 г.) // Протоколы заседаний общества психиатров в С.-Петербурге за 1887 год. СПб.: [Б.и.], 1888; *Тарновская П.Н.* Воровки (антропологическое исследование). СПб.: Типография дома призрения малолетных бедных, 1891.

16 Как пример см.: [Hoffmann, Kotsonis 2000].

17 *Сикорский И.* Что такое нация и другие формы этнической жизни? Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1915. Подробнее о Сикорском см.: [Mogilner 2013: 167—200].

о «психических» эпидемиях у крестьян-сектантов Сикорский решает задачу гомогенизации нормативной, сильной и здоровой русскости и вынесения за ее рамки опасной психической заразы, исходящей от сектантов как неполноценных русских.

Подобная избирательная слепота парадигмы модерности в нашей дисциплине не является случайной и связана с прочтением ее представителями Фуко, который описывал принципиально неколониальную и неимперскую модерность. В западной традиции эту работу за него проделала Энн Столер: она проработала лекции и маргиналии Фуко и адаптировала его идеи и подходы к близкой ей проблематике изучения имперских формаций. Эта операция позволила инкорпорировать (по Столер — сделать очевидным имплицитное присутствие) «расу» и другие категории различия в оригинальный фуколдианский проект [Stoler 1995: 8]. При этом даже Столер была вынуждена признать, что Фуко смотрит на модерность «из метрополии» и позиционирует ее «вне силовых полей, в которых циркулировало имперское знание и создавался желающий субъект» [Там же]. То же самое имел в виду Джеймс Клиффорд, когда говорил о «тщательном энтоцентризме» Фуко [Clifford 1988: 265]. К сожалению, эта важнейшая критика прошла мимо школы модерности в нашей дисциплине. Не отреагировали ее представители и на дискуссию о стратегическом эссенциализме и стратегическом релятивизме имперских формаций, вдохновленную критической рецепцией постколониальной теории. Стратегический релятивизм как выражение логики имперского режима управления различиями делает очевидным неадекватность любого монологичного объяснительного нарратива в изучении империй, любого взгляда на модерность «из метрополии», который не помещает ее в релевантный гетерогенный, иерархичный и неравномерный имперский контекст[18].

Без подобной дискуссии об имперской модерности — по сути, о современных сложных обществах — только и остается замерять уровень власти унифицированных экспертов и дискурсов или сравнивать частотность использования столько же унифицированным научным сообществом категории «расы» (по сравнению с условными американским или британским научными сообществами). Проблематика, которая требует анализа эссенциализации (расоизации) социальных и культурных различий, их адаптации к требованиям «модерности», остается за боротом. Ключевые категории — эксперты, государство, наука, политика и прочие — воспринимаются как самоочевидные, что никогда не верно в имперской ситуации неравномерного, несистемного и при этом иерархичного разнообразия. Империя как контекстообразующая категория заточена на конструирование и управление различиями, но она отсутствует в исследованиях, которые унаследовали «стратегический эссенциализм» фуколдианской модели. Поэтому работы, имеющие широкий резонанс среди исследователей имперских формаций, не оказывают парадигмального влияния на магистральные исследования модерности — имперской и советской. Так, концепция «режима имперских прав» (imperial rights regime), сформулированная Джейн Бурбанк и позволяющая осмыслить неравномерность правового

18 Термин «strategic relativism» сформулирован как оппозиция «strategic essentialism», который, по Гаятри Чакраворти Спивак, характеризует модерную эпистему групповости [Chakravorty Spivak 1988: 205]. О «стратегическом релятивизме» подробнее см.: [Gerasimov, Glebov 2009: 20].

пространства империи, занимает маргинальное место в историографии имперского гражданства и подданства, созданной в рамках фуколдианской версии модерности [Burbank 2006]. Исследования «расы» как одного из языков конструирования человеческого разнообразия самыми разными акторами, вовлеченными в производство современного знания или политики (см. сноску 1), до сих пор сосуществуют в нашей дисциплине с влиятельным Sonderweg-подходом, ставящим релевантность «расы» под сомнение. Вместо анализа стратегий и контекстов эссенциализации различий мы все еще спорим о биологических versus культурных критериях выделения расового дискурса и о социальной — не биологической — природе языка советской групповости; о том, был ли у российской науки и административного аппарата империи некий иммунитет к «расе», и т.п.[19] Пионерское исследование Питера Холквиста, который проследил рождение современной политики населения в среде имперской армейской элиты, в свое время стимулировало интерес к культуре этатизма и ее влиянию на экспертный дискурс при советской власти. Однако многие последователи Холквиста восприняли из его модели то, что в ней было от школы модерности, и растеряли характерную для Холквиста чувствительность к имперской социальной сложности и разнообразию [Holquist 2001]. Та же тенденция проявилась в отношении к литературе, созданной к недавнему столетнему юбилею революции 1917 года: имперский характер революции (например, в логике парадигмы «имперской революции» Джереми Аделмана [Adelman 2008][20]) или множественность революций и гражданских войн на территории империи оказались наименее востребованными в новом историографическом синтезе. Похожим образом работы Терри Мартина, Франсин Херш, и пока в меньшей степени Адиба Халида или Эндрю Слоина, посвященные советскому нациостроительству, стимулировали исследования диалектики универсального (не-национального, над-национального) и национального в советском проекте [Hirsch 2005; Khalid 1998; 2015; 2021; Martin 2001; Sloin 2017]. Однако эти и другие подобные исследования не дестабилизировали сам концептуальный аппарат, с помощью которого описывается советская модерность, и не привели к радикальному пересмотру ее исторического нарратива, в основных чертах сложившегося в 1960-е годы [Gerasimov 2021]. Недостаточная проблематизация империи в рамках школы модерности, при всем деконструктивистском потенциале, в ней заложенном, продолжает стимулировать руссоцентризм и вариации на тему «особого пути». Исследования «расы» стали прямыми заложниками этой ситуации.

«Культура вполне может функционировать как природа; в частности, она может замыкать индивидуумов и группы в генеалогии, в неизменяемую и нематериальную по происхождению детерминированность», — так Этьен Балибар суммировал сложившийся в современных гуманитарных и социальных науках консенсус [Balibar 1999: 22]. Поразительно, что, несмотря на многочисленные подтверждения сказанного в работах представителей имперских исследований в нашей дисциплине, да и на общую тенденцию к росту национализма и расизма, которую мы наблюдаем как в изучаемом нами регионе, так

19 Наиболее последовательная версия Sonderweg-подхода к проблематике «расы» в: [Knight 2000; 2012].

20 Важное исключение представляет работа Александра Герасимова [Gerasimov 2017] и некоторые тексты в сборнике [Lohr et al. 2014].

и за его пределами, «раса» все еще остается наименее осмысленной категорией евразийских и восточноевропейских исследований. Для изменения ситуации одних идеологических стимулов недостаточно, и необходимо аналитическое инкорпорирование империи как контекстообразующей категории и аналитической модели в нашу исследовательскую оптику.

Библиография / References

[Бобровников 2008] — *Бобровников В.* Почему мы маргиналы? (Заметки на полях русского перевода «Ориентализма» Эдварда Саида) // Ab Imperio. 2008. № 9. С. 325—344.

(*Bobrovnikov V.* Pochemu my marginaly? (Zametki na polyakh russkogo perevoda «Oriyentalizma» Edvarda Saida) // Ab Imperio. 2008. № 9. P. 325—344.)

[Козинцев 2009] — *Козинцев А.* «Наука минус наука» // Антропологический форум. 2009. № 11. С. 427—442.

(*Kozintsev A.* "Nauka minus nauka" // Antropologicheskiy forum. 2009. № 11. P. 427—442.)

[Могильнер 2008] — *Могильнер М.* Homo Imperii. История физической антропологии в России. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

(*Mogilner M.* Homo Imperii. Istoriya fizicheskoy antropologii v Rossii. M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2008.)

[Провинциальная и туземная наука 2013] — [*Бермус А., Бучатская Ю., Гапова Е. и др.*] Форум: Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 9—236.

([*Bermus A., Buchatskaya YU., Gapova E. i dr.*] Forum: Provintsial′naya i tuzemnaya nauka // Antropologicheskiy forum. 2013. № 19. P. 9—236.)

[Adelman 2008] — *Adelman J.* An Age of Imperial Revolutions // American Historical Review. 2008. Vol. 113. № 2. P. 319—340.

[Anderson et al. 2019] — Life Histories of Etnos Theory in Russia and Beyond / Ed. by D.G. Anderson, D.V. Arzyutov, S.S. Alymov. Cambridge, Eng.: Open Book Publishers, 2019.

[Avrutin 2002] — *Avrutin E.M.* Racism in Modern Russia: From Romanovs to Putin. Bloomsbury Academic, 2002.

[Avrutin 2007] — *Avrutin E.M.* Racial Categories and the Politics of (Jewish) Difference in Late Imperial Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. № 1. P. 13—40.

[Balibar 1999] — *Balibar E.* Is There a 'Neo-Racism'? // Balibar E., Wallerstein I. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities / Transl. by Ch. Turner. London; New York: Verso, 1999. P. 17—28.

[Beer 2008] — *Beer D.* Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880—1930. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008.

[Blakely 1986] — *Blakely A.* Russia and the Negro: Blacks in Russian History and Thought. Washington, DC: Howard University Press, 1986.

[Blitstein 2006] — *Blitstein P.A.* Cultural Diversity and the Interwar Conjuncture: Soviet Nationality Policy in Its Comparative Context // Slavic Review. 2002. № 2 (65). P. 273—293.

[Bojanowska 2018] — *Bojanowska E.M.* A World of Empires: The Russian Voyage of the Frigate Pallada. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2018.

[Brubaker 1998] — *Brubaker R.* Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // The State of Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism / Ed. by J. Hall. New York: Cambridge University Press, 1998.

[Burbank 2006] — *Burbank J.* An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2006. Vol. 7. № 3. P. 397—431.

[Chakravorty Spivak 1988] — *Chakravorty Spivak G.* In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York, London: Routledge, 1987.

[Clifford 1988] — *Clifford J.* The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.

[Cooper, Brubaker 2000] — *Cooper F., Brubaker R.* Beyond "identity" // Theory and Society. 2000. Vol. 29. P. 1—47.

[Edgar 2006] — *Edgar A.* Bolshevism, Patriarchy, and the Nation: The Soviet "Emancipation" of Muslim Women in Pan-Islamic Perspective // Slavic Review. 2002. № 2 (65). P. 252—272.

[Eley 2005] — *Eley G.* A Crooked Line: From Cultural History to the History of Society. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005.

[Engelstein 1992] — *Engelstein L.* The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992.

[Engelstein 1993] — *Engelstein L.* Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia // The American Historical Review. 1993. Vol. 98. № 2. P. 338—353.

[Fanon 1963] — *Fanon F.* The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, 1963.

[Gerasimov 2017] — *Gerasimov I.* The Great Imperial Revolution // Ab Imperio. 2017. № 2. P. 21—44.

[Gerasimov 2021] — *Gerasimov I.* A New Soviet History: An Editor's Observations Thirty Years After the USSR // Ab Imperio. 2021. № 4. P. 27—54.

[Gerasimov, Glebov 2009] — *Gerasimov I., Glebov S.* New Imperial History and the Challenges of Empire // Empire Speaks Out. Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / Ed. by I. Gerasimov, J. Kusber, A. Semyonov. Leiden: Brill, 2009.

[Gerasimov, Semyonov 2022] — *Gerasimov I., Semyonov A.* A Perspective from Russia // World Humanities Report, CHCI, 2022.

[Glebov 2021] — *Glebov S.* Race and Politics: A History from Imperial Borderlands // A Cultural History of Race in the Age of Empire and Nation State. Vol. 5 / Ed. by M. Mogilner. Bloomsbury Academic, 2021. P. 93—110.

[Heng 2018] — *Heng G.* The Invention of Race in the European Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

[Hirsch 2002] — *Hirsch F.* Race without the Practice of Racial Politics // Slavic Review. 2002. № 1 (61). P. 30—43.

[Hirsch 2005] — Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005.

[Hoffmann, Kotsonis 2000] — Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / Ed. by D.L. Hoffmann, Y. Kotsonis. New York: St. Martin's Press, 2000.

[Holquist 2001] — *Holquist P. T*o Count, to Extract and to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Ed. by R.G. Suny, T. Martin. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 111—144.

[Khalid 1998] — *Khalid A.* The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. University of California Press, 1998.

[Khalid 2006] — *Khalid A.* Backwardness and the Quest for Civilization: Early Soviet Central Asia in Comparative Perspective // Slavic Review. 2002. № 2 (65). P. 231—251.

[Khalid 2015] — *Khalid A.* Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015.

[Khalid 2021] — *Khalid A.* Central Asia: A New History from the Imperial Conquests to the Present. Princeton University Press, 2021.

[Knight 2000] — *Knight N.* Ethnicity, Nationality and the Masses: Narodnost' and Modernity in Imperial Russia // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / Ed. by D.L. Hoffmann, Y. Kotsonis. New York: Palgrave Macmillan, 2000. P. 41—64.

[Knight 2012] — *Knight N.* Vocabularies of Difference: Ethnicity and Race in Late Imperial and Early Soviet Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012. Vol. 13. № 3. P. 667—683.

[Lemon 1995] — *Lemon A.* "What Are They Writing about Us Blacks": Roma and "Race" in Russia // Anthropology of East Europe Review. 1995. № 2. P. 34—40.

[Lemon 2002] — *Lemon A.* Without a "Concept"? Race as Discursive Practice // Slavic Review. 2002. № 1 (61). P. 54—61.

[Lohr et al. 2017] — The Empire and Nationalism at War / Ed. by E. Lohr, V. Tolz, A. Semyonov, M. von Hagen. Bloomington: Slavica Publishers, 2014.

[Martin 2001] — *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.

[Matusevich 2007] — Africa in Russia, Russia in Africa: Three Centuries of Encounters / Ed. by M. Matusevich. Trenton, 2007.

[Mogilner 2013] — *Mogilner M.* Homo Imperii: A History of Physical Anthropology in Russia (Critical Studies in the History of Anthropology). Lincoln: University of Nebraska Press, 2013.

[Mogilner 2016] — *Mogilner M.* Racial Psychiatry and the Russian Imperial Dilemma of the "Savage Within" // East Central Europe. 2016. Vol. 43. № 1—2. P. 99—133.

[Mogilner 2019] — *Mogilner M.* Classifying Imperial Russianness: Race and Hybridity in the Nineteenth — Early Twentieth Century Russian Imperial Anthropology // National Races: Transnational Power Struggles in the Sciences and Politics of Human Diversity, 1840—1945 / Ed. by R. McMahon. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2019. P. 205—240.

[Mogilner 2021] — *Mogilner M.* Introduction // A Cultural History of Race in the Age of Empire and Nation State. Vol. 5 / Ed. by M. Mogilner. Bloomsbury Academic, 2021. P. 1—18.

[Mogilner 2022] — *Mogilner M.* A Race for the Future: Scientific Visions of Modern Russian Jewishness. Harvard University Press, 2022.

[Mogilner, Glebov 2020] — *Mogilner M., Glebov S.* The Transatlantic "Imperial Situation": Archie Phinney, Early Soviet Ethnography, and Native American Visions of Progress // Ab Imperio. 2020. № 1. P. 27—38.

[Rainbow 2019] — *Rainbow D.* Ideologies of Race: Imperial Russia and the Soviet Union in Global Context. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2019.

[Semyonov 2008] — *Semyonov A.* Empire as a Context Setting Category // Ab Imperio. 2008. № 1. P. 193—204.

[Sloin 2017] — *Sloin A.* The Jewish Revolution in Belorussia: Economy, Race, and Bolshevik Power. Bloomington: Indiana University Press, 2017.

[Stoler 1995] — *Stoler A.L.* Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things. Durham, NC: Duke University Press, 1995.

[Tolz 2011] — *Tolz V.* Russia's Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods. Oxford: Oxford University Press, 2011.

[Tolz 2014] — *Tolz V.* Discourses of Race in Imperial Russia, 1830—1914 // The Invention of Race: Scientific and Popular Representations / Ed. by N. Bancel, T. David, D. Thomas. N.Y.: Routledge, 2014. P. 133—144.

[Weiner 2002] — *Weiner A.* Nothing but Certainty // Slavic Review. 2002. № 1 (61). P. 44—53.

[Weitz 2002a] — *Weitz E.D.* On Certainties and Ambivalences: Reply to My Critics // Slavic Review. 2002. № 1 (61). P. 62—65.

[Weitz 2002b] — *Weitz E.D.* Racial Politics without the Concept of Race: Reevaluating Soviet Ethnic and National Purges // Slavic Review. 2002. № 1 (61). P. 1—29.

Екатерина Болтунова

Региональная история России:

исследовательское поле и архивная практика (1990-е — начало 2020-х годов)[1]

Ekaterina Boltunova

A Regional History of Russia: The Research Field and Archival Practices (1990s — early 2020s)

Екатерина Болтунова (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», заведующая лабораторией региональной истории России; кандидат исторических наук) ekboltunova@hse.ru.

Ключевые слова: региональная история, историография, Центральная Россия, архивный поиск

УДК: 94(470)
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_235

В статье рассматривается современное состояние изучения региональной истории России. Автор анализирует академическую литературу, посвященную истории российских регионов, появившуюся за последние два десятилетия на русском и английском языках; выделяет тренды, сформировавшиеся в этом исследовательском поле (устойчивое соотнесение региона с этноконфессиональной составляющей, редкое использование сопоставлений и др.). В статье дается обзор литературы применительно к изучению Центральной России и делается вывод о неизученности этой территории как макрорегиона. Автор также анализирует распространенные в России практики работы с архивами, указывая на необходимость создания поисковых систем, позволяющих обработать большие базы данных, в том числе разработку автоматизированной системы навигации по рукописному тексту.

Ekaterina Boltunova (PhD; Head, Laboratory of Russia's Regions in Historical Perspective, HSE University) ekboltunova@hse.ru.

Key words: regional history, historiography, Central Russia, archival research

UDC: 94(470)
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_235

This article examines the current state of the study of the history of Russia's regions. The author analyes academic literature on the history of Russian regions that has appeared in the last two decades in English and in Russian. Trends that have developed in this research field are highlighted (the persistent correlation of a region with its ethnic and religious makeup, the rare use of comparisons, etc.) The article gives an overview of the literature in relation to the study of Central Russia and concludes that this territory has not been studied as a macroregion. The author also analyzes Russian practices of working with archives, pointing out the need to create search engines that can process large databases, including the development of automated system for navigating handwritten texts.

В 1999 году в журнале «American Historical Review» появилась статья Селии Эпплгейт «Европа регионов: размышления об историографии субнациональных территорий в период Нового времени» [Applegate 1999]. В этой работе, ставшей к настоящему моменту классикой, Эпплгейт анализирует исследовательскую литературу, посвященную истории и культуре регионов Западной

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-68-00066, https://rscf.ru/project/22-68-00066/. Автор благодарит за помощь в сборе материала М.А. Долгову и П.А. Шашонкова.

Европы. Отталкиваясь от утверждения, что «Европа… всегда была и остается «в значительной мере континентом региональных идентичностей» [Ibid.: 1157], она демонстрирует, как менялось в течение двадцати лет осмысление истории и культуры регионов этой части мира, делая вывод о произошедших качественных изменениях и формировании в рамках текущей интеллектуальной повестки «поворота к региональной истории» [Ibid.: 1181].

Оценки Селии Эпплгейт с учетом объема обработанной ею литературы представляются вполне доказанными — исследовательница фиксирует последовательный рост интереса к изучению региональной перспективы в Германии, Франции и Великобритании, по крайней мере с конца 1970-х годов, и последующее разворачивание дискуссии о современных методах, востребованных в этом академическом поле. Эпплгейт раскрывает для читателя и содержательное богатство направления с его активной рефлексией о соотношении национального и субнационального компонентов и рассмотрением вопросов социального воображения, локальной идентичности, форм экономической жизни, уровня влияния модернизационных трендов и т.д.

Читая статью Эпплгейт спустя еще почти два с половиной десятилетия, мы можем точнее определить, почему отмеченный ею «поворот» в сторону изучения регионов пришелся на конец 1970-х — 1990-е годы. Речь идет о влиянии тенденций, схожих с теми, что определили становление memory studies. По мнению Тони Джадт, много размышлявшего над категориями памяти, интерес к последним был связан с целым рядом политических и социальных смещений, пришедшихся на 1970—1980-е годы, когда европейцы начали обращать внимание на оборотную сторону «эпохи процветания и оптимизма», исчезновение привычного уклада и, наконец, изменение политической культуры. Страх утраты привычного мира и потери идентичности послужили толчком к развитию интеллектуальных практик, нацеленных на то, чтобы зафиксировать и, таким образом, удержать уходящее [Джадт 2004: 50—52]. Очевидно, тревоги, вызванные набирающим силу процессом глобализации, бурные дискуссии сторонников и противников проекта объединенной Европы, ставшего реальностью в начале 1990-х годов, определили и стремление обнаружить социальную важность локального, сформировав новый исследовательский взгляд на регион.

Поворот в сторону изучения российской региональной перспективы на новом уровне (постановка исследовательских задач, интеграция неконвенциональных для большого нарратива установок и т.д.) стал очевидным в 1990-е годы. Речь, впрочем, прежде всего идет об англо-американской и немецкой литературе или русскоязычных публикациях, которые были направлены на представление результатов совместных проектов российских и зарубежных историков (см. например: [Имперский строй 1997; Казань, Москва, Петербург 1997; Bassin 1999; Hartley 1990; Hausmann 1998; Matsuzato 1997; 2000; Moon 1997; Russia's Orient 1997]). Собственно российские работы по региональной истории, написанные с учетом мировой академической повестки, включая вопросы методологии, появились в середине — второй половине 2000-х годов. Этот знаковый период ассоциируется сейчас с публикациями А.В. Ремнева [Ремнев 2004а; 2009; Сибирь 2007][2], статьями и антологиями журнала «Ab Imperio» [Конфес-

2 Более подробно о работах А.В. Ремнева см.: [Ремнев 2015]. О его влиянии на исследовательское поле см. также: [Старые и новые сюжеты 2021].

сия, империя, нация 2012; Регион в истории империи 2013] и большим проектом «Окраины Российской империи», инициированным издательством «Новое литературное обозрение» [Западные окраины 2006; Кушко, Таки 2012; Северный Кавказ 2007; Сибирь 2007; Центральная Азия 2008]. В это время историки заговорили о необходимости признать, что Российская империя была «не простым конгломератом народов и территорий, а сложной системой, включавшей в качестве элементов... регионы, имеющие различные социально-экономические политические и социокультурные характеристики», что, в свою очередь, «ставит вопрос о важности изменения ракурса исторического исследования, расширения тематики и модификации понятийного аппарата» [Ремнев 2004б: 7]; на страницах исследований появились призывы преодолеть «традицию централистского взгляда на историю России» и «этноцентризм национально-государственных традиций», перейдя к исследованиям полиэтнической природы государства и его регионов [Каппелер 2000: 31—32].

Артикуляция этих новых позиций, без сомнения, оказала влияние на исследовательское поле. Вместе с тем не следует преувеличивать силу этого воздействия на российскую академическую корпорацию. Важно иметь в виду, что в российской ситуации бóльшая часть работ по истории регионов создается в самих регионах. Этот сегмент исследовательского поля во многом формируется как атомизированная среда, существующая в непростых отношениях со столичной и зарубежной наукой (вплоть до проявлений ресентимента и активной промоутации идеи о невозможности понять регион, не живя в нем). Представители последней, в свою очередь, в большинстве своем не ориентированы на взаимодействие с региональными исследователями, не считают необходимым учитывать их работы, изначально предполагая низкий уровень анализа. Эти воззрения и реакции формируют своего рода расщепленную среду, в которой, например, в Москве, Пскове, Элисте и Хабаровске относительно близкая тематика обсуждается в рамках совершенно разной системы координат и на основе разных по составу списков цитирования. Иными словами, принципы работы и признанные авторитеты зачастую не совпадают[3].

Существенно также, что в рамках российской историографии регион и его историческое развитие являются предметом рассмотрения для краеведения или академических практик, которые основаны на схожих позициях. Это устойчивое направление, в котором за более чем полтора века изысканий накоплен огромный материал и сформирована настоящая традиция [Севастьянова 2020; Региональная история 1999; Шмидт 1992]. Региональная история в этом изводе социально ориентирована и нацелена на поддерживание коммеморации, столь необходимых для локальных обществ [Маловичко, Румянцева 2012: 7—8]. Однако для исследовательской практики подобная модель непродуктивна, поскольку она ориентирована на поиск факта, но не на анализ последнего, оказывается свободной от рефлексии на темы метода и, стремясь доказать право региона на субъектность через его уникальность, практически не прибегает к сопоставлениям.

3 См. дискуссию о статусе региональной науки в журнале «Антропологический форум»: [Соколов, Титаев 2013; Форум 2013].

Тематика и исследовательская практика

Очевидно, самым предсказуемым утверждением относительно специфики исторической регионалистики в России может стать указание на существование дуальной модели восприятия территорий (дихотомия «центр — периферия») и неравномерной изученности регионов страны. Однако такие установки в известном смысле отражают классические проблемы любого направления — что-то изучено лучше, что-то хуже, а самое исследовательское поле воспроизводит устойчивые общественные оценки. При детальном рассмотрении изменений, произошедших за последние два десятилетия в изучении российских регионов, можно идентифицировать, впрочем, и более отличительные особенности.

Прежде всего отметим, что в рамках существующей исследовательской парадигмы роль субъекта в региональной истории главным образом отведена национальности. При понимании того значения, которое имеет этноконфессиональная составляющая, важно отметить, что подобная оптика оставляет за рамками анализа целый ряд значимых аспектов социальной истории, таких как формирование региональных идентичностей, общественных установок и ментальных карт, или — в рамках другой логики изучения — складывание трансграничной перспективы, которая изначально формируется поверх существующих, в том числе и этноконфессиональных, границ.

Сложившаяся за последние два-три десятилетия практика изучения российских регионов, настроенная на поиск разнообразия (этнического, языкового, социокультурного, экономического), очевидно, определила и тот факт, что из поля зрения исследователей выпала огромная территория, находящаяся в самом центре европейской части страны и имеющая принципиальное значение для сопоставительной перспективы. Речь идет о Центральной России или в терминологии имперского периода — о «великорусских/великороссийских губерниях». По сути, русские территории Российской империи и СССР, маркированные в силу ряда причин как пространство внеэтническое[4], выпадают из текущей исследовательской повестки, связанной с рассмотрением макрорегионов. Единичные работы, написанные на основе других установок, не изменили пока общее восприятие проблематики, о чем речь пойдет ниже.

Соотношение упомянутых выше факторов и устойчивый академический интерес к изучению иноземцев/иностранцев в России предопределили смещение перспективы в сторону интенсивного поиска «иного» или «чужого» в регионе. К настоящему моменту сформировано большое историографическое поле, нацеленное на изучение действовавших в пространстве российского региона финнов, чехов, китайцев, корейцев и представителей других групп. Число таких работ исчисляется сотнями, а в качестве объекта для рассмотрения выбираются конкретные персоналии и целые сообщества (см., например: [Абраменко 2006; Бондаренко и др. 2009; Домашек 2007; Любавин 2000; Овсянникова 2003; Петров 2000; Познахирев 2014; Позняк 2004; Сушко, Петин 2022; Туманик 2011; Boyko 2001; DeWeese 2019; Golubev, Takala 2014; Park 2019; Urbansky 2012]). Особенно интенсивно исследуется история польских переселенцев, как правило ссыльных разного периода (см.: [Береговая 2007;

4 Это подчеркивается территориальными отсылками в названиях, например Тульская, Владимирская, Костромская области.

Зоркальцев 2016; Кононова 2004; Мулина 2005; Островский 2021; Пичугина 2000; Подлевских 2004; Пяткова 2004; Gentes 2003; Gruszczynska, Kaczynska 1990]). Отметим, что в рамках этой парадигмы достаточно устойчивым является изучение действий «чужого», прежде всего если речь идет о представителях Западной или Восточной Европы, как проявление позиции культуртрегерства. Расставленные таким образом приоритеты определяют значительно более низкий исследовательский интерес к анализу других значимых и куда более многочисленных социальных и профессиональных групп. Отдельно следует отметить, что гендерная история российских регионов, в том числе территорий с колоссальной диспропорцией мужского и женского населения (Север, Сибирь, Дальний Восток), пока не только не написана, но даже не осмыслена как проблемное в исследовательском отношении поле.

И наконец, в современной российской регионалистике крайне мало работ, написанных на основе сравнения разных территорий. Оговоримся, что речь прежде всего идет о литературе, изданной в России. Англо-американская академическая литература по истории российских регионов использует сопоставления намного чаще (см., например: [Cusco 2017; Sabol 2017; Zeisler-Vralsted 2014]), не всегда, впрочем, делая это с опорой на действительную источниковую базу. В российской традиции доминирующей остается аналитическая практика, в рамках которой историки, изучающие пограничье на Северо-Западе, не видят необходимости в соотнесении своих выводов с историей дальневосточных территорий страны, а исследователи Европейского Севера, как правило, не стремятся обсуждать свои находки с теми, кто изучает историю Сибири.

«Белое пятно» в центре

Исследователи самых разных регионов России часто оперируют — прямо или косвенно — понятием «обычной» губернии или области, то есть территории, характеризующейся определенной этнической, конфессиональной и социальной конфигурацией и отличающейся от изучаемой ими региональной ситуации (см., например: [Любичанковский 2021: 194]). Само существование такого региона задает возможность для пары образов — с «обычным» регионом сопоставляются остальные территории, интегрировать которые в состав страны стремились администраторы разных уровней и поколений, наличием этой территории объясняются устремления и чаяния людей, ощущавших свою оторванность и стремившихся покинуть Север, Сибирь или Дальний Восток. Этот регион предполагает свою географию, часто, впрочем, не вполне проговоренную и соотнесенную с центром европейский части страны или великорусскими/великороссийскими губерниями Российской империи.

Этот регион — историческое ядро страны — оказывается территорией, о которой при взгляде на нее как на макрорегион нам известно крайне мало. Эта территория не имеет в современной исследовательской литературе (как, впрочем, и в общественном сознании) четких границ, то есть в состав условной «обычной» России могут включаться — в зависимости от позиции наблюдателя — такие разные города, как Вологда, Смоленск, Воронеж или Нижний Новгород. У этой территории к настоящему моменту нет даже общепринятого имени. Последнее варьируется от наименований «внутренние губернии» (внутренняя Россия), «великорусские/великороссийские губернии», «коренная Рос-

сия», «средняя полоса России» («срединная Россия») до таких названий, как «Центральный (промышленный) район» и «Черноземье/Нечерноземье».

Приведенные выше соображения позволяют задаться вопросом: с чем именно сравнивают изучаемые территории, будь то литовские земли, Урал или Сибирь, историки, работающие с региональной перспективой? На поверку Центральная Россия оказывается лишь образом или — с точки зрения академической постановки проблемы — нейтральной аналитической единицей, которая наполняется содержанием в зависимости от задач исследователя. Нельзя сказать, что такое позиционирование является полностью уникальным — в конце концов, ученые, рассматривающие, например, политику центра в отношении Кавказа или Дальнего Востока, могут трактовать эти регионы также весьма обобщенно. Существенно, впрочем, что при смене оптики на региональную, то есть в случае, когда регион перестает восприниматься как некая территория на карте[5] и выводится в центр интерпретационной модели, для изучения Кавказа или Дальнего Востока препятствий не возникает. В отношении Центральной России, однако, эта установка не срабатывает.

Складывание подобной парадоксальной ситуации определяется комплексом причин, главной из которых является упомянутое выше восприятие категории «регион», который в основном «прочитывается» через историю национальностей и языковой политики. Предлагаемая перспектива при этом исключает из общего рассмотрения русских. Отметим, что в современной историографии существуют работы, анализирующие советскую политику в отношении русских и оценивающие ее как результат работы власти с «неудобной» нацией [Мартин 2011; Слезкин 2001; Хоскинг 2012]. Очевидно, что эти же позиции оказали влияние и на рассмотрение региона Центральной России. М.В. Лескинен, автор одной из немногочисленных исследовательских работ, посвященных великороссийским губерниям [Лескинен 2016], справедливо отмечает, что «суть национального вопроса [в Советском Союзе] виделась в том, чтобы “дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношениях”. При таком иерархическом понимании “более развитая” русская нация считалась менее всего пострадавшей от имперского национализма в оценочном значении слова. Отчасти поэтому этноним “великорус” был изгнан сначала из литературного языка, затем из научной терминологии и использовался лишь как “устаревшее название” русских — понятие ассоциировалось в первую очередь с комплексом великорусского культурного превосходства» [Болтунова, Лескинен 2022: 201—202].

После распада Советского Союза исследовательская парадигма в этом отношении не претерпела значительных изменений. К тому же академический интерес к изучению истории бывших республик СССР и пограничных территорий России серьезно возрос. В известном смысле история «окраин» вышла в центр, а Центральная Россия при этом так и осталась в «слепой зоне». Сыграло свою роль и логичное в языковом отношении, но некорректное в историческом плане соположение центральных регионов страны, особенно расположенных близко к Москве, с центром принятия решения. Не удивительно поэтому, что вопрос о том, насколько периферийной была Центральная Россия в поли-

5 О критике этого подхода см.: [Сандерленд 2021: 11].

тике имперских и советских властей, долгое время оставался неочевидным или даже парадоксальным.

Отметим, что в литературе пока нет серьезного запроса на осмысление этой части страны как макрорегиона. Число исследований, нацеленных на проблематизацию тех или иных сфер жизни этой большой территории, и работ, в которых Центральная Россия вынесена в центр рассмотрения, крайне невелико и представлено в основном статьями (см.: [Болтунова 2021; Глаголева 2021; Горизонтов 2004; 2009; Иванов 2003; Куприянов 2017; Лескинен 2016; Пикеринг Антонова 2019; 2021; Evtukhov 2011; Smith-Peter 2018]). Авторы работ, написанных непосредственно в регионе — как аналитических, так и краеведческих — в качестве объекта изучения часто выбирают сугубо локальные территориальные единицы, такие как «Смоленщина», «Брянщина», «Владимирская земля/губерния/область», «Калужский край», «Ярославский край», «Ивановская промышленная область» и пр. (см., например: [Балдин 1998; Берговская, Филимонов 2012; Крашенинников 2004; Околотин 2009; Чайкин 2015]). Иными словами, в исследовательском дискурсе этот регион распадается на множество мелких элементов, соотнесенных с губерниями/областями, но мало связанных друг с другом и не апеллирующих к идее этнического, культурного или тем более политического единства этой части страны. Периодическое появление терминов, отсылающих к нескольким областям современной России, таких, например, как «Верхневолжье» (как правило, отсылка к Твери и, реже, Ярославлю и Костроме) или, что встречается чаще, Черноземье, не оказывают большого влияния на изменение исследовательской повестки в отношении взгляда на эту территорию.

Отметим, что интеллектуальное пространство указанной территории функционирует в соответствии с описанными выше установками — коммуникация между исследователями в Центральной России выстраивается в основном в рамках существующих административно-территориальных границ. Иными словами, историки из Владимира не стремятся сотрудничать с костромичами, а смоляне — взаимодействовать с туляками или рязанцами и т.д. Для сравнения скажем, что такая ситуация не является универсальной для России, о чем свидетельствует активная коммуникация между исследователями Сибири, которые представляют разные города и университетские центры региона.

Вместе с тем важно отметить и изменения, наметившиеся в этом сегменте региональных исследований. Можно предположить, что в обозримом будущем ситуация здесь изменится — тематика диссертаций, защищенных в регионе в последние пятнадцать лет, отражает поиск новой исследовательской рамки в том числе и через рассмотрение проблематики на примере сразу нескольких областей этой части страны (см., например: [Адамов 2004; Акимова 2007; Иванова 2006; Резников 2007]). Следует также обратить внимание и на новый исследовательский проект американского историка Пола Верта, затрагивающий территорию «внутренней» России [Werth 2022].

Архивы

Доступ к материалам по истории российских регионов представляет собой отдельный вопрос, заслуживающий обсуждения. С одной стороны, архивохранилища страны, включая местные архивы, хранят сотни и сотни тысяч листов

уникальных фондов, рассмотрение которых могло бы изменить — если не перевернуть — наше понимание политической, социальной и экономической ситуации в российских регионах. Показательны в этом отношении, особенно с учетом специфики изучения Центральной России, работы Кэтрин Пикеринг Антоновой, построенные на материалах из архивов и библиотек Иваново и Шуи. Обнаруженные источники позволили исследовательнице сделать неординарные выводы о мировоззрении среднепоместного дворянства в России и рассмотреть экономическую историю центральных губерний империи в новом ключе [Пикеринг Антонова 2021].

С другой стороны, доступ к российским архивным материалам для современного исследователя существенно затруднен. Для иностранных историков ограничения последних лет делают перспективу архивного поиска непосредственно в России едва ли не самой малодоступной практикой. Все это, конечно, не вернет англо-американскую историческую русистику к ресурсным ограничениям начала холодной войны с разворачиванием исследований на основе оказавшихся в США относительно небольших архивных комплексов, таких как известный Смоленский архив или комплектации фондов за счет заказов на написание оплаченных воспоминаний об императорской и раннесоветской России, как это было в случае с Бахметевским архивом [Кодин 1995: 13—15]. Однако число обращений к одному и тому же кругу материалов будет только возрастать, что в перспективе скажется на состоянии исследовательского поля.

Ситуация с доступом в архивы российских ученых не столь драматична, но при этом не менее затратна. Речь о длящейся десятилетиями войне между условными исследователем и хранителем — противостоянии, которое реализуется прежде всего в ограничениях, связанных с выдачей дел, действующем запрете фотографировать архивные документы без согласования и оплаты и невозможности получить дистанционный доступ к оцифрованным материалам. Отдельные архивы и вовсе приобрели в этом отношении особую репутацию среди историков. Так, известно, что иметь дело с ведомственными архивами, не подчиняющимися Федеральному архивному агентству (Росархиву), такими как Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ) или Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ), крайне сложно. Здесь между вами и нужным документом непременно возникнут дополнительные, часто неразрешимые препятствия. Так, в здание ЦА МО РФ исследователь просто не может войти, не предоставив заранее список дел, необходимых для заказа. Сформировать такой список оказывается задачей почти нереальной — архивные описи не оцифрованы, и получить к ним доступ можно только оказавшись в самом архиве. Печально известны и некоторые региональные архивохранилища, например Государственный архив Иркутской области, имеющий репутацию учреждения, где отказы в выдаче дел настолько часты, что обесценивают все усилия по организации поездки.

Решив обратиться в региональный архив, исследователь, надо отметить, попадает в сферу непредсказуемого. В отдельных случаях, как, например, в Государственном архиве Мурманской области, выбрав дела из представленных на сайте оцифрованных описей, заказав их через портал «Госуслуги» и приехав в город, можно вполне успешно получить необходимые материалы; в других, что случается гораздо чаще, ситуация будет обратной — добраться до описей можно только находясь в архиве конкретного города, а получение вожделенного архивного дела, вероятнее всего, произойдет только через день-другой.

К последнему обстоятельству стоит добавить, что читальные залы региональных архивов, режим работы которых сформирован в лучшем случае с расчетом на читателя, живущего в указанном городе, часто не предполагают появление ограниченного во времени «приезжего». Читальные залы могут работать два-четыре дня в неделю, как правило, до 16:00 с неизменным перерывом на обед, во время которого исследователи обязаны покинуть архив. Примечательно, что ограничения, введенные во время эпидемии 2020—2021 гг., в целом ряде региональных архивов не только не были сняты, но сформировали новые правила работы, например запись в читальный зал по телефону и только на первую или вторую половину дня.

Однако в случае с архивами, как ни парадоксально, закрытая дверь действительно указывает на открывшееся или, точнее, шатающееся окно. Дело в том, что безотносительно существующей системы организации работы российские архивы разного уровня и статуса уже много лет системно занимаются оцифровкой своих материалов и к настоящему моменту объем таких данных по-настоящему огромен. Можно предположить, что в ближайшее время наравне с запросом на открытие удаленного доступа к источникам возникнет и запрос на объединение существующих массивов информации[6]. Отметим, что в последнем случае влияние человеческого фактора снизится, а объем данных, доступных для интерпретации, напротив, колоссально возрастет. При этом открывшиеся возможности для проведения сравнений и поиска параллелей позволят хотя бы отчасти снять давление принципа «живу в этом регионе — изучаю этот регион».

Объединение оцифрованных архивных источников потребует, в свою очередь, реализации целей, которые уже обсуждаются в литературе, а именно перехода цифровизации на новый уровень за счет привлечения искусственного интеллекта и создания поисковых систем, позволяющих обработать большие базы данных [Володин 2015; Лобачев, Карпычева 2022]. Отдельной задачей станет разработка методики анализа информации, содержащейся непосредственно в рукописных текстах, минуя обработку источника вручную с привлечением посредника для расшифровки. Создание автоматизированной системы навигации по рукописному тексту позволит исследователю отобрать из большого массива данных материалы, необходимые для работы, и резко сократит затраты времени на поиск.

В целом российская регионалистика начала 2020-х годов представляет собой активно развивающееся исследовательское поле, которое стремится говорить о регионе как о субъекте истории. Однако важно иметь в виду назревшую необходимость пересмотреть отдельные устоявшиеся тренды и актуализировать новую тематику. Более того, изучение России как пространства региональных идентичностей должно сопровождаться преодолением оторванности российской региональной науки и качественными изменениями в практиках исследовательской работы.

6 Благодарю А.К. Лаптева, обратившего мое внимание на этот аспект.

Библиография / References

[Абраменко 2006] — *Абраменко Е.М.* Латыши в Псковской губернии в 1920-х гг. // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2006. № 24. С. 162—166.

(*Abramenko E.M.* Latyshi v Pskovskoy gubernii v 1920-kh gg. // Pskov. Nauchno-prakticheskiy, istoriko-kraevedcheskiy zhurnal. 2006. № 24. P. 162—166.)

[Адамов 2004] — *Адамов М.В.* Восстановление и реконструкция стекольной промышленности Центральной России (1946—1965 гг.): на материалах Брянской, Владимирской, Горьковской, Калининской, Московской, Смоленской областей: Дис. ... канд. ист. наук. Владимир, 2004.

(*Adamov M.V.* Vosstanovlenie i rekonstruktsiya stekol'noy promyshlennosti Tsentral'noy Rossii (1946—1965): na materialakh Bryanskoy, Vladimirskoy, Gor'kovskoy, Kalininskoy, Moskovskoy, Smolenskoy oblastey: PhD thesis. Vladimir, 2004.)

[Акимова 2007] — *Акимова Т.М.* Земства Центральной России в период революционных потрясений: март 1917 — май 1918 гг.: на материалах Костромской, Тверской, Ярославской губерний: Дис. ... канд. ист. наук. Владимир, 2007.

(*Akimova T.M.* Zemstva Tsentral'noy Rossii v period revolyutsionnykh potryaseniy: mart 1917 — may 1918: na materialakh Kostromskoy, Tverskoy, Yaroslavskoy guberniy: PhD thesis. Vladimir, 2007.)

[Балдин 1998] — *Балдин К.Е.* Ивановский край в истории Отечества. Иваново: [Б. и.], 1998.

(*Baldin K.E.* Ivanovskiy kray v istorii Otechestva. Ivanovo, 1998.)

[Берговская, Филимонов 2012] — *Берговская И.Н., Филимонов В.Я.* Калужская Советская республика. История в документах. Калуга: Золотая аллея, 2012.

(*Bergovskaya I.N., Filimonov V.Ya.* Kaluzhskaya Sovetskaya respublika. Istoriya v dokumentakh. Kaluga, 2012.)

[Береговая 2007] — *Береговая Е.П.* Польская политическая ссылка в Енисейской губернии во второй половине XIX — начале XX вв.: Дис. ... канд. ист. наук. Красноярск, 2007.

(*Beregovaya E.P.* Pol'skaya politicheskaya ssylka v Eniseyskoy gubernii vo vtoroy polovine XIX — nachale XX vv.: PhD thesis. Krasnoyarsk, 2007.)

[Болтунова 2021] — *Болтунова Е.М.* «Здесь целая губерния в лице ее избранных...»: социальные иерархии в региональных шествиях Печального кортежа Александра I (1826) // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение / Под ред. Е. Болтуновой, В. Сандерленда. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 93—116.

(*Boltunova E.M.* "Zdes' tselaya guberniya v litse ee izbrannykh…": sotsial'nye ierarkhii v regional'nykh shestviyakh Pechal'nogo kortezha Aleksandra I (1826) // Regiony Rossiyskoy imperii: identichnost', reprezentatsiya, (na)znachenie / Ed. by E. Boltunova, W. Sunderland. Moscow, 2021. P. 93—116.)

[Болтунова, Лескинен 2022] — *Болтунова Е.М., Лескинен М.В.* «Говоря о другом, описывая другого, наблюдатель гораздо больше сообщает о себе, чем о нем». Интервью с Марией Войттовной Лескинен // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2022. Т. 17. № 1—2. С. 195—212.

(*Boltunova E.M., Leskinen M.V.* "Govorya o drugom, opisyvaya drugogo, nablyudatel' gorazdo bol'she soobshchaet o sebe, chem o nem". Interv'yu s Mariey Voyttovnoy Leskinen // Slavyanskiy mir v tret'em tysyacheletii. 2022. Vol. 17. № 1—2. P. 195—212.)

[Бондаренко и др. 2009] — *Бондаренко Ф.В., Микитюк В.П., Шкерин В.А.* Британские механики и предприниматели на Урале в XIX — начале XX в. Екатеринбург: БКИ, 2009.

(*Bondarenko F.V., Mikityuk V.P., Shkerin V.A.* Britanskie mekhaniki i predprinimateli na Urale v XIX — nachale XX v. Ekaterinburg, 2009.)

[Володин 2015] — *Володин А.Ю.* «Цифровая история»: ремесло историка в цифровую эпоху // История. 2015. Т. 6. Вып. 8 (41) (http://history.jes.su/s207987840001228-9-1 (дата обращения: 03.10.2022)).

(*Volodin A.Yu.* "Tsifrovaya istoriya": remeslo istorika v tsifrovuyu epokhu // Istoriya. 2015. Vol. 6. № 8 (41) (http://history.jes.su/s207987840001228-9-1 (accessed: 03.10.2022)).)

[Глаголева 2021] — *Глаголева О.Е.* Провинция как центр: формирование локальной идентичности по материалам участия провинциального дворянства в кампании по созыву Уложенной комиссии 1767—1774 гг. // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение // Регионы Российской империи: идентич-

ность, репрезентация, (на)значение / Под ред. Е. Болтуновой, В. Сандерленда. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 76—92.

(*Glagoleva O.E.* Provintsiya kak tsentr: formirovanie lokal'noy identichnosti po materialam uchastiya provintsial'nogo dvoryanstva v kampanii po sozyvu Ulozhennoy komissii 1767—1774 // Regiony Rossiyskoy imperii: identichnost', reprezentatsiya, (na)znachenie / Ed. by E. Boltunova, W. Sunderland. Moscow, 2021. P. 76—92.)

[Горизонтов 2004] — *Горизонтов Л.Е.* Внутренняя Россия на ментальных картах имперского пространства // Культура и пространство. Славянский мир / Отв. ред. И.И. Свирида. М.: Логос, 2004. С. 201—216.

(*Gorizontov L.E.* Vnutrennyaya Rossiya na mental'nykh kartakh imperskogo prostranstva // Kul'tura i prostranstvo. Slavyanskiy mir / Ed. by I.I. Svirida. Moscow, 2004. P. 201—216.)

[Горизонтов 2009] — *Горизонтов Л.Е.* Образы Центрального региона Российской империи как отражение вызовов второй половины XIX — начала XX столетия // Механизмы власти. Трансформации политической культуры в России и Австро-Венгрии на рубеже XIX—XX вв.: материалы международной конференции / Под ред. А.Б. Безбородова и др. М.: РГГУ, 2009. С. 83—91.

(*Gorizontov L.E.* Obrazy Tsentral'nogo regiona Rossiyskoy imperii kak otrazhenie vyzovov vtoroy poloviny XIX — nachala XX stoletiya // Mekhanizmy vlasti. Transformatsii politicheskoy kul'tury v Rossii i Avstro-Vengrii na rubezhe XIX—XX vv. / Ed. by A. Bezborodov. Moscow, 2009. P. 83—91.)

[Джадт 2004] — *Джадт Т.* «Места памяти» Пьера Нора: чьи места? чья память? / Пер. с англ. М. Лоскутовой // Ab Imperio. 2004. № 1. С. 44—71.

(*Judt T.* A la Recherche du Temps Perdu // Ab Imperio. 2004. № 1. P. 44—71. — In Russ.)

[Домашек 2007] — *Домашек Е.В.* История чешских поселений Черноморского побережья Северного Кавказа во второй половине XIX в. — 1914 г.: Дис. ... канд. ист. наук. Краснодар, 2007.

(*Domashek E.V.* Istoriya cheshskikh poseleniy Chernomorskogo poberezh'ya Severnogo Kavkaza vo vtoroy polovine XIX v. — 1914: PhD thesis. Krasnodar, 2007.)

[Западные окраины 2006] — Западные окраины Российской империи / Под ред. М.Д. Долбилова, А.И. Миллера. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

(Zapadnye okrainy Rossiyskoy imperii / Ed. by M.D. Dolbilov, A.I. Miller. Moscow, 2006.)

[Зоркальцев 2016] — *Зоркальцев А.В.* Ссыльные поляки в Сибири. История одной семьи // Исторический формат. 2016. № 3 (7). С. 201—216.

(*Zorkal'cev A.V.* Ssyl'nye polyaki v Sibiri. Istoriya odnoy sem'i // Istoricheskiy format. 2016. № 3 (7). P. 201—216.)

[Иванов 2003] — *Иванов А.* Уездная Россия: местные власти, церковь и общество во второй половине XIX — начале XX в. Иваново: Издательство Ивановского государственного университета, 2003.

(*Ivanov A.* Uezdnaya Rossiya: mestnye vlasti, tserkov' i obshchestvo vo vtoroy polovine XIX — nachale XX v. Ivanovo, 2003.)

[Иванова 2006] — *Иванова Е.Г.* Комитеты крестьянской общественной взаимопомощи Западных губерний Центрального региона России: 1921—1927 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. Калуга, 2006.

(*Ivanova E.G.* Komitety krest'yanskoy obshchestvennoy vzaimopomoshchi Zapadnykh guberniy Tsentral'nogo regiona Rossii: 1921—1927: PhD thesis. Kaluga, 2006.)

[Имперский строй 1997] — Имперский строй в России в региональном измерении (XIX — начало XX вв.). Сборник научных статей / Под ред. П.И. Савельева. М.: Первый печатный двор, 1997.

(Imperskiy stroy v Rossii v regional'nom izmerenii (XIX — nachalo XX vv.). Sbornik nauchnykh statey / Ed. by P.I. Savel'ev. Moscow, 1997.)

[Казань, Москва, Петербург 1997] — Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов / Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire / Ред. Б. Гаспаров, Е. Евтухова, А. Осповат, М. фон Хаген. М.: ОГИ, 1997.

(Kazan', Moskva, Peterburg: Rossiyskaya imperiya vzglyadom iz raznyh uglov / Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire / Ed. by B. Gasparov, E. Evtuhov, A. Ospovat, M. von Hagen. Moscow, 1997.)

[Каппелер 2000] — *Каппелер А.* Россия — многонациональная империя: Некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Ab Imperio. 2000. № 1. С. 15—32.

(*Kappeler A.* Rossiya — mnogonatsional'naya imperiya: Nekotorye razmyshleniya vosem' let spustya posle publikatsii knigi // Ab Imperio. 2000. № 1. P. 15—32.)

[Кодин 1995] — *Кодин Е.В.* Предисловие к первому изданию на русском языке // Фэйсонд М. Смоленск под властью советов. Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, 1995. С. 5—16.

(*Kodin E.V.* Predislovie k pervomu izdaniyu na russkom yazyke // Fainsod M. Smolensk pod vlast'yu sovetov. Smolensk, 1995. P. 5—16.)

[Кононова 2004] — *Кононова Л.П.* Ссылка участников польского восстания 1863—1864 годов: По материалам Архангельской губернии: Дис. ... канд. ист. наук. Архангельск, 2004.

(*Kononova L.P.* Ssylka uchastnikov pol'skogo vosstaniya 1863—1864 godov: Po materialam Arhangel'skoy gubernii: PhD thesis. Arhangel'sk, 2004.)

[Конфессия, империя, нация 2012] — Конфессия, империя, нация: религия и проблема разнообразия в истории постсоветского пространства / Под ред. А.М. Семенова, И.В. Герасимова и М.Б. Могильнер. М.: Новое издательство, 2012.

(Konfessiya, imperiya, natsiya: religiya i problema raznoobraziya v istorii postsovetskogo prostranstva / Ed. by A.M. Semenov, I.V. Gerasimov, M.B. Mogil'ner. Moscow, 2012.)

[Крашенинников 2004] — *Крашенинников В.В.* Из истории селений Брянского района. Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2004.

(*Krasheninnikov V.V.* Iz istorii seleniy Bryanskogo rayona. Bryansk, 2004.)

[Куприянов 2017] — *Куприянов А.И.* Выборы в русской провинции. 1775—1861. М.; СПб.: ИРИ РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2017.

(*Kupriyanov A.I.* Vybory v russkoy provintsii. 1775—1861. Moscow, Saint Petersburg, 2017.)

[Кушко, Таки 2012] — *Кушко А., Таки В.* (при участии *О. Грома)*. Бессарабия в составе Российской империи (1812—1917). М.: Новое литературное обозрение, 2012.

(*Kushko A., Taki V., Grom O.* Bessarabiya v sostave Rossiyskoy imperii (1812—1917). Moscow, 2012.)

[Лескинен 2016] — *Лескинен М.В.* Великоросс / великорус: Из истории конструирования этничности. Век XIX. М.: Индрик, 2016.

(*Leskinen M.V.* Velikoross / velikorus: Iz istorii konstruirovaniya etnichnosti. Vek XIX. Moscow, 2016.)

[Лобачев, Карпычева 2022] — *Лобачев С.Л., Карпычева Е.В.* Искусственный интеллект в архивном деле: нормативное регулирование и формирование кадрового состава // Вестник архивиста. 2022. № 2. С. 623—639.

(*Lobachev S.L., Karpycheva E.V.* Iskusstvennyy intellekt v arhivnom dele: normativnoe regulirovanie i formirovanie kadrovogo sostava // Vestnik arhivista. 2022. № 2. P. 623—639.)

[Любавин 2000] — *Любавин М.А.* Вятский губернатор Федор Иванович фон Брадке (1752—1819): немец на русской службе // Русские и немцы в XVIII веке. Встреча культур. М.: Наука, 2000. С. 210—220.

(*Lyubavin M.A.* Vyatskiy gubernator Fedor Ivanovich fon Bradke (1752—1819): nemets na russkoy sluzhbe // Russkie i nemtsy v XVIII veke. Vstrecha kul'tur. Moscow, 2000. P. 210—220).

[Любичанковский 2021] — *Любичанковский С.В.* Образ Оренбургского края в отчетах его гражданских губернаторов (конец XIX — начало XX вв.) // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение / Под ред. Е. Болтуновой, В. Сандерленда. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 176—194.

(*Lyubichankovskij S.V.* Obraz Orenburgskogo kraya v otchetakh ego grazhdanskikh gubernatorov (konets XIX — nachalo XX vv.) // Regiony Rossiyskoy imperii: identichnost', reprezentatsiya, (na)znachenie / Ed. by E. Boltunova, W. Sunderland. Moscow, 2021. P. 176—194.)

[Маловичко, Румянцева 2012] — *Маловичко С.И., Румянцева М.Ф.* Терминологические проблемы изучения локуса // Региональная история, локальная история, историческое краеведение в предметных полях современного исторического знания / Под ред. А.Е. Загребина и О.М. Мельниковой. Ижевск: Удмуртский университет, 2012. С. 7—8.

(*Malovichko S.I., Rumyanceva M.F.* Terminologicheskie problemy izucheniya lokusa // Regional'naya istoriya, lokal'naya istoriya, istoricheskoe kraevedenie v predmetnykh polyakh sovremennogo istoricheskogo znaniya / Ed. by A. Zagrebin and O. Melmikova. Izhevsk, 2012. P. 7—8.)

[Мартин 2011] — *Мартин Т.* Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923—1939. М.: РОССПЭН, 2011.

(*Martin T.* Imperiya "polozhitel'noy deyatel'nosti". Natsii i natsionalizm v SSSR, 1923—1939. Moscow, 2011.)

[Мулина 2005] — *Мулина С.А.* Участники польского восстания 1863 года в западносибирской ссылке: Дис. ... канд. ист. наук. Омск, 2005

(*Mulina S.A.* Uchastniki pol'skogo vosstaniya 1863 goda v zapadnosibirskoy ssylke: PhD thesis. Omsk, 2005.)

[Овсянникова 2003] — *Овсянникова Н.В.* Немцы Среднего Поволжья: 1764 — первая половина 1941 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2003.

(*Ovsyannikova N.V.* Nemtsy Srednego Povolzh'ya: 1764 — pervaya polovina 1941 gg.: PhD thesis. Moscow, 2003.)

[Околотин 2009] — *Околотин В.С.* Ивановская промышленная область (1929—1936 гг.):

Уроки экономической истории. Иваново: Ивановская государственная текстильная академия, 2009.

(*Okolotin V.S.* Ivanovskaya promyshlennaya oblast' (1929—1936): Uroki ekonomicheskoy istorii. Ivanovo, 2009.)

[Островский 2021] — *Островский Л.К.* Поляки в Западной Сибири в конце XIX — первой четверти XX века. СПб.: Алетейя, 2021.

(*Ostrovskij L.K.* Polyaki v Zapadnoy Sibiri v kontse XIX — pervoy chetverti XX veka. Saint Petersburg, 2021.)

[Петров 2000] — *Петров А.И.* Корейская диаспора на Дальнем Востоке России 60—90-е годы XIX века. Владивосток: ДВО РАН, 2000.

(*Petrov A.I.* Koreyskaya diaspora na Dal'nem Vostoke Rossii 60—90-e gody XIX veka. Vladivostok, 2000.)

[Пикеринг Антонова 2019] — *Пикеринг Антонова К.* Господа Чихачевы. Мир поместного дворянства в николаевской России. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

(*Pickering Antonova K.* Gospoda Chihachevy. Mir pomestnogo dvoryanstva v nikolaevskoy Rossii. Moscow, 2019.)

[Пикеринг Антонова 2021] — *Пикеринг Антонова К.* Региональная парадигма экономического развития в России XIX века // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение / Под ред. Е. Болтуновой, В. Сандерленда. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 52—75.

(*Pickering Antonova K.* Regional'naya paradigma ekonomicheskogo razvitiya v Rossii XIX veka // Regiony Rossiyskoy imperii: identichnost', reprezentatsiya, (na)znachenie / Ed. by E. Boltunova, W. Sunderland. Moscow, 2021. P. 52—75.)

[Пичугина 2000] — *Пичугина В.В.* Польская интеллигенция в общественно-политической жизни Поволжья и Приуралья, XIX век: Дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2000.

(*Pichugina V.V.* Pol'skaya intelligentsiya v obshchestvenno-politicheskoy zhizni Povolzh'ya i Prirural'ya, XIX vek: PhD thesis. Kazan, 2000.)

[Подлевских 2004] — *Подлевских Л.Г.* Польская политическая ссылка в Российской провинции в 1860 — начале 1880-х гг.: на материалах Вятской губернии: Дис. ... канд. ист. наук. Киров, 2004.

(*Podlevskih L.G.* Pol'skaya politicheskaya ssylka v Rossiyskoy provintsii v 1860 — nachale 1880-kh: na materialakh Vyatskoy gubernii: PhD thesis. Kirov, 2004.)

[Познахирев 2014] — *Познахирев В.В.* Турецкие военнопленные и гражданские пленные в России в 1914—1924 гг. СПб.: Нестор-История, 2014

(*Poznahirev V.V.* Turetskie voennoplennye i grazhdanskie plennye v Rossii v 1914—1924. Saint Petersburg, 2014.)

[Позняк 2004] — *Позняк Т.З.* Иностранные подданные в городах Дальнего Востока России (вторая половина XIX — начало XX вв.). Владивосток: Дальнаука, 2004.

(*Poznyak T.Z.* Inostrannye poddannye v gorodakh Dal'nego Vostoka Rossii (vtoraya polovina XIX — nachalo XX vv.). Vladivostok, 2004.)

[Пяткова 2004] — *Пяткова С.Г.* Польская политическая ссылка в Западную Сибирь в пореформенный период: Дис. ... канд. ист. наук. Омск, 2004.

(*Pyatkova S.G.* Pol'skaya politicheskaya ssylka v Zapadnuyu Sibir' v poreformennyy period: PhD thesis. Omsk, 2004.)

[Регион в истории империи 2013] — Регион в истории империи: исторические эссе о Сибири / Под ред. С.В. Глебова. М.: Новое издательство, 2013.

(Region v istorii imperii: istoricheskie esse o Sibiri / Ed. by S.V. Glebov. Moscow, 2013.)

[Региональная история 1999] — Региональная история в российской и зарубежной историографии / Под ред. А.А. Севастьяновой. Рязань: Издательство Рязанского государственного педагогического университета, 1999.

(Regional'naya istoriya v rossiyskoy i zarubezhnoy istoriografii / Ed. by A.A. Sevast'yanova. Ryazan, 2011.)

[Резников 2007] — *Резников А.В.* Опыт антикризисного управления в регионах Центральной России в конце 1980-х — первой половине 1990-х гг.: на материалах Московской, Тульской и Калужской областей: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2007.

(*Reznikov A.V.* Opyt antikrizisnogo upravleniya v regionakh Tsentral'noy Rossii v kontse 1980-kh — pervoy polovine 1990-kh: na materialakh Moskovskoy, Tul'skoy i Kaluzhskoy oblastey: PhD thesis. Moscow, 2007.)

[Ремнев 2004а] — *Ремнев А.В.* Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX — начала XX вв. Омск: ОмГУ, 2004.

(*Remnev A.V.* Regional'nyy narrativ v novoy imperskoy istorii Rossii // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo universiteta. 2004. № 4. P. 6—13.)

[Ремнев 2004б] — *Ремнев А.В.* Региональный нарратив в новой имперской истории России // Вестник Омского государственного университета. 2004. № 4. С. 6—13.

(*Remnev A.V.* Rossiya Dal'nego Vostoka. Imperskaya geografiya vlasti XIX — nachala XX vv. Omsk, 2004.)

[Ремнев 2009] — *Ремнев А.В.* «Тигр, заколотый гусиным пером». Казус западносибирского генерал-губернатора князя П.Д. Горчакова // Acta Slavica Iaponica (Sapporo). 2009. Vol. 27. P. 55—75.

(*Remnev A.V.* "Tigr, zakolotyj gusinym perom". Kazus zapadnosibirskogo general-gubernatora knyazya P.D. Gorchakova // Acta Slavica Iaponica (Sapporo). 2009. Vol. 27. P. 55—75.)

[Ремнев 2015] — Анатолий Викторович Ремнев: библиографический указатель / Сост. И.В. Ануфриева, Е.С. Блохина, В.В. Филиппи, Т.Ю. Фокичева. Омск: Издательство Омского государственного университета, 2015.

(Anatoliy Viktorovich Remnev: bibliograficheskiy ukazatel' / Comp. by I.V. Anufrieva, E.S. Blohina, V.V. Filippi, T.Yu. Fokicheva. Omsk, 2015.)

[Сандерленд 2021] — *Сандерленд В.* Введение. Регионы Российской империи: проблемы дефиниции // Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. / Под ред. Е. Болтуновой, В. Сандерленда. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 7—27.

(*Sunderland W.* Vvedenie. Regiony Rossiyskoy imperii: problemy definitsii // Regiony Rossiyskoy imperii: identichnost', reprezentatsiya, (na)znachenie. / Ed. by E. Boltunova, W. Sunderland. Moscow, 2021. P. 7—27.)

[Севастьянова 2020] — *Севастьянова А.А.* История и историки в провинции и столицах: сборник трудов по истории, историографии и регионоведению России XVIII—XX вв. М.: Квадрига, 2020.

(*Sevast'yanova A.A.* Istoriya i istoriki v provintsii i stolitsakh: sbornik trudov po istorii, istoriografii i regionovedeniyu Rossii XVIII—XX vv. Moscow, 2020.)

[Северный Кавказ 2007] — Северный Кавказ в составе Российской империи / Под ред. В.О. Бобровникова, И.Л. Бабич. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

(Severnyj Kavkaz v sostave Rossiyskoy imperii / Ed. by V.O. Bobrovnikov, I.L. Babich. Moscow, 2007.)

[Сибирь 2007] — Сибирь в составе Российской империи / Под ред. Л.М. Дамешек, А.В. Ремнева. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

(Sibir' v sostave Rossiyskoy imperii / Ed. by L.M. Dameshek, A.V. Remnev. Moscow, 2007.)

[Слезкин 2001] — *Слезкин Ю.* СССР как коммунальная квартира, или каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Издательство «Самарский университет», 2001. С. 329—374.

(*Slezkin Yu.* SSSR kak kommunal'naya kvartira, ili kakim obrazom sotsialisticheskoe gosudarstvo pooshchryalo etnicheskuyu obosoblennost' // Amerikanskaya rusistika: Vekhi istoriografii poslednikh let. Sovetskiy period: Antologiya / Ed. by M. David-Fox. Samara, 2001. P. 329—374).

[Соколов, Титаев 2013] — *Соколов М.М., Титаев К.Д.* Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 239—275.

(*Sokolov M.M., Titaev K.D.* Provintsial'naya i tuzemnaya nauka // Antropologicheskiy forum. 2013. № 19. P. 239—275.)

[Старые и новые сюжеты 2021] — Старые и новые сюжеты имперской истории: интеллектуальное наследие профессора Анатолия Викторовича Ремнева (вместо предисловия) // Люди империи — империя людей: персональная и институциональная история Азиатских окраин России: сборник научных статей / Отв. ред. Н.Г. Суворова. Омск: Издательство Омского государственного университета, 2021. С. 5—26.

(Starye i novye syuzhety imperskoy istorii: intellektual'noe nasledie professora Anatoliya Viktorovicha Remneva (vmesto predisloviya) // Lyudi imperii — imperiya lyudey: personal'naya i institutsional'naya istoriya Aziatskikh okrain Rossii: sbornik nauchnykh statey / Ed. by N.G. Suvorova. Omsk, 2021. P. 5—26.)

[Сушко, Петин 2022] — *Сушко А.В., Петин Д.И.* Обращение чехов в православие в Омске: духовность, идеология, быт. 1916—1919 гг. // Вестник архивиста. 2022. № 2. С. 597—610.

(*Sushko A.V., Petin D.I.* Obrashchenie chekhov v pravoslavie v Omske: dukhovnost', ideologiya, byt. 1916—1919 gg. // Vestnik arhivista. 2022. № 2. P. 597—610.)

[Туманик 2011] — *Туманик Е.Н.* Юзеф Адамовский и становление пароходства в Западной Сибири в середине XIX века. Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2011.

(*Tumanik E.N.* Yuzef Adamovskiy i stanovlenie parokhodstva v Zapadnoy Sibiri v seredine XIX veka. Novosibirsk, 2011.)

[Форум 2013] — Форум «Провинциальная и туземная наука» // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 9—238.

(Forum "Provintsial'naya i tuzemnaya nauka" // Antropologicheskiy forum. 2013. № 19. P. 9—238.)

[Хоскинг 2012] — *Хоскинг Дж.* Правители и жертвы. Русские в Советском Союзе. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

(*Hosking G.* The Rulers and Victims: The Russians and the Soviet Union. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006. — In Russ. Moscow, 2012.)

[Центральная Азия 2008] — Центральная Азия в составе Российской империи / Под ред. С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов, Н.Е. Бекмаханова. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

(Tsentral'naya Aziya v sostave Rossiyskoy imperii / Ed. by S.N. Abashin, D.Yu. Arapov, N.E. Bekmahanov. Moscow, 2008.)

[Чайкин 2015] — *Чайкин Е.В.* Православные страницы истории Калужского края: ист.-краевед. учеб.-метод. пособие. Калуга: Калужский государственный университет развития образования, 2015.

(*Chajkin E.V.* Pravoslavnye stranitsy istorii Kaluzhskogo kraya: ist.-kraeved. ucheb.-metod. posobie. Kaluga, 2015.)

[Шмидт 1992] — *Шмидт С.О.* Краеведение и документальные памятники. Тверь: Архивный отдел Администрации Тверской области, 1992.

(*Shmidt S.O.* Kraevedenie i dokumental'nye pamyatniki. Tver, 1992.)

[Applegate 1999] — *Applegate C.* A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in Modern Times // American Historical Review. 1999. Vol. 104. № 4. P. 1157—1182.

[Bassin 1999] — *Bassin M.* Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840—1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[Boyko 2001] — *Boyko V.* Chinese Communities in Western Siberia in the 1920s—1930s // Inner Asia 3. 2001. № 1. P. 19—26.

[Cusco 2017] — *Cusco A.* A Contested Borderland: Competing Russian and Romanian Visions of Bessarabia in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Budapest; New York: Central European University Press, 2017.

[DeWeese 2019] — *DeWeese D.* Persian and Turkic from Kazan to Tobolsk: Literary Frontiers in Muslim Inner Asia // The Persianate World: The Frontiers of a Eurasian Lingua Franca / Ed. by N. Green. California: University of California Press, 2019. P. 131—156.

[Evtukhov 2011] — *Evtukhov C.* Portrait of a Russian Province: Economy, Society, and Civilization in Nineteenth-Century Nizhnii Novgorod. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011.

[Gentes 2003] — *Gentes A.A.* Siberian Exile and the 1863 Polish Insurrectionists According to Russian Sources // Jahrbücher Für Geschichte Osteuropas. 2003. № 2. P. 197—217.

[Golubev, Takala 2014] — *Golubev A., Takala I.* The Search for a Socialist El Dorado: Finnish Immigration to Soviet Karelia from the United States and Canada in the 1930s. Michigan State University Press, 2014.

[Gruszczynska, Kaczynska 1990] — *Gruszczynska B., Kaczynska E.* Poles in the Russian Penal System and Siberia as a Penal Colony (1815—1914): A Quantitative Examination. Historical Social Research // Historische Sozialforschung. 1990. Vol. 15. № 4 (56). P. 95—120.

[Hartley 1990] — *Hartley J.* Russia in 1812 Part II: The Russian Administration of Kaluga Gubernija // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1990. Bd. 38. № 3. P. 399—416.

[Hausmann 1998] — *Hausmann G.* Universität und städtische Gesellschaft in Odessa, 1865—1917: Soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1998.

[Matsuzato 1997] — *Matsuzato K.* The Concept of Space in Russian History — Regionalization from the Late Imperial to the Present // Empire and Society: New Approaches to Russian History / Ed. by T. Hara and K. Matsuzato. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 1997. P. 181—216.

[Matsuzato 2000] — *Matsuzato K.* Regions: A Prism to View the Slavic-Eurasian World. Towards a Discipline of Reginology. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2000.

[Moon 1997] — *Moon D.* Peasant Migration and the Settlement of Russia's Frontiers, 1550—1897 // The Historical Journal. 1997. Vol. 40. № 4. P. 859—893.

[Park 2019] — *Park A.* Sovereignty Experiments: Korean Migrants and the Building of Borders in Northeast Asia, 1860—1945. Cornell University Press, 2019.

[Russia's Orient 1997] — Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700—1917 / Ed. by D.R. Brower, E.J. Lazzerini. Bloomington: Indiana University Press, 1997.

[Sabol 2017] — *Sabol S.* The Touch of Civilization: Comparing American and Russian Internal Colonization. Boulder, CO: University Press of Colorado, 2017.

[Smith-Peter 2018] — *Smith-Peter S.* Imagining Russian Regions. Subnational Identity and Civil Society in Nineteenth-century Russia. Leiden; Boston, MA: Brill, 2018.

[Urbansky 2012] — *Urbansky S.* The Unfathomable Foe. Constructing the Enemy in the Sino-Soviet Borderlands, 1969—1982 // Journal of Modern European History. 2012. № 10. P. 255—278.

[Werth 2022] — *Werth P.* Russia Within: On the Boundaries of Russia Inside its Larger Imperial Formations. [Unpublished paper, presented at the seminar in the University of Turin (11.05.2022)].

[Zeisler-Vralsted 2014] — *Zeisler-Vralsted D.* Rivers, Memory, and Nation-Building: A History of the Volga and Mississippi Rivers. New York: Oxford: Berghahn Books, 2014.

Илья Калинин, Клавдия Смола

Империя постколониальных ситуаций:

ЛОГИКИ (ХОЛОДНОЙ) ВОЙНЫ

Ilya Kalinin, Klavdia Smola

The Empire of the Postcolonial Situations: The Logic of the (Cold) War

Илья Калинин (приглашенный исследователь, Принстонский университет, Принстон, США; кандидат филологических наук) ik1939@princeton.edu

Клавдия Смола (Институт славистики, Университет Дрездена; профессор, доктор наук) klavdia.smola@tu-dresden.de

Ключевые слова: постколониальные исследования, историческая политика, политика памяти, региональные исследования, идентичность, империя, нация

УДК: 009+325.3+327.2
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_251

Противоречивая политическая природа СССР, не без труда втискивающаяся в нормативные рамки описания классических империй, сказывается и на судьбе развивающихся на постсоветском пространстве постколониальных исследований (и шире — региональных исследований, которые пытаются утвердить собственную локальную позицию, балансируя между использованием авторитетной теоретической оптики, заимствованной у западной академии, и неотрефлексированным «влипанием» в материал, некритическим воспроизводством языка изучаемой традиции). В результате во все более тугой узел стягиваются принципиально отличающиеся друг от друга политические установки и эпистемологические основания: критика гегемонии и утверждение морального авторитета, методологический конструктивизм и традиционалистский примордиализм, чуткость к подвижной игре различий и логика бинарных оппозиций. В свою очередь, на все это накладывается историческая и культурная политика Российского государства, стремящаяся усилить перечисленные выше сдвиги и смешения для достижения постимперского патриотического консенсуса. Данная статья является попыткой хотя бы отчасти обозначить траектории и механизмы данных диффузий и подмен, вписав их в актуальный трагический контекст, имеющий среди прочего и постколониальное/постимперское измерение.

Ilya Kalinin (PhD; Visiting Research Scholar, Princeton University, Princeton, USA) ik1939@princeton.edu

Klavdia Smola (PhD, Dr. habil.; Professor, Chair of Slavic Literatures, Dresden University) klavdia.smola@tu-dresden.de

Key words: post-colonial studies, historical politics, politics of memory, regional studies, identity, empire, nation

UDC: 009+325.3+327.2
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_251

The contradictory political nature of the USSR, which has been squeezed into the normative framework of the description of classical empires with some difficulty, has also affected the fortunes of postcolonial research developing in the post-Soviet space (and more broadly regional studies that are trying to establish their own local position, balancing between the use of authoritative theoretical optics borrowed from the "Western academy," and the "adherence" to material that has not been reflected upon, and the uncritical reproduction of the language of the studied tradition). As a result, political attitudes and epistemological foundations that are fundamentally different from one another are pulled into an increasingly tighter knot: the criticism of hegemony and the affirmation of moral authority, methodological constructivism and traditional primordialism, and sensitivity to the fluid game of differences and the logic of binary oppositions. Then the historical and cultural politics of the Russian state are overlaid on top of all of this, aiming to heighten the shifts and confusions listed above in order to achieve a postimperial patriotic consensus. This article is an attempt to at least partially identify the trajectory and mechanisms of these diffusions and substitutions, inscribing them in the current tragic context, which, among other things, has a postcolonial/postimperial dimension.

Политические процессы всегда влияли не только на изменение содержательной повестки социогуманитарного знания, но и на концептуальные сдвиги в его структуре. Антиколониальный подъем первой половины и середины XX века привел к возникновению новой парадигмы постколониальных исследований[1]. Распад СССР и восточного блока способствовал ее академическому и публичному успеху, а также значительно расширил географию ее применения[2]. События, непосредственно развернувшиеся между Россией, Беларусью и Украиной, но так или иначе меняющие ландшафт практически всего постсоветского пространства, безусловно отразятся как на институциональной организации мировой славистики и евразийских исследований, так и на том, какую роль в них будут играть работы, так или иначе оперирующие понятиями «империя» и «нация» и описывающие различные (пост)имперские и (пост)колониальные феномены. Не вызывает сомнений и то, что *политическое* будет не только предметом, но и внутренним мотивом этих научных работ.

От советской национальной политики к постсоветской политике памяти

Столетие, отделяющее нас от создания СССР, и тридцать лет, прошедшие с момента его распада, в очередной раз актуализировали вопрос о причинах произошедшего в 1991 году. Эти причины зачастую обнаруживают в самих основаниях большевистской национальной политики, заложившей внутреннее противоречие в фундамент СССР, который совмещал в себе формальные черты федерации национально-территориальных единиц и суть унитарного государства. Обнажение имитационной и манипулятивной природы этой подмены, позволяющей наделять внешними признаками, характерными для одного типа организации, политический и административный каркас, обладающий совершенно иной природой, служит аргументом, определяющим СССР как империю (не в оценочном, а в аналитическом нормативном смысле этого понятия)[3]. В пользу этого же аргумента работает и финал советской истории, дающий возможность построить, казалось бы, безупречную логическую цепочку: Советский Союз рухнул под давлением национальных движений, все современные империи рухнули под давлением национальных движений, следовательно, — Советский Союз был империей[4].

Рост национализма и обострение национальных конфликтов на постсоветском пространстве могут быть проинтерпретированы в той же логике, отождествляющей *коммунистическое* и *имперское*, коль скоро триумфальное возвращение национализма прочитывается в терминах возвращения вытесненного. Согласно этой позиции, национальные противоречия, истоки которых обнаруживаются еще в докоммунистическом прошлом, были подавлены

1 Краткий, но содержательный обзор направлений и политических импликаций этого подъема см.: [Ушакин 2021: 399—428].

2 Дебаты о применимости аналитической модели постколониальных исследований к постсоветскому пространству см.: [Adams 2008; Chernetsky et al. 2006; Moore 2001; Smola, Uffelmann 2016].

3 См. например: [Barkey, von Hagen 1997; Davisha, Parrot 1997].

4 Критическую реконструкцию этой логики см.: [Beissinger 1995].

коммунистическим имперским режимом, прикрывающимся риторикой интернационализма и классовой солидарности, а после его падения естественным образом вышли на поверхность и лишь усилились, повторив судьбу всего, что находится под запретом и не подлежит рационализирующей артикуляции в публичной сфере.

Однако существует и другая исследовательская традиция, значительно более чувствительная к специфике сочленения *национального*, *имперского* и *коммунистического* [Bassin, Kelly 2012; Martin 2001a; Suny, Martin 2001][5]. Не игнорируя наличие в советском проекте всех этих элементов, а также существовавшее между ними напряжение, она не сводит их конфигурацию к простой схеме, которая рассматривает коммунистическую идеологию как инструмент, взятый на вооружение Советским государством, для того чтобы проводить свою имперскую геополитику и подавлять национальные различия. Скорее наоборот. Уникальность социалистического многонационального политического проекта состоит в том, что он эти различия производил, кодифицировал и институционализировал, начиная с уровня национально-территориального размежевания и заканчивая графой о национальности в советском паспорте.

Подавляя национализм (и то поначалу лишь «великорусский»), советский режим в первые десятилетия своего существования инвестировал огромные ресурсы в нациестроительство. Он делал это не только посредством создания национальных территорий, управляемых местными элитами, но и «систематически поддерживая и способствуя развитию национальной идентичности и национального самосознания не-русского населения страны» [Martin 2001b: 74] — прежде всего благодаря целенаправленной работе по систематизации и конструированию национальных культурных традиций (письменного языка и литературной нормы, традиционного фольклора и исторических нарративов, музыки и кухни), а также институтов их воспроизводства и кодификации (музеев, театров, университетов, национальных школ и академий наук).

Характерная для раннего этапа социалистического государственного строительства асимметрия, согласно которой «узбекский большевик проявлял себя в большей степени как узбек, нежели как большевик» [Northrop 2000: 192], в то время как у русских большевиков такой возможности не было, позволила Юрию Слёзкину в его статье «Империализм как высшая стадия социализма», название которой иронично обыгрывает известную ленинскую формулу, задаться вопросом о границах применимости к Советскому Союзу имперской дескриптивной рамки, сложившейся для описания колониальных империй Нового времени:

> Советский Союз был империей — в смысле очень большого, плохого, асимметричного, иерархичного, разнородного и обреченного на распад государства... Но был ли он современной колониальной империей? Находится ли он на той же куче мусора, что и голландские, французские и британские империалистические государства, состоявшие из национального ядра и заокеанских зависимых территорий? [Slezkine 2000: 227].

---

5 См. также две недавние работы, в которых принципиально по-разному решается вопрос соотношения имперского и (анти)колониального векторов в истории социалистического «второго мира»: [Djagalov 2020; Popescu 2020].

В этой перспективе распад СССР можно трактовать не как результат подавления национальных идентичностей, а как завершение процесса их производства («консолидации национального государства и национальности как фундаментальных познавательных и социальных форм» [Brubaker 1998: 287]), — хотя сам эффект этого завершения совершенно не вписывался в планы тех, кто этот процесс запускал и реализовывал. Так или иначе, к середине 1980-х годов национальная форма, став базовым элементом системы социальной классификации и способом организации социального мира, переросла границы, которые ей были отведены ее социалистическим содержанием (согласно сталинской формуле, описывающей специфику советской культуры: «национальная по форме, социалистическая по содержанию», 1925[6]), и в момент общего идеологического, политического и экономического кризиса оказалась включена в иной содержательный горизонт, которым стала идея суверенного национального государства. Однако, как показывают недавние события, история далека от своего конца не только в том глобальном историософском смысле, к которому обращался Фрэнсис Фукуяма в момент крушения социалистического блока. Через сто лет после образования СССР и через тридцать лет после его распада становится очевидно, что процесс этого распада еще не завершился и, возможно, именно сейчас входит в свою критическую фазу, допускающую как дальнейшую политическую фрагментацию постсоветского пространства, так и его пересборку в различных конфигурациях.

События, развернувшиеся 24 февраля 2022 года, еще острее ставят вопрос об имперской природе СССР, обнажая так и не проработанные разломы между национальным и территориальным; бывшей союзной метрополией и бывшими союзными республиками; историческим прошлым, национально ориентированные нарративы которого повсеместно пишутся с позиции независимых государств, возникших на месте бывших союзных республик, и актуальными политическими границами, легитимированными международным правом. Вопрос о том, являются ли эти болезненные постимперские рефлексы непосредственным эффектом советской национальной политики или их корни уходят в *longue durée* Российской империи, остается открытым для дальнейшего обсуждения. Одной из форм этой рефлексии и одновременно симптомом ее социальной востребованности и политической актуальности стал исследовательский бум, возникший вокруг описаний/изобретений/ конструирования/ реконструкции национальных/этнических идентичностей [Малахов 2007], утверждавших себя в статусе национальных государств и национальных автономий или борющихся за признание и повышение своего административного статуса внутри образовавшихся на постсоветском пространстве государств. Не менее интенсивной стала и символическая политика соответствующих государств и региональных администраций, стремившихся не просто играть собственную роль на этом поле, но и задавать в нем свои правила игры, переопределяющие роли и позиции других агентов (науки и образования, массмедиа и учреждений культуры, государственных институций и организаций гражданского общества).

Повышенные ставки, инвестируемые в политику памяти (и в историческую политику в целом), в той или иной степени характерны для большинст-

6 Подробнее об этой формуле как структурообразующей для национальной политики большевиков см. в: [Kalinin 2022].

ва, — если не для всех, — постсоветских государств [Миллер, Ефременко 2020; Миллер, Липман 2012; Blacker et al. 2013]. Причины этой интенсивности связаны с различными историко-культурными и политическими траекториями, находящимися на пересечении глобальных тенденций и локальных ситуаций. В последнем случае подъем интереса к национальной исторической памяти мотивирован необходимостью формулирования новой коллективной идентичности, укореняющей в прошлом (вновь или впервые) обретенную государственность. Искомая идентичность должна была преодолевать разрывы национальных традиций, связанные с социалистическим прошлым, осмысляемым в терминах имперской колонизации как подавление местных, национальных и этнокультурных, начал. С другой стороны, эта идентичность, призванная наделить содержанием новые формы независимых государств, должна была работать с опытом этого подавления, определяемым как травматический, — а в идеале и «прорабатывать» его (как в адорновском, так и в психоаналитическом смысле этого понятия). Таким образом, производство этих новых национальных/этнокультурных/локальных идентичностей, развернувшееся в постимперском горизонте и обращавшееся к базовой постколониальной рамке как к модели для сборки, было вынуждено работать на двух диалектически связанных друг с другом уровнях: утверждением позитивных ценностей, ассоциируемых с исконной национальной традицией, и утверждением негативного исторического бэкграунда (не столь давнего советского социалистического прошлого), подвергаемого различным сценариям отрицания, вытеснения, забвения.

В подавляющей части государств социалистического блока (разве что за исключением Сербии), а также в части бывших республик СССР (странах Балтии и в Украине, где иктовыми точками этого процесса стали 2004, 2014 и 2022 годы) декоммунизация осуществлялась/осуществляется под знаком деколонизации, преодоления травматического прошлого, а в случае Украины как непосредственная антиколониальная реакция на разворачивающиеся в настоящем времени события, ставящие под вопрос суверенитет государства. Рамочная мемориальная конструкция, задействованная в этом случае, создавала сцену и ролевую схему, внутри которой действовали жертва и агрессор, что позволяло рационализировать социалистическое/советское прошлое как время действия враждебных сил, экстериоризировать травму, опознав ее как нанесение ущерба внешним агрессором. Такого рода перенос, — фантазматический и компенсаторный по своей природе, позволяющий через механизмы автовиктимизации снять необходимость более глубокой и болезненной переработки собственного прошлого, — в данный момент исторически онтологизируется, обретая чудовищную реальность на юго-востоке Украины. Политика России в отношении Украины ретроспективно оправдывает абсолютную адекватность виктимной сценографии постсоциалистической мемориальной культуры, надолго заблокировав возможность рефлексии над ее внутренней политической прагматикой и однозначно распределив соответствующие роли. Тем самым советское *намертво* (в буквальном смысле слова) связывается с колониальным; действия Российской Федерации, выступающей наследницей СССР, закрепляют существующие представления об имперской природе Советского государства, которую пытается возродить Россия. Отрицание общего социалистического/советского прошлого, в негативной логике которого декоммунизация разворачивается как избавление от чужеродного колониального наследия,

связанного с русским геополитическим доминированием, приводит не к преодолению этого наследия, а к его превращенному воспроизводству в настоящем (общее социалистическое прошлое вытесняется за пределы культурной памяти, становясь патологическим ядром столкновения, разворачивающегося между государствами, определяемыми как постимперия и постколония[7]). Советские символы получают национальную окраску[8], социалистическое становится синонимом имперского, бывший колонизатор становится воплощением актуального политического вызова, который задним числом подтверждает восприятие недавнего прошлого как неудавшейся попытки колонизации. Зеркальное поведение противоположной (российской) стороны объективирует и верифицирует цепочку совершаемых оппонентом сдвигов и деформаций. «Русификация» советских символов (и их демонтаж в качестве таковых) запускает их вторичную валоризацию как элементов национального наследия, поражение коммунистического проекта в холодной войне начинает переживаться в духе постимперского ресентимента, символическая политика постсоветских соседей начинает оцениваться как угроза собственной национальной безопасности. Общее прошлое не только в плане его исторической специфики, но и в силу специфики его политической переработки, становится внутренним горизонтом разворачивающегося в настоящем конфликта, враждующие стороны которого при всей бросающейся в глаза асимметрии насилия демонстрируют миметически сходные языковые грамматики, элементами которых являются национализм и глорификация прошлого; использование образа внешнего врага в качестве фигуры, консолидирующей внутреннее единство; вынесение вины и ответственности за пределы собственного политического сообщества. Сама метафора «войн памяти», столь распространенная в академическом и публичном дискурсе двух последних десятилетий, отражала именно этот смертельный миметизм, являясь тревожным, но плохо диагностированным симптомом, несущем в себе опасность возможной буквализации, — свидетелями которой мы все и являемся в данный момент.

Изначальные мотивы мемориального подъема в России были, как и на всем постсоветском пространстве, связаны с нуждой в строительстве новой политической и социокультурной идентичности. Однако если постсоциалистический и постколониальный векторы в странах Восточной Европы и в большинстве бывших республик СССР, как правило, совпадали, работая на создание национально ориентированных этнокультурных идентичностей, то в случае с Российской Федерацией они оказались фактически противоположно направленными. Причины этого очевидны: последовательное воспроизведение постколониальной логики угрожало суверенной целостности нового Российского государства, которое после распада СССР продолжало оставаться многонациональной политической конструкцией, в значительной степени организованной по этнотерриториальному принципу. Пример Чечни, Северного Кавказа в целом, Татарстана, Калмыкии, Башкортостана и других национальных республик, входящих в состав Российской Федерации, на протяжении 1990-х го-

7 И то, что одно из этих государств подчеркивает былую общность, лишь усиливает ее отрицание со стороны другого.

8 В этом смысле подхватывая и перехватывая процессы, начавшиеся еще в советский период и инициированные самой союзной метрополией, начавшей наделять универсальное (советское, социалистическое) национальными чертами «старшего брата».

дов не раз демонстрировал федеральному административному центру все опасности национального строительства, развивающегося в постколониальном ключе и актуализирующего восприятие новой суверенной федерации как квази- или постимперии, которая должна повторить недавнюю судьбу своей предшественницы. Отсутствие какой-либо скрепляющей идеологической программы или универсальной идеи — кроме идеи общего рынка — делало постсоветскую российскую федеративную конструкцию еще более шаткой.

Таким образом, при внешнем совпадении исходных постколониальных и постсоциалистических координат динамика, структура и политическая направленность движения исторической памяти в России во всех ее дискурсивных регистрах (от профессионально академического до публичного) и различных этнокультурных версиях, а также усиление регулирующего государственного контроля за этим подъемом, принципиальным образом отличались от описанной выше рамки, характерной для других постсоветских государств. Постколониальная ситуация, — через которую гражданское общество и местные элиты во многих национальных регионах Российской Федерации на рубеже 1980—1990-х годов стали осознавать и описывать собственное положение на карте, — неизбежно стимулировала коллективную работу памяти (необходимую для воскрешения/изобретения древних национальных традиций, способных символически обосновать претензии на суверенитет, автономию, признание). В свою очередь, с точки зрения федерального центра/метрополии, этот постколониальный мемориальный подъем опознавался как угроза территориальной целостности. То, что в Восточной Европе и в тех бывших республиках СССР, — в которых строительство национальных государств не было осложнено наличием значительных этнических меньшинств и групп населения с различными культурными ориентациями (или там, где наличие таковых удавалось игнорировать и маргинализировать), — работало как позитивный стимул к формированию новой национальной идентичности, наделяя ее успевшим стать респектабельным языком описания, понятным целеполаганием, авторитетными историческими нарративами антиколониальной борьбы и т.д., в Российской Федерации представляло собой вызов, связанный с наложением друг на друга постколониальной и постимперской рамок (см.: [Morozov 2015]), центробежных тенденций, идущих из регионов, и центростремительных усилий, идущих из метрополии.

Именно в этой перспективе и рассматривались процессы формирования локальных этнокультурных идентичностей, возникавших на руинах прежнего политико-административного единства. Вот как описывал их течение Валерий Тишков, директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук (1989—2015), который в 1992 году занимал пост министра по делам национальности, а затем являлся одним из главных правительственных экспертов и идейных разработчиков российской национальной политики: «...этноцентристский дискурс начинается с научных текстов, затем он подхватывается журналистами, а уж потом отливается в пули и в боевой дух» [Тишков 2001: 64—65]. Таким образом, характерные для постколониальной ситуации культурные процессы, связанные с выработкой новых языков самоописания, пересмотром прежнего гегемонного исторического нарратива, интенсификацией локальной коллективной памяти, согласно этой небеспочвенной логике, не просто были чреваты культурным сепаратизмом, но потенциально угрожали территориальному единству государства. В итоге воспринимаемая как вызов,

постколониальная перспектива формирования национальных/этнических идентичностей оказалась секьюритизирована и отождествлена с террористической угрозой. Реакцией на постколониальный вызов стало обоснование возврата к единству, утверждение последнего как главной ценности, обеспечивающей жизнеспособность государства. Элементы этой реакции можно описать через устойчивую дискурсивную цепочку: постколониальная ситуация распада империи — интенсификация этноцентристского дискурса — террористическая угроза — перспектива распада страны, опознающей себя как наследницу прежней империи, — и, наконец, ответ на эту чрезвычайную постколониальную ситуацию, диктующий единство (административное, политическое, национальное) как единственное средство, способное противостоять терроризму (региональному и мировому) и утвердить суверенность нового государства.

В этом контексте антиколониальная энергия, вырвавшаяся на поверхность после распада СССР (а отчасти и сыгравшая свою роль в этом распаде[9]), должна была быть каким-то образом утилизирована новым Российским государством, не готовым идти на дальнейшую политическую фрагментацию. Лобовое военное столкновение во время чеченских войн продемонстрировало свою неэффективность, привело к огромному количеству жертв, лишь со второго раза позволив достичь хоть какого-то результата и в конце концов заставив прибегнуть к другим способам обретения политической лояльности помимо чистого насилия. Одной из наиболее действенных форм такого «связывания» антиколониальной энергии национальных территорий и в чем-то схожей с ней энергии локальной памяти российских регионов, стала ее канализация в специфических стратегиях государственной исторической (и шире — культурной) политики, ставшей набирать обороты начиная с 2005 года. Ее основным приемом было не прямое, контрарное отрицание локальной, этнокультурно ориентированной памяти и идентичности, а достаточно тонкая и продуманная работа с теми языками, которыми они оперируют. Постколониальная терминология начала становиться проводником традиционализма, присущий ей эмансипаторный пафос — носителем консервативных ценностей[10], конструктивистские аналитические парадигмы — инструментом идеологических и политтехнологических манипуляций, чуткость к пересекающимся между собой различиям, позициям, дистанциям превратилась в умение складывать пасьянс, редуцирующий их к простым бинарным оппозициям, множеству жертв было предложено узнать себя в образе коллективного победителя[11]. Апофеозом

9 Об этом см.: [Zisserman-Brodsky 2003].

10 Потенциал такого рода превращений можно обнаружить и в самой постколониальной теории, отводящей столь значимое место сохранению и развитию «уникальной духовной культуры» колонизированных народов [Чаттерджи 2002: 287]. Вопрос состоял исключительно в том, как деформировать и присвоить этот потенциал «духовной культуры» в собственных целях, сделать его основой государственных скреп.

11 Возникающая связка между историей, памятью и национальной идентичностью в случае российского исторического нарратива отличается от соответствующих нарративов большинства соседних постсоветских государств, поскольку строится на пафосе победителя, а не жертвы. Обращение к символическим ресурсам памяти о Великой Отечественной войне в этой связи общеизвестно. Характерную конструкцию этого аргумента, детерминирующего победу через обращение к идее единства, можем найти у истоков новой российской исторической политики: «Победа была достигнута не только силой оружия, но и силой духа всех народов, объединенных в то время в Союзном государстве» [Путин 2005].

этих дискурсивных политических инъекций, приводящих к тотальной мутации исходного образца, является попытка предъявить геополитические амбиции России как проявление глобального антиколониального движения, а саму Россию как его лидера и аванпост (см.: [Путин 2022]), — попытка с давней советской генеалогией, но лишенная каких-либо идеологических оснований, поскольку, в отличие от прежних апелляций к классовому интернационализму (независимо от степени их геополитического прагматизма), обращение к цивилизационным паттернам и идее Русского мира явно не годится для того, чтобы претендовать на лидерство в глобальном антиколониальном движении (у этих претензий нет никакой позитивной повестки, есть лишь общее негативное основание — антиамериканизм).

Перед официальным российским историческим нарративом, реагирующим на необходимость создания национальной идеи, объединяющей многонациональное государство, стояла довольно сложная задача — построить такую *национальную* версию российской истории, которая не отменяла бы, а утверждала позитивную ценность ее *имперского* прошлого. Причем это имперское прошлое должно было конвертироваться в многонациональное единство современной Российской Федерации. В этом смысле предпринимаемая на протяжении последних двух десятилетий символическая легитимация советского прошлого связана не с содержательной политической симпатией к советскому режиму или социализму как таковым, а с тем, что это прошлое может быть описано как пример успешного сосуществования партикулярного (национального) и универсального (коммунистической идеологии) [Калинин 2010]. Коренное отличие, правда, состоит в том, что советский интернационализм был основан на направленном в будущее коммунистическом проекте, в то время как нынешнее обоснование единства строится на исторических аргументах, адресованных прошлому, поскольку главной опорой официальной версии российского патриотизма являются специфические историческая политика и политика памяти. Этот тип патриотизма, фундамент, несущие конструкции и фасад которого сделаны из инструментализированной и переработанной памяти о прошлом, можно определить как «мнемонический патриотизм», — патриотизм, опирающийся не столько на чувство гордости за настоящее Российского государства или на какой-либо проект будущего, а на определенный образ прошлого, который необходимо заучивать в процессе социализации и воспроизводить в ходе карьерного продвижения (владение этим коммеморативным языком и способность артикулировать сертифицированный государством исторический нарратив является одним из важнейших критериев демонстрации политической лояльности).

Формирование содержательных границ российского политического сообщества на протяжении последних двадцати лет, — несмотря на внутренние отличия между различными периодами, — происходило внутри постоянно действующих силовых полей. С одной стороны, исчезновение СССР переживалось большей частью постсоветского общества как утрата адекватного ценностного горизонта, ответственного за производство национальной и политической идентичности. С другой стороны, вызванная турбулентностью распада дискурсивная нехватка (или, что структурно то же самое, избыток дискурсивного репертуара для самоидентификации, затрудняющий социально значимый выбор) поставила общество и политическую элиту перед необходимостью поиска символических ресурсов, необходимых для замещения утраченного.

Начало с чистого листа было бы возможно только при наличии какого-то мощного универсального проекта, на роль которого рыночный неолиберальный проект никак не годился, предполагая постепенный отказ по крайней мере от части национального суверенитета ради идеи глобального и саморегулирующегося рынка, — в то время как задача состояла в том, чтобы этот национальный суверенитет построить. Поэтому идея преемственности, наследования исторической государственности, в которую постепенно оказалось вовлечено и до- и послереволюционное прошлое России, оказалась по сути единственным выходом из сложившейся ситуации. Содержательным эффектом этой идеи преемственности (исторического единства), проецируемой на единство административное, территориальное и политическое, должно было стать снятие угрозы, содержащейся в антиколониальной энергии и постколониальной оптике: результатом подъема этнокультурных, локальных коммеморативных практик должен был стать не рост национализма, а *утверждение многонационального, но единого (имперского) прошлого и настоящего*. (Вполне возможно, что в данный момент этим усилиям российской исторической и культурной политики положен конец: диалектика нации и империи, которую удавалось сдерживать в последние десятилетия, вышла из-под контроля, и качнувшийся к полюсу империи маятник в скором времени отскочит к полюсу национализма.)

Акцент на суверенной субъектности, понимаемой не просто как административная целостность, но и как политическое единство нации, в случае России автоматически предполагает вопрос о ее поликультурной, полиэтнической, поликонфессиональной имперской структуре. В связи с этим возникает и необходимость примирения суверенного политического единства и культурного разнообразия. Концептуальным приемом такого примирения стало изобретение такой политической конструкции, как «историческая Россия», — Россия в ее многовековых границах, внутри которых многовековая же история «совместного проживания» автоматически лишала актуальности вопрос об имперской специфике этой совместности. Главным аргументом является сам факт наследования, верность памяти о прошлом: «Мы будем укреплять наше “историческое государство”, доставшееся нам от предков» [Путин 2012].

Смысл этой чувствительной к постколониальным импульсам работы состоял в том, что единство новой российской национальной идентичности обосновывалось не через устранение культурных различий, а через подчеркивание общего исторического опыта многонационального государства (Российской империи, СССР, Российской Федерации), через их включение в этот опыт как его непротиворечивых элементов. В свою очередь, сам этот опыт описывался как «процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне» [Там же]. Такая историческая конструкция создавала эффективный маршрут для канализации энергии потенциально субверсивной постколониальной идентификации: коллективная память о прошлом, опознаваемая как возвращение к истокам локальных, национальных или этноцентричных, традиций, оборачивалось возвращением в «общий дом» многонациональной Российской империи и ее исторических деривативов. Таким образом, колониальное наследие оказывается позитивно вписано в коллективный проект многонациональной Империи памяти, субъектами которой объявляются все народы, входящие в российскую «полиэтническую цивилизацию, скрепленную русским

культурным ядром» [Там же]. Русской культуре в этом проекте отводилась роль универсального символического медиатора, не отменяющего, но в гегелевском смысле снимающего этнокультурные различия и позволяющего переводить язык имперской геополитики на язык политики культурной (см.: [Калинин 2015]).

Таким образом, общее прошлое и актуализация памяти об этом общем прошлом становились тем синтетическим аргументом, который снимал напряжение между декларируемым единством и признаваемым культурным, этническим, конфессиональным многообразием. Более того, само это многообразие манифестировалось этим патриотическим дискурсом идентичности как основа устойчивости декларируемого единства. Официальный дискурс не столько блокировал постколониальные тенденции к росту локальных традиций памяти, становлению этноцентристких дискурсов или переписыванию локальных исторических нарративов. Он лишь перехватывал рост этой культуры памяти в своих собственных интересах, создавая парадоксальную конструкцию постколониального нарратива империи, в котором новые постколониальные символы или места памяти пронизывались смыслами общеимперского единства[12].

Эпистемологические контрасты: «колонизирующий» и «колонизированный» исследователь периферий

Антиколониальный аргумент современной российской политики, наследуя идеологическим и риторическим образцам времен холодной войны и одновременно приспосабливая их к ситуации постимперского постутопизма, послужил своеобразным фоном для амбивалентных эмансипаторных повесток в гуманитарных знаниях последних двух-трех десятилетий. Восприняв влиятельные культурные повороты глобального гуманитарного сообщества, гуманитарные науки постсоветского пространства все еще — и теперь с новой силой и непримиримостью — подпитываются аффектами биполярных противопоставлений и конфликтов.

В последние два-три десятилетия можно было наблюдать невиданный бум проектов и публикаций, исследующих культуру этнических меньшинств бывших и настоящих империй, в том числе и Советского Союза. Исследовательская оптика, привнесенная в гуманитарные науки социальным конструктивизмом и деконструкцией, постколониальной теорией и пространственным поворотом, должна была позволить избежать насилия над объектом — искушения лишить его собственного голоса, — иначе говоря, изменить саму перспективу аналитика, отныне заинтересованного в специфической субъективности и характерной агентности этнических сообществ в ситуации культурных и политических асимметрий. В эту интеллектуальную конъюнктуру, сложившуюся в западноевропейском и североамериканском академических кругах, встроена определенная идеология и этика. Их цель состоит в развитии особой чувствительности

12 Описание и интерпретацию конкретных примеров таких кентаврических конструкций, сумевших нейтрализовать различия этнотрадиционного и социалистического, локального и общегосударственного, см.: [Калинин 2021: 364—371].

по отношению к фигуре *Другого*, которая уже рассматривается не исключительно как жертва гегемонных политико-эпистемологических режимов, но как субъект, включенный в альтернативные по отношению к западным (упрощенно говоря — либеральным) типам социальных связей, способный производить пусть и ограниченный культурный выбор и создавать микшированные, бриколажные альтернативы в пределах определенного набора возможностей (ср.: [Lehmann 2015]). Более того, сама неоднородность или гибридность «периферийных», пограничных или малых культур, которые обуславливают пестроту империй, отвечала стремлению преодолеть и оспорить догму политических дихотомий и чистых разрезов, связывавшихся с оптикой, с одной стороны, структурализма — с другой, в советологии, с логикой холодной войны. Народы, проживавшие в национальных республиках и национальных автономиях СССР, стали благодарным материалом для изучения нелинейных процессов этнокультурной идентификации и ассиметричных связей между центром и периферией. При этом описания культурной идентичности неславянских («неевропейских») народов, повседневные практики и культурные традиции которых продолжали активно определяться религиозными картинами мира (от ислама до иудаизма, от шаманизма до тэнгризма), позволяли наиболее критически пересмотреть бинарные пары: архаика/модерность, свое/чужое, универсальное/партикулярное.

Представители социогуманитарных наук, работающие в регионах, — самое позднее начиная с момента распада большого нарратива советской модернизации во второй половине 1980-х — стали возрождать и разрабатывать эпистемологию (своего) малого, смешанного и миноритарного, но при этом редко обращались к постструктуралистскому или конструктивистскому инструментариям, позволяющим избежать простой перестановки акцентов. Изнутри разрушенных локальных историй и фактически отнятой в советское время поликультурной идентичности стала развиваться эзотерика локального духовного знания и/или страдальческого мессианизма (см., например: [Oushakine 2009])[13].

Проследим эти тенденции на примере разнонаправленных геополитических эпистемологий в работах, посвященных коренным народам Советского Севера. Малочисленность, отдаленность от культурных центров и еще хорошо просматриваемая связь с традициями предков соединялась у эвенков, нанайцев, хантов, манси, ненцев, чукчей и других малых северных этносов с фактами истребления, насильственной ассимиляции и с различными повестками «цивилизаторской миссии», от политического просвещения до создания в 1930-е годы письменной культуры. После распада СССР коренная Сибирь стала одним из центров амбивалентных процессов реэтнизации — возрождения или переизобретения местных традиций. С одной стороны, возвращение к корням было неизбежным и продуктивным процессом этнокультурной рефлексии: оно позволило увидеть результаты советизации и поставить вопрос о собственном месте в глобальном ландшафте различных этнических меньшинств, пересобиравшемся после мнимых завоеваний модерности. Сибирские народы стали включаться в группу колонизированных, а ныне постколониальных народов глобального Севера. С другой — движение «обратно к корням» стало контекстом для автовиктимизации, (воз)рождения нарративов национализма и мифов

13 Здесь и в дальнейшем мы, разумеется, описываем только тенденции, которые не охватывают всего разнообразия исследовательских подходов в этих регионах.

о собственной избранности. Эти процессы разворачивались не только в литературе, искусстве и политике, но и в гуманитарных исследованиях.

Пафос дифференцированного и проблематизирующего собственные методологические основания исследования затронул филологическое знание в меньшей степени, чем, скажем, этнологию, которая зачастую обращалась к методам интерпретативной антропологии и «насыщенного описания» (thick description, см.: [Geertz 1973]). В литературоведении до сих пор наиболее сильно заметен разрыв между «внешней» и «внутренней» исследовательскими перспективами, которые оперируют разными аналитическими аппаратами, типами научного письма и аксиологическими системами. Труды исследователей, принадлежащих к западной академической системе, или ориентирующиеся на них работы российских ученых тяготеют к системному взгляду на литературный продукт советизации — «индигенный» соцреализм. Здесь в фокусе внимания находятся разные фазы и степени влияния центра на периферию (от рассказов о раскулачивании до оттепельных ламентаций деревенской прозы), советская культурная политика и взаимодействие между локальными традициями и советским национальным проектом, свернувшим на дорогу русификации как приобщения к универсальной социалистической культуре. Часто цитируемая монография Юрия Слёзкина [Слёзкин 2008] — наиболее яркий и, пожалуй, крайний пример такого подхода. Включая литературу Крайнего Севера в систему этнографического и исторического знания, вырабатываемого в разные периоды внутри метрополий, Слёзкин разоблачает — не без остроумия и иронии — социальные последствия и культурные эффекты усилий организаторов и участников «большого путешествия» из центра на периферию и обратно, в результате которого агентность северных народов в советское время свелась почти исключительно к следованию национальной политике Москвы и копированию русских национальных традиций: «Большинство признаний любви к народу были написаны на русском языке, и почти все они предназначались для русского читателя. Сама по себе писательская деятельность не была традиционным занятием и должна была основываться на образах, сюжетах и тропах, почерпнутых из русской литературы» [Там же: 412].

При всей блестящей документированности и критическом пафосе своих выводов Слёзкин невольно воспроизводит точку зрения «завоевателей» и модернизаторов. Прямо противоположная перспектива представлена в работах русскоязычных литературоведов, проживающих и работающих в северных регионах, либо культурно-политически идентифицирующихся с ними. В исследованиях, следующих этой «внутренней» оптике, автор, как правило, отождествляет себя с позицией угнетенных, аналитически и одновременно идеологически солидаризируясь с предметом изучения, — локальными культурами северных народов: коренной писатель предстает здесь рупором и защитником своей вымирающей культуры, судьей, выносящим безжалостный вердикт ее гонителям, в то время как сама эта культура описывается как жертва государственных репрессий и колониальной политики (см., например: [Комаров 2019; Лагунова 2003; Огрызко 2006]). Сосредоточенность на трагической судьбе своего народа нередко сочетается здесь с наделением писателя статусом избранного сородичами и соплеменниками «просвещенного шамана» (в кавычках или без), одежды которого он и сам время от времени на себя надевает. Так, в статье одного из наиболее известных региональных литературоведов Ольги Лагуновой (Тюмень) критический обзор разных подходов к северным литера-

турам (в том числе и нарратива обреченности), поначалу обещающий содержательный концептуальный анализ, заканчивается следующим выводом:

> При личной встрече с нами (сентябрь 2006 г., Тюмень) Ю.К. Вэлла <...> заговорил о спине, по которой читатель, народ, стоящий за ним (мастером — посвященным), может и должен уловить, понять предмет и характер речи говорящего. Слово поэта обращено к высшим силам, обращено от имени всех, поэтому и лицо не видно читателю, народу, а видна только спина, но это спина человека ответственного, публично говорящего, говорящего о сущностном, главном, бытийном. <...> Так возникает феномен «народного слова». <...> Творчество художниками мыслится как процесс и акт собственной посвященности в тайну силы и бессмертия народа, типологически сходный с культурой шаманства, но имеющий собственную традицию, инструментарий и технику [Лагунова 2013: 120—121].

Региональные работы часто содержат ценный фактический материал и тонкий анализ поэтики двуязычных северных авторов. Чувствительность к слову, тропам, этнописьму и системе внутренних литературных переводов — преимущество близкого взгляда — соседствует с недостатком безучастного и более широкого взгляда на материал. Главное же то, что здесь тоже происходит *идентификация* с материалом.

Между описанными выше полюсами немало переходов и нюансов, но примеров отрефлексированного сближения или сопоставления «внутренней» и «внешней» исследовательских оптик весьма немного, вероятно потому что литература и искусство как «вторичная моделирующая система» (Ю. Лотман) в последние десятилетия не находились в фокусе теоретических дебатов о позиции исследователя, в отличие от социологии, антропологии или (авто)этнографии, которые в этот период претерпевали значительные сдвиги, быстрее и эффективнее сумев преодолеть разломы прежде противостоящих друг другу геополитических (семио)сфер. Кроме того, литература как более кодифицированный тип высказывания не в той же степени открывается этике живых противоречий, как социум, жизненный мир, повседневность.

Региональная исследовательская практика, по определению географически наиболее близкая своему объекту, чаще всего остается на периферии внимания со стороны международного исследовательского сообщества; ее авторы публикуются, как правило, в локальных или исключительно русскоязычных научных изданиях. Они продолжают подпитывать традиционалистский консервативный (уходящий корнями в позднесоветский альянс социалистического универсализма и русского национализма) дискурс «духовных поисков» и нарратив моральной миссии литературы и литературоведения, которые не раз анализировались и, в свою очередь, деконструировались в западной культурологии. Так воспроизводится ситуация эпистемологического колониализма[14], ответственного за заранее неравный статус производимого знания, иерархическое распределение символического капитала, академического престижа и т.д. Продолжая оставаться на теоретических и методологических окраинах научной «империи», региональные гуманитарии, оперирующие *герменевтикой сочувствия*, в каком-то смысле повторяют провинциальную судьбу своих народов, попадая в то же маргинальное положение, в котором на-

14 Мы используем этот термин без оттенка инвективы в адрес конкретного «колонизатора».

ходились принадлежащие к «нацменьшинствам» писатели, принятые в «многонациональную семью» советской литературы.

Озабоченность духовным воспитанием читателя, призывы к экологической ответственности, а порой и позиция этического лидерства, характерные для писателей, принадлежащих к «малым» литературам Севера[15], объединяет их с их исследователями. Например, на русскоязычных веб-сайтах и в региональных научных статьях, посвященных писателю Василию Ледкову, о нем часто повествуется как об учителе и отце ненецкого народа, беззаветно любившем свой край и заботившемся о судьбах его жителей (см. об этом: [Смола 2020]). Такого рода тексты об авторах родного края, все еще циркулирующие в цифровой среде глобальных информационных сетей в 2000—2010-е годы, сами по себе становятся перформативами гибридной постколониальной поэтики, совмещающей нормативную стилистику соцреализма постфактум с атрибутами родового рассказа о большой семье (так, например, писателя часто называют по имени и отчеству, опуская более формальное обращение по фамилии) и элементами эпического славословия. «До последних дней своей жизни Ледков продолжал делать тяжелую и далеко не престижную работу: отстаивал место поэзии в современном прагматическом мире»; «Своими тревогами за судьбу родного края он делится в книге “Белая держава”»; «Заботясь о духовном развитии своего народа, В. Ледков перевел на ненецкий язык произведения многих русских писателей» [«Я всем сердцем горжусь...» б.г.]. В научных сборниках «Хантыйская литература» (2002) и «Ненецкая литература» (2003) позиция многих северных исследователей «цитирует» общинность мышления малых культур, в которых автор нередко лично знаком и полностью солидарен с творчеством и общественной деятельностью писателей, которым эти работы посвящены.

Такова тональность многих отечественных публикаций о северных литературах начиная с 1990-х годов. Не приходится сомневаться, что пример Севера показателен и для многих других регионов бывшего СССР.

Исследовательский (арт)активизм: из Сибири в Украину

Этическая повестка значительной части постсоветского гуманитарного знания, наследующая отечественным, как дореволюционным, так и советским, а в некоторых регионах и местным поучительно-фольклорным традициям, в 2000—2020-е годы вливается в глобальные тренды своеобразного научного (этно- и национал-)активизма. Междисциплинарные коллективы художественно-исследовательских проектов — антропологи и искусствоведы, литературоведы и лингвисты, художники и экологи — обращаются к забытым или до сих пор не увидевшим свет архивным документам, маргинализированной коллективной памяти и локальным историям. С одной стороны, эти низовые инициативы, пик которых приходится на середину и вторую половину 2010-х годов, способствуют детерриторизации и буквальной деколонизации знания, пред-

15 Ср., например, о православном миссионерстве Анны Неркаги в: [Смола 2017]. О том, как в 1990-е годы северные писатели превращались в политиков и защитников окружающей среды, см. в: [Smola 2022].

ставляя собой процессы, слабо поддерживаемые государственным институциями или просто нежелательные с их точки зрения. Отчасти наследуя культуре советского андеграунда, подобного рода проекты создают альтернативные институции и параллельные публичные сферы на фоне самодержавной ностальгии и консервативных актов общенациональной коллективной некропамяти вроде «Бессмертного полка». Вливаясь в «архивный», или «темпоральный» повороты [Foster 2004; Godfrey 2007], независимая коммеморативная активность, широко представленная в современном искусстве Восточной Европы, пере(о)писывает историю региона с точки зрения периферий. С другой стороны, социально ангажированная работа на стыке научных разысканий и (этно)артивизма, нередко обнаруживает ту же, подпитанную герменевтикой сочувствия, симптоматику, возвращая ученого-аналитика к знакомым нарративам эпистемологического морализма.

Возвратимся к примеру коренной Сибири. Арктический институт искусств, основанный в 2014 году в Мурманске, изучает сибирские народы постсоветского пространства в контексте Глобального Севера, в том числе и его меньшинств, например Норвегии, Швеции, Финляндии и США:

> Мы бросаем вызов пониманию того, что значит «столица», что такое — «современное», что такое — «профессиональное». Мы открываем заново уникальный культурный потенциал столицы Русского Севера, который может быть основой для появления новых идей и быть источником гордости и силы местных жителей. На Севере не было художественных академий, но именно здесь сохранились самые древние свидетельства русской народной культуры, восходящие ко времени новгородской и ростовско-суздальской колонизации Севера в XI—XIII вв., а также ненецкой, коми и других культур. <...> Идеи об эмансипации знания, экологичности в широком смысле, устойчивом производстве и равновесии между человеком и природой как возможных альтернативах советским индустриальным экспериментам века лежат в основе художественного производства форума [Шарова 2020].

«Эмансипация знания» соединяет здесь продуктивный интерес к локальному, вдохновляющий интернациональное арт-сообщество по меньшей мере в течение двух последних десятилетий, с отстаиванием агентности бывшей советской периферии, заручившейся поддержкой мировой активистской общественности. Обращение поздне- и постсоветских северных интеллектуальных сообществ к глобальным повесткам — родству судеб, находящихся под угрозой экологической и культурной катастрофы, колонизированных меньшинств мира — началось в 1980—1990-е годы. Вместе с этнографами, экологами, историками и литературоведами в этом движении активно участвовали и писатели. Уже упоминавшийся Василий Ледков (1933—2002) еще в 1985 году участвует в конференции писателей коренных народов мира под эгидой ЮНЕСКО, а в 1992-м — в конференции писателей уралоязычных народов в Финляндии и едет в Скандинавию, чтобы рассказать там о ненцах и их литературе. Хантыйский писатель Еремей Айпин (р. 1948) становится представителем Президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе и выступает на 49-й сессии ООН от Арктического региона планеты. Уже в период развитого экоактивизма, в 2015-м году, ненецкий поэт и писатель Юрий Вэлла (1948—2013) публикует на странице «Проза.ру» рассказ «Ворон. Записки ненца, побывавшего в Америке в гостях у индейцев» (2010), в котором повествует о своей поездке в США, посещении бывших поселений индейского племени валатова,

о проснувшемся вулкане в Исландии и о Макдональдсах американских метрополий, а также о том, как он давал интервью американским историкам и антропологам.

Механизмы культурной идентификации питают любой, в том числе и региональный, активизм, ставший движущей силой диалектики *глобально ориентированной реэтнизации и ренационализации* не только на Российском Севере, но в разной степени и во всех бывших советских республиках. Те местные гуманитарии, которые закончили западноевропейские или североамериканские университеты, эмигрировали на Запад или восприняли аналитические языки современных критических теорий, активно пользуются эпистемой как минимум двойной культурной экспертизы и умело отворяют двери своего (бывшего) дома с помощью постколониального, экологического или феминистского ключей. Тем не менее установившееся после распада СССР глобальное картографирование геокультурных интересов и связей совсем не обязательно противостоит радикальности этнонациональной гуманитарной повестки, которая черпает свою энергию не в последнюю очередь из ресурсов характерного для постсоветской России *ресентимента униженности, поражения, утраты*. Только если в случае с Россией в целом адресатом-виновником является США, «коллективный Запад», заговор международных элит, то в случае с рядом национальных регионов Российской Федерации в эту адресацию изначально включалась сама российская метрополия и ее колониальная политика (за последнее десятилетие этот антиколониальный импульс российских национальных регионов оказался в значительной степени купирован, вытеснен за пределы официально признаваемого идентификационного дискурса, канализирован в форме глобального антизападного антиколониального движения, на лидерство в котором претендует нынешняя Россия). В случае с частью государств, получивших независимость после распада СССР, реэтнизация и ренационализация протекают под ресентиментным напряжением, негативная энергия которого обращена как в сторону колониальной политики советской империи, так и в сторону выступающей в качестве ее наследницы Российской Федерации.

Радикализация и активистский характер как искусства, так и гуманитарного знания всегда особенно остро проявляются в ситуации острых идеологических конфликтов, не говоря уже о прямых политических столкновениях. Именно это произошло в Украине после 2014-го и — в многократно возросшем масштабе — в 2022 году. Военная операция на территории Украины резко обострила и войну эпистем — задействованного для интерпретации набора геокультурных толкований, коллективной памяти и идеологически ангажированных повесток (как правых, так и левых). Претензии на эпистемологическое превосходство, — особенно быстро набиравшие обороты с весны 2014 года причем не только в постоянно растущем объеме медийной, образовательной, поп-культурной продукции, но и во множестве научных публикаций, транслирующих национал-патриотические взгляды и наводняющие книжный рынок и научную периодику, — столкнулись со встречным национал-патриотическим ответом. Так, с февраля 2022 года украинские коллеги, художники и интеллектуалы многократно обвиняли западных и оппозиционных российских ученых в империализме, пассивной поддержке политики России и «структурном» равнодушии; порой это даже оборачивалось доносами в ректораты западных университетов, травлей и риторикой ненависти в социальных сетях. Как российский, так и украинский национализмы укоренены не только в постсоветском настоящем,

но и в прошлом, начавшемся, разумеется, значительно раньше десоветизации 1990-х. Созревая в постсоветской интеллектуальной среде 1990—2010-х годов, новые национализмы, обогатившись инструментарием левой политической философии и западного активизма и оперируя понятиями, введенными в оборот (де)конструктивизмом и эмансипаторными культурными теориями (например, гегемония, эссенциализм, субальтерн, объективация и др.), во многом продолжают существовать в поле исторического ресентимента и радикального дуализма, свойственных отвергаемым им постимперским парадигмам.

Так, необычайно важная сейчас для Восточной Европы феминистская эпистемология стала в Украине особенно с началом войны (но уже и до нее) платформой для инвектив, сбрасывающих с корабля современности весь почтенный багаж западной научной мысли последнего полувека. Так, львовская феминистка Тамара Злобина пишет:

> Я все больше ох***ю от того, насколько некоторые признанные интеллектуалы тупы, насколько они не способны видеть предпосылки собственных суждений. Раньше на западных программах у меня было впечатление, что часть из них несет ахинею... <...> Несмотря на все эти тонны академической макулатуры, которые писались последние 50 лет... про необходимость проанализировать, с какой именно позиции вы говорите, про то, что, возможно, определенные властные дисбалансы с вашей позиции невидимы, что нужно прислушиваться к дискриминируемым, бла-бла-бла, — авторы и авторки западного антимилитаризма провтыкали очевидное. Очевидное, б**ть. Что все они из империалистических стран, которые имеют многовековую колонизаторскую историю. И войны, про которые они теоретизируют, — это те войны, которые их государства ведут на территории других стран. Или те, которые происходили в других, нежели у них, контекстах, в которых они очень слабо разобрались [Злобина 2022].

В этом тексте «академия», прежде всего научная традиция эпистемологических сомнений по отношению к наблюдателю и критика универсализма авторитетных позиций и знания, прямым образом обвиняется в толерантности по отношению к насилию. Совершенно понятная с точки зрения жертв настоящих событий горечь по поводу призыва западных феминисток не давать Украине оружие (об этом, в сущности, и написан пост Злобиной) или совсем не простой вопрос о пассивной, «миротворческой» политике Запада благодаря логике короткого — в буквальном смысле обходящего сложности и изгибы — замыкания выводит в политический осадок очень разнородную и саму по себе вполне конфликтную традицию гуманитарного знания. Такие выпады, вольно или невольно привязывающие точку зрения говорящего к его географической и культурной принадлежности (здесь это некий сборный западный исследователь), печальным образом напоминают инвективы против западной «лженауки» и «примиренчества» времен холодной войны.

В интервью, опубликованном в том же мае 2022 года, украинская феминистка и философ Ирина Жеребкина развивает значительно более тонкую аргументацию, в том числе по отношению к западному феминизму. Больше задаваясь вопросами, чем давая готовые ответы на вопрос о возможном сопротивлении, Жеребкина вслед за Зиллой Айзенстайн говорит о «ненавистях» во множественном числе, которые порождает и легализует война — они «обнаруживаются как метастазы повсюду, становятся мощнейшим ресурсом массовой политической мобилизации, в том числе расистской, националистической,

сексистской» [Жеребкина 2022]. Здесь деколониальная повестка связывается скорее с критикой политических дуализмов. Так, говоря о естественном в данный момент отношении значительной части украинского общества в адрес всего русского, Жеребкина замечает:

> Украина только тогда сможет окончательно освободиться от колониальной зависимости и станет по-настоящему независимой и демократической, когда она перестанет делить жизни своих граждан на более и менее «правильные» и значимые по критерию языка и культурного бэкграунда [Там же].

Часто — хотя и на более тонком и сублимированном уровне — гуманитарная мысль повторяет, а порой и порождает логику войны — горячей или холодной. Глобальное использование левых эмансипаторных критических теорий и прочно вошедший в интеллектуальный быт самых разных культурных сообществ понятийный аппарат толерантности не защищают от методологических упрощений бинарных противопоставлений, возвращения так и не проработанного травматического опыта, политического манихейства. Позиция эпистемологического радикализма, как правило, оказывается слепой по отношению к собственной генеалогии и собственным дискурсивным зависимостям, становясь не только следствием, но и зеркалом идеологии своего врага.

Библиография / References

[Жеребкина 2022] — *Жеребкина И.* Скорбя не о «своих», но о «чужих» // syg.ma. 2022. 30 мая (https://syg.ma/@sygma/skorbia-nie-o-svoikh-no-o-chuzhikh (дата обращения: 27.10.2022)).

(*Zherebkina I.* Skorbya ne o “svoikh”, no o “chuzhikh” // syg.ma. 2022. May 30 (https://syg.ma/@sygma/skorbia-nie-o-svoikh-no-o-chuzhikh (accessed: 27.10.2022)).)

[Злобина 2022] — *Злобина Т.* Проблема феминистской международной политики. Взгляд из Украины // РФО «ОНА». 2022. 9 мая (https://ona.org.ru/post/68379857272201216 1/arm-ukraine-now (дата обращения: 27.10.2022)).)

(*Zlobina T.* Problema feministskoy mezhdunarodnoy politiki. Vzglyad iz Ukrainy // RFO “ONA”. 2022. May 9 (https://ona.org.ru/post/683798572722012161/arm-ukraine-now (accessed: 27.10.2022)).)

[Калинин 2010] — *Калинин И.* Ностальгическая модернизация: советское прошлое как исторический горизонт // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2010. № 6 (74). С. 6—16.

(*Kalinin I.* Nostal’gicheskaya modernizatsiya: sovetskoe proshloe kak istoricheskiy gorizont // Neprikosnovennyy zapas: Debaty o politike i kul’ture. 2010. № 6 (74). P. 6—16.)

[Калинин 2015] — *Калинин И.* Праздник идентичности // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2015. № 3 (101). С. 250—261.

(*Kalinin I.* Prazdnik identichnosti // Neprikosnovennyy zapas: Debaty o politike i kul’ture. 2015. № 3 (101). P. 250—261.)

[Калинин 2021] — *Калинин И.* Историческая политика // Все в прошлом: теория и практика публичной истории / Под ред. В. Дубиной, А. Завадского. М.: Новое издательство, 2021. С. 355—375.

(*Kalinin I.* Istoricheskaya politika // Vse v proshlom: teoriya i praktika publichnoy istorii / Ed. by V. Dubina, A. Zavadskiy. Moscow, 2021. P. 355—375.)

[Комаров 2019] — *Комаров С.* Младописьменные литературы в составе литератур Тюменского края (опыт общей характеристики) // Дергачевские чтения — 2018. Литература регионов в свете гео- и этнопоэтики: материалы XIII Всероссийской научной конференции (г. Екатеринбург, 18—19 октября 2018 г.). Екатеринбург: УрО РАН, 2019. С. 301—307.

(*Komarov S.* Mladopis'mennye literatury v sostave literatur Tyumenskogo kraya (opyt obshchey kharakteristiki) // Dergachevskie chteniya — 2018. Literatura regionov v svete geo- i etnopoetiki: materialy XIII Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii (Ekaterinburg, 18—19 oktyabrya 2018). Ekaterinburg, 2019. P. 301—307.)

[Лагунова 2003] — *Лагунова О.* Анна Неркаги: «За себя восклицаю и за всех» // На моей земле. О поэтах и прозаиках Западной Сибири последней трети XX века / Отв. ред. С. Комаров, О. Лагунова. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2003. С. 261—348.

(*Lagunova O.* Anna Nerkagi: "Za sebya vosklitsayu i za vsekh" // Na moey zemle: O poetakh i prozaikakh Zapadnoy Sibiri posledney treti XX veka / Ed. by S. Komarov, O. Lagunova. Ekaterinburg, 2003. P. 261—348.)

[Лагунова 2013] — *Лагунова О.* Младописьменные литературы России: научные версии русскоязычного творчества // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica. 2013. № 6. С. 114—122.

(*Lagunova O.* Mladopis'mennye literatury Rossii: nauchnye versii russkoyazychnogo tvorchestva // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica. 2013. № 6. P. 114—122.)

[Малахов 2007] — *Малахов В.* Проблема идентичности в постсоветском контексте // Малахов В. Понаехали тут... Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 7—24.

(*Malakhov V.* Problema identichnosti v posysovetskom konrekste // Malakhov V. Ponaekhali tut… Ocherki o natsionalizme, rasizme i kul'turnom pliuralizme. Moscow, 2007. P. 7—24.)

[Миллер, Липман 2012] — Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

(Istoricheskaya politika v XXI veke / Ed. by A. Miller, M. Lipman. Moscow, 2012.)

[Миллер, Ефременко 2020] — Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы: акторы, институты, нарративы / Под ред. А. Миллера, Д. Ефременко. СПб.: Издательство ЕУСПб, 2020.

(Politika pamyati v sovremennoy Rossii i stranakh Vostochnoy Evropy: aktory, instituty, narrativy / Ed. by A. Miller, D. Yefremenko. Saint Petersburg, 2020.)

[Огрызко 2006] — *Огрызко В.* В сжимающемся пространстве: портрет на фоне безумной эпохи. М.: Литературная Россия, 2006.

(*Ogryzko V.* V szhimayushemsya prostranstve: Portret na fone bezumnoy epokhi. Moscow, 2006.)

[Путин 2005] — Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 25.04.2005 // http://www.kremlin.ru/acts/bank/36354 (дата обращения: 27.10.2022).

(Poslanie Prezidenta Rossiyskoy Federatsii Federal'nomu sobraniyu Rossiyskoy Federatsii ot 25.04.2005 // http://www.kremlin.ru/acts/bank/36354 (accessed: 27.10.2022).)

[Путин 2012] — *Путин В.* Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января (https://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 27.10.2022)).

(*Putin V.* Rossiya: natsional'nyy vopros // Nezavisimaya gazeta. 2012. January 23 (https://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (accessed: 27.10.2022)).)

[Путин 2022] — Обращение Владимира Путина по случаю вхождения в состав РФ новых субъектов. 2022. 30 сентября // https://tass.ru/politika/15921545 (дата обращения: 27.10.2022).

(Obrashchenie Vladimira Putina po sluchayu vkhozhdeniya v sostav RF novykh sub"ektov. 2022. September 30 // https://tass.ru/politika/15921545 (accessed: 27.10.2022).)

[Слёзкин 2008] — *Слёзкин Ю.* Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

(*Slezkin Yu.* Arkticheskie zerkala: Rossiya i malye narody Severa. Moscow, 2008.)

[Смола 2017] — *Смола К.* Постколониальные литературы Севера: автоэтнография и этнопоэтика // Новое литературное обозрение. 2017. № 144. С. 429—447.

(*Smola K.* Postkolonial'nye literatury Severa: avtoetnografiya i etnopoetika // Novoe literaturnoe obozrenie. 2017. № 144. P. 429—447.)

[Смола 2020] — *Смола К.* «Маленькая Америка»: (Пост)социалистический реализм коренного Севера // Новое литературное обозрение. 2020. № 166. С. 143—155.

(*Smola K.* "Malen'kaya Amerika": (Post)sotsialisticheskiy realizm korennogo Severa // Novoe literaturnoe obozrenie. 2020. № 166. P. 143—155.)

[Тишков 2001] — *Тишков В.А.* Слова и образы в постконфликтной реконструкции // Чечня: от конфликта к стабильности / Под ред. Дж.Дж. Гакаева, А.Д. Яндарова. М.: ИЭА, 2001. С. 49—72.

(*Tishkov V.A.* Slova i obrazy v postkonfliktnoy rekonstruktsii // Chechnya: ot konflikta k stabil'nosti / Ed. by Dzh.Dzh. Gakayev, A.D. Yandarov. Moscow, 2001. P. 49—72.)

[Ушакин 2021] — *Ушакин С.* Колониальный омлет и его последствия: о публичных историях постколоний социализма // Все в прошлом: теория и практика публичной истории / Под ред. В. Дубиной, А. Завадского. М.: Новое издательство, 2021. С. 395—428.

(*Oushakine S.* Kolonial'nyy omlet i ego posledstviya: o publichnykh istoriyakh postkoloniy sotsializma // Vse v proshlom: teoriya i praktika publichnoy istorii / Ed. by V. Dubina, A. Zavadskiy. Moscow, 2021. P. 395—428.)

[Чаттерджи 2002] — *Чаттерджи П.* Воображаемые сообщества: кто их воображает? // Нации и национализм / Пер. с англ. и нем. Л.Е. Переяславцевой и др. М.: Праксис, 2002.

(*Chatterjee P.* Whose imagined community? // Mapping the nation. Moscow, 2002. — In Russ.)

[Шарова 2020] — *Шарова Е.* Арктический форум искусств 2016. Телесное знание // ARCTIC ART FORUM 2016. Телесное знание. Череповец, Издательский дом "Череповецъ", 2016. С. 7—9.

(*Sharova E.* Arkticheskiy forum iskusstv 2016. Telesnoe znanie // ARCTIC ART FORUM 2016. Telesnoe znanie. Cherepovets, 2020. P. 7—9.)

[«Я всем сердцем горжусь...» б.г.] — «Я всем сердцем горжусь, что в России родился...» // ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» (https://nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=885:ledkov&catid=29&Itemid=442 (дата обращения: 27.10.2022)).

("Ya vsem serdtsem gorzhus', chto v Rossii rodilsya…" // GBUK NAO "Nenetskaya tsentral'naya biblioteka imeni A.I. Pichkova" (https://nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=885:ledkov&catid=29&Itemid=442 (accessed: 27.10.2022)).)

[Adams 2008] — *Adams L.* Can We Apply a Postcolonial Theory to Central Asia? // Central Eurasia Studies Review. 2008. Vol. 7. № 1. P. 2—8.

[Barkey, von Hagen 1997] — After Empire. Multiethnic Societies and Nation-Building / Ed. by K. Barkey, M. von Hagen. Boulder, Colorado: Westview, 1997.

[Bassin, Kelly 2012] — Soviet and Post-Soviet Identities / Ed. by M. Bassin, C. Kelly. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

[Beissinger 1995] — *Beissinger M.* The Persisting Ambiguity of Empire // Post-Soviet Affairs. 1995. № 11. P. 149—151.

[Blacker et al. 2013] — Memory and Theory in Eastern Europe / Ed. by U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor. London: Palgrave-Macmillan, 2013.

[Brubaker 1998] — *Brubaker R.* Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism / Ed. by J. Hall. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 272—305.

[Chernetsky et al. 2006] — *Chernetsky V., Condee N., Ram H., Spivak G.* Are We Postcolonial? Post-Soviet Space // Publication of the Modern Languages Association. 2006. Vol. 121. № 3. P. 819—836.

[Davisha, Parrot 1997] — The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective / Ed. by K. Davisha, B. Parrot. Armonk, New York: Sharp, 1997.

[Djagalov 2020] — *Djagalov R.* From Internationalism to Postcolonialism: Literature and Cinema between the Second and the Third Worlds. Montreal: McGill-Queen University Press, 2020.

[Foster 2004] — *Foster H.* An Archival Impulse // October. 2004. № 110. P. 3—22.

[Geertz 1973] — *Geertz C.* The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, 1973.

[Godfrey 2007] — *Godfrey M.* Artist as Historian // October. 2007. № 120. P. 140—172.

[Kalinin 2022] — *Kalinin I.* The Soviet Union of National Form and Socialist Content (Culture, Nation, Class) // Russian Studies in Philosophy. 2022. № 5 (forthcoming).

[Lehmann 2015] — *Lehmann M.* When Everything Was Forever: An Introduction // Slavic Review. 2015. № 74 (1). P. 1—9.

[Martin 2001a] — *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

[Martin 2001b] — *Martin T.* An Affirmative Action Empire: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism // A State Of Nations. Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Ed. by R.G. Suny, T. Martin. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 67—90.

[Moore 2001] — *Moore D.* Chioni. Is the Post in Postcolonial the Post in Post-Soviet? Notes toward a Global Postcolonial Critique // Publication of the Modern Languages Association. 2001. Vol. 116. № 1. P. 111—128.

[Morozov 2015] — *Morozov V.* Russia's Postcolonial Identity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World. Pagrave Macmillan, 2015.

[Northrop 2000] — *Northrop D.* Languages of Loyalty: Gender, Politics, and Party Supervision in Uzbekistan, 1927—41 // The Russian Review. 2000. Vol. 59. Iss. 2. P. 179—200.

[Oushakine 2009] — *Oushakine S.* The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia. Cornell UP, 2009.

[Popescu 2020] — *Popescu M.* At Penpoint: African Literatures, Postcolonial Studies, and

the Cold War. Durham, N.C.: Duke University Press, 2020.

[Slezkine 2000] — *Slezkine Yu.* Imperialism as the Highest Stage of Socialism // The Russian Review. 2000. Vol. 59. Iss. 2. P. 227—234.

[Smola, Uffelmann 2016] — *Smola K., Uffelmann D.* Postcolonial Slavic Literatures after Communism: Introduction // Postcolonial Slavic Literatures after Communism / Ed. by K. Smola, D. Uffelmann. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2016. P. 9—25.

[Smola 2022] — *Smola K.* (Re)shaping Literary Canon in the Soviet Indigenous North // Slavic Review. 2022. № 81 (4) (forthcoming).

[Suny, Martin 2001] — A State Of Nations. Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Ed. by R.G. Suny, T. Martin. Oxford: Oxford University Press, 2001.

[Zisserman-Brodsky 2003] — *Zisserman-Brodsky D.* Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivaton, and the Rise of Ethnic Nationalism. New York: Palgrave MacMillan, 2003.

Интеллектуальная история среди других гуманитарных направлений

Сергей Зенкин

Семиотика культуры и интеллектуальная история

Sergey Zenkin

Semiotics of culture and intellectual history

Сергей Зенкин (Российский государственный гуманитарный университет, Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского, главный научный сотрудник; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук, департамент филологии, профессор; Свободный университет, профессор; доктор филологических наук) sergezenkine@hotmail.com.

Ключевые слова: семиотика культуры, интеллектуальная история, синхрония.

УДК: 80+82+93
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_273

В статье предпринята попытка методологического сопоставления двух дисциплин — семиотики культуры, разработанной в Советском Союзе в 1970—1980-х годах, и интеллектуальной истории, интенсивно развивающейся в мире в наши дни. Параметрами сопоставления служат трансдисциплинарность, широта эмпирического материала, синхронный (ненарративный) подход к истории, связь с актуальными задачами общества (на примере научного творчества Карло Гинзбурга и Михаила Ямпольского). Исторически интеллектуальная история не является непосредственной наследницей семиотики культуры, она складывалась параллельно и не всегда в прямом взаимодействии с нею, но некоторые направления современной интеллектуальной истории находятся в отношении методологической конвергенции со структуральной семиотикой культуры.

Sergey Zenkin (Dr. Habil.; Chief Research Fellow, Institute for Higher Research in the Humanities, Russian State University for the Humanities; Professor, School of Arts and Humanities, HSE University (Saint Petersburg); Professor, Free University) sergezenkine@hotmail.com.

Key words: semiotics of culture, intellectual history, synchrony.

UDC: 80+82+93
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_273

The article attempts to methodologically compare two disciplines — the semiotics of culture, developed in the Soviet Union in the 1970—1980s, and intellectual history, which is rapidly developing in the world today. The comparison parameters are the transdisciplinarity, the breadth of empirical material, a synchronic (non-narrative) approach to history, the connection with the urgent problems of society (using the examples of the academic work of Carlo Ginzburg and Mikhail Iampolsky). Historically, intellectual history is not a direct heir to the semiotics of culture; it developed in parallel and not always in direct interaction with it, but some trends of contemporary intellectual history converge methodologically with structural semiotics of culture.

Семиотика культуры, разработанная московско-тартуской школой в 1970—1980-х годах, стала одним из высших достижений гуманитарных наук Советского Союза. Сегодня, пытаясь описать интеллектуальное движение, происходившее в постсоветское тридцатилетие, мы неизбежно возвращаемся к этому научному направлению; контекстом ему должна служить не только отечественная, но и мировая эволюция научного знания.

Одной из методологических новаций семиотики культуры было то, что она стала первым в нашей науке *трансдисциплинарным* предприятием; это одна из причин, по которым ей невозможно дать строгое аналитическое определение, описать ее как специфическую «дисциплину». От широты ее предметов разбегались глаза, она стремилась к безграничной экспансии и была готова изучать самые разнородные сферы культурной деятельности, обыкновенно поделенные между разными дисциплинами: миф и карнавал, литературу и кино, формы царской власти и частное бытовое поведение людей. По такой «всеядности» с нею может сравниться только философия, умеющая размышлять по любому эмпирическому поводу, и еще… художественная литература, по-своему также способная разговаривать обо всем. В то же время семиотика культуры противостояла институциональным традициям академической науки, по сей день оберегающей дисциплинарные границы: негласно считается, что для каждого предмета есть своя наука и свой институт/факультет, диалог между которыми дается трудно, даже если их материал частично пересекается. В качестве примера можно назвать литературную науку и лингвистику, которые некогда составляли единое целое — филологию, — а сегодня едва ли не повернулись друг к другу спиной, следуя разным методам и решая разные задачи: одна занимается углубленной интерпретацией литературного канона, другая сосредоточена на проблемах языковой и межъязыковой коммуникации. Юрий Лотман еще в середине 1960-х годов констатировал этот дисциплинарный развод: «…единой науки, традиционно именуемой филологией, в настоящее время, откровенно говоря, не существует. Она уже более пятидесяти лет как разделилась на две вполне самостоятельные ветви — литературоведение и лингвистику» [Лотман 2018: 149]. Напротив того, эпоха структурализма, в которую и выросла семиотика культуры, стала последним до сих пор моментом активного сотрудничества этих двух дисциплин: теоретическая лингвистика послужила основанием для семиотической теории, далее приложенной к анализу литературы.

Семиотика культуры заняла необычную позицию в отношении *истории*. Она постоянно работала с материалом прошлого, часто с наследием древних культур, но никогда не пыталась описывать его в виде историографического нарратива. Ее лидеры — Юрий Лотман, Борис Успенский, Вяч. Вс. Иванов — прекрасно знали историю, но предпочитали нарративу «теоретическое», синхроническое или панхроническое представление материала, иллюстрируемое эффектными примерами из разных эпох прошлого: таковы историко-культурные анекдоты, щедро рассыпанные и оригинально интерпретируемые в работах Лотмана, или отдельные эпизоды — даже не события, а моментальные, синхронические срезы — из истории России, которые столь же оригинально анализировал Успенский (структура «царь — самозванец», самопредставление Петра I как Антихриста и т.д.). Нарративность еще допускалась при написании индивидуальных биографий (лотмановских биографий Пушкина и Карамзина), но какие-либо более широкие исторические повествования исключа-

лись — отчасти по цензурным соображениям, потому что они неизбежно пришли бы в противоречие с догматической версией истории, насаждавшейся в СССР, а отчасти, видимо, из-за недоверия к нарративной форме вообще: специалисты по семиотике сами анализировали строение этой формы в своих работах по теории литературы, были знакомы с критикой нарратива, предпринятой французскими структуралистами, и потому должны были отдавать себе отчет в условности и обманчивости всякого повествовательного изложения. Одним из источников их синхронического подхода явилась, наряду со структурной лингвистикой Соссюра, теория «долгой временной протяженности», выдвинутая французской исторической школой «Анналов». С научной точки зрения надежнее было не излагать историю культуры как закономерно развивающийся ход событий, а описывать ее как ряд относительно стабильных системных состояний (впоследствии Лотман дополнил такое описание теорией культурного «взрыва», перехода между разными синхронными состояниями).

Вообще, отчасти по причинам цензурного давления, а отчасти в силу своей трансдисциплинарной организации, советская семиотика культуры следовала «партизанской» тактике, действуя как бы в рассыпном строю: обычно она выбирала себе отдельные тематически и исторически выгодные предметы и избегала «линейных сражений» с догматическими концепциями официальной науки. Вместе с тем, в отличие от некоторых своих современников, например французских постструктуралистов, она старалась сохранять научную объективность, доказательность концепций и критическое отношение к идеологизированным «сильным теориям».

Семиотика культуры оказалась предприятием плодотворным, но недолговечным. Сегодня ее наследие фактически вновь поделено между несколькими дискурсами, среди которых один из главных — «культурология»; в различных ее направлениях встречаются и позитивные исследования, и спекулятивные и даже идеологизированные построения. Разработанные семиотикой культуры масштабные культурно-типологические категории сегодня чаще получают абстрактно-философскую интерпретацию, чем конкретно-эмпирическую разработку, а некоторые ее базовые понятия были опошлены в массовом языковом употреблении. Так, термин «структура», который семиотика культуры заимствовала из соссюрианской лингвистики и определяла как систему отношений между элементами, чья собственная природа не имеет значения, — сегодня в расхожем применении означает внутренне полные, обладающие собственным весом образования («коммерческие структуры», «силовые структуры»). Еще более показательна эволюция понятия «культурный код». Лотман подчеркивал *множественность* кодов, взаимодействующих в пространстве культуры: «...никакое мыслящее устройство не может быть одноструктурным и одноязычным: оно обязательно должно включать в себя разноязычные и взаимонепереводимые семиотические образования» [Лотман 1992: 36]. Последние сосуществуют в сознании людей даже одного сообщества и способны к развитию, скрещению и трансформации; мы выбираем свои культурные коды, свободно комбинируем и разрабатываем их, мы их творцы, а не рабы. Напротив того, в эссенциалистском и натурализующем дискурсе наших дней «культурным кодом» называют предполагаемый устойчивый прообраз, из века в век определяющий сознание той или иной общности, особенно нации; этот прообраз считается неизменным, словно «генетический код», через него

якобы раскрывается тайная программа духовной жизни людей (ср. выражение «код доступа»), и он раз навсегда зафиксирован, так что они не могут его изменить (ср. выражение «закодировать алкоголика»). Из легкого, подвижного «софтвера» культурный код переместился в тяжко-материальный «хардвер» культуры.

Как представляется, научным проектом, по ряду важных параметров заменяющим и продолжающим сегодня семиотику культуры, является — или, по крайней мере, могла бы быть — интеллектуальная история, новейший универсальный метаязык для описания разнообразных культурных фактов. В Советском Союзе такая дисциплина характерным образом отсутствовала, притом что, вообще говоря, изучать историю тех или иных идей прошлого не возбранялось (конечно, с должными идеологическими оценками). Догматизированная история не могла признать трансдисциплинарного подхода к материалу и не могла усвоить себе присущий интеллектуальной истории принцип эпистемологического нейтралитета (историю ложных идей изучают наравне с историей великих открытий — примерно так же, как мифы изучаются в семиотике культуры). Чтобы сделаться предметом интеллектуальной истории, историческая идея должна освободиться от конкретного культурного дискурса, где она могла фигурировать (скажем, от «истории философии», или «истории науки», или «истории религии»); она должна стать самостоятельной монадой, мигрирующей из одного дискурса в другой — из философской метафизики в политическую демагогию, из бытовой фразеологии в академическую терминологию, из религиозных догматов в художественную игру. Интеллектуальная история описывает не *филиацию*, а *адаптацию* идей, их реконтекстуализацию и перевод с одного социального языка на другой; для нее это как бы свободные радикалы, способные по случайным историческим причинам соединяться между собой.

В некоторых своих авторитетных направлениях — таких как Кембриджская школа или немецкая школа «истории понятий», — интеллектуальная история тяготеет к изучению *социально-политических* идей; они шире всего распространены в обществе и оттого более всего способны к вариациям и трансформациям. Но ей ничто не запрещает сосредоточиваться и на становлении идей более специальных, например научных, а вернее сказать — прослеживать миграцию идей из «публичной» сферы в «специальную» и наоборот (образцом может служить история понятия «реакция», написанная Жаном Старобинским [Старобинский 2008]), рассматривать их не только в рамках узкой истории данной дисциплины, а через диалог разных наук. Среди последних особенно важным партнером в диалоге является философия — лаборатория спекулятивных понятий, которые могут далее наполняться эмпирическим содержанием в конкретных науках.

У подвижности исторических идей есть и еще один аспект: их выражением могут быть не только оформленные и четко определенные понятия, но также и метафоры, художественные образы и сюжеты; в этом смысле интеллектуальная история смыкается с историей литературной. Историческая идея менее четко определенная единица, чем культурный код, она может носить характер монады-корпускулы и не обязательно структурируется по значимым оппозициям (такова, например, идея «великой цепи бытия», исследованная Артуром Лавджоем [Лавджой 2001]), и все же своей поливалентностью она сближается с теми единицами культуры, которые выделяла семиотика.

Подобно семиотике культуры, интеллектуальная история исследует исторический процесс, не пытаясь создавать широкомасштабные «большие нарративы». Написать социально-политическую историю человечества или хотя бы какой-то страны — задача, которую еще пытаются кое-где решать, но нет никакой надежды когда-либо создать интегральную историю идей той или иной страны или эпохи. Самое большее можно попытаться составить регионально-исторический словарь понятий определенного разряда, такой как «Словарь индоевропейских социальных терминов» Эмиля Бенвениста [Бенвенист 1995] (этот труд обычно относят не к интеллектуальной истории, а к филологии) или «Основные исторические понятия: исторический лексикон политического и социального языка в Германии», созданный под руководством Рейнхарта Козеллека [Козеллек 2016]. Обычно же исследования по интеллектуальной истории носят частный характер, выделяя какой-то фрагмент общего развития — отдельную идею, отдельную концепцию, отдельное историческое понятие, отдельного автора или школу. Соответственно, и преподавать историю идей приходится скорее на общеметодологическом уровне, излагая разные подходы и приемы ее изучения, а не более или менее законченный нарратив или компендиум исторических сведений (автор этих заметок действует именно так, преподавая в санкт-петербургской Высшей школе экономики).

Семиотика культуры имела еще одну особенность — по крайней мере потенциальную, — сближавшую ее с интеллектуальной историей: это актуальность изучаемых исторических объектов. Тартуская семиотика при всем своем академизме и эзотеричности нередко читалась как злободневные суждения о современности: скажем, идея Лотмана и Успенского о дуальных моделях, отличающих русскую культуру от западноевропейской с ее тернарными моделями [Лотман, Успенский 1994], легко применялась к чередованию разных эпох в недавней советской истории, и Владимир Паперный вдохновлялся их типологией культуры, создавая свою актуально-критическую концепцию «культуры 1» и «культуры 2» в политической и художественной истории СССР [Паперный 1996].

В отличие от советской семиотики культуры, актуальность интеллектуальной истории имеет иную природу: она не связана (пока?) с цензурным гнетом и его эзоповским преодолением, но она может изучать генезис идей, сохраняющих действенную силу поныне, — идей живых, а не мертвых. Для интеллектуальной истории нашей страны хорошим примером служит ведущееся во всем мире комплексное исследование того, что я когда-то назвал «русской теорией», — то есть прежде всего эпохальных достижений литературной теории первой трети XX века, таких направлений, как русский формализм или Бахтин и его кружок. Последний случай иллюстрирует и трансдисциплинарность интеллектуальной истории: в мировой науке Бахтин сегодня интересен не только исследователям литературы (им как раз не всегда удается адекватно применять его идеи в своей работе), но едва ли не больше философам, лингвистам, специалистам по cultural studies. Важно также, что в исследовании «русской теории» можно применять синхронический подход — описывать круг ее идей как единовременную систему, своего рода стабильный «культурный код», а не как развивающийся во времени процесс. Дело в том, что идеи формалистов или Бахтина по-прежнему актуальны ныне, по-прежнему оплодотворяют нашу мысль, мы ощущаем себя одновременно их историками и современниками. В таком актуальном переживании кроется, конечно, опасность

презентизма, неправомерной апроприации и модернизации прошлого, которая грозит интеллектуальной истории, как и любой другой. Зато оно помогает избегнуть другой типичной методологической ошибки — ретроспективной иллюзии, когда исторический генезис идеи принимают за ее истолкование, неявно предполагая, что ее истина лежит в прошлом; на самом деле возможно и обратное: идея могла еще не выявить всех своих потенций, ее истина маячит где-то в будущем.

Заканчивая разговор об интеллектуальной истории, приведем в пример двух ученых, работающих за пределами России, но хорошо и заслуженно известных в нашей стране. Первый из них, Карло Гинзбург, в своих трудах исследует то причудливо-архаичные умственные построения прошлого — скажем, доморощенную космологию итальянского мельника XVI века Меноккио [Гинзбург 2000], — то идейные традиции, дожившие до наших дней и продолжающие работать в современной интеллектуальной культуре: «уликовую парадигму», понятие «остранения» или, совсем недавно, идею «фейк-ньюс» [Ginzburg 2022]. Второй, Михаил Ямпольский, в молодости участвовавший в трудах московско-тартуской школы, иногда занимается дисциплинарно специализированной интеллектуальной историей — например, историей кинотеории [Ямпольский 1993] или же «физиологией символического» в визуальной и политической культуре Нового времени [Ямпольский 2004]; но такая его книга, как «Ткач и визионер» [Ямпольский 2007], представляет собой «очерки истории репрезентации», а в значительной части скорее *теории* репрезентации — то есть историю известного круга идей, возникавших и реализовывавшихся в самых различных областях культуры, рефлексивной и творческой. Наконец, в книге «Пространственная история» [Ямпольский 2013] он описывает эпизоды истории самого понятия «история»: эта работа является авторефлексивной, а из самого ее названия видно стремление выделить и обосновать в идеях прошлого синхронический — не временной, а пространственный — взгляд на историю, который опять-таки был присущ семиотике культуры.

Исторические идеи хоть и могли (могут) иногда обретать весомую социально-политическую ответственность, но по изначальной природе представляют собой, подобно объектам семиотики культуры, условные, почти «литературные» образования — отсюда их подвижность и поливалентность. Единственный раз, когда Юрий Лотман применил структурно-семиотический метод к анализу настоящих исторических идей (и даже точнее — социально-исторических понятий почти в духе Козеллека), он взял для структурной оппозиции древнерусские понятия «честь» и «слава», соотнесенные по признаку *неравной условности*, неравной семиотичности («честь» — материальная добыча дружины, «слава» — чисто духовный престиж) [Зенкин 2012]. Сходным образом и современная интеллектуальная история нередко обращается к истории таких авторефлексивных идей, которые не просто подвижны и условны в своем функционировании, но и по смыслу своему отсылают именно к семантике условности, неопределенности: в их числе «уликовое» познание и «остранение» у Гинзбурга, «диалог» у Бахтина, а книга Ямпольского «Сквозь тусклое стекло» имеет характерный подзаголовок «20 глав о неопределенности» [Ямпольский 2010]. Исторические идеи могут порой описывать свой собственный модус бытия, и их историк должен обращать внимание на это их свойство, напоминающее один из излюбленных приемов и одновременно объектов семиотики культуры — автометаописание.

Исторически интеллектуальная история не является непосредственной наследницей семиотики культуры, она складывалась параллельно и не всегда в прямом взаимодействии с нею. В то время как семиотика культуры получила наиболее интенсивное развитие в СССР и в более смешанных формах во Франции, интеллектуальная история представляет собой более широкое международное научное предприятие, в рамках которого уже около столетия конкурируют различные подходы. Представляется, однако, что некоторые направления современной интеллектуальной истории находятся в отношении если не филиации, то методологической конвергенции со структуральной семиотикой культуры. В этом смысле они сами ведут себя как подвижные исторические идеи и сами подлежат описанию средствами интеллектуальной истории, показывающей их преемственность и реконтекстуализацию. Попытка такого описания и была предпринята здесь.

Библиография / References

[Бенвенист 1995] — *Бенвенист Э.* Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс, 1995.

(*Benveniste E.* Le Vocabulaire des institutions indo-européennes. Moscow, 1995. — In Russ.)

[Гинзбург 2000] — *Гинзбург К.* Сыр и черви: Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М.: РОССПЭН, 2000.

(*Ginzburg C.* Il formaggio e i vermi. Moscow, 2000. — In Russ.)

[Зенкин 2012] — *Зенкин С.Н.* История понятий и структуральный метод // Зенкин С.Н. Работы о теории. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 104—112.

[Козеллек 2016] — Основные исторические понятия: исторический лексикон политического и социального языка в Германии / Под ред. Р. Козеллека. Т. 1—2. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

(Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hrsg. von R. Koselleck. Vols. 1—2. Moscow, 2016. — In Russ.)

[Лавджой 2001] — *Лавджой А.* Великая цепь бытия. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001.

(*Lovejoy A.* The Great Chain Of Being. Moscow, 2001. — In Russ.)

[Лотман 1992] — *Лотман Ю.М.* Феномен культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллин: Александра, 1992. С. 34—45.

(*Lotman Ju.M.* Fenomen kul'tury // Lotman Ju.M. Izbrannye stat'i: In 3 vols. Vol. 1. Tallinn, 1992. P. 34—45.)

[Лотман 2018] — *Лотман Ю.М.* О структурализме: Работы 1965—1970-х годов. Таллин: Издательство Таллинского университета, 2018.

(*Lotman Ju.M.* O strukturalizme: Raboty 1965—1970-kh godov. Tallinn, 2018.)

[Лотман, Успенский 1994] — *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б.А. Избранные труды: В 3 т. Т. 1. М.: Гнозис, 1994. С. 219—253.

(*Lotman Ju.M., Uspenskij B.A.* Rol' dual'nykh modeley v dinamike russkoy kul'tury (do kontsa XVIII veka) // Uspenskij B.A. Izbrannye trudy: In 3 vols. Vol. 1. Moscow, 1994. P. 219—253.)

[Паперный 1996] — *Паперный В.* Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 1996.

(*Papernyj V.* Kul'tura Dva. Moscow, 1996.)

[Старобинский 2008] — *Старобинский Ж.* Действие и реакция: Жизнь и приключения одной пары. СПб.: Владимир Даль: Культурная инициатива, 2008.

(*Starobinski J.* Action et réaction. Vie et aventures d'un couple. Saint Petersburg, 2008. — In Russ.)

[Ямпольский 1993] — *Ямпольский М.Б.* Видимый мир: Очерки ранней кинофеноменологии. М.: Научно-исследовательский институт киноискусства; Центральный

музей кино; Международная киношкола, 1993.
(*Iampolski M.* Vidimyy mir: Ocherki ranney kinofenomenologii. Moscow, 1993.)
[Ямпольский 2004] — *Ямпольский М.Б.* Физиология символического. Книга 1. Возвращение Левиафана. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
(*Iampolski M.* Fiziologiya simvolicheskogo. Kniga 1. Vozvrashhenie Leviafana. Moscow, 2004.)
[Ямпольский 2007] — *Ямпольский М.Б.* Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
(*Iampolski M.* Tkach i vizioner: Ocherki istorii reprezentatsii. Moscow, 2007.)
[Ямпольский 2010] — *Ямпольский М.Б.* «Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о неопределенности. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
(*Iampolski M.* "Skvoz' tuskloe steklo": 20 glav o neopredelennosti. Moscow, 2010.)
[Ямпольский 2013] — *Ямпольский М.Б.* Пространственная история: Три текста об истории. СПб.: Книжные мастерские; Мастерская «Сеанс», 2013.
(*Iampolski M.* Prostranstvennaya istoriya: Tri teksta ob istorii. Saint Petersburg, 2013.)
[Ginzburg 2022] — *Ginzburg C.* Fake News? An Old, New Story // Public lecture at the House of European History. 2022. January 12 (https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/flamboyant-fake-carlo-ginzburg-fake-news-old-new-story (accessed: 10.10.2022)).

Тимур Атнашев, Михаил Велижев[1]

Языковой реализм и два вида интеллектуальной истории

Timur Atnashev and Mikhail Velizhev

Linguistic Realism and Two Types of Intellectual History

Тимур Атнашев (Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, старший научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления, старший преподаватель; PhD) timur.atnashev@gmail.com.

Михаил Велижев (Сапиенца — Римский университет, приглашенный профессор; кандидат филологических наук; PhD) nun.ce.problema@ gmail.com.

Ключевые слова: интеллектуальная история, постмодернизм, Кембриджская школа, презентизм, языковой реализм

УДК: 930.2+808+303.4
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_281

В тексте мы ставим цель описать и проанализировать два вида интеллектуальной истории — историцистскую и постмодернистскую ее версии — в западной и отечественной академической традициях второй половины XX и начала XXI века, указать на различия и неожиданные точки пересечения между ними. Для этого мы намерены обратиться к проблемам природы исторического знания, философии языка, презентизма и (ре)политизации историографии. В первой части статьи мы реконструируем два основных подхода к вопросу о философских основаниях предмета интеллектуальной истории. Во второй части мы постараемся показать преимущества и общественно-политические импликации «реалистической» философии языка как методологической основы, которой могут руководствоваться интеллектуальные историки самых разных направлений.

Timur Atnashev (PhD; Senior Lecturer, Senior Researcher, Center for Public Politics and State Management, Institute for Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration) timur.atnashev@gmail.com.

Mikhail Velizhev (PhD; Visiting professor, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia) nun.ce.problema@gmail.com.

Key words: intellectual history, postmodernism, Cambridge school, presentism, realism linguistic realism

UDC: 930.2+808+303.4
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_281

In this article, we aim to describe and analyze two types of intellectual history — its historicist and postmodernist versions — in the Western and Russian academic traditions of the second half of the 20th century and early 21st century, pointing out the differences and unexpected points of intersection between them. To this end, we intend to address the problems of the nature of historical knowledge, the philosophy of language, presentism, and the (re)politicization of historiography. In the first part of this article, we will reconstruct the two main approaches to the question of the philosophical foundations of intellectual history. In the second part, we will try to show the advantages and sociopolitical implication of a "realist" philosophy of language as a methodological framework that can guide intellectual historians with different academic interests.

В настоящем тексте мы ставим цель описать и проанализировать два вида интеллектуальной истории в западной и отечественной академической традициях второй половины XX и начала XXI века, указать на различия и неожи-

1 Первая половина работы написана Михаилом Велижевым (с. 282—290), вторая — Тимуром Атнашевым (с.290—298) (Обе части согласованы двумя авторами.) Статья

данные точки пересечения между ними. Для этого мы намерены обратиться к вопросам природы исторического знания, философии языка, презентизма и (ре)политизации историографии. Историков часто и справедливо упрекают в недостаточном внимании к теории и философским основаниям собственных изысканий. Как следствие, отдельные работы порой страдают излишней дескриптивностью, отсутствием рефлексии над инструментами анализа и некритическим подходом к проблеме политической ангажированности полученных результатов, которые на деле оказываются маленькими пикселями в больших и чужих идеологических проектах. Интеллектуальные историки в меньшей степени заслужили подобные упреки. Вероятно, рефлексивная природа изучаемого ими предмета требует хотя бы предварительного ответа на два вопроса: как возможно систематическое и объективное (фальсифицируемое) исследование письменной речи и представлений людей о себе и мире? каково общественное значение полученных таким образом знаний?

Нашим центральным аргументом и ответом на первый из сформулированных вопросов является утверждение языкового «реализма» как эпистемологического основания для интеллектуальной истории. Репликой в дискуссии о втором вопросе служит тезис о важности принципов историзма в противовес презентизму. Актуальная и даже скандальная полемика вокруг колонки президента Американской ассоциации историков об опасностях и достоинствах «презентизма» [Sweet 2022] показывает, что интересующие нас проблемы имеют как методологическое, так и прикладное значение для исторической науки в целом[2]. В первой части статьи мы реконструируем два основных подхода к вопросу о философских основаниях предмета интеллектуальной истории. Во второй части мы постараемся показать преимущества и общественно-политические импликации *реалистической философии языка* как методологической основы, которой могут руководствоваться интеллектуальные историки самых разных направлений.

1. Одно понятие, два смысла

Генезис и значения «интеллектуальной истории»

Словосочетание «интеллектуальная история» на русском языке, на первый взгляд, способно вызвать замешательство. Речь идет то ли о новом изводе «истории идей» или «культурной истории», то ли об «истории интеллектуалов», то ли об интерпретации любых продуктов умственной деятельности человека. Как отмечает занимавшийся эволюцией интересующего нас понятия историк Р. Шартье, в европейской научной традиции XX века «интеллектуальная история» не имела четкого дисциплинарного референта, а само понятие возникло относительно недавно. В национальных академических культурах доминировали другие термины: во Франции — «история ментальностей», в Германии —

подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-326).

2 См., в частности, бурную полемику и извинения Дж. Суита: https://twitter.com/AHAhistorians/status/1560737391958433792 (дата обращения: 05.11.2022).

«история духа», в Италии «интеллектуальная история» или «история идей» вообще не фигурировали (см.: [Шартье 2004]). Советская и российская наука до недавнего времени использовала термины «история идей», «история общественной мысли» или «семиотика культуры».

Пространством, в котором понятие «интеллектуальная история» смотрится куда органичнее, является англоязычная наука: собственно, *intellectual history* возникает и формируется прежде всего в США и Великобритании [Whatmore 2016][3]. Однако и здесь есть своя сложность: в настоящий момент термин «интеллектуальная история» используется для *самоопределения* носителями двух во многом противоположных научных мировоззрений. С одной стороны, «интеллектуальными историками» считают себя постмодернистские теоретики истории, с другой — сторонники различных чисто историцистских методов. При этом первые, как правило, атакуют вторых, опираясь на философскую критику оснований историографии. Далее мы хотели бы дать суммарное описание теоретических принципов, которыми руководствуются каждое из направлений, а затем попытаться проблематизировать существующие между ними различия и указать на одно важное и недооцененное прежде сходство.

Мы предлагаем обозначить первую версию интеллектуальной истории как собственно постмодернистскую, а вторую — как «реалистическую». Постмодернистские теоретики истории, такие как Х. Уайт, Ж. Деррида, Ф. Анкерсмит, К. Дженкинс, делают акцент на исключительной важности риторики, литературного письма, нарративов, исторического воображения и способов переживания времени. Более того, они ставят под вопрос саму возможность изучать прошедшее, которое поддается интерпретации только через творческое воображение «реальности прошлого» в отчетливо анахронистическом ключе. Сторонники этого направления считают, что имеют дело с «призраками» или «заветами» прошлого и отказываются систематически изучать исторические значения текстов, предпочитая ответственному выдвижению и проверке гипотез работу с бесконечным многообразием аллюзий и смыслов [Barthes 1968; Derrida 1967; Jenkins 2009]. Заимствуя выражение американского антрополога Кл. Гирца, можно сказать, что речь идет о подмигивании в ответ на подмигивание в ответ на подмигивание [Geertz 1973: 6].

«Реалисты», напротив, настаивают, что риторический характер источников не мешает ставить вопрос об относительном правдоподобии предположений, которые мы делаем о событиях прошлого. Они возвращают историю от творчества к науке, дающей возможность сопоставлять различные гипотезы и отличать более достоверные догадки от менее достоверных. Разумеется, с учетом проделанной в XX веке философской работы «реальность» необходимо максимальным образом проблематизировать и не сводить ее к позитивистски одномерной картине или к метафорам наивного платонизма. Реалисты выступают лишь против попыток постмодернистов отменить любые рациональные критерии при оценке исторических фактов и при интерпретации текстов.

---

3 Кроме того, о становлении интеллектуальной истории в 1980—1990-е годы и о ее междисциплинарном характере свидетельствуют, в частности, ценные работы Д. Лакапра [LaCapra 1980; 1983; 1992].

Релятивистская критика источников или историография как риторика

К постмодернистской версии интеллектуальной истории мы относим широкий круг историков, философов и литературоведов, которые в явном виде артикулировали различные релятивистские аргументы о природе наших знаний о прошлом, включая Х. Уайта, М. Фуко, Р. Барта, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Р. Рорти, К. Дженкинса и Ф. Анкерсмита. Как мы хотим показать, вклад этих авторов носит скорее «негативный» или критический характер, выразившийся в атаках на отдельные эпистемологические основания традиционной историографии.

Решительная ревизия научного статуса и теоретических основ историографии, которую во многом спровоцировал американский историк и мыслитель Х. Уайт [White 1973][4], поставила под сомнение нашу способность познавать прошлое, опираясь на факты. Согласно Уайту, предложившему понятие «метаистории», нарративная структура четырех великих исторических трудов XIX столетия, написанных в духе «реализма», включает набор скрытых утверждений о прошлом и настоящем, которые не могут быть опровергнуты фактами. Четыре языковые стратегии соответствуют четырем тропам художественного дискурса и составляют основу *исторического воображения*. С помощью особого подбора излагаемых фактов и сумме риторических фигур каждого тропа историк способствует формированию у читателей идеологических установок. Так, комический троп характерен для консервативного идеологического подтекста, а трагический — для радикальной идеологии. Множественность доступных тропов и отсутствие формализованного языка описания прошлого указывают на фиктивную природу исторических «фактов»:

> На мой взгляд, нет такой теории истории, которая была бы убедительной и неопровержимой для некой аудитории только по причине адекватности ее как «объяснения данных», содержащихся в повествовании, поскольку в истории, как и в социальных науках в целом, не существует способа предварительного установления [pre-establishing] того, что будет считаться «данными» и что будет считаться «теорией», «объясняющей» то, что эти данные «означают» [Уайт 2002: 494—495].

В более поздних работах Уайт, представляя себя постмодернистом, атакует профессиональных историков, занятых кропотливым исследованием источников, не понимая философских оснований и следствий своей работы. С его точки зрения, любые реконструкции нормального хода истории скрыто служат консервации сложившихся общественных отношений через утверждение макронарратива как нормы [White 2005]. Начатое Уайтом переосмысление эпистемологических основ историографии оказалось усилено за счет аргументов целого ряда философов и литературоведов, благодаря которым сформировалась постмодернистская или релятивистская ветвь интеллектуальной истории[5].

---

4 Здесь и далее мы даем ссылки только на оригинальные издания историографических и философских текстов, актуальных для нашего исследования, и указываем год их публикации: нам важно показать хронологическую последовательность их появления на свет, хотя часть этих сочинений уже переведена на русский язык.

5 Впрочем, позиция самого мыслителя в отношении «реальности прошлого как оно было» эволюционировала и оставалась необычной для своего лагеря, о чем мы скажем в заключении статьи.

В основе сложившейся в 1970—2000-е годы постмодернистской версии интеллектуальной истории лежат два набора взаимосвязанных тезисов о возможности рационального познания событий и текстов[6]. Постмодернисты указывают на ограниченность нашей способности а) адекватно репрезентировать события с помощью исторического нарратива, который сам опирается лишь на письменные источники и б) адекватно интерпретировать специфическое значение текстов прошлого с помощью новых высказываний. Мы покажем некоторые из ключевых ходов этой философской деконструкции историографии.

В предреволюционном 1967 году французский философ Ж. Деррида в книге «Грамматология» произвел знаменитую деконструкцию письменного языка [Derrida 1967a], за которой сразу последовала публикация его не менее известного сборника «Письмо и различие» [Derrida 1967b]. Деррида заимствует и переворачивает оппозицию Ж.-Ж. Руссо «устная речь как чистый исток» vs. «письмо как искаженная и вторичная репрезентация речи». Он показывает, что письмо как всякая членораздельность и артикуляция исходно опирается на аналитический опыт «различания», лежащий в основе всей западной культуры, включая речь или даже протоязык. Письмо обнажает изначальную коррупцию, порчу любого рационального, расчленяющего мышления реальности в языке. Текст не поможет познать реальность вне-текста, ибо любая реальность дана как ее всегда неадекватная интерпретация. Но и реальность текста, исходно содержащего в себе испорченную структуру различания, в свою очередь непознаваема. В свете такой метаатаки на язык как инструмент и объект анализа любой проект изучения прошлого (и настоящего) посредством текстов обречен на неудачу[7]. Противопоставляя себя господствовавшему в тот период «структуралистскому нашествию» как основе западного мышления, Деррида критиковал историческую науку за мертвый схематизм, который никогда не способен ухватить настоящее:

> Подобно меланхолии для Жида, этот анализ возможен лишь после своего рода поражения силы и в некоем порыве угасающего пыла. Вот в чем структуралистское сознание — это просто-напросто сознание как осмысление прошлого, я хочу сказать — факта вообще. Отражение свершенного, сложившегося, сконструированного. Историчное, эсхатичное и сумеречное по своему положению [Деррида 2000: 8—9].

---

6 Для этих и последующих рассуждений важно как различение порядка событий и порядка текстов, так и два внешне противоположных этому различению утверждения. События общественной жизни невозможно разумно интерпретировать, не рассматривая их в том числе как знаки, имеющие смысл в более общих культурных контекстах. Появление конкретных текстов в заданной ситуации оказывается событием, для понимания которого необходимо выйти за пределы значения текста в узком смысле. Скажем, интеллектуальная история «публичной полемики о Великих реформах второй половины XIX века в России» не сводится к анализу отдельных сочинений, но стремится реконструировать само общественное явление, где тексты являются лишь частью более сложной социополитической конфигурации. Мы хотели бы указать на важность отличия и частичной гомологии событий и текстов, но не будем входить в более подробный разбор философских предпосылок этой диалектики, которая требует отдельного разговора.

7 Опосредование исходной природы с помощью языка приводит к тому, что заместитель восполняет или дополняет реальность, прямая связь с которой утрачена. Невозможность на письме выйти за пределы искажающей и различающей логики протописьма делает и сам философский проект деконструкции Деррида принципиально незавершенным и незавершимым.

В это же время Р. Барт провозгласил «смерть автора» [Barthes 1968]. Произведения без автора не могут иметь никакого целостного смысла, который был бы кем-то авторитетно вложен. Текст понимается как пестрая и скорее случайная по своему узору ткань из цитат, которые, в свою очередь, также являются заимствованиями. В своем масштабном проекте археологии знания, начатом годом раньше [Foucault 1967; 1969; 1971], М. Фуко обличал представление о «субъектности» человека как дисциплинарную и дискурсивную ловушку для подлинной свободы. Объектом исследования становятся порядки дискурса, дисциплины и борьба сил, в сетях которых субъекты лишь выполняют безличную волю властной субстанции. Барт и Фуко почти одновременно атакуют представление об исходном авторском намерении, но предлагают две очень разных стратегии ответа.

Натиск французской философии на рациональность, факты и письмо получил продолжение по ту сторону Атлантики в другом академическом контексте. Начиная с конца 1970-х годов американский философ-прагматик Р. Рорти опубликовал ряд влиятельных работ, критиковавших классическую онтологию, возводимую к Платону, в которой тексты и высказывания интерпретировались как зеркальное (пусть более или менее искаженное) отражение подлинной реальности [Rorty 1979; 1991]. Отказ от устаревшей и догматической, согласно Рорти, метафоры истинного знания как зеркала реальности оборачивается «иронизмом», то есть пониманием, что люди неизбежно оказываются в интеллектуальном плену исторически случайного, контингентного набора понятий, на смену которым со временем приходят новые термины [Rorty 1991][8].

Цунами, спровоцированное работами Уайта, пересекло Атлантический океан в обратном направлении. Голландскому историку-постмодернисту Ф. Анкерсмиту принадлежит еще один эффектный образ: представим себе дерево и опавшие листья — дерево уподоблено прошлому, листья — источникам (см.: [Ankersmith 1989]; критику тезиса Анкерсмита см.: [Гинзбург 2004: 310—311, 318—319]). Историки-«реалисты» пытаются изучать ствол и ветви, в то время как постмодернисты заняты анализом листьев. Источники-листья уже полностью оторвались от древа-реальности, таким образом восстановить целое-прошлое по обрывочным свидетельствам представляется фундаментально невозможным. В итоге Анкерсмит предлагает радикально антиисторицистский подход, в рамках которого особое внимание уделяется субъективному переживанию исторического времени (которое во многом производится самими историками), а связь текстов и породившей их реальности окончательно утрачивается.

Наконец, своеобразная квинтэссенция постмодернизма в историографии представлена, на наш взгляд, в работах американского историка и теоретика К. Дженкинса. В своем сборнике 2009 года он синтезирует постмодернистский подход к прошлому как часть того, что *теперь* очевидно всем (кроме большинства упорных в своем неведении кротов-историков). Опираясь на авторитет Деррида, он отмечает:

---

8 Ни один из языков не может претендовать на более или менее адекватное изображение реальности, но они сами и задают то поле лингвистической реальности, в котором живет человек. Ирония, связанная с осознанием относительности наших представлений, дает обществам одно важное преимущество — надежду на мирный характер сосуществования носителей разных языков, ни один из которых не вправе претендовать на монополию и власть. Сходный аргумент о исчезновении конфликтов в ситуации постмодерна мы находим у Ж.-Ф. Лиотара, о чем будет сказано ниже.

> ...прошлое осмысляется как ничто, как белый холст или экран, на который историки проецируют полюбившуюся им историю. Это обозначает, что любой смысл, который можно было бы приписать прошлому, приходит извне... Прошлое (все то, что произошло «до нас») открывается бесконечным интерпретациям и реинтерпретациям, непреодолимому релятивизму прочтений [Jenkins 2009: 4].

Еще одной из лаконичных формул, заимствованной у Анкерсмита, Дженкинс утверждает примат литературных операций по воссозданию прошлого над исторической реальностью: «без репрезентации нет прошлого» [Ibid.: 261]. Согласно постмодернистской логике, онтологический статус фактов гетерогенен онтологическому статусу нарративов или письма (ибо события не имеют исходную форму «рассказа»)[9]. Отсюда прямо выводится свобода историка создавать мириады вольно парящих интерпретаций.

Однако существует еще одна важнейшая для Дженкинса и для значительной части других постмодернистов линия аргументации о природе языка, которая указывает на неотрефлексированную ими собственную непоследовательность. Когда мыслители-релятивисты неожиданно переходят от культурной надстройки к экономическому базису, на новой почве их суждения становятся более уверенными. Согласно этой точке зрения, бесконечная пластичность постмодернистских интерпретаций *отражает* современную структуру общественных отношений.

Так, на рубеже 1970—1980-х годов французский философ Ж.-Ф. Лиотар перформативно и весьма успешно объявил о наступлении новой эпохи постмодерна [Lyotard 1979]. В чем, согласно Лиотару, состоит существо нового состояния культуры? Информатизация и коммерциализация массовых коммуникаций приводит к постоянному умножению версий любых авторитетных интерпретаций в интересах политиков и частных компаний[10]. Постмодернизм надолго становится самоописанием нового интеллектуального и социального контекста в развитых обществах «позднего капитализма». В работе другого французского классика, Ж. Бодрийяра, во многом опиравшегося на постмарксистский анализ коммерциализации массовых коммуникаций, близкий к концепции Лиотара, тексты и высказывания отрываются от реальности и замещают ее «симулякрами» [Baudrillard 1981][11]. В «Призраках Маркса» Деррида отказывается от онтологии присутствия и неприсутствия, но вполне уверенно формулирует структурную связь капитализма и феномена призрачности, на который он стремится указать:

---

9 Как если бы онтологический статус химических или физических формул должен был совпадать с волно-корпускулярной текстурой материи, для того чтобы ученые могли спорить, какая из них лучше описывает факты. Естественные науки обходятся без гомологии реальности и способов ее описания.

10 В результате изменения социально-экономической структуры коммуникаций исчезает доверие граждан к «большим нарративам». Ни экспертные оценки технократов, ни консенсус по модели Ю. Хабермаса не достаточны, чтобы вернуть веру общества в конкурирующие между собой дискурсы. Впрочем, с точки зрения Лиотара, эта утрата легитимности сопровождается своеобразным умиротворением социальных конфликтов через рынок и ощущение тотальной прозрачности массовых коммуникаций.

11 Тексты-симулякры не просто прячут подлинный смысл, но представляют собой единственную истину новых медиатизированных и коммодитизированных социальных отношений. Бесконечные коммуникации и составляют отныне «пустыню реальности», за которой ничего больше не стоит. Речь не карта реальности, но сама реальность. Впрочем, эта действительность лишена определенности и смысла. Как

> Предлагая данное заглавие, «Призраки Маркса», я поначалу думал о всевозможных формах наваждения, которое, на мой взгляд, организует те формы, которые господствуют в сегодняшнем дискурсе. В пору, когда новый мировой беспорядок пытается установить свой неокапитализм и неолиберализм, никакому отрицанию не удается избавиться от всех призраков Маркса. Гегемония всегда организует репрессии, а значит, подтверждает наличие наваждений. Наваждение относится к структуре всякого господства [Деррида 2006: 30].

Пожалуй, чуть менее рефлексивно используя ту же онтологию языка и социально-экономических отношений, Дженкинс заключает:

> Постмодернизм — это то, что прописал капиталистический доктор, ибо его релятивизм срывает остатки ограничений на новые социальные практики в пользу бесконечной гибкости и текучести, а значит, в пользу тысяч новых форм национальной и международной эксплуатации [Jenkins 2009: 11][12].

Разные по силе и происхождению аргументы Деррида, Уайта, Барта, Лиотара, Фуко, Рорти, Дженкинса и других теоретиков второй половины XX века множественными путями приводят к схожему выводу — деконструкции языка как инструмента, пригодного для адекватного и целостного отражения (социальной и исторической) реальности и для анализа самого себя как реальности. Ретроспективно обозревая результаты проделанной постмодернистами работы, мы можем отметить их успехи в проблематизации и теоретизации ремесла историков наряду со слабостью практических результатов.

Сила доводов и жизнеспособность нового языка для рефлексии социальной реальности, предложенные этой плеядой философов, значительна: они оказали огромное влияние на историографию, литературную критику, филологию, антропологию, исследования медиа и культуры. Между тем постмодернистская деконструкция социальной реальности как бесконечной сети взаимно аллюзивных текстов весьма уязвима. «Поздний капитализм», «коммодитизация» или «неолиберализм» оказываются инструментами вполне «реалистического» осмысления интеллектуальной истории как отражения подлинной экономической и политической структуры общества. Коротко говоря, постмодернистские теоретики по умолчанию используют реалистический тип аргументации исключительно для релятивизации чужого дискурса об обществе и его прошлом, а собственная реалистическая социальная модель при этом выводится из-под аналогичной критики.

показывает С.Н. Зенкин, подобно романтикам, Бодрийяр видит в симулякрах лишь тени утраченной подлинной реальности (природы, исторического прошлого, народного волеизъявления), но вернуться к истоку в современном социальном контексте уже невозможно [Зенкин 2011].

12 При этом радикальный релятивизм Дженкинса и левых постмодернистов не сводится к утверждению позднего капитализма. По мнению Дженкинса, он служит для атаки на статус-кво и разрушения любого интеллектуального обоснования существующего общественного порядка. Впрочем, остается неясно, как разрушение любых оснований в целях апологии позволяет сформулировать общую левую позитивную повестку, без которой релятивизм сохраняет свою функцию поддержания бесконечного плюрализма мнений при позднем капитализме. Более критически настроенный к релятивизму американский историк культуры и марксист Ф. Джеймисон написал скандальную статью, а затем книгу, где прямо в названии увязывает постмодернизм и поздний капитализм (см.: [Jameson 1991]).

Социальная реальность как речь: контекстуалистский подход

Представители Кембриджской школы придерживаются во многом противоположного взгляда на интеллектуальную историю, хотя развитие этого подхода также связано с радикальным обновлением философии языка. Их анализ стал результатом сознательной ориентации истории политической мысли на методы, разрабатывавшиеся в аналитической философии в 1940—1960-е годы. Другим эпистемологическим импульсом для историков из Кембриджа стала сверхпопулярная книга Т. Куна «Структура научных революций» [Kuhn 1962], в которой он показал, что даже в естественных науках, претендующих на строгость и объективность, действуют мощные социальные факторы, определяющие границы доказательства и статус истины.

«Реалистическая» интеллектуальная история отталкивается от лингвистического и исторического контекстуализма: во-первых, от поздних работ Л. Витгенштейна, согласно которому значение того или иного слова исчерпывается не формальными определениями, отсылающими к сущности понятия, но спецификой лингвистического узуса, то есть контекстом конкретного высказывания, во-вторых, от теории речевых актов Дж. Остина, в которой значение словесного действия определялось прагматическим контекстом того или иного утверждения, понятного как ход во взаимодействии с другими людьми.

К. Скиннер перенес принципы аналитической философии языка в историю идей. В программной статье «Значение и понимание в истории идей» (1969) он предложил теоретическое основание «лингвистического» контекстуализма, ориентированного на реконструкцию специфически понятой авторской интенции, которая заключена в самом тексте и его контексте, а потому подлежит научно верифицируемой экспликации [Скиннер 2018]. Позже, уже в 1990-е годы и далее, Скиннер обратится к исследованиям риторических конвенций, заложенных в сочинениях самого разного жанра (от политических трактатов Т. Гоббса до ранних пьес У. Шекспира) и предопределявших их раннюю рецепцию. Дж.Г.А. Покок, в отличие от Скиннера, сделал акцент на изучении политических языков, чью эволюцию он толковал из исторической перспективы — как постепенное формирование модусов политической речи из профессиональных языков и языков второго порядка [Покок 2018].

«Кембриджская» разновидность интеллектуальной истории, как и сходные в этом отношении исследовательские программы К. Гинзбурга, Р. Дарнтона, А. Лилти или Р. Шартье, противоположна по смыслу постмодернистскому проекту. Речь идет об историцистском подходе, цель которого состоит в воссоздании утраченных контекстов, позволяющих высветить оригинальные, исходные валентности текста или смыслы, свободные от сложившихся вокруг них впоследствии мифологий. Более того, выяснилось, что прежнее значение того или иного произведения способно сослужить анализу современной политической ситуации не меньшую пользу, нежели анахронистическое прочтение «из настоящего»[13]. Именно такой подход прежде всего и связыва-

13 Повышенное внимание к первоначальному контексту политического жеста не мешало Скиннеру и Пококу выстраивать метанарративы: оба основателя Кембриджской школы (а также Дж. Данн, много занимавшийся творениями Дж. Локка [Dunn 1969])

ется с «интеллектуальной историей»: он оказался наиболее продуктивным как методологическая программа для эмпирических исследований на материалах по истории Италии, Англии, США, Франции или России [Атнашев, Велижев 2018; Collini 2016; Whatmore 2016].

Историцистская концепция прошлого получила свое обоснование в целой серии академических опросников, появлявшихся в печати с середины 1980-х годов и посвященных осмыслению интеллектуальной истории как самостоятельной дисциплины. Наиболее недавний, репрезентативный и известный из них — датское издание «Интеллектуальная история: 5 вопросов» («Intellectual history: 5 questions»). Характерно, что среди более чем двадцати участников опроса нет ни одного теоретика-постмодерниста. В остальном в книге представлены интервью с историками, занимающимися самыми разными сюжетами, однако всех их объединяет интерес к реконструкции первоначальных контекстов при исследовании политических или культурных явлений [Jeppesen et al. 2013]. Название «интеллектуальная история» во многом закрепилось за «кембриджской» версией дисциплины благодаря недавним основополагающим работам Р. Уотмора: монографии «Что такое интеллектуальная история?» [Whatmore 2016] и специальному справочнику на аналогичный сюжет [Whatmore, Young 2016]. В многочисленных исследованиях, связанных с именем Уотмора, предмет и метод интеллектуальной истории понимается почти исключительно в рамках историцистского направления, а главным вызовом интеллектуальной истории становится глобальный характер современного знания о человеке.

2. Языковой реализм: аргументы за

Существование двух версий интеллектуальной истории ставит перед гуманитариями две проблемы — обоснование (не)научного статуса исторического знания и соотношения знания и политики. Ниже мы намерены обсудить намеченные прежде точки расхождения между двумя вариантами интеллектуальной истории в контексте вызовов, стоящих сегодня перед науками о человеке. Как мы постараемся показать, постмодернистская программа релятивизации отношений между текстом и социальной реальностью может быть *переосмыслена* в «реалистическом» ключе. Для этого необходимо последовательно прояснить ряд неотрефлексированных, но ключевых допущений постмодернистской критики языка как инструмента и предмета научного познания, а также рассмотреть вопрос о том, как политическая валентность историографических нарративов (не) ставит под вопрос их научный статус.

восстанавливали утраченные смыслы и языки, тем самым актуализируя их, но при этом следуя правилам научного исследования, то есть главным образом избегая анахронизмов. Именно так Скиннер реанимировал третье понятие свободы, оказав влияние на Ф. Петтита с его концепцией свободы как недоминирования, а Покок «открыл» республиканскую традицию Нового времени (подробнее см.: [Pettit 1997; Pocock 1975; Skinner 1998]).

Аргумент 1: Постмодернистская критика и тайный языковой реализм

Полемический смысл значительного числа постмодернистских аргументов о природе письма и языка (а мы, в отличие от наших релятивистских коллег, утверждаем, что в этих аргументах, как и в других высказываниях, можно реконструировать устойчивые *исходные* и *заложенные авторами* смыслы) заключается в том, что историография должна служить эмансипаторной критике сложившего социального порядка. Лиотар, Фуко, Деррида, Дженкинс и многие другие теоретики показывают, как язык и письмо, а также связанные с ними претензии на достоверное и авторитетное знание, работают на подавление и господство или на коммерциализацию общественных отношений. Релятивисты хотят восстановить нарушенный баланс, ограничив консерватизм и усилив эмансипацию через общественно-научный дискурс. Вместо нейтрального медиума научной истины или кладезя здравого смысла язык оказывается прежде всего инструментом скрытого политико-экономического господства. Этот аргумент следует признать основательным. Однако само его признание, в свою очередь, подразумевает модель социальной реальности как риторического агона, где, во-первых, высказывания и тексты служат отражением другой реальности и одновременно местом общественной борьбы, а во-вторых, сами релятивисты могут открывать и адекватно познавать сложную связь речи и социальных конфликтов, обнажая консерватизм других коллег или продвигая повестку освобождения. Именно на это неотрефлексированное противоречие, центральное для постмодернизма, мы и хотели бы указать.

С точки зрения релятивистов, говорящих о неуловимой многозначности текстов, в устроенном таким образом мире *на самом деле* и вполне однозначно существуют отношения господства, неравенства и торговли, происходят столкновения групп, соперничающих за право определять норму[14]. Провозглашаемая призрачность реальности и письма, в которой текст остается без референта, а реальность дана лишь как текст, на наш вкус, слишком быстро уступает место безусловному утверждению идеологической борьбы в обществе разных и неравных. Очевидно, что для постмодернистских авторов общественная риторическая борьба и подлежащий под ней поздний капитализм — это рабочая модель социальной реальности, которая разделяется и полагается большинством мыслителей, о которых мы упомянули выше. Однако сама эта модель претендует на статус адекватной интерпретации социальной реальности.

Как мы помним, Т. Кун считал конкурирующие за признание и ресурсы сообщества ученых, разделяющих общую парадигму, вполне адекватной ин-

---

14 Помимо аргументов Куна, о которых мы кратко сказали выше, мы также можем отметить более позднюю версию социологии знания П. Бурдье, направленную на анализ академического пространства в современной ему Франции [Bourdieu 1976]. Ученые играют в игру, где «научная истина» — главная ставка, которая определяется исключительно признанием коллег, а реальной целью служит увеличение социального капитала. Объективная истина и ее критерии не вполне исчезают из поля науки, но на первое место выходит социальное измерение дискурса, претендующего на статус нормы в ученом сообществе. Однако сами эти процессы формирования знания в конкурентном академическом поле социолог может вполне доказательно изучать, что позволяет говорить об общей повестке языкового реализма.

терпретацией социальной реальности [Kuhn 1962], однако делать из этого вывод, что любые интерпретации «свободно парят» без связи с действительностью и являются лишь «инструментами господства» — это проявление поспешного «заглатывания» аргументов без их усвоения. Усваивая эти аргументы, можно признать, что язык служит, с одной стороны, средством социальной борьбы и кооперации, а с другой — ограниченным, но адекватным инструментом познания.

На достаточно высоком уровне абстракции Кембриджская школа (или, скажем, итальянская микроистория) близки постмодернистам в критике позитивизма или наивного платонизма в истории идей. Другим общим прозаическим фундаментом для реалистов и части постмодернистов (впрочем, не осознающих, что говорят прозой) служит понимание того, что риторические стратегии и тексты, по сути, и являются важнейшим слоем социальной реальности. При этом теоретики-релятивисты по факту считают, что тексты отражают иную действительность (политико-экономическую), а реалисты как раз подчеркивают автономию культурного поля.

Ошибка радикальных постмодернистов заключается в том, что они используют открытие языка как инструмента социального действия и господства в качестве аргумента против возможности объективного научного поиска. Однако на деле они разделяют веру в адекватность действительности самой модели общественных отношений как полемики или идеологической борьбы языковыми средствами. Допускаемое многими ведущими постмодернистами отождествление позднего капитализма (как мира массовых и коммерциализированных коммуникаций) с релятивизмом и постмодернистским отказом от установки на «реальность» и истину само содержит очень сильное утверждение. Для людей, считающих любые устойчивые значение текстов и событий прошлого иллюзорными, уверенность в господстве капитализма должна казаться избыточно реалистичной. Откуда известно, что бесконечную сложность общественных явлений и текстов можно адекватно описать как поздний капитализм?

Кажется, постмодернистам следует более систематически осмыслить обе части своих убеждений. Представления о «чистом», незаинтересованном поиске истины, о полной нейтральности научного или экспертного знания были убедительно опровергнуты в ходе интенсивной полемики XX века. Более оправданный реалистический вывод из вышеописанного набора релятивистских аргументов в применении к интеллектуальной истории состоит в выборе языка как специфического предмета изучения, который нужно анализировать в его собственной логике — полемического обмена высказываниями в соревновании за признание, нормы и общую картину мира.

Резюмируем наши тезисы в пользу языкового реализма. Во-первых, интеллектуальная деятельность вплетена в ткань социальных отношений и, безусловно, оказывается инструментом борьбы, кооперации и в широком смысле полем социального действия par excellence. В этом качестве полемические высказывания (а любые высказывания и тексты суть часть общественной дискуссии) составляют самостоятельный порядок, который не сводится без остатка к игре каких-то иных факторов. Во-вторых, сами «идеи» не представляются ни адекватным отражением реальности, ни выражением «сущностей», лежащих за пределами физического или социального мира. Историк не способен установить сущность *идеи* «нации» или «государства», хотя многие современные

исследователи в России и в мире, вероятно, все еще мыслят внутри этой парадигмы. Вместо обращения к абстрактным «идеям» историку скорее следует интерпретировать «высказывания» в их специфическом языковом и социальном контексте, что на практике указывает на необходимость реконструкции локально заданного репертуара смыслов и значений, на важность конкретных заимствований и аллюзий (не случайно филология и интеллектуальная история имеют много общего). Релятивистская критика языка и историографии дает методологический инструмент историку-реалисту. Наконец, в-третьих, историки по умолчанию мыслят свою науку, находясь внутри предзаданной культурной ситуацией воображаемой структуры времени (прогрессистской, апокалиптической, контингентной и др.), которую полезно осознавать[15].

Стратегия языкового реализма позволяет конструировать более или менее убедительные модели описания, с помощью которых можно воссоздавать *значения* сделанных ранее высказываний в исходном историко-социальном контексте, равно как и изучать позднейшую *рецепцию* этих высказываний в конкретный исторический период. Тексты принципиально открыты множественности истолкований в будущем, однако потенциальная открытость новым интерпретациям не означает, что у текста не было оригинального и более узкого контекста. Вернемся к тезису К. Гирца о подмигивании в ответ на подмигивание, который кажется почти неотличимым от «призраков призрака» Деррида или от утверждений Р. Барта. В отличие от постмодернистов, подчеркивающих творческий и игровой характер своих трактовок, Гирц ближе реалистической линии. Он по умолчанию исходил из того, что его анализ курьезных случаев взаимодействия людей разных культур в Марокко или петушиных боев на Бали адекватен сложному устройству самого предмета исследования. Указывая на важность воображения и fictio для антрополога, стремящегося освоить и разъяснить «символические действия» людей иных культур, он настаивал на научности и правдоподобии собственных гипотез [Geertz 1973: 16—30]. Рорти, который считал себя релятивистом, ратовал за контекстно-ориентированную историю философии как наилучшую стратегию изучения истории мысли [Rorty 1984]. Следовательно, «реальность» мысли (точнее, высказываний) подлежит методической реконструкции.

Аргумент 2: Историзм и/или «фиктивность настоящего»?

Значимым этапом в теории историографии последних двадцати лет стало большое внимание к тому, как мы сегодня представляем структуру или режимы исторического времени. Речь идет о так называемом темпоральном повороте в гуманитарных науках (см., например: [Олейников 2021]). Историк, погруженный в общественный контекст, стремится определить исходную точку, из которой он смотрит на прошлое и намечает границу между прошедшим и настоящим. В знаменитой реплике Л. Хант, тогда президента Американской ассоциации историков, презентизм предстает как двойная опасность для историографии — он скрывает имплицитное и незаслуженное чувство морального превосходства над прошлым и мешает понять инаковость прошлого

15 Этот аргумент мы последовательно обсуждаем в следующем разделе статьи, посвященном историзму.

в его собственных терминах [Hunt 2002]. Классическая работа Ф. Артога о презентизме, вышедшая в 2003 году, во многом резюмировала накопленный опыт и задала новую понятийную сетку для последующей дискуссии [Hartog 2003]. Книга Артога демонстрирует, что речь идет, возможно, не просто об опасности для историографии, но о совершенно новом интеллектуальном вызове. Обсуждение вопроса о времени стимулировало появление аргументов в пользу признания «множественной темпоральности» [Jordheim 2012]. В свою очередь, неотрефлексированная ранее фикция единства «настоящего» стала объектом продуктивной критики [Osborne 2013].

В рамках каждой культурной общности в данный момент времени мы обнаруживаем сосуществование нескольких пластов или слоев темпоральности, то есть качественно различных суждений о характере настоящего момента и об общей логике исторического процесса. Скажем, в начале XXI века С. Пинкер предлагает аргументы в пользу прогрессистской модели истории, Артог фиксирует гегемонию презентизма, сохраняют свое влияние циклические нарративы, а ряд современных российских и западных философов в диапазоне от А. Бадью до А. Дугина актуализируют апокалиптические ожидания. На уровне массовой культуры феномен исторической памяти общественных групп, многие из которых осознают себя через верность знаковым событиям прошлого, создают многоцветие «широкого настоящего времени» [Gumbrecht 2014]. В целом мы разделяем *критические* аргументы презентистской реконструкции настоящего, но хотим оспорить ее методологические импликации.

Признание наслоения разных представлений о времени влияет на историцистскую установку исследователей и ставит вопрос: можно ли проводить символическую границу между прошлым и настоящим, если первое столь неоднородно? В недавнем номере журнала «Логос» опубликован репрезентативный блок материалов о «темпоральном повороте», в котором современные теоретики истории развивают тему множественности настоящего. В обстоятельной и фундированной статье один из крупнейших специалистов по темпоральности Б. Бевернаж заявляет, что следствием структурного расщепления современности выступает невозможность провести грань между прошлым и настоящим, поскольку нельзя утверждать инаковость или «прошедшесть» прошлого без исчерпывающего исследования многослойной современности [Бевернаж 2021]. Опираясь на критику настоящего со стороны П. Осборна [Osborne 2013], Бевернаж пишет о перформативном характере границы между современностью и прошлым:

> Называя современное фикцией, Осборн не хочет сказать, что оно не имеет отношения к реальности. Скорее, он имеет в виду, что современное отчасти возникает в результате «продуктивного воображения» и является очень даже реальным, потому что функционирует как перформативная проекция, которая «создает настоящее» или «социально актуализирует» несуществующую в действительности взаимосвязь проживаемых времен [Бевернаж 2021: 82].

Согласно Бевернажу, профессиональные историки часто «производят прошедшесть» как способ дискредитировать определенные типы поведения с высоты своей социальной позиции. Скажем, утверждение об архаичности чужих культурных практик скрывает перформативную попытку закрепить более сильную позицию говорящего в символической иерархии как представителя торжествующей современности.

Вместе с тем утверждение, что рабство в США — это феномен прошлого и нет нужды критиковать Аристотеля за апологию рабовладения[16], по мнению Бевернажа, направлено против тех, кто указывает на сохраняющееся наследие расового неравенства в отношении афроамериканцев, и тех, кто призывает к тому, чтобы проследить преемственность современных форм угнетения в прошлом [Там же: 85]. Долгосрочные процессы деколонизации, секуляризации или окончание апартеида (всегда) рано объявлять явлением прошедшей эпохи, ибо мы никогда вполне не изучим многообразие многослойного настоящего. Бевернаж утверждает, что историзм не следует отбрасывать, но скорее оживить и обновить, осознав его скрытые идеологические импликации [Там же: 87]. Мы согласны с критикой идеологического производства исторической дистанции, где поспешно выстраивается иерархия современного и анахронистического.

Наши возражения Бевернажу можно свести к нескольким соображениям. Мы легко и всюду обнаружим сходную расщепленную структуру представлений о времени, и сегодня, и в предшествующее время. Это не отменяет возможности исторического изменения режимов темпоральности, или, точнее, специфической конфигурации их разных «слоев», а значит, из данных открытий вовсе не следует «презентизм» как отказ от границы между прошлым и настоящим[17].

Актуальный историзм как методологическая установка близок базовой операции антропологии и всех гуманитарных наук, нацеленных на понимание. Речь идет о принципиальном допущении инаковости и множественности историко-культурных контекстов. Антрополог по умолчанию делает подобное допущение границы по отношению к своим современникам, а историк — к людям и сообществам прошлого. Осознание множественности сообществ и контекстов настоящего, по сути, только усиливает необходимость отдать себе отчет в дистанции между людьми, поведение которых исследователь хочет истолковать, и самим исследователем. Прошедшесть прошлого усиливается несовременностью настоящего внутри различных социальных групп. Историк стремится осознать собственные представления и предрассудки, а также личный опыт переживания темпоральности. Отменяет ли все сказанное историцистское дистанцирование и отстранение от прошлого? Нам кажется, напротив, — лишь делает его необходимым как условие понимания себя и других.

Аргумент 3: Реполитизация истории: альтернативный путь

Наш третий аргумент связан с вопросом о желательности реполитизации (или, напротив, актуальности деполитизации) историографии с учетом уже сфор-

16 Как это делает в 2002 году Л. Хант [Hunt 2002], когда она переворачивает идеологическое острие аргумента, который позднее использует Бевернаж, и указывает, что, обвиняя Юма в расизме или Аристотеля в рабовладении, мы оказываемся в той же логике исторического превосходства, считая себя вправе осуждать невежественных жителей прошлого.

17 Так, Покок показывает сосуществование нескольких линий анти-Просвещения в век Просвещения [Pocock 1999], что не отменяет того факта, что режим темпоральности рубежа XVIII—XIX веков и начала XXI века могут иметь существенные различия с точки зрения композиции слоев историософских представлений и образов переживания времени, которые историки смогут реконструировать для каждого из этих периодов.

мулированной выше позиции. Мы хотели бы использовать в качестве точки отсчета систематический и тонкий анализ дискуссии о необходимости реполитизации исторического знания в работах одного из главных отечественных теоретиков историографии А.А. Олейникова [Олейников 2021]. Российский философ прямо увязывает два феномена — темпоральный поворот, о котором мы говорили выше, и осознание политической значимости ремесла историков в публичном пространстве.

Олейников убедительно показывает, что относительно новое представление об истории как контингентном множестве различных тенденций, укладов и решений, в сочетании с памятью об альтернативах господствующему порядку, служит легитимацией для политической «утопии», для поиска новых путей в политике. Такой тип реполитизации истории как множества альтернатив для настоящего и будущего он считает наиболее адекватным. Напротив, телеологические версии исторического нарратива, сложившиеся в XIX веке, имплицитно содержат политическое утверждение «необратимости прошлого», которое привело к «благополучному настоящему», которое, в свою очередь, желательно сохранить навсегда. Соглашаясь с поздним Х. Уайтом, Олейников утверждает, что основанная на телеологическом нарративе историческая дисциплина защищает консервативный реализм как тип политического мышления и инструмент в руках политиков и чиновников в национальном государстве [Там же: 12]. При этом сам Уайт предлагал иной модус реполитизации истории — через возрождение ее моральной и воспитательной функции и поэтизацию образцов добродетельного поведения (magistra vitae). Развивая аргументы М. де Серто и М. Бивира, Олейников утверждает, напротив, возможность радикального историзма, которая позволяет в принципе устранить предположение об исторической закономерности происхождения настоящего из прошлого и тем самым указать на множество политических альтернатив [Там же: 15—25].

Различение двух модусов реполитизации и морального подхода Уайта, а также демонстрация консервативного заряда «политики интерпретации» истории как необратимого и закономерного ряда событий представляются нам вполне разумными, но недостаточными, чтобы стать общей нормативной рамкой историографии как дисциплины. Мы считаем, что историк: а) *может* по мере сил стремиться осознавать политические импликации своих суждений и своего исторического воображения, и для этого аргументы Уайта и Олейникова дают прекрасный ориентир; б) *способен* явно артикулировать или бессознательно проецировать свои политические предпочтения и ценностные интересы в диапазоне от консерватизма до утопии [Атнашев, Велижев 2020], предлагать новые политико-философские концепции, опираясь на раскопки старых и уже забытых теорий [Skinner 1998], или же поддерживать память о примерах добродетельного и недостойного поведения [White 2014]. Начало специальной военной операции в феврале 2022 года подтверждает, что потребность в моральной позиции историков и гуманитариев не уменьшается со временем, как могло бы показаться из наивной прогрессистской перспективы. Однако открытая политическая борьба на поле истории или вмененный выбор одного из модусов политизации едва ли способствуют свободному поиску лучшей версии описания прошлого.

Реполитизация истории в любом из двух модусов, а тем более в форме политики памяти, оказывается обоюдоострым оружием. Границы для битвы пуб-

личных интерпретаций совместного прошлого будут задавать лишь разные формы цензуры и санкций против «еретиков». Сторонники и противники капитализма, прогресса, контингентности, социализма, традиции или неизбежности войны смогут черпать свои аргументы в политизированной истории. Если идеологические выводы из используемых методов или получаемых результатов исследования о прошлом становятся важнее, чем возможность научно их оспаривать, то где гарантия, что историю не политизируют и не монополизируют люди, чьи мнения нам чужды или прямо враждебны? Дабы не растворять настежь ящик Пандоры, мы хотели бы дополнить призыв Олейникова к осознанию двух метамодусов реполитизации истории двумя соображениями.

Во-первых, важно оставить за ученым право не иметь четкой политической позиции, которая бы задавала выбор тем и тем более предопределяла бы его суждения об изучаемых вопросах[18]. Во-вторых, мы считаем важным осознавать, обращать внимание на возможные политические импликации или *политическую валентность* собственных исторических штудий, даже если сам ученый не ставит себе явные идеологические цели (см., например: [Велижев 2022]). Мы хотели бы предложить эскизную типологию таких непреднамеренных политических следствий штудий прошлого.

На *макро*уровне исторической абстракции мы можем говорить о политической валентности режимов историчности, которые включают в себя как субъективные модели переживания времени, так и макронарративы о ходе развития человечества или отдельных сообществ. Скажем, апокалиптическое, контингентное или прогрессистское видение истории будет иметь различные политические следствия [Олейников 2021]. Из вышесказанного, однако, не следует, что невозможно добиваться *научного прогресса* в аккумуляции знаний о макротенденциях исторической эволюции, таких как модернизация, бюрократизация, отношение центра и периферии или рост эмоционального самоконтроля[19].

На втором, *промежуточном* уровне исследования отдельных явлений, например в рамках истории чтения, эволюции политической философии либерализма или истории повседневности, мы можем говорить о прямой политической валентности полученных результатов. Суждения о «целостности» какого-либо периода или отдельной социальной общности (класса, слоя, нации, региона, идентичности) являются результатом не вполне обосновываемого выбора, скорее чем аргументации и отсылки к фактам [Jenkins 2009: 8]. Выводы историка либерализма о «либерализме», вероятно, не оставят равнодушным ни либерала, ни марксиста, ни либертарианца. Тем не менее задача написания истории либерализма как политической философии и как идеологии не является бессмысленной и может быть решена с большей или меньшей

18 Мы придерживаемся сделанного М. Вебером классического различения исследовательского интереса (который определяется битвой богов в душе ученого) и полученных результатов (которые должны формироваться научным и беспристрастным образом). Однако мы можем констатировать, что существует множество исследователей, не имеющих явной идеологической повестки.

19 Как показывает Н.С. Розов, успехи исторической макросоциологии дают основания для сдержанного оптимизма [Розов 2011]. Однако важно не смешивать такие результаты с историософскими моделями, которые могут быть гомологически им близки.

убедительностью на основе эвристической модели и фактов (см., например: [Freeden 2015]).

Наконец, мы можем обратиться к вопросу о политической валентности разысканий в отношении отдельного случая, предполагающего реконструкцию локальной констелляции фактов. На уровне анализа *микро*кейсов возможны как прямые политические импликации, так и подчеркнутый нейтралитет. Скажем, изучение жизни одной коммуны способно показать неустойчивость такой формы общежития и быть использовано как аргумент против анархизма. Одновременно историк с анархистскими убеждениями может найти в этом пусть краткосрочном опыте практическое воплощение глубинной потребности людей в самоуправлении.

Впрочем, на всех трех уровнях важно, что для историка (в отличие от философа, идеолога или политика) предметом интерпретации по умолчанию остается прошлое или просто иное, которое сопротивляется предпочтениям ученого и содержит в себе нечто новое в сравнении с его ожиданиями и опытом. Собственное настоящее и контекст историка работает как фон для исследуемой фигуры прошедшего, который полезно осознавать. Политическая борьба в настоящем не должна *заменять* споры о том, как лучше понимать историю в диапазоне от макронарративов до суждений об отдельных фактах.

Post scriptum: Аргумент Хейдена Уайта

Завершим наш анализ описанием и интерпретацией отдельного исторического факта. В 2004 году один из соавторов статьи имел редкий шанс лично задать вопрос Хейдену Уайту — в автобусе, ехавшем вниз по дороге из Фьезоле, где расположен Европейский университет (European University Institute). Вопрос звучал приблизительно так: считает ли Уайт невозможным изучение того, как «на самом деле» обстояли дела в прошлом? Ответ известного американского иконокласта неожиданно снял камень сомнений с души молодого историка — Уайт признал, что «реальность» существует и мы способны ее реконструировать.

В более поздних текстах Уайт более четко обозначил свою позицию о возможностях историографии свидетельствовать о подлинности прошлого. Мы можем исследовать обстоятельства прошлого, но достоверные факты оказываются наименее важным или наименее *практическим* из того, что должен делать хороший историк [White 2014]. Моральные уроки и отказ от встроенного в дисциплину консервативного реализма историков, с его точки зрения, гораздо важнее, чем, пусть и разумная, апелляция к фактам. Более того, Уайт указывал, что даже писатель или художница, создающие произведение о Холокосте или о Первой мировой войне, не просто воображают и представляют прошлое с помощью литературного языка (фикции), но и обращаются к тому самому событию как референту [Ibid.: 25—40]. Вместо отказа от ссылки на подлинные события, как порой случается у постмодернистов, Уайт скорее показывал, что история и литература образуют единый континуум, а зона их смешения важнее двух крайних полюсов. Вопреки Уайту и Олейникову, мы считаем важным допустить свободу историка не быть в плену у политических валентностей своих штудий на любом из трех условных уровней анализа и сохранять

научную автономию суждений через полемику, которая *не сводится* к указанию на одобряемые или неодобряемые нами политические предпочтения оппонента.

Как кажется, дисциплинирующее воздействие фактов языка и событий на историческое воображение и моральные чувства историков — чрезвычайно важное для всех нас обстоятельство. Языковой реализм утверждает речь как первичную социальную материю, о которой можно строить и проверять наши предположения. Мы способны выдвигать осмысленные гипотезы на уровне отдельных фактов, на уровне сообществ, воображаемых и создаваемых людьми с помощью языка, а также на уровне макронарративов и хронотопа истории в целом. Признание неизбежной политической валентности историографического повествования на каждом из трех уровней не должно означать отказа от автономии научного поиска — от идеалистической установки на интеллектуальную честность в обсуждении наилучшей интерпретации языковых фактов. Без признания этой автономии наши дискуссии и аргументы о высказываниях других людей теряют исходный смысл.

Библиография / References

[Атнашев, Велижев 2018] — Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

(Kembridzhskaya shkola: teoriya i praktika intellektual'noy istorii / Comp. by T. Atnashev, M. Velizhev. Moscow, 2018.)

[Атнашев, Велижев 2020] — *Атнашев Т.М., Велижев М.Б.* Первооткрыватель республиканской традиции, или Как заниматься политической философией с помощью истории политических языков? // Покок Дж.Г.А. Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 821—850.

(*Atnashev T.M., Velizhev M.B.* Pervootkryvatel' respublikanskoy traditsii, ili Kak zanimat'sya politicheskoy filosofiey s pomoshch'yu istorii politicheskikh yazykov? // Pokok J.G.A. Moment Makiavelli: Politicheskaya mysl' Florentsii i atlanticheskaya respublikanskaya traditsiya. Moscow, 2020. P. 821—850.)

[Бевернаж 2021] — *Бевернаж Б.* «Прошедшесть прошлого»: некоторые размышления о политике историзации и кризисе истористского прошлого / Пер. с англ. А. Егоровой // Логос. Т. 31. 2021. № 4. С. 65—94.

(*Bevernage B.* The Pastness of the Past?: Some Reflections on the Politics of Historization and the Crisis of Historicist Pastness // Logos. 2021. Vol. 31. № 4. P. 65—94. — In Russ.)

[Велижев 2022] — *Велижев М.Б.* Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

(*Velizhev M.B.* Chaadaevskoe delo. Ideologiya, ritorika i gosudarstvennaya vlast' v nikolaevskoy Rossii. Moscow, 2022.)

[Гинзбург 2004] — *Гинзбург К.* Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история. Сборник статей / Пер. с итал. С.Л. Козлова. М.: Новое издательство, 2004.

(*Ginzburg K.* Miti, emblemi, spie: morfologia e storia. Moscow, 2004. — In Russ.)

[Деррида 2000] — *Деррида Ж.* Письмо и различие / Пер. с фр. В. Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2000.

(*Derrida J.* L'écriture et la différence. Saint Petersburg, 2000. — In Russ.)

[Деррида 2006] — *Деррида Ж.* Призраки Маркса / Пер. с фр. Б. Скуратова под ред. Д. Новикова. М.: Левая карта, 2006.

(*Derrida J.* Spectres de Marx. Moscow, 2006. — In Russ.)

[Зенкин 2011] — *Зенкин С.Н.* Ложное сознание: Теория, история, эстетика // Интеллектуальный язык эпохи: История

идей, история слов. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 22—38.
(*Zenkin S.N.* Lozhnoe soznanie: Teoriya, istoriya, estetika // Intellektual'nyy yazyk epokhi: Istoriya idey, istoriya slov. Moscow, 2011. P. 22—38.)
[Олейников 2021] — *Олейников А.А.* Время истории // Логос. 2021. Т. 143. № 4. С. 5—30.
(*Olejnikov A.A.* Vremya istorii // Logos. 2021. Vol. 143. № 4. P. 5—30.)
[Покок 2018] — *Покок Дж.Г.А.* The State of the Art. (Введение к книге «Добродетель, торговля и история») // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 142—188.
(*Pokok J.G.A.* The State of the Art // Kembridzhskaya shkola: teoriya i praktika intellektual'noy istorii / Comp. by T. Atnashev, M. Velizhev. Moscow, 2018. P. 142—188. — In Russ.)
[Розов 2011] — *Розов Н.С.* Возрождение номотетики: основания и перспективы исторической макросоциологии // Способы постижения прошлого. Методология и теория исторической науки / Отв. ред. М.А. Кукарцева. М.: Канон+, 2011. С. 251—277.
(*Rozov N.S.* Vozrozhdenie nomotetiki: osnovaniya i perspektivy istoricheskoy makrosotsiologii // Sposoby postizheniya proshlogo. Metodologiya i teoriya istoricheskoy nauki / Ed. by M.A. Kukarcev. Moscow, 2011. P. 251—277.)
[Скиннер 2018] — *Скиннер К.* Значение и понимание в истории идей // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 53—122.
(*Skinner Q.* Meaning and Understanding in the History of Ideas // Kembridzhskaya shkola: teoriya i praktika intellektual'noy istorii / Comp. by T. Atnashev, M. Velizhev. Moscow, 2018. P. 53—122. — In Russ.)
[Уайт 2002] — *Уайт Х.* Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитоновой. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002.
(*White H.* Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe. Ekaterinburg, 2002. — In Russ.)
[Шартье 2004] — *Шартье Р.* Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? // Новое литературное обозрение. 2004. № 66. С. 17—47.
(*Chartier R.* Histoire intellectuelle et histoire des mentalités: trajectoires et questions // Novoe literaturnoe obozrenie. 2004. № 66. P. 17—47. — In Russ.)
[Ankersmith 1989] — *Ankersmith F.* Historiography and Postmodernism // History and Theory. 1989. Vol. 28. P. 137—153.
[Barthes 1968] — *Barthes R.* La mort de l'auteur // Mantéia. 1968. № 5. P. 61—67.
[Baudrillard 1981] — *Baudrillard J.* Simulacres et Simulation. Paris: Galilée, 1981.
[Bourdieu 1976] — *Bourdieu P.* Le champ scientifique // Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 1976. Vol. 2. № 2—3. P. 88—104.
[Collini 2016] — *Collini S.* The Identity of Intellectual History // A Companion to Intellectual History / Ed. by R. Whatmore and B. Young. Oxford: Wiley Blackwell, 2016. P. 7—18.
[Derrida 1967a] — *Derrida J.* De la grammatologie. Paris: Minuit, 1967.
[Derrida 1967b] — *Derrida J.* L'écriture et la différence. Paris: Seuil, 1967.
[Dunn 1969] — *Dunn J.* The Political Thought of John Locke. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
[Foucault 1967] — *Foucault M.* Sur l'archéologie des sciences. Réponse au Cercle d'épistémologie // Cahiers pour l'analyse. 1968. № 9. P. 9—40.
[Foucault 1969] — *Foucault M.* Qu'est-ce qu'un auteur? // Bulletin de la Société française de philosophie. 1969. Juillet — septembre. P. 73—104.
[Foucault 1971] — *Foucault M.* L'ordre du discours. Paris: Gallimard, 1971.
[Freeden 2015] — *Freeden M.* Liberalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2015.
[Geertz 1973] — *Geertz C.* The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.
[Gumbrecht 2014] — *Gumbrecht U.* Our Broad Present: Time and Contemporary Culture. New York: Columbia University Press, 2014.
[Hartog 2003] — *Hartog F.* Régimes d 'historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Le Seuil, 2003.
[Hunt 2002] — *Hunt L.* Against Presentism // https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-2002/against-presentism (accessed: 23.10.2022).
[Jenkins 2009] — *Jenkins K.* At the Limits of History. Essays on Theory and Practice. London; New York: Routledge, 2009.
[Jeppesen et al. 2013] — Intellectual History: Five Questions / Ed. by M.H. Jeppesen, Fr. Stjernfelt and M. Thorup. Copenhagen: Automatic Press, 2013.
[Jameson 1991] — *Jameson F.* Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991.
[Jordheim 2012] — *Jordheim H.* Against Periodization: Koselleck's Theory of Multiple Tem-

poralities // History and Theory. 2012. № 2. P. 151—171.

[Kuhn 1962] — *Kuhn T.* The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

[LaCapra 1980] — *LaCapra D.* Rethinking Intellectual History and Reading Texts // History and Theory. 1980. № 3. P. 245—276.

[LaCapra 1983] — *LaCapra D.* Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language. Cornell: Cornell University Press, 1983.

[LaCapra 1992] — *LaCapra D.* Intellectual History and its Way // The American Historical Review. 1992. № 4. P. 425—439.

[Lyotard 1979] — *J.-F. Lyotard* La Condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris: Minuit, 1979.

[Osborne 2013] — *Osborne P.* Global Modernity and the Contemporary: Two Categories of the Philosophy of Historical Time // Breaking Up Time: Negotiating the Borders Between Present, Past and Future / Ed. by C. Lorenz, B. Bevernage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. P. 69—84.

[Pettit 1997] — *Pettit Ph.* Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press, 1997.

[Pocock 1975] — *Pocock J.G.A.* The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press, 1975.

[Pocock 1999] — *Pocock J.G.A.* Barbarism and Religion. Vol. 1: The Enlightenments of Edward Gibbon, 1737—1794. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[Rorty 1979] — *Rorty R.* Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press, 1979.

[Rorty 1984] — *Rorty R.* The Historiography of Philosophy: Four Genres // Philosophy in History / Ed. by R. Rorty, J.B. Schneewind and Q. Skinner. Cambridge: Cambridge University Press. 1984.

[Rorty 1991] — *Rorty R.* Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers I. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

[Skinner 1998] — *Skinner Q.* Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[Sweet 2022] — *Sweet J.* Is History History? Identity Politics and Teleologies of the Present Perspectives on History // https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/september-2022/is-history-history-identity-politics-and-teleologies-of-the-present (accessed: 22.10.2022).

[Whatmore 2016] — *Whatmore R.* What is Intellectual History? Cambridge; Malden: Polity Press, 2016.

[Whatmore, Young 2016] — A Companion to Intellectual History / Ed. by R. Whatmore and B. Young. Oxford: Wiley Blackwell, 2016.

[White 1973] — *White H.* Metahistory: The Historical Imagination in 19th-century Europe. Michigan: Johns Hopkins University Press, 1973.

[White 2005] — *White H.* Historical fiction, fictional history, and historical reality // Rethinking History. 2005. № 9. P. 147—157.

[White 2014] — *White H.* The Practical Past. Evanston: Northwestern University Press, 2014.

Советский модернизм: между теорией и художественной практикой

Надежда Плунгян

Советский модернизм 1920—1950-х:

опыт научно-художественного осмысления проблемы в эпоху 2010-х годов

Nadia Plungian

Soviet Modernism of the 1920s—1950s: The Experience of the Scientific and Artistic Rethinking of the Problem in the 2010s

Надежда Плунгян (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории по исследованиям советского изобразительного искусства и архитектуры; независимый куратор; кандидат искусствоведения) nadia.plu1@yandex.ru.

Ключевые слова: советский модернизм, постсоветская наука, искусствознание, история науки, неомодернизм, экспериментальное кураторство, музейное строительство, авангард, соцреализм, символизм, миллениалы

УДК: 7+75+7.03+7.011.22+114+7.067
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_302

Статья посвящена деятельности ряда независимых ассоциаций московских историков искусства, философов и художников поколения миллениалов, которые работали в 2007—2022 годах над переосмыслением и новой структуризацией художественного архива советского модернизма («Новая Москва», Центр авангарда на Шаболовке, «Синтез И Вопрос»). Результатом работы стали циклы открытых научных семинаров, монографии, а также издания и выставочные проекты нескольких типов, созданные на стыке искусства и искусствознания. Одним из лидеров этого процесса выступила историк архитектуры и куратор Александра Селиванова.

Nadia Plungian (PhD; Independent Curator; Senior Researcher, The Research and Educational Laboratory for the Study of Soviet Fine Arts and Architecture, HSE University) nadia.plu1@yandex.ru.

Key words: Soviet modernism, post-Soviet research, art history, history of science, neomodernism, experimental curatorship, museum building, avant-garde, symbolism, Socialist realism, millennials

UDC: 7+75+7.03+7.011.22+114+7.067
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_302

This article is about the activities of a number of independent associations of Moscow art historians, philosophers, and artists of the millennial generation who worked in 2007—2022 on the rethinking and restructuring of the art archive of Soviet modernism (“New Moscow”, Avant-Garde Center on Shabolovka, “Synthesis And Question”). This work resulted in cycles of open academic seminars and monographs, as well as publications and exhibition projects of several types created at the intersection of art and art history. One of the leaders of this process was the architectural historian and curator Aleksandra Selivanova.

I

Отличительной чертой исследований советского художественного архива 1920—1950-х годов в постсоветской и российской науке был неодинаковый темп развития смежных дисциплин — искусствознания, литературоведения, истории архитектуры, истории музыки, истории театра. Разница темпа определялась не только различием научных сообществ и их внутренней динамикой, но и, что более важно, доступностью архива, обусловленной самим типом исследуемого материала (тексты распространялись в разы быстрее, чем произведения живописи и графики).

Темп изучения советского изобразительного искусства середины столетия замедлялся несколькими факторами. Первый— необходимость физического доступа исследователей к наследиям, коллекциям и государственным музейным фондам и архивам, которые далеко не всегда готовы были открывать свои двери. Второй — отсутствие в открытом доступе единого общемузейного свода-каталога произведений[1] и сводного архива документации выставок[2] советского периода. В отличие от поэзии и прозы, неподцензурная живопись 1930-х не курсировала в самиздате, крайне фрагментарно исследовалась западными специалистами, так и не вошла в программы российских вузов «на общих основаниях»; ее аудитория долго ограничивалась посетителями частных коллекций и спецхранов. В «серой зоне» искусствознания к середине 2000-х осталось и значительное число художников 1920—1950-х годов, по разным причинам работавших в стол. Их нетронутые наследия все еще хранились в семьях, никогда не экспонировались целиком и в большинстве своем не имели научного описания.

К 2010-м годам в России действовали три крупных искусствоведческих школы с совершенно разной дистанцией по отношению к раннесоветскому наследию. За *советскими структуралистами*, создателями системных описаний художественных течений XX века (Г. Стернин, В. Сарабьянов, И. Голомшток, Ю. Герчук, Е. Водонос и др.), следовали вступившие с ними в разностороннюю полемику *постмодернисты первого поколения* (Б. Гройс, А. Морозов, М. Золотоносов, А. Якимович и др.). Преемниками тех и других выступили исследователи *второй волны постмодернизма* (А. Сарабьянов, М. Герман, Е. Деготь, А. Ковалев, Е. Добренко и др.), чьей задачей стало развитие и уточнение обеих традиций, но уже не разработка оригинальных авторских систем. Эта третья и самая многочисленная школа сформировала научное плато 2000—2010-х, когда активный поиск новых методологий, который имел место в 1970—1990-х годах, сменился консервацией сделанного, а затем постепенной стагнацией научной жизни.

---

1 Первая версия Госкаталога Музейного фонда РФ — федеральной государственной электронной системы — была создана в 2015 году, когда для публичного доступа был открыт сайт goskatalog.ru. При этом понятие государственного каталога Музейного фонда РФ как учетного документа было введено в 1996 году (54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»).

2 Роль такого сводного архива по московским выставкам по сей день выполняет созданный А. Ильиным в 2004 году виртуальный мемориальный музей «Городок художников на Масловке» (см. сайт художников Верхней Масловки и НП «Национальное художественное наследие «ИЗОФОНД»: https://www.maslovka.org/ (дата обращения: 10.10.2022)).

Не случайно символическими вехами десятилетия стали известные коллективные труды. Эпоха открылась сборником статей «Соцреалистический канон» под редакцией Х. Гюнтера и Е. Добренко (2000) и окончательно завершилась четырехтомной «Энциклопедией русского авангарда» под редакцией А. Сарабьянова и В. Ракитина (2013).

Формально противостоявшие друг другу традиции советского структурализма и постмодерна были едины в главном — они рассматривали советское искусство как неотъемлемую часть социалистического проекта. В музейных экспозициях тех лет самые разные стилистические поиски 1930-х неизменно предъявлялись как маргинальные по отношению к «тоталитарному искусству» — в русле концепций «отпадения» [Морозов 1995: 143], «тихого искусства» [Герчук 1971: 15], «альтернативного пути» [Русакова 2001: 15][3]. Постмодернистская наука описывала художественный процесс через политические метафоры и проводила идеи о репрессивном потенциале русского авангарда[4] или о единстве авангарда и соцреализма[5], находила в искусстве доказательства провала советской политической системы[6]. Краеугольным камнем обоих подходов оставалось, кроме того, мышление бинарными оппозициями: представление о «первостепенных» и «третьестепенных» памятниках, «Культуре Один» и «Культуре Два» [Паперный 1996], образ «подлинного» европейского модернизма, недостижимого в СССР [Герман 2003] и др. Как результат, ценность и без того малоизученных памятников постоянно искусственно понижалась [Дёготь 2000: 131]. На протяжении нескольких десятилетий советские живописные школы 1930—1940-х описывались как второстепенное, провинциальное явление в тени западного искусства или сталинского парадного стиля[7].

Условия, в которых формировалось мое научное поколение — российские миллениалы, начинавшие свой путь в 2000—2010-х годах — можно обозначить как методологический и институциональный кризис постсоветского искусствознания. Возможности фундаментальной науки были ослаблены. Научные институты, призванные готовить специалистов по теории и истории искусства (в этом ряду московские НИИ РАХ, НИИТИАГ и ГИИ[8]) теперь не располагали издательскими мощностями и не стремились открывать отдельных направлений по изучению искусства советского периода. Единой программы по советскому искусству, которая бы наконец позволила связать разноплановые явления XX века воедино, не было и в российских вузах, как не

3 См. также термин «поставангард» [Балашов, Мыларщикова 2002].

4 Ср.: «Сталинская культура выступает как радикализация авангарда и в то же время как его формальное преодоление, т.е. обнаружение его собственного приема, а не просто отрицание» [Гройс 2013: 69].

5 Ср.: «Цель этой выставки — высказать утверждение, что советское “левое искусство” знало свой второй пик» [Дёготь 2005: 11].

6 Ср.: «Официальные образы изобилия или жизнелюбия, героизма и пафоса были слишком аляповаты и убоги, достойны презрения и насмешки… до Рубенса им слишком далеко, и даже до Курбе они не дотягивают. Советская система провалила свой проект модернизации» [Якимович 2009: 291].

7 Подробнее см.: [Плунгян 2017].

8 Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (основан в 1947-м), Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства (основан в 1944-м), Государственный институт искусствознания (основан в 1944-м).

появлялось и новых учебных пособий[9]. В целом российское гуманитарное образование 2000—2010-х скорее поставило на паузу процесс масштабного пересмотра или систематизации истории советского искусства — диссертационные советы закрывались, авторов диссертаций поощряли брать узкие темы, описывать отдельные «забытые имена», но не претендовать на обновление методологий и терминов или на заметное расширение контекстов.

После серии крупных выставок-новаций 1980—1990-х годов ведущие российские музеи примерно на десятилетие «заморозили» свою политику экспонирования советского искусства, ограничиваясь, как и академия, небольшими монографическими исследованиями или гала-выставками на обтекаемые или хорошо изученные темы[10]. На этом фоне заметно выросла роль коллекционеров и наследников, которые (в отличие от музеев) открывали ученым неограниченный и свободный доступ к художественным произведениям и архивам. Отмечу, речь шла не о коллекционерах мастеров «первого ряда» русского авангарда или соцреализма, а только о тех, кто занимался малоизвестными советскими именами 1930—1950-х. История соперничества коллекционеров и государственных музеев в России коренится в 1930-х годах, когда под давлением власти частные музеи теряли автономию и расформировывались, а собирательство постепенно оказалось вне закона. Тогда же, в 1930-х, после упразднения художественных групп был заложен фундамент и другой культурной силы 2010-х, сообщества наследников, многие из которых успели сформировать профессиональные династии, влиятельные в музейном мире. Понятно, что интересы коллекционеров, наследников и ученых не всегда пересекались: одни были заинтересованы развивать рынок и повышать стоимость вещей, другие — расширять горизонт академии и музея, переписывать и уточнять историю искусств и т.д. Но общим знаменателем для тех и других оставалась независимость от государства и стремление обновить систему научных и музейных координат. По сути, коллекционеры и наследники хотели стать для ученых иным типом заказчика, чем музеи, и смысл этого заказа, учитывая все сказанное, оказался в заметно большей степени гражданским, чем коммерческим.

Итак, формат НИИ, живой и эффективный в позднесоветские годы, в 2010-х пережил кризис и полураспад. Помимо поколенческих конфликтов или разрыва между научной реальностью и научной необходимостью ощущался острый недостаток междисциплинарного обмена. С этого начался процесс профессионального самоопределения и самоорганизации ученых-миллениалов, и его лидером в 2007 году выступила Александра Селиванова; градозащитница, историк архитектуры и на тот момент архитектор-практик, она с 1997 года работала в музее-квартире Михаила Булгакова. Идеей Селивановой, которую под-

9 Подробнее см.: [Плунгян 2018].

10 Приведу в пример выставочную политику Государственного Русского музея тех лет, когда задуманный в 1990-х цикл крупных выставок-ревизий художественных направлений в русском и советском искусстве XX века («Символизм в России», 1996; «Русский импрессионизм», 2000; «Русский футуризм», 2000) сменился гала-выставками с крайне обобщенной проблематикой («Дорога в русском искусстве», 2004—2005; «Власть воды», 2008; «Картина, Стиль, Мода», 2009; «Небо в искусстве», 2010; «Гимн труду», 2010; «Врата и двери», 2011; «Сон как явь», 2012—2013 и др.) В 2010-х состоялась только одна новая выставка первоначального цикла — «Неоклассицизм в России» (2008—2009).

держали коллеги из самых разных сфер (Алексей Петухов, Денис Ромодин, Мария Силина, Рамиз Алиев, Юлия Старостенко, Ася Аладжалова, Константин Дудаков-Кашуро, Валерий Золотухин, Сергей Агрба и мн. др.) стало создание независимой ассоциации исследователей межвоенного советского искусства — тогда она получила название «Новая Москва». Несколько лет наши встречи велись в формате открытых и бесплатных горизонтальных семинаров со свободным обменом мнениями. Выбор музея-квартиры в качестве площадки позволил апробировать новые идеи в камерных выставках, где Селиванова сразу проявила интерес к углублению контекстов показа, отреставрировав несколько исторических комнат и компонуя в них предметы и произведения эпохи с современными инсталляциями [Нестеренко 2018]. С другой стороны, это была возможность некоммерческого эксперимента, открытого широкой аудитории: выставки и семинары позволяли сразу оценить реакцию большого среза людей, вступить с ними во взаимодействие.

После смены руководства музея Булгакова Александра Селиванова перешла к работе с крупными музеями, получив позиции младшего куратора в Музее Москвы и ведущего куратора — в Еврейском музее и Центре толерантности, где ей предложили создать отдельный Центр авангарда. Так семинары получили институциональную поддержку: круг приглашенных специалистов, как и доступ к аудитории, заметно расширился, архив лекций выкладывался на YouTube. Не менее важным событием стала первая масштабная выставка Селивановой «Авангард и авиация» [Авангард и авиация 2014], в которой — отчасти опираясь на методологию семинаров — Селиванова воплотила в жизнь синтетический экспозиционный формат. Экспозиция соединила источники разного плана: живописные работы, плакаты, авиамакеты, чертежи, реальные детали авиамашин и редкие архивные материалы, такие как рукописи и рисунки К. Циолковского. Особое внимание было уделено застройке: архитектор Дина Караман сформировала единое сценическое и цветовое решение, которое Селиванова концептуализировала как еще один уровень современной интерпретации памятников. Однако сотрудничество Селивановой с Еврейским музеем после этого проекта было остановлено, и Центр авангарда вместе с архивом обосновался в Галерее на Шаболовке — московском муниципальном выставочном зале[11].

Здесь в 2015—2022 годы Селиванова развернула интенсивную программу выставочной деятельности, утвердив формат экспериментальных выставок-исследований, который во многом восходил к опыту семинаров[12]. Условно разделю экспозиции на несколько групп, выделив лишь основные проекты. Первая группа — *аналитические выставки*, которые соединяли новый материал, экспериментальность экспонирования и оригинальные искусствоведческие концепции, развернутые в подробном этикетаже («Сюрреализм в стране большевиков», 2017, кураторы А. Селиванова и Н. Плунгян; «Советская античность», 2018, кураторы А. Селиванова и Н. Плунгян; «Кристаллография. Малевич, Матюшин, Леонидов», 2019, куратор А. Селиванова; «Гастев. Как надо работать», 2019, куратор А. Селиванова; «Блуждающие звезды. Советское

11 О деятельности независимых галерей в системе Объединенных выставочных залов Москвы в 2010-е годы см: [Толстова 2022].

12 Подробнее о производстве и концепции выставок: [Гусева, Селиванова 2020; Китель 2017; Торкановский 2017].

еврейство в довоенном искусстве», 2021, куратор Н. Плунгян). Часть выставок этого типа осуществлялась силами приглашенных исследователей («Левее левизны. Грузинский авангард в книге», 2019, куратор Павел Чепыжов; «Григорий Гидони и его искусство света и цвета», 2022, куратор Ольга Колганова) и других кураторов Галереи на Шаболовке (ИЗОСТАТ, 2018, куратор Евгения Хает; «Донской крематорий», кураторы Лиза Казакова, Павел Паркин, 2020; и др.). Второй тип выставок представлял собой *результат сотрудничества ученых и художников*. В этом ряду «Меер Айзенштадт. К синтезу 1930-х» (2018; куратор и архитектор А. Селиванова; к выставке была создана оригинальная иммерсивная инсталляция и перформанс-спектакль Жени Ржезниковой), «Эксперимент Ладовского» (2017; основой выставки стали созданные художником Антоном Кетовым[13] научно-художественные реконструкции изобретений Николая Ладовского — инструментов психотехнической лаборатории ВХУТЕМАСа), «Жуки и гусеницы. Насекомая культура 1920—1940-х гг.» (2021, кураторы Н. Плунгян, А. Селиванова; застройка залов представляла собой инсталляцию и видеоарт Жени Ржезниковой со включением скульптурных композиций Александры Старостиной, и один из дней был отдан перформансу Анастасии Кайнеанунг «Я начертил свое имя на знамени, и мир начал быть»); «Агитпоезда» (2017, куратор А. Селиванова: центром экспозиции была реконструкция вагона). Отмечу также *проекты музейного строительства*, результат исследований истории района («Авангард на Шаболовке. Модель для новой жизни, масштаб 1:1», 2015, кураторы А. Селиванова, Ксения Янькова, Ксения Бессараб; постоянная экспозиция «Музей авангарда на Шаболовке», 2017, авторы А. Селиванова и Илья Малков) и заметные *монографические выставки*, которые — на мой взгляд — несколько выбивались из камерного формата галереи («Булгаков VS Маяковский», 2016; «АМО-ЗИЛ — Уралмаш. Наследники мечты», 2016; «Городки Свердловска: от архитектурного проекта к социальному опыту», 2017; «Маяковский. Универсальный ответ записочникам», 2018). Иногда галерея предоставляла пространство и современным художникам (Степан Липгарт, Евгений Стрелков, Юрий Гордон, Кира Матиссен и др.).

Все выставки сопровождались сериями лекций специалистов разного профиля, иногда за ними следовали открытые дискуссии[14] и споры в печати [Новоженова 2017]; какие-то проекты давали почву для последующих конференций[15] или, наоборот, оказывались самостоятельными «ветками» более крупных замыслов («Детский ВХУТЕМАС», 2020, кураторы А. Селиванова и Ксения Гусева). Центр авангарда на Шаболовке проводил мастер-классы и занятия для детей, экскурсии по архитектурной Москве 1920—1930-х, круглые

13 При участии Татьяны Зайцевой, Яны Сафроновой, Анны Боруновой и Александры Селивановой. Реконструкции Антона Кетова (тренажеры Центрального института труда) и Андрея Паниткова (тремометр Мёде) были также важной частью выставки «Гастев. Как надо работать» (2019).

14 В 2018 году в Галерее на Шаболовке прошла дискуссия архитекторов и ученых о советском ар деко, которая нашла свое отражение в проекте галереи «Эритаж» [Краснянская, Селиванова 2018].

15 2 декабря 2021 года на факультете истории искусств ЕУСПб прошел научный семинар «Сюрреализм в Советском Союзе в 1920—1930-е гг.» (участники: Д. Люкшин (ЕУСПб), Е. Гальцова (РГГУ), И. Карасик (ГРМ), О. Горелов (ИвГУ), Н. Плунгян и А.Селиванова).

столы [Соцреализм 2016] и кинопоказы, занимался градозащитной деятельностью[16], участвовал в разработке карты архитектуры 1920—1930-х годов по всей территории бывшего СССР[17] и в 2021 году провел экспериментальную реставрацию оригинальной покраски домов Хавско-Шаболовского жилмассива. Наконец, выставка «Гастев. Как надо работать» была с успехом показана в Ельцин-центре в Екатеринбурге (конец 2020-го — начало 2021-го) и затем в музее PERMM (2021), а в 2022 году легла в основу строящегося музея А. Гастева в Суздале.

Центр авангарда на Шаболовке просуществовал всего семь лет и закрылся в 2022 году после введения ужесточенных правил отбора художников и кураторов в Объединенных выставочных залах Москвы [Москвичева 2022]. Отмечу, работа его осложнялась тем, что Еврейский музей продолжил развивать первоначальную площадку под тем же названием — Центр авангарда — во главе с Андреем Сарабьяновым. Тем самым в Москве действовали две научно-выставочных площадки с одинаковым именем, но диаметрально противоположными концепциями (см.: [Абрамова 2017]). Не обладая музейными мощностями и федеральным медийным весом, «Шаболовка» оставалась в тени, воспринимаясь на этом фоне как лаборатория или активистское, общественное движение, но не как полновесная новая научная инициатива, хотя, конечно, была таковой — за эти годы авторы орбиты «Новой Москвы» опубликовали ряд монографий и коллективных трудов (см.: [Силина 2014; Алиев 2016; Селиванова 2020; ВХУТЕМАС-100 2021; Модернизм без манифеста 2017; 2018; Ткани Москвы 2019; Электрификация 2022; Плунгян 2022] и др.). Центр авангарда на Шаболовке успел запустить и собственный издательский проект «Незамеченный авангард»[18], также подготовив к печати большую серию книг — каталогов выставок галереи. На сегодняшний день они не изданы из-за отсутствия финансирования[19].

II

Подводя итог работе «Новой Москвы» и следующих из нее инициатив, можно сказать, что сама воля миллениалов к систематизации явлений имела в целом неомодернистский характер. Исследователи предыдущего поколения видели в этом шаг назад. Они считали наше стремление досконально погрузиться в историко-художественный материал школярством и ригидностью пополам с ностальгией и рессентиментом, а ставили нам в пример «свободную» игру ассоциаций и релятивизм, свойственный постмодерну. Мы, в свою очередь, упрекали постмодернистов в исследовательской лени и поверхностности и обличали их академический double bind, ловушку несмелости, когда любое но-

16 В том числе кампании в защиту Шуховской башни, школы № 600, Болшевской трудовой коммуны в Королеве (см.: [Maslov 2014]). О пересечениях градозащиты и музейного строительства в проектах Центра авангарда на Шаболовке см.: [Тарабарина 2015].

17 См.: http://theconstructivistproject.com/ru (дата обращения: 10.10.2022).

18 См., например: [Гудков и др. 2017; Зуева и др. 2016; Селиванова, Старков 2016]; также см.: [Авангард вокруг башни 2014].

19 Пока вышла в свет только книга-каталог выставки «Блуждающие звезды. Советское еврейство в довоенном искусстве» [Плунгян, Селиванова 2021].

вое высказывание подвергалось критике как одновременно и «недостаточно экспериментальное», и «недостаточно фундаментальное»[20].

Однако одновременно с развитием неомодернистской науки перед нами высветилась и другая исследовательская перспектива, связанная с необходимостью глубже переосмыслить историю отношений советского искусства и советского искусствознания. Как известно, после краткого этапа действительно новаторского научно-художественного поиска, восходящего к опытам символистов (от ГАХНа до ГИНХУКа[21]) искусство и наука в СССР были насильственно разделены. С запретом свободных художественных объединений и научно-художественных лабораторий фигура искусствоведа или куратора превратилась из коллеги и соратника в посредника между художником и властью, а порой и в прямого цензора. Наследование этой парадигмы в научных и музейных кругах 2000—2010-х было заметным. Достаточно вспомнить клише о том, что «искусствовед не должен доверять словам художника» и моду на пустое и громоздкое наукообразие *кураторских текстов* — обязательного в те годы классового «экрана» между автором и зрителем. Кроме того, как я неоднократно писала, сам термин «актуальное искусство» стал семантическим наследником столь же размытой партийной идеологемы «социалистический реализм».

В 2014 году мы с поэтом, философом и московским мистиком Максимом Буровым основали научно-художественную ассоциацию «Синтез И Вопрос». К ней присоединились композитор Лев Альперович, фотограф Елена Демешко, поэт Ольга Ахметьева, внедисциплинарный мыслитель Анна Шварц, художница Виктория Ломаско и меняющийся ряд других авторов — художников, поэтов, писателей, философов. Условием участия в ассоциации (и в подготовке серии выпусков альманаха) была полная независимость от кругов «актуального искусства» и современной российской поэзии, опыт многолетней художественной работы вне любых формализованных структур.

«Синтез И Вопрос» продолжил изучать модернистское и постмодернистское формообразование, но уже не как образец, а как отделяемую ступень, одновременно на разных уровнях осмысления прокладывал пути к новой крупной художественной форме.

Максим Буров написал три поэтические книги: «Открытки» [Буров 2007], «Сияние» и «Трактат» [Буров 2017а; 2017б] и ряд статей: «Супрематизм, цвет, ритм» [Буров 2012], «Феноменология Красных Зорь» [Буров 2019], «Протекающий контраст» [Буров 2022], где разрабатывал тему *открытости, сияния и единства* знания, исторического и эмоционального опыта, искусства и науки. Лев Альперович поставил вопрос о реинтерпретации тональной музыки после окончания модернизма и постмодерна, работая над вопросами пограничных состояний формы и бесформенности, вертикали и горизонтали структуры музыкального произведения. Его вещь «2014» представляет собой синтез поп-музыки, неоклассицизма и неоромантизма и одновременное существова-

20 Примером такого обмена критическими репликами можно считать дискуссию в № 6 (122) журнала «Неприкосновенный запас», где моя статья «Gesamtkunstwerk Гройс» [Плунгян 2018] была опубликована в «раме» из сразу двух отрицательных рецензий известных научных авторитетов — М. Липовецкого и П. Сафронова [Липовецкий 2018; Сафронов 2018].

21 Государственная академия художественных наук в Москве (1921—1931; с 1921-го по 1925-й — Российская академия художественных наук, РАХН) и Государственный институт художественной культуры в Петрограде-Ленинграде (1923—1926).

ние в этих стилевых вселенных; «Композиция № 7» (2015)[22] и «Музыка 8» (2018—2022) строят форму на грани авангардного шумового мышления, традиционного 12-тонового пространства и пространства с бесконечным количеством тонов. В этих произведениях дилемма полувекового противопоставления тональности и «авангарда» решается прорывом в многомерную музыкальную реальность, построенную за пределами стилистических отсылок; «Музыка 8» выходит за пределы линейной временной структуры, складываясь в новую форму бесконечного «музыкального сериала» [Альперович 2022].

Анна Шварц писала о слиянии и творческом переизобретении научных и художественных практик, занималась темой единства материального и идеального [Shvarts et al. 2022], проблемами трансформации культурных сред, экологической онтологии и преодолением разграничения онтологических и эпистемологических вопросов, а также разрабатывала концепцию многоуровневой интенциональности как системной ориентации в будущее. По форме ее работы порой стоят на стыке художественных и научных структур [Shvarts, van Helden 2021]. Елена Демешко на протяжении почти двух десятилетий создавала непрерывный пейзажный цикл, где анализировала варианты транспонирования музыкальной барочной формы и барочной эмоции в современную фотографию, а в 2022 году подошла к теме с другой стороны и начала (совместно со звукорежиссером А. Тюриным) съемки собственного документально-художественного фильма о музыке. Большое внимание в нем уделено работе крупных российских органистов, исследователей барочной и романтической музыки Григория Варшавского и Бориса Казачкова [Бедный Эдвард 2015; Казачков 2014].

Ольга Ахметьева размышляла над тем, как строить поэтическую форму за пределами конвенций неомодернизма, опираясь на опыт неподцензурной поэзии 1950-х годов и, в частности, Анатолия Маковского, что нашло отражение в ее сборнике стихов «О.А.И.» [Ахметьева 2022]. Виктория Ломаско после 2014 года дистанцировалась от российской арт-сцены и работала над большой серией станковых рисунков и муралов, анализирующих место художника в сегодняшнем обществе, распад модернистского геополитического каркаса и советскую память [Lomasko 2022б], а также изобрела собственный тип документально-художественной рисованной книги [Lomasko 2017; 2022а]. Что касается меня, всю жизнь параллельно искусствоведению я непрерывно работала в живописи, основная часть которой никогда не выставлялась. Более углубленно, чем в книгах, свой анализ модернистского формообразования и понимание новой формы я изложила в цикле абстрактных картин: «Отраженный Свет» (2015), «Северное сияние» (2016—2018), «Золотое Одеяло» (2020), «Арка» (2020), «Занавес для Театра Костей» (2021), «Вспышка» (2022), «Флаг» (2022).

По мысли Максима Бурова, идея междисциплинарности, предлагаемая постмодернистами обоих поколений, не была вполне реализована научными школами 1990—2010-х. Эти школы настаивали на необходимости объективации явлений и создали большую исследовательскую дистанцию, с которой автор, применяя разные «линзы» или «оптики», *препарировал* и *деконструировал* те или иные художественные жесты. Буров предложил перенести центр тяжести с науки на искусство, отказаться от фундаментального для искусство-

22 Исполнялась автором и А. Снежиной (скрипка) в Доме-музее А. Голубкиной в декабре 2015 года.

знания XX века представления об искусстве как «черном ящике», который требует долговременной расшифровки разными департаментами научного знания [Буров 2016]. Он также сформулировал главные положения работы «Синтеза и Вопроса»: представление о том, что искусство вполне и всесторонне описывает мир, выявляя в пластической форме всю совокупность ритмических структур, свойственных разным измерениям той или иной эпохи, подобно тому, как в портретном изображении соединены социальное, гендерное, эмоциональное и собственно художественное значения.

Немодернистская наука 2010-х стремилась выявить и зафиксировать эти значения по отдельности. Она декларировала отказ от иронии постмодерна и подводила итог сделанному в XX веке. Да, этот подход давал нам фундамент, обеспечивал возможности уверенно создавать образовательные программы, музейные экспозиции, формировать научные школы. Однако конфликт с угасающей постмодернистской парадигмой лишь обострялся, не получая разрешения. Выйти из тупикового противостояния двух этих фаз XX века, постмодерна и неомодерна, можно было, на наш взгляд, только путем дальнейшего движения к открытой форме, к новым типам мышления, не ограниченным модернистской логикой [Плунгян 2015]. Это означало не бороться за право пользоваться готовыми институтами или методологиями, а интенсивно создавать собственные самоорганизованные институты, причем разного типа. Сотрудничество науки и искусства, утраченное во многих областях, было одним из инструментов этой работы. На встречах участники «Синтеза И Вопроса» обсуждались такие темы, как темпоральные качества *формы*; пластическое измерение *информации*, соотношения *истории и физики*; создание *коридора времени*; переосмысление *теории поколений* XX века в совмещенном историко-политическом, искусствоведческом и гендерном анализе; *точность* и *неточность* знания; место символистской мысли в перспективе Нового времени и разработка современной *стилевой парадигмы*; ограничения и/или возможности стыковки и транспозиции смыслов в междисциплинарных исследованиях. Результаты оформлялись в систему концептов или гипотез (*Тезисы*), которые затем были развернуты в авторских книгах, выставках и художественных произведениях, или в обратном порядке: тезис пластический или поэтический транспонировался общими усилиями в интеллектуальную форму.

III

Отдельно скажу, что гипотезы, разработанные в рамках «Синтеза И Вопроса», отразились в серии проектов, статей и книг, осмысляющих роль символизма в советском искусстве. В ходе встреч «Синтеза», например, зародилась общая структура замысла издательского и выставочного проекта «Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева» (ММСИ, 2017—2018) — двухчастной выставки одного из крупнейших московских коллекций русского искусства 1910—1960-х (кураторы: Р. Бабичев, О. Давыдова, В. Дьяконов, А. Селиванова, М. Силина, А. Струкова; ведущий куратор Н. Плунгян), которую сопровождало издание из пяти книг [Модернизм без манифеста 2017; 2018][23]. На встречах

23 О выставке см.: [Абрамова 2017; Гулин 2018; Ревизия советского искусства 2018; Толстова 2017]. См. также: babichevcollection.com (дата обращения: 10.10.2022).

«Синтеза» шла разноаспектная полемика о значении сюрреалистической, неоромантической, неоакадемической формы в советском модернизме, об отношениях модернизма и стилевых парадигм Нового времени; о диалоге национального и интернационального в советском искусстве, об эволюции модернистских гендерных стратегий [Плунгян 2022] и о многом другом. Сейчас «Синтез И Вопрос» готовит к изданию несколько выпусков своего альманаха, поэтических сборников и коллективных монографий[24], по-прежнему оставаясь непубличной инициативой[25].

Задачей «Синтеза И Вопроса» был принципиальный выход из неомодернизма, одновременный поиск нового мышления в разных типах духовного, художественного и научного действия и вместе с тем работа над единым пространством знания (по Бурову). Интенсивность этого поиска привела нас к идее периферийной каузальности, агентности без центральной регуляции (по Шварц) и образу многомерной реальности (по Альперовичу); к внимательному переописанию натуры (по Ахметьевой) и «бытия вещей» (Демешко); к идее полилога единиц, радикально углубленных специалитетов, которая должна политически и культурно сменить лишенные смысла и энергии квази-«горизонтальные» активистские форматы (Плунгян).

Любопытно отметить, что к близкому полицентризму и синтетичности, а в конце концов и к *художественности* мышления в конце 2010-х — начале 2020-х сдвинулась и работа Селивановой и авторов орбиты «Новой Москвы». По факту этап камерных экспозиций в Центре авангарда на Шаболовке постепенно исчерпывал себя, и обозначилась следующая задача: создание вслед за «Модернизмом без манифеста» крупных и многоаспектных музейных проектов нового типа. Таким шагом стала выставка «ВХУТЕМАС-100» в Музее Москвы к столетию ВХУТЕМАСА (2020; ведущий куратор А. Селиванова, кураторы разделов: «Полиграффак» и «Дисциплина “Графика”» — Рустам Габбасов; «Текстильфак», «Керамфак» — Ксения Гусева; «Дерметфак» — Алена Сокольникова; «Архфак» — Анна Бокова, Илья Лапин; «Дисциплина “Цвет”» — Дарья Сорокина; «Дисциплина “Пространство”» — Анна Бокова, Стас Громик; «Скульптфак», «Дисциплина “Объем”» — М. Силина; «Живфак» — Н. Плунгян).

Главным принципом этой выставки я бы назвала избыточность, которая — несмотря на тему, связанную с авангардом и конструктивизмом — далеко отходила от привычного лаконизма, свойственного экспозиционному стилю Селивановой. Выставка, другими словами, имела неомодернистский каркас, однако поверх него разворачивалась в большую барочную форму, переплетая огромное количество визуальной, текстовой, научной и иной информации в каждом из самых мелких фрагментов. Избыточность проявлялась в соединении в одном зале множества музейных памятников совершенно разного типа (мраморная, каменная, деревянная и гипсовая скульптура; архитектурные макеты; крупные картины; стенды с печатной графикой, книгами и журналами эпохи; фотографии, документы; личные вещи художников; мелкая пластика, керамика, экс-

24 См., например: *Буров М., Плунгян Н.* Новейшая теория поколений. М., 2022 (Рукопись).

25 Исключением можно считать рецензию на выставку Е. Иноземцевой и А. Мизиано «Мы храним наши белые сны» в музее «Гараж» [Буров, Плунгян 2020], после которой мы с М. Буровым приняли участие в работе одноименной исследовательской лаборатории «Гаража» (см.: https://garagemca.org/ru/programs/research-laboratories/we-treasure-our-lucid-dreams (дата обращения: 10.10.2022)).

периментальная посуда; текстильные образцы; светильники и мебель; станки; архитектурные чертежи; и мн. др.). Весь этот и без того огромный объем произведений оснащался современными сценическими элементами: игровые и учебные инсталляции, видеопроекции, инфографические схемы и этикетки разного типа, выдвижные витрины и подиумы, аудиозоны, причем за каждым из этих элементов стояло авторское исследование. Так, на видеопроекциях демонстрировались организованные для выставки круговые съемки-облеты с дронов двух коллективных студенческих работ 1930-х годов — керамического рельефа Кожевнических бань в Москве[26] и скульптурного фриза для больницы в Туле[27]. Одним из ярких центров выставки были научно-художественные реконструкции произведений, учебных моделей и инструментов в реальном масштабе, созданные в 2020 году. Среди них деревянный каркас трехметровой скульптуры В. Кудряшёва «Голова рабочего» (1927, реконструкция И. Орлова) и фанерная агитустановка «Рабочий» (1930-е, реконструкция Ж. Ржезниковой); реконструкции упражнений «Объем» и «Пространство» (М. Есин, Ю. Волобринская, М. Губинский, Е. Гусева, А. Наджарян, И. Орлов, А. Фабрицкая), шкаф-витрина И. Лобова для рабочего клуба (1925, реконструкция А. Кетов, А. Петров); наконец, в полном объеме в выставку вошли психотехнические инструменты Н. Ладовского, о которых говорилось выше. Тот же намеренно «избыточный», синтетический принцип экспонирования был апробирован в следующей выставке «Электрификация» (Музей Москвы, 2021, кураторы Е. Телегина, А. Селиванова)[28].

Подобная избыточность, или барочность, компоновки частей требовала большой и одновременной включенности кураторов, архитекторов, дизайнеров и реконструкторов, чтобы сложное соединение множества материальных фактур, разных типов медиа, интерактивностей и главное — современного материала и источников — сложилось не в произвольную смесь, а в симфонию, где каждый «голос» будет так же ясно слышен, как и связи и переклички тем. Это прямо отсылало кураторов к проблемам синтеза искусств и ансамблевости, которые ставили перед собой советские авторы 1930-х годов, тем более что они вновь имели дело с репрезентацией большого объема произведений этого периода. И здесь можно говорить о неочевидном, но значимом следствии: синтетичность охватывала не только экспозиционную логику, но и позицию куратора, которая также обрела многоаспектность, чередуя такие роли, как ученый-куратор, ученый-художник (архитектор), ученый-наследник[29]. В эту фазу встраивалась другая историческая преемственность — взаимосвязь с еще мало описанной стратегией советских искусствоведов-коллекционеров, позволявшей свободно вести не только исследовательскую, но и выставочную и издательскую деятельность, не зависеть от государственных архивов, музейных планов и цензуры. В ряду ученых, чьи частные собрания решительно повлияли

26 Роспись панно — А. Траскунов, В. Ковальский, Р. Мурановская; керамические барельефы — В. Боркин, З. Васильева [ВХУТЕМАС-100 2021: 277].

27 Скульпторы А. Тенета, М. Листопад, З. Либерман, Д. Шварц, Л. Кардашев; архитектор К. Яковлев. См.: [Силина 2021: 172].

28 О диапазоне реакций на выставку можно судить по трем разным мнениям: [Дьяконов 2020; Толстова 2020; Хачатуров 2020].

29 На выставке «ВХУТЕМАС-100» куратором-наследником выступил Илья Лапин, предоставивший для экспозиции архив своего прадеда Василия Лапина, который учился на архфаке.

на пересмотр истории советского искусства, — искусствовед и поэт Николай Харджиев, историк архитектуры Селим Хан-Магомедов, историк живописи 1920—1930-х годов Ольга Ройтенберг и др.

IV

Работая с разных сторон над темой научно-художественного осмысления советского модернизма, историки искусства круга «Новой Москвы» и авторы круга «Синтеза и Вопроса» пришли к разным, но связанным результатам. «Новая Москва» начинала с широкой платформы неомодернистской науки, занятой отдельными проблемами, и трансформировалась в научно-художественную стратегию. Следующий этап работы легко представить как мышление музейными единицами (так, выставки «ВХУТЕМАС-100» или «Электрификация» уже сейчас могут быть преобразованы в постоянные Музей ВХУТЕМАСа или Музей электрификации). Другой принципиальной задачей я вижу связанные учебные программы для художников, дизайнеров, искусствоведов, историков и в параллель — компаративистские выставки с хорошей научно-художественной базой и сопутствующими изданиями, необходимость в которых ощутима уже много лет. Сравнительный анализ течений советского, европейского, американского и иных модернизмов от парадных стилей к неоромантизму, ар деко, сюрреализму и др. позволит поставить точку на стереотипе о «вторичном» характере советского искусства 1930—1940-х.

«Синтез И Вопрос» исходил из несколько иной перспективы, изначально понимая искусство и науку как единое целое. Подобно науке 2000—2010-х, ценившей детальную разработку узких проблем на полях больших концепций, искусство 2000—2010-х не решалось претендовать на крупные высказывания или новый мировоззренческий поворот, оперируя крайне тривиализированными представлениями о «современности», «актуальности», «контемпорари» (на уровне как жизненных практик, так и гуманитарного знания). Для «Синтеза И Вопроса» сам по себе анализ формы XX века первоначально был не целью, а этапом, и задачи этого этапа на настоящий момент решены. Разработана система взглядов, позволяющая описать модернистское формообразование во всей полноте и подробности: его приводные ремни и парадигмальные основания, функциональные, эстетические, художественные, философские аспекты. Дальнейшей задачей мы видим более глубокое осмысление таких тем, как природа *времени* и информации. Это осмысление модернизма как заключительного — аналитического — этапа Нового времени. Это взгляд на современность как на спектр всех известных исторических сил, которые одновременно реализуют себя в настоящем. Взгляд на прошлое не как на устаревший архив, который требует «актуальной» адаптации, а как на одно из пространств познания настоящего. Решение этих задач будет совершаться в форме единой художественной, стилевой, научной, мировоззренческой парадигмы, развернутой в цикле выставок нового искусства, в книгах поэзии и прозы, в музыкальных и театральных формах, в исследованиях с высоким порогом качества, углубленности и субъектности каждого из элементов — по найденному в 2020 году «барочному» принципу. По мысли авторов «Синтеза И Вопроса», большое и интенсивное взаимодействие всех этих явлений и станет методом разработки и понимания реальности.

Библиография / References

[Абрамова 2017] — *Абрамова О.* Без манифеста. Но с историей // ArtTerritory. 2017. 9 октября (https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/recenzii/20489-bez_manifesta._no_s_istoriei (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Abramova O.* Bez manifesta. No s istoriey // ArtTerritory. 2017. October 9 (https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/recenzii/20489-bez_manifesta._no_s_istoriei (accessed: 10.10.2022)).)

[Авангард вокруг башни 2014] — Авангард вокруг башни. Путеводитель / Сост. А. Броновицкая, Н. Васильев, А. Багаутдинов, А. Селиванова, А. Петухов, М. Фадеева, И. Малков. М.: [Б.и.], 2014.

(Avangard vokrug bashni. Putevoditel' / Comp. by A. Bronovickaya, N. Vasil'ev, A. Bagautdinov, A. Selivanova, A. Petuhov, M. Fadeeva, I. Malkov. Moscow, 2014.)

[Авангард и авиация 2014] — Авангард и авиация. Издание к выставке в Еврейском музее и центре толерантности. Москва, 2014 / Avant-garde & Aviation. Published for the exhibition in Jewish Museum and Tolerance Center, Moscow / Contributors: Ramiz Aliev, Andrey Velikanov, Alexander Lavrentiev, Nadia Plungian, Alexandra Selivanova. Moscow: Art Guide, 2014.

[Алиев 2016] — *Алиев Р.* Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев. М.: Paulsen, 2016.

(*Aliev R.* Iznanka belogo. Arktika ot vikingov do papanintsev. Moscow, 2016.)

[Альперович 2022] — *Альперович Л.* Композиции // Синтез и Вопрос. Запись встречи № 41. 2022. (Рукопись.)

(*Al'perovich L.* Kompozitsii // Sintez i Vopros. Zapis' vstrechi № 41. 2022. (Manuscript.))

[Ахметьева 2022] — *Ахметьева О.* О.А.И. Стихи. М.: Синтез и Вопрос; Стеклограф, 2022.

(*Ahmet'eva O.* O.A.I. Poems. Moscow, 2022.)

[Балашов, Мыларщикова 2002] — *Балашов А., Мыларщикова Н.* Поставангард 1920—1940: иллюстрации к истории русского искусства. М.: Сканрус, 2002.

(*Balashov A., Mylarshchikova N.* Postavangard 1920—1940: illyustratsii k istorii russkogo iskusstva. Moscow, 2002.)

[Бедный Эдвард 2015] — *Эм Э.* (*Бедный Эдвард*) [*Казачков Б.С.*] Записки по поводу… (О хоральных обработках И.С. Баха). СПб.: Композитор, 2015.

(*Em E.* (*Bednyy Edvard*) [*Kazachkov B.S.*] Zapiski po povodu… (O khoral'nykh obrabotkakh I.S. Bakha). Saint Petersburg, 2015.)

[Буров 2007] — *Буров М.* Открытки. М.: [Б.и.], 2007.

(*Burov M.* Otkrytki. Moscow, 2007.)

[Буров 2012] — *Буров М.* Супрематизм, цвет, ритм. 2012. (Рукопись.)

(*Burov M.* Suprematizm, tsvet, ritm. 2012. (Manuscript.))

[Буров 2016] — *Буров М.* Реальность // Синтез и Вопрос. Запись встречи № 11. 2016. (Рукопись.)

(*Burov M.* Real'nost' // Sintez i Vopros. Zapis' vstrechi № 11. 2016. (Manuscript.))

[Буров 2017а] — *Буров М.* Сияние. М.: Синтез и Вопрос, 2017.

(*Burov M.* Siyanie. Moscow, 2017.)

[Буров 2017б] — *Буров М.* Трактат. М.: Синтез и Вопрос, 2017.

(*Burov M.* Traktat. Moscow, 2017.)

[Буров 2019] — *Буров М.* Феноменология Красных Зорь // Colta.ru. 2019. 30 октября (http://www.colta.ru/articles/art/22792-o-vystavke-dva-avangarda-v-ivanove (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Burov M.* Fenomenologiya Krasnyh Zor' // Colta.ru. 2019. October 30 (http://www.colta.ru/articles/art/22792-o-vystavke-dva-avangarda-v-ivanove (accessed: 10.10.2022)).)

[Буров 2022] — *Буров М.* Протекающий контраст. На что проливается свет на выставке Анны Лепорской в ГРМ // Colta.ru. 2022. 15 февраля (http://www.colta.ru/articles/art/29526-maksim-burov-vystavka-anna-leporskaya-zhivopis-grafika-farfor-russkiy-muzey (дата обращения: 10.10.2022)).

(Burov M. Protekayushchiy kontrast. Na chto prolivaetsya svet na vystavke Anny Leporskoy v GRM // Colta.ru. 2022. February 15 (http://www.colta.ru/articles/art/29526-maksim-burov-vystavka-anna-leporskaya-zhivopis-grafika-farfor-russkiy-muzey (accessed: 10.10.2022)).)

[Буров, Плунгян 2020] — *Буров М., Плунгян Н.* Зачем снятся сны? // Colta.ru. 2020. 7 августа (http://www.colta.ru/articles/art/25096-maksim-burov-nadya-plungyan-glavnaya-vystavka-garazh-2020-my-hranim-nashi-belye-sny (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Burov M., Plungian N.* Zachem snyatsya sny? // Colta.ru. 2020. August 7 (http://www.colta.ru/articles/art/25096-maksim-burov-nadya-plungyan-glavnaya-vystavka-garazh-2020-my-hranim-nashi-belye-sny (accessed: 10.10.2022)).)

[ВХУТЕМАС-100 2021] — ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда. Каталог выставки Музея Москвы / Авт.-сост. К. Гусева, А. Селиванова. М.: ABCdesign, 2021.

(VKhUTEMAS-100. Shkola avangarda. Katalog vystavki Muzeya Moskvy / Ed. by K. Guseva, A. Selivanova. Moscow, 2021.)

[Герман 2003] — *Герман М.* Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003.

(*German M.* Modernizm. Iskusstvo pervoy poloviny XX veka. Saint Petersburg, 2003.)

[Герчук 1971] — *Герчук Ю.* Тихая графика // Творчество. 1971. № 1.

(*Gerchuk Y.* Tikhaya grafika // Tvorchestvo. 1971. № 1.)

[Гройс 2013] — *Гройс Б.* Gesamtkunstwerk Сталин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.

(*Groys B.* Gesamtkunstwerk Stalin. Moscow, 2013.)

[Гудков и др. 2017] — *Гудков К., Дуднев А., Селиванова А.* Дом Обрабстроя в Басманном тупике. М.: [Б.и.], 2017.

(*Gudkov K., Dudnev A., Selivanova A.* Dom Obrabstroya v Basmannom tupike. Moscow, 2017.)

[Гулин 2018] — *Гулин И.* «Надо перестать воспринимать межвоенное искусство как третий ряд» // Коммерсантъ Weekend. 2017. 6 октября (https://www.kommersant.ru/doc/3422727 (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Gulin I.* "Nado perestat' vosprinimat' mezhvoennoe iskusstvo kak tretiy ryad" // Kommersant Weekend. 2017. October 6 (https://www.kommersant.ru/doc/3422727 (accessed: 10.10.2022)).)

[Гусева, Селиванова 2020] — *Гусева К., Селиванова А.* «"Красная Роза" была флагманом, звездой советской текстильной промышленности, но от нее ничего не осталось» // Colta.ru. 2020. 29 января (http://www.colta.ru/articles/art/23472-kseniya-guseva-i-aleksandra-selivanova-o-vystavke-tkani-moskvy (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Guseva K., Selivanova A.* "'Krasnaya Roza'» byla flagmanom, zvezdoy sovetskoy tekstil'noy promyshlennosti, no ot nee nichego ne ostalos" // Colta.ru. 2020. January 29 (http://www.colta.ru/articles/art/23472-kseniya-guseva-i-aleksandra-selivanova-o-vystavke-tkani-moskvy (accessed: 10.10.2022)).)

[Дёготь 2000] — *Дёготь Е.* Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2002.

(*Dyogot' E.* Russkoe iskusstvo XX veka. Moscow, 2002.)

[Дёготь 2005] — *Дёготь Е.* Идеалистический реализм. Еще один русский авангард // Советский идеализм. Живопись и кино 1925—1939. М.: АртХроника, 2005.

(*Dyogot' E.* Idealisticheskiy realizm. Eshche odin russkiy avangard // Sovetskiy idealizm. Zhivopis' i kino 1925—1939. Moscow, 2005.)

[Дьяконов 2020] — *Дьяконов В.* ВХУТЕМАС и «вхутемасы» в современной Москве // АртГид. 2021. 12 мая (https://artguide.com/posts/2225 (дата обращения: 10.10.2022)).

(*D'yakonov V.* VKhUTEMAS i "vkhutemasy" v sovremennoy Moskve // ArtGid. 2021. May 12 (https://artguide.com/posts/2225 (accessed: 10.10.2022)).)

[Зуева и др. 2016] — *Зуева П., Селиванова А., Старков И.* Купальня-баня Рогожско-Симоновского района. М.: [Б.и.], 2016.

(*Zueva P., Selivanova A., Starkov I.* Kupal'nya-banya Rogozhsko-Simonovskogo rayona. Moscow, 2016.)

[Казачков 2014] — *Казачков Б.* Чертог Шести // ЛитРес. 2014 (https://mybook.ru/author/boris-kazachkov/chertog-shesti (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Kazachkov B.* Chertog Shesti // LitRes. 2014 (https://mybook.ru/author/boris-kazachkov/chertog-shesti (accessed: 10.10.2022)).)

[Китель 2017] — *Китель А.* Александра Селиванова: «Мне важен мусор истории» // The Art Newspaper Russia. 2017. 20 июня (https://www.theartnewspaper.ru/posts/4666/ (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Kitel' A.* Aleksandra Selivanova: "Mne vazhen musor istorii" // The Art Newspaper Russia. 2017. June 20 (https://www.theartnewspaper.ru/posts/4666/ (accessed: 10.10.2022)).)

[Краснянская, Селиванова 2018] — *Краснянская К., Селиванова А.* Постконструктивизм, или рождение советского ар-деко: Париж — Нью-Йорк — Москва. Каталог выставки. М.: «Эритаж», 2018.

(*Krasnyanskaya K., Selivanova A.* Postkonstruktivizm, ili rozhdenie sovetskogo ar-deko: Parizh — N'yu-York — Moskva. Katalog vystavki. Moscow, 2018).

[Липовецкий 2018] — *Липовецкий М.* Валить столпы // Неприкосновенный запас. 2018. № 6 (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/122_nz_6_2018/article/20560/ (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Lipoveckij M.* Valit' stolpy // Neprikosnovennyy zapas. 2018. № 6 (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/122_nz_6_2018/article/20560/ (accessed: 10.10.2022)).)

[Модернизм без манифеста 2017] — Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева. Т. 2: Русское искусство. 1920—1950 / Р. Бабичев, Н. Плунгян, А. Селиванова, М. Силина. М.: ABCdesign, 2017.

(Modernizm bez manifesta. Sobranie Romana Babicheva. Vol. 2: Russkoe iskusstvo. 1920—1950 / R. Babichev, N. Plungian, A. Selivanova, M. Silina. Moscow, 2017.)

[Модернизм без манифеста 2018] — Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева. Т. 3: Русское искусство. 1920—1950 / Р. Бабичев, Н. Плунгян, М. Силина. М.: ABCdesign, 2018.

(Modernizm bez manifesta. Sobranie Romana Babicheva. Vol. 3: Russkoe iskusstvo. 1920—1950 / Texts: R. Babichev, N. Plungian, M. Silina. Moscow, 2018.)

[Морозов 1995] — *Морозов А.* Конец утопии. М.: Галарт, 1995.

(*Morozov A.* Konets utopii. Moscow, 1995.)

[Москвичева 2022] — *Москвичева М.* В Москве не состоялось несколько выставок из-за новых правил отбора художников // Московский комсомолец. 2022. 18 августа (https://www.mk.ru/culture/2022/08/18/v-moskve-ne-sostoyalos-neskolko-vystavok-izza-novykh-pravil-otbora-khudozhnikov.html (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Moskvicheva M.* V Moskve ne sostoyalos' neskol'ko vystavok iz-za novykh pravil otbora khudozhnikov // Mjskovskiy komsomolets. 2022. August 18 (https://www.mk.ru/culture/2022/08/18/v-moskve-ne-sostoyalos-neskolko-vystavok-izza-novykh-pravil-otbora-khudozhnikov.html (accessed: 10.10.2022)).)

[Нестеренко 2018] — *Нестеренко М.* «Я неплохо обхожусь без современной литературы». Читательская биография историка архитектуры Александры Селивановой // Gorky.media. 2018. 1 августа (https://gorky.media/context/ya-neploho-obhozhus-bez-sovremennoj-literatury/ (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Nesterenko M.* "Ya neplokho obhozhus' bez sovremennoy literatury". Chitatel'skaya biografiya istorika arhitektury Aleksandry Selivanovoy // Gorky.media. 2018. August 1 (https://gorky.media/context/ya-neploho-obhozhus-bez-sovremennoj-literatury/ (accessed: 10.10.2022)).)

[Новоженова 2017] — *Новоженова А.* Уклонисты // Colta.ru. 2017. 19 июля (https://www.colta.ru/articles/art/15456-uklonisty (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Novozhenova A.* Uklonisty // Colta.ru. 2017. July 19 (https://www.colta.ru/articles/art/15456-uklonisty (accessed: 10.10.2022)).)

[Паперный 1996] — *Паперный В.* Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 1996.

(*Paperny V.* Kul'tura Dva. Moscow, 1996.)

[Плунгян 2015] — *Плунгян Н.* Агендерность против колониализма: об ускользании из (нео)модернистских стратегий // Неприкосновенный запас. 2015. № 1 (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/99_nz_1_2015/article/11314/ (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Plungian N.* Agendernost' protiv kolonializma: ob uskol'zanii iz (neo)modernistskih strategiy // Neprikosnovennyy zapas. 2015. № 1 (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/99_nz_1_2015/article/11314/ (accessed: 10.10.2022)).)

[Плунгян 2017] — *Плунгян Н.* Советский модернизм: довоенный период // Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева. Т. 2: Русское искусство. 1920—1950 / Р. Бабичев, Н. Плунгян, А. Селиванова, М. Силина. М.: ABCdesign, 2017. С. 9—21.

(*Plungian N.* Sovetskiy modernism: dovoennyj period // Modernizm bez manifesta. Sobranie Romana Babicheva. Vol. 2: Russkoe iskusstvo. 1920—1950 / R. Babichev, N. Plungian, A. Selivanova, M. Silina. Moscow, 2017. P. 9—21).

[Плунгян 2018] — *Плунгян Н.* Gesamtkunstwerk Гройс // Неприкосновенный запас. 2018. № 6 (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/122_nz_6_2018/article/20558/ (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Plungian N.* Gesamtkunstwerk Groys // Neprikosnovennyy zapas. 2018. № 6 (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/122_nz_6_2018/article/20558/ (accessed: 10.10.2022)).)

[Плунгян, Селиванова 2021] — *Плунгян Н., Селиванова А.* Блуждающие звезды. Советское еврейство в довоенном искусстве. Каталог выставки в Галерее на Шаболовке. М.: Кучково поле, 2021.

(*Plungian N., Selivanova A.* Bluzhdayushchie zvezdy. Sovetskoe evreystvo v dovoennom iskusstve. Katalog vystavki v Galeree na Shabolovke. Moscow, 2021.)

[Плунгян 2022] — *Плунгян Н.* Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917—1939 годов. М.: Garage, 2022.

(*Plungian N.* Rozhdenie sovetskoy zhenshchiny. Rabotnitsa, krest'yanka, letchitsa, "byvshaya" i drugie v iskusstve 1917—1939 godov. Moscow, 2022.)

[Ревизия советского искусства 2018] — Ревизия советского искусства: здесь и сейчас? // АртГид. 2018. 24 января (https://artguide.com/posts/1413 (дата обращения: 10.10.2022)).

(Reviziya sovetskogo iskusstva: zdes' i seychas? // ArtGid. 2018. January 24 (https://artguide.com/posts/1413 (accessed: 10.10.2022)).)

[Русакова 2001] — *Русакова А.* Ленинградская живопись 1920—1930-х годов // На берегах Невы. Живопись и графика ленинградских художников 1920—30-х годов из московских частных коллекций. М.: Атриум-принт, 2001.

(*Rusakova A.* Leningradskaya zhivopis' 1920—1930-kh godov // Na beregakh Nevy. Zhivopis' i grafika leningradskikh khudozhnikov 1920—30-kh godov iz moskovskikh chastnykh kollektsiy. Moscow, 2001.)

[Сафронов 2018] — *Сафронов П.* От масс искусства // Неприкосновенный запас. 2018. № 6 (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/122_nz_6_2018/article/20559/ (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Safronov P.* Ot mass iskusstva // Neprikosnovennyy zapas. 2018. № 6 (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/122_nz_6_2018/article/20559/ (accessed: 10.10.2022)).)

[Селиванова 2020] — *Селиванова А.* Постконструктивизм: власть и архитектура в 1930-е годы в СССР. М.: БуксМАрт, 2020.

(*Selivanova A.* Postkonstruktivizm: vlast' i arkhitektura v 1930-e gody v SSSR. Moscow, 2020.)

[Селиванова, Старков 2016] — *Селиванова А., Старков И.* Даниловский Мосторг. М.: [Б. и.], 2016.

(*Selivanova A., Starkov I.* Danilovskiy Mostorg. Moscow, 2016.)

[Силина 2014] — *Силина М.* История и идеология: монументально-декоративный рельеф 1920—1930-х годов в СССР. М.: НИИ РАХ; БуксМАрт, 2014.

(*Silina M.* Istoriya i ideologiya: monumental'no-dekorativnyy rel'ef 1920—1930-kh godov v SSSR. Moscow, 2014.)

[Силина 2021] — *Силина М.* Ответ ВХУТЕМАСа на кризис скульптуры// ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда. Каталог выставки Музея Москвы / Авт.-сост. К. Гусева, А. Селиванова. М.: ABCdesign, 2021. С. 164—174.

(*Silina M.* Otvet VkhUTEMASa na krizis skul'ptury // VKhUTEMAS-100. Shkola avangarda. Katalog vystavki Muzeya Moskvy / Ed. by K. Guseva, A. Selivanova. Moscow, 2021. P. 164—174.)

[Соцреализм 2016] — Соцреализм: исследовательские перспективы и тупики. Круглый стол в «Галерее на Шаболовке» // Tatlin News. 2016 (https://tatlin.ru/articles/diskussiya_soczrealizm_issledovatelskie_perspektivy_i_tupiki (дата обращения: 10.10.2022)).

(Sotsrealizm: issledovatel'skie perspektivy i tupiki. Kruglyy stol v "Galeree na Shabolovke" // Tatlin News. 2016 (https://tatlin.ru/articles/diskussiya_soczrealizm_issledovatelskie_perspektivy_i_tupiki (accessed: 10.10.2022)).)

[Тарабарина 2015] — *Тарабарина Ю.* Александра Селиванова: «Выставки-микроисследования очень нужны» // Archi.ru. 2015. 10 февраля (https://archi.ru/russia/60094/aleksandra-selivanova-vystavki-mikroissledovaniya-ochen-nuzhny (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Tarabarina J.* Aleksandra Selivanova: "Vystavki-mikroissledovaniya ochen' nuzhny" // Archi.ru. 2015. February 10 (https://archi.ru/russia/60094/aleksandra-selivanova-vystavki-mikroissledovaniya-ochen-nuzhny (accessed: 10.10.2022)).)

[Ткани Москвы 2019] — Ткани Москвы. Каталог выставки Музея Москвы / Авт.-сост. К. Гусева, А. Селиванова. М.: Кучково поле; Музеон, 2019.

(Tkani Moskvy. Katalog vystavki Muzeya Moskvy / Comp. by K. Guseva, A. Selivanova. Moscow, 2019.)

[Толстова 2017] — *Толстова А.* Всесоюзный пересмотр // Коммерсантъ Weekend. 2017. 8 декабря (https://www.kommersant.ru/doc/3481822 (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Tolstova A.* Vsesoyuznyy peresmotr // Kommersant Weekend. 2017. December 8 (https://www.kommersant.ru/doc/3481822 (accessed: 10.10.2022)).)

[Толстова 2020] — *Толстова А.* Сто лет не без бед // Коммерсантъ Weekend. 2021. 19 марта (https://www.kommersant.ru/doc/4722090 (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Tolstova A.* Sto let ne bez bed // Kommersant Weekend. 2021. March 19 (https://www.kommersant.ru/doc/4722090 (accessed: 10.10.2022)).)

[Толстова 2022] — *Толстова А.* Луч света в темном царстве // Коммерсантъ Weekend. 2022. 16 сентября (https://www.kommersant.ru/doc/5548814 (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Tolstova A.* Luch sveta v temnom tsarstve // Kommersant Weekend. 2022. September 16 (https://www.kommersant.ru/doc/5548814 (accessed: 10.10.2022)).)

[Торкановский 2017] — *Торкановский П.* «Мне скучно созерцать историю, я хочу действовать в ней» // Colta.ru. 2017. 19 ноября (https://www.colta.ru/articles/art/16908-mne-skuchno-sozertsat-istoriyu-ya-hochu-deystvovat-v-ney (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Torkanovskij P.* "Mne skuchno sozertsat' istoriyu, ya khochu deystvovat' v ney" // Colta.ru. 2017. November 19 (https://www.colta.ru/articles/art/16908-mne-skuchno-sozertsat-

istoriyu-ya-hochu-deystvovat-v-ney (accessed: 10.10.2022)).)

[Хачатуров 2020] — *Хачатуров С.* ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН: протеин // ArtTerritory. 2021. 22 февраля (https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/recenzii/25427-vhutemas_-_vhutein_protein/ (дата обращения: 10.10.2022)).

(*Khachaturov S.* VKhUTEMAS — VKhUTEIN: protein // ArtTerritory. 2021. February 22 (https://arterritory.com/ru/vizualnoe_iskusstvo/recenzii/25427-vhutemas_-_vhutein_protein/ (accessed: 10.10.2022)).)

[Электрификация 2022] — Электрификация. Свет и ток в искусстве и культуре 1920—30-х. Каталог выставки Музея Москвы / Авт.-сост. К. Гусева, А. Селиванова. М.: Музей Москвы, 2022.

(Elektrifikatsiya. Svet i tok v iskusstve i kul'ture 1920—30-kh. Katalog vystavki Muzeya Moskvy / Comp. by K. Guseva, A. Selivanova. Moscow, 2022.)

[Якимович 2009] — *Якимович А.* Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930—1990. М.: Искусство-XXI век, 2009.

(*Yakimovich A.* Polety nad bezdnoy. Iskusstvo, kul'tura, kartina mira. 1930—1990. Moscow, 2009.)

[Lomasko 2017] — *Lomasko V.* Other Russias / Transl. by T. Campbell. London: Penguin, 2017.

[Lomasko 2022a] — *Lomasko V.* L'última artista soviètica / Traductor: Arnau Barios Gene. Sant Esteve Ses Rovires: Godall Edicions SL, 2022.

[Lomasko 2022b] — *Lomasko V.* The Last Soviet Artist. Catalog. Brescia: Museo di Santa Giulia, 2022.

[Maslov 2014] — Vassily Maslov. The avant-garde of a Work Commune / Василий Маслов. Авангард трудкоммуны. Графика из фондов Королёвского исторического музея. Каталог выставки в Еврейском музее и центре толерантности / Селиванова А., Петухов А., Плунгян Н. М.: Еврейский музей и центр толерантности, 2014.

[Shvarts et al. 2022] — *Shvarts A., Bos R., Doorman M., Drijvers P.* Reifying actions into artifacts: An embodied perspective on process-object dialectics in higher-order mathematical thinking. Educational Studies in Mathematics (2022) (Under review).

[Shvarts, van Helden 2021] — *Shvarts A., van Helden G.* Embodied learning at a distance: from sensory-motor experience to constructing and understanding a sine graph // Mathematical Thinking and Learning. 2021. November 16 https://doi.org/10.1080/10986065.2021.1983691

Ольга Казакова

О проблемах и перспективах изучения архитектуры советского модернизма в постколониальную эпоху

Olga Kazakova

On the Problems and Prospects of Studying the Architecture of Soviet Modernism in the Postcolonial Era

Ольга Казакова (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», доцент факультета гуманитарных наук; кандидат искусствоведения) ovkazakova@hse.ru.

Ключевые слова: советский модернизм, советская архитектура, архитектура республик, колониализм, постколониальные исследования, центр и периферия, поздний СССР, национальная политика

УДК: 72.036
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_320

В статье описывается история изучения архитектуры советского модернизма в постсоветский период, анализируются существующие подходы, проблемы и пробелы в исследованиях, рассматривается необходимость изучения и описания «аппарата управления» архитектурой в позднем СССР, а также необходимость формирования инструментов для понимания проблематики взаимоотношений между бывшим «центром» и бывшими «окраинами» и возможности применения к этой проблеме постколониальной оптики.

Olga Kazakova (PhD; Associate Professor, Faculty of Humanities, HSE University) ovkazaova@hse.ru.

Key words: Soviet modernism, Soviet architecture, architecture of the republics, colonialism, postcolonial studies, center and periphery, late USSR, national policy

UDC: 72.036
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_320

This article describes the history of the study of Soviet modernist architecture after the dissolution of the Soviet Union. It analyzes current approaches and issues and lacunae in research and looks at the need to study and describe the “administrative apparatus” that oversaw construction and architecture in the late USSR, as well as the need to develop a tools that would enable researchers to better understand issues surrounding the relationship between the former “center” and the former “border regions” and the possibility of using postcolonial optics in further studies of the topic.

Памяти Феликса Новикова

Сколь-либо фундаментальное изучение архитектурного наследия советского модернизма 1955—1991 годов как самостоятельного явления началось с символического исключения из академического поля наследия РСФСР. Первым «подходом к теме», точкой, от которой сегодня уже принято вести отчет современных исследований архитектуры советского модернизма, стал Венский конгресс 2012 года под названием «Советский модернизм 1955—1991. Нерасказанные истории».

Подготовкой конгресса занималась команда кураторов Венского архитектурного центра в составе Екатерины Шапиро-Обермайер, Александры Вотчер и Катарины Риттер, обращавшихся в процессе к помощи многих консультантов из бывших советских республик. Конгрессу предшествовало масштабное,

длившееся восемь лет полевое исследование позднесоветского архитектурного наследия независимых государств, входивших до 1991 года в состав СССР, включавшее экспедиции, изучение архивов и источников, работу «на местности», фотофиксацию, интервью с архитекторами и т.д. Основными результатами работы стали выставка, конференция и публикация многостраничной книги-каталога с результатами проделанной работы [Ritter et al. 2012]. Ни на выставке, ни в итоговом издании не были представлены материалы из РСФСР — это была принципиальная позиция кураторов, в 2012 году бывшая еще непривычной и вызвавшая тогда много вопросов.

Тем не менее выставка привлекла более 13 тысяч посетителей за четыре месяца и побила рекорд посещаемости за 20-летнюю на тот момент историю Венского архитектурного центра.

Название исследовательского проекта — «Нерассказанные истории» — довольно точно формулирует ситуацию с изучением архитектуры советского модернизма, которая за прошедшие после конгресса десять лет хотя и сдвинулась с мертвой точки, но принципиально не изменилась. Не только история модернизма — почти вся история советской архитектуры еще не только не рассказана, но и не исследована и не описана: «чего не хватишься — ничего нет» — самое частое выражение в кругах людей, интересующихся темой. Тема эта своей необъятностью напоминает расползающееся одеяло, прорехи в котором все увеличиваются, а исследованные проблемы, объекты и биографии выглядят яркими заплатками на сереющей и худеющей ткани. Деление истории советской архитектуры на периоды не очень помогает — советский модернизм, который еще называют «третьим большим стилем империи» (после авангарда и сталинской неоклассики), хоть и ограничивается 1955—1991 годами, охватывает слишком большую территорию, сегодня разделенную не только границами, но и тяжелейшими разногласиями, да и количественному счету эпоха массовой типовой застройки весьма плохо поддается.

Маятник восприятия советского модернизма вне профессионального сообщества качается между «серой безликой массой» и экзотическими «космическими объектами», какими показал их в своем альбоме 2011 года Фридерик Шобен [Chaubin 2011]. В большинстве стран наследие советского модернизма почти не имеет шансов получить статус памятника, зато имеет высокие шансы на снос — после распада СССР политические элиты с энтузиазмом принялись уничтожать материальных свидетелей их «подчиненного» в молодые годы центру положения, несмотря на протесты не столь уж многочисленных, хотя и увеличивающих с каждым годом свои ряды ценителей «совмода». Иногда главную роль в утрате наследия играли деньги (снос памятников модернизма в Баку), иногда их отсутствие (бассейн Лагуна Вере в Тбилиси), иногда принципиальное отторжение, как до недавнего времени это было в Ташкенте или в случае с попыткой сноса аэропорта Звартноц в Ереване. Безусловно, из этого правила были и удачные исключения, среди которых можно отметить качественную реконструкцию Музея революции Литовской ССР в Вильнюсе (1980), превращенного в 2012 году в Национальную художественную галерею, но они были редкими.

На рубеже 2010—2020-х годов ситуация с негативным в целом отношением к наследию позднесоветской эпохи начала постепенно меняться: так, в Алматы в 2018 году был начат процесс реставрации бывшего кинотеатра «Целинный» (1964, арх. С. Розенблюм, В. Кацев, Б. Тютин, худ. Е. Сидоркин), и при поддержке одноименного местного центра современной культуры московски-

ми исследователями А. Броновицкой и Н. Малиным был издан путеводитель по модернистской архитектуре Алматы [Броновицкая, Малинин 2018]. Правительство Узбекистана в 2020 году начало проект «Модернизм 20/21», посвященный комплексной охране ташкентского модернизма как городского слоя.

При этом в сегодняшней России власти, как правило, не видят в архитектуре хрущевской и брежневской эпох никакой художественной ценности (и надо сказать, что население в целом с ними скорее солидарно) — количество поставленных на госохрану памятников можно пересчитать по пальцам, и за последнее десятилетия список памятников не пополнился ни одним «модернистским» объектом, а список утрат увеличился и включил в себя такие уникальные и обладавшие всеми признаками объектов культурного наследия здания, как посадочный павильон в аэропорту Шереметьево (1964, Г. Елькин, Ю. Крюков) и музей АЗЛК «Москвич» (1980, Ю. Регентов). Одним из громких скандалов последнего времени стал запланированный (но пока так и не случившийся) снос здания Дома Советов в Калининграде, давно уже ставшего общепризнанным символом города. В последние годы появились и редкие примеры вполне качественной реставрации памятников архитектуры позднего СССР: главный туристический комплекс «Суздаль», музей «Гараж» в Москве, концертный зал «Юпитер» в Нижнем Новгороде. Но если снос знаковых объектов модернизма согласовывается государством, то все примеры реставрации пока что инициативы частных инвесторов.

В современной России первые подходы к снаряду «советский модернизм» были предприняты в середине 2000-х, однако это были попытки скорее не осмыслить, но хотя бы просто выделить архитектуру второй половины 1950-х — конца 1980-х годов в некий единый период (как сегодня уже видно, весьма неравномерный) и дать ему нарицательное имя. Характерно, что проблемой в первую очередь наименования, а затем — ревизии и сохранения этого наследия занялись в первых рядах сами его творцы и современники — архитекторы и искусствоведы, чей максимально плодотворный период пришелся на хрущевскую и брежневскую эпохи.

Первые ласточки были запущены ими в 2006 году, когда в Музее архитектуры им. А.В. Щусева в Москве по инициативе архитекторов и теоретиков архитектуры Феликса Новикова (1925—2022) и Андрея Гозака (1936—2012), выступившего также в качестве куратора, прошла выставка «Советский модернизм» и был выпущен небольшой каталог к ней. В 2010 году в издательстве «Татлин» был опубликован альбом «Сто шедевров советского модернизма», вновь под редакцией Феликса Новикова [Новиков, Белоголовский 2010]. Характерно, что и выставка 2006 года, и книга 2010-го ни в коей мере не отдавали предпочтения архитектуре РСФСР — напротив, авторам было важно зафиксировать советский модернизм именно как единое, целостное, не разделенное границами, интернациональное и при этом разнообразное явление, в которое был включен весь Советский Союз. Можно было бы заподозрить здесь некую ностальгию по временам СССР как временам молодости, увидеть в стремлении вновь собрать в музейных стенах в центре Москвы все республики ностальгическое «какую страну потеряли», если бы не знать, что и Гозак, и Новиков не были и в советское время чрезмерно лояльны к режиму. Впрочем, этот вопрос остается в области предположений.

Однозначно можно утверждать, что после московской выставки 2006 года и выхода альбома в 2010-м термин «советский модернизм» утвердился (хотя

и не без споров и критики, в том числе и со стороны самих архитекторов, подчеркивавших, что сами они никогда не называли себя «модернистами») для обозначения архитектуры периода 1955—1991 годов.

При этом сегодня при использовании этого термина возникают как минимум две проблемы. Первая — рассинхронизация с европейской традицией понимания модернизма в живописи и в архитектуре, где термин «модернизм» (иногда с приставкой «первой волны») определяет в первую очередь искусство межвоенного периода. Однако в советской традиции архитектуру 1920—1930-х годов принято обозначать как «авангард», и с легкого пера Феликса Новикова именно архитектура после 1955 года[1] получила название «советской модернизм».

Вторая проблема состоит в неоднородности архитектуры, помещенной «внутри» термина. Сегодня очевидно, что внутри периода 1955—1991 годов можно выделить как минимум интернациональный стиль оттепели, брежневский брутализм, советскую версию постмодернизма 1970—1980-х годов — которая очень сильно выпадает из термина «модернизм» концептуально, но при этом остается включенной в его хронологические рамки. Эти и другие вопросы сегодня требуют многих дополнительных изысканий.

В начале 2010-х годов в России стали появляться независимые группы исследователей «советского модернизма». «Совмодом» увлеклись люди 1980—1990-х годов рождения, которые, с одной стороны, ощущают связь с этим наследием через своих родителей и старшие поколения, а с другой стороны — находятся на достаточной временной дистанции, чтобы заниматься его каталогизацией, описанием и анализом уже с позиции «извне». Так была создана группа «Совмод» (состоявшая в основном из студентов и недавних выпускников МАРХИ). Почти одновременно был основан Институт модернизма, цель которого состояла в том, чтобы защитить от сноса наиболее значимые памятники этого период в Москве (что не увенчалось успехом). Параллельно развивались многочисленные группы во «ВКонтакте» и других социальных сетях, занимавшиеся поиском и размещением в интернете архитектурных объектов позднесоветской эпохи. Среди таких пабликов могут быть названы «Современная типовая архитектура», «Архитектура социализма», «Бетон и кусочки» и другие.

После картинок постепенно пришло время текстов. При этом ранний период эпохи советского модернизма — оттепель с ее ясным стилем и социальным оптимизмом — оказался поначалу наиболее интересным для исследователей.

В 2013 году в издательстве РОССПЭН был опубликован сборник «Эстетика оттепели: новое в архитектуре, искусстве, культуре» [Казакова 2013], в который вошли статьи большинства на тот момент занимавшихся вопросами архитектуры советского модернизма исследователей. Судя по материалам сборника, темами, в первую очередь вызывавшими интерес исследователей в России, стали «истоки стиля» (в основном из эпохи авангарда), влияние (конечно же, в первую очередь западное), а также отдельные архитектурные объекты и «кейсы» по их созданию. В статьях освещались существующие, нереализованные и утраченные объекты, нерассказанные истории, градостроительные принципы, генезис и проблемы архитектурной формы, дизайн и синтез ис-

1 4 ноября 1955 — дата выхода постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

кусств. До осмысления проблем взаимоотношений между центром и республиками к 2013 году исследователи не добрались.

В 2017 году выставки про искусство и архитектуру оттепели прошли в трех музеях в Москве (Государственная Третьяковская галерея, Музей Москвы и ГМИИ им. А.С. Пушкина)[2], и в ГТГ был издан сборник статей «Оттепель» [Курляндева, Воротынцева 2017], но и здесь темы взаимоотношений между Москвой и республиками не были затронуты.

В сегодняшнем контексте, оглядываясь на пять-десять лет назад, невозможно не задать себе вопрос — почему? Объяснений этому не так много. Первым объяснением является некая инерция советских времен, следуя которой в отношениях между республиками до распада СССР не было принято видеть проблему, и одновременно — существенная задержка, временной лаг в открытии российскими исследователями современной постколониальной оптики как способа смотреть на историю архитектуры, в частности советской архитектуры. По всей видимости, постсоветская привычка отказа даже от мысли об СССР как о колониальной империи с вытекающими из этого последствиями была (и остается) во многом формирующей научное поле современной России, и область истории искусства отнюдь не исключение.

Продолжая жить в бывшем «центре» (а большинство авторов статей обоих сборников — москвичи или петербуржцы), в 2010-е годы, по-видимому, историки архитектуры еще не были готовы и не обладали достаточными знаниями для того, чтобы осознать, сколь противоречивым и неоднозначным могло быть отношение в союзных республиках к временами весьма жестко диктуемой из Москвы архитектурной политике, к необходимости обязательно согласовывать республиканские проекты с Москвой[3], за которой оставалось принятие решений, или к сложившейся в Узбекской ССР после землетрясения 1966 года ситуации формирования «национальной по форме» архитектуры руками приезжавших «из центра» архитектурных кадров.

В это время больше рефлексии вызвала книга Александра Эткинда о «внутренней колонизации» [Эткинд 2013] — скорее именно через нее для многих происходило осмысленное знакомство с термином в его современной интерпретации и способом смотреть на окружающий мир. Эта книга сыграла не только положительную, но и отрицательную роль, в очередной раз направив взгляд российских интеллектуалов внутрь себя и собственных проблем и несчастий.

Понятно, почему традиция критического изучения архитектуры модернизма позднего СССР с точки зрения истории институциональных структур и институционального взаимодействия между Москвой и республиками, иерархического устройства упомянутого выше в нашем тексте «аппарата управления»,

---

2 Государственная Третьяковская галерея — «Оттепель», кураторы К. Светляков, А. Курдяндцева; Музей Москвы — «Московская оттепель: 1953—1968», кураторы Е. Кикодзе, А. Селиванова и др.; ГМИИ им. А.С. Пушкина — «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945—1968», кураторы Э. Гиллен, П. Вайбель, Д. Булатов.

3 Процесс согласования подробно показан, например, в фильме «Алмазный пояс» (1986, реж. Г. Шермухамедов), где архитекторы с чертежами и макетами летят из Ташкента в Москву для согласования проектов площади и станции метро «с дарами» в виде дынь и зеленого чая, обсуждая знакомства, которые могут помочь в успехе, и где лишь благодаря присутствию на совещании «зрящего в корень» московского начальства ключевой вопрос о сохранении национального наследия решается в пользу главного положительного героя.

проблем унификации и национального своеобразия не могла быть сформирована в советское время, а вместо этого подменялась лозунгами и формулами, за которыми могло стоять нечто полностью противоположное. В советскую эпоху посвященная архитектуре профессиональная литература активно поддерживала рожденный еще в 1920-е годы политической волей миф о «единстве», об архитектуре, «национальной по форме, социалистической по содержанию» (формула, придуманная еще в 1926 году, прожила до конца СССР, меняя свое значение сообразно обстоятельствам). Образцом такого подхода является центральная для данной темы книга Юрия Яралова «Национальное и интернациональное в советской архитектуре» [Яралов 1971], написанная на взлете советского модернизма как стиля и выдержавшая несколько переизданий.

Гораздо более печально, что такая традиция едва ли начала формироваться в России и за прошедшие с окончания советского проекта уже более чем тридцать лет. Несмотря на весь скепсис современных исследователей по отношению к советской риторике (укрепленный и отчасти объясненный книгой А. Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» [Юрчак 2014]), никто пока что не попытался взглянуть на эту формулу под иным углом, пересмотреть ее критически и понять, что же стояло за ней в реальности, как трансформировались стоящие за этой формулой смыслы, как формировались условия творчества и как они влияли на результаты. Система взаимодействия между центром и республиками до сих пор никем научно не описана. Кто кому подчинялся? С какими именно институциями согласовывались проекты? Кто выдавал предписания и принимал решения в Москве относительно строительства в республиках? Были ли правила одинаковыми или разными? Что это был за аппарат? Из чего он состоял? Как именно действовал? Одинаково или поразному во всех республиках? Кто управлял этим аппаратом, что за люди стояли «у пульта»? Как он видоизменялся на протяжении более чем сорока лет? Как с ним взаимодействовали республики? Насколько этот «аппарат» влиял на художественные качества возводившихся архитектурных объектов, или же он в первую очередь контролировал экономику?

Об этом есть лишь обрывочные сведения, основанные по большей части на интервью с участниками тех событий, но никакого системного представления об этом нет.

Кураторы Венского конгресса объяснили отказ от включения в исследование РСФСР именно нежеланием иметь дело с препятствующей развитию региональных особенностей машиной административной политики и одновременно желанием вывести на передний план результаты сопротивления этой машине, проявившиеся в разнообразии архитектуры бывших республик. Пресс-релиз выставки гласил:

> Мы сознательно исключаем российскую архитектуру из нашего проекта в стремлении раскрыть «архитектурные индивидуальности в рамках империи» и *ограничиваемся представлением об управляемом из центра архитектурном аппарате* (курсив мой. — *О. К.*), который действовал во всех республиках посредством плановых институтов и предписанных норм[4].

4 Пресс-релиз выставки «Советский модернизм 1955—1991. Нерассказанные истории» // https://archi.ru/events/6233/sovetskii-modernizm-neizvestnye-istorii-1955-1991 (дата обращения: 12.10.2022).

Несмотря на вышесказанное, кураторы приняли исключительно гуманное и полезное, на наш взгляд, для изучения истории позднесоветской архитектуры решение пригласить на конгресс 2012 года архитекторов из всех бывших республик СССР, включая и архитекторов из РСФСР, составивших на конгрессе большинство. Среди последних были Елена Анцута, Андрей Боков, Игорь Василевский, Юрий Гнедовский, Александр Ларин, Элеонора Лихтенберг, Андрей Косинский, Владимир Красильников, Феликс Новиков и другие. Для них был организован в рамках конгресса круглый стол, за которым участники из бывшей РСФСР составили большинство и за которым тема исключения РСФСР всплывала неоднократно. К сожалению, запись круглого стола не велась (а он мог бы стать важнейшим свидетельством эпохи, тем более что многих из участников сегодня уже, к сожалению, нет в живых), но основная звучавшая за ним идея может быть сформулирована так:

> Исключение наших работ сегодня — это вопрос политики. Не нужно смешивать архитектуру и политику, как мы не смешивали их в свое время. Мы честно работали, вместе и по отдельности, мы с полной самоотдачей занимались творчеством и делали это от всего сердца и на максимуме своих способностей и возможностей (Ю. Гнедовский, цитата по памяти моя. — *О.К.*).

Через два года на исключение РСФСР из списка исследуемых республик уже более развернуто отреагировал архитектор и теоретик архитектуры Феликс Новиков в своем докладе на конференции «Локальные модернизмы. Национальная архитектура и интернациональный стиль в советской империи после 1953 года»[5], прошедшей на архитектурной биеннале в Венеции 2014 года:

> Мы встречались по разным поводам в Москве и столицах республик, обсуждали общие творческие проблемы. Эти встречи собирали яркий букет умов и талантов — мастеров со всех концов страны. А общие проблемы, единство интересов создавали атмосферу взаимной поддержки, и это тоже способствовало успеху дела. Можно сказать, что Союз архитекторов СССР был почвой, на которой взращивалась цеховая солидарность, подлинная дружба между коллегами, за которой иногда следовало совместное творчество.
>
> В советские годы я бывал во всех республиках страны. Видел едва ли не все лучшие работы советских архитекторов, вел дружбу с коллегами по всем столицам. *Я утверждаю, что между нами никогда не было и не могло быть никаких межнациональных конфликтов, никакого имперского духа.* Помните Вадима Иванова, который был главным архитектором Баку 30 лет? Почему я об этом спрашиваю? Потому, что такое было возможно в советское время и абсолютно невозможно — даже на один день — теперь. Но это новая история, а я говорю о прошлом. Советские архитекторы действительно были дружной творческой семьей, и с полным основанием можно сказать, что советскую архитектуру мы создавали сообща[6] (курсив мой. — *О.К.*).

Таким образом, мы видим, что в декларируемых в начале 2010-х годов представлениях участников советского архитектурного процесса из РСФСР архи-

---

5 «Local Modernities. National Architecture and International Style in the Soviet Empire post 1953». Венеция, 21—22 октября 2014 года, кураторы конференции Рубен Аревшатян (Армения), Георг Шёльхаммер (Австрия)

6 Текст доклада Ф. Новикова сохранился в архиве автора статьи.

тектура советского модернизма была вне политики, «имперский дух» и межнациональные конфликты не просто отсутствовали, но были невозможны. Архитектура советского модернизма принципиально деполитизируется, «выносится» в сферу чистого творчества.

На этот процесс, правда не касательно архитектуры, а касательно попытки приблизиться к постколониальным исследованиям сегодня в России в целом, указывает в своих работах Мадина Тлостанова — один из важнейших теоретиков культуры и деколонизации из пишущих сегодня на русском (в том числе) языке:

> Именно эта демонстративная деполитизация, которая в СССР еще могла восприниматься как форма противостояния режиму, в постсоветский период оказалась фатальной, оставив отечественное гуманитарное и социальное знание на обочине мировой науки [Тлостанова 2020: 17].

Конечно, мы не пытаемся утверждать, что присутствовавшие на конгрессе архитекторы старшего поколения должны были или могли бы стоять в фарватере «мировой науки», но, как мы увидим позднее, в научных кругах ситуация в 2010-е годы обстояла схожим образом.

Исключение России из списка стран — бывших республик, представленных на международном конгрессе по изучению советского модернизма, не прошло не замеченным для исследователей из современных независимых государств, по крайней мере из Украины и Латвии. Так, украинский исследователь и историк архитектуры Алексей Радинский через несколько месяцев после завершения конгресса опубликовал на российской платформе «Colta» статью «Окраина наносит ответный удар» [Радинский 2013], название которой говорит само за себя — впрочем, «воинственная» риторика в описании архитектуры имеет очень давнюю традицию и в советскую эпоху использовалась как никогда ранее часто и прямо — чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть несколько стенограмм заседаний Академии архитектуры СССР за любой период.

Арт-журналист Анна Илтнере, пишущая о странах Балтии для платформы «Arterritory», в своей посвященной Венскому конгрессу статье «Постсоветский анамнез» упоминает об исключении РСФСР из исследования, однако делает это нейтрально. Тем не менее в самой статье Анны речь снова идет об РСФСР, только как о госаппарате, транслирующем насилие, и взаимоотношения с ним описываются лишь в терминах борьбы:

> Историй о том, что в каждой из республик архитекторы получили «щель» для реализации необычных проектов, немало. Классическим примером стал «спальный» микрорайон Лаздинай («Орешник») в пригороде Вильнюса... Группа литовских архитекторов, борясь против засилья «хрущоб» в центре города, в начале семидесятых годов «*выбила*» возможность создать своеобразный город-спутник в предместье столицы. Источником вдохновения послужил финский опыт — умение «вписывать» жилые районы в холмистый, лесистый ландшафт. И хотя *авторитеты* смотрели на проект с подозрением, его удалось согласовать, и в 1974 году коллектив авторов был даже удостоен Ленинской премии в области архитектуры. Городок, в котором по-прежнему живут люди, оценивается не только как *пример борьбы между прогрессивными архитекторами и закоснелыми советскими бюрократами, но и как проявление национальной идентичности* [Илтнере 2013] (курсив мой. — *О.К.*).

Таким образом, в отличие от российских архитекторов и исследователей, для исследователя из бывших республик решение о невключении объектов, находящихся на территории бывшей РСФСР в материалы конгресса, выглядит гораздо более обоснованным и убедительным. Вновь цитирую Алексея Радинского:

> …здесь (в исследовании и на выставке. — *О.К.*) огромный культурный слой советской периферии был чуть ли не впервые изучен в качестве *самодостаточного* явления, не нуждающегося в посредничестве *имперского центра* [Радинский 2013] (курсив мой. — *О.К.*).

Нельзя не согласиться, что архитектура бывших союзных республик, сегодня — независимых государств, самодостаточна и представляет огромный интерес и огромную ценность. Но не с теми ли же проблемами взаимодействия и борьбы с государственным аппаратом сталкивались архитекторы из РСФСР? И действительно ли исключение РСФСР из изучения такого общего для всех бывших пятнадцати республик явления, как архитектура советского модернизма — это способ глубже изучить архитектуру оставшихся четырнадцати, или же это, как предположил теоретик искусства Виктор Мизиано в уже упоминавшейся выше статье Анны Илтнере, попытка стереть память о колониальном прошлом, которая в терминах теоретика постколониализма Лилы Ганди называется «волей к забвению» (will-to-forget) (см.: [Илтнере 2013])?

В любом случае экспериментальный подход, предложенный кураторами Екатериной Шапиро-Обермайер, Александрой Вотчер и Катариной Риттер, показал свою продуктивность. Он позволил обратить внимание на те связи, которые существовали между республиками напрямую, на другие векторы, кроме как направленные «в Москву» и «из Москвы», проявил множество находившихся в тени традиционного централизованного подхода явлений и смыслов.

С другой стороны, позднесоветская архитектура РСФСР, так же как и других союзных республик, — это не только «аппарат»; это в первую очередь здания и стоящие за ними идеи, даже если эти здания физически находились на территории «имперского центра». Давала ли эта близость преимущества архитекторам? Это весьма спорно. «Аппарат» действовал во всех республиках, включая и РСФСР. Нахождение «на глазах у начальства» иногда оборачивалось большими проблемами для по крайней мере московских архитекторов — примером может служить история с жилым комплексом «Лебедь» (1967—1973) Андрея Меерсона (1930—2020), расположенном на Ленинградском шоссе, по которому «начальство» ездило в аэропорт и который принес много неприятностей своему автору за «пустые» первые этажи на ногах. Другой пример — здание Совета Экономической взаимопомощи на Калининском проспекте (сегодня Новый Арбат) всемогущего в 1970-е годы Михаила Посохина, который так и не решился согласовать более дорогую марку стали, чтобы сделать свою «пластину» еще более тонкой. То есть вопрос, на кого больше давил «архитектурный аппарат» — на «ближних» или на «дальних», по крайней мере для непосредственных участников событий не может быть сегодня решен однозначно.

Таким образом, к началу 2010-х годов сформировались три «позиции» по вопросу изучения архитектуры советского модернизма. Представители бывшего «имперского центра» стремились к деполитизации архитектурных процессов позднего СССР, озвучивая призыв «возьмите и покажите наше творчество, а ни про какой имперский дух мы ведать не ведаем»; представители бывшей «окраины» (в терминах Алексея Радинского) считали показ памятни-

ков РСФСР и бывших республик на одной выставке потенциальной угрозой самодостаточности их архитектуры как явления; «независимые судьи» — кураторы Венского архитектурного центра ассоциировали РСФСР прежде всего с «архитектурным аппаратом» и не считали первоочередной задачей разбираться в его устройстве, вместо этого указывая на его авторитарность и колониальность и вовсе изгоняя РСФСР «за прошлые грехи» из исследовательского поля.

Почему это было так? Ответов может быть много. Один из них, если говорить о России, может быть сформулирован на следующем примере. «Благостный» «деполитизированный» подход российских архитекторов старшего поколения в середине 2010-х годов, продемонстрированный в Вене, обернулся несколько иной стороной в Москве. Вернувшись из Вены воодушевленной увиденным и услышанным, автор этой статьи, в то время старший научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), подала заявку на двухлетнюю исследовательскую тему «Национальная политика СССР в области архитектуры 1960—1980-х годов». Тему необходимо было утверждать в РААСН, где ее гневно и безапелляционно отклонили, хотя это были времена, когда почти все заявленные темы спокойно и довольно формально проходили процесс утверждения. В кулуарных беседах тема была названа «слишком опасной», «политической» и «могущей неизвестно кого затронуть и иметь не понятно какие последствия», прозвучала формула «зачем старое ворошить», что было особенно эффектно в отношении Института истории архитектуры (кстати говоря, в 2022 году уничтоженного). Соответственно, опытным путем было установлено, что в российских официальных учреждениях тема национальной политики и колониальных проблем в области архитектуры в середине 2010-х годов была табуирована, даже если речь шла о событиях 70—40-летней давности.

Впрочем, это касалось не только истории архитектуры. С других областях гуманитарного знания, как пишут сегодня многие исследователи, включая уже упоминавшуюся Мадину Тлостанову, тема колониализма и постколониализма применительно к СССР и сегодняшней России если не была табуирована впрямую, то и не воспринималась всерьез. Как пишет философ, преподаватель Американского университета в Центральной Азии в Бишкеке Георгий Мамедов в своей статье «Соучастие: о колониальности по-русски»: «В начале 2010-х, во время моей учебы в философской магистратуре, любые упоминания о постколониальной теории вызывали не более чем снисходительную улыбку даже у самых прогрессивных профессоров» [Мамедов 2022: 113].

Через эту оптику еще не привыкли смотреть не только русские искусствоведы или культурологи, ни даже филологи, перед которыми лежит буквально море текстов, в том числе самых известных, буквально призывающих прочесть себя сквозь постколониальную оптику. И тем не менее в 2010-е годы

> постколониализм, столь популярный на Западе, на литературной карте России продолжает оставаться белым пятном. Сам термин иной раз встречается в критике, но так редко… <…> Корпус работ, серьезно разрабатывающих постколониальный дискурс применительно к русской литературе, невелик, и показательно, что большинство из них написано или западными учеными, или российскими литературоведами, связанными с западной академией, такими как А. Эткинд или Г. Гусейнов [Брейнингер 2012: 166].

Судя по опубликованной в начале 2020 года в журнале «НЛО» статье доктора филологических наук Элеоноры Шафранской, к началу 2020-х ситуация не слишком изменилась:

> Неспешность, с которой набирает обороты процесс изучения постколониальных проблем в литературе, видимо, закономерна… сказывается инерция экзистенциальных парадигм — пропагандисты и столпы, формирующие картину мира у сограждан (будь то учебники или популярная научная литература), ни за что не откажутся от устоявшихся идеологем, для них неприемлем термин «колониальная держава» в отношении СССР. Программы немногочисленных конференций, проходящих в России и посвященных колониальной и постколониальной проблематике в литературе, сосредоточены в основном на материале зарубежной литературы… проблема колониальности и постколониальности в литературе в подавляющем большинстве исследуется на материале англоязычной литературы (британской, американской, индийской), французской, болгарской, сербской, польской и др. Русская литература крайне редко выступает объектом колониального и постколониального дискурса [Шафранская 2020].

Действительно, как и во времена СССР, мы продолжаем считать или делать вид, что проблема колониальности — это где-то у них, на Западе, мы же сами можем традиционно выступать только в качестве борцов с этим явлением — М. Тлостанова называет это явление «колониальной амнезией» в России.

Вопрос о том, был ли Советский Союз империей, до сих пор еще не решен, и неизвестно, может ли он в России быть однозначно решен в принципе — на эту тему есть замечательная лекция историка Сергея Абашина, находящаяся на момент написания этой статьи в общем доступе[7].

На рубеже 2010—2020-х годов, однако, по наблюдению немногих ученых, занимающихся проблемой постколониализма и деколониальности, а также интересующихся этой темы, в России произошел взрыв интереса к ней. Прошло нескольких конференций по теме — например, конференция «Пост-что? нео-как? Современные конфигурации бывшего советского пространства» в музее «Гараж» 22—23 ноября 2019 года, было запущено как минимум два лекционных курса на независимых образовательных платформах (некоторые из которых все еще можно прослушать), например стоит упомянуть курс «(Пост)колониальные исследования», вышедший в 2020-м году на платформе Neon University, или курс «(Пост)колониальное знание и искусство» на платформе «Среда обучения», а также было переведено и издано нескольких важных книг и сборников по данной теме.

Что же касается российских университетов, то курсов, которые могли бы помочь студентам осмыслить историю СССР с точки зрения постколониальной теории, на сегодняшний день крайне мало. Так, в Школе исторических наук ВШЭ есть курс «Постколониальные исследования и история империй XX века», который, впрочем, почти не затрагивает послевоенную историю СССР и касается в большей мере «западных держав». В Шанинке на программе Политической философии есть курс «Ориентализм и постколониальные исследования». Но курсов, анализирующих литературу и искусства с точки зрения постколониальной теории, автору статьи найти не удалось.

---

7 *Абашин С.* Был ли Советский Союз колониальной империей? // https://www.youtube.com/watch?v=pP_F1Rk97kQ (дата обращения: 13.10.2022).

Как видно, предпринятых на сегодняшний день усилий и уж тем более достижений на ниве насаждения постколониальной теории и уж тем более деколониального взгляда на русскую почву все еще, можно сказать, исчезающе мало, и уж точно количество курсов, книг и конференций по данной теме совершенно не соразмерно тому количеству исторических событий и проблем, которые продолжают мощно влиять на нас сегодня. Специалистов по постколониальной теории в России буквально можно пересчитать по пальцам одной руки.

Что же мы имеем по прошествии с Венского конгресса десяти лет? Если в 2012 году белое пятно вместо РСФСР на карте советского модернизма вызывало непривычные и смешанные чувства, то в 2022-м исключение, или, на новоязе, «кенселлинг» русской культуры стал повседневностью, вызванной как раз отказом от деколонизации. Возможно, отсутствие за эти десять лет сколь-либо серьезной дискуссии о постколониализме и случившееся связаны между собой.

Сегодняшняя ситуация в России, с одной стороны, очевидно препятствует изучению чего-либо, в том числе архитектуры советского модернизма, через постколониальную оптику, с другой стороны — буквально взывает об этом. Оборачиваясь назад, ясно видишь, что время упущено и необходимо «нагонять».

Архитектура советского модернизма и стоящий за ней пресловутый «государственный аппарат» сегодня — это, очевидно, один из ключей к пониманию вопроса о том, что произошло во взаимоотношениях между «центром» и «республиками» во второй половине XX века и, возможно, один из многих путей к столь необходимой нам сегодня и в будущем деколонизации сознания.

На сегодняшний день возможности изучения источников и памятников бывших союзных республик, сегодня независимых государств, крайне ограничены и по этическим соображениям (даже вопрос о том, можно ли включать ли памятники, находящиеся сегодня на территории других государств, но построенные во времена СССР российскими архитекторами, в статью о русской архитектуре XX века, вызывает сегодня споры и не решается среди профессионалов однозначно), и по причинам физической недоступности. Едва ли не единственный выход и, наверное, самая важная задача сегодня для российских ученых — приложить максимальные усилия к глубокому изучению и анализу вопроса о том, что происходило «в центре», внутри, однако с полным вниманием к тому, как это влияло на другие республики.

Уже сегодня понятно, что архитектурная политика СССР в длинную эпоху советского модернизма с его идеологией универсализма отнюдь не была однородной. Несмотря на декларировавшееся всеобщее равенство и, казалось бы, общую для всех республик на протяжении всех лет существования СССР формулу «национальная по форме, социалистическая по содержанию», Москва выстраивала и проводила свою политику в области архитектуры с разными республиками совершенно по-разному, на различных уровнях вмешиваясь в инициированный ей же самой процесс адаптации универсальных идей модернизма к локальным культурным, средовым и другим контекстам. Реакция на нее, соответственно, тоже была разной в разных республиках и зависела от множества факторов.

Даже сам поворот к модернизму 1955 года в советской Прибалтике, например, был воспринят как освобождение от «русской» (как она воспринималась) сталинской архитектуры и возможность обращения к гораздо более близкой

эстетике скандинавского модернизма[8]. В Казахской ССР этот поворот, судя по протоколам совещаний, большинством архитекторов был без энтузиазма понят как требование отказа от национальной идентичности в архитектуре.

Еще более интересные «повороты» в политике начались, однако, в первой половине 1960-х, когда «интернациональный» стиль в первую очередь в республиках Закавказья и Средней Азии (в терминах того времени) постепенно стал вновь обрастать национальным декором.

В Узбекской ССР, судя по результатам исследования Бориса Чуховича, после ташкентского землетрясения 1966 года намерением в первую очередь местных элит проводилась политика «искусственной ориентализации», зачастую руками московских архитекторов.

В Армении, например, уже в середине 1960-х годов модернистская архитектура стала приобретать национальные черты, и «центр» этому не препятствовал, стремясь, вероятно, таким образом нейтрализовать эмоции, обострившиеся в республике после полувековой годовщины армянского геноцида в Османской империи.

Вопрос о развитии модернизма в РСФСР, Белорусской и Украинской ССР сегодня же представляется чрезвычайно сложным. По предположению Алексея Радинского,

> поиски «национальной специфики» прибалтийского, белорусского или украинского неомодернизма если не бессмысленны, то как минимум обманчивы. Действительным горизонтом для большинства работающих тут архитекторов был актуальный космополитический модернизм, а «национальная специфика» чаще всего воспринималась как орнаментальный пережиток предыдущей эпохи. И если прибалтийские архитекторы, оппозиционно настроенные по отношению к российскому доминированию, выстраивали что-то вроде самобытных стилей на основе доступных западных образцов, прежде всего скандинавских, то в Белоруссии и на Украине создавались произведения, которые напрямую соотносились с тогдашним авангардом архитектурного модернизма. *Противостояние имперскому центру* (курсив мой. — *О.К.*) все реже проявлялось в желании влепить национальную форму в модернистскую оболочку и все чаще — в стремлении обойтись без посредничества Москвы и самостоятельно обратиться к актуальной западной архитектуре [Радинский 2013].

Однако может существовать и другая версия ответа на вопрос, что могло быть причиной отказа от «национальных» черт в архитектуре РСФСР, УССР и БССР (нам кажется логичным объединить эти три республики, а Прибалтику рассматривать отдельно). Возможно, помимо внутренней причины в виде желания архитекторов работать напрямую с тогдашним «западным авангардом архитектурного модернизма», существовало и понимание «центром» и «ар-

8 Характеризуя архитектурную идентичность регионов, Катарина Риттер отмечает, что в архитектуре советской Прибалтики явно прослеживается ориентация на Скандинавию: «Простые, функциональные формы, точность деталей и относительно высокое качество исполнения нечасто ассоциируются с представлением о советских строениях. В прибалтийских республиках, и особенно в Эстонии, не было выраженной “русификации” профессии архитектора. К тому же прибалты как до, так и после Второй мировой войны довольно прочно идентифицировались с концепцией модернизма, в то время как сталинская архитектура считалась частью русской культуры, а потому чем-то чуждым» (цит. по: [Илтнере 2013]).

хитектурным аппаратом», каким республикам можно «позволять» наращивать национальную идентичность в архитектурной форме, а каким — не стоит. В таком случае внешнее давление властей и внутреннее стремление архитекторов из БССР и УССР могли на какое-то время совпасть.

Описанные выше примеры — это лишь предположения и штрихи в огромной картине советской национальной политики в области архитектуры эпохи советского модернизма. Сегодня очевидно, что именно формировавший национальную политику СССР в области архитектуры «государственный аппарат» оказался самым большим белым пятном в исследованиях советской архитектуры, поскольку поколение архитекторов и исследователей, в основном сформировавшее свои взгляды до 1991 года, предпочитает о нем забыть, а «младшее» поколение — имеет очень слабое представление о том, как он функционировал, основанное в первую очередь на весьма сжатых рассказах «старшего поколения». Тем не менее в изучении механизмов власти и их влияния на искусство и культуру в позднем СССР, возможно, как раз и находится ключ к пониманию проблем настоящего, и архитектура как искусство, которое во все эпохи наиболее близко соприкасается с политикой, является сегодня важнейшим источником информации и объектом для максимально пристального изучения.

Библиография / References

[Брейнингер 2012] — *Брейнингер О.* Безмолвный протест // Октябрь. 2012. № 10. С. 166—169.

(*Brejninger O.* Bezmolvnyj protest // Oktober. 2012. № 10. P. 166—169.)

[Броновицкая, Малинин 2018] — *Броновицкая А., Малинин Н.* Алма-Ата. Архитектура советского модернизма 1955—1991. М.: Гараж, 2018.

(*Bronovitskaya A., Malinin N.* Alma-Ata. Arhitektura sovetskogo modernizma 1955—1991. Moscow, 2018.)

[Илтнере 2013] — *Илтнере А.* Постсоветский анамнез // Arterritory. 2013. 11 февраля (https://arterritory.com/ru/arhitektura_dizain—moda/stati/5931-postsovetskii_anamnez (дата обращения: 13.10.2022)).

(*Iltnere A.* Postsovetskiy anamnez // Arterritory. 2013. February 11 (https://arterritory.com/ru/arhitektura_dizain—moda/stati/5931-postsovetskii_anamnez (accessed: 13.10.2022)).)

[Казакова 2013] — Эстетика «оттепели». Новое в архитектуре, искусстве, культуре / Под ред. О. Казаковой. М.: РОССПЭН, 2013.

(*Kazakova O.* Estetika “ottepeli”. Novoe v arhitekture, iskusstve, kul’ture / Ed. by O. Kazakova. Moscow, 2013.)

[Курляндева, Воротынцева 2017] — Оттепель / Сост. А. Курляндцева, Ю. Воротынцева. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2017.

(Ottepel’ / Ed. by A. Kurlyandceva, Yu. Vorotynceva. Moscow, 2017.)

[Мамедов 2022] — *Мамедов Г.* Соучастие. О колониальности по-русски // Деколониальность. Настоящее и будущее / Под ред. Е. Джаббаровой. М.: Горизонталь, 2022. С. 112—127.

(*Mamedov G.* Souchastie. O kolonial’nosti po-russki. // Dekolonial’nost’. Nastoyashchee i budushchee / Ed. by E. Dzhabbarova. Moscow, 2022. P. 112—127.)

[Новиков, Белоголовский 2010] — *Новиков Ф., Белоголовский В.* Советский модернизм 1955—1985. Екатеринбург: Tatlin, 2010.

(*Novikov F., Belogolovskyj V.* Sovetskiy modernizm 1955—1985. Ekaterinburg, 2010.)

[Радинский 2013] — *Радинский А.* Окраина наносит ответный удар // Colta.ru. 2013. 5 февраля (http://archives.colta.ru/docs/12396 (дата обращения: 12.10.2022)).

(*Radinskij A.* Okraina nanosit otvetnyy udar // Colta.ru. 2013. February 5 (http://archives.colta.ru/docs/12396 (accessed: 13.10.2022)).)

[Тлостанова 2020] — *Тлостанова М.* Деколониальность бытия, знания и ощущения. Алматы: Центр современной культуры «Целинный», 2020.

(*Tlostanova M.* Dekolonial'nost' bytiya, znaniya i oshchushcheniya. Almaty, 2020.)

[Шафранская 2020] — *Шафранская Э.* О русском ориентализме, «русском мире» в колониальной литературе и их переосмыслении в литературе постколониальной // Новое литературное обозрение. 2020. № 161 (https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21984/ (дата обращения: 12.10.2022)).

(*Shafranskaya E.* O russkom orientalizme, "russkom mire" v kolonial'noy literature i ikh pereosmyslenii v literature postkolonial'noy // Novoe literaturnoe obozrenie. 2020. № 161 (https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21984/ (accessed: 13.10.2022)).)

[Эткинд 2013] — *Эткинд А.* Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

(*Etkind A.* Internal colonization. Russia's imperial experience. Moscow, 2013. — In Russ.)

[Юрчак 2014] — *Юрчак А.* Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение / Пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

(*Yurchak A.* Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation. Moscow, 2014. — In Russ.)

[Яралов 1971] — *Яралов Ю.* Национальное и интернациональное в советской архитектуре. М.: Стройиздат, 1971.

(*Yaralov Yu.* Natsional'noe i internatsional'noe v sovetskoy arhitekture. Moscow, 1971.)

[Ritter et al. 2012] — Soviet Modernism 1955—1991. Unknown History / Comp. by K. Ritter, E. Shapiro-Obermair, A. Wachter. Wien: Architekturzentrum, 2012.

[Chaubin 2011] — *Chaubin F.* Cosmic Communist Constructions Photographed. Köln: Tashen, 2011.

Лёля Кантор-Казовская

Взгляд на Сретенский бульвар из Восточной Европы и децентрализация нарратива о международном модернизме[1]

Lola Kantor-Kazovsky

A Look at Sretensky Boulevard from Eastern Europe and Decentralization of the Narrative of International Modernism

Лёля Кантор-Казовская (Еврейский университет в Иерусалиме, доцент кафедры истории искусства; PhD) mslola@mail.huji.ac.il.

Ключевые слова: школа Сретенского бульвара, неофициальное искусство, модернизм, авангард, автономия искусства, экзистенциализм

УДК: 7+7.1+7.3
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_335

Статья посвящена особенностям неофициального искусства Москвы, на которые проливает свет статья «Московский дневник» чешского критика Йиндржиха Халупецкого, написанная для англоязычного читателя и опубликованная в 1973 году в Studio International. Наблюдения и выводы Халупецкого во многом не совпадают с нарративом самих художников, который потом укоренился в критике и перешел в историю русского искусства. Халупецки обращает внимание на парадокс политической вовлеченности, казалось бы, автономного искусства и видит в творчестве московских художников подтверждение своей теории о том, что искусство может нести авангардный политический заряд, оставаясь «сакральной» сферой. Его антимарксистские идеи основаны на теории искусства европейского авангарда и экзистенциализме. В последующих статьях он сравнивает два типа внешнего давления на художника в социалистических и капиталистических странах, обсуждая достоинства и недостатки обеих систем.

Lola Kantor-Kazovsky (PhD; Senior lecturer of the Department of Art History, The Hebrew University of Jerusalem) mslola@mail.hiji.ac.il.

Key words: school of Sretensky boulevard, unofficial art, modernism, avant-garde, artistic autonomy, existentialism

UDC: 7+7.1+7.3
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_335

This article is on the distinctive qualities of the unofficial art of Moscow, upon which light was shed in an article the “Moscow Diary” by the Czech art critic Jindřich Chalupecký. This article was written for English-speaking readers and published in 1973 in *Studio International.* Chalupecký’s observations and conclusions about art in Moscow do not match the narratives of the artists themselves, upon which art critics and historians of Russian art still use to base their idea of unofficial art. Chalupecký turns his attention to the paradox of political involvement of seemingly autonomous art and sees in the works of Moscow artists an affirmation of his theory about how art can carry avant-garde political charge while remaining in the “sacral” sphere. His anti-Marxist ideas were based on the theories of the avant-garde, as well as existentialism. In subsequent articles, he compares two types of external pressure on the artist, in socialist and capitalist countries, discussing the advantages and shortcomings of both of these systems.

Памяти моего отца, А.М. Кантора, от которого я впервые услышала об Йиндржихе Халупецком

Коварный вопрос о том, в каком отношении неофициальное искусство, возникшее в Москве в 1960-х годах, находится к художественному процессу

1 Исследование проведено в рамках проекта «Art History and Cultural Politics: 60 Years of the Russian Avant-garde’s Global Reception in Art, Scholarship, and Museology», финансируемого Israeli Science Foundation.

того времени в целом, многим кажется давно решенным. Считается, что — во всяком случае до появления московской концептуальной школы — это течение было подражательным и воспроизводило те или иные западные «стили» [Baigell 1996]. Тут есть несколько проблем, которые ставят такой диагноз под сомнение. Первая — вопрос представительности корпуса, к которому относились эти обобщенные характеристики. Вторая — неразличение влияния и подражания. Влияние западных художников на московскую ситуацию действительно очевидно, но нет и не существует абсолютно оригинального искусства, возникающего без всякого влияния, а четкую грань между двумя этими феноменами в московском искусстве никто пока не провел.

Тем временем (а конкретно — за последние двадцать лет), концепция того, что представляет собой художественный процесс того или иного периода «в целом», претерпела серьезную коррекцию и стала не так проста, как прежде, когда за целое автоматически принималась его наиболее известная (западная) часть. Раньше определить место не-западного художника в общем художественном процессе означало понять, с каким течением в «большом западном нарративе» его можно связать по принципу похожести. В этом случае сам язык описания уже ограничивал взгляд на художника вопросом о более или менее удачной вариации известного. Критикуя такой подход (и последнюю каноническую версию производимой им истории искусства, книгу «Искусство после 1900 года»), Джефри Батчен писал, что в этой модели искусство

> берет свое начало в мировых финансовых и политических центрах, а затем передается в провинцию — куда оно приходит иногда быстро, иногда медленнее, но всегда с опозданием и с чужого плеча. Молчаливо предполагается, что современное искусство, произведенное за пределами этих центров, по своей сути неоригинально, представляя собой имитацию того, что уже произошло в центре [Batchen 2006: 8].

Сегодня, когда намеченный новой критикой проект децентрализации истории модернизма (и деколонизации ее частей) уже принял определенный очертания, «целое» понимается не как «оригинал», дополненный набором отдаленных «копий», а скорее как мозаика разных, но взаимосвязанных локальных ситуаций. Представление о московском искусстве как о несовершенной кальке с «оригинала», тоже пора пересмотреть, поскольку оно основано на прежней теоретической схеме и, что не менее проблематично, на авангардном «мифе оригинальности» [Krauss 1986]. Задача настоящей статьи — начать конструирование другого взгляда на историю неофициального искусства и показать, где и в чем оно представляет собой особенный вариант модернизма и в каком отношении оно находится к искусству и художественным процессам других стран.

Направление этому проекту придало чтение важного источника, статьи чешского критика Йиндржиха Халупецкого «Московский дневник» [Chalupecký 1973]. Халупецки (1910—1990) — одна из главных фигур художественной жизни Центральной Европы и самый влиятельный чешский критик и теоретик XX века, сформировавшийся в левой среде довоенного авангарда, лидер пражской группы «42» (1942—1948) [Piotrowski 2009: 53—58]. Он продолжал деятельность неангажированного критика и при социализме, много писал просто в стол, но периодически печатался в зарубежной прессе. На Западе он считался признанным специалистом по творчеству Дюшана (см.: [Chalupecký 1985]) и острым ана-

литиком современного искусства[2]. Его «Дневник» — рассказ о встречах с московскими художниками неофициального круга — известен специалистам как текст, в котором впервые появилось понятие «школа Сретенского бульвара». Для меня же существенно, что эта статья была опубликована в лондонском «Studio international», для того чтобы представить специфическую московскую ситуацию западной публике, служить медиатором между двумя художественными сценами. Теоретический инструментарий, с помощью которого критик решал эту проблему, представляет особенный интерес в рамках нашей задачи.

Основную часть статьи — рассказ о походе по мастерским и собраниям — нет смысла пересказывать, так как большинство реалий хорошо знакомы современному читателю, знающему историю русского искусства. Сосредоточимся на некоторых суждениях Халупецкого, которые с трудом вписываются в привычную для нас схему понимания процессов искусства того времени[3]. Именно эти суждения отражают особое устройство его текста, который был написан критиком, сформированным внутри западной культуры, но жившим в стране, принадлежавшей к социалистическому блоку, и одновременно знавшим ситуацию в Москве из первых рук. Таким образом, он соединял в себе даже не две, а три тогдашние оптики: западную, советскую и промежуточную оптику культуры-посредника.

Из всех эпизодов я сосредоточусь на одном, как представляется, самом важном. На второй день после приезда Халупецки начал ходить по мастерским «художников Сретенского бульвара» и в конце дня собрал их в мастерской Ильи Кабакова, для того чтобы поделиться с ними сведениями об актуальных течениях в современном искусстве Запада. Впечатления первого дня от новых работ Владимира Янкилевского и Виктора Пивоварова и беседа с художниками составляют одну продолжительную запись:

> Современные московские художники не выставляют свои работы, и можно было бы предположить, что они погружены в нарциссическое культивирование своего частного художественного мира. Поэтому отрадным сюрпризом было для меня обнаружить, что здесь развитие идет в противоположном направлении. Эти художники ставят свое искусство в сложное и рискованное противостояние с окружающей их действительностью. От этого оно приобретает новое значение, которое, в свою очередь, является источником новых форм. Это радикальное противостояние с окружающей действительностью и есть ключевой фактор развития современного искусства в Советском Союзе.
>
> ...Я знаю, что в Москве трудно добыть информацию о современном искусстве. Поэтому я привез с собой ряд репродукций и постарался дать общее представление о том, что происходит сейчас, — от абстракции и поп-арта до фотореализма и концептуального искусства. Я говорил о том, что искусство сегодня выходит за пределы собственно художественного, в другую, трудно определимую область: оно больше не принадлежит к тому типу деятельности, который мы привыкли называть искус-

2 См. о нем слова от редакции в лондонском «Art Monthly», предваряющие его статью [Chalupecký 1984]. Наследие Халупецкого тщательно изучается в Чехии, см. вебсайт научного общества его имени: https://www.sjch.cz/en/chalupecky-in-the-world/ (дата обращения: 31.10.2022).

3 Несовпадение его взгляда, в частности его выбора значимых фигур, со схемой истории неофициального искусства, выстроенной в самой Москве, уже отмечал Томаш Гланц [Glanc 2000: 41].

> ством, приближаясь к пределам сакрального (sacred). Все внимательно слушали меня. В самом деле, рвение (devotion), которое эта небольшая группа художников вносит в свою деятельность, можно объяснить, только если предположить, что то, во что они погружены — это уже не просто искусство, напротив, нечто гораздо более ценное, чем искусство, и даже более важное, чем сама жизнь [Chalupecký 1973: 85].

Два момента этого рассуждения контрастируют с тем, как принято было смотреть на неофициальное искусство в московской художественной среде. Первый — мысль Халупецкого о соотношении автономности искусства («частного художественного мира») и его политической оппозиционности. Художники «школы Сретенского бульвара» не считали таковую достоинством искусства, скорее наоборот. Халупецки же выявляет политические импликации этой вроде бы последовательно аполитичной позиции. Он считает важным, что московское искусство не самодостаточно, что оно — часть актуальных политических противостояний сегодняшнего дня.

Второй момент — утверждение о сходстве внутренних интенций московской группы с позициями некоторых художников Запада: это сходство, по мнению Халупецкого, заключалось в предполагаемом выходе из пределов искусства к «сакральному». Это еще больше смутило бы московских художников, которые с определенного момента тщательно избегали упоминания «сакрального», то есть содержания, известного в принятой сегодня иронической терминологии как «духовка». У Халупецкого оба эти момента не случайные обмолвки, а указание именно на те черты, которые, к добру или к худу, были спровоцированы местными условиями, в которых развивалось московское искусство. Может быть, отчасти поэтому связывать эти позиции с собственным творчеством было не для всех и не всегда комфортно.

Так или иначе, общение с московскими художниками дало Халупецкому материал для заключений, которые, как мы увидим далее, проходят и через другие его сочинения. При этом теоретические рамки рассуждений Халупецкого имеют не московское происхождение. В частности, речь у него идет не о русской «духовке», а о сакральном в ином смысле слова, и этот смысл нуждается в объяснении для того, чтобы потом сложить две эти взаимосвязанные перспективы в общую картину.

Три понятия, организующие его дискурс, — «автономное», «политическое» и «сакральное» — это категории, принадлежащие неомарксистской социологии искусства, в диалоге с которой и написана эта часть «Дневника». «Сакральное» в этом контексте — одна из существенных характеристик автономного состояния искусства. Как писал Вальтер Беньямин, искусство, когда-то отделившееся от религии, в Новое время стало ее секулярной формой и авторитетным автономным институтом, местом эстетического культа, независимого от всякой другой социальной функции. Но эта культурно-историческая парадигма закончилась. «Место ритуального основания [сегодня] занимает другая практическая деятельность: политическая» [Беньямин 1996: 28]. Согласно Герберту Маркузе, эстетический культ автономного искусства не только принадлежит старой культурной парадигме, он несет вред обществу: замкнутое в своей эстетической функции, искусство через доставляемое им удовольствие делает действительность приемлемой для человека, то есть, как своего рода «опиум для народа», компенсирует те проблемы, с которыми революционный индивидуум должен бороться [Marcuse 2007]. Как и другие положения Маркузе, эта

концепция, требующая от искусства выхода из художественной автономии к политическому действию, стала особенно влиятельной в ходе и в результате событий 1968 года. Ее развернул и выдвинул заново в своей «Теории авангарда» (1974) влиятельный немецкий теоретик литературы Петер Бюргер, в представлении которого главная черта художественного авангарда — это его революционная направленность, связанная с критикой автономного искусства как буржуазного общественного института [Бюргер 2014]. Позиция Халупецкого в «Московском дневнике» существенно иная: почти одновременно с книгой Бюргера (которая надолго определит критический мейнстрим) Халупецкий утверждает, что «автономная» живопись московского неофициального искусства — явление, ставящее под сомнение маркузианскую схему. Автономное искусство тоже может быть авангардным, обладать имплицитной политической интенциональностью и в силу этого создавать новые формы. Более того, политическая оппозиционность и квазирелигиозное «рвение» (дословно devotion) адептов автономного культа не противоречат друг другу.

Таким образом, автор «Московского дневника» не только информирует прогрессивного западного читателя о положении дел в Москве, но и вступает в полемику со знакомым этому читателю теоретическим нарративом, по отношению к которому московская модель автономного искусства, как он выражается, «является сюрпризом». Разумеется, его выводы не претендуют на универсальность, а характеризуют ситуацию в определенном месте. Однако, отмечая эти локальные особенности, он очевидным образом солидаризуется с тем, что он описывает, и, как мы увидим далее, его позиция обусловлена тем, что эта локальная ситуация не ограничивается Москвой, распространяясь в том числе и на обстоятельства самого критика.

О том, что эта локальность — политико-географическая, можно понять из других текстов Халупецкого. Когда он пишет в англоязычной прессе о московских или пражских художниках, он не только описывает их творчество, но и старается обсудить возможности развития современного искусства в мире, где все общественные условия перевернуты, в силу чего там, за железным занавесом, культурное поле устроено иным образом, зеркально противоположным по отношению к Западу. С точки зрения Халупецкого, этот другой мир искусства жив, разнообразен и наполнен творческим напряжением не менее, чем западный, а в определенном отношении имеет свои преимущества, наблюдения за которыми небесполезны и, как он надеялся, могли бы помочь локализовать и компенсировать недостатки, от которых не свободен западный мир.

Примерно за двадцать лет до своих поездок в Москву Халупецки в подробностях описал интеллектуальную историю перехода интеллигенции Центральной и Восточной Европы в этот «зазеркальный» мир. Его статья «Интеллектуал при социализме» (1948) [Chalupecký 2002] позволяет взглянуть на этот процесс поэтапно. В новообразованных социалистических странах традиционно левая марксистская интеллигенция (к которой он сам принадлежал) приветствовала перспективу построения новой социалистической культуры. Но когда коммунисты советского образца начали насаждать свою тоталитарную модель марксистского общества, левые интеллектуалы потеряли веру в социальную плодотворность марксистской идеологии. Их антикоммунистическое инакомыслие стало антимарксистским.

В этом отношении к марксизму и заключалась основная причина противоположной конфигурации критического дискурса в двух половинах полити-

чески разделенного мира. В то время как на Западе марксизм в его новых модификациях был орудием общественной критики, в восточном блоке он выполнял функцию ортодоксальной «церкви», которую нужно было критиковать. И напротив, метафизические или спиритуалистические учения, противоположные марксизму и его философской составляющей, диалектическому материализму, стали играть роль общественной критики. Таким образом, истоки понимания Халупецким автономного творчества, и в особенности «сакрального» и культового элемента в искусстве, как неисчерпанного и критически заряженного, можно поставить в историко-политическую перспективу.

Разумеется, фронт идеологий, противостоящих марксизму, был очень широк — от религиозного традиционализма до современной философии. Критические виды искусства и культуры «зазеркального» мира на протяжении своего существования контактировали так или иначе со всем спектром антимарксистских учений. В свою очередь, представители самых разных слоев идейной оппозиции марксизму проявляли интерес к художественному процессу. Из опыта неофициального искусства в Советском Союзе мы знаем, что некоторые церковные деятели и нецерковные мистики уверяли художников в том, что их искусство стало провозвестником мистических или даже ортодоксально-церковных истин, и старались их направлять; на протяжении ряда лет такие отношения связывали художника Эдуарда Штейнберга с религиозным мыслителем Евгением Шифферсом [Фаликов 2018].

Самый внятный и полный источник сведений об искусстве Москвы того времени, воспоминания Ильи Кабакова, уделяет большое место религии и синкретических форм метафизики, или, как ее называли, «духовности», и их соотношению с неофициальным искусством. Как известно, в своем повествовании он разделяет развитие неофициального искусства на два периода: «метафизический», до 1974 года, и начиная с этого времени — «социальный» [Кабаков 2008: 89]. Хотя он описал здесь интерес к сакральному, делегировав его другим художникам и «опредметив» в иронических понятиях «духовка» и «нетленка», его воспоминания дают внятную классификацию религиозной иконографии и метафизических настроений в неофициальном искусстве, а также анализ творчества художников, в работах которых Кабаков наблюдал присутствие главной визуальной метафоры этих настроений — метафизического белого, или «света». Это были интересы, которые он в другой части воспоминаний, посвященной его собственным альбомам, описывает уже как свои и где идея метафизического света оказывается связанной именно с его произведениями. А атмосфера, в которой зародились его альбомы, оказывается по его ощущению сходной с атмосферой времени русского символизма:

> Это особое состояние, которое тогда многими чувствовалось и почти физически переживалось, возможно, было разлитым во всем уже происходившим переломом в каком-то большем, может быть глобальном смысле… При смене противостоящих друг другу эпох… возникает какое-то склонное к космизму сознание, особый интерес к высоким, неземным сверхчувственным флюидам… Как описывают, что-то подобное происходило в начале века с 1900 по 1910 год… [Там же: 132].

Если верить этому отрывку, по духу действительно напоминающему доклад Блока 1910 года [Блок 1962], то наблюдения Халупецкого о настроениях его московских знакомых в какой-то степени верны — им казалось, что они участвуют в событиях смены парадигмы глобального масштаба и метафизического уровня.

Но нужно понимать, что антимарксистские метафизические направления мысли были «фронтом» только по отношению к общему противнику, а по существу многие из них не были почти ни в чем не сходны между собой, а подчас и открыто враждебны друг другу. Как писал Тадеуш Кантор о развитии искусства в Польше, «в Польше не было сюрреализма, потому что в ней правила католическая церковь» [Piotrowski 2009: 46]. В Москве Шифферс отрицательно отнесся к идеям Халупецкого о сакральном и, как вспоминает Виктор Пивоваров, прервал ту самую лекцию неожиданной репликой: «А в нашего Бога Иисуса Христа веришь?» [Glanc 2000: 41]. Анализируя отношения неофициальных художников с разными направлениями интеллектуальной жизни, нужно отделять риторику, которой обменивались «по всему фронту», от того, что определяло внутреннюю логику развития современного искусства.

Определяющими и продуктивными именно в художественном смысле, по моему мнению, были два фактора: теории искусства, в свое время созданные художниками авангарда, и философия экзистенциализма. Их сочетание находится в основе одного из самых популярных художественных течений XX века — абстрактного экспрессионизма [Jachec 2000]. Оба эти направления заключают в себе критику материалистического учения, которое в рамках марксизма было объявлено «научным мировоззрением». Теоретики авангарда утверждали, что, напротив, наука не довольствуется простой и очевидной картиной материального мира как (по Ленину) «объективной реальности... которая дана человеку в ощущениях» [Ленин 1968: 149]. В их манифестах и теоретических сочинениях звучит требование постараться представить новые измерения и принципы, которые не воспринимаются человеческими органами чувств, но полагаются наукой [Henderson 1983]. В московской неофициальной культуре 1960-х годов сочинения поэтов и художников авангарда стали вновь актуальны и инструментальны как источник антимарксистской рефлексии, потому что «церковь» диалектического материализма главной своей догмой вновь объявила постулат наивного эмпиризма о том, что «ощущения» показывают нам «объективный» мир.

Об особой популярности экзистенциализма в Восточной и Центральной Европе, как формы реакции против «институализации марксизма», уже писал Петр Пиотровский [Piotrowski 2009: 73]. Экзистенциальная философия тоже отрицает противопоставление «реальности, данной в ощущениях» и воспринимающего субъекта. Основой экзистенциалистской метафизики было их изначальное единство, которое порождало взаимоотношения человека и мира, построенные по иному принципу, чем в картезианской модели. Эта философия привлекала заключенным в ней императивом индивидуалистической свободы, артикуляцией опыта противостояния мира и «я». Революционный импульс, заключенный в европейском (французском) экзистенциализме, был отличен от марксистского тем, что источником свободы здесь полагалось прежде всего индивидуальное воображение. Апелляция к воображению ставила искусство в привилегированное положение: именно оно имеет доступ к воображению и способно пробудить его в людях [Jachec 2000: 70].

Революционный импульс экзистенциализма был востребован как в социалистических, так и в капиталистических странах, только если на Западе он был направлен против капиталистического истеблишмента, то в восточном блоке — против социалистического. В обоих случаях испытавшее влияние экзистенциалистов искусство избегало прямого политического активизма и анга-

жированности в организованные виды борьбы, навязываемой марксистским пониманием политического искусства. Как говорил американский художник Уильям Базиотис, «когда демагоги от искусства призывают тебя делать социальное, понятное, хорошее искусство — плюнь на них и возвращайся в свои сны» [Hobbs 1997: 34]. Несведущий критик мог бы и его тоже легко заподозрить, как это выразил Халупецки, в «нарциссическом культивировании своего частного художественного мира». Но в философской системе экзистенциализма местом революционности было само искусство, или, выражаясь словами другого знаменитого художника-экзистенциалиста, «история современного искусства в определенные моменты может представлять историю современной свободы вообще» [Motherwell 2007: 28—29].

Халупецки тоже смотрит на искусство через призму этих двух направлений. Когда он пишет об отношении художника к природе, к видимому — в его словаре оживают теории авангарда. Когда он пишет об отношении художника и общества, он видит их через призму экзистенциальной философии Ясперса и Хайдеггера. Как я постараюсь показать, так устроен и его взгляд на московское искусство и его «оппозиционную автономность». Попав в первый раз в Москву в разгар Пражской весны в 1967 году по официальному приглашению, Халупецки, как следует из его отчета, опубликованного по-чешски [Chalupecký 1967a] и в том же году по-французски [Chalupecký 1967b], исследовал обе части советской художественной жизни — официальную и неофициальную. В конце этого текста он постарался сформулировать на философском уровне противоположность первой и второй. Насколько это можно было сделать сглаженным языком в официальной газете, он противопоставил цели ангажированного (то есть неавтономного) социалистического искусства, целям искусства, создаваемого в режиме автономии:

> Искусство должно вернуться к присущей именно ему задаче. Оно не должно приказывать или регулировать жизнь… Его настоящая глубокая цель — прославлять жизнь, создать пространство для того, чтобы она могла себя славить. Искусство нужно для того, чтобы люди могли понять, что им стоит прожить эту жизнь полностью и всецело. В этом и заключается мудрость и миссия искусства, несводимая к рациональности или морали [Ibid.: 25].

Эти слова можно интерпретировать так: официальная культура и искусство играют роль орудия «мира», ограничивающего человека, грубо инструментализирующего его/ее существование. Искусство же другого типа, сфера которого обозначена как автономная (и поэтому несводимая к истине и морали), рассматривается как возможность освобождения единичного человека от этого диктата, осознания им смысла собственного существования. Забота о смысле и наполненности существования отдельного, не коллективного человека находилась в явной оппозиции к целям коллективистской государственной политики, и этот момент определяет оппозиционную подоснову экзистенциалистской программы в социалистической стране.

Некоторые процессы, развивавшиеся в Москве, соответствовали этому экзистенциалистскому манифесту на практике, а может быть, и дали Халупецкому материал для таких мыслей. Из того немногого, что позже было записано из высказываний об искусстве Владимира Яковлева (особенно близкого Халупецкому из всех московских художников) следует, что формалистическое автономное творчество этого художника — цветы, абстракции, портреты — созна-

тельно преследовало экзистенциальную цель, сходную с той, которую декларировал Халупецки. Как записал слова Яковлева Михаил Фотиев, «в живописи должна быть жизненная энергия. Она должна дать человеку такие ощущения, с помощью которых он сможет потом организовать свою собственную жизнь и работу. Она должна показать ему, что такое порядок и чистота. В цвете должна быть доброта; он должен передавать динамику жизни, а не ее пустоту, нести что-то свежее и истинное» (цит. по: [Eimermacher 1995: 59]). Халупецки не случайно увлекся Яковлевым и в первый же приезд написал о нем статью в очевидно экзистенциалистском духе. Он описал его как живущего в ужасных условиях бедности, хронической депрессии, и — что особенно ужасно для художника — стремительно ухудшающегося зрения. То, что несмотря на эти условия Яковлев может передать в своих работах уникальные, нигде больше не существующие художественные ощущения, сделало его творчество в глазах Халупецкого метафорой «ненасытного голода, который человеческая свобода испытывает к миру — что и делает человека художником» [Chalupecký 1967c: 286].

Неомарксистская теория могла бы увидеть в Яковлеве демонстрацию парадокса автономного искусства: будь даже оно создано с критическим намерением, эффект обязательно будет «аффирмативным», то есть противоположным критическому. Однако на деле ситуация была противоположной. «Автономные» формалистические работы Яковлева, обращенные к psyche отдельного человека (и, как мы видим, сознательно), создали вокруг себя поле имплицитно-оппозиционного ажиотажа. Их искали, обсуждали, восхищались и продавали неофициально, тем самым создавая альтернативную культурную среду, которая неизбежно вовлекала и политических диссидентов. Хотя работавшие в «автономном» режиме художники всячески отграничивали свое искусство от политического активизма, эти две сферы фактически пересекались друг с другом. Некоторые диссиденты были поклонниками неофициального искусства, а любое движение художников навстречу публике (такое, как дни для посещений и неофициальных показов, организация выставок в квартирах) рассматривались властями как диссидентская деятельность. Статья «Бездельники карабкаются на Парнас»[4], предшествовавшая аресту Александра Гинзбурга, была по жанру литературно-художественной критикой (обращенной в том числе и на Яковлева). В практике Гинзбурга единство литературы, искусства и политики находит вполне ясное выражение.

Художники «Сретенского бульвара» тоже обращались к индивидууму, осмысляя, по мнению Халупецкого, «современный мир и судьбу человека в нем» [Chalupecký 1973: 82]. Остается выяснить, что рассказывал им Халупецки об искусстве Запада в той памятной лекции с репродукциями. Представление об этом можно почерпнуть из его статьи «Искусство и жертвоприношение» [Chalupecký 1978], опубликованной на несколько лет позже. Вспомним, что в «Дневнике» он описывал отношение московских художников к искусству как жертвенное: то, что они делают, для них «важнее, чем жизнь». В этом импульсе самопожертвования и заключалось, с его точки зрения, неявное глубинное сходство московской ситуации с положением художника на Западе. В статье «Искусство и жертвоприношение» развитие западного искусства было представлено как драма: «сакральная» и следующая за ней «десакрализован-

4 *Иващенко Ю.* Бездельники карабкаются на Парнас // Известия. 1960. 2 сентября.

ная» культурная формация в этом тексте не просто сменяют друг друга в историческом порядке, а вступают в конфликт. Одну сторону этого конфликта представляет художник. Это образ художника, почерпнутый из манифестов авангарда (очевидная параллель — «Творческое кредо» Пауля Клее [Klee 1961: 78]): вместо видимого мира он воспринимает лежащие за ним, творящие его силы. Из этих ощущений он строит свой мир, свое время и пространство, не имеющее ничего общего с обычным временем и пространством. В традиционных обществах, изучаемых антропологами, некоторые пространства закрыты — это священные пространства. Проникнув в них, человек может обновиться и получить силу. В современном обществе эту роль играет мир художника, который тоже должен быть закрыт и автономен. В десакрализованной парадигме, в которой оказывается мир сегодня, для этой автономии нет места. Художник в большей или меньшей степени чувствует себя оскорбленным и непонятым. Чтобы защитить себя, он/а отказывается делать художественные объекты, отказывается от звания художника/художницы и заявляет, что будет заниматься не-искусством и антиискусством. Он/а не собирается пользоваться успехом, которым может наградить его/ее общество, но сам/а добровольно подвергает себя унижению и осмеянию как священная жертва.

Принесение себя в жертву имеет глубокие антропологические корни, которые, как указывает Халупецки, Элиаде раскрывает в своей книге о мифе [Элиаде 2010]. Йозеф Бойс, Вито Аккончи, Марина Абрамович открывают в перформансах доступ для зрителей к своей интимной приватности, мучают себя (или, как Абрамович, позволяют себя мучить) и испытывают боль. Вместо производства объектов художник использует себя, свое тело и ставит его в опасное соотношение с другими телами. Таким образом, искусство, по мнению Халупецкого, приближается сегодня к священному акту — но где священный акт, там и опасность профанации. Жертвоприношение продается как развлечение, искусство привлекает эпигонов и дельцов. Художник то ли проживает публичное жертвоприношение, то ли продает документацию своих акций. Новые формы не-искусства привлекают не-художников, которые практикуют его с еще большим успехом.

Можно сказать, что Халупецки одновременно с западной критикой улавливает парадокс неоавангарда, который, выражаясь словами того же Бюргера, «институционализирует авангард как искусство, тем самым отрицая изначальную авангардистскую интенцию» [Бюргер 2014: 92]. Но Халупецки делает это на своем языке. В его оптике находятся оба сектора западной художественной сцены, «священный» и «профанирующий», и ее состояние он оценивает по их динамике. Насколько это можно проследить по его статьям, она складывается не в пользу художника. Постмодернизм, которому он посвящает острокритический пассаж в своей статье «Уже-не-искусство», почти совсем схлопывает возможность сакрального, от искусства остается одна риторика — «громкое и претенциозное красноречие» [Chalupecký 1984: 4].

Где же у художника больше шансов — там, где он находится в «опасном противостоянии» с властью, или там, где он подвержен давлению рынка, успеха и опасности профанации? На этот вопрос отвечает статья о чешском искусстве «Искусство в Богемии — его продавцы, администраторы и творцы» [Chalupecký 1990]. Она во многом основана на представлении об авангарде в социалистических странах, которое было сформулировано в «Московском дневнике». Халупецки утверждает, что условия художника на Западе и Востоке

сравнялись: в странах Восточного блока искусством управляет партийный администратор, который инструментализирует художника, навязывая ему свои цели с помощью экономического стимула. Ту же роль по отношению к художнику на Западе играет арт-бизнес. Чешский художник, имея возможность сравнивать, считает для себя первый и более грубый вид манипуляции менее опасным. Он не окружен обилием внешних стимулов (галереи, пресса, музеи, подогреваемая ими конкуренция), которыми окружены художники на Западе, и может использовать остатки автономии, ответственности только за самого себя, одиночества мастерской. Он может по своей воле выйти из анклава мастерской в жизнь и найти подходящее ему место встречи с обществом — на природе, в городе или другом им самим определенном месте, в котором его акция будет осмысленно привязана к локации.

Эта статья была написана в период ослабления советского режима и продиктована надеждой на то, что не только западный опыт будет воспринят в восточном блоке, но что и западный арт-мир извлечет уроки, посмотрев в свое восточное «зеркало». При этом сама мысль о том, что неофициальные художники «зазеркального» мира должны использовать те преимущества, которые исторически сложились в их обществах, появилась у Халупецкого раньше. Многие из его московских друзей взвешивали возможность эмиграции и видели в нем советчика и руководителя на этом пути, но он отговаривал их от этого шага. Он видел проблему не столько в практических вопросах, связанных с переменой места, сколько в иной «атмосфере» и в ином типе давления, с которым они столкнутся. Об этом он откровенно написал в 1973 году в письме, адресованном Штейнбергу, Кабакову и Янкилевскому (см.: [Маневич 2016: 103—104]). В заключительной части «Московского дневника» есть такой пассаж: «В этот раз со мной не было такого гида по Москве — самоотверженного (self-sacrificing), знающего и объективного — каким был Михаил Гробман, эмигрировавший в Израиль. Художник, который вырос в Советском Союзе, живущий в Израиле или вообще на Западе — как он может жить там, для чего? Как бы ни было, параллельно развитие искусства в обоих частях мира, моральные координаты существования художника здесь и там очень различны» [Chalupecký 1973: 96]. О том же самом он пишет Гробману в письмах[5]. Впрочем, ценность их переписки состоит в том, что она вышла за пределы обсуждения опасностей эмиграции и касается художественных вопросов. Очевидно, в духе их московских разговоров Гробман пишет Халупецкому о своей группе «Левиафан» [Kantor-Kazovsky 2022]. Эта группа, он считает, соотносит себя с ходом мирового авангарда «но у нас есть нечто, чего нельзя найти у других: магические, почти ритуальные работы», в результате чего «я опять попал в нонконформисты, но в другой среде, в других условиях»[6].

Как известно, в течение 1970-х годов критическая теория и постструктурализм стали доминировать в западной художественной критике. Появившийся в 1976 году журнал «October» стал флагманом этого направления, а его организаторы — лидирующими теоретиками искусства и критиками следующих нескольких десятилетий. В соответствии с представлением о том, что эра «культов» кончилась и началась эра политики, «October» и в своем названии,

5 Хранятся в личном архиве Гробмана (Тель-Авив).

6 Цитируется с разрешения автора. Письмо находится в фонде Халупецкого в Музее чешской литературы в Праге (Památník národního písemnictví).

и в программном редакционном заявлении провозгласил своей целью участие искусства и критики в осуществлении общественных перемен[7]. Разумеется, его ведущие авторы заняли позицию против спиритуализма в искусстве. В заостренно-контрастном виде эта тенденция представлена в знаменитой статье Розалинд Краус «Решетки» [Krauss 1979]. Она утверждала, что материалистическая «наука» победила в борьбе с «религией» и что между «сакральным» и «светским» лежит непреодолимая пропасть. Каждому в этой ситуации предстоит выбор между «верой» и «материализмом». Проблему или даже вину исторического авангарда и современного модернизма Краус видела в том, что они не сделали этот выбор. (При этом она как будто забывает, что обсуждает такой выбор не наука, а марксистская философия, объявившая себя научной идеологией.)

В неофициальном искусстве Москвы амбивалентная спиритуальность, унаследованная от авангарда (или состояние сомнения в том, что мир таков, каким он представляется чувствам), продолжала существовать и рефлексироваться, когда на Западе она уже стала окончательно неактуальна. В московское концептуальное искусство и в постмодернизм спиритуалистические темы неизменно продолжали входить, пусть даже в вопрошающем, «мерцающем» или ироничном виде. Именно в этом смысле, анализируя работы концептуального круга, Борис Гройс назвал эту линию «*романтическим* концептуализмом», отметив, что в этом течении — идет ли речь о перформансе или о языке, фотографии или тексте — «без увенчания мистическим опытом творческая активность кажется неполноценной» [Гройс 1979: 4].

Постепенное усиление культурного осмоса между двумя половинами разделенного мира, а затем и превращение мира в однополярный определили дрейф московского искусства в сторону от этой модели и сделали ее критику одним из центральных подходов в современной теории. Параллельно этой трансформации образование в России художественного рынка наподобие западного было поставлено в 1990-е годы в качестве приоритетной культурной задачи в области искусства [Долинина 2021].

Библиография / References

[Беньямин 1996] — *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Пер. С. Ромашко. М.: Медиум, 1996.

(*Benjamin W.* Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Moscow, 1996. — In Russ.)

[Блок 1962] — *Блок А.* О современном состоянии русского символизма // Блок А. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5. М.; Л.: Гос. изд-во худ. лит., 1962. С. 425—436.

(*Blok A.* O sovremennom sostoyanii russkogo simvolizma // Collected works: In 9 vols. Vol. 5. Moscow; Leningrad, 1962. P. 425—436.)

[Бюргер 2014] — *Бюргер П.* Теория авангарда / Пер. С. Ташкенова. М.: V-A-C Press, 2014.

(*Bürger P.* Theorie der Avantgarde. Moscow, 2014. — In Russ.)

[Гройс 1979] — *Гройс Б.* Московский романтический концептуализм // А—Я. 1979. № 1. С. 3—11.

7 Editorial // October. 1976. Vol. 1. P. 3.

(*Groys B.* Moskovskiy romanticheskiy kontseptualizm // A—Ya. 1979. № 1. P. 3—11.)

[Долинина 2021] — *Долинина К.* Изобразительное искусство 1990-х // 90-е: История великого поворота / Ред. Г. Сатаров. М.; Екатеринбург: Ельцин-центр, ВШЭ, 2021 (https://history90.ru/upload/iblock/79c/79c4aab8e76ea31e3ae922aa3639679a.pdf (дата обращения: 06.10.2022)).

(*Dolinina K.* Izobrazitel'noe iskustvo 1990-kh // 90-e: istoriya velikogo povorota / Ed. by G. Satarov. Moscow; Ekaterinenburg, 2021 (https://history90.ru/upload/iblock/79c/79c4aab8e76ea31e3ae922aa3639679a.pdf (accessed: 06.10.2022)).)

[Кабаков 2008] — *Кабаков И.* 60—70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

(*Kabakov I.* 60—70-e… Zapiski o neofitsial'noy zhizni v Moskve. Moscow, 2008.)

[Ленин 1968] — *Ленин В.И.* Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 18. М.: Издательство политической литературы, 1968.

(*Lenin V.I.* Materializm i empiriokrititsizm // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochineniy: In 55 vols. 5th ed. Vol. 18. Moscow, 1968.)

[Маневич 2016] — Эдик Штейнберг, материалы к биографии / Ред. Г. Маневич. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

(Edik Shteynberg, materialy k biografii / Ed. by G. Manevich. Moscow, 2016.)

[Фаликов 2018] — *Фаликов Б.* Миф Шиффера // Театр. 2018. № 33 http://oteatre.info/mif-shiffersa/ (дата обращения: 06.10.2022).

(*Falikov B.* Mif shiffersa // Teatr. 2018. № 33 (http://oteatre.info/mif-shiffersa/http://oteatre.info/mif-shiffersa/ (accessed: 06.10.2022)).)

[Элиаде 2010] — *Элиаде М.* Аспекты мифа / Пер. с фр. В.П. Большакова. М.: Академический проект, 2010.

(*Eliade M.* Aspects du mythe. Moscow, 2010. — In Russ.)

[Batchen 2006] — *Batchen G.* Guest Editorial: Local Modernisms // World Art. 2014. № 4. P. 7—15.

[Baigell 1996] — *Baigell M.* The View from the United States // From Gulag to Glasnost: Nonconformist Art from the Soviet Union / Ed. by A. Rosenfeld, N.T. Dodge. Rutgers: Thames and Hudson, 1996. P. 338—344.

[Chalupecký 1967a] — *Chalupecký J.* Moderní umění v SSSR // Výtvarná práce. 1967. 21 September.

[Chalupecký 1967b] — *Chalupecký J.* Ouverture à Moscou // Opus international. 1967. № 4. P. 22—25.

[Chalupecký 1967c] — *Chalupecký J.* Zázrak vidění // Výtvarná umění. 1967. № 6. P. 284—289.

[Chalupecký 1973] — *Chalupecký J.* Moscow Diary // Studio International. 1973. February. P. 82—96.

[Chalupecký 1978] — *Chalupecký J.* Art and Sacrifice // Flash Art. 1978. February—April. P. 33—35.

[Chalupecký 1984] — *Chalupecký J.* Art no Longer // Art Monthly. 1984. September. P. 3—5.

[Chalupecký 1985] — *Chalupecký J.* Marcel Duchamp: a Re-evaluation // Artibus et Historiae. 1985. Vol. 11. P. 125—136.

[Chalupecký 1990] — *Chalupecký J.* Art in Bohemia: its Merchants, Bureaucrats, and Creators // Cross Currents. 1990. Vol. 9. P. 147—162.

[Chalupecký 2002] — *Chalupecký J.* Intellectual under Socialism // Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s / Ed by L. Hoptman, T. Pospiszyl. New York: Museum of Modern Art, 2002. P. 29—37.

[Eimermacher 1995] — *Eimermacher K.* Jakovlev als Künstler // Vladimir Jakovlev: Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Bietigheim-Bissingen: Galerie Bayer, 1995. P. 42—69.

[Glanc 2000] — *Glanc T.* Ruskě mise Jindřicha Chalupeckého (s Viktorem Pivovarovem hovoří Tomáš Glanc) // Revolver revue. Kritická příloha. 2000. Vol. 6. № 17. P. 38—47.

[Henderson 1983] — *Henderson L.D.* The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art. Princeton: Princeton University Press, 1983.

[Hobbs 1997] — *Hobbs S.D.* The End of the American Avant-Garde. New York: New York University Press, 1997.

[Jachec 2000] — *Jachec N.* The philosophy and Politics of Abstract Expressionism, 1940—1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[Kantor-Kazovsky 2022] — *Kantor-Kazovsky L.* Reinventing Jewish Art in an Age of Multiple Modernities: Michail Grobman and the Leviathan Group. Boston: Brill, 2022 (forthcoming).

[Klee 1961] — *Klee P.* Notebooks. The Thinking Eye / Ed. by J. Spiller. London: Lund Humphries, 1961.

[Krauss 1979] — *Krauss R.* Grids // October. 1979. Vol. 9. P. 50—64.

[Krauss 1986] — *Krauss R.* The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986.

[Marcuse 2007] — *Marcuse H.* The Affirmative Character of Culture // Collected Papers of Herbert Marcuse: in 9 vols / Ed. D. Kellner. Vol. 4. London: Routledge, 2007. P. 82—113.

[Motherwell 2007] — *Motherwell R.* The Modern Painter's World // The Writings of Robert Motherwell / Ed. by D. Ashton, J. Banach. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 27—35.

[Piotrowski 2009] — *Piotrowski P.* In the Shadow of Yalta: The Avant-garde in Eastern Europe, 1945—1989 / Transl. by A. Brzyski. London: Reaktion Books, 2009.

Трудности перевода: становление теории моды в контексте российской гуманитарной мысли

Круглый стол журнала «Теория моды»

«XXVIII БАННЫЕ ЧТЕНИЯ “ТРАНСФОРМАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ”»

3 апреля 2022 года

Round Table Organized by the *Fashion Theory: Clothing, Body, Culture* Journal.
“XXVIII Bath House Readings ‘Transformation of Humanitarian Knowledge in Post-Soviet Russia’.”
April 3, 2022

УДК: 74; 7.01
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_348

В дискуссии выступили: **Людмила Алябьева** (НИУ ВШЭ, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура»), **Ольга Вайнштейн** (РГГУ), **Ксения Гусарова** (ИОН РАНХиГС; РГГУ), **Ирина Сироткина** (ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН), **Ольга Аннанурова** (ИОН РАНХиГС), а также главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» **Ирина Прохорова** и другие участники «Банных чтений», задававшие вопросы докладчикам.

UDC: 74; 7.01
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_348

The following speakers took part in the discussion: **Liudmila Aliabieva** (HSE University, editor-in-chief of the journal *Fashion Theory: Clothing, Body, Culture*), **Olga Vainshtein** (RSUH), **Ksenia Gusarova** (ISS RANEPA; RSUH), **Irina Sirotkina** (Institute of the History of Natural Science and Technology named after S.I. Vavilova RAS), **Olga Annanurova** (ISS RANEPA), along with the editor-in-chief of the *New Literary Observer* Publishing House **Irina Prokhorova** and other participants of the “Bath House Readings” who asked questions to the speakers.

Ирина Прохорова: Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем наши «Банные чтения», это третий и последний день. Как уже неоднократно говорили, мы проводим эту конференцию в очень сложных и трагических условиях, и тем не менее НЛО посчитало, что это сделать необходимо, потому что разговор идет не просто о трансформации гуманитарного знания в постсоветской России, а прежде всего о том, как нам оставаться в профессии, и вообще о профессии гуманитария в современном мире и в тех новых и страшных условиях,

в которых мы оказались. Как мы, способны ли, достаточно ли у нас инструментария и подходов, чтобы осмыслить эту реальность? И на повестке дня перед российскими, да и не только, интеллектуалами — перед всем славистическим миром — стоит вопрос о переосмыслении истории России. Об этом были доклады, шли разговоры и дебаты все два дня. И сегодня третий день у нас открывает круглый стол, организованный журналом «Теория моды», под названием «Трудности перевода: становление теории моды в контексте российской гуманитарной мысли».

В самом начале конференции Сергей Зенкин ставил вопрос о необходимости новой эпистемологической базы и того, на чем она будет держаться. И вот, чем дольше ты думаешь о теории моды — достаточно новой для нас дисциплине, хотя она существует с 2006 года благодаря возникновению журнала «Теория моды», инициированного Ольгой Вайнштейн и бессменным главным редактором Людмилой Алябьевой, все равно это достаточно новая дисциплина, которая до сих пор пробивает себе дорогу в отечественной гуманитарной мысли, — тем больше понимаешь, что она стягивает к себе самые разные подходы. Это и социология повседневности, это и гендерные исследования, и визуальные исследования. В общем, проще перечислить, что в нее не входит, так как эта маргинальная с точки зрения традиционной гуманитарной мысли дисциплина оказалась самой мобильной. Она лучше дает понять трансформацию общества, чем более традиционные дисциплины.

В прошлом году журнал «Теория моды» праздновал пятнадцатилетие. Когда этот журнал начинался в 2006 году — тут Ольга и Людмила не дадут мне соврать — у нас с трудом набирался десяток авторов, которые могли бы писать на эту тему, и двое из них были, собственно, инициаторами журнала. А сейчас мы видим, какой широкий круг отечественных исследователей принимает участие в деятельности журнала. И также помню комическую ситуацию, когда через год после начала журнала решили сделать конференцию и участников было больше, чем сидящих в зале. А сейчас любые лекции, любые мероприятия «Теории моды» собирают залы по сто-двести человек. Все это говорит о том, что эта дисциплина смогла укрепиться в российском обществе. Потому что она очень важна и продуктивна.

На этом я закончу свою речь и передам слово Людмиле Алябьевой, шеф-редактору журнала «Теория моды», также она представляет Высшую школу экономики. Она представит участников. Я надеюсь, это будет плодотворный круглый стол с большим количеством дебатов и рассуждений.

Людмила Алябьева: Ирина Дмитриевна, спасибо большое. Здравствуйте, коллеги. Меня напугали слова «бессменный шеф-редактор»: в нашем контексте звучит угрожающе. Я очень надеюсь, что в контексте «Теории моды» это ничем нам не грозит.

Дорогие коллеги, я с радостью представляю сегодняшних своих собеседников, таких partners in crime, потому что все они с самого начала работы «Теории моды» были рядом с журналом, поддерживали и вносили вклад в развитие дисциплины.

Прежде всего я хотела бы представить Ольгу Вайнштейн, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника ИВГИ РГГУ, автора идеи «Теории моды» и постоянного автора журнала, а также автора новой книги в серии «Библиотека журнала «Теория моды»», которая сейчас находится в работе.

Ирина Сироткина, кандидат психологических наук, исследователь двигательной культуры, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. Вавилова РАН.

Ксения Гусарова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник ИВГИ РГГУ и доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС.

Ольга Аннанурова, культуролог, старший преподаватель кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, редактор журнала «НЛО».

Все участники сегодняшней дискуссии преподавали на магистерской программе, которая была инициирована журналом «Теория моды» и работала на базе Шанинки.

Коллеги, спасибо вам огромное, что откликнулись в такое сложное время на призыв позаседать, поразмышлять. «Теория моды», конечно, к трудностям привыкла, но наступают тяжелые времена. И для вступления небольшая преамбула. Модная теория — это сравнительно молодая, сложившаяся в недрах культурных исследований дисциплина, консолидация которой приходится на 1990-е годы на Западе, что отчасти было связано с основанием журнала «Fashion Theory», партнера «Теории моды». Действительно, на долю теории моды выпало немало испытаний. На нее проецировались те же взгляды, что и на сам феномен моды. Как писала Валери Стил, редактор «Fashion Theory», в первом своем письме для первого выпуска журнала: «…фривольная, сексистская, нематериальная — одним словом, презренная»[1].

Сходным образом складывалась судьба дисциплины в России, где исследователи, имея дело с таким обманчиво-доступным предметом, как мода, должны были прикладывать дополнительные усилия, чтобы отстоять свое место под академическим солнцем. У каждого из здесь присутствующих, мне кажется, найдется по одной истории из жизни, когда они приходили читать лекцию, а от них ждали что-то в духе «а что сейчас в моде». И тут, конечно, приходилось разводить руками: мы, конечно, знаем, что сейчас носят, но хотелось бы немножко о другом.

Сегодня в рамках этого круглого стола мы, наверное, поговорим и о развитии самой дисциплины, о том, какие подходы она аккумулировала. Интересно, как это все работало в российском контексте, специфика рецепции нам также интересна.

Ну и, конечно, разговор неизбежно зайдет о сегодняшней ситуации. Теория моды — это дисциплина-космополит, мы на сегодняшний день провели огромное количество международных конференций и круглых столов, где рабочими языками были русский и английский. Интересно, как мы будем действовать дальше, потому что изоляция, которая грозит российской науке, для теории моды может стать серьезным вызовом.

Я бы, наверное, начала с введения в контекст: какие направления и подходы сыграли решающую роль в развитии fashion studies в глобальном контексте и какие из этих направлений оказались в большей мере востребованы в России, какие в меньшей, и с чем это может быть связано. Я адресую этот вопрос Ольге Вайнштейн, а потом мы с коллегами попробуем подключиться.

---

1 *Steele V.* Letter from the Editor // Fashion Theory. 1997. Vol. 1. № 1. P. 1.

Ольга Вайнштейн: Спасибо. Я попробую для затравки поделиться с вами своими рабочими соображениями: это не доклад, а скорее попытка постановки вопроса. Теория моды как сфера концептуального знания рано или поздно должна была задуматься о своих методологических основах. Уже с самого начала издания журнала «Fashion Theory» в 1997 году там начались методологические дискуссии. В частности, в четвертом выпуске второго тома (1998) журнал дал возможность высказаться участникам методологической дискуссии, начатой еще до этого на конференции в честь пятидесятилетия Галереи костюма Плэтт-Холл в Манчестере. Так продолжился знаменитый спор между, условно говоря, эмпириками и теоретиками. Эмпирический подход (object-based study) представляла блестящая исследовательница Лу Тейлор, которая написала статью «Doing the Laundry?»[2]. Это был классический подход музейных кураторов, знатоков костюма, для которых объект является первичным. А оппонентами стали университетские ученые, которые изучали костюм через визуальную репрезентацию и через словесные описания. Обе стороны обменивались нешуточными упреками: в частности, эмпирики (музейщики, кураторы и историки) обвиняли университетских академиков в эмпирическом невежестве. А те, в свою очередь, обвиняли историков в теоретической наивности. В том же номере культурологический подход был представлен блестящей статьей Кристофера Бруарда[3], которую, кстати, мы сразу же приметили для перевода в первый номер нашей российской «Теории моды» и которая до сих пор не потеряла актуальности. Там же была опубликована статья Валери Стил, отстаивающая тезис, что музей моды не просто хранилище платьев[4]. Наконец, статья Эйлин Рибейро была посвящена анализу костюма в живописи[5], то есть традиционная история костюма сразу попала в интердисциплинарный контекст и все время делались попытки найти какой-то синтез, компромисс между эмпирическими и теоретическими подходами.

Российская «Теория моды» сперва тоже пыталась представить обе эти тенденции: у нас публиковались и теоретики, и историки, но надо сказать, что изначальное поле уже напечатанного на тот момент не отличалось изобилием. Была, конечно, энциклопедия Раисы Кирсановой «Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.»[6], была книга о шекспировском костюме Аллы Черновой «Все краски мира, кроме желтой»[7], была старая классическая работа Петра Богатырева о функциях национального костюма Моравской Словакии (1937) — мы, кстати, потом ее переиздали с комментариями[8], —

---

2 *Taylor L.* Doing the Laundry? A Reassessment of Object-based Dress History // Fashion Theory. 1998. № 2 (4). P. 337—358.

3 *Breward C.* Cultures, Identities, Histories: Fashioning a Cultural Approach to Dress // Fashion Theory. 1998. № 2 (4). P. 301—313.

4 *Steele V.* A Museum of Fashion Is More Than a Clothes-Bag // Fashion Theory. 1998. № 2 (4). P. 327—335.

5 *Ribeiro A.* Re-Fashioning Art: Some Visual Approaches to the Study of the History of Dress // Fashion Theory. 1998. № 2 (4). P. 315—325.

6 *Кирсанова Р.М.* Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.: (Опыт энциклопедии) / Под ред. Т.Г. Морозовой, В.Д. Синюкова. М.: Большая российская энциклопедия, 1995.

7 *Чернова А.* Все краски мира, кроме желтой. М.: Искусство, 1987.

8 *Богатырев П.* Функции национального костюма в Моравской Словакии // Теория моды: одежда, тело, культура. 2009. № 11. С. 189–224.

но этого было мало, надо было наращивать корпус концептуальных, методологически зрелых работ.

Западное поле гуманитарных исследований теории моды представляло тогда большее разнообразие: уже формировалась проблематика моды и телесности, бурно развивались визуальные штудии в связи с модой, возникали темы по моде и фотографии, моде и литературе. Далее, когда теория моды институционализировалась, появились кафедры и отделения в университетах, постепенно обозначились другие векторы развития. Среди новых направлений можно выделить, к примеру, гендерные исследования моды, и, в частности, влияние квир-культуры, изучение моды и перформанса, анализ устойчивой моды (sustainability), постколониализм, медиатизация моды — на все это российская теория моды должна была так или иначе откликнуться, выработать свое отношение.

И об этом хотелось бы поговорить подробнее. Потому что теперь уже очевидно, что какие-то области западной теории моды были более востребованы, а другие менее, то есть усваивались медленнее, с опозданием и проблематично. Мне кажется, хотя это мое субъективное восприятие, что традиционные направления теории моды, связанные с визуальностью, телесностью, фотографией, довольно быстро привились в российской теории моды. Но вот с другими областями, как мне представляется, дело шло не столь беспроблемно.

Начать с того, что у нас всегда существовали некоторые трудности с восприятием западной критической теории и, в частности, французского постструктурализма, и это проблема не только теории моды, но российских гуманитарных исследований в целом. Ведь речь идет о структурировании научного поля, неявных, но ощутимых приоритетах, правилах игры. Поскольку я достаточно активно занималась в 1990-е годы деконструктивизмом Жака Деррида, я помню на своем личном опыте скепсис, с которым это все воспринималось. И проецировалось подобное поверхностно-недоверчивое отношение не только на Деррида, но и на Фуко и на Лакана. То есть тексты, требовавшие минимальной философской подготовки, очень часто отвергались литературоведами и историками, которые были не согласны с необходимостью некоторых интеллектуальных усилий и предпочитали действовать по старинке, традиционными методами. Но поскольку в 1990-е годы шло лавинообразное знакомство с французской теорией благодаря активной работе наших философов и переводчиков — тут можно с благодарностью назвать труды Н. Автономовой, С. Зенкина, — хоть выборочно, но это вошло в интеллектуальный обиход. В сфере теории моды работы Ролана Барта и Пьера Бурдье уже давно цитируются направо и налево. Сходным образом, думаю, со временем должен легко усвоиться «новый материализм» — один из последних трендов в теории моды (в частности, работы Аннеке Смелик), попытка компромиссного синтеза эмпирических и концептуальных методов.

Впрочем, если посмотреть на развитие fashion studies в России, то легко заметить, что и материально-ориентированные подходы тоже нередко встречали сопротивление. Хотя, казалось бы, история костюма и моды не представляет особых сложностей для восприятия. Но как только применялись новые углы рассмотрения, вводилась непривычная оптика — это тоже встречало сопротивление. Я имею в виду и реакцию коллег-гуманитариев, и восприятие теории моды на массовом уровне, например при выступлениях на радио и телевидении. В первую очередь это проблематика, связанная с гендерными ис-

следованиями, недоверие к феминизму, к queer studies, дискуссии вокруг «неформатных» тел и бодипозитива. Людмила Алябьева наверняка помнит, как когда в одном из первых номеров журнала появились фотографии с модного показа с участием пожилых женщин, какова была реакция наших читателей: и «это неприлично», и «зачем вы публикуете картинки с морщинистыми телами, это неэстетично», и «вы нарушаете каноны красоты». Тема «неформатных» тел, включая инвалидность, традиционно вызывала неприятие и дискомфорт. Причины, конечно, понятны: это связано с патриархальной и консервативной ментальностью нашего общества. К сожалению, это свойственно не только массовому сознанию, но и проявляется и в научной жизни тоже.

Однако не все обстоит так мрачно. Так, неизменно высоким рейтингом обладали темы, связанные с историей советской культуры, поскольку здесь уже имелись солидные заделы благодаря западной и отечественной славистике. К примеру, весь спектр проблем, связанных с косвенным сопротивлением: исследования работы портних, альтернативной экономики или популярного ныне мендинга — это все вопросы, которые уже были отработаны исследователями советской культуры, и российским ученым заниматься ими было проще всего.

Наконец, скажу про еще одно направление, которое тоже у нас утверждается с немалым трудом. С сожалением хочу отметить, что это тема толерантности, мультикультурализма, постколониальной теории — все, что связано с дискурсивными стратегиями колониализма, образом Другого и потенциальной дискриминацией, — по гендерному, социальному или национальному признаку. Видимо, подобная ситуация отчасти объясняется историческим прошлым нашей страны, когда многие из нас еще помнят, например, что такое цензура, эзопов язык, квоты и нормы при поступлении в университет или на работу: мол, плавали, знаем. Приятным исключением здесь является вышедший в двух частях специальный номер НЛО (2020. № 161, 166), посвященный постколониальной теории. И поскольку сейчас именно эта тема приобретает особую актуальность, она имеет все шансы на то, чтобы быть заново пересмотренной и включенной в поле исследований.

В заключение отмечу, что в книжной серии «Библиотека журнала “Теория моды”» вскоре должен появиться перевод сборника «Thinking through Fashion: a Guide to Key Theorists» (составители Аннеке Смелик и Аньес Рокамора) — очень надеюсь, что это придаст новый импульс развитию теории моды в России.

Людмила Алябьева: Спасибо, вы щедро набросали сейчас портрет той дисциплины, с которой мы работаем, и, конечно, прозвучало большое количество заделов для дальнейшей дискуссии.

Ольга Вайнштейн: Это мое видение, тут много спорного.

Людмила Алябьева: Хотелось бы поговорить как раз про спорное, к примеру про телесность. И у меня есть пример. Мы опубликовали перевод классической работы Джоан Энтуисл «Модное тело» в 2019 году[9], то есть через девятнадцать лет после ее публикации на английском языке. И с этим были связаны

9 *Энтуисл Д.* Модное тело. Мода, костюм и современная социальная теория. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

претензии читателей, не увидевших в книге ничего нового. Впрочем, тут могло сыграть то, что журнал «Теория моды» к тому моменту уже существовал более десяти лет, и, конечно, работы по телесности там активно публиковались.

Но интересно услышать мнение исследователя телесности Ксении Гусаровой на эту тему. Как было воспринято это направление в западном мире, сразу ли оно себя нашло? Мне кажется, про телесный поворот там тоже не сразу заговорили. И какая судьба ждала все эти процессы в рамках отечественной науки?

Ксения Гусарова: Спасибо большое. Я разделяю высказанный Ольгой Борисовной оптимизм относительно будущего исследований телесности, но в первую очередь я бы хотела остановиться на сложностях становления этого предмета исследования. Поэтому моя презентация называется «Модное тело. В поисках объекта исследования», что может показаться странным тем, кто уже прочел книгу Джоан Энтуисл «Модное тело» и следит за публикациями в журнале и в серии «Теория моды», появлявшимися на протяжении всех этих лет. Однако мой базовый тезис заключается в том, что этот объект совершенно не очевиден. И должно было пройти немало времени, прежде чем мы начали видеть очертания этого объекта. Дело в том, что в классических работах — в первую очередь в «Системе моды» Ролана Барта[10] — речь идет об образах и текстах, о дискурсе моды. Тогда как реальная одежда, не говоря уже о человеческом теле, остается за рамками рассмотрения. То есть исследования моды во многом воспроизводят ситуацию, которая существует в рамках самой системы моды, самой индустрии, где исторически тело выводится на периферию.

Здесь [слайд 1] я показываю фотографии, которые иллюстрируют подгонку одежды от-кутюр на модели. И конечно, для конца XIX века статус модели очень сложный и спорный, это маргинальная персона, женщина из рабочего класса, это почти проститутка — во всяком случае, она воспринимается в таком ключе. Мы видим, сколько усилий направлено на то, чтобы тело спрятать и скрыть. Эти черные покровы, которые мы видим, полностью скрывающие шею, конечно, имели и гигиеническую функцию (не у всех людей были возможности регулярно мыться, и были свои основания не надевать во время примерки белое платье на не самое чистое тело), но также это и воплощение идеи нейтрализации телесности, особенно телесности этого социального Другого. И здесь мы видим, как тело становится невидимым. Оно придает свои свойства, формы, пропорции предмету одежды — и дальше эти свойства отделяются от тела и переносятся на объект от-кутюр, являющийся предметом вожделения. Конечно, со временем статус моделей очень сильно изменился, но даже в наши дни мы можем наблюдать этот перенос качеств человеческого тела, его энергий и форм на платье, тогда как фигура человека и телесные качества живого тела, которое меняется под воздействием времени, имеет свою физиологию, замалчивается. Хотя сейчас, конечно, топ-модели намного более видимы, чем те несчастные модели столетней давности.

И конечно, топ-модели куда более видимы, чем другие труженики и труженицы мира моды — люди, которые непосредственно создают вещи. Даже

10 *Барт Р.* Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003.

в мастерских от-кутюр, в домах моды люди остаются безымянными, невидимыми нам [слайд 2 демонстрирует мастерскую дома «Chanel»]. Они тоже вкладывают свои телесные навыки в создание одежды. Но это все очень редко становится предметом интереса исследователей и еще реже — предметом интереса широкой публики. Особенно в отечественном контексте. Тут, на мой взгляд, основная проблема связана с марксистскими основаниями дисциплины cultural studies. Понятно, что в постсоветском контексте марксизм и другие левые теории, очень продуктивные, когда мы говорим об истории труда, об истории обычных людей и их вкладе в самые разные сферы культуры, оказываются сильно скомпрометированными. С одной стороны, исследователи старшего поколения, у которых теория марксизма навязла на зубах еще со времен позднесоветского периода, воспринимают скептически обращения к левым идеям. С другой стороны, молодое поколение, нынешние студенты, тоже воспринимают эти теории в штыки. Таким образом, в контексте истории моды во всем мире, и особенно у нас, есть спрос на красивую, гламурную историю. Люди хотят услышать про царей, про звезд, а не про простого человека и его телесное бытие. И поэтому работники и работницы оказываются невидимыми.

И с этим связана еще одна большая практическая проблема: в современном мире огромный сектор стали составлять вторичные продажи, ресейл, секонд-хенд, винтаж. Но есть социальные препятствия тому, чтоб этот феномен, который очень важен с точки зрения идей устойчивого развития, изменения природы моды и ее темпоральности, работы ее циклов, был принят. Для множества людей очень сложно надеть чужую одежду. Отчасти потому, что с этим связана социальная стигма (знак бедности), но отчасти и из-за присутствия телесности чужого человека в этой одежде. И при этом присутствие людей, которые создали нашу одежду, настолько не входит в наш обыденный кругозор, что кажется, будто новая одежда самозарождается в магазинах или в модных ателье из мысли дизайнера, который, как Пигмалион, творит одежду на своей музе из ничего, творит ее образ.

И, как на этой фотографии молодого Ива Сен-Лорана [слайд 3], это полное развоплощение модного образа в рисунке. Тут возникает целый ряд бинарных оппозиций, которые накладываются друг на друга. Это оппозиция умопостигаемого и чувственного, разума и тела, образа и материи и также это гендерная оппозиция. Мужская сфера созидательная, она связана с созданием образов, а женская, возможно, связана с потреблением, возможно, с кропотливым трудом, о котором мы не хотим ничего знать.

Но эти же оппозиции между серьезным и легковесным, сущностным и поверхностным, присутствуют и в исследованиях, направленных на изучение культуры телесности, где, как ни странно, иногда моде не находится места. Интересно, что такие выдающиеся фигуры, как Морис Мерло-Понти или Михаил Михайлович Бахтин, которых сейчас повсеместно цитируют в модных исследованиях, в своих личных заметках прямо говорят о значимости моды, костюма, одетого тела, в то время как их ключевые философские работы в наименьшей степени затрагивают эту проблематику. У Бахтина в книге про Рабле мода ассоциируется с новым телесным каноном, который ему совершенно не интересен, ему интересен феномен гротескного тела.

И очень показательно, что «История тела», трехтомник, переведенный и вышедший в «Новом литературном обозрении» [на слайде 4 показаны обложки

книг] в серии «Культура повседневности»[11], уделяет совсем мало внимания, буквально один небольшой раздел в третьем томе, практикам ухода за собой и повседневному телу, индустрии красоты. Одежда — это что-то совершенно отдельное от тела, в данном случае она вообще не попадает в фокус рассмотрения.

В этом смысле современные теории и философия культуры фактически воспроизводят то, что говорил Джошуа Рейнольдс, знаменитый теоретик искусства, в своей «Седьмой речи об искусстве» в 1776 году. Он говорил, почему не следует изображать современный костюм, и аргументировал этот тезис тем, что костюм не является частью человека. Если бы костюм был частью человека, его следовало бы изображать таким, какой он есть, но для Рейнольдса костюм частью человека не является. Костюм мешает художнику и может представлять интерес как исторический курьез для антиквара, музейщика или старьевщика. Но никак не для зрителя и точно не для художника [на слайде 5 представлена цитата из книги Рейнольдса: «No man, for instance, can deny that it seems at first view very reasonable that a statue which is to carry down to posterity the resemblance of an individual should be dressed in the fashion of the times, in the dress which he himself wore. This would certainly be true if the dress were part of the man; but after a time the dress is only an amusement for an antiquarian, and if it obstructs the general design of the piece it is to be disregarded by the artist»[12]].

В то время как работы Энн Холландер, вышедшие в русском переводе[13] [слайд 6 представляет обложки книг серии «Библиотека теории моды»], показывают, что это совсем не так и что искусство и мода движутся параллельно в своих усилиях по стилизации тела и приданию ему определенной формы, созданию визуальных акцентов; искусство дополняет то, что делает мода. Искусство совершенствует и идеализирует то, что в реальности выглядит не так красиво.

Помимо тех доказательств значимости тела, которые приводит Холландер, есть еще одно: насколько тело видимо даже тогда, когда оно полностью отсутствует.

Показ 2020 года бренда Hanifa был полностью проведен в цифровом формате, с участием 3D-изображений движущихся моделей [слайд 7]. То есть тела как бы отсутствовали, были прозрачными — как музейные манекены, которые только поддерживают одежду и никак не отвлекают зрителя. Но есть формы,

---

11 История тела: В 3 т. / Ред. А. Корбен, Ж.-Ж. Куртин, Ж. Вигарелло. М.: Новое литературное обозрение, 2018—2021: Т. 2. От Великой французской революции до Первой мировой войны / Пер. с фр. О. Аверьянов. 2018; Т. 3. Перемена взгляда: XX век / Пер. с фр. Ю. Романова, А. Гордеева, Д. Жуков, Д. Николаев. 2019; Т. 1. От Ренессанса до эпохи Просвещения / Пер. с фр. М. Неклюдова, А. Стогова. 2021.

12 «Никто не станет отрицать, что на первый взгляд представляется весьма разумным, чтобы статуя, которая призвана донести до потомков внешний облик человека, была одета по моде того времени, в то платье, которое сам он носил. Это было бы безусловно справедливо, если бы платье было частью человека, но спустя время оно способно лишь забавлять антиквара, и если костюм затрудняет восприятие композиции, художнику следует пренебречь костюмом» (*Reynolds J.* Discourses on Art. Chicago, 1891. P. 185—186).

13 *Холландер Э.* Взгляд сквозь одежду / Пер. с англ. В. Михайлина. М.: Новое литературное обозрение, 2015; *Холландер Э.* Пол и костюм / Пер. с англ. Е. Канищева, Л. Сумм. М.: Новое литературное обозрение, 2018; *Холландер Э.* Материя зримого. Костюм и драпировки в живописи / Пер. с англ. С. Абашева. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

и эти формы вызывают сложную реакцию. Дизайнер Анифа Мвуэмба из Конго хотела воспеть красоту женщины африканского происхождения. Но зритель, который не знает об этом замысле, видит очень сексуализированное тело, на грани фетишизации. То есть даже в условиях отсутствия тела мы говорим о неких пропорциях, о некоем движении, которое полностью сконфигурировано цифровым образом, но все равно очень чувственно и очень телесно. В то же время отсутствие тела — это еще и указание на невидимые, недопредставленные группы, о чем сейчас говорила Ольга Борисовна. Те, кто традиционно исключаются из дискурса о моде. Иногда их даже проще ввести именно через невидимость.

Дизайнер южноафриканского происхождения Тебе Магугу демонстрирует свою новую коллекцию таким образом [слайд 8]. Модели напоминают одежду бумажных куколок: тел как будто нет, хотя, конечно, мы видим пропорции и позы. Если мы наводим курсор на платье, мы можем увидеть образ во плоти. И возникает интересный эффект присутствия-отсутствия тела, который, конечно, может быть прочитан и в контексте Black Lives Matter, в условиях очень острого внимания к непривилегированным группам, в первую очередь к этнически и расовым Другим. Эта игра обращения белого в черное, эта призрачность уже сами по себе являются трендом в гуманитарных науках. Хонтология, вытесненность из сознания, возвращение призраков прошлого — в первую очередь в колониальном и имперском контексте, оказываются здесь очень важны.

Более ранняя работа Магугу тоже была продемонстрирована очень интересным образом. Это даже не нереальные тела, которые то появляются, то исчезают, это огородные пугала [слайд 9]. Это ирония над миром моды, и это может указывать на отсутствие простых людей, их тел, их труда в мире моды. С другой стороны, это такое странное вписывание высокой моды в нашу повседневную реальность. Но меня тут интересует то, что даже такие тела наделены тут гендерными параметрами и пропорциями, а также они имеют некоторую позу. Эти пугала позируют в манере, которая называется straight up, характерной для уличных съемок.

Поза — еще один аспект, на котором я бы хотела задержать внимание [слайд 10 представляет модель в одежде бренда XULY.Bët и кадр из фотосессии Vetements весна-лето — 2018]. На том, каким образом поза создает тело, создает образ и кодирует значение модности, а также множественные другие значения, например связанные с гендером. Мужское и женское тело производится посредством позы на поверхности фотографии. А также демонстрируется идея цивилизованного, культурного тела, в противовес какому-то дикому, недисциплинированному и несобранному.

В XXI веке внимание исследователей направляется уже на такие позы, которые разбивают семиотическую модель, бросают ей вызов [слайд 11 представляет фотоперформансы Изабель Венцель]. Речь уже идет не о значении, а об аффекте, о том непосредственном воздействии, которое эти странные фигуры и позы оказывают на зрителя, о чувстве дискомфорта, которое физически испытывает зритель, глядя на них. Это еще одно измерение телесности моделей, нашей собственной телесности, оно существует уже не на уровне формы, материи, а на уровне энергии, которая нам передается и на нас воздействует. И это, конечно, невероятно модный сейчас ракурс, очень продуктивный в гуманитарных науках в целом, в исследованиях моды, в исследованиях телесности.

Но в заключение я бы хотела сказать об опасности, которая сопряжена с интересом к аффектам — это тенденция к биологизации гуманитарных наук. В западном мире это сопряжено с тем, как устроены гранты и университеты, все желают междисциплинарной конвергенции, и особенно гуманитарии охотно обращаются к исследованиям в области нейрофизиологии, медицины, биологии. И здесь возможны продуктивные сопряжения, но возможен и детерминизм или фетишизм. К примеру, Донна Харауэй говорит о «генном фетишизме»[14], когда исторически сформулированное научное знание воспринимается как некая данность и не подвергается критическому осмыслению.

И это тоже не новая ситуация: меня сейчас занимает, как эволюционная теория Дарвина повлияла на становление теории моды еще в XIX веке. И до сих пор, особенно в популярном дискурсе, мы можем видеть мощные реминисценции этого, когда все, что связано с практиками моды, так или иначе вписывается в идею полового отбора, трактуемого как повышение сексуальной привлекательности, которая, в свою очередь, направлена на репродукцию.

В этом аспекте мне бы хотелось завершить совершенно иной концепцией полового отбора у философа Элизабет Гросс[15]. Гросс читает Дарвина через призму Бергсона и Делеза и считает, что половой отбор — это такой принцип, который расширяет мир живого в область нефункционального, избыточного. Она рассуждает о звуках, которые издают животные и насекомые, как о прототипе музыки. О гнездах и ярком оперении как о протоискусстве. И очень логично читать Дарвина именно таким образом: если естественный отбор — это про рациональное, то половой отбор — это про иррациональное. И конечно, это такая призма, которая показывает, как можно привычную область естественных наук перевернуть с ног на голову, и это не будет искажением изначальной биологической идеи, но откроет новые гуманитарные горизонты, в частности для теории моды.

Людмила Алябьева: Ксения, спасибо. В контексте отбора сразу вспоминается мужской отказ от «перышек» и красоты в пользу женщин. Проблематика аффекта, которая пользуется популярностью у коллег, конечно, тоже очень важна. Мы сейчас переводим работу Элен Сэмпсон[16], которая посвящена практикам ношения одежды. Смещение интереса с покупки готовых вещей в сторону процесса их ношения — это тоже часть большого деколониального поворота в том числе. И мы наблюдаем сейчас серьезные сдвиги в эту сторону: при всей любви к красивым картинкам и зацикленности на репрезентации и селебрити, с 2016 года точно (с трагедии в Рано-Плаза) интерес теоретиков смещается в сторону тех, кто одежду производит. Меняется география моды, и тут хочется вспомнить замечательную книгу Луизы Крю «Территории моды»[17],

14 См.: *Харауэй Д.* Манифест киборгов: наука, технология, и социалистический феминизм 1980-х / Пер. А. Гараджа. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.

15 *Grosz E.* Becoming Undone Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art. Durham: Duke University Press, 2011.

16 *Sampson E.* Worn: Footwear Attachment and Affects of Wear. London: Bloomsbury Visual Arts, 2020.

17 *Крю Л.* Территории моды. Потребление, пространство и ценность / Пер. с англ. Е. Кардаш; ред. Д. Панайотти. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

которая фиксирует включение в модное поле гораздо большее количество территорий, чем просто Лондон, Париж и прочие столицы моды.

Я хочу подхватить тему про позы — вы говорили про проблематику неловкого тела и нелепой позы, неконвенциональной телесности. Я вспомнила одно наше заседание лаборатории Performance Artistic Research Lab (PeARL) — совместного проекта Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ и Университета Голдсмит. На нем мы обсуждали неловкие позы и пригласили модель Лили Макменами — она одновременно и топ-модель, и студентка магистерской программы по исследованию перформанса в Университете Голдсмит в Лондоне. И эта проблематика меня переносит в область перформанса, тем более что у моды с перформансом очень много общего, что очевидно даже при беглом взгляде на теорию моды. Ольга Вайнштейн упоминала спор эмпириков и теоретиков, так вот есть ощущение, что разговор о перформансе — это тоже про спор эмпириков (театроведов) и теоретиков. Я попрошу Ирину Сироткину более обстоятельно ввести нас в это поле. Есть ощущение, что теория моды и теория перформанса сходятся: и в общей проблематике, и даже в общей судьбе.

Ирина Сироткина: Спасибо, Людмила. Я тоже вспомнила тот разговор с манекенщицей. Я спросила тогда про ее походку, про то, как она ходит, и училась ли она этому специально (мы знаем, что есть специальные курсы). Но она ответила — по-английски это прозвучало так: «I have the signature walk», то есть: «У меня своя собственная индивидуальная походка». Если расшифровывать это высказывание, то надо добавить: «…и по ней меня узнают».

Мне кажется, в моде важны не только костюм, смена стилей и какие-то знаковые дизайнерские модели, но и то, как это представлено, кто носит одежду, для каких тел — нормативных или ненормативных — она сделана. Это уже относится к перформативности, или к теории перформанса. То, что сейчас изучается в рамках теории моды, можно поставить в разные контексты. Есть контекст истории костюма — это очень богатый и интересный раздел, повествующий, как одежда видоизменялась от первых звериных шкур до творений современных дизайнеров. И одна из главных задач — это пикториальная задача, то есть задача визуализировать и сопоставить изображения одежды из разных эпох. Этой задачей занимаются иконографы. А есть другой контекст для истории моды — это контекст перформативный, театральный. Его задача — систематизировать, как это представлено и как воспринимается. И тут для наглядности я бы хотела поделиться изображениями.

Вот схема [слайд 1], показывающая, какие гуманитарные науки существовали и какие повороты осуществлялись.

Лингвистический поворот произошел в первой половине XX века и представлял всю культуру как набор текстов. Он изучал эти тексты и языки, на которых они написаны, сопоставлял тексты — в общем, читал. Культуру можно читать.

Прагматический поворот добавил к этому понимание того, что культура делается, создается. Добавились акты по производству культуры. Есть акторы, создающие культуру, и есть некие приемы, которыми они действуют, и есть инструменты и медиа. Таким образом, деятельность по производству культуры сменила представление о культуре как о собрании текстов.

В самом конце XX века и уже в нашем столетии произошел новый поворот, к изучению культуры как перформанса.

«Перформанс» — слово английское и имеет несколько аналогов в русском переводе, что следует из книги Ричарда Шехнера[18] [слайд 2 демонстрирует обложку книги Шехнера «Теория перформанса»]. Это «исполнение», «выполнение», «действие»; но это также «игра», «соревнование», «танец» и «спектакль». Перформанс не всегда утилитарен — в отличие от прагматики, которая всегда ориентирована на создание чего-то, на результат, на полезный эффект, — здесь результат не главное, главное — процессуальность. Еще очень важно взаимодействие, которое возникает в процессе перформанса между акторами и между акторами и зрителями. Цитируя известную песню, «It takes two to tango» — в танго всегда участвуют двое: так и в перформансе, актор и зритель — партнеры по созданию перформанса. То есть перформанс — зрелище, возникающее в глазах смотрящего. Смотрящий не менее важен, чем действующий.

Этот поворот к коммуникативности можно приложить к исследованию моды. Мы знаем, что перформанс существовал всегда, так как были коммунальные праздники, то есть праздники групп и сообществ людей. Жизнь никогда не была просто скучной целенаправленной деятельностью — она всегда включала праздник, игру, соревнование, и так было с самого начала.

Слово «перформанс» — многозначное [на слайде 3 приводятся значения этого понятия]. Его можно интерпретировать как «исполнение», то есть выполнение в соответствие с определенным стандартом. К примеру, в бизнесе, в спорте или в сексе у нас есть какое-то представление о норме, о том, что является нормативным, а что нет. И «перформанс» — это исполнение действия в соответствии с нормой. В искусстве «перформанс» обычно переводится как «шоу», «спектакль» или «представление». Но есть еще третье значение: мы можем играть на публику, представляться. Все три аспекта появляются в нашем сознании или подсознании, когда мы говорим о перформансе.

Вот уже более пятидесяти лет ведутся исследования этой сферы перформативного в нашей жизни. Социолог Ирвин Гофман посвятил книгу тому, как мы представляем себя другими в повседневной жизни [слайд 4][19]. Не на сцене, стадионе или танцплощадке, а в обычных, повседневных действиях.

Он дал такое определение: перформанс направлен на производство влияния. Мы хотим быть увиденными, услышанными и понятыми именно так. Таким образом, перформанс — это наше поведение, которое производит влияние (или хочет произвести) на другого человека. Не всегда, конечно, этот перформанс удается: не всегда нам удается произвести именно то впечатление, которого мы добиваемся.

Ирвин Гофман считает, что каждый социальный феномен можно изучать с разных сторон: технически, политически (взаимоотношения людей, живущих в социуме), структурно (с точки зрения иерархий, вертикальных или горизонтальных) и драматургически (с точки зрения управления впечатлением). Гофман цитирует Шекспира: «Весь мир — театр, и люди в нем актеры», — то есть драматургическое описание мира не менее близкое для нас, чем техническое или политическое [эти выдержки из книги Гофмана представлены на слайде 5]. Но надо отметить, что все эти аспекты пересекаются и связаны.

---

18 *Шехнер Р.* Теория перформанса / Пер. с англ. А. Асланан. М.: V-A-C press, 2020.

19 *Гофман И.* Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. ст. А.Д. Ковалева. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000.

Зрелища [слайд 6] сопровождали людей на протяжении всей истории существования, и «спектакулярность» — это термин, который упоминается в контексте теории перформанса; его русский эквивалент — «зрелищность». Происходит термин от латинского spectare — смотреть, зреть. Это связано в первую очередь с зрительным восприятием представления.

Владимир Бибихин, философ, высказал мнение о важности спектакулярности в социальной жизни. Он говорил, что Советский Союз распался, так как советский человек наскучил самому себе, у него был недостаток представлений, зрелищ. Конечно, зрелища были — парады, демонстрации на 1 Мая, — но эти зрелища формализовались и были лишены реального содержания. Человек хочет такого зрелища, которому он может искренне сопереживать, смеяться, плакать, и при этом быть собой, не надевать формальные маски [цитаты из книги В. Бибихина «Философия события» приведены на слайде 7]. В этом смысле Советский Союз был скучным обществом, где не было искренних зрелищ, которые объединяли бы зрителей в их симпатии к герою, заставляли бы сопереживать и объединяться в этом сопереживании. В результате это привело к атомизации советского человека, которая противопоставлялась формальным объединениям — комсомолу, партии. Советский человек был атомизированным человеком, и последствия этого мы имеем сейчас в виде недостатка горизонтальных связей в обществе.

Возвращаясь к моде, хочу отметить, что в моде очень много зрелищ. Как минимум половина усилий дизайнера направлена на создание коллекции, которую можно показать в очень спектакулярных шоу — дефиле. Я цитирую здесь статью Морган Ян «Модное дефиле: спектакулярные декорации тела»[20] о том, как возник жанр модного показа [отдельные выдержки из статьи приведены на слайде 8]. Конечно, жанр возник под влиянием театральных представлений и сопровождался музыкой, танцем, постановкой мизансцен. И во второй половине XX века этот спектакулярный аспект начинает доминировать. Кутюрье стали создавать коллекции не для того, чтоб их носили, и даже не для того, чтоб их продать, — а как некое шоу, вызывающее интерес к дизайнеру, к деятельности бренда, к бренду. И только интерес уже сказывается на коммерческой стороне дела. Главная задача модной коллекции — это создание представления, интересного зрителям.

В заключение я хотела бы сослаться на литературу, которую сама использую и советую вам почитать.

Книга Эрики Фишер-Лихте «Эстетика перформативности»[21] [слайд 9 представляет обложку книги Э. Фишер-Лихте и обложку книги «Словарь театральной антропологии» Барбы Эуджению и Саварезе Никола[22]]. Автор говорит о том, что перформанс — это всегда немного волшебство. Помимо сплочения зрителей, перформанс создает условия для преображения, трансформации зрителей. Об успешности перформанса можно судить по тому, насколько преображается зритель. И тут я хотела бы привести свой пример. Как-то раз я по-

---

20 *Морган Я.* Модное дефиле: спектакулярные декорации тела. Грани и границы спектакулярности // Лаборатория «Театр. Пространство. Культура». 30.11.2012 (URL: http://theatrummundi.org/2012/ll/spectaculaire/ (дата обращения: 20.01.2013)).

21 *Фишер-Лихте Э.* Эстетика перформативности / Пер. с нем. Н. Кандинской; под общ. ред. Д.В. Трубочкина. М.: Канон+, 2015.

22 *Барба Э., Саварезе Н.* Словарь театральной антропологии / Пер. с итал. И. Васюченко, М. Даксбури-Александровской, Г. Зингера, Е. Кузиной. М.: Артист-Режиссер-Театр, 2010.

сетила показ одежды для людей с телесными особенностями — он повлиял на меня больше, чем какой-либо другой виденный показ, я даже написала на него рецензию. Там была одежда для колясочников, для людей с синдромом Дауна, для ампутированных и других ненормотипичных тел. Когда я пришла, показ еще не начался, и на лицах соседей прочитывалась настороженность и даже страх — ведь это очень необычная ситуация, они не знали, какие тела они сейчас увидят. Обычно на подиум выходят не только нормативные, но образцовые тела, а тут совершенно другое. Но с началом показа эта настороженность очень быстро сменилась радостью и удовольствием, так как выходившие на подиум люди с особенностями, во-первых, были прекрасными перформерами и старались изо всех сил, а, во-вторых, они сами получали удовольствие от показа. И сами модели одежды были интересными, красивыми — и, главное, — удобными и полезными. И постепенно напряженность сменилась общей радостью, объединившей и дизайнеров, и манекенщиков, и зрителей. Это то преображение, которого мы ждем от хороших перформансов.

Людмила Алябьева: Спасибо. Мы вернулись к тому, о чем говорила Ольга Вайнштейн, к проблематике толерантности. На страницах «Теории моды» мы с самого начала писали о ненормативных телах, следили за проектом «Кутюр без границ», о показе которого вы сейчас говорили. К сожалению, он прекратил работу в России, но в разных школах дизайна продолжают работу с людьми с разными потребностями.

И конечно, когда вы говорили про волшебство и спектакулярность, я вспомнила второй и четвертый номера «Теории моды», посвященные дефиле и искусству перформанса. Заглавной статьей там была работа Кэролайн Эванс «Волшебное действо». И разговор о спектакулярности нас приводит к теме репрезентации — сегодня, кажется, каждый спикер уже упомянул, что в этой области у теории моды дела обстояли неизменно благополучно.

До недавнего времени требования к требования к картинке были высокими и диктовались жесткими нормативами и репрессивными стандартами красоты и модной фигуры. Создается впечатление, что до сих пор, например, в России от модной фотографии ожидают гламурной поверхности и изображения нормативных тел. Впрочем, ситуация меняется. Передаю слово Ольге Аннануровой, которая читает лекции и ведет курсы по истории модной фотографии, и лучше нее никто не расскажет о том, как визуальные исследования нашли себя в рамках теории моды и в каком состоянии они сейчас находятся. Как модная фотография откликается на социокультурные сдвиги, о которых мы сегодня не раз говорили: нестандартные тела, нелепые позы?

Ольга Аннанурова: Спасибо, коллеги. Сегодня, действительно, про визуальное уже очень много было сказано. Хотя сейчас такое время, когда мы чаще говорим о том, на что невозможно смотреть. Возвращаясь к примерам, приведенным другими участниками, хотелось бы осветить тему самой связки исследований визуального и теории моды. Теория моды, конечно, вобрала в себя методы визуальных исследований, но если не только посмотреть на них с точки зрения интерграции, а попытаться развести дисциплины, — то все равно можно увидеть несколько точек пересечения. К ним относятся несколько понятий. Это понятия тела, взгляда и поверхности. Конечно, точек сборки между дисциплинами больше, но эти, как представляется, самые сильные.

В теории моды вопросы телесности можно сформулировать вокруг опыта ношения костюма, включенности в модные практики, соприкосновение тела с материалом, репрезентации тела. В визуальных исследованиях задаются те же вопросы к изображениям, но добавляется еще один — о телесном опыте зрителя, о том, как начинают работать связки между телесностью «внутри» изображения и телесностью смотрящего.

Если говорить про понятие взгляда, то в теории моды вопрос можно сформулировать так: как одежда определяет нас под взглядом Другого, как происходит формирование образа и репрезентации? А в визуальных исследованиях этот вопрос дополняется другим: как изображение влияет на конструирование взгляда, что происходит в связи с появлением новых техногенных средств?

В свою очередь, понятие поверхности я бы связала со словами «материя» или «фактура». В теории моды вопросы обычно ставятся вокруг того, как говорят о поверхности ткани одежды, о фактурах. А в визуальных исследованиях вот уже несколько десятилетий стоит вопрос о поверхности изображения. Мы уходим от содержания снимка (хотя там тоже есть фактура изображения) и говорим о материальности самого изображения. В живописи это будет, например, текстура мазка, в фотографии — тип эмульсии и другие технические особенности. В предыдущие дни «Банных чтений» говорили о материальности изучаемых объектов, к примеру об этом шла речь в докладе Ирины Сандомирской.

Пожалуй, это три важные точки — тело, взгляд, поверхность. Большой пласт текстов за ними стоит. И в исследовании этих понятий две дисциплины друг друга дополняют.

Текст, который мне хотелось бы вспомнить сегодня в связи с этими тремя категориями, — это статья Ребекки Арнольд в № 50 «Теории моды» под названием «Мода в руинах: фотография, роскошь и распад в Лондоне 1940-х годов»[23]. Эти понятия она специально не выделяет, но они существуют в тексте в рамках различных сочетаний, и роль поверхности для Арнольд очень важна, в частности поверхности руин разбомбленного Лондона.

Арнольд рассматривает фотографии Сесила Битона и Клиффорда Коффина через призму оптики руин Светланы Бойм[24]. Она исследует, как оптика руин переходит в оптику лишений и какую роль в этом играет поверхность разрушенной в результате войны архитектуры, как она используется фотографами и становится фоном для модных фотографий. И это отчасти является ответом на вопрос, как мода и модная фотография откликаются на социокультурные, политические и исторические сдвиги, пусть не на современном материале, а на историческом.

С одной стороны, в тех снимках, которые автор анализирует, можно увидеть гламуризацию трагедии, когда на руинах снимают моделей в идеальных нарядах, и Арнольд намекает на эту критическую линию. Но с другой — главный акцент ставится на терапевтическую роль этих культурных практик, возникающий при сопоставлении поверхности руин и поверхности идеальной

23 *Арнольд Р.* Мода в руинах: фотография, роскошь и распад в Лондоне 1940-х годов // Теория моды. 2018. № 50. С. 197—221.

24 *Boym S.* Ruinophilia: Appreciation of Ruins // Tranzit. 2011 (http://monumenttotransformation.org/atlas-of-transformation/html/r/ruinophilia/ruinophilia-appreciation-of-ruins-svetlana-boym.html (дата обращения: 20.20.2022)).

фактуры платьев. По мнению Арнольд, вокруг этих изображений выстраивается такой смысловой ряд: мода, которая воспринимается как что-то очень текучее, подвижное, мимолетное, эфемерное и несхватываемое, вдруг оказывается гораздо более устойчивым; тем, на что можно опереться, за что можно ухватиться – в отличие от архитектуры, смысловой контекст которой раньше ассоциировался со стабильностью, но теперь связывается с разрушением, причем не тем разрушением «романтической руины», которое происходит естественным способом с течением времени, а с тем, которое происходит в результате военных действий. Этот обмен значениями между архитектурой и модой кажется очень важным здесь и охватывает разные проблемные поля, связанные с телом, взглядом и поверхностью.

Этот пример мне кажется сегодня значимым тем, что мы можем взять из наработанных штудий в нашу новую реальность.

Людмила Алябьева: Спасибо, Ольга, что вспомнили статью Ребекки Арнольд, я ее в последнее время очень часто вспоминаю. Особенно цитату из британской версии журнала «Vogue» 1940 года: «Мы уповаем на моду. В новом году, который окутан мраком войны, мы верим в это с еще большей силой, и мы не дадим никому смутить нас: мы верим, что мода — не прихоть, не легкомысленная причуда, а сидящий в нас инстинкт; ее ритм убыстряется и замедляется в зависимости от внешних обстоятельств, но сердце ее всегда бьется... ибо мода — неотъемлемая часть развития цивилизации, такая же как архитектура и декор. Войны, революции, социальные изменения вставали у нее на пути, но никому не удавалось ее уничтожить — и эту войну тоже ждет поражение»[25].

Мы сегодня много говорили об эфемерной природе моды и об интересе последних лет к материальной составляющей моды. И кажется, что мы от «Империи эфемерного» (это название известной работы Жиля Липовецкого) идем в сторону аффекта, новой материальности, поиска материальной основы. Потому что, как ни крути, одежда, которую мы носим на теле, — мы ее как минимум надеваем, снимаем, ощущаем. Кажется, сегодня исследователи проявляют именно к этому все больший интерес.

В самом начале, в докладе Ольги Вайнштейн, был озвучен интерес к одежде секонд-хенд последних лет — после этой темы касалась и Ксения Гусарова, уже в другом контексте. Для нас как для исследователей моды тема винтажной одежды поднимает вопрос о темпоральности. Как мы можем его переосмыслить в контексте моды, которая у нас обычно ассоциируется с изменениями, со стремлением в будущее — а тут нам предлагается не только остановиться и потрогать, что на нас надето, но и пойти в магазин секонд-хенд и купить вещь, некогда принадлежавшую другому человеку. Если посмотреть на нарративы и сторителлинг, который сейчас набирает обороты в моде как среди дизайнеров, так и среди потребителей, кажется, что это какой-то новый поворот в сторону другого восприятия и другой моды.

Когда я обдумывала тему этого круглого стола — это было давно, в совершенно иных условиях — я рассматривала вариант проблематики конца моды, о которой многие говорят с 2015 года. Это было связано с выступлением из-

25 *Арнольд Р.* Мода в руинах: фотография, роскошь и распад в Лондоне 1940-х годов // Теория моды. 2018. № 50. С. 202.

вестного прогнозиста трендов Ли Эделькорт, которая сказала, что мода заканчивается в том понимании, в котором мы ее до сих пор знали, что вызвало ряд вопрос к сфере образования в области моды и к теории моды тоже.

И, кажется, за время сегодняшнего круглого стола мы уже нащупали ряд интересных сюжетов и тем для будущих разговоров. Хочу напомнить, что нас смотрят коллеги на канале ютуб-канале «Теории моды», и есть уже комментарии и вопросы.

Есть комментарий, касающийся винтажной одежды, к примеру: «Мне нравится ходить по магазинам секонд-хенд, даже интересно, кто раньше эту вещь носил и какая у нее история». То есть мы покупаем не стерильную вещь, а вещь с историей, которая придает продукту добавочную ценность. То есть интерес к этому аспекту возрастает, и с этим активно работают и дизайнеры, которые это используют в своих целях, и потребители.

Этот вопрос я переадресую Ксении Гусаровой, так как она говорила про страхи по отношению к телесному Другому.

Ксения Гусарова: Этот интерес к винтажной одежде я трактую как запрос на персонализацию. Винтаж — это что-то, что противостоит эфемерности современной моды. Если все покупатели пойдут в один современный магазин, будут все ходить в одинаковых платьях, как это когда-то было. Винтаж дает возможность дистанцироваться от этого.

И конечно, сторителлинг. Недавно я задала вопрос студентам, что же могут сделать специалисты в области фешен-журналистики, медиа и продавцы вторичного рынка одежды, чтобы побороть этот страх? Студенты ответили, что хорошая история — это то, что может приблизить к нам вещь и проработать эти страхи. Между прочим, есть запрос на готичную историю, есть целый сегмент рынка вещей преступников. Но в то же время есть запрос и на гламурный сегмент: если Ким Кардашьян носила эту вещь, то на нее будет спрос выше, чем на одежду неизвестного человека.

И тут я, конечно, вспоминаю онлайн-проект «Sentimental Value» Эмили Спивак, которая собирала не столько предметы одежды, сколько истории, рассказанные их продавцами на E-bay. У нас есть аналогичные проекты Линор Горалик, когда истории вещей оказываются в центре внимания, однако, как мне кажется, это не до конца решает проблему присутствия Другого и «плохой энергетики», которую люди с этим связывают. Но в связи с модой последних лет на ведьмовство мы со студентами подумали, что можно включить в дискурс и какие-то оккультные ритуалы.

Есть, конечно, продвинутая, более осознанная аудитория — и это, как правило, потребители винтажа. Но есть и другие социальные миры, где это менее приемлемо, и фактически под каким соусом винтаж ни преподнеси, возможности его использования очень ограничены. Но использование сторителлинга мне кажется продуктивной идеей, и как исследовательский метод, и как инструмент маркетинга и образования.

Людмила Алябьева: Та же проблема может быть связана и с ремонтом одежды или мендингом (от англ. mending). В связи со спецификой прошлого в нашей стране можно наблюдать то, что можно назвать последствиями «советской травмы», когда люди были вынуждены ремонтировать одежду и делать это невидимо. Конечно, они с подозрением относятся и ко вторичному рынку

одежды, и к одежде с видимыми следами починки. Но, с другой стороны, мы наблюдаем тренд на видимый ремонт, становящийся частью дизайна.

И есть еще одно критическое замечание от слушательницы к выступлению Ирины Сироткиной. Она не согласна с тем, что в Советском Союзе не было развлечений: «Был театр, и были показы моды в Москве», — отмечает она.

Ирина Сироткина: Я цитировала работу Владимира Бибихина, его мнение, его гипотезу. И я думаю, что он, конечно, высказал провокационную мысль. Конечно, был и театр, были показы мод, но, между прочим, и то, и другое было подцензурным. Театры утверждали репертуар, а о цензурировании модных показов рассказывает в своем курсе Татьяна Дашкова. Она рассматривает, как мода преподносилась в кино и отмечает образовательный, дидактический дискурс. Во время показа было много морализаторства и задавались нормы, как должна одеваться советская женщина. Таким образом, нравоучительный аспект был сильнее, чем развлекательный. Это, конечно, в большей степени относится к периоду застоя — о том же периоде пишет и Бибихин. Были, конечно, и более светлые периоды: оттепель, к примеру, когда к нам приезжали зарубежные дизайнеры. Пьер Карден, например, моделировал одежду для Майи Плисецкой, и она ее демонстрировала. Это, конечно, было зрелищно. Но то, что подавалось как нормативный модный показ, подавалось по-советски: умеренно ярко и, главное, с образовательной и нравоучительной целью.

Людмила Алябьева: Спасибо, Ирина, что упомянули работы нашей коллеги Татьяны Дашковой, которая не смогла к нам сегодня присоединиться. Фильмы, о которых вы говорите, это, наверное, «Девушка без адреса», где показан модный показ как нечто, что чуждо советскому человеку. У Татьяны много и других примеров, очень ярких, так что нам будет что обсудить в следующий раз.

Очень много комментариев, есть благодарность Ольге Вайнштейн за курс еще из 1990-х годов, который тогда слушала наша сегодняшняя слушательница.

В завершение хотелось бы поставить вопрос: как может складываться теория моды в новом контексте? По аналогии с тем, что сейчас много разговоров о том, возможна ли теперь поэзия.

Не случайно название нашего круглого стола отсылает к трудностям перевода. Изначально журнал строился на переводах, но в последнее время стало появляться все больше оригинальных статей — за что я очень благодарна как присутствующим, так и отсутствующим коллегам. Как вы видите продолжение работы? Сюжетов, конечно, очень много: мы говорили сегодня об устойчивости, о деколониальном подходе, ненормативной телесности, толерантности — но больше интересует вопрос коммуникации.

Кстати, мы подумываем о возрождении нашего кофейного семинара.

Ирина Прохорова: Замечательная идея, я с удовольствием приду. Кстати, эпоха Просвещения начиналась с кофеен, где собирались философы. Так что очень своевременная идея такого семинара.

Вы ставили вопрос, нужна ли мода в такие времена. Но вы же зачитали прекрасную цитату из британской версии журнала «Vogue», и на самом деле мода — это всегда раскрепощение, это индивидуализация, и недаром все тоталитарные режимы с модой всегда боролись, так как она неуловима, летуча и

плохо поддается регулированию. Мода всегда отражает социальные процессы, их формирует и всегда сопротивляется удавке стандартизации. Поэтому я считаю, что изучение моды в такие времена очень важно и важна ее терапевтическая роль. Мода будет жить, несмотря на все попытки ее обуздать.

Спасибо за участие в «Банных чтениях», за чудесный круглый стол, продолживший многие другие дискуссии.

Расшифровка Аси Аладжаловой

Библиография

Татьяна Венедиктова

Европейские сливки с американской культурной критики

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_368

Culture²: Theorizing Theory for the Twenty-first Century. Vol. 1 /
Ed. by F. Kelleter, A. Starre.
Bielefeld: transcript, 2022. — 266 p. — (American Culture Studies, Vol. 34).

> Каково это — писать о кризисе, масштабность которого ставит под вопрос самую возможность критического письма?
>
> *Франк Келлетер* (с. 159)

«Культура в квадрате» — не излишество ли? Зачем возводить в степень понятие и без того многозначное, к тому же используемое «и в хвост и в гриву» для описания почти чего угодно — от «культуры отмены» до культуры винопития? Затем, по-видимому, чтобы подчеркнуть усугубленную рефлексивность подхода. Амбициозное усилие «теоретизировать теорию» культуры принимает вид дайджеста из книг, пропущенных через двойное сито. Все они опубликованы в США за последние два десятилетия, отмечены вниманием ученой публики, высокой цитируемостью, иные и научными премиями[1]. На основе коллективно-анонимного отбора каждый

1 Из четырнадцати книг, которые ниже перечислены в порядке их публикации, только одна, первая, представляет собой перевод (и рассматривается именно как перевод в контексте американской рецепции): *Boltanski L., Chiapello E.* The New Spirit of Capitalism / Transl. by G. Elliott. L.; N.Y.: Verso, 2007; *Warhol R.R.* Having a Good Cry: Effeminate Feelings and Pop-culture Forms. Columbus: The Ohio University Press, 2003; *McGurl M.* The Program Era: Postwar Fiction and the Rise of Creative Writing. Cambridge, Mass.; L.: Harvard University Press, 2009; *Tomasello M.* Why We Cooperate. Cambridge, Mass.; L.: The MIT Press, 2009; *Berlant L.* Cruel Optimism. Durham; L.: Duke University Press, 2011; *Hemmings C.* Why Stories Matter: The Political Grammar of Feminist Theory. Durham; L.: Duke University Press, 2011; *Harney S., Moten F.* The Under-

из участников сборника осуществил еще личный выбор, и их, выборов, совокупность обнаруживает общность если не позиции, то вектора, тяготения мысли.



Работы американских культурологов перепрочитаны европейскими американистами, преподающими American studies[2] в университетах Германии, Швейцарии, Нидерландов и самих США. Из осознаваемо двойственной, трансатлантической перспективы они довольно дружно оценивают переживаемый момент как кризисный, проводящий черту между прошлым и будущим: «Что ожидает нас по другую сторону водораздела, не предскажет никакая теория, хотя это новое состояние, каким бы оно ни оказалось, тоже, конечно, будет опознаваться как культура» (с. 16). Ощущение водораздела одни связывают с ковидной пандемией, другие — с нездоровой поляризацией социума, третьи — с кризисом неолиберализма или капитализма в целом или с еще иными источниками напряжения (список таковых к концу 2022 г., увы, сильно расширился). Издание обозначено как первый том — исключительно затем, поясняют составители, чтобы подчеркнуть его экспериментальный характер. Вопрос о том, состоится ли второй, нарочно оставлен открытым.

Итак, участникам проекта хотелось произвести нечто большее, чем компендиум из рецензионных отзывов или реферативный сборник, и во многом эта попытка диалога через океан состоялась. Манера, в которой диалог ведется, специфична для cultural studies (чем покоряет и раздражает одновременно): это разговор сразу почти обо всем. Названия тематических разделов уклончиво-неопределенны: «Люди и иные живые существа», «Междисциплинарные заботы», «Переописания Америки» и т.п. Общее проблемное ядро тем не менее просматривается — прежде всего на методологическом уровне — как интерес к *материальному, чувственно-эмоциональному, аффективному компоненту познания, общения и социальных связей*. С учетом этой доминанты я позволю себе рассмотреть содержание книги, ориентируясь не на порядок статей в оглавлении, а на оттенки аффективного окраса: от светлого к темному или от «просто» оптимизма к «жестокому оптимизму» (так называется исследование Л. Берлант, обсуждаемое в сборнике с особым пристрастием и почтением[3]). Скептико-иронические тона явно преобладают и в на-

---

commons: Fugitive Planning & Black Study. Wivenhoe; N.Y.; Port Watson: Minor Compositions, 2013; *Felski R.* The Limits of Critique. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2015; *Levine C.* Forms: Whole, Rhythm, Hierarchy, Network. Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press, 2015; *Peters J.D.* The Marvelous Clouds: Toward a Philosophy of Elemental Media. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 2015; *Tsing A.L.* The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press, 2015; *Alworth D.J.* Site Reading: Fiction, Art, Social Form. Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press, 2016; *Desmond M.* Evicted: Poverty and Profit in the American City. N.Y.: Broadway Books, 2016; *Hochschild A.R.* Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right. N.Y.; L.: The New Press, 2016. При цитировании этих книг ниже указываются имя автора и номер страницы, при цитировании рецензируемого сборника — только номер страницы.

2 В европейской американистике, как и в российской, лидирующие позиции занимают историки и филологи, но в педагогике и в научной продукции там выше удельный вес междисциплинарной работы, каковая и культивируется в рамках American studies.

3 Лорен Берлант умерла в июне 2021 г., и свой коллективный труд европейские американисты решили посвятить ее памяти.

блюдаемом культурном ландшафте, и в суждениях о нем наблюдателей, но мы начнем с энтузиастов, пусть немногочисленных.

Книга антрополога Майкла Томаселло «Почему мы сотрудничаем» (представляющая собой сокращенный вариант лекций, прочитанных в Стенфорде в 2008 г.) вдохновила *Филипа Лёфлера* (Гейдельбергский университет) на размышление о потенциале междисциплинарности. Томаселло доказывает, что человек биогенетически склонен к кооперативному поведению, к формированию богатой контактами когнитивной среды. Способность к совместному направлению внимания, умение формировать общность намерений, готовность помогать другому обнаруживаются на самой ранней фазе формирования личности, задолго до овладения языком, — уже потом они закрепляются сложной системой кодов, норм, конвенций. Для эффективного сотрудничества общность языковой и концептуальной базы имеет большое, но не решающее значение, а вот без соразделенной интенциональности (shared intentionality), без взаимодоверия, общего интереса и общего любопытства не обойтись никак. Это верно и в отношении малышей, копающихся в песочнице, и в отношении серьезных ученых, делающих первые шаги в новой области знания (они бывают так же неловки, как шаги ребенка). Междисциплинарность — естественный способ познавательного поведения на переднем крае науки, но предписывать ее нельзя, планировать трудно, и заведомых преимуществ по сравнению с традиционными исследованиями она не дает.

Тем интереснее вникнуть в секрет успешной междисциплинарной работы на примере «Изумительных облаков» (2015) Джона Дарема Питерса. Написана эта книга на зависть ярко и решительно — буквально с первых фраз: «Час философии медиа настал. А философия медиа невозможна без философии природы» (Peters, с. 1). Далее медиа трактуются с широтой почти обескураживающей, — по сути, приравниваются к стихиям и средам, как вода, огонь, воздух и т.п. Какое, спрашивается, отношение к медийности имеют облака? Они же ничего не значат, не передают никаких сообщений[4]. Однако, настаивает Питерс, они бесспорно несут информацию о возможности действий и взаимодействий, просто люди еще не научились ее считывать. По мере того как окружающая нас природа пронизывается технологиями, множатся ансамбли природы и культуры, и все новые явления осознаются нами в их медийной, посредующей природе. При этом старые медиа не умирают, не вытесняются новыми, а превращаются в их значимый фон. Историю и теорию медиа нельзя поэтому представить иначе как трансдисциплину, соединяющую в себе потенциал естественных наук, эстетики, философии и даже теологии. Представляя этот отважный проект Питерса, *Сара Вассерман* (Университет штата Делавер) сама приходит к неожиданному выводу: усыхание, сжимание гуманитарного поля, на что привычно жалуются его представители, может послужить зарождению в нем новых инсайтов — хотя бы по той причине, что с близким соседом легче взаимодействовать, обмениваться гипотезами, затевать новые проекты и т.п.

Дэвид Олуорт в книге «Чтение по месту» (2015)[5] тоже упражняется в междисциплинарном синтезе, правда менее масштабном: его интересует «такая социология литературы, которая открыла бы социологию *внутри* литературы» (Alworth, с. 21).

---

4 Ср. у Шекспира: «Гамлет: Вы видите вон то облако, почти что вроде верблюда? Полоний: Ей-богу, оно, действительно, похоже на верблюда. Гамлет: По-моему, оно похоже на ласочку. Полоний: У него спина, как у ласочки. Гамлет: Или как у кита? Полоний: Совсем как у кита» (*Шекспир В.* Трагедия о Гамлете, принце Датском / Пер. с англ. М.Л. Лозинского // Шекспир В. Полное собрание сочинений: В 8 т. Т. 5. М.; Л.: Academia, 1936. С. 97).

5 См. рец.: *Венедиктова Т.* Читая «по месту» // Новое литературное обозрение. 2017. № 148. С. 327—332.

Роман служит познанию социальной жизни не только потому, что она в нем отображается. Социальность, понятая по Латуру, — как акт и факт установления связи, ассамбляжа, сетевого соединения, — реализуется в самой ткани текста. Литературная форма, с этой точки зрения, есть процесс установления отношений, вид соучастного действия. «Места», упоминаемые в названии книги, не синонимы «пространств», а именно сети и узлы отношений между актантами (в том расширенном смысле, который придает этому слову Латур). *Лора Бигер* (Гронингенский университет) усматривает в подходе Олуорта симптом практического, или праксеологического, поворота[6], происходящего сейчас в культурной теории, и сетует на то, что понятие практики в книге «не становится центральным», хотя «могло бы и даже должно бы стать таковым» (с. 85). Это открыло бы, в частности, возможность думать о «литературе как о мощном медиаторе социального» (с. 86), для чего требуются, конечно, новая методология, новый способ внимания к чтению и письму. Их и нужно искать: в мире, где начинают доминировать распад и распря, заключает Бигер, все формы рефлексивной работы с социальностью приобретают тем большую ценность.

Шагом в обозначенном направлении служит влиятельная книга Кэролайн Левин «Формы» (2015). В ней предлагается предельно широкое понимание формы *без* выделения эстетических форм в особую категорию. Формой Левин предлагает называть конфигурацию по сути любых элементов, определяемую функцией, способностью обеспечивать символическое разрешение противоречий. Различаются формы пространственные, временные, иерархические и горизонтально-коннективные (типа сети). При этом формы литературные сосуществуют с социальными, а не только отображают их: те и другие «одинаково реальны в своей способности организовывать материал и одинаково нереальны в своей искусственности» (с. 41). *Улла Хазельштайн* (Свободный университет Берлина) анализирует попытки Левин балансировать между наследием формализма и наследием нового историзма и на этой почве сближает ее позицию с позицией Риты Фелски, «знаменосицы» так называемого посткритического тренда.

В американском академическом мейнстриме он обозначился недавно и сразу вызвал споры, не утихающие до сих пор. Выбрав для анализа книгу Фелски «Пределы критики» (2015), *Джесси Рамирез* (Университет св. Галлена) уже в названии статьи использует иронию, пародийно переворачивая патриотический лозунг трампистов: «Сделаем диалектику снова великой». Ироничность тона свидетельствует обычно о двойственности позиции, и действительно: в чем-то с посткритиками нельзя не согласиться. Культурологическим трудам, производившимся в США на протяжении последних десятилетий, присущ дежурно разоблачительный пафос, который стал вызывать усталость своей предсказуемостью, тем более что объекты разоблачительной критики все так и остались на местах. Сокрушить капитализм, империализм или расизм критическое слово не сумело, и даже патриархат не сильно сдал позиции (см. об этом ниже в связи с книгой Клэр Хеммингс). Напоминая о том, что литературные тексты пишутся совсем не только для того, чтобы служить ареной праведной борьбы, что читатель открывает книгу, желая получить тонкое и глубокое удовольствие, посткритики опять же правы[7]. Но разве не карикатурно

6 The Practice Turn in Contemporary Theory / Ed. by T.R. Schatzki, K.K. Cetina, E. von Savigny. L.; N.Y.: Routledge, 2001; *Bertram G.W.* Art as Human Practice: An Aesthetics / Transl. by N. Ross. L.; N.Y.: Bloomsbury, 2019.

7 Две книги Фелски (2008 и 2020 гг.) рецензировались в НЛО. См.: *Зенкин С.* Полезность словесности: (Заметки о теории, 24) // Новое литературное обозрение. 2011. № 109. С. 313—322; *Венедиктова Т.* Типология «привязанности» — обживание «посткритики» // Новое литературное обозрение. 2022. № 174. С. 317—323.

само противостояние упертых разоблачителей, безжалостных к тексту, и всеядных, политически терпимых и к тому же тексту милосердных эстетов? Задавая этот вопрос, Рамирез ратует за диалектическую стратегию, которая предполагала бы равноудаленность от обличительности и безмятежного равнодушия. Эта стратегия, однако, трудна в реализации, и по мере того как мы в трудности вникаем, тени познавательного и социального пессимизма начинают сгущаться.

Собственно, об этом размышляет *Стефани Мюллер* (Франкфуртский университет им. Гёте) в статье «Бартлби в логике коннекционизма», посвященной книге Люка Болтански и Эв Кьяпелло «Новый дух капитализма» (1999, англ. пер. 2005, рус. пер. 2011[8]). Все, кто читал книгу, помнят главный инсайт французских социологов: капитализм как никакая другая экономическая система научился усиливаться критикой, превращать ее в средство самодвижения. Экономические механизмы действуют в связке с изменчивым «духом», все время трансформируясь, по-новому и по-разному мотивируя людей к участию в системе: нет такого обещания свободы, которое рано или поздно не обернулось бы способом получения прибыли. В 1960—1970-х гг. социальная критика капитализма в уступила место критике культурно-эстетической: озабоченность несправедливостью распределения общественных благ была вытеснена другого рода озабоченностью — недостатком творческой свободы, личной автономии, аутентичности. При этом выяснилось, что эти ценности уже заранее и очень успешно оприходованы капитализмом: креативность, самоореализация, коннективная (или отношенческая) логика с легкостью получают товарное воплощение. В США эта коварная особенность капитализма проявилась раньше, чем в Старом Свете, пишет Мюллер и в пример приводит писца Бартлби из одноименной новеллы американского классика Германа Мелвилла. Кажется, это первый представитель движения «Occupy Wall Street»: именно в уоллстритской конторе он обитал, упорно сопротивляясь рутине производительного труда, отказываясь жить неподлинной жизнью, а в итоге и жить вообще. Чем не прообраз современного гуманитария, которому в предлагаемых обстоятельствах остается весьма ограниченный выбор: «публичное безмолвие», «аристократический отход от мира», «индивидуальное сопротивление» в той или иной форме или «эсхатологическое ожидание внутреннего распада капитализма», а то и «обрушения самой современности»? Эти варианты, перечисляемые Болтански и Кьяпелло в конце книги (с. 556 русского издания), Мюллер сопровождает меланхолическим вздохом, — в точности как у Мелвилла: «Ах, Бартлби! Ах, человечество!»

Немой, немобильный, неадаптивный, несистемный Бартлби может быть увиден и в другом свете — как «человек из подполья», «вечный» или трансисторический культурный тип, непобедимый именно потому, что непрестанно терпит поражение. *Дастин Брайтенвишер* (Гамбургский университет) размышляет об этом над книгой Фреда Мотена и Стефано Харни «The Undercommons» (2013), заглавие которой можно условно перевести как «Подпольная сообщительность». Статья написана энергично, пристрастно, ярко, на что, конечно, провоцирует сама книга — манифест «эстетической социальности». На вопрос: «Что это такое?» авторы дают исключительно метафорический ответ: вид подполья, точнее, трюмного быта. Общину, возникавшую или способную возникнуть в трюме невольничьего корабля, объединяли бескомпромиссная свобода от принятых «на палубе» норм и практик, готовность к бунту и упование на то новое, что возникает стихийно и вопреки вероятности. Именно подполье, на взгляд Мотена и Харни, создает уникальные условия для развития знания, — в отличие от университетов, которые готовят профессио-

8 См.: *Болтански Л., Кьяпелло Э.* Новый дух капитализма / Пер. с фр. под общ. ред. С. Фокина. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

налов для разного рода общественно востребованных работ. В условиях сетевого капитализма «труд побуждает все более действовать без мысли, чувствовать без эмоций, двигаться без трения, приспосабливаться без вопросов, переводить без остановок, желать без цели, контактировать без перерывов» (Harney, Moten, с. 87). Подполье, напротив, делает ставку на сопротивление и «творческое страдание» (которое Мартин Лютер Кинг считал трансисторической характеристикой жизни черных в США). Но ставка ненадежна, ведь путь наверх открыт, а наверху ждет опять-таки комфорт кают эконом-класса — радости жизни, доступные исключительно в товарной форме.

А вот это уже центральная тема одной из нашумевших книг последнего десятилетия — «Эры программ» (2009) Марка Макгурла. В ней неожиданно, но очень ярко раскрывается парадоксальная связь между литературной жизнью и университетским образованием, творчеством и формами его институциональной поддержки (или приручения). Университет сегодня — часть корпоративной культуры, которая нимало не напоминает старорежимный, скучно-серый («советский») монолит; напротив, ее характеризуют гибкая адаптивность и «изобретательная настроенность на производство разнообразия» (McGurl, с. X). Индивидуальность, оригинальность, креативность ценятся высоко и воспроизводятся с размахом. В этой логике Макгурл рассматривает историю восхождения к славе программ творческого письма. Эта относительно новая образовательная возможность возникла в системе университетского образования США в середине XX в. В 1975 г. таких программ на всю Америку было восемь, к 2001 г. — уже три сотни, а десять лет назад — свыше четырехсот (более свежие данные не приводятся). Так называемые писательские программы затмили популярностью другие виды литературного образования и стали предметом глобального экспорта — в англоязычный мир (Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия) и шире (Израиль, Мексика, Южная Корея, Филиппины). В чем же секрет впечатляющего успеха?

Макгурл отвечает на этот вопрос примерно так. Программы творческого письма создавались под знаменем свободы самовыражения, как антитеза кондовому конформизму. Их быстрое размножение не случайно пришлось на период бурной массовизации высшего образования: если в 1940-х гг. только 10% молодежи продолжало образование в колледже, то в 1980-х — больше половины, число университетов и колледжей за то же время удвоилось. В них пришли те, кто прежде обходился и без высшего образования, и без публичного голоса, — цветное и женское население. В итоге наблюдается (в формулировке Макгурла) «институциализация антиинституциональности» (Ibid., с. 221) и сопровождающий ее парадокс инкубаторского взращивания «неповторимых голосов». Культ озабоченности собой, личным творческим потенциалом прекрасно сочетается с приоритетами креативной экономики.

Перечитывая книгу Макгурла через десяток лет после ее первого — восхищенного! — прочтения, *Катрин Робертс* (Гронингенский университет) спрашивает себя (и нас): не идет ли сегодня на смену «эре программ» — «эра платформ»? Университеты «все менее различимы на фоне медиаландшафтов глобализации» (с. 78) и все более озабочены производством контента для широкого сетевого распространения, а не пестованием автономно-неповторимых «я». Поэтому по-новому выразительной кажется кольцевая композиция книги Макгурла: она заканчивается там же и так же, где и как начиналась, — «на нотах любви и сарказма, озабоченности и иронии, на смешении чувств, которое характеризует субъекта, взращиваемого институцией: он и тяготится принадлежностью системе, и лишен способности или желания от нее освободиться» («part of the system but unable or unwilling to leave» (с. 68)).

Мария Сулимма (Франкфуртский университет им. Гёте) в диалоге с книгой Клэр Хеммингс «Чем и как важны истории» (2011) тоже пытается подвести промежуточный итог борениям последнего полувека. Как следует из подзаголовка, в книге предлагается «политическая грамматика феминистической теории». Исследовав большой корпус статей соответствующей направленности в ведущих теоретических журналах, Хеммингс обнажает стихийно складывающийся в них трехчастный нарратив. Первая его часть описывает поступательное развитие новой области знания в 1970—1980-х гг. — все дальше от простодушных постановок «женского вопроса», все глубже в тонкости различения гендерных идентификаций. Вторая часть повествует о последовавшей в 1990-х печальной самопотере, об утратах, понесенных вследствие увлечения языковыми играми, постструктуралистским теоретизированием. Триумф феминизма в академической среде, констатирует Хеммингс, обернулся упадком общественного интереса к нему. Тому способствовала нещадная эксплуатация феминистической идеологии как канала, по которому просветительское влияние свободного Запада распространялось на недоосвобожденный мир. Страсть женщин к свободе была по сути «украдена неолиберальным капиталистическим рынком» (с. 139), а поскольку реальные проблемы женщин по-прежнему, притом повсюду далеки от разрешения, пришло время «спасать» феминизм. Третья часть нарратива, по Хеммингс, — о формах возрождения феминистической мысли в начале нового века: теперь в ней меньше боевитости и больше серьезности. Традиционный сюжет размещал в центре внимания женщину-жертву и/или воительницу, героиню мелодрамы. Почему бы не представить ее/себя в виде персонажа второстепенного, зато включенного в сложную сеть отношений? Почему бы не отчистить иконы феминизма от уже наведенного на них хрестоматийного глянца? Перспективнее всего в поиске Хеммингс, обобщает Сулимма, стремление «заново увидеть ландшафт феминистической теории, уйдя от жесткой определенности и отказавшись от чувства надежности и безопасности, с определенностью сопряженных» (с. 140).

Мысль о насущности «аффективно-материального поворота» в теории культуры (в том числе одушевленной пафосом феминизма) подхватывает *Катя Канцлер* (Лейпцигский университет), размышляя над книгой Робин Уорхол «Поплакать всласть» (2003). Автор статьи, как и автор книги, питает живой интерес к «эпистемической продуктивности чувств» (с. 146). Обеих же интересует работа со вторичными, социально сконструированными чувствами, которые мы склонны снисходительно называть «сентиментами», — пренебрегать ими не стоит хотя бы потому, что именно они масштабно эксплуатируются коммерчески и политически. Книга Уорхол, согласно выводу Канцлер, ценна тем, что учит гибко менять дистанцию — рассматривать «сентиментальный» текст то с позиции отстраненного аналитика, то с фанатской позиции (aca-fan), которую едва ли можно считать наивной. Восприятие популярной культуры самой широкой аудиторией сопровождается, как правило, противоречивым переживанием «виноватого наслаждения» — чередованием самозабвенной эмпатии и критического скепсиса. С другой стороны, теоретическое многознание, умение проследить семиотическую цепочку, соединяющую, например, стройность, сексуальность, качественный досуг и покупательную способность, отнюдь не гарантирует свободы от невидимых оков.

И вот мы добрались, наконец, до книги Лорен Берлант, чье имя особенно тесно ассоциируется с исследованиями популярной культуры, чувства, аффекта, сентимента[9] и чья книга «Жестокий оптимизм» (2011) оказалась едва ли не «самой ци-

9 См.: *Berlant L.* The Anatomy of National Fantasy: Hawthorne, Utopia, and Everyday Life. Chicago; L.: University of Chicago Press, 1991; *Eadem.* The Female Complaint: The Unfinished Business of Sentimentality in American Culture. Durham; L.: Duke University Press, 2008.

тируемой в англоязычной теории после 2011 г.» (с. 161). Кратчайшим образом основную идею книги можно сформулировать так. Большинство людей желает себе счастья или «хорошей жизни» (good life); это желание-устремление сообщает существованию смысл, притом что смысл чаще всего неконкретен, переживаем как аффект «близости *к чему бы то ни было, где бы то ни было*» (proximity to a *whatever, wherever* (Berlant, с. 63)). Американское представление о «хорошей жизни» предполагает исполнение четырех важнейших условий: успех или повышение социального статуса; обеспеченность (в частности, работой) и безопасность; политическое и социальное равенство; прочность и глубина личных связей. Эти условия в ситуации нарастающей подвижности, текучести, рискованности, неопределенности (всего того, что передается английским словом 'precariousness', от которого уже произведена уродливая калька: «прекаризация») оказываются неосуществимы. В результате — тупик, блок воображения, «смесь из ощущений поражения, тревоги, изумления, оцепенения» (Ibid., с. 204) и квазиспасительная преданность «жестокому оптимизму». Жестоким оптимизмом Барлант называет парадоксальное отношение к жизни, которое возникает, когда желаемое субъектом препятствует его же устремлению к воображаемой «хорошести».

Концепцию Берлант анализируют *Сэмюэл Зипп* (Брауновский университет) в статье «Структуры тупика» и *Франк Келлетер* (Свободный университет Берлина) в статье «Стиль под давлением». С разных сторон они подходят к вопросу о том, как вести себя теоретику и критику культуры в условиях «обрушения коллективных инфраструктур» (Ibid., с. 154). В ситуации, когда социальная дистанцированность и конфликтность становятся «повседневным алгоритмом коллективной жизни» (Ibid., с. 195), можно понять желание интеллектуала приблизиться к обычной жизни. Но как отважиться на самокритическое признание собственной конформности, собственной непреодолимой зависимости от системы отношений, тобою же обличаемой? Перечисляя болезненные шоки, с которыми пришлось столкнуться мыслящему человеку в Америке первых десятилетий XXI в., Зипп один из этих шоков обозначает (на с. 192) обрывком фразы, которую англоязычный читатель с легкостью опознает. Это слова из газетной публикации 2004 г., приписанные журналистом Роном Зускиндом республиканскому лоббисту, советнику президента Буша Карлу Роуву. Роув сказал интервьюеру (позже не подтвердил, что сказал, но это не мешает словам жить самостоятельной жизнью: видимо, они задели в общественном сознании больной нерв) следующее: «Люди как вы все еще живут в обществе, основанном, как привыкли говорить, на реальности. Вы верите, что решения возникают из тщательного изучения наблюдаемой жизни. Но мир живет уже по другим правилам. Мы теперь империя, и поскольку мы действуем мы создаем нашу собственную реальность. И пока вы эту реальность изучаете сколь угодно тщательно, мы действуем дальше, создаем другие, новые ее образцы, которые вы вольны опять-таки изучать, — так оно и идет. Мы в истории действуем… а вам, вам всем, остается изучать сделанное нами»[10].

Не только Зиппа занимают и тревожат «мы» и «вы» в этой оговорке политика. Келлетер подхватывает вопрошание: «мы», зарабатывающие на жизнь размышлением, обязанные объяснять остальным природу переживаемого совместно, — хорошо ли мы справляемся с этой задачей? Основную заслугу книги Берлант, в некотором смысле образцового американского интеллектуала, Келлетер усматривает даже не в богатстве и точности развиваемого ею тезиса, а в точно найденной сти-

10 *Suskind R.* Faith, Certainty and the Presidency of George W. Bush // The New York Times Magazine. 2004. Oct. 17 (https://www.nytimes.com/2004/10/17/magazine/faith-certainty-and-the-presidency-of-george-w-bush.html).

листике письма, в сложности интонации, в качестве «голоса». Этот автор изо всех сил старается не попасть в ловушку высокомерной самоудовлетворенности, самоотчуждения от отсталых «других», — тех, кто негативность критического дискурса воспринимает как раздражитель, плод недоступных им социальных привилегий. Сравнивая манеру Берлант с манерой позднего Адорно, Келлетер полагает главной ценностью той и другой «рефлексию “поврежденной” жизни, которая несет помощь, не предоставляя помощи, и, будучи безутешна, не впадает в нигилизм» (с. 187).

Теоретический анализ Берлант дополняется представленным в сборнике ярким дуэтом социологов-практиков. Это книги «Чужаки в родной земле» Арли Рассел Хохшилд и «Выселены за неуплату» Мэтью Десмонда (обе — 2016). Первая — итог продолжительного включенного наблюдения жизни малообеспеченных домохозяйств в «красных», то есть республиканских, штатах. Но не только наблюдений — еще и усилий выстроить между собой и «чужаками» мост эмпатии, который не исключал бы трезвого анализа, а делал его возможным. Почему этих людей удручает то, что радует «таких, как мы»? И по каким вообще «*правилам чувствования*» (feeling rules) они живут? Жизнеощущение исследуемого «контингента» резюмируется в развернутой метафоре: «Мы терпеливо, как какие-нибудь паломники, стоим в длинной очереди, которая тянется в гору. Мы где-то посередине и нас много, — белые, есть кто постарше, христиане, в основном мужчины, с высшим образованием или без… Те, кто стоит за нами, — больше цветные, бедные, молодые и старые, в колледже почти никто не учился. Оглядываться на них боязно, вон их сколько, хотя, в общем, никто из нас не желает им зла» (с. 136). Но то ли за гребнем холма что-то пошло не так, то ли по какой другой непонятной причине — очередь не движется. Реакция усталых, раздраженных людей на тех, кто, с их точки зрения, пытается «пролезть вперед», все острее и все менее адекватна. «Ты-то соблюдаешь правила, а они нет, и получается, что тебя то и дело теснят назад. А кто такие? Черные, женщины, иммигранты, беженцы… которым положены всякие преференции и всякие планы федеральной поддержки, стипендии, рабочие места, выплаты и бесплатная еда. Тебе-то в свое время ничего такого не досталось» (с. 137).

В диалог с Хохшилд вступает *Йоганнес Вёльц* (Франкфуртский университет им. Гёте) в статье с выразительным названием «Поляризация и пределы эмпатии». Попытку американского социолога вчувствоваться в зависть, ревность, фрустрацию «правых слоев» немецкий культуролог воспринимает критически. Эффективна ли эмпатия, направляемая на инфантильные социальные реакции, которые не назовешь иначе, как проявлениями «ложного сознания»? Не напрасен ли огромный труд по сбору и анализу 5000 страниц интервью? Того же (довольно предсказуемого) результата можно было достичь, поработав с контентом какого-нибудь из идеологизированных медиа, например «Фокс-ньюс». Между тем социологу мало понять, что именно почитают за истину его информанты, мало встать на их сторону и в их позицию, ее задача — сделать видимыми невидимые для большинства людей социальные силы. Приятельствуя с пролетариями из Луизианы, профессор Беркли не становится для них своей, зато лишает себя возможности использовать эффект аналитического дистанцирования. Помогают ли такие штудии понять природу социальной поляризации и преодолеть ее? Или взаимное непонимание только усиливается, поскольку стороны склоняются к стереотипизации, упрощенному видению друг друга?

В книге Десмонда, как и в книге Хохшилд, исследуется невидимая бедность в Америке, прозябание полубездомных семей, мыкающихся между трейлерами и съемными квартирами. И в этом случае полевая работа предполагала глубокое погружение — жизнь в трейлере на протяжении нескольких месяцев, уподобление исследуемым вплоть до того, что «начинаешь сам двигаться как они, гово-

рить как они, думать как они и чувствовать похожим на их образом» (Desmond, с. 430). Социально-этнографическому описанию предпосылается выразительное уведомление от автора: «Это не художественное произведение. Описанное в книге происходило с мая 2008 г. по декабрь 2009-го» (Ibid., с. XIX). Происходившее засвидетельствовано множеством записей и документов. Но это не мешает любопытствующему читателю погружаться в текст, как в роман: книга Десмонда не уступает роману Диккенса. С этим щедрым сравнением от *Александра Старра* (Свободный университет Берлина) я готова, пожалуй, согласиться, и дело вовсе не в толщине книги. Перед нами неотразимо увлекательное, многосюжетное повествование, в котором участвует множество персонажей и множество институций (приюты, школы, суды и т.д.), — прекрасная иллюстрация того, как формы художественного письма могут при искусном и талантливом использовании служить пониманию форм социальной жизни.

Нечто подобное удается, кажется, и антропологу Анне Цинг, автору книги «Гриб на границе мира» (2015), — ей посвящена статья «Грибная бесконечность» *Кристофа Риббата* (Падерборнский университет). Это очень подходящий тандем для завершения нашего обзора, подразумевающий сразу все, о чем уже говорилось выше: разносторонность описаний социальной жизни — от анархичной лесной жизни грибников в Орегоне до цепочки сбыта, протянувшейся в транснациональное пространство; междисциплинарность; интерес к материальности (вкус «соснового гриба» таков, что японские гурманы готовы платить за него огромные деньги); наконец, изящество и точность литературного письма (перед нами «Уолден XXI в.» (с. 120)). Гриб мацутакэ живет в симбиозе с корнями растений, нередко помогая им выжить в условиях, которые стараниями человека сделаны невыносимыми, — он, между прочим, первым пророс на месте ядерной бомбардировки в Хиросиме. В некотором смысле гриб преподает урок «о возможности жизни на руинах капитализма» (это подзаголовок книги Цинг), когда «у нас нет иного выбора, кроме как искать жизнь среди развалин» (Tsing, с. 6). Минималистическому («жестокому»?) оптимизму Цинг ее коллега Риббат явно сочувствует: «…вы заканчиваете читать, смутно чувствуя, что стали чуть лучше и чуть счастливее, чем были прежде, что на “развалинах капитализма” сохраняется все же крошечный шанс выжить» (с. 122).

В заключение стоит еще раз привлечь внимание читателя к фразе одного из двух инициаторов проекта, Франка Келлетера, — приведенной выше в качестве эпиграфа. Каково, в самом деле, писать о кризисе настолько масштабном, что исчезает самая платформа, с которой можно вынести о нем критическое суждение? Каково писать о нестабильности бесконечно распадающейся системы, об атмосфере небезопасной, испорченной, в которой мы тем не менее дышим? Писать — трудно. Увидит ли свет второй том рецензируемого издания — неизвестно. Но больше нам писать и думать неоткуда, так что не писать нельзя.

Евгений Пономарев

Эмигрантика за тридцать лет:

ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДО РАСЦВЕТА

Evgeny Ponomarev

Emigrantica Through Thirty Years: From Emergence to Flourishing

Евгений Рудольфович Пономарев (ИМЛИ РАН, ведущий научный сотрудник; Русская христианская гуманитарная академия, профессор; доктор филологических наук) eponomarev@mail.ru.

Ключевые слова: русская эмиграция, литература русской эмиграции, история изучения эмиграции, эмигрантика, эмигрантология, русское зарубежье

УДК: 303.1+882+82-6
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_378

Статья представляет собой обзор развития эмигрантики от первых публикаций произведений писателей-эмигрантов в советское время и возникшего в 1990-е годы широкого общественного интереса к русской эмиграции до систематического изучения культуры эмиграции в 2000—2010-е годы. За тридцать лет эмигрантика прошла несколько этапов развития, выработала ряд важных исследовательских стратегий и совершила экспансию, обратившись от русской эмиграции к национальным эмиграциям из Российской империи и СССР. Автор концентрируется на научных институтах, изучающих эмиграцию, и научных сериях, посвященных соответствующей проблематике. В настоящее время интересы и возможности эмигрантики расширяются — в статье намечены перспективы развития.

Evgeny Ponomarev (Dr. habil.; leading researcher, Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences; professor, Russian Christian Humanitarian Academy) eponomarev@mail.ru.

Key words: Russian emigration, Russian émigré literature, Russian emigration studies, emigrantica, emigrantology, Russia abroad

UDC: 303.1+882+82-6
DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_378

The article offers an overview of the development of *emigrantica* from the first publications of works by emigrant writers in the Soviet era and the wide public interest in Russian emigration that arose in the 1990s to the systematic study of emigration culture in the 2000s—2010s. For 30 years, *emigratica* went through several stages, worked out a number of research strategies, made expansion from Russian emigration studies to the study of national emigration from the Russian Empire and the USSR. Due to the abundance of material, the review focuses on the institutes, studying emigration, and research edition series devoted to relevant issues. Currently, the interests and opportunities of *emigrantica* are expanding, the author outlines the prospects for its development.

Изучение русской эмиграции ожидаемо стало одним из основных дискурсов постсоветской гуманитарной науки. Процесс постепенного освобождения гуманитарного знания от государственной идеологии (начавшийся еще в эпоху оттепели, продолжавшийся в определенных рамках в брежневский период, активизировавшийся в перестройку и завершившийся в начале 1990-х годов) представляет собой исключительный интерес и по большому счету до сих пор не изучен. Исследования в области эмигрантики прошли все указанные этапы. Сначала об эмиграции заговорили литературоведы, затем историки, философы, культурологи. Не удивительно, что и сегодня в исследованиях эмиграции приоритет принадлежит литературоведам.

О литературе эмиграции регулярно упоминали советские журналисты и публицисты, иногда приводя два-три конкретных примера. Чаще всего назы-

вались имена нескольких писателей первого ряда, покинувших Россию после революции (Д.С. Мережковский, И.А. Бунин, А.И. Куприн), иногда к ним добавлялись иные имена (Г.В. Иванов, А.Н. Вертинский). Утверждалось, что все сделанное этими людьми в эмиграции — повторение задов, упрощение художественных достижений дореволюционной поры, продукт злобы и ненависти, а также тоски по Родине. Никакого серьезного анализа, разумеется, эти упоминания не предполагали. Литературоведческое изучение творчества эмигранта было одним из идеологических табу: невозможно представить себе выполненную в советском учреждении научную работу, в которой подробно разбирались бы тексты эмигрантских авторов с точки зрения их идейной вредности или художественного убожества.

Начало научному изучению литературы эмиграции (пока лишь очень дозированному) положило разрешение на публикацию эмигрантских сочинений крупных писателей, физически или виртуально вернувшихся в Советский Союз. Во второй половине 1950-х годов были напечатаны (в шеститомном собрании сочинений) многие произведения А.И. Куприна, созданные в эмиграции. Такое же разрешение было дано и для произведений И.А. Бунина — сыграла роль Нобелевская премия (до 1958 года он был единственным русским писателем — лауреатом Нобелевской премии; после 1958-го он во многом воспринимался более «нашим» лауреатом, чем Б.Л. Пастернак), а также сочиненный в конце 1940-х — начале 1950-х миф о том, что только старость и болезни не позволили Бунину вернуться в СССР. Сначала в пятитомнике 1956 года, а затем в девятитомном собрании 1965—1967 годов (подготовленном на значительно более высоком уровне — большим научным коллективом, выполнившим серьезную текстологическую работу и написавшим важные для советского читателя комментарии) были опубликованы практически все известные на тот момент произведения Бунина за исключением «Окаянных дней». В ряде текстов — там, где бунинский нарратив затрагивал политических деятелей («Освобождение Толстого») или нарушал советские представления о нравственном («Темные аллеи»), — были сделаны купюры.

Вслед за публикацией текстов стали появляться и научные работы (сначала статьи, затем диссертации и монографии) о творчестве Бунина и Куприна. Мережковский как идейный противник революции и коллаборационист (так он представлен, например, в пятом издании «Большой советской энциклопедии») не был разрешен к публикации и подвергся забвению. Все прочие писатели-эмигранты (включая Владимира Сирина — В.В. Набокова) считались незначительными и не упоминались в печати. В научных работах о Куприне и Бунине по-прежнему господствовала мысль об идейно-художественном упадке эмигрантского творчества, что хорошо иллюстрируется формулировками тем диссертаций и заглавиями книг: «Художественная проза И.А. Бунина (1887—1904)» (кандидатская диссертация Т.М. Бонами; М., 1963), «Проза И.А. Бунина 1914—1917 годов» (кандидатская диссертация О.В. Сливицкой; Харьков, 1970), «И. Бунин и его проза (1887—1917)» (монография Н.М. Кучеровского; Тула, 1980). В самом конце книги О.Н. Михайлова «И.А. Бунин: Очерк творчества» (1967), вышедшей в издательстве «Наука» под грифом «Академия наук СССР», появляется небольшая главка «Эмиграция» (занимает 23 страницы; дореволюционному творчеству посвящены предшествующие 139 страниц; еще 11 страниц посвящены последним годам жизни писателя). В ней встречаются редчайшие для советских книг упоминания З.Н. Гиппиус, А.Т. Аверченко, И.С. Шмелева,

Б.К. Зайцева, П.М. Бицилли, М. Алданова, И. Одоевцевой. Эти проблески эмигрантики (к неизвестным именам добавлялась информация о жизни русской эмиграции в Париже) компенсировались общей тенденцией главы: «Дореволюционное наследие Бунина по своему диапазону значительно уступает его предреволюционным произведениям. Ничего равного “Деревне” и “Господину из Сан-Франциско” с точки зрения их социальной значимости в эмиграции писатель не создал. Вместе с тем очевидна поэтическая и познавательная ценность его поздних рассказов и повестей» [Михайлов 1967: 153].

Интересно, что в первой советской биографии Бунина [Бабореко 1967] активно цитируются книги «Жизнь Бунина» В.Н. Муромцевой-Буниной и «Грасский дневник» Г.Н. Кузнецовой, присланные мемуаристками автору. Если роль Муромцевой-Буниной в жизни Бунина читателю была ясна, то цитаты из Кузнецовой приведены без каких бы то ни было объяснений, что это за человек. Так же, без пояснений, упоминаются Л.Ф. Зуров, М. Алданов и некоторые другие мемуаристы. Обычный ход мысли в этой книге таков: обсуждая дореволюционные отношения Бунина с другими писателями-эмигрантами (прежде всего Куприным), автор переходит к развитию отношений после 1917 года. Это позволяет включать в книгу ряд сведений об эмиграции. Последняя часть биографии (как бы перечеркивая и расширяя датировку, данную на титульном листе) называется «Последние годы» (по объему это примерно шестая часть книги). В ней изложено все известное на тот момент о жизни Бунина после отъезда из России. Некоторые сюжеты развернуты подробно (история выдвижения Бунина на Нобелевскую премию, грасский быт, турне по Прибалтике, жизнь в Грассе при немцах, смерть и похороны Бунина) благодаря переписке автора с эмигрантами — в этой части количество имен цитируемых мемуаристов резко увеличивается. Огромное письмо В.Н. Буниной Я.М. Цвибаку (Андрею Седых) о смерти и погребении Бунина (вероятно, автор получил копию письма от Буниной или же взял его из воспоминаний А. Седых «Далекие, близкие», опубликованных в Нью-Йорке в 1962 году) приводится полностью — в нем звучат как многочисленные имена, так и бытовые подробности эмигрантской жизни, невероятные для советской печати конца 1960-х годов. Такое же впечатление местами производят воспоминания Кузнецовой (отрывки из «Грасского дневника»), Т.Д. Муравьевой-Логиновой, Н.В. Кодрянской, С.Ю. Прегель, В.М. Зернова, включенные в бунинский том «Литературного наследства», изданный к столетию со дня рождения Бунина в 1970 году. Различие в том, что «Литературное наследство» рассчитано исключительно на филолога-специалиста, а биография А.К. Бабореко вышла в издательстве «Художественная литература» и была адресована широкому читателю.

Вплоть до эпохи перестройки изучение литературы эмиграции проходило в «тихом режиме». Энтуазисты пробивали в печать издания (дореволюционных) сочинений эмигрантов: так, в 1964 году О.Н. Михайлову удалось издать сборник рассказов А.Т. Аверченко, а в 1971-м — книгу рассказов Тэффи. К Куприну и Бунину в качестве возможной темы научного исследования добавился Л.Н. Андреев: во-первых, он не слишком долго был эмигрантом (умер в 1919 году), а во-вторых, его резко антибольшевистскую позицию смягчила позиция его детей-эмигрантов, весьма дружественно настроенных по отношению к СССР. Отметим кандидатскую диссертацию Л.А. Иезуитовой «Творчество Леонида Андреева (1891—1904)» (1967) и последовавшую за ней монографию [Иезуитова 1976]. По причине ранней смерти жизнь и творчество Андреева не

могли быть поводом для изложения каких-либо подробностей эмигрантской жизни. Но исследовательница занималась многими другими эмигрантскими сюжетами, переписывалась с эмигрантами-литераторами и воспитала в Ленинградском университете целую плеяду исследователей эмигрантской литературы. Этот последний пример весьма показателен: литературоведам в целом позволялось собирать какие-то разрозненные сведения о писателях-эмигрантах, коллекционировать эмигрантские мемуары, не касающиеся политических вопросов (у некоторых счастливчиков дома хранились «Жизнь Бунина» В.Н. Муромцевой-Буниной и «Грасский дневник» Г.Н. Кузнецовой, полученные в дар от авторов), разговаривать об этом со студентами, но исследовать тему всерьез было запрещено.

Существенные изменения начались в последние годы перестройки. В определенный момент цензурные ограничения были сняты и советские издательства начали печатать большими тиражами отдельные тома и собрания сочинений писателей-эмигрантов. Литература эмиграции стала существенной частью так называемой возвращенной литературы. На книжных полках одновременно появились сочинения эмигрантов первой волны, ранее не известных широкому читателю (Владимира Сирина — В.В. Набокова, Б.К. Зайцева, И.С. Шмелева, Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, А.М. Ремизова), а также эмигрантов третьей волны, в тот момент в большинстве еще живых и здравствующих (А.И. Солженицына, Вл. Максимова, А.А. Зиновьева, В.П. Аксенова, Э. Лимонова и др.). Этот широкий поток подействовал и на научного читателя, и на студенчество, и даже на старших школьников (олимпиадная работа по литературе автора этой статьи, тогда десятиклассника, написанная в Ленинграде в 1990 году, была посвящена творчеству Мережковского, Андреева и Ремизова, правда дореволюционному). С крушением СССР этот поток стал еще шире: вслед за «классиками» издавались произведения младшего поколения первой эмиграции, стали появляться в печати произведения авторов второй волны эмиграции, покинувших СССР в ходе Второй мировой войны и ранее считавшихся коллаборантами; так, в 1998 году вышел хорошо подготовленный двухтомник Ивана Елагина. Одновременно с художественной литературой в Россию хлынул поток эмигрантской философии (репринты с эмигрантских изданий и заново подготовленные книги И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, Л.И. Шестова производили сильнейшее впечатление) и теософии, трудов по истории церкви и истории философии (окрашенных религиозным сознанием и при этом написанных просто и интересно — см. «Историю русской церкви» А.В. Карташёва или «Историю русской философии» прот. В.В. Зеньковского). На этом фоне особое место на гуманитарных факультетах главных университетов страны заняли курсы «История русской философии», на которых впервые подробно и серьезно обсуждалась философская традиция эмиграции. Ряд филологических факультетов ввел в программу русского отделения курс «Литература русской эмиграции». В качестве примера: в первой половине 1990-х годов я учился на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, и в нашу программу уже входили курсы лекций «Литература русской эмиграции» Л.А. Иезуитовой и «История русской философии» А.А. Ермичёва, приглашенного с философского факультета. Традиционный курс «Русская литература Серебряного века» в исполнении Б.В. Аверина тоже был во многом превращен в историко-философское исследование первой эмиграции: лектор совершал виртуозные проходы от дореволюционного твор-

чества Бунина, Куприна, Мережковского к их послереволюционному творчеству; завершался же курс несколькими лекциями о русскоязычном творчестве В.В. Набокова, который, по мнению Аверина, сумел соединить поэтику символизма с поэтиками акмеизма и футуризма.

Примерно на десятилетие осмысление созданного эмиграцией стало мейнстримом культурной жизни новой России. Однако процесс восприятия эмигрантской культурной парадигмы следует разделить на несколько дискурсов. Первый назовем дискурсом широкого советского читателя. Для него (значительно более подготовленного, чем сегодняшний «широкий читатель», внимательно читавшего и художественную литературу, и философию, и публицистику) целый ряд текстов представлялся политически актуальным («Окаянные дни» Бунина, дневники Гиппиус, «Солнце мертвых» Шмелева, статьи Ильина 1920-х годов, «Самопознание» Бердяева предлагали новую точку зрения на революцию и Гражданскую войну, ставили под сомнение справедливость и легитимность советской власти), ряд текстов — художественно ценным (в 1990 году вышло четырехтомное собрание сочинений Набокова, к нему был добавлен пятый том с «Лолитой»; это собрание перевернуло широкое представление о русской литературе XX века), ряд текстов — скучным и малоприменимым к сегодняшней жизни. Собственно, первая волна эмиграции уже казалась далекой историей, возвращение на Родину ее культурного багажа — реализованной исторической справедливостью; но более живыми и близкими современности воспринимались сочинения эмигрантов третьей волны — как тексты 1970—1980-х годов («Остров Крым» Аксенова и «Это я — Эдичка» Лимонова читались в начале 1990-х как новое слово в литературе), так и произведения, только что созданные. К началу 2000-х этот бум прошел; широкий читатель, занятый иными проблемами, потерял интерес к эмигрантской литературе. В литературе и философии эмиграции он искал главным образом то, что имеет отношение к его постсоветской жизни. Некоторые находили: перечитывание А. Дугиным текстов эмигрантских мыслителей 1920—1930-х годов, относивших себя к евразийцам, сформировало в новой России мощную волну «неоевразийства», которая в начале 2000-х еще казалась маргинальной, но к середине 2010-х превратилась в политический мейнстрим; идеологические работы Ильина, популярные в 1920—1930-е годы у солдат и офицеров расформированных белых армий, вынужденных прозябать в Европе и ненавидящих тех, кто отнял у них Родину, существенно повлияли на риторику постсоветских правых партий[1]; к началу 2010-х годов эта риторика стала выходить на федеральные телеканалы и сегодня играет существенную роль в жизни России. Возвращение в Москву в 1999 году представителя третьей волны А.А. Зиновьева помогло консолидации его поклонников сначала в Московском университете, где он читал, по сути, публичные лекции (формально считались спецкурсом для студентов), а после его смерти в 2006 году вылилось в создание Зиновьев-

1 В середине 1990-х годов в беседе в университетской «курилке» один из ярко мыслящих преподавателей филфака спросил меня: «Кто у нас теперь вместо Маркса? Ильин?» Тогда мне этот ироничный вопрос показался излишне алармистским. «Не годится. У Ильина нет категорий для универсального осмысления бытия», — ответил я. Со временем оказалось, что преподаватель был весьма прозорлив. Некоторые популярные политики и политологи в последующие годы «додумали» мысли Ильина — не в плане онтологии, а в плане их практического применения.

ского клуба, играющего известную роль в современных политических процессах. Отметим, что либеральная мысль эмиграции такого резонанса — на перспективу — не получила[2].

Второй дискурс назовем собственно эмигрантским. В эмигрантском сознании «возвращение» имеет совершенно особый смысл: это признание заслуг и попадание обратно в историю из вневременной вечности (превращение изгоя в героя). Первая эмиграция потеряла надежду на возвращение довольно скоро, но, обретя свою «миссию» в хранении и преумножении свободной русской культуры, надеялась на возвращение своих книг и имен. Вторая эмиграция мыслила примерно так же, но, сильно настрадавшись на Родине, идею возвращения редуцировала даже в своем творчестве. Третья эмиграция, встроившись в матрицу первых двух, о возвращении тоже не задумывалась, но неожиданно для себя этот шанс получила. Следует учесть, что третья эмиграция, в отличие от первой, по объективным историческим причинам не имела в своем составе ни политических деятелей, ни экономистов, ни специалистов в области управления. Ее составляли писатели и иные деятели искусств, которые могли быть полезными новой России исключительно идеями, как «обустроить» освобожденную страну. Но и на это третья эмиграция в целом оказалась не способна. Кроме того, переезд на постоянное жительство в Россию в начале 1990-х годов означал резкое понижение уровня жизни, к которому третья эмиграция в большинстве была не готова. Поэтому она (за исключением отдельных случаев, представленных очень разными фигурами Солженицына, Зиновьева, Лимонова) предпочла возвращаться домой «книгами», а лично — лишь наездами (для презентации этих книг и заключения новых договоров с издательствами). Таким образом, русская эмиграция XX века, по сути, не имела «возвращения», что типологически отличает ее от других эмиграций Нового времени. Отчасти по этой причине многое из того, что эмигранты считали своей «миссией», гражданину посткоммунистической России оказалось не близко и не нужно. Эмигрантские книги были прочитаны по диагонали, как часть не известной ранее истории страны, и сданы в библиотеки.

Третьим дискурсом будем считать дискурс научный. На фоне общего интереса к эмигрантской культуре в начале 1990-х годов поднялась мощная волна изучения эмиграции — литературоведами, философами, историками, культурологами. В какой-то мере именно этот дискурс заменил тот эффект «возвращения», от которого отказались сами эмигранты, предпочитавшие доживать и умирать за рубежом. Этому дискурсу мы и посвятим всю дальнейшую статью, поскольку он играет в современной гуманитарной науке значительную роль, до конца еще не оцененную.

Первым знаковым моментом стало создание в 1989 году в Институте мировой литературы РАН (Москва) сектора литературы русского зарубежья, ко-

---

2 Дело здесь, думается, не столько в качестве самой либеральной мысли эмиграции, сколько в быстром повороте «направо» всей политической ситуации в новой России. Если в первой половине 1990-х годов одним из самых популярных и обсуждаемых философов был Н.А. Бердяев, то уже в начале 2000-х на одном теоретическом семинаре Исторического общества при Европейском университете в Санкт-Петербурге мне довелось услышать от его участника неожиданное сравнение: Бердяев был «Радзинским Серебряного века». Этот момент весьма показателен: снижение авторитета Бердяева, как и всей либеральной философии эмиграции, началось даже в интеллектуальных кругах.

торый возглавил О.Н. Михайлов. Этот сектор, по сути, работает в ИМЛИ до сих пор: в конце 2000-х он влился в отдел новейшей русской литературы в качестве группы, с 2011 года ею руководит Ю.А. Азаров. Михайлов основал научную серию «Литература русского зарубежья, 1920—1940», в которой на сегодняшний день вышло пять выпусков (издание продолжается). Первый выпуск (1993; сост. и отв. ред. О.Н. Михайлов) выстроен как ряд очерков о творчестве крупнейших представителей литературной эмиграции, — вероятно, с ориентиром на традиционные «Истории русской литературы», как важнейшее дополнение к литературе XX века: «Бунин» (О.Н. Михайлов), «Ремизов» (В.А. Чалмаев), «Ходасевич» (С.Г. Бочаров), «Г. Иванов» (Е.В. Ермилова), «Тэффи» (Е.М. Трубилова), «С. Черный» (Л.А. Спиридонова), «Осоргин» (Т.В. Марченко) (см.: [Литература русского зарубежья 1993]). Второй выпуск (1999; отв. ред. О.Н. Михайлов) продолжает идею очерками «Куприн», «Зайцев» (оба написаны Михайловым), «Шмелев» (А.П. Черников), «Аверченко» (Д.Д. Николаев), «Адамович» (О.А. Коростелев), «Набоков» (В.И. Сахаров), «Газданов» (С.Р. Федякин), «Поплавский» (Е.В. Ермилова). Но добавляет к писателям первого ряда менее известных авторов: «Горянский» (Л.А. Спиридонова), «Байков» (Ким Рехо), «Тыркова-Вильямс» (О.А. Казнина) (см.: [Литература русского зарубежья 1999]).

Отметим целый ряд отдельных изданий этого сектора (группы), среди которых выделим сборники статей, созданные после резонансных конференций (см., например: [И.А. Бунин и русская литература XX века 2015]), коллективные монографии, посвященные отдельным ярким авторам (см., например: [Творчество Н.А. Тэффи 1999]), а также монографии, развивающие те или иные аспекты, исследованные авторами в статьях основной научной серии (см., например: [Казнина 1997]). Отметим, что объемная книга О.А. Казниной стала чем-то вроде энциклопедии, рассказывающей о разных сторонах русской эмиграции в Англии. В ней рассмотрены русские организации и периодическая печать; русские политики в роли частных лиц, литераторов и издателей; православие в Англии; русские литературоведы в роли профессоров британских университетов; дореволюционные эмигранты, влившиеся в ряды эмиграции. К этому добавлены главы о путешествиях британцев в Россию, а также о путешествиях в Англию знаменитых эмигрантов, осевших в Европе. Это был новаторский академический формат, опирающийся на серьезные архивные исследования.

Вторым ключевым моментом в сфере изучения литературы русской эмиграции в России стало взаимодействие одного из главных издательств зарубежной России «YMCA-Press» с советскими библиотеками. В сентябре 1990 года в московской Библиотеке иностранной литературы прошла большая выставка изданий «Имки», при ней работал читальный зал, в котором можно было ознакомиться с книгами философов и писателей — эмигрантов. Так еще до открытия спецхранов крупнейших библиотек началось знакомство москвичей с мыслью и искусством эмиграции. Вторая выставка такого рода прошла в марте 1991 года в музее А.С. Пушкина в Ленинграде. По инициативе организатора этих выставок В.А. Москвина и при поддержке директора «YMCA-Press» Н.А. Струве в Москве появились издательство «Русский путь» и совместное предприятие «Русский путь», которое занялось организацией широкой просветительской деятельности. Эта работа через несколько лет привела к созданию библиотеки-фонда «Русское зарубежье» (учредителями выступили две

эмигрантские организации — «YMCA-Press» и Русский общественный фонд Александра Солженицына — и Правительство Москвы). Библиотека-фонд, как известно, в дальнейшем превратилась в Дом русского зарубежья им. А. Солженицына (далее — ДРЗ) — крупный научный и культурный центр, занимающийся хранением информации (помимо изначальной библиотеки в нем появилось растущее архивное хранилище, вбирающее в себя разнообразные эмигрантские архивы, и музейное собрание, в 2019 году трансформировавшееся в Музей русского зарубежья с постоянной экспозицией и временными выставками), а также научными исследованиями и широкой культурно-просветительской деятельностью.

Третьим ключевым моментом в осмыслении наследия эмиграции был ряд больших научных конференций, организованных в первую половину 1990-х годов. Приведем в качестве примера грандиозный междисциплинарный форум «Культурное наследие российской эмиграции: 1917—1940-е годы», прошедший в Москве в сентябре 1993-го. Его организаторами выступили Российская академия наук и Конгресс соотечественников. В работе конференции приняли участие потомки первой эмиграции, ведущие отечественные и зарубежные ученые. Торжественное открытие, которому предшествовали пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, и ряд заседаний прошли в здании Президиума РАН. Организацией работы секций занимались Институт российской истории РАН, Институт мировой литературы РАН, Российский институт искусствознания; в их помещениях шли секционные заседания. В ходе работы конференции проходили презентации новых научных изданий (например, журнала «Историческая генеалогия») и церемонии открытия тематических выставок; наиболее важная выставка — «Пути и судьбы российской эмиграции: 1917—1940-е годы» — была организована Музеем революции и ГАРФом. Две специальные секции конференции освещали проблему разделенных архивов писателей, уехавших в эмиграцию, а также обсуждали возможности передачи эмигрантских архивов в Россию. На основе заседаний этой конференции был подготовлен внушительный двухтомник, дающий представление о разнообразии секций и тем выступлений [Культурное наследие российской эмиграции 1994].

Большие конференции оказались делом моды. Довольно скоро из событий общероссийского масштаба, освещаемых главными СМИ страны, они превратились в строго научные собрания, интересные главным образом специалистам. Однако здесь кроется четвертый ключевой момент широкого развития эмигрантики. Конференции познакомили заинтересованных специалистов из России с западными славистами, давно и плодотворно изучавшими культуру эмиграции. С одной стороны, российские ученые активно включились в уже существовавшие зарубежные или эмигрантские проекты. Так, научный альманах «Минувшее», созданный в 1986-м в Париже и редактировавшийся эмигрантом третьей волны В.Е. Аллоем[3], с 1992 года (№ 11) поменял место издания на «Москва — Санкт-Петербург», в нем стали появляться материалы, подго-

3 Альманах был посвящен не только эмигрантике, но затрагивал многие эмигрантские сюжеты. Назовем и его предшественника — исторический альманах «Память» (всего пять выпусков), неподцензурно создававшийся в Москве и выходивший в Париже во второй половине 1970-х — начале 1980-х годов. См. специальное исследование о нем: [Исторический сборник «Память» 2017].

товленные учеными из России. Издательство Аллоя «Atheneum-Феникс», тоже переехавшее в Россию, послужило базой для формирования новых серий, как бы дополняющих «Минувшее»[4], а также выпустило ряд важнейших книг, среди которых выделяется тщательно подготовленное Б. Хеллманом (Финляндия) и Р. Дэвисом (Великобритания) издание дневника, писем, статей и интервью Андреева эмигрантских лет [Андреев 1994]. Это издание стало знаковым: оно задало высокую планку текстологической и комментаторской работы с текстами эмиграции (см.: [Пономарев 2006]), наметив переход от случайного комментария (когда комментируется только то, что известно комментатору, и остается много белых пятен — так поступали авторы редких советских изданий эмигрантской литературы) к комментарию полному, обстоятельному. С другой стороны, ученые-иностранцы стали принимать активное участие в крупнейших российских изданиях. Например, в издании ИМЛИ РАН «Д.С. Мережковский: мысль и слово» (1999) участвовал целый ряд исследователей из США, включая Х. Барана и Т. Пахмусс, а также ученые из Италии и Чехии [Д.С. Мережковский: мысль и слово 1999]. Стали появляться книги, совместно подготовленные исследователями из России и учеными из-за рубежа. Среди них самим своим заглавием выделяется сборник «С двух берегов», подготовленный российским и британским редакторами — В.А. Келдышем и Р. Дэвисом. В этом сборнике не публиковавшиеся ранее письма к И.А. Бунину (К.Д. Бальмонта, Ф.А. Степуна, А.В. Тырковой-Вильямс, Т. Манна), а также его «переписка в обе стороны» с В.В. Набоковым, Г.Д. Гребенщиковым и И.Ф. Наживиным были дополнены перепиской М. Горького с М.А. Осоргиным, Б.Д. Григорьевым, И.Ф. Наживиным и И.Ф. Калинниковым. Горьковскую часть сборника завершали письма Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус к Горькому и рукописный журнал «Соррентийская правда. № 2» [С двух берегов 2002]. Этот сборник тоже можно назвать знаковым. Во-первых, он продемонстрировал важность эмигрантского эпистолярия в изучении подробностей и нюансов эмигрантской культуры. Кроме того, эмигрантские письма были осмыслены как «литература факта» и в этом статусе нашли своего читателя. Во-вторых, именно он продемонстрировал предпочтительность публикации «переписок в обе стороны». Вся дальнейшая эмигрантика по возможности стала стремиться именно к такой форме представления эпистолярного материала. В-третьих, этот сборник задал академическую форму оформления публикаций: обстоятельная вступительная статья, освещающая саму проблему с культурно-исторических позиций, тщательно выверенный по рукописи текст, подробный комментарий, касающийся упомянутых в тексте лиц, событий, изданий.

Постепенно эта форма стала доминировать в новых изданиях по эмигрантике, задуманных и реализованных в 2000-е годы. С 2001 года стал выходить альманах «Диаспора: Новые материалы» — новый проект В.Е. Аллоя. Если «Минувшее» освещало как дореволюционную жизнь России, так и историю эмиграции, то «Диаспора» была сфокусирована исключительно на последней (всего вышло девять выпусков, последний — в 2007 году). После трагической смерти Аллоя альманах, начиная со второго выпуска, стал редактировать О.А. Коростелев, защитивший в 1995 году кандидатскую диссертацию «Поэзия

4 Одна из них — альманах «Лица» (1992—2004, всего десять выпусков); редактором-составителем всех нечетных выпусков, затрагивавших эмигрантские темы, выступил А.В. Лавров; выпуски 9 и 10 редактировались им совместно с М.М. Павловой.

Георгия Адамовича» и олицетворявший собой новое поколение исследователей эмиграции. В начале 2000-х Коростелев почти одновременно начал работать в ИМЛИ РАН и в библиотеке-фонде «Русское зарубежье».

Таким образом, 1990-е годы стали этапом формирования в России сообщества эмигрантоведов, а также институтов, занятых изучением эмиграции. Отметим и редкий на тот момент учебник по литературе русского зарубежья, написанный профессором МПГУ В.В. Агеносовым; в книгу были включены многие авторы первой волны эмиграции и несколько авторов второй волны [Агеносов 1998]. Два последующих десятилетия ушли на развертывание заложенных в 1990-е годы возможностей.

В 2000-е годы были предложены новые исследовательские стратегии. Если в 1990-х литературу эмиграции изучали в традиционном персоналистском (биографическом) ключе, как бы встраивая недостающие главы в историю русской литературы XX века, то новое десятилетие заинтересовали эмигрантские издательские проекты, объединяющие персоны в идейно-эстетические сообщества. Так, третий выпуск «Литературы русского зарубежья» (2004; под общ. ред. О.Н. Михайлова, отв. ред. Ю.А. Азаров) изменил общую концепцию серии: его тема — периодика эмиграции. Главы выпуска рассказывают о крупнейших газетах и журналах эмиграции, а также об общем потоке периодических изданий в той или иной стране: «Современных записках» (О.Н. Михайлов и Ю.А. Азаров), «Возрождении» (О.А. Казнина), эмигрантском «Сатириконе» (Л.А. Спиридонова), «Русской газете» (Е.А. Осьминина) и в целом русских периодических изданиях в Германии и Чехословакии (Д.Д. Николаев), Великобритании (О.А. Казнина), Финляндии, Югославии, США (Ю.А. Азаров), Латвии с фокусом на газету «Сегодня», Дальнего Востока и Харбина (Е.М. Трубилова), а также периодических изданиях евразийского движения (О.А. Казнина) [Литература русского зарубежья 2004]. Отметим широкий охват эмигрантской периодики, соотношение общего фона и крупнейших периодических изданий-«памятников», выделение наиболее значимых изданий.

Впрочем, совсем отказываться от персонального подхода эмигрантика не стала. Четвертый выпуск той же серии (2008; под общ. ред. О.Н. Михайлова, отв. ред. Ю.А. Азаров), продолжая исследовательскую стратегию первых двух, включал в себя очерки творчества как крупных, так и не самых известных писателей эмиграции: «Краснов», «Каратеев», «Лукаш» (все очерки — О.Н. Михайлов), «Мережковский» (Е.А. Осьминина), «Бальмонт», «Кондратьев», «Наживин» (все — Е.М. Трубилова), «Цветаева» (О.А. Казнина), «Ветлугин», «Минцлов» (оба — Д.Д. Николаев), «Гребенщиков» (Ю.А. Азаров) [Литература русского зарубежья 2008]. Пятый же выпуск (2013; отв. ред. Ю.А. Азаров) продолжил стратегию, обозначенную в третьем, — освещал некоторые новые периодические издания эмиграции: «Путь», Версты» (О.А. Казнина), «Новый град» (Ю.А. Азаров), а также детскую периодику (Л.Ю. Суровова) — и ввел в научный оборот ряд знаковых фактов из их истории [Литература русского зарубежья 2013].

В 2005 году вышла монография Ю.А. Азарова, предложившая, по сути, третью стратегию описания эмиграции, дополняющую первые две, — через центры расселения эмиграции и особенности культурной жизни в каждом из них (Париж — Берлин — Прага — Белград — Гельсингфорс — Харбин — Нью-Йорк) [Азаров 2005]. Эта стратегия «локусов» активно развивается сейчас историками и культурологами.

В 2000 году ИМЛИ РАН открыл вторую научную серию, посвященную национальным эмиграциям — «Литературное зарубежье» — сильно расширив первоначальные аспекты эмигрантоведения путем соединения проблемы русской эмиграции с проблемами существования национальных диаспор. В серию включались и традиционные статьи о русской эмиграции, но основу ее составляли работы, ориентированные на национальные литературы. Так, в первом выпуске появились статьи об украинской литературе в эмиграции (В.Г. Крикуненко), поэзии северокавказской эмиграции (К.К. Султанов) и абхазской диаспоры в Турции (В.А. Бигуаа), а также «национально-ориентированные» персоналии (см. статью Н.С. Надъярных о Д. Чижевском) [Литературное зарубежье 2000]; во втором выпуске — о грузинской эмиграции на примере Г. Робакидзе (А.Б. Абуашвили), белорусской эмиграции на примере А. Адамовича (А.К. Кавко), нью-йоркской группе украинских поэтов (Ю.А. Барабаш), вторая статья Надъярных о Чижевском. Проблематику второго выпуска расширяют работы Б.С. Зулумян об армянской диаспоре в Византии и К.К. Султанова о романе Мухадина Кандура (потомка эмигрантов из Малой Кабарды, покинувших Северный Кавказ еще в XIX веке). Таким образом, проблема эмиграции в «Литературном зарубежье» существенно расширилась и включила в себя диаспоры значительно более раннего времени, чем XX век [Литературное зарубежье 2002]. В третьем выпуске эта тенденция была продолжена: в статье Б.С. Зулумян речь идет о мхитаристах на острове Святого Лазаря. Основная же идея серии (национальные эмиграции из СССР) была продолжена статьями «Гоголь в литературном сознании украинского зарубежья (Восприятие и интерпретации), часть I» Ю.Я. Барабаша, «Белоросика в творчестве Евгения Ляцкого» А.К. Кавко, «Заки Валиди Тоган: путь в эмиграцию» В.Х. Ганиева, а также третьей статьей Надъярных о Чижевском. Статья Барабаша об украинском поэте Василе Барке (после статьи о нью-йоркской группе украинских поэтов, опубликованной в предыдущем сборнике) намечала подробный разговор о национальных тенденциях второй эмиграции, значительно отличающихся от национального начала в эмиграции первой [Литературное зарубежье 2005].

В четвертом и пятом выпусках традиционных статей по литературе русской эмиграции становится значительно больше, но статьи по национальным эмиграциям по-прежнему придают серии оригинальный каркас. Н.С. Надъярных в обоих выпусках продолжает разностороннее освещение творчества Д. Чижевского, Ю.Я. Барабаш печатает вторую и третью части исследования о Гоголе, К.К. Султанов публикует статью «Символика и образ “Другого” в литературе северокавказской диаспоры», Л.Х. Балагова-Кандур выступает со статьей «Литературная диаспора адыгов. Проблемы этнодуховной идентичности» [Литературное зарубежье 2007], В.А. Бигуаа расширяет тему, заявленную еще в первом выпуске (статья «Культурно-просветительская, научная и литературная деятельность северокавказской и абхазской диаспоры в Турции»), Л.Н. Турбина рассказывает о феномене белорусской поэтессы-эмигрантки Натальи Арсеньевой. Особым поворотом от «эмиграции» к проблеме проживания «диаспор» в столицах Российской империи становится статья Б.С. Зулумян «Литературно-научная деятельность Лазаревского института восточных языков» [Литературное зарубежье 2008].

В последнее десятилетие интенсивность выпусков уменьшилась, но их общая тематическая направленность на жизнь «диаспор» сохранилась: в шестом выпуске К.К. Султанов рассмотрел прозу дагестанского художника и писателя

Х. Мусаясула, Ю.Я. Барабаш выступил со статьей «О “Дневнике” Аркадия Любченко», Л.Н. Турбина написала о литературе белорусской диаспоры в Польше, В.А. Бигуаа опубликовал библиографию «Северокавказская и абхазская диаспора в зарубежных странах», а Б.С. Зулумян продолжила тему Лазаревского института статьей о его директоре Мкртиче Эммине, знатоке армянской литературы [Литературное зарубежье 2012]. Наконец, в сдвоенном седьмом/восьмом выпуске появились статья Н.С. Надъярных о символико-мистических прозрения Г. Сковороды в дискурсе Чижевского, статьи Ю.А. Барабаша «Иван Франко и Гоголь» и романе В. Барки «Желтый князь», а также о Викторе Петрове — писателе, ученом-украинисте, деятеле второй эмиграции и одновременно советском разведчике — и его повести «Без почвы», статьи Р.Х. Угурчиевой «Ингушская литературная диаспора в Турции» и А.М. Муртазалиева «Вклад дагестанской диаспоры в распространение русской словесной культуры в Турции», работа Р.Х. Угурчиевой «Вассан-Гирей Джабагиев и журнал “Свободный Кавказ”». Статья А.Т. Сибгатуллиной «Литературный журнал “Казань” в Турции (1970—1980)» — редкая работа о периодике третьей эмиграции. Статья К.К. Султанова «“Фактор умственной национальной жизни”: вопросы литературы и культуры на страницах газеты “Стамбульские новости”. 1909—1910 годы» переносит рассмотрение периодических изданий эмиграции на жизнь диаспор в эпоху до Первой мировой войны. Эпохально близка ей статья Б.С. Зулумян «Литература армянского зарубежья начала XX века: творчество Ваана Текеяна». Впервые появляется статья о современном поэте, эмигрировавшем из Беларуси, вернувшемся домой и через несколько лет арестованном: «Творчество Владимира Некляева в эмиграции» (автор — Л.Н. Турбина). И здесь же — статьи по истории русской эмиграции: «Парижский журнал “Новый град”: утопия и реальность», «Анафема советской власти: А.И. Куприн в Финляндии» (обе принадлежат Ю.А. Азарову), «Диалог о путях русской поэзии (А. Бем и Г. Адамович)», «“Россия, мы в вечном свиданьи...”: поэзия Владимира Смоленского» (обе написаны А.И. Чагиным). Весьма интересна работа Д.Д. Николаева, привлекающая внимание к творчеству малоизвестных авторов эмиграции: «От ОСВАГа к Смене вех: публицистика и литературная критика Александра Дроздова 1919—1921 годов». Отметим в этом выпуске и далеко отстоящие от тематики «зарубежья» статьи о Ю. Рэтхэу (А.С. Жулева) и У. Сарояне (Б.С. Зулумян) [Литературное зарубежье 2015].

Важным этапом формирования сетевых энциклопедий стали два электронных ресурса, основанных в 2009—2010 годах О.А. Коростелевым. Первый появился под эгидой ДРЗ (ныне курируется ИМЛИ РАН) и назывался «Эмигрантика.ru. Русское зарубежье» (ныне доступен по адресу: emigrantika.imli.ru). Его задачей стали оцифровка и размещение для общего доступа периодики русского зарубежья (первоначально по понятным причинам сконцентрировались на журналах русского Парижа первой волны; далее пока не продвинулись из-за нехватки финансирования), а также размещение справочной литературы. Кроме того, предполагалось создать на этом ресурсе обширный справочно-библиографический отдел с росписями журналов и указателями содержания (эта работа тоже была только начата). Второй ресурс — «Эмигрантика. Периодика русского зарубежья» (доступен по адресу: http://www.emigrantica.ru/; курируется ДРЗ) — представляет собой энциклопедию периодических изданий русской эмиграции во всех странах всех континентов (каталог выстроен по странам и городам). Описание периодических изданий

включает в себя места хранения комплектов и отдельных номеров, а также адреса электронных копий в интернете, если таковые имеются.

В этом же ряду стоит совместный проект О.А. Коростелева и немецкого исследователя М. Шрубы (профессора Миланского университета), привлекший большой международный коллектив и посвященный публикации — и осмыслению как важнейшего источника информации об институциализации русской литературы за рубежом — редакционной переписки журнала «Современные записки», крупнейшего издания довоенной эмиграции (см.: [Современные записки 2010; Современные записки 2011—2014]). Близка к этому замыслу и идея изучения псевдонимов, встречающихся в периодике русской эмиграции; псевдонимы-подписи — важная часть журналистской культуры и массовая практика эмиграции, при этом многие из известных псевдонимов литературоведами не раскрыты. Результатами такой работы стали международная конференция, проведенная О.А. Коростелевым и М. Шрубой в 2014 году (сборник материалов вышел в 2016-м [Псевдонимы 2016]), и словарь псевдонимов, составленный М. Шрубой [Шруба 2018].

С 2000 года начала выходить научная серия «Библиотека-фонд “Русское зарубежье”: Материалы и исследования» (отв. ред. О.Б. Васильевская и М.А. Васильева), серия существовала в течение десяти лет, всего вышло десять выпусков (погодно). Среди них выпуски, посвященные глубокому изучению жизни и творчества отдельного крупного представителя эмиграции (писателя, философа, критика, композитора), а также его влияния на общеэмигрантскую культуру: «Возвращение Гайто Газданова» (вып. 1, сост. М.А. Васильева); «С.Н. Булгаков: религиозно-философский путь» (вып. 4, сост. М.А. Васильева, А.П. Козырев); «А.Л. Бем и гуманитарные проекты русского зарубежья» (вып. 9, сост. и ред. М.А. Васильева); «Николай Метнер: вопросы биографии и творчества» (вып. 10, сост. и ред. Т.А. Королькова, Т.Ю. Масловская, С.Р. Федякин). Эта часть серии реализует «персональную» стратегию изучения эмиграции. Ряд выпусков посвящен городам и странам — центрам русского рассеяния: «Культурное и научное наследие российской эмиграции в Великобритании (1917—1940 годы)» (вып. 3, сост. О.Б. Василевская); «Т.Г. Масарик и “Русская акция” Чехословацкого правительства: к 150-летию со дня рождения Т.Г. Масарика» (вып. 5, отв. ред. М.Г. Вандалковская); «Русский Берлин: 1920—1945» (вып. 6, сост. М.А. Васильева, Л.С. Флейшман, ред. Л.С. Флейшман); «Русские в Италии: культурное наследие эмиграции» (вып. 7, сост. и ред. М.Г. Талалай); «Русские писатели в Париже: взгляд на французскую литературу: 1920—1940» (вып. 8, сост. и ред. Ж.-Ф. Жаккар, А. Морар, Ж. Тассис). Каждый из выпусков основан на материалах большой научной конференции; почти в каждом из них, помимо научных статей, публиковались неизвестные произведения или письма эмигрантов.

С 2010 года (одновременно с переименованием библиотеки-фонда в ДРЗ в 2009-м) основное издание ДРЗ отказалось от тематического принципа и следования проведенным научным конференциям и перешло на иной формат — «Ежегодник», в котором соединяются разного рода исследования, обзоры фондов ДРЗ, хроника научной жизни, рецензии на новые работы о русской эмиграции. Помимо «Ежегодника», ДРЗ выпускает научные издания, посвященные той или иной эмигрантской тематике. Его научная деятельность не ограничивается первой эмиграцией, как это часто бывает, а охватывает и эмиграцию времен Второй мировой войны. Недавний сборник «Дипийцы» [Ди-

пийцы 2021] весьма показателен: он приоткрывает во многом табуированную тему, поскольку в Советском Союзе многие эмигранты второй волны считались предателями и коллаборантами, и по вопросу о том, как относиться к тому или иному автору, нет однозначного общественного мнения и сегодня. Насколько известно автору статьи, планируется продолжить специальные издания о второй эмиграции; возможно, в ДРЗ появится новая серия, очень важная для осмысления русской истории и культуры XX века. Отметим также, что научный отдел ДРЗ ведет разностороннюю научную работу (его научно-исследовательский центр, состоящий из трех отделов, — это небольшой научно-исследовательский институт), а также серию просветительских проектов. В 2022 году бессменный директор ДРЗ В.А. Москвин был удостоен Государственной премии РФ, что свидетельствует о высокой оценке деятельности его сотрудников во всех сферах — научной, архивной, музейной, просветительской.

Отдельно упомянем две научные серии, посвященные творчеству И.А. Бунина. Первая, начавшая выходить в 2004 году, — «И.А. Бунин. Новые материалы» — была основана О.А. Коростелевым и Р. Дэвисом (хранителем Русского архива в Лидсе, Великобритания) и издавалась издательством ДРЗ «Русский путь». Она посвящена большей частью публикации переписки «последнего классика», это позволило заполнить многие белые пятна его биографии эмигрантского периода. Серия выходила крайне нерегулярно. В первом выпуске наиболее значимы переписка И.А. и В.Н. Буниных с Г.В. Адамовичем и с В.Ф. Ходасевичем и переписка Бунина и Г.Н. Кузнецовой с Л.Ф. Зуровым до его прибытия в бунинский дом [И.А. Бунин. Новые материалы 2004]. Второй выпуск появился лишь в 2010-м. Наиболее значимы в этом томе переписка Бунина с Н.Н. Берберовой, П.М. Бицилли, Л.Ф. Зуровым (1933—1953). Новой возможностью, опробованной в этом выпуске, стала публикация неизвестных текстов Бунина — стихотворных пародий, подготовленных и проанализированных во вступительной статье автором этих строк [И.А. Бунин. Новые материалы 2010]. Третий выпуск, вышедший в 2014 году, стал монографическим: в нем были представлены все доступные на тот момент письма Бунина, Буниной и Зурова к Г.Н. Кузнецовой и М.А. Степун. В специальной большой статье подробно освещалась история отношений Бунина, Буниной и Кузнецовой. Из обширного комментария к этим письмам был выделен персональный комментарий, выстроенный в виде «Материалов для Бунинской энциклопедии» [И.А. Бунин. Новые материалы 2014].

Вторая бунинская серия — «Академический Бунин» — была основана в ИМЛИ РАН в 2019 году и посвящена всестороннему осмыслению творческого наследия писателя. В силу исключительного объема выпусков перечислим лишь разделы: в выпуске 1 — «Историко-литературный контекст. Биография», «Восприятие И.А. Бунина за рубежом», «Текстология и комментарий», «Библиография» [Академический Бунин 2019а]; в выпуске 3 — «Поэтика», «Биография и источниковедение», «И.А. Бунин и его современники», «Текстология и комментарий», «Переводы и переводчики», «И.А. Бунин и Палестина» [Академический Бунин 2021]. Второй выпуск серии, вышедший в свет через месяц после первого, представляет собой монографию автора этой статьи о творчестве Бунина эмигрантского периода. Отличительная черта этой монографии — описание поэтики Бунина с учетом новейших текстологических изысканий, а также в общем контексте эмигрантской культуры [Академический Бунин 2019б].

Выделим также систематические работы по изучению русской эмиграции в Китае, ведущиеся в Институте филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск). Ряд статей, в которых были открыты широкой научной публике забытые поэты-эмигранты, а также исследования дальневосточной периодики периода Дальневосточной республики и русской периодики в Китае подвели сотрудников института к созданию важнейшего сборника (см.: [Русский Китай и Дальний Восток 2020]).

Принципиальным шагом в издании эмигрантских текстов (научная подготовка текста, текстологическое исследование, исчерпывающий комментарий) стало появление авторов-эмигрантов (их произведений эмигрантского периода) в книгах серии «Литературные памятники» (см.: [Аверченко 2021; Белый 2014; Иванов 2015; Ремизов 2011; Северянин 2004; 2017; Толстой 2012]), как и постепенно реализуемые ИМЛИ РАН и ИРЛИ (Пушкинским Домом) РАН собрания сочинений Л.Н. Андреева, Д.С. Мережковского, Вяч.И. Иванова, А.М. Ремизова и др. В академической серии «Литературное наследство» публикуются неизданные произведения и наброски писателей-эмигрантов.

В последние годы написаны важные учебники для филологических факультетов, среди которых выделяется огромный том, созданный в СПбГУ с участием иных петербургских вузов и Пушкинского Дома [Литература русского зарубежья (1920—1940) 2013]. Если этот основной учебник охватывает только межвоенный период, то некоторые учебные пособия предлагают общую картину русского зарубежья трех волн [Матвеева 2017]. В последнее десятилетие важнейшую роль приобрел методический вопрос планирования университетских курсов: нужен ли отдельный курс эмигрантской литературы? Появление отдельных курсов в 1990-е годы было дополнением к сложившейся парадигме представления истории русской литературы. Теперь же есть возможность перестроить саму парадигму. Автор этой статьи некоторое время читал спецкурс «Литература русской эмиграции» в разных петербургских вузах, но одновременно выстраивал и общий курс русской литературы XX века как три параллельных литературных процесса, один из которых — литература эмиграции [Пономарев 2016а]. Наиболее органичной точки зрения на этот счет придерживается профессор И.Н. Сухих, автор полной линейки школьного учебника: в беседах с пишущим эти строки он неоднократно подчеркивал, что писатели эмиграции должны быть просто включены в общий курс литературы.

Итак, в 2000—2010-е годы изучение эмигрантской литературы чрезвычайно расширилось: помимо авторов первого ряда исследователи обратили внимание на авторов малоизвестных, по крупицам восстановив их биографии и создав подробные очерки творчества. Этому значительно способствовало фронтальное изучение эмигрантской периодики, в котором ученые-эмигрантоведы добились значительных успехов. Важным шагом эмигрантики стало расширение изучаемого материала на национальные эмиграции из СССР, которые во многом продолжали традиции национальных эмиграций из Российской империи. На этом фоне эмигрантика стала все чаще выходить за пределы XX столетия, были подняты вопросы типологии эмиграций в Новое и Новейшее время, ответы на которые пока не даны. Русскую эмиграцию предстоит рассмотреть в ряду больших европейских эмиграций XVIII—XX веков. Кроме того, лишь намечено исследование взаимодействия/взаимоотторжения русской и национальных эмиграций из России/СССР, особенно во второй половине XX века (в настоящее время особенно актуальны как идейное противостояние, так и со-

вместная антисоветская деятельность русской эмиграции, большей частью разделявшей имперские представления, и эмиграций украинской, белорусской, кавказской, а также восточно-европейских эмиграций). Здесь существенное значение приобретает литературная и политическая жизнь третьей эмиграции (остающейся пока наименее исследованной), например редакционная политика парижского журнала «Континент», издававшегося русским писателем Владимиром Максимовым, но позиционировавшего себя как неподцензурное издание всей угнетенной Советами Восточной Европы.

Трендом последнего десятилетия стало междисциплинарное изучение эмиграции как особого культурного феномена. Литература эмиграции включается в культурно-исторические штудии как составляющая часть. В этом контексте следует упомянуть монографии О.Р. Демидовой (см.: [Демидова 2003; 2015]), а также целый ряд статей, в которых сформулированы задачи реконструкции специфических форм эмигрантской культуры (см., например: [Пономарев 2016б]). Существенную помощь в этом аспекте оказывают публикации дневников, переписки и мемуаров как выдающихся, так и рядовых эмигрантов.

Таким образом, эмигрантика сегодня имеет широкие перспективы: она переходит к изучению политических и культурных миграций Нового (и Новейшего) времени, ставит вопросы о географии культур. Всем перечисленным современным вопросам будет посвящена новая научная серия «Emigrantica», которая в настоящий момент готовится в ИМЛИ РАН. Не забывая о русской эмиграции как о точке отсчета, расширяя свое внимание на все три волны русской эмиграции, новое издание собирается говорить о разных миграциях и эмиграциях.

К сожалению, в этом обзоре не было возможности упомянуть ни многочисленные организации, ни тем более всех ярких исследователей, изучающих литературу русской эмиграции. Нам пришлось остановиться лишь на тех институтах, в которых существуют научные отделы (группы) по изучению эмиграции, а также исключительно на научных сериях, ей посвященных. Кроме того, мы описали только мейнстрим эмигрантики, оставив за скобками несколько намеченных линий, не получивших развития. Например, в середине 2000-х годов появились работы, в которых к эмиграции применялась модная постколониальная теория. Эта тенденция оказалась не слишком продуктивной: эмигрантская культура далека от пафоса антиколониализма. Словом, подробную историю эмигрантики в России еще предстоит написать. Этот очерк — лишь первая попытка.

Литература / References

[Аверченко 2021] — *Аверченко А.Т.* Рассказы (юмористические): В 2 т. / Изд. подгот. Д.Д. Николаев. М.: Ладомир, 2021.
(*Averchenko A.T.* Rasskazy: In 2 vols. / Prep. by D.D. Nikolaev. Moscow, 2021.)

[Академический Бунин 2019а] — Творчество И.А. Бунина в историко-литературном контексте (биография, источниковедение, текстология) / Ред.-сост. О.А. Коростелев, С.Н. Морозов. М.: Литфакт, 2019. (Серия «Академический Бунин». Вып. 1).
(Tvorchestvo I.A. Bunina v istoriko-literaturnom kontekste / Ed. by O.A. Korostelev, S.N. Mo-

rozov. Moscow, 2019. (Akademicheskij Bunin. Iss. 1).)

[Академический Бунин 2019б] — *Пономарев Е.Р.* Преодолевший модернизм: Творчество И.А. Бунина эмигрантского периода. М.: Литфакт, 2019. (Серия «Академический Бунин». Вып. 2).

(*Ponomarev E.R.* Preodolevshiy modernism: Tvorchestvo I.A. Bunina emigrantskogo perioda. Moscow, 2019. (Akademicheskiy Bunin. Iss. 2).)

[Академический Бунин 2021] — И.А. Бунин и его время: Контексты судьбы — история творчества / Отв. ред.-сост. Т.М. Двинятина, С.Н. Морозов; ред. А.В. Бакунцев, Е.Р. Пономарев. М.: ИМЛИ РАН, 2021. (Серия «Академический Бунин». Вып. 3).

(I.A. Bunin i ego vremia / Comp. by T.M. Dviniatina, S.N. Morozov; ed. by A.V. Bakuntsev, E.R. Ponomarev. Moscow, 2021. (Akademicheskiy Bunin. Iss. 3).).

[Андреев 1994] — *Андреев Л.* S.O.S.: Дневник (1914—1919). Письма (1917—1919). Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников (1918—1919) / Под ред. и со вступ. ст. Р. Дэвиса и Б. Хеллмана. М.; СПб.: Atheneum-Феникс, 1994.

(*Andreev L.* S.O.S.: Dnevnik (1914—1919). Pis'ma (1917—1919). Stat'i i interv'yu (1919). Vospominaniya sovremennikov (1918—1919) / Ed. and introd. by R. Davies, B. Hellman. Moscow; Saint Petersburg, 1994.)

[Агеносов 1998] — *Агеносов В.В.* Литература russkogo зарубежья. М.: Терра спорт, 1998.

(*Agenosov V.V.* Literatura russkogo zarubezh'ya. Moscow, 1998.)

[Азаров 2005] — *Азаров Ю.А.* Диалог поверх барьеров: литературная жизнь русского зарубежья: центры эмиграции, периодические издания, взаимосвязи (1918—1940). М.: Совпадение, 2005.

(*Azarov Yu.A.* Dialog poverkh barierov: literaturnaya zhizn' russkogo zarubezh'ya (1918—1940). Moscow, 2005.)

[Бабореко 1967] — *Бабореко А.К.* И.А. Бунин: Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М.: Худож. лит., 1967.

(*Baboreko A.K.* I.A. Bunin: Materialy dlya biografii (s 1870 po 1917). Moscow, 1967.)

[Белый 2014] — *Белый А.* Начало века / Изд. подгот. А.В. Лавров. Берлинская ред. (1923). СПб.: Наука, 2014.

(*Bely A.* Nachalo veka / Prep. by A.V. Lavrov. Saint Petersburg, 2014.)

[Демидова 2003] — *Демидова О.Р.* Метаморфозы в изгнании: литературный быт русского зарубежья. СПб.: Гиперион, 2003.

(*Demidova O.R.* Metamorfozy v izgnanii: Literaturnyy byt russkogo zarubezh'ya. Saint Petersburg, 2003.)

[Демидова 2015] — *Демидова О.Р.* Изгнанье как посланье: эстезис и этос русской эмиграции. СПб.: Русская культура, 2015.

(*Demidova O.R.* Izgnan'e kak poslan'e: estezis i etos russkoy emigratsii. Saint Petersburg, 2015.)

[Дипийцы 2021] — Дипийцы: Материалы и исследования / Отв. ред. П.А. Трибунский. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2021.

(Dipiytsy: materialy i issledovaniya / Ed. by P.A. Tribunski. Moscow, 2021.)

[Д.С. Мережковский: мысль и слово 1999] — Д.С. Мережковский: мысль и слово: [Материалы Междунар. конф., март 1991 г. / Редкол.: В.А. Келдыш, И.В. Корецкая, М.Л. Никитина]. М.: Наследие, 1999.

(D.S. Merezhkovsky: Mysl' i slovo / Ed. by V.A. Keldysh, I.V. Koretskaya, M.L. Nikitina. Moscow, 1999.)

[И.А. Бунин. Новые материалы 2004] — И.А. Бунин. Новые материалы / [Сост. О.А. Коростелев, Р. Дэвис]. Вып. I. М.: Русский путь, 2004.

(*I.A. Bunin.* Novye materialy / [Comp. by O.A. Korostelev, R. Davies]. Iss. 1. Moscow, 2004.)

[И.А. Бунин. Новые материалы 2010] — И.А. Бунин. Новые материалы / [Сост. О.А. Коростелев, Р. Дэвис]. Вып. II. М.: Русский путь, 2010.

(I.A. Bunin: Novye materialy / [Comp. by O.A. Korostelev, R. Davies]. Iss. II. Moscow, 2010.)

[И.А. Бунин. Новые материалы 2014] — И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. III: «...Когда переписываются близкие люди»: Письма И.А. Бунина, В.Н. Буниной, Л.Ф. Зурова к Г.Н. Кузнецовой и М.А. Степун 1934—1961 / Сост., подгот. текста, науч. аппарат Е.Р. Пономарева и Р. Дэвиса; сопроводит. ст. Е.Р. Пономарева. М.: Русский путь, 2014.

(*I.A. Bunin.* Novye materialy. Iss. III. "Kogda perepisyvayutsya blizkie lyudi": Pis'ma I.A. Bunina, V.N. Buninoy, L.F. Zurova k G.N. Kuzhetsovoy i M.A. Stepun. 1934—1961 / Ed. and prep. by E.R. Ponomarev, R. Davies; accomp. art. by E.R. Ponomarev. Moscow, 2010).

[И.А. Бунин и русская литература XX века 2015] — И.А. Бунин и русская литература XX века: По материалам Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения И.А. Бунина. М.: Наследие, 1995.

(I.A. Bunin i russkaya literatura XX veka / Po materialam Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyachshennoy 125-letiyu so dnya rozhdeniya I.A. Bunina. Moscow, 1995).

[Иванов 2015] — *Иванов В.И.* Повесть о Светомире царевиче / [Изд. подгот. А.Л. Топорков и др.; отв. ред. А.Б. Шишкин]. М.: Ладомир: Наука, 2015.

(*Ivanov V.I.* Povest' o Svetomire-tsareviche / Prep. by A.L. Toporkov, ed. by A.B. Shishkin et al. Moscow, 2015.)

[Иезуитова 1976] — *Иезуитова Л.А.* Творчество Леонида Андреева (1892—1906) Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976.

(*Iezuitova L.A.* Tvorchestvo Leonida Andreeva (1892—1906). Leningrad, 1976.)

[Исторический сборник «Память» 2017] — Исторический сборник «Память». Исследования и материалы / Сост. и коммент. Б. Мартин, А. Свешников. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

(Istoricheskiy sbornik "Pamiat'". Issledovaniya i materialy / Comp. and comment. by B. Martin, A. Sveshnikov. Moscow, 2017.)

[Казнина 1997] — *Казнина О.А.* Русские в Англии: русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. М.: Наследие, 1997.

(*Kaznina O.A.* Russkie v Anglii: russkaya emigratsiya v kontekste russko-angliyskikh literaturnykh svyazei v pervoi polovine XX veka Moscow, 1997.)

[Культурное наследие российской эмиграции 1994] — Культурное наследие российской эмиграции: 1917—1940: В 2 кн. / Под общ. ред. Е.П. Челышева, Д.М. Шаховского. М.: Наследие, 1994.

(Kulturnoe nasledie rossiyskoy emigratsii: 1917—1940. In 2 bks. / Ed. by E.P. Chelyshev, D.M. Shahovskoy. Moscow, 1994.)

[Литература русского зарубежья 1993] — Литература русского зарубежья, 1920—1940. Вып. 1 / Сост. и отв. ред. О.Н. Михайлов. М.: Наследие; Наука, 1993.

(Literatura russkogo zarubezh'ya. 1920—1940. Iss. 1 / Comp. and ed. by O.N. Mikhailov. Moscow, 1993.)

[Литература русского зарубежья 1999] — Литература русского зарубежья, 1920—1940. Вып. 2 / Отв. ред. О.Н. Михайлов. М.: ИМЛИ — Наследие, 1999.

(Literatura russkogo zarubezh'ya. 1920—1940. Iss. 2 / Ed. by O.N. Mikhailov. Moscow, 1999.)

[Литература русского зарубежья 2004] — Литература русского зарубежья, 1920—1940. Вып. 3 / Под общ. ред. О.Н. Михайлова; отв. ред. Ю.А. Азаров. М.: ИМЛИ РАН, 2004.

(Literatura russkogo zarubezh'ya. 1920—1940. Iss. 3 / Ed. by O.N. Mikhailov, Yu.A. Azarov. Moscow, 2004.)

[Литература русского зарубежья 2008] — Литература русского зарубежья, 1920—1940. Вып. 4 / Под общ. ред. О.Н. Михайлова; отв. ред. Ю.А. Азаров. М.: ИМЛИ РАН, 2008.

(Literatura russkogo zarubezh'ya. 1920—1940. Iss. 4 / Ed. by O.N. Mikhailov, Yu.A. Azarov. Moscow, 2008.)

[Литература русского зарубежья 2013] — Литература русского зарубежья, 1920—1940. Вып. 5 / Под общ. ред. О.Н. Михайлова; отв. ред. Ю.А. Азаров. М.: ИМЛИ РАН, 2013.

(Literatura russkogo zarubezh'ya. 1920—1940. Iss. 5 / Ed. by O.N. Mikhailov, Yu.A. Azarov. Moscow, 2013.)

[Литература русского зарубежья (1920—1940) 2013] — Литература русского зарубежья (1920—1940): Учебник для высших учебных заведений Российской Федерации / Под ред. Б.В. Аверина и др. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013.

(Literatura russkogo zarubezh'ya: (1920—1940): uchebnik / Ed. by B.V. Averin et al. Saint Petersburg, 2013.)

[Литературное зарубежье 2000] — Литературное зарубежье: проблема национальной идентичности / [Редкол.: Ю.Я. Барабаш (отв. ред.) и др.]. М.: Наследие, 2000.

(Literaturnoe zarubezh'e: problema natsional'noy identichnosti / [Ed. by Yu.Ya. Barabash]. Moscow, 2000.)

[Литературное зарубежье 2002] — Литературное зарубежье: национальная литература — две или одна? / [Редкол.: Ю.Я. Барабаш (отв. ред.) и др.]. М.: ИМЛИ РАН, 2002.

(Literaturnoe zarubezh'e: natsional'naya literatura — dve ili odna? / Ed. by Yu.Ya. Barabash. Moscow, 2002.)

[Литературное зарубежье 2005] — Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы / [Редкол.: Ю.Я. Барабаш (отв. ред.) и др.]. М.: ИМЛИ РАН, 2005.

(Literaturnoe zarubezh'e: Litsa. Knigi. Problemy / [Ed. by Yu.Ya. Barabash]. Moscow, 2005.)

[Литературное зарубежье 2007] — Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы / [Редкол.: Ю.Я. Барабаш (отв. ред.) и др.]. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, 2007.

(Literaturnoe zarubezh'e: Litsa. Knigi. Problemy. Iss. 4 / [Ed. by Yu.Ya. Barabash]. Moscow, 2005.)

[Литературное зарубежье 2008] — Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы / [Редкол.: Ю.Я. Барабаш (отв. ред.) и др.]. Вып. 5. М.: ИМЛИ РАН, 2008.

(Literaturnoe zarubezh'e: Litsa. Knigi. Problemy. Iss. 5 / [Ed. by Yu.Ya. Barabash]. Moscow, 2008.)

[Литературное зарубежье 2012] — Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы / [Редкол.: Ю.Я. Барабаш (отв. ред.) и др.]. Вып. 6. М.: ИМЛИ РАН, 2012.

(Literaturnoe zarubezh'e: Litsa. Knigi. Problemy. Iss. 6 / [Ed. by Yu.Ya. Barabash]. Moscow, 2012.)

[Литературное зарубежье 2015] — Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы / [Редкол.: Ю.Я. Барабаш (отв. ред.) и др.]. Вып. 7—8. М.: ИМЛИ РАН, 2015.

(Literaturnoe zarubezh'e: Litsa. Knigi. Problemy. Iss. 7—8 / [Ed. by Yu.Ya. Barabash]. Moscow, 2015.)

[Матвеева 2017] — *Матвеева Ю.В.* Русская литература зарубежья: три волны эмиграции XX века: Учеб.-метод. пособие для студентов. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2017.

(*Matveeva Yu.V.* Russkaya literatura zarubezh'a: tri volny emigratsii. Ekaterinburg, 2017.)

[Михайлов 1967] — *Михайлов О.Н.* Иван Алексеевич Бунин: Очерк творчества. М.: Наука, 1967.

(*Mihailov O.N.* Ivan Alekseevich Bunin: Ocherk tvorchestva. Moscow, 1967.)

[Пономарев 2006] — *Пономарев Е.Р.* [Рец. на кн.:] Леонид Андреев. S.O.S. // Вестник СПбГУКИ. 2006. № 1 (4). С. 158—161.

(*Ponomarev E.R.* [Review:] Leonid Andreev. S.O.S. // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta kul'tury i iskusstv. 2006. № 1 (4). P. 158—161.)

[Пономарев 2016а] — *Пономарев Е.Р.* Русская литература XX века: 20—30-е годы: Учебное пособие. СПб.: СПбГИК, 2016.

(*Ponomarev E.R.* Russkaya literatura XX veka. Saint Petersburg, 2016.)

[Пономарев 2016б] — *Пономарев Е.Р.* Парадигмы эмигрантского быта: круг общения семьи Буниных и повседневная культура эмиграции // Вестник СПбГУ. Серия 2. История. 2016. № 1. С. 52—63.

(*Ponomarev E.R.* Paradigmy emigrantskogo byta: krug obshcheniya sem'i Buninykh i povsednevnaya kul'tura emigratsii // Vestnik of Saint Petersburg University. History. 2016. № 1. P. 52—63.)

[Псевдонимы 2016] — Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования / Под ред. М. Шрубы и О. Коростелева. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

(Psevdonimy russkogo zarubezh'ya: Materialy i issledovaniya / Ed. by M. Schruba, O. Korostelev. Moscow, 2016.)

[Ремизов 2011] — *Ремизов А.М.* Кукха. Розановы письма. / Изд. подгот. Е.Р. Обратнина. СПб.: Наука, 2011.

(*Remizov A.M.* Kukha. Rozanovy pis'ma / Prep. by E.R. Obatnina. Saint Petersburg, 2011.)

[С двух берегов 2002] — С двух берегов: Русская литература XX в. в России и за рубежом / [Ред. Р. Дэвис, В.А. Келдыш]. М.: ИМЛИ РАН, 2002.

(S dvukh beregov: Russkaya literatura XX veka v Rossii i za rubezhom / [Ed. by R. Davies, V.A. Keldysh]. Moscow, 2002.)

[Северянин 2004] — *Северянин И.* Громокипящий кубок; Ананасы в шампанском; Соловей: Классические розы / Изд. подгот. В.Н. Терёхина, Н.И. Шубникова-Гусева. М.: Наука, 2004.

(*Severianin I.* Gromokipyashiy kubok… / Prep. by V.N. Teriohina, N.I. Shubnikova-Guseva. Moscow, 2004.)

[Северянин 2017] — *Северянин И.* Громокипящий кубок; Ананасы в шампанском; Соловей; Классические розы / Изд. подгот. В.Н. Терёхина, Н.И. Шубникова-Гусева. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 2017.

(*Severianin I.* Gromokipyashiy kubok… / Prep. by V.N. Teriohina, N.I. Shubnikova-Guseva. 2nd ed. Moscow, 2017.)

[Современные записки 2010] — Вокруг редакционного архива «Современных записок», (Париж, 1920—1940): Сб. статей и материалов / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

(Vokrug redaktsionnogo arhiva "Sovremennyh zapisok" (Parizh, 1920—1940) / Ed. by O. Korostelev, M. Schruba. Moscow, 2010.)

[Современные записки 2011—2014] — «Современные записки» (Париж, 1920—1940). Из архива редакции / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. Т. 1—4. М.: Новое литературное обозрение, 2011—2014.

(Sovremennye zapiski (Parizh, 1920—1940). Iz arhiva redaktsii / Ed. by O. Korostelev, M. Schruba. Vol. 1—4. Moscow, 2011—2014.)

[Толстой 2012] — *Толстой А.Н.* Хождение по мукам: [главы I—XLIII] / Ст., примеч. Г.Н. Воронцовой. М.: Наука, 2012.

(*Tolstoj A.N.* Khozhdenie po mukam / Art., notes by G.N. Vorontsova. Moscow, 2012.)

[Русский Китай и Дальний Восток 2020] — Русский Китай и Дальний Восток: Поэзия, проза, свидетельства / Отв. ред. И.В. Силантьев, Е.В. Капинос, И.Е. Лощилов. СПб.: Алетейя, 2020.

(Russkiy Kitay i Dal'niy Vostok / Ed. by I.V. Silantiev, E.V. Kapinos, I.E. Loshilov. Saint Petersburg, 2020.)

[Творчество Н.А. Тэффи 1999] — Творчество Н.А. Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века / Редкол.: О.Н. Михайлов, Д.Д. Николаев, Е.М. Трубилова. М.: Наследие, 1999.

(*Tvorchesto N.A.* Teffi i russkiy literaturniy protsess pervoy poloviny XX veka. Moscow, 1999.)

[Шруба 2018] — *Шруба М.* Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе (1917—1945). М.: Новое литературное обозрение, 2018.

(*Schruba M.* Slovar' psevdonimov russkogo zarubezh'ya v Evrope (1917—1945). Moscow, 2018.)

Евгений Савицкий

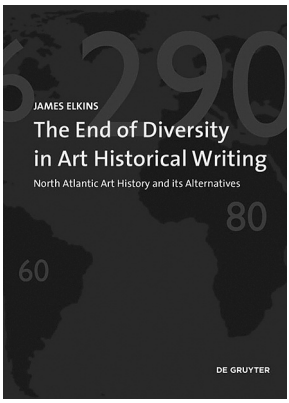
Глобализация и неравенство в современном искусствоведении

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_397

Elkins J. The End of Diversity in Art Historical Writing: North Atlantic Art History and Its Alternatives.

Berlin, Boston: Walter de Guyter, 2021. — 221 p.

Джеймс Элкинс, американский художественный критик и искусствовед, две книги которого уже переведены на русский язык[1], в своей новой монографии «Конец разнообразия в написании истории искусства: североатлантическая история искусства и ее альтернативы» утверждает: в то время как современные художественные практики становятся все более многообразными и инклюзивными, их исследование по всему миру, наоборот, стремится к единообразию. Доминирующим стал профессиональный язык, сложившийся в свое время в среде исследователей, близких к журналу «Октобер» (Розалинд Краусс, Хэл Фостер, Ив-Ален Буа и др.), — они критически относились к послевоенному неомодернизму в США и способствовали рецепции деконструктивистских, неомарксистских и психоаналитических подходов в искусствоведении. Из-за преобладающего влияния американских и англоязычных европейских университетов эта модель исследовательского языка постепенно стала определять границы профессионального искусствоведения по всему миру.



До сих пор, отмечает Элкинс, функционирование такого унифицированного языка в глобальном масштабе практически не исследовалось[2]; в основном подходы к написанию искусствоведческих текстов обсуждаются по-прежнему в связи с локальными научными традициями. Предметом дискуссий может быть пересмотр художественного канона, включение в него новых, ранее не привлекавших внимания художественных практик, связанных с маргинальными социальными группами или регионами, но сам язык истории искусства и художественной критики воспринимается как нормальный и общепринятый, несмотря на то что, казалось бы, деконструктивистская теория должна была препятствовать такой стабилизации. Современные ис-

1 *Элкинс Д.* Исследуя визуальный мир / Пер. А. Денищик и др. Вильнюс, 2010; *Он же.* Почему нельзя научить искусству / Пер. И.Г. Усовой. М., 2015.

2 Как отмечает Элкинс, в последние годы появлялись работы, посвященные всемирной истории искусства в старом ее понимании (см., например: *Summers D.* Real Spaces: World Art History and the Rise of Western Modernism. L., 2001) и глобализации в искусстве (см., например: *Stallabrass J.* Art Incorporated: The Story of Contemporary Art. Oxford, 2004; *Demos T.J.* Return to the Postcolony: Specters of Colonialism in Contemporary Art. Berlin, 2013; *Jones C.* The Global Work of Art: World's Fairs, Biennals, and the Aesthetics of Experience. Chicago, 2017), а также критические исследования о том, как писать такие всемирные и глобальные истории, — однако тема глобализации самого языка искусствоведения в них не затрагивалась.

кусствоведческие тексты снабжены довольно единообразным набором историографических и теоретических отсылок, связанных преимущественно с французской послевоенной структуралистской и постструктуралистской философией и ее американскими или европейскими последователями; редко можно встретить молодого исследователя, ссылающегося на теоретика, которого никто не знает. В основном это одни и те же знаменитые авторы: Джорджо Агамбен, Джудит Батлер, Жак Рансьер и т.д. Считается, что их работы лучше всего подходят для интерпретации искусства по всему миру. Добавление в канон маргинальной художественной практики обычно не сопровождается включением в него тех локальных исследований, что сделали для нас эту практику известной.

При этом, провокативно заявляет Элкинс, не существует никакого «ожидающего открытия континента» (с. 10) иного искусствоведческого письма — локальных традиций, способных обогатить западное знание и сделать его более разнообразным. Те, кто занимается изучением искусства, заведомо вписаны в глобальную систему искусствоведения, центрами которой являются немногочисленные американские и в меньшей степени западноевропейские университеты. Несмотря на все стремление к многообразию, в них все еще доминируют «пожилые белые мужчины». Иностранные исследователи, которым удается попасть в эти научные центры, должны обладать требуемыми там навыками, соответствовать строгим критериям профессионализма, так что в конечном счете их появление создает лишь иллюзию многообразия: допускаются лишь те, кто соответствует требованиям. В этом смысле, отмечает Элкинс, академическая среда схожа с глобальным художественным рынком: не включенные в него, не принимающие его условий остаются невидимыми.

Способность институции быть международным центром искусствоведческих исследований во многом зависит от размера ее финансирования — возможности приобретать новые книги, оплачивать командировки сотрудников или подготовку публикаций, в том числе их качественный перевод и редактирование на английском языке. Элкинс обращает внимание, что это могут самостоятельно делать далеко не все ученые за пределами англоязычного мира, даже если они читают профильную литературу или выступают с устными докладами на английском. Работая вне основных международных центров, исследователи зачастую не имеют информации о грантах, стипендиях и конференциях, не знают, как правильно написать заявку. Не во всех научных учреждениях за пределами «первого мира» есть даже стабильный доступ в интернет, не говоря уже об институциональном доступе к платным информационным ресурсам. В некоторых странах Африки исследователи пользуются в основном мобильным интернетом — и тексты, и изображения они видят только в масштабе экрана смартфона.

О сложности доступа к новейшим исследованиям, продолжает Элкинс, говорят и ученые из таких стран, как Испания, Польша, Финляндия, Сербия или Эстония, то есть принадлежность к «первому миру» отнюдь не является гарантией равенства в обладании ресурсами. Даже в странах ЕС годовой бюджет университетских библиотек может быть весьма скромным, и в этом случае у студентов есть лишь ограниченный выбор исследовательской литературы. Приобретение дорогих иностранных книг на собственные деньги не всегда может быть решением проблемы. Так, отмечает автор, в России сроки доставки почтовых отправлений таковы, что можно не дождаться нужной книги до конца семестра.

Решение проблемы доступа к платным ресурсам обычно видится в публикации исследований на условиях открытого доступа или в размещении авторами своих работ или их фрагментов в социальных сетях, в том числе специальных академических. Однако и в них преобладают и пользуются вниманием в основном североатлантические исследования. Таким образом, эти альтернативные формы распро-

странения знания не подрывают тенденцию к гомогенизации искусствоведения, а скорее усиливают ее.

В результате то, как выглядит история искусства в конкретном месте, прямо зависит от доступных ресурсов, и потому она может быть весьма странной на взгляд американского профессора из богатого университета. О многих исследованиях коллегам из менее обеспеченных научных учреждений будет известно лишь понаслышке, в не вполне адекватных пересказах. В своих работах они будут допускать несуразные сочетания имен малоизвестных им авторов, смешивать профессиональное и непрофессиональное знание. Так, по словам Элкинса, один профессор из «развивающейся страны» с гордостью рассказывал, что основную часть сведений для своего исследования почерпнул из «очень сложного теоретического источника», которым оказался «Код Да Винчи» (с. 25). Даже очутившись благодаря гранту или стипендии в хорошей библиотеке, такие исследователи едва ли способны с толком использовать эту возможность, так как плохо ориентируются в современной исследовательской ситуации. При этом вообще возможность много ездить, посещать выставки, библиотеки, архивы, конференции — необходимое условие профессиональной компетентности современного искусствоведа. В большинстве исследовательских центров за пределами США и Западной Европы ситуация с оплатой командировок, однако, не лучше, чем с приобретением новых книг и журналов. Это образует, по мнению Элкинса, замкнутый круг, когда в бедных университетах не может быть хороших специалистов, а потому эти университеты и остаются бедными, не способными привлекать хороших специалистов, гранты и платежеспособных студентов.

Все это, однако, не становится предметом обсуждения в профессиональном сообществе. В качестве примера Элкинс рассматривает деятельность Международной ассоциации искусствоведов (l'Association Internationale des Critiques d'Art), а именно проводимые ею конгрессы, на которых при всем стремлении к интернационализации остаются без внимания особенности интерпретативных стратегий, стилистики аргументации участников из разных стран, а также влияние на них глобализации. Так, на секции по художественной критике на конгрессе в Братиславе в 2013 г. восточноевропейские исследователи вовсе не касались тем, которые, казалось бы, составляют предмет художественной критики, — оценки качества произведений или отношений между произведением и зрителем. Вместо этого украинская докладчица рассказывала про успехи в борьбе с русификацией и провинциализацией модернистского искусства в своей стране, румынская — о сопротивлении местного искусства его узурпации западным художественным рынком и т.п. В секции по истории искусства делались доклады, которые были сугубо философскими, но и здесь разительные различия в представлениях о профессиональном поле не становились предметом обсуждения.

Примером сравнительного изучения языка для искусствоведов могли бы стать, по мнению Элкинса, современные исследования всемирной литературы, в которых обращается внимание на различные последствия глобализации. Так, филологи отмечают, что многие романы сегодня пишутся изначально в расчете на перевод на множество языков, и это влияет на их стилистику и содержание: язык упрощается, в тексте делается меньше отсылок к реалиям, известным жителям только одной страны, и т.д.[3] Те произведения, которые не следуют этим правилам и оказываются слиш-

3 См.: *Parks T.* The Dull New Global Novel // The New York Review of Books. 2010. February 9 (http://www.nybooks.com/daily/2010/02/09/the-dull-new-global-nove). См. также: *Walkowitz R.* Born Translated: The Contemporary Novel in an Age of World Literature. N.Y., 2015; *Watroba K.* World Literature and Literary Value: Is "Global" The New "Low-brow"? // Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry. 2018. Vol. 5. № 1. P. 53—68.

ком сложными и регионально специфичными, вытесняются с рынка. От авторов требуются лишь легко считываемые знаки местного колорита. По мнению Элкинса, в искусствоведении и художественной критике можно заметить те же самые тенденции: ожидается, что текст исследования будет легко переводимым, понятным даже неспециалисту в данной узкой области; содержать локальные примеры, но такие, которые не дезориентируют англоязычного читателя. Автор соглашается с писателем и литературоведом Тимом Парксом, что нужно сопротивляться таким нивелирующим разнообразие тенденциям, однако это, по его мнению, чревато тем, что отклоняющиеся от тенденций глобализации тексты будут просто оставаться без внимания.

Впрочем, пишет Элкинс, сама идея истории искусства — европейская, и едва ли можно изгнать из нее европоцентризм, не уничтожив при этом саму академическую дисциплину[4]. Автор ссылается на дискуссии в Южной Африке о преодолении наследия колониализма и апартеида в высшем образовании: в какой-то момент возник вопрос о том, нужно ли вообще сохранять университеты с их британской моделью преподавания, это наследие колониального владычества. Их упразднение, однако, сделает сомнительным выживание академического искусствоведения.

Элкинс с сожалением отмечает, что у современных искусствоведов нет книг вроде составленной Дэвидом Дэмрошем антологии мировой литературы или написанной им же истории историй всемирной литературы[5]. В отличие от филологии история искусства в значительной мере смогла избежать тех войн вокруг канона, что бушевали в 1980-е гг. Включить в презентацию несколько дополнительных картинок гораздо легче, чем несколько романов, и это позволило не задаваться более сложными методологическими вопросами. Впрочем, в работе с каноном у филологов и искусствоведов имеются и сходства. Так, по Дэмрошу, в старом литературном каноне существовали фигуры первого плана (такие, как Уильям Вордсворт), а фоном для них служили менее известные фигуры (например, Роберт Саути или Уильям Хэзлитт), и пересмотр канона происходит именно за счет этих фигур второго плана, основные же фигуры литературной истории остаются неприкосновенными. То же самое, указывает Элкинс, можно найти и в работах искусствоведов.

Однако не все современные историки искусства стремятся к ревизии культурного архива, пусть даже в такой ограниченной форме. В монографическом исследовании можно вполне легитимно ограничиться выбранным традиционным объектом, не помещая его в более широкие межкультурные контексты. В их совокупности, однако, такие исследования на частные темы способствуют поддержанию старых «больших нарративов». Но также и новая доминирующая модель повествования, созданная публикациями журнала «Октобер», отличается множеством заметных умолчаний, что особенно хорошо видно в масштабном коллективном труде «Искусство с 1900 г.»[6]. Его критики отмечали недостаточное внимание

4 См. об этом (применительно также к более широкому кругу гуманитарных наук): *Чакрабарти Д.* Провинциализируя Европу / Пер. П. Бавина. М., 2021.

5 См.: Longman Anthology of World Literature / Ed. by D. Damrosch, D. Pike, A. Alliston et al.: In 6 vols. L., 2008; *Damrosch D.* What Is World Literature? Princeton, 2003. О работах Дэмроша см.: *Венедиктова Т.* Институт мировой литературы по-гарвардски (Обзор) // Новое литературное обозрение. 2018. № 152. С. 313—323; *Савицкий Е.* Тревожное мастерство: сопоставление литератур в постколониальную эпоху (Рец. на кн.: *De Gennaro M.* Modernism after Postcolonialism. Baltimore, 2020; *Damrosch D.* Comparing the Literatures. Princeton, 2020) // Новое литературное обозрение. 2021. № 168. С. 327—336.

6 *Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б.Х.Д., Джослит Д.* Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Пер. Г. Абдушелишвили, А. Бобрикова, О. Гавриковой и др. М., 2015.

к антимодернистскому искусству, в том числе тоталитарному, к разным формам неоэкспрессионизма и многому другому. Но главные проблемы «Искусства с 1900 г.» Элкинс видит не в этом. Так, он соглашается с Терри Смитом, одним из рецензентов издания, что переломным в нем представляется конец 1960-х гг., когда авторы тома были студентами, когда происходило формирование их взглядов, отчего история искусства второй половины XX в. оказывается как бы проекцией личной истории. Элкинс добавляет, что особый акцент на конце 1960-х он находит не только у этих американских авторов, но и у марокканских, египетских, иранских, корейских и других искусствоведов, хотя в их странах не происходило чего-либо сопоставимого с событиями 1968 г. в США и Западной Европе. Эти авторы тем не менее всячески старались найти у себя искусство, подобное западному искусству 1968 г., порой толкуя его расширительно как вообще всякое оппозиционное искусство. По мнению Элкинса, в современном глобализированном искусствоведении стало своего рода рефлексом рассматривать конец 1960-х где бы то ни было как формирующий момент для позднейшей истории. 1968 г. превратился в то, чем некогда был 1945-й. Дело, по мнению Элкинса, не только в биографиях авторов, но и в том, что именно тогда сформировались основы профессионального языка, на котором говорят искусствоведы сегодня, и поскольку они остаются в этом языке, то и формирующими годами для них неизбежно оказываются поздние 1960-е, когда, как стало принято считать, создавались самые интересные произведения искусства, писались важнейшие теоретические тексты, возникала институциональная критика и т.д. В результате история искусства оказывается ее осовремениванием, наделением особой ценностью того, что все еще важно для нас. Поэтому в конечном счете не так уж важно, что включено в «Искусство с 1900 г.», а что нет. По-настоящему имеет значение используемый язык: именно он структурирует повествование, его ценности и характер аргументации.

Другой цитируемый Элкинсом критик, Мэтью Коллингс, писал об «Искусстве с 1900 г.», что эта книга ведет читателя от доверчивости к утрате иллюзий, поскольку авторы постепенно ставят под вопрос все, что только можно, включая визуальное удовольствие. С этим, однако, связана слепота авторов ко всему сугубо визуальному, в частности к такому искусству, которое рассчитано просто на аполитичный гедонизм. Но и обсуждение серьезного критического искусства обходится без визуального анализа, и отсылки к иллюстрациям в тексте мало что проясняют. Как отмечает Элкинс, авторов обсуждаемого труда уже давно обвиняют в антивизуальности, и ее можно считать общим свойством ориентированного на французскую послевоенную теорию искусствоведения[7]. Не всегда ясно, впрочем, что именно для критиков является альтернативой: прямое эстетическое удовольствие, объективный анализ непосредственных ощущений или что-то еще, но зачастую требования вернуться к визуальному анализу означают допущение, будто он может быть свободен от теоретической и политической нагруженности. По мнению Элкинса, аргументация Коллингса была бы убедительней, если бы он критиковал авторов не вообще за отсутствие визуального анализа, а за отсутствие анализа историзированных визуальных впечатлений (и визуальных удовольствий) как других людей, так и самих авторов. Ведь даже у последовательных противников визуальности есть вкус к идеям, который тоже нуждается в историзации.

Еще один критик, Роберт Сторр, писал (откликаясь на первое издание книги в 2004 г.), что за последние тридцать лет мы были свидетелями строительства новой

7 Эта проблематика в свое время рассматривалась Мартином Джеем в «Опущенных глазах»: *Jay M.* Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. Los Angeles, 1993.

истории искусства, и вот наконец этот объемный том встает на свое место как замковый камень величественного свода, венчающего все здание, замыкающего его, и теперь все, кто активно участвовал в оппозиционных движениях 1960—1980-х гг., способствуя появлению новой истории искусства, вдруг оказались в однопартийном государстве. Так, в списке литературы к каждой главе приводятся преимущественно или работы самих авторов книги, или их учеников, — возможности иных подходов к рассмотрению искусства не учитываются. Элкинс соглашается: книга конструирует довольно узкий новый «большой нарратив», который, по-видимому, в обозримом будущем останется доминирующим в университетах. Но он отмечает также, что Сторр, по сути, сам является частью этой новой ортодоксии, ведь то, в чем он упрекает Краусс, Фостера и др., это отход от «настоящей» критической программы журнала «Октобер» 1970—1980-х гг. По мнению Элкинса, более или менее все пишущие сегодня об искусстве XX в. находятся в том же положении, что и Сторр. Познания Сторра шире, чем авторов коллективного труда, он упоминает и о Бальтюсе, и о советских нонконформистах, и об афроамериканском искусстве в США, которым не нашлось места в «Искусстве с 1900 г.», но его концептуальный аппарат тот же. В сущности, пишет Элкинс, Сторр желает экспансии нового искусствоведческого языка на все недостаточно освоенные им объекты.

«Искусству с 1900 г.» предпосланы четыре методологических введения, посвященных психоанализу, социальной истории искусства, структурализму и постструктурализму, однако, по мнению Элкинса, они не пригодны для использования студентами, поскольку подразумевают знание как более ранних работ авторов книги, так и упоминаемых ими работ других исследователей. Этой недостаточной проговоренности методологии в начале соответствует то обстоятельство, что в каждой главе выбор одного конкретного метода никак не объясняется, он появляется как нечто единственно возможное, исключающее другие толкования рассматриваемых произведений. При этом теоретические пристрастия отдельных участников тома различны, и те, кто хорошо знаком с их работами, могут, например, узнать в статье о 1907 г., подписанной Буа, аргументы, характерные скорее для Краусс или Фостера. Однако различия во взглядах никак не проблематизируются, разного рода аргументы просто приводятся друг за другом без пояснений, единство текста достигается механически, и в нем едва ли что-то поймет тот, кто не умеет вычленять позиции отдельных авторов. Не объясняется и отсутствие в упомянутой статье марксистского подхода в духе Бухло, еще одного автора этой книги. По этой причине, считает Элкинс, «Историю с 1900 г.» нельзя даже назвать «разговором между своими», как писали о ней некоторые критики: никакого разговора, сопоставления позиций там не происходит. Наконец, не обсуждается и то, как подходы, использовавшиеся в течение XX в. художниками, соотносятся с теми четырьмя подходами, что применяют ко всему авторы тома. Языковая ортодоксия не допускает каких-либо складок внутри дискурса.

К замечаниям Элкинса можно добавить, что, в отличие от времен однопартийной системы, когда советские редакторы снабжали переводные западные тексты своими комментариями в форме введений или подстрочных пояснений, порой весьма обильных[8], так или иначе вступая в дискуссию с критикуемыми текстами, издатели русского перевода «Искусства с 1900 г.» воздержались от этого даже там, где, казалось бы, такие комментарии напрашивались. Например, когда в книге утверждается (в связи с автобиографией Йозефа Бойса), что «использование жира и войлока, самых знаменитых материалов его скульптурных работ, восходит

8 Как один из самых ярких примеров см.: *Дженкс Ч.* Язык архитектуры постмодернизма / Пер. А.В. Рябушкина, М.В. Уваровой. М., 1985.

к встрече художника на территории СССР с одним из татарских племен, представители которого спасли ему жизнь во время Второй мировой войны, обмазав его, сбитого пилота Люфтваффе, жиром и обернув войлоком»[9]. Бомбардировщик, на котором Бойс был стрелком-радистом, был сбит над Крымом, где татары живут не племенами, как, впрочем, и волжские татары. Указание на истоки искусства Бойса в практиках «племенных» целителей не выглядит требующим пояснений для редакторов русского перевода, не решающихся противопоставить свое локальное знание авторитетному тексту.

И все же: возможно ли противопоставить что-то этому не подлежащему оспариванию искусствоведческому нарративу? По мнению Элкинса, если где и можно еще найти многообразие, так это во множестве «мелких неравенств» между практиками изучения искусства в разных концах мира, о которых говорилось в начале книги: неравенств в доступе к современной литературе и адекватным переводам, в применении теорий, даже если они одни и те же, в представлениях об уместных ссылках, в различных стилях аргументации, в тоне рассуждений, в использовании архивов. Например, то, что считается вполне удачным, демократичным началом статьи в одном месте, в другом сочтут слишком неформальным; или вполне достаточные для одной страны ссылки на литературу в другой могут восприниматься как зияющие лакунами. Исправлением такого рода «недостатков» заняты как научные руководители студенческих работ, так и редакторы академических журналов, это их повседневная работа. Между тем такие мелкие различия, по мнению Элкинса, — то единственное, что у нас осталось от разнообразия в написании истории искусства, поэтому и относиться к ним стоит внимательно и бережно, вместо того чтобы пытаться их искоренить.

Таким образом, и сам Элкинс в конечном счете остается в рамках французской теории 1970-х гг., а именно — «тактик повседневности» Мишеля де Серто с их расшатыванием нормативного порядка в мелких, не всегда осознанных, ошибочных действиях[10]. Разрушительная работа над языковой ортодоксией оказывается возможна лишь изнутри нее[11, *].

9 *Фостер Х. и др.* Указ. соч. С. 525.

10 См.: *Серто М. де.* Изобретение повседневности: В 2 ч. Ч. 1. Искусство делать / Пер. Д. Калугина. СПб., 2013. С. 100—117.

11 Ср.: *Чакрабарти Д.* Указ. соч. С. 73—74.

* Работа написана при поддержке гранта РНФ № 20-18-00482.

Артем Зубов

«Nobrow» — гармония эстетики и коммерции?

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_404

Swirski P. American Crime Fiction: A Cultural History of Nobrow Literature as Art.

L.: Palgrave Macmillan, 2016. — XIII, 222 p.

When Highbrow Meets Lowbrow: Popular Culture and the Rise of Nobrow / Ed. by P. Swirski, T.E. Vanhanen.

L.: Palgrave Macmillan, 2017. — XV, 271 p.

Ngai S. Theory of the Gimmick: Aesthetic Judgment and Capitalist Form.

L.; Cambridge, Mass.: The Belknap Press, 2020. — 401 p.

На рубеже XX—XXI вв. музыкальный критик Джон Сибрук предложил понятие «ноубрау» (nobrow) для описания современной американской культуры: это культура торгового центра, в котором элитарная («высоколобая») продукция соседствует с продуктами массового («низколобого») производства[1]. Для ситуации «ноубрау» характерно размывание традиционных границ между «верхом» и «низом» в иерархии ценностей: происходит снижение роли «старых культурных арбитров», которые исходя из своих опыта и вкуса могли отделить «хорошее» от «плохого»; на смену привычным критериям эстетического качества приходят критерии популярности и модности. Сибрук наделял понятие «ноубрау» негативным содержанием: в ситуации, когда производители стремятся охватить широкую аудиторию покупателей и ориентируются на коммерческую выгоду, происходит гомогенизация культуры, притупляется вкус к прекрасному.

Несмотря на то что Сибрук использовал понятие «ноубрау» как оценочное и описательное, ряд современных ученых предлагают видеть в нем продуктивную аналитическую категорию. Наиболее активно проблематика «ноубрау» разрабатывается Питером Свирски, известным американистом и специалистом по американской литературе. На протяжении уже почти двух десятилетий[2] он и его коллеги выпускают исследования, в которых с разных сторон изучается феномен популярности в современной (прежде всего американской) культуре: как связаны индивидуально-авторское и коллективно-жанровое измерения популярного текста, феноменология эстетического восприятия и коллективный характер потребления? И как представления о культурных иерархиях влияют на опыт чтения и опосредуют дискурсивное оформление эстетических суждений о прочитанном?

Согласно Свирски, уровни культурной иерархии никогда не были изолированы друг от друга, границы между «элитами» и «низами» более или менее проницаемы,

1 *Сибрук Дж.* Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры / Пер. с англ. В. Козлова. М.: Ад Маргинем, 2005.

2 Первая книга Свирски о феномене «ноубрау» вышла в 2005 г.: *Swirski P.* From Lowbrow to Nobrow. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2005.

между ними происходит обмен, — это и определяет динамику культуры. И все же современная ситуация, для описания которой Свирски применяет термин «ноубрау», обладает рядом специфических черт. В культуре, опосредованной технологиями массовой коммуникации, происходит переизбыток информации: продукты, принадлежащие разным социокультурным контекстам, оказываются рядом, они одинаково доступны и заметны всем. Однако люди научаются ориентироваться в этом массиве информации, вырабатывают критерии отбора и оценки текстов. Как пишет *Артур А. Бергер*, один из авторов рассматриваемого ниже сборника «Когда высоколобые встречаются с низколобыми», современный потребитель культуры — это турист, который относительно свободно и осознанно перемещается между уровнями иерархии и сегментами культурного производства в глобальном пространстве (с. 22). Хотя процесс производства и носит (количественно) массовый характер, потребление таковым не является: даже активные читатели литературы взаимодействуют лишь с очень небольшим числом книг по сравнению с общим объемом выпускаемой продукции; иными словами, читатель осуществляет сознательный выбор, инвестируя время, деньги и внимание в чтение тех произведений, которые его по каким-то причинам заинтересовали. Разумеется, существуют разные издательские стратегии: кто-то выпускает специализированную продукцию небольшими тиражами, а кто-то сосредоточивается на потоковом производстве книжных серий.

Свирски, однако, интересуют отдельные произведения, которые становятся *популярными*, приобретают успех и признание в разных читательских аудиториях, а не только среди «высоколобой» или «низколобой» публики. Критериями популярности служат количество проданных экземпляров, профессиональные и любительские рецензии, литературные премии, дискуссии на форумах и в журналах, экранизация или другие адаптации и проч. При этом популярность объясняется эстетическими особенностями текстов: в них авторам удается найти новые, неожиданные комбинации для знакомых поэтических и тематических элементов, принадлежащих и к «высоколобой», и к «низколобой» литературе[3]. Факт популярности текста свидетельствует, что избранная автором стратегия оказалась успешной. Соответственно, восприятие популярного текста предполагает готовность посмотреть на произведение с двух перспектив — одновременно распознать знакомое (жанр, стиль, авторский «метод») и удивиться новизне его «исполнения», прочитать текст как образец «низкой» литературы и как «высокой». Понятие «ноубрау», таким образом, отсылает сразу к нескольким связанным явлениям: это и тексты определенного качества, и читатели этих текстов, и стратегия чтения; Свирски не распространяет термин на всю современную культуру, а обозначает им конкретную социокультурную и эстетическую формацию[4].

Формирование «ноубрау» происходит в начале XX в., когда в западноевропейской и американской культурах оформляется и закрепляется оппозиция «верха» и «низа», характеризуемая в современном виде противопоставлением эстетического качества и коммерческой стоимости, качества и количества. Процессы коммерциа-

---

3 Свирски подчеркивает, что «ноубрау» не следует отождествлять с феноменами постмодернизма, через призму которого в основном прочитывается книга Сибрука, и «кэмпа». Понятие постмодернизма предполагает, как считает Свирски, элитистскую установку по отношению к популярной культуре как неспособной к саморефлексии. «Кэмп», согласно С. Зонтаг, представляет собой форму восприятия объектов низовой культуры в режиме «так плохо, что уже хорошо», то есть отношение к ним с позиции некоего знания, которое представителям этой культуры недоступно.

4 См. вступительную статью П. Свирски и Т.Э. Ванханена в сборнике «Когда высоколобые встречаются с низколобыми» (с. 6).

лизации литературы, которые происходили на протяжении XIX в., формирование популярных жанров в качестве ниш на литературном рынке, усовершенствование технологий печати, расширение читательской аудитории и рост ее разнообразия привели к тому, что экономические факторы стали к началу XX в. определяющими. Тогда же в литературной критике начинает применяться «френологический» подход для разделения читательской аудитории по «высоте лба», в результате чего иерархия в литературе становится проекцией социальной иерархии: критерии «высоколобости» и «низколобости» характеризуют не тексты, а читателей, которые различаются по социальному положению и уровню образования. Позиция литературного текста в иерархии, таким образом, определяется через соотнесенность с читательской группой[5].

Формализация позиций в культурной иерархии обусловливает появление текстов-гибридов, соединяющих элементы «высоколобой» и «низколобой» литературы в новое эстетическое целое, привлекающее внимание разных читателей. В популярном произведении эстетика и коммерция не исключают друг друга, а находятся в гармонии. Феномен «ноубрау» не возникает вследствие размывания ценностных границ, когда неясно, какую позицию в иерархии занимает тот или другой текст или автор, — наоборот, деление на «верх» и «низ» сохраняется, и именно поэтому авторы знают, какие элементы смешивать, а читатели могут оценить авторский замысел. В то же время в XX в. развитие технологий массового тиражирования обусловливает близость разнородных текстов, их доступность различным читателям и подвижность в глобальном культурном пространстве, что, в свою очередь, усложняет литературу, делает ее многомерной. Так, Бергер предлагает смотреть на современную литературу как на множество сосуществующих семиотических систем: динамика отношений в каждой из них определяется ценностной оппозицией «верха» и «низа», но эти системы взаимодействуют друг с другом, из-за чего один и тот же текст в разных системах может занимать разные позиции, быть одновременно «низовым» и «элитарным». Следовательно, «ноубрау» как рецептивная стратегия предполагает признание относительности ценностей, готовность посмотреть на популярный текст как на сложный дискурсивный объект (см. сборник «Когда высоколобые встречаются с низколобыми», с. 27—28).

Выбранная Свирски и его коллегами аналитическая установка позволяет выявить некоторые методологические трудности, возникающие при изучении популярной литературы. В частности, она проблематизирует противоречие между признанием коллективного характера этой литературы и анализом текстов как самостоятельных эстетических объектов[6]. В англоязычных исследованиях 1950—1970-х гг. к популярной культуре и литературе применялся социологический метод контент-анализа: выделение частотных и повторяющихся образов и тем позволяло делать выводы о ценностях и представлениях того или другого общества[7]. Для литературоведческого осмысления популярной литературы важную роль сыграла

---

5 См. статью Свирски в упомянутом сборнике (с. 50). Согласно Свирски, деление литературы и аудитории по «высоте лба» было впервые предложено в статье литературного критика В.В. Брукса «Высоколобые и низколобые»: *Brooks V.W.* Highbrow and Lowbrow // The Forum. 1915. April. P. 481—492.

6 См. наш обзор исследовательского поля: *Зубов А.А.* Популярное как категория литературоведческого анализа // Вестник Томск. гос. ун-та. Серия «Филология». 2022. № 77. С. 189—209.

7 См., например: *Cronin M.* Currier and Ives: A Content Analysis // American Quarterly. 1952. Vol. 4. № 4. P. 317—330; *Sonenschein D.* Love and Sex in the Romance Magazines // Journal of Popular Culture. 1970. Vol. 4. № 2. P. 398—409.

работа Дж.Г. Кавелти «Истории о приключениях, тайне и любви: формулы как искусство и популярная культура» (1976)[8], в которой автор соединил разработки в области социологических исследований популярной культуры и структурный анализ текстов. Для Кавелти популярная литература — это та, которую читает большинство представителей конкретного общества и которая характеризуется повторяемостью и типичностью повествовательных структур (формул). Изучение последних позволяет выявить идеологические противоречия и точки напряжения в обществе и понять, как они разрешаются эстетически, то есть делать выводы о культурных функциях популярной литературы. Однако при анализе Кавелти не опирался на фактор частотности формул, а фокусировался на отдельных текстах, авторы которых создали свои «формулы», отвечающие читательскому запросу и «духу времени». Как видим, неоднозначными оказываются вопросы о том, что популярно в популярном тексте и что является материалом и предметом анализа при изучении популярной литературы: корпусы текстов или отдельные произведения, частотные и повторяющиеся элементы или авторские стратегии.

И Кавелти, и Свирски исходят из того, что в любом произведении искусства есть элементы конвенциональные (типические, «формульные») и инновационные и что в разных текстах эти элементы присутствуют в разных пропорциях. Это позволяет Кавелти выдвинуть структурный принцип для разделения «высокой» литературы (он называет ее «миметической») и популярной: первая показывает реальные жизненные ситуации со всеми их проблемами и напряжениями, во второй изображение подчиняется определенным правилам и конвенциям. Свирски же предлагает рассмотреть категории конвенциональности и инновационности в эволюционно-биологическом и антропологическом измерениях. Он указывает, что базовым и универсальным принципом эстетического восприятия является способность человека распознавать повторяющиеся схемы (в одном или нескольких текстах) и испытывать удовольствие, когда эти схемы нарушаются. Произведения прошлого и настоящего, в которых достигается «правильный баланс» вариативности и предсказуемости, способны оказывать сильное воздействие и становиться популярными и востребованными; «ноубрау» как творческая стратегия универсальна для всех эпох и культур, но в разных контекстах она принимает разные формы[9]. Свирски предлагает отойти от количественного понимания популярной литературы в аспекте производства, рассмотреть явление популярности вне оппозиции «верха» и «низа» (популярный текст ничему не противопоставлен[10]) и сосредоточиться на отдельных текстах, новизна которых обусловливает их популярность; выяснив, в чем именно заключается новизна того или другого произведения,

---

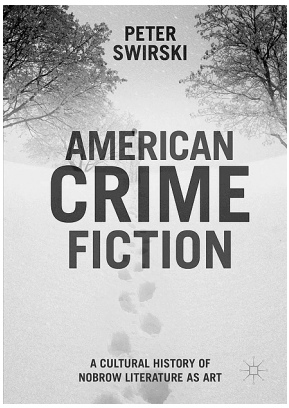
8 *Cawelti J.G.* Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1976.

9 См. статью Свирски в упомянутом сборнике, с. 39—45. Исследователь ссылается на музыковедческие и стиховедческие работы, в которых акцент делается на выявлении универсальных паттернов эстетического восприятия, а также на собственные исследования, в частности: *Turner F., Ernst P.* The Neural Lyre: Poetic Meter, the Brain, and Time // Poetry. 1983. № 142. P. 277—309; *Swirski P.* Of Literature and Knowledge: Explorations in Narrative Thought Experiments, Evolution, and Game Theory. N.Y.: Routledge, 2007; *Keller P.E., Schubert E.* Cognitive and Affective Judgments of Syncopated Musical Themes // Advances in Cognitive Psychology. 2011. № 7. P. 142—156.

10 Ср. с концепцией, предложенной Джоном Стори в его часто цитируемой книге «Введение в культурную теорию и популярную культуру»: популярная культура — это диалектический «другой» высокой культуры, часть бинарной оппозиции, в которой оба члена определяются через противопоставление другому (*Storey J.* Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. 5th ed. N.Y.: Pearson Longman, 2009. P. 13—14).

можно понять, на какие запросы аудитории оно отвечает (или, по крайней мере, как эти запросы видятся авторам и издателям).

В то же время Свирски отмечает, что категории знакомого и нового имеют антропологический характер: удивление от столкновения с новым в тексте не только является текстуальным эффектом, обусловленным структурой произведения, но также зависит от индивидуального опыта воспринимающего и от коллективных представлений. Как следствие, для понимания природы популярности популярного текста необходимо не только смотреть на его структуру (сочетание предсказуемости и вариативности), но также учитывать различные контексты восприятия (жанровый, историко-культурный и др.)[11].



Эти рассуждения о феномене «ноубрау» легли в основу книги Свирски «Американский криминальный роман: культурная история литературы “ноубрау” как искусства» (2016). Стоит сразу сказать, что по постановке задачи это исследование носит скорее идеологический, чем строго научный характер: автор ставит перед собой цель доказать, что популярный жанр является формой искусства. Традиционно восприятие «высоколобого» произведения предполагает внимание к тем элементам, которые отличают его от других, а «низколобого» — к тем, которые роднят его с типом, или жанром. Свирски же предлагает посмотреть на американский криминальный роман с позиции «ноубрау», то есть увидеть, как авторы, соединяя элементы обеих литератур, создавали уникальные произведения, приобретшие мировую известность. Понятие жанра для Свирски означает не фиксированную форму со своим набором признаков, а игру: ее правила известны заранее, но они не определяют, как будет разыграна конкретная «партия», — более того, для достижения нужного эффекта художники нередко их нарушают (с. 5). Свирски показывает, как по-разному могут быть «разыграны» правила криминального романа, сосредоточиваясь на «выдающихся романах выдающихся американских писателей» (с. 23): в его поле зрения попадают Д. Хэмметт, Р. Чандлер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Ф.С. Фитцджеральд, Э. Макбейн и Дж. Гришэм. При этом подход Свирски не является только формальным — он исследует тексты и в историко-культурном контексте. Его интересует, как история жанра связана с историей страны, как авторы эстетически преобразовывали «миметические детали» и с их помощью создавали интересные истории (с. 25).

В случае с каждым из названных писателей обращение к криминальному жанру было результатом сознательного эстетического выбора. Так, роман Фолкнера «Святилище», ставший классикой американской литературы, был написан из коммерческих соображений: автор хотел поправить свое экономическое положение и поэтому обратился к популярным темам преступления, насилия и жестокости; при подготовке к написанию романа он даже просматривал популярные журналы

11 См. книгу Свирски «Американский криминальный роман», с. 32—33. На это же обращал внимание один из критиков теории Кавелти Дэвид Фелдман, указывавший, что формулы должны пониматься не только как эмпирически выводимые из текстов повторяющиеся структуры, но и как факты читательского восприятия: формула — это то, что воспринимается как типическое, то есть знакомое по другим текстам; что для одного формула, для другого — новинка (*Feldman D.N.* Formalism and Popular Culture // Journal of Popular Culture. 1975. Vol. 9. № 2. P. 384—402).

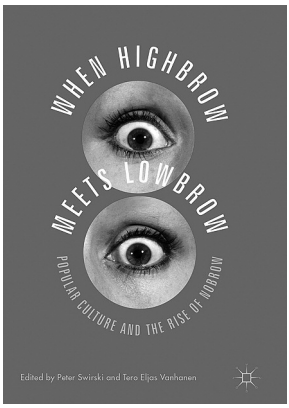
с целью выяснить, что было «в тренде» (с. 61, 65). Однако в критической литературе родство романа с криминальным жанром трактуется как препятствие, которое автору удалось преодолеть; для Свирски же включение романа в контекст жанра необходимо, чтобы оценить его эстетические достоинства. С точки зрения организации повествования, образа главного героя и трактовки преступления как нарушения в работе социальной системы «Святилище» близко к «крутому детективу» (hard-boiled detective), в частности к произведениям Д. Хэмметта. Однако у Фолкнера эти элементы преобразуются в материал для рефлексии о судьбе старого Юга (с. 73).

На примере творчества Чандлера Свирски показывает, как в произведениях одного автора создается и разрушается «эталонный» образ криминального романа. Чандлер считается одним из мастеров жанра, его произведения высоко оцениваются и профессиональными критиками, и широкой публикой, — он не только классик жанра, но и классик американской литературы. Хотя Чандлер и принадлежал к школе «крутого детектива», он не был связан с журналом «Черная маска», в котором в 1920—1930-е гг. публиковались бульварные криминальные истории. Он разрабатывал собственный подход, и впоследствии стиль его произведений (чередование динамичных диалогов и напряженного действия, лаконичность, использование социальных диалектов и т.д.) на долгое время стал определяющим для жанра. В то же время жанровую форму криминального романа он рассматривал как инструмент социального анализа и антропологии преступления в американском городе. К 1950-м гг. Чандлер приходит к выводу, что форма «крутого детектива» исчерпала себя, и пишет роман «Обратный ход». Свирски прочитывает его как рефлексию о конвенциях жанра, которые одновременно соблюдаются и нарушаются, вызывают у читателя «радость узнавания», но и заставляют испытать удивление от того, как их функции преобразуются в тексте.

В 1950—1970-е гг. меняется ландшафт преступного мира Америки, все больше внимания в прессе уделяется деятельности мафии, правонарушениям коррумпированных политиков и коммерческих корпораций. В литературе востребованной становится полицейская драма, в которой акцент делается на изображении повседневной рабочей рутины полицейского департамента — нового «культурного героя», который приходит на смену сыщику-одиночке. Свирски подробно рассматривает творчество Макбейна, чей успех показывает, что в обществе возник запрос на героическое изображение полицейских. Действия его романов помещены в вымышленный город, в котором, однако, легко узнается Нью-Йорк; происходящие в нем преступления не изолированы от социального и географического ландшафта города, а тесно связаны с ним, — город становится героем криминального романа. Произведения Макбейна характеризуют реалистичность и метафоричность в изображении полицейского быта, конкретность места и времени действия и универсальность в осмыслении социальной природы преступления.

В 1970—1980-е гг. парадигма криминального романа снова меняется: полиция оказывается бессильна против больших корпораций, для противостояния которым нужен новый герой, способный говорить с ними на их языке. Этим новым американским героем стал «хороший адвокат», созданный Гришэмом, «хроникером корпоративной коррупции в США» (с. 59). Формула судебной драмы Гришэма вбирает в себя многие элементы классического «крутого детектива», который автор насыщает деталями из жизни адвокатских контор и компаний, показывая, как идут судебные процессы, и вводя в тексты новые социальные диалекты. В то же время герои Гришэма никогда не воплощают социальную роль полностью, они сомневаются в эффективности закона и судебной системы. Все это, полагает Свирски, привлекает внимание читателей: романы в «реалистической» манере рассказывают о малознакомых областях современной жизни и одновременно «остраняют» ее.

Примечательно сходство наблюдений Фолкнера и Чандлера относительно читательского запроса: оба автора учитывали желания публики, но каждый также стремился дать читателю то, о чем тот скорее всего не думал и чего не ждал (с. 65, 109). Иными словами, читатель чаще всего сам не знает, чего хочет, а читательский запрос — это не поддающееся формализации ожидание чего-то нового и интересного, которое в некоторых случаях авторам удается оправдать. Однако интересен ли популярный текст читателям из разных культур по одним и тем же причинам? В книге Свирски приводятся количественные показатели мирового успеха рассматриваемых текстов (продажи, отзывы, переводы и проч.), при этом популярность объясняется тем, что авторы, соединяя черты «высоколобой» и «низколобой» литературы, сумели предложить читателям интересные истории на основе нового материала. Между тем распознавание уровней культурной иерархии может быть не столь однозначным для разных аудиторий, как это видится Свирски. По-разному могут восприниматься и «миметические детали»: что для читателя из одной культуры будет рассказом «о нас», то для другого — рассказ «о них». Представляется, что популярность текста может иметь разные объяснения, учитывающие как более универсальные (когнитивные, эволюционно-биологические) механизмы эстетического восприятия, так и локальные особенности культурных контекстов чтения[12]. Так или иначе, для Свирски популярность имеет темпоральное измерение: он пишет не о забытых «вчерашних бестселлерах», а о произведениях, которые остаются популярными и востребованными в культуре на протяжении какого-то времени. Эти книги продолжают читать и обсуждать, их авторам начинают подражать, они становятся источником для разного рода адаптаций и переложений.



Уже упомянутый сборник «Когда высоколобые встречаются с низколобыми: популярная культура и рождение “ноубрау”» (2017) интересен прежде всего тем, что по вошедшим в него статьям видно, как ученые развивают концепцию Свирски. Статьи можно условно поделить на три блока: теоретический, исторический и исследования отдельных кейсов. Содержание теоретических текстов Свирски и Бергера кратко изложено выше. В исторических статьях рассматриваются предпосылки появления культуры «ноубрау» в XX в. Так, *Кеннет Краббенхофт* на материале из истории риторики показывает, как в спорах о правильности речи от Античности до XVII в. постепенно актуализировалась роль воспринимающего субъекта. В античной риторической традиции правом определять, что, как и кому говорить, обладала только политическая элита. В средневековом христианском дискурсе адресатом ораторской речи становится все человечество, не разделенное на классы и сословия, так как цель оратора — подготовить людей к спасению. В эпохи Возрождения и Нового времени эти две традиции соединяются. Секуляризация христиан-

12 Это же ограничение обнаруживается и в работе Кавелти. По-видимому, если признавать важность социокультурного контекста для понимания феномена популярности, необходимо учитывать специфику воспринимающей аудитории. Так, О. Бочарова, работая с понятием формулы, изучает рецепцию зарубежного любовного романа в ранней постсоветской России и связывает специфику восприятия с историко-культурными и социологическими особенностями читателей (*Бочарова О.* Формула женского счастья: заметки о женском любовном романе // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 292—302).

ской риторики в условиях развития национальных языков приводит к тому, что для оратора (в данном случае это понятие автор распространяет на писателей и подробно останавливается на фигурах Лопе де Веги и Сервантеса) важно быть не только понятым, но и популярным, то есть ему необходимо учитывать реакции разных аудиторий, удовлетворять запросы и бедных, и богатых. После этого, заключает автор, появление «ноубрау» в XX в. становится исторической неизбежностью (с. 106). Другой автор сборника, *Агнешка С. Моннет*, пишет о готической литературе XIX в., фокусируясь на произведениях Э.А. По и Г. Мелвилла. По мысли Моннет, готический модус — это прямой предшественник «ноубрау», так как он предполагает совмещение элементов сенсационности и экспериментальности, ориентацию на широкого читателя и саморефлексию (с. 110). Истоки «ноубрау» как рецептивной стратегии Моннет обнаруживает в теории композиции По, согласно которой художественный текст должен производить на читателя двойной эффект — вызывать сопереживание и одновременно указывать на свою «сделанность», побуждать одновременно к серьезному и ироническому прочтению; эта же стратегия чтения характерна для литературы «ноубрау» (с. 115—117).

Статьи из третьего блока (case studies) посвящены случаям влияния представлений об иерархии ценностей на опыт чтения. *Бет Дрисколл* указывает, что представления о «верхе» и «низе» в литературе относительны и зависят от системы ценностей, в рамках которых производится суждение о вкусе; в свою очередь, восприятие текстов, относящихся к «ноубрау», предполагает отказ от ценностной системы координат и готовность оценить и «низколобые», и «высоколобые» аспекты произведений в их совокупности, но не всем читателям легко принять эту относительность (с. 55—56). На материале отзывов о криминальном романе «Правда» (2009) П. Темпла, лауреата престижной австралийской литературной премии, исследовательница показывает, что критики, объясняя успех романа, либо не упоминают о его жанровой природе вовсе (акцентируя внимание на стиле, реалистичной передаче диалектов в сочетании с поэтичностью изложения), либо трактуют жанр как ограничение, которое автору удалось преодолеть. Однако, продолжает Дрисколл, чтобы оценить роман по достоинству, необходимо увидеть его одновременно и в «низколобой», и в «высоколобой» перспективе, учесть его жанровые и нежанровые элементы. Подобная двойственность восприятия, впрочем, проблематична для критиков, у которых «“ноубрау” и нарушение установленного культурного порядка вызывают дискомфорт» (с. 60—63).

По этому примеру видно, что категория жанра используется критиками в качестве дискурсивного инструмента для вынесения ценностных суждений. В свою очередь, *Николас Руддик* на примере англоязычной научной фантастики показывает, как принятая в культуре ценностная оппозиция «верха» и «низа» влияет на историю жанра. В качестве одного из факторов исторического развития жанра рассматривается его способность к саморефлексии и переопределению границ, в частности путем сопротивления стереотипам о своей «низколобости» и включения элементов других жанров, в том числе из «высоколобой» литературы. Руддик приходит к выводу, что научная фантастика — это литература «ноубрау», и к ней не применим термин «жанр», так как он предполагает узнаваемость повторяющихся формальных признаков и не позволяет объяснить культурное разнообразие явления (с. 138). Как видно, в сборнике нет единства терминологии, некоторые понятия, такие как жанр, используются по-разному. Если для Свирски жанр — это важная категория для анализа диалектики узнавания и удивления при восприятии текста, принадлежащего к «ноубрау», то для Руддика отношения между жанром и текстом носят более однозначный характер (текст либо соответствует жанру, либо нет). В сущности, он применяет ту же риторику, что была описана в статье

Дрисколл, — «оправдывает» научную фантастику, доказывая, что она не является жанром.

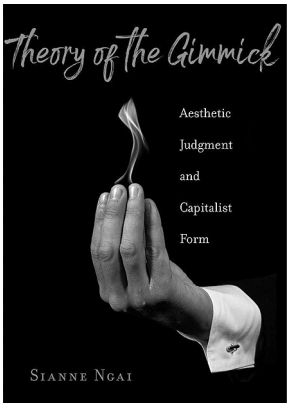
Теро Э. Ванханен анализирует литературоведческую рецепцию романов «Кровавый меридиан» К. Маккарти и «Американский психопат» Б.И. Эллиса. Как и Дрисколл, исследователя интересуют риторические стратегии, которые применяются в суждениях об этих текстах. Оба романа приобрели широкую известность, их публикация вызвала скандалы, связанные с детальными сценами насилия и жестокости, — элементами, которые традиционно ассоциируются с «низколобой» литературой, ориентированной на сенсационность, апеллирующей к аффективной, телесной реакции читателя. В научной литературе, однако, аффективное измерение романов игнорируется. Так, исследователи «Американского психопата» склонны утверждать, что насилие в романе — это либо обман со стороны «ненадежного рассказчика», либо галлюцинация героя. Это позволило им вывести на первый план сложность повествовательной организации текста и проблематику — критику консюмеризма и либерального капитализма (с. 220—221). Иными словами, чтобы обосновать «высоколобый» статус романа, исследователи предложили такую интерпретацию, которая позволяет не замечать «низколобые» элементы. Но, как бы ни трактовался статус героя-рассказчика, читатель все равно испытывает шок от сцен насилия, которые и обеспечили роману широкий успех. Таким образом, заключает Ванханен, более продуктивная стратегия чтения — с позиции «ноубрау», предполагающей «не избирательное отношение к тексту и внимание только к хорошему, а получение парадоксального удовольствия от того, как в романе соединяется хорошее и плохое, прекрасное и отвратительное, утонченное и вульгарное» (с. 231).

Как видим, хотя концептуально для Свирски и его коллег понятие «ноубрау» вполне определенно (обозначает конкретную культурную формацию), на практике оно оказывается трудно применимым. Произведения, рассматриваемые в качестве «ноубрау», сильно отличаются друг от друга, их роднит только то, что все они в той или иной мере популярны. Их читатели представляют собой размытую группу, которую объединяет лишь способность воспринимать произведения с точки зрения «ноубрау». По-видимому, более или менее четким критерием для определения границ этого явления могла бы служить стратегия чтения. На конкретных примерах читательской рецепции можно было бы увидеть, как она реализуется и применительно к каким текстам. Однако статьи сборника, наоборот, демонстрируют неспособность читателей (литературных критиков и литературоведов) посмотреть на тексты в перспективе «ноубрау», которая фигурирует в сборнике скорее в качестве гипотезы. В проекте авторов сборника идеальный «ноубрау»-читатель представляет собой парадокс: он признает культурные иерархии — но пренебрегает ими; оценивает текст — но не выносит суждений; получает удовольствие от текста — но и осознает его относительность. Существует ли такая форма чтения и если да, то как ее уловить и описать?

Отчасти на этот вопрос отвечает статья *Дэвида Макэвоя*, посвященная феномену «постыдного удовольствия» (guilty pleasure)[13]. Это понятие появилось в американской критике 1980-х гг. как реакция на постепенное размывание потребительских категорий, закрепившихся в 1960—1970-х. В ситуации, когда аудитория покупателей разделена на четкие группы по гендерному, возрастному и другим признакам, пересечение границ рассматривается как нарушение социального табу.

13 Вопрос, почему в русскоязычном варианте удовольствие сопровождается чувством стыда, а не вины (как в англоязычном), заслуживает, возможно, отдельного (лингво)культурологического исследования.

С течением времени, хотя границы становятся проницаемыми и продукты теряют жесткую привязанность к социальным группам, инструменты контроля не исчезают полностью. Одним из таких инструментов становится феномен «постыдного удовольствия», в котором эмоциональное удовлетворение от потребления окрашивается чувством вины/стыда, по природе своей социальным: оно напоминает о границе между тем, что считается дозволенным и запретным. Разумеется, чувство вины/стыда может усиливать получаемое удовольствие, но оно не указывает на конкретный объект потребления, — источником удовольствия становится то, что соответствует личным предпочтениям человека вне связи с ценностными нормами. Как следствие, переживание «постыдного удовольствия» помогает индивиду осознать свои предпочтения и определить свою идентичность за пределами рыночных категорий. В то же время оно не является целиком индивидуальным опытом, в нем важно и признание своей вины перед публикой (воображаемой и/или реальной). Таким образом, подытоживает Макэвой, феномен «постыдного удовольствия» следует рассматривать как изнанку культуры «ноубрау»: формирование собственной идентичности как потребителя через получение «чистого удовольствия» (то есть потребление того, что нравится, а не что должно нравиться) сопряжено с нормализацией ценностной иерархии через восприятие себя глазами «осуждающей общественности», — это и позволяет смотреть на объекты потребления с позиции «ноубрау», одновременно из личной и из нормативной ценностных систем (с. 203).



Работы Свирски и его коллег окрашены оптимизмом. Они основаны на идее, что современный потребитель культуры способен получать «чистое удовольствие» от текста, не оглядываясь на представления об иерархиях и не поддаваясь общественным стереотипам. Иной точки зрения придерживается *Сиэнн Нгай* в книге «Теория уловки: эстетическое суждение и капиталистическая форма» (2020). Исследовательница предлагает отнестись к эстетическому удовольствию с подозрением. Она не исследует «ноубрау» и не работает в поле исследований популярной культуры, однако включение ее книги в этот обзор не случайно.

Понятие «уловка» Нгай использует двояко, подразумевая под ним эстетическое суждение и форму, которая это суждение вызывает. При этом автор подчеркивает, что в принципе все что угодно может быть воспринято как уловка: скептическое отношение к искусству как к трюку, фокусу является одной из специфических черт культуры XX в. — «века разочарования». Вот почему материалом для Нгай служит длинный и разнообразный ряд культурных объектов — от рекламы и телевизионной комедии до реди-мейдов М. Дюшана, фильмов Д. Ардженто и произведений Э. По, Г. Джеймса, М. Твена, Т. Манна и Р.Л. Стивенсона.

Оценка культурного объекта как уловки предполагает, что воспринимающий уделил ему время и внимание, однако остался неудовлетворенным, поскольку сразу же разгадал, как этот объект «сделан» (с. 1). Но это не разочарование от того, что объект оказался хуже, чем ожидалось, или не соответствовал каким-то эстетическим стандартам. Признание «трюкового» характера произведения нужно для оправдания того, кто выносит суждение, перед собой и воображаемой публикой за бесполезно потраченное время, — ведь внимание уже было привлечено и уловка сработала. Иными словами, суждение: «Я понял, как это сделано, и не был впечатлен», — призвано хотя бы отчасти компенсировать неумение изначально распо-

знать обман и сообразить, что произведение не способно доставить эстетическое удовольствие. Как можно видеть, этот замкнутый круг «эстетической неудовлетворенности» происходит из скептического отношения к удовольствию и искусству в целом: потребитель опасается тратить время на культурный продукт, так как не уверен, стоит ли он хотя бы того, что уже потрачено, — следовательно, признание объекта разгаданной уловкой остается единственным способом избежать дальнейших затрат. Как пишет Нгай, уловка — это «самая успешная капиталистическая форма» (с. 2), она привлекает внимание, но и «не старается слишком сильно», чтобы это внимание оправдать, вовлекает потребителя в интерпретативную работу, но и не требует ничего большего, чем опознание ее как уловки. Она раздражает, компрометируя эстетическое восприятие, и предполагает не «погружение», а восприятие произведения с «безопасной дистанции» (с. 55).

Тем не менее даже при оценке произведения как уловки получение эстетического удовольствия, пусть и опосредованное, возможно. Любое суждение о вкусе социально, так как характеризует не только объект, но и того, кто это суждение выносит, указывая на его отношение к социальной группе или классу. Особенность суждения об уловке в том, что оно подразумевает воображаемого «другого», чья оценка отличается от «моей», — того, кто, в отличие от «меня», оказался недостаточно дальновиден, чтобы не поддаться обману. Восприятие произведения как уловки не отрицает его достоинств, а отрицает позитивную оценку «другого» — того, кто все же получил удовольствие. Согласно Нгай, подобная опосредованная форма получения удовольствия от текста возникает в культуре вследствие размывания ценностных границ, когда потребитель не знает, как отличить «хорошее» от «плохого», «настоящее» искусство от подделки, не знает, что достойно времени и внимания, а что нет. Автор показывает, как уловка используется, например, в телевизионных ситкомах: их создатели нередко прибегают к приему с закадровым смехом, указывающему на несуществующую публику, которая находит смешными, возможно, и не самые остроумные шутки. Очевидность этого трюка для реального зрителя позволяет посмотреть на телешоу с метапозиции — не оценивать шутку как удачную или неудачную самому (и значит, избежать опасности ошибиться), а через оценку другого признать, что смех вообще возможен (с. 95—97).

В дискурсивном плане суждение об уловке может принимать любую форму и окрашиваться любой интонацией, а может даже и не выражаться вербально, а сводиться к выразительному взгляду, движению бровей и т.д., — в сущности, это может быть любой речевой или телесный жест, указывающий, что уловка не сработала, хотя само по себе указание на это уже говорит об обратном. В качестве примера Нгай приводит выразительную сцену из «Поворота винта» Г. Джеймса, в которой скептическая реакция одного из персонажей на только что услышанный восторженный рассказ о призраках выражается в том, что он предпочитает делать вид, будто не замечает рассказчицу, смотря только на героя-повествователя. Подобная «аффективная микрополитика сцен» (с. 43) интересна тем, что она не только показывает формы отношения к уловке, но и выносит реакцию персонажа на суд читателя, делая его воображаемым соучастником реакции. Однако, в отличие от других форм эстетической оценки («Я считаю это красивым», «Мне это не нравится» или «Это мило»), суждение об уловке не может быть оформлено в личное констатирующее высказывание «Это уловка» или «Я считаю это уловкой», так как оно выдало бы неспособность говорящего избежать обмана. Уловка предполагает такую форму суждения, при которой говорящий отказывается от личной оценки объекта, но отрицательно высказывается об оценке другого.

По словам Нгай, для того чтобы уловка сработала, она должна быть достаточно очевидной, прозрачной, потребитель должен видеть, как трюк работает, ощущать

его сделанность. Парадоксальным образом суждение об уловке тесно связано с концепцией «искусства как приема» В. Шкловского (с. 83—94). Однако по какой-то причине в одном случае переживание сделанности вещи становится источником эстетического остранения и удовольствия, а в другом — разочарования. Как полагает Нгай, эти реакции следует рассматривать во взаимосвязи: искусство в XX в. развивалось под сильным влиянием критического дискурса о нем; иными словами, теория искусства предшествовала произведениям искусства, создатели которых решали концептуальные задачи и не стремились быть понятыми широкой аудиторией. Как следствие, отношение к искусству как к уловке рождается из недоверия, что произведение вообще может что-то сообщить и быть источником сильного переживания. Разумеется, уловка является формальным приемом, который используется практически везде для привлечения внимания потребителя, — она должна быть яркой, броской, поражать новизной. Однако кажущаяся новизна рекламного слогана, бестселлера или выставки в галерее может оказаться лишь внешним эффектом, скрывающим типичное и узнаваемое. Развитие технологий массовой коммуникации и средств тиражирования культурных объектов привело к тому, что в качестве уловки может быть рассмотрен любой продукт, так как все они в той или иной мере похожи друг на друга. Экономнее распознать знакомое, чем «погружаться» в текст в поиске новизны.

В фокусе рассмотренных работ находятся проблематика удовольствия от текста и актуальные для современной культуры парадигмы эстетического восприятия, существующие между полюсами доверия и скепсиса. Едва ли не каждое из этих исследований можно упрекнуть в недостатке эмпирического материала, демонстрирующего, в какой степени обсуждаемые в них рецептивные стратегии работают. Но в то же время выбранный их авторами угол зрения предполагает внимание к «невидимому» — к тому, что недоступно для непосредственного наблюдения и может быть выявлено только через косвенные свидетельства. Так или иначе, рассмотренные книги могут быть полезны для дальнейших разысканий, например при создании типологии удовольствий от текста или дискурсивных форм эстетических суждений.

АНКЕТА

Науки о литературе и/или о культуре: немецкий кейс

Составитель Сергей Ташкенов

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_416

Специфика литературоведения и культурологии в немецкоязычных странах проявляется уже в самих названиях этих дисциплин, имеющих форму множественного числа: Literaturwissenschaften (науки о литературе) и Kulturwissenschaften (науки о культуре). Такая, казалось бы, заданная самим языком многовекторность литературоведения подтверждается и его дисциплинарной подвижностью, отчетливо наблюдаемой последние десятилетия на волне «культурного поворота» не только в учебных планах университетов, но и в издательских программах (львиную долю которых, впрочем, формируют диссертации). В качестве небольшого, но характерного примера можно привести одну из литературоведческих серий издательства «transcript» — «Литеральность и лиминальность», которая постулирует «раскрытие филологических наук в сторону культурологической проблематики», обращается к «функциям литературной теории в науках о культуре», а саму литературу трактует как «знак культуры промежутка»*. Такое активное и, если угодно, модное перепрофилирование литературоведения заставляет задуматься над тем, что в традиционном смысле филологического остается в литературоведении и как оценивать эту экспансию культурологических подходов. Поразмышлять о статусе и судьбе «наук о литературе» в немецкоязычном регионе мы предложили пяти отечественным и зарубежным германистам и культурологам, задав им пять вопросов:

1. Какая (или какие) из опубликованных за последние пять лет литературоведческих работ произвела (произвели) на Вас наиболее сильное впечатление?
2. Что, по Вашему мнению, выделяет эти работы среди остальных?
3. Насколько эти работы соответствуют принципам и методам традиционного литературоведения или, наоборот, уходят от него в сторону смежных дисциплин?
4. Как бы Вы оценили сегодняшнее положение литературоведения среди гуманитарных наук? Это скорее филологическая или культурологическая дисциплина? Не происходит ли в новейших исследованиях литературы вымывание филологической составляющей?
5. Каким вы видите (или хотели бы видеть) будущее литературоведения? Не ждет ли его окончательное растворение в культурологическом научном поле?

Четыре респондента отвечают по пунктам, а пятый наш собеседник дает цельный ответ в виде эссе, охватывающего все заданные вопросы.

---

* См. описание книжной серии на сайте издательства: https://www.transcript-verlag.de/reihen/literaturwissenschaft/literalitaet-und-liminalitaet/?f=12320.

Лариса Полубояринова
(Санкт-Петербург)

1. В личном биографическом плане эпоха читательских эйфорий и «глубоких впечатлений» от научных текстов для меня скорее в прошлом, однако трудно переоценить важность такого опыта профессионального чтения, который, оставляя следы и отпечатки в уме и воображении, формирует тем самым контур и этос собственной жизни в науке. Тогда, в конце 1980-х гг., такими образцами и ориентирами были для меня в первую очередь труды М.М. Бахтина, С.С. Аверинцева и А.В. Михайлова, из немцев — Э. Штайгера. Чтобы протянуть ниточку к сегодняшнему дню и к заданному вопросу, отмечу, что когда-то сформировавшееся представление об уровне, «планке» литературоведческого высказывания, к которым хотелось бы стремиться, действует и теперь. Оно «отзывается» в тех случаях, когда вдруг наталкиваешься на работу по-настоящему высокого качества. Один из таких примеров — статья профессора Матиаса Майера из Аугсбургского университета о «кругах и эллипсах» у Адальберта Штифтера[1]. Этот текст немецкого коллеги обратил на себя (не только) мое внимание, будучи прочитанным в виде пленарного доклада на XV съезде Российского союза германистов в Петербурге еще до того, как расширенный его вариант был опубликован в сборнике материалов съезда.

2. Бывает так, что имеешь дело не просто с оригинальным по замыслу, хорошо написанным и убедительным исследованием, а с мастерским, красивым ходом и ладом научной мысли, которым поневоле любуешься. В этой статье привлек именно такой вот бонус — подарок эстетической ауры, красоты самого высказывания, редко свойственный исследованиям с повышенным градусом наукообразности. Это тот самый случай, когда литературоведение («критика») «забирает себе часть собственно творческой, созидательной силы <…>, она судит и отбирает, но делает это в форме собственного творчества, не ограничиваясь более ролью арбитра»[2]. У Майера (не только в этой статье, но и в позже освоенной мною книге о лирике Гёте и в некоторых других его работах) все сходится и ладится: материал, метод, примеры, слог, и в результате возможно говорить о впечатляющей комплексности и глубине исследовательского прочтения при кажущейся простоте изложения.

Скажу пару слов о самой статье. Австрийский классик Адальберт Штифтер (1805—1868) — сложнейший и тончайший автор, исключительно консервативный как человек и писатель, в котором уникальный повествовательный дар сочетался со многими человеческими, слишком человеческими фобиями и неврозами. Последние спонтанно пробиваются сквозь его (в интенции и тенденции) гармонизированную наррацию, оставляя следы и знаки, в которых принято в последнее время усматривать яркие признаки «модерности». Стоявшая перед Майером задача — вписать поэтику Штифтера в парадигму «революции *vs.* эволюции», главной проблемы съезда, проходившего в «юбилейном» 2017 г., — была не из легких, и решена она виртуозно и со всей глубиной и тонкостью, без редуцирующей «подгонки» материала под заданную формулу «X *vs.* Y».

---

1 *Mayer M.* Kreise und Ellipsen: Stifters Umgang mit Veränderungen // Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 15. М.: Языки славянской культуры, 2018. С. 218—226.

2 *Старобинский Ж.* Отношение критики / Пер. с фр. С. Зенкина // Старобинский Ж. Поэзия и знание: история литературы и культура: В 2 т. М.: Языки славянской культуры, 2002. Т. 1. С. 30.

В качестве одного из модусов штифтеровской поэтики (на уровне не только телесных практик и репрезентации пространства, но и на уровне метафоры и синтаксиса) выделяется тяготение к фигуре круга, как будто бы гармонизирующей возможные дисбалансы как этического, так и эстетического плана. Это сознательный уровень поэтики и (закрепленной в письмах) поэтологии Штифтера. Параллельно, скорее бессознательно, как показано в статье на примерах из разных произведений автора, происходит неявное «сползание» штифтеровских «правильных» кругов к «неправильным» эллипсам. Особенно очевидно авторское тяготение к более сложному топосу, как считает Майер, в штифтеровском замысле романа об Иоганнесе Кеплере, немецком астрономе XVI—XVII вв., который и открыл эллипсоидную, «кривую» орбиту вращения планет Солнечной системы. (Кеплер был близок Штифтеру в немалой степени потому, что, как и сам писатель, полувынужденно провел вторую половину жизни в провинциальном Линце.) Исследователь обнаруживает у Штифтера отражение тайных, полуосознанных «эллипсоидных» пристрастий и сбоев на разных уровнях произведений, включая стиль: интенционально «закругленные» фразы нередко «сбиваются» на эллипсы — эллиптически стянутые, дисбалансированные фразы. «Проблематика эллипсов <…> в наиболее непосредственной форме отражает сложность, которой чревата утопия порядка, то и дело насильственно нарушаемая»[3]. Воля автора к «домодерной» гармонии просветительского образца подтачивается «некруглым» опытом «модерной» современности (Штифтер тяжело переживал мартовскую революцию 1848 г.) и с неизбежностью транспонирует подобные сбои на уровень композиции и стиля. Фигуры круга и эллипса, как и феномены эволюции и революции, оказались у Майера истолкованы исходя из поэтики текстов Штифтера и контекста его творчества — серьезно, нетривиально и красиво. Однако также и свежо, современно. Редкий пример достижения впечатляющего эффекта «новизны и актуальности» — посредством традиционного в целом аналитического герменевтического инструментария.

3. То, как анализирует текст и контекст Майер, — это как раз классическая линия немецкого литературоведения, восходящая к герменевтике и школе интерпретации Э. Штайгера. Такая ориентация исследования явствует из самой логики и стилистики рассуждений, хотя прямых отсылок к «теории» в статье нет. Тем более нет псевдонеобходимых привязок к разного рода «разворотам», будь то «лингвистический», «пространственный» или «антропологический», хотя, если посмотреть на штифтероведение последних двух десятилетий, такого рода подходы там давно и глубоко укоренились, самое позднее начиная с книги К. Бегемана о Штифтере и знаках[4]. Между прочим, в этой монографии, как и в более поздних своих работах, Бегеман применяет знаковые теории и парадигму деконструкции исключительно дозированно, идя преимущественно от произведения, чем включает себя скорее в соприродную немецкому литературоведению герменевтическую линию. Какие-то из статей Бегемана тоже можно было бы назвать в качестве близких мне по духу работ высокого уровня[5].

---

3 *Mayer M.* Op. cit. S. 226.

4 См.: *Begemann Chr.* Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektüren. Stuttgart: Metzler, 1995.

5 См., например: *Begemann Chr.* Realismus und Phantastik // Die Wirklichkeit des Realismus / Hrsg. von V. Thanner u.a. München: Fink, 2018. S. 97—113; *Idem.* „Ein Spukhaus ist nie was Gewöhnliches…“: Das Gespenst und das soziale Imaginäre in Fontanes Effi Briest // Herausforderungen des Realismus. Theodor Fontanes Gesellschaftsromane / Hrsg. von P.U. Hohendahl. Freiburg im Breisgau: Rombach, 2018. S. 203—241.

4. Если судить не только по неослабевающему институциональному диктату (грантодатели, peer-reviewers высокорейтинговых журналов и пр.), но и по поверхностно считываемым «настроениям молодежи», наверное, можно было бы даже говорить о «зиме филологии», закономерно наступившей спустя примерно десятилетие после ее диагностированной С. Козловым «осени»[6]. Но я бы не стала спешить с выводами.

О «дискурсе методологической актуальности» как о необходимой внешней разметке научного поля и о его (важной, но вторичной) роли в собственно аутентичном научном поиске хорошо было сказано уже тогда, в том «неманифесте» С. Козлова, и данная оценка по-прежнему валидна. Очевидно, что крен в сторону большей популярности (особенно у начинающих исследователей) подходов к литературе с точки зрения cultural studies за последние десять лет усугубился. Когда все больше магистрантов нового набора заявляют, что хотели бы заниматься проблематикой постпамяти, гендерной идентичности, постгуманизма и т.д., — там, где раньше скорее высказывалось желание изучать творчество, скажем, Зебальда, Этвуд, Исигуро и т.д. или хотя бы «жанр», «ритм», «повествование» и т.д., — это важный симптом и сигнал, который вряд ли возможно и вряд ли позволительно игнорировать. Однако отменяется ли возросшей популярностью «культурологических» подходов и языков описания (показательной для гуманитарного знания в целом) первичное ремесло литературоведа или, шире, филолога как агента «службы понимания» (С.С. Аверинцев), задача которого — целостное профессиональное прочтение и интерпретация текста (произведения)?

Серьезное общение с текстом сейчас по большей части дефицитарный момент у (молодого) исследователя, воспринимающего литературу лишь в качестве «поставщика» подходящих примеров, иллюстрирующих ту или иную «актуальную» парадигму. Тут просто стоит подумать, что или кто нам интереснее и важнее: автор и его произведение, смысл которого рождается (всякий раз обновляясь) в процессе чтения и перечтения, или одна-единственная сколь угодно красивая, но равная самой себе теория/концепция/парадигма. Разницу прочтения филологического и, условно говоря, культурологического идеально уловил и выразил Ж. Старобинский в известном пассаже: «…каждый точный метод стабилизирует собой некоторый план, которому он адекватно соответствует. Чем более специфическим будет его язык, тем более предопределенными окажутся и факты, которые он улавливает, и способ их упорядочения. Он будет иметь дело с отношениями однородности и конгруэнтности. Как только исследователь определит свой угол зрения, он уже редко находит что-либо непохожее на цель своих поисков, что не ложится само собой в рамки языка, уже готового для его описания»[7]. «Вечную свежесть» традиционной литературоведческой работы с текстом и над текстом может променять на предзаданность «культурологического» подхода лишь тот, кто не испытал подлинных радостей филологии.

Отрадно отметить, что в рамках близкой мне как германисту традиции немецкого литературоведения после радикального «культурологического» крена 1990-х и особенно 2000-х появляются серьезные признаки другой тенденции — оживления их собственной немецкой литературоведческой герменевтики, столь блестяще практиковавшейся Штайгером и его школой. В 2007 г. на Гётевской конференции в Веймаре мне пришлось чуть ли не извиняться за то, что процитировала в докладе такую невозможную «архаику», как книгу Штайгера о Гёте. И вот в 2013—2016 гг.

---

6 См.: *Козлов С.* Осень филологии // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 15—22.

7 *Старобинский Ж.* Указ соч. С. 33.

в журнале «German Quarterly» появляется серия публикаций «SED CONTRA: диалоги о ключевых проблемах литературоведения», серьезные участники которой (тон задавали Карстен Дутт и Дитер Тайхерт) эксплицитно ориентируются на Штайгера и на публикации серии «Поэтика и герменевтика», на протяжении двадцати лет (1964—1993) не дававшие угаснуть уникальной традиции литературной герменевтики в Германии. Пафос пропаганды и профилирования литературоведческой герменевтики как современной практики интерпретации, альтернативной «культурологическому» подходу, особенно явственен и убедителен в недавних работах Дутта, последнего ассистента Х.Г. Гадамера и председателя Гадамеровского общества.

5. Разумеется, я вижу будущее литературоведения светлым. Ведь оно определяется не нашими интенциями — хотим ли мы и можем ли «слить» его с культурологией или растворить его в ней. Будущее литературоведения определяется в первую очередь самой литературой и ее читателями. (Ср. высочайшее мнение о читателе и «литературном опыте» как об оплоте и оселке гуманистической рефлексии и саморефлексии у А. Компаньона[8].) Данная субстанция и материя, сохранись она и впредь, на что уповаю, не даст превратить себя в набор подходящих примеров, иллюстрирующих «антропологический», «пространственный», «переводческий» и какой угодно еще «разворот», но пребудет как таковая, а с нею и мы, ее (именно ее) изучающие, толкующие и описывающие.

Вера Котелевская

(Ростов-на-Дону)

1. Сильных, временами неоднозначных впечатлений немало, и есть даже такая закономерность: чем более яркая, новаторская работа, тем больше к ней вопросов. Это как раз хорошо, и в особенности это касается исследований с последовательно (даже до навязчивости) реализованной методологией или новым ракурсом. Нередко в угоду новаторской методологии исследовательница или исследователь подверстывает под нее материал, сглаживая острые углы, несообразности, которые неизбежно возникают при желании уложить текст(ы) в прокрустово ложе непротиворечивой, «красивой» концепции. Такое хорошее, но сложное впечатление произвели на меня, например, две монографии: «Рука за работой: поэтика рукотворности в русском авангарде» (2017) Сюзанны Штретлинг[9] и «Конструкторы Бернхарда: письмо и секвенциональная поэтика в прозе Томаса Бернхарда» (2020) Катерины Мартен[10].

---

8 *Компаньон А.* Демон теории: литература и здравый смысл / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 41.

9 *Strätling S.* Die Hand am Werk: Poetik der Poiesis in der russischen Avantgarde. Paderborn: Wilhelm Fink, 2017. (Рус. пер.: *Штретлинг С.* Рука за работой: поэтика рукотворности в русском авангарде / Пер. с нем. И. Микиртумова, С. Сиротининой, А. Чертенко. М.: Новое литературное обозрение, 2022. См. также рец.: *Яковец А.* Жестовый язык филологии // Новое литературное обозрение. 2018. № 153. С. 332—339. — *Примеч. ред.*)

10 *Marten C.* Bernhards Baukasten: Schrift und sequenzielle Poetik in Thomas Bernhards Prosa. Boston: De Gruyter, 2018.

2. Обе эти монографии, несмотря на разный материал, связаны с близким мне подходом: «формалистским» вниманием к устройству, способам конструирования художественного текста, но без ухода в имманентную поэтику, автономизацию текста. Напротив, тут ощутима тесная, местами даже детерминистская связь писательского эксперимента с культурной средой, ее импульсами и вызовами, социальными практиками, технологиями и идеологиями. Эти работы выделяются также явным вниманием к медиа: методологически они напрямую связывают особенности стиля, «поэтики» в узком смысле слова, с актуальными для эпохи и конкретно для исследуемых персоналий медиаинструментами и в социокультурном смысле — с медиаидеологией (последнее больше относится к книге Штретлинг).



Начну с книги Мартен. Многим, кто исследовал или даже просто читал или слушал произведения Бернхарда, знакомо и ощущение монотонности речи его героев, повествователей, и особый холодок этой сконструированной языковой реальности, напоминающей самые, вероятно, «холодные», рассудочные полифонические штудии Баха — его «Искусство фуги». При этом словоизвержение может доходить у Бернхарда до крайней степени экзальтации, превращая — пользуясь метафорой Хандке из пьесы «Каспар» — «истязание речью» (Sprechfolterung), которому подвергают себя персонажи, в такую же эстетизированную пытку для читателя и театрального зрителя. Катерина Мартен берется выявить и проанализировать некоторые механизмы производства этой речи, которые раньше разве что мелькали в отдельных исследованиях, но не были ни систематизированы, ни соотнесены с сюжетами Бернхарда. Если большинство литературоведов связывали особое «секвенциональное» мышление австрийского писателя с музыкой (фугой, каноном, сонатой и т.д.), то Мартен обращает взгляд на медиаинструменты: роль печатной машинки, способы самокорректуры, технику рукописи и машинописи, особенности работы с черновиками. Уже в отдельных мемуарах, например в книге друга Бернхарда, агента по недвижимости Карла Игнаца Хеннетмайра, можно было прочитать, что Бернхард с особой яростью стучал по печатной машинке, так что было слышно ближайшему соседу по двору в Ольсдорфе, и новые модели очень быстро приходили в негодность, из-за чего он долго довольствовался тяжеловесной машинкой, доставшейся от деда. И вот Мартен шаг за шагом показывает, как этот стиль печатания, схожий с пулеметной очередью, делает речевую ткань предельно перформативной, материально ощутимой, агрессивной, как механическое усилие метаморфирует в речепорождающее усилие мыслящего вслух персонажа. Она последовательно демонстрирует связь медиа с поэтикой: почти все пишущие герои Бернхарда испытывают патологические затруднения с письмом, больше вычеркивая, чем записывая, не в силах окончательно воплотить (маниакально-гениальные) идеи на бумаги, в то время как сам Бернхард с одержимостью ребенка, строящего здания из конструктора, громоздит слово на слово, буквально выбивает из машинки предложение за предложением, создавая в итоге парадоксальные тексты о невозможности текста.

В своем упорном стремлении выявить все детали медиаэкзистенции писателя исследовательница прослеживает и стиль работы Бернхарда с типографиями, редакторами, издателями — его предпочтения в области шрифтов, цвета, композиции и пр., его восприятие посторонней правки. Нельзя сказать, что все эти скрупулезно собранные под знаком *медиа*поэтики наблюдения и факты принципиально

что-то добавляют к пониманию стиля писателя, но очевидно, что они служат весомыми аргументами в этом понимании, а кроме того, доставляют чистое исследовательское удовольствие, чувство маленьких открытий в лаборатории творческого письма. (Интересны и в целом верны также сопоставления звуковой архитектуры прозы Бернхарда с музыкой техно.) В подобном ключе, кстати, ведет исследования другой филолог и медиаэстетик — американский германист Джейкоб Хаубенрайх из Университета Джонса Хопкинса. Он занимается, например, рукописями, карандашным письмом и рисунками шариковой ручкой у Хандке, черновиками Рильке. (Помню, меня поразило его наблюдение над записной книжкой Рильке, черновиком его «Записок Мальте Лауридса Бригге»: Хаубенрайх сравнил резкие горизонтальные зачеркивания в тексте с бинтами, которыми как бы перемотан текст-рана.) В таких исследованиях производят впечатление именно методологическая специфичность ракурса и продуктивность такого сужения перспективы: это сужение дает если не новый, то пристальный, как бы с наведенной резкостью, взгляд на особенности поэтики.



По пути медиапоэтики пошла и Штретлинг, написавшая, по-моему, блестящее исследование форм письма, печати, иллюстративно-изобразительного воплощения русской авангардной литературы. «Авангард» понимается в книге предельно широко — как сфера новаторского письма и поведения, поэтому здесь Ахматова соседствует с Хармсом. То, что авангард всегда больше, чем словесность, делает медиапоэтику оптимальным подходом. Штретлинг берет в качестве медиаинструмента руку, которая становится одновременно органом моторики, мысли, письма, жеста, действия, объектом изображения, базовой метафорой и символом, частью некоего текстопорождающего и воспринимаемого — перформативного — целого. И для того чтобы перечитать и пересмотреть (буквально) произведения Хлебникова и Митурича, Александра Родченко и Варвары Степановой, Алексея Толстого и Мандельштама, переосмыслить «биомеханику» Мейерхольда и марровскую концепцию письма, автор выходит в области антропологии, риторики, жестологии, семиотики, феноменологии — и истории культуры, конечно. При этом, что важно, сохраняется внимание собственно к речи, производимой рукой, и на это работают как поэтика, так и всевозможные разделы семиотики. Какой эффект это производит? Эффект Gesamtkunstwerk'а, погружения в материальную и духовную культуру эпохи, которая пронизывает художественную практику на всех уровнях, от бытового до метафорического. Нет ви́дения отдельных «приемов», как бы лежащих на совести их изобретателей, — есть единый контекст, связь коллективного бытия с личным, низового — с интеллектуальным.

3. На мой взгляд, век «классического» литературоведения (то есть, если я верно понимаю, сведенного к чистой поэтике) был недолог. Он знаменовал короткий период узкой специализации, высвобождения поэтики из-под власти прежде не отрефлектированных и слитых с нею инструментов и сфер, от «грамматики» (в средневековом, по сути позднеантичном понимании) и риторики до историографического бытования внутри семьи искусств и (вульгарной) социологии и биографики в эпоху позитивизма/марксизма/фрейдизма. По сути, это 1900—1920-е в России и 1920—1960-е на Западе. Всевозможные «морфологические» концепции: формализм, новая критика, структурализм… Есть еще извод «истории литерату-

ры», понятой как поэтапное, детерминированное экономикой и культурой построение литературной истории, где отдельные поэтики — это как бы такие иллюстрации больших эпох. Так или иначе, и литературоведение, и филология в широком смысле, включающая лингвистику и риторику, почти никогда не мыслились как автономные. Поэтому, пережив явно освежающий период изоляции во всевозможных имманентных поэтиках, литературоведение вернулось из этой утопической ссылки готовым к новому синтезу. Мне не видится сегодняшний активный диалог со «смежными» и даже весьма отдаленными дисциплинами (биология, искусственный интеллект, цифровые методы) чем-то абсолютно новым и уж тем более угрожающим. Думаю, литературоведение никуда не «уходит». Оно осматривается и совершает две важные процедуры: с одной стороны, помещает произведение в сложно устроенный контекст (медиа — политика — этика — экономика — артрынок и языки искусств), высвечивая тем самым и всеобщее, и исторически уникальное, и создавая необходимое поле предпонимания поэтики; с другой стороны, видит в словесности один из инструментов репрезентации этого контекста, язык в ряду других (в этом смысле, например, описание хворей персонажей коррелирует с биополитикой, а куртуазный сюжет — со средневековой сословной иерархией и т.п.). Но такое герменевтическое самопонимание, конечно, делает неубедительными попытки исчерпывающе объяснять какие-то стилистические или композиционные особенности текста только волей автора или какой-то имманентной поэтологией течения, школы. Так что две книги, упомянутые мной, в хорошем смысле слова междисциплинарны: поэтика в них больше, чем поэтика.

4. Если уж говорить о выходе в смежные эпистемологические пространства, то литературоведение можно назвать не только «культурологическим», но и социологическим, и медиаэстетическим, и увязанным с такими дисциплинами, как историческая психология или философия экономики. Одной культурологии мало. «Филологическая» составляющая если и «вымывается», то в исследованиях или слабых, или же сильных, но тенденциозных (когда литературные тексты служат иллюстрацией яркого тезиса или метода). Слабое литературоведческое исследование — пожалуй, то, где перестает работать функциональная поэтика, где части не исследуются в их ансамбле, где «провисает» апелляция к устройству текста, к жанрово-дискурсивным законам за счет того или иного внехудожественного аргумента. По моим скромным наблюдениям, в немецкоязычном литературоведении происходит какое-то живое внутреннее отпочкование ветвей: тут — поэтика комикса (неизбежно междисциплинарная), тут — постколониальные исследования (неизбежно политизированные — хорошо, когда авторы отдают себе в этом отчет), а тут — история приема или жанра, вполне уместно апеллирующая к риторике топосов, укорененных в истории культуры не меньше, чем в поэтике. Мне кажется, ничего не «вымывается», если произведение продолжает сохранять свой эстетический статус (или антиэстетический — как театр вербатим или личные нарративы, что позволяет интерпретировать их под знаком минус-приемов).

5. О растворении литературоведения в любой из «смежных» дисциплин я бы говорить не спешила, но и не обольщалась бы насчет возможности пуристского литературоведения: последнее было бы историческим тупиком. Мне бы хотелось, чтобы литературоведение помнило о своем инструментарии — устройстве микрокосма произведения по аналогии с жизненным миром, но всегда с фикциональными искажениями, о роли ритма, композиции элементов, о (вторичной) семантизации всех языковых элементов, вообще о сконструированности текста на всех уровнях, преднамеренной или нет. Если есть конструкция, то можно описать текстопорож-

дающие законы и законы рецепции, и здесь смежная дисциплина как Другой не помеха, а ключ к самопониманию.

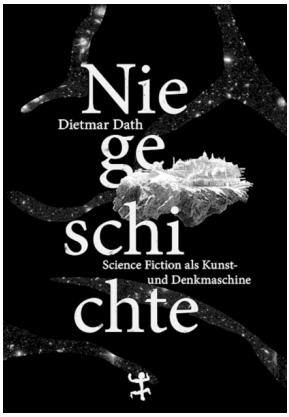
Ульрих Фрёшле
(Дрезден, Германия)

1. Должен признаться, немецкоязычные литературоведческие работы, по-настоящему глубоко меня впечатлившие, все превышают рамку пятилетней давности. В области истории литературы здесь можно назвать «Пиетизм и патриотизм в литературной Германии» (1961) Герхарда Кайзера[11], аутсайдерскую работу Ганса-Дитриха Сандера «Марксистская идеология и общая теория искусства» (1970)[12], исследование Вольфа Киттлера о Клейсте «Рождение партизана из духа поэзии» (1987)[13], «Историю горизонта» (1990) Альбрехта Кошорке[14], исторический анализ политической функции немецкой литературы Клеменса Порншлегеля «Литературный суверен» (1994)[15] и поэтику экономического человека «Расчет и страсть» (2002) Йозефа Фогля[16]. Среди работ по теории литературы после «молодых» классиков герменевтики, семиотики, дискурсного анализа и эмпирического литературоведения можно упомянуть лишь великий труд Карла Айбля «Animal poeta: к биологической теории культуры и литературы» (2004)[17], где понятие «теория» фигурирует далеко не только метафорически. Единственной литературоведческой книгой последних пяти лет, лично для меня оказавшейся большим событием, было объемное исследование Дитмара Дата о научной фантастике, которое вышло в 2019 г. под названием «История-никогда: научная фантастика как художественная и мыслительная машина»[18].

2. Прежде всего, книга Дата действительно заполнила реальный пробел: это проницательный историко-систематический синопсис и аналитическое осмысление научной фантастики — все еще недооцениваемого литературного жанра модерна, который демонстрирует богатство и масштаб, как мало какой другой. Познания Дата в этой обширной литературе огромны, категории его анализа и оценки натре-

11 *Kaiser G.* Pietismus und Patriotismus im literarischen Deutschland: Ein Beitrag zum Problem der Säkularisation. Wiesbaden: Steiner, 1961.
12 *Sander H.-D.* Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie. Basel: Kyklos, 1970.
13 *Kittler W.* Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie. Freiburg im Breisgau: Rombach, 1987.
14 *Koschorke A.* Geschichte des Horizonts: Grenze und Grenzüberschreitung in literarischen Landschaftsbildern. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.
15 *Pornschlegel C.* Der literarische Souverän: Studien zur politischen Funktion der deutschen Dichtung bei Goethe, Heidegger, Kafka und im George-Kreis. Freiburg im Breisgau: Rombach, 1994.
16 *Vogl J.* Kalkül und Leidenschaft: Poetik des ökonomischen Menschen. München: Sequenzia, 2002. (Рус. пер.: *Фогль Й.* Расчет и страсть: поэтика экономического человека / Пер. с нем. К. Лощевского под науч. ред. А. Белобратова. М.: Изд-во Ин-та Гайдара; СПб.: Smolmny, 2022. — *Примеч. ред.*)
17 *Eibl K.* Animal Poeta: Bausteine der biologischen Kultur- und Literaturtheorie. Paderborn: Mentis, 2004.
18 *Dath D.* Niegeschichte: Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine. Berlin: Matthes & Seitz, 2019.

нированы на Гегеле, Марксе, Лукаче и Петере Хаксе. Это открывает ясный взгляд не только на темы сай-фая, но и прежде всего на его эстетическую форму и функцию, пусть даже читатель и не разделяет идеологических предпочтений автора. Из этого «кирпича» можно подчерпнуть множество сведений, отнюдь не только литературоведческих. Более того, книга написана в удобочитаемом стиле, то есть она не гонится в отчаянии за оригинальностью и не обязательно хочет звучать слогом Вальтера Беньямина.



3. Если понимать под этим формалистические или сугубо текстологические методы работы с художественным текстом, то академическая дисциплина во всем ее многообразии уже давно перестала соответствовать такому традиционному срезу. Книгу Дата все же можно отнести к классическому типу литературоведения, поскольку в ней литература рассматривается именно как вид искусства. Пересечение дисциплинарных границ при анализе культурных артефактов — дело довольно старое; даже герменевтические подходы к интерпретации всегда обращались к контекстам и тем самым использовали знания и методы других дисциплин. Меж- или трансдисциплинарность суть фетиши профилирования, как и другие подобные термины, обязанные «экономике внимания» (Георг Франк): их удобно использовать в нарративах подачи заявок на финансирование и в академической борьбе за территорию, но их номинальная ценность довольно невелика. Кстати, хотя Дат изучал литературоведение параллельно с физикой, он не работает литературоведом в университете, а является преимущественно писателем.

4. На содержательном уровне я считаю это псевдодихотомией, потому что любая филология всегда была частью исследований культуры — достаточно взглянуть на наших отцов-основателей, братьев Гримм. Даже во времена сокращающегося классического канона те, кто выделяется на общем фоне и хочет сделать карьеру, по-прежнему работают над каноническими авторами и текстами и по-прежнему существуют традиционные филологи, которые создают осязаемые и тщательно продуманные издания на всех уровнях медиа, то есть долговечные вещи, будь то в виде книг или в цифровом формате. Институциализированное в университетах литературоведение остается относительно стабильной дисциплиной, поскольку большинство студентов хотят получить квалификацию преподавателя немецкого языка и литературы в различных типах школ. Именно этот конкретный педагогический запрос гарантирует определенную преемственность филологически ориентированной германистики в Германии, а исследования, зацикленные на мнимом стороннем финансировании (де-факто перераспределении налоговых денег), едва ли играют здесь особую роль, независимо от того, что и как там исследуется. А вот что касается этоса и устойчивой доходности этого литературоведения, то здесь я скорее настроен пессимистично, под каким бы ярлыком оно ни пыталось себя рекламировать, будь то история медиа- или цифровой культуры, критика белой культуры, квир- или постколониальные исследования и т.д. Подобно жестким деконструктивистским работам 1990-х гг., большинство таких книг, в отличие от «Никогда-истории» Дата, через несколько лет перестанут кого-либо интересовать. Здесь — в очередной раз — шаткая форма идеологической схоластики в академической башне из слоновой кости угрожает филологическому фундаменту литера-

турных и культурных исследований, когда схематические подходы вытесняют суверенное, исторически осмысленное и открытое прочтение текстов. Это развитие, начавшееся в основном с area studies в США, нередко было связано с маргинализацией литературоведения, ориентированного на канон. Содержание филологических дисциплин также находится под угрозой из-за когнитивной обусловленности студентов и молодых преподавателей так называемыми новыми медиа. Говоря словами французского теоретика медиа Бернара Стиглера, «быстрым» цифровым медиа соответствует поверхностное внимание, «медленной» книжной культуре — глубокое. При истощении последнего истощаются литературоведческие интересы, навыки и в конечном счете легитимность дисциплины.

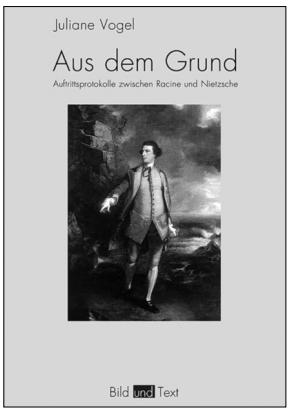
5. Будущее литературоведения и (серьезных) культурных исследований лично я вижу туманно-серым: еще какое-то время дисциплина сохранится благодаря подготовке преподавателей и будет формально связана с филологическими компетенциями. До тех пор пока будет достаточно налоговых денег для проведения «сторонних» проектов в области культуры и гуманитарных наук, исследования в области литературоведения будут продолжать соответствовать «современным» рамкам спонсирующих организаций, из чего не всегда следует устойчивая научная отдача. Пока не иссякнет электричество, медийные рамки, сложившиеся в ходе дигитализации, будут продолжать наносить ущерб культуре книги и чтения и вынуждать некогда филологически ориентированные дисциплины адаптироваться к себе. Таким образом, вполне возможно, университетская дисциплина литературоведение оторвется от своих филологических основ, а ее профиль размоется до неузнаваемости. Понятно, что литературоведение всегда будет сталкиваться с проблемой дилетантизма по отношению к предметам, к которым оно обращается. Каким бы я лично хотел видеть будущее литературоведения? Учитывая открытия, совершаемые в медиатеориях, когнитивной психологии и исследованиях мозга, литературоведению не нужно стыдиться своих филологических основ — наоборот, они должны уверенно перегруппироваться для борьбы за интеллект, о которой Бернард Стиглер ранее говорил: литературоведение предлагает и формирует ресурсы, систематически требующие глубокой внимательности и формирующие ее, которую также можно назвать способностью к концентрации. Те, кто расшифровывает абстрактные буквенные знаки и переводит их в образы; кто может погружаться в художественные тексты при чтении и вновь выходить из них; кто научился распознавать логику их порождения, то есть их семиотические, риторические, поэтологические и идеологические паттерны, смогут затем применить это и к другим медиа и артефактам. Филология должна быть обязанностью литературоведения, ее свобода заключается в открытости к другим медиа и в способности манипулировать методами других дисциплин, от этнологии до организационной психологии, если они помогают читать такие сложные паттерны, как тексты.

Конечно, развитие литературоведения нельзя рассматривать изолированно, оно является частью процессов, происходящих в обществе в целом. В университетском контексте одним из решающих факторов в Германии станет то, как будет формироваться школьное образование в будущем, будет ли сохраняться политическая тенденция к массовому университету или же возвращение к более высоким стандартам успеваемости — в том числе и в гуманитарных науках, что, в свою очередь, повлияет на школы. Вопрос о том, растворится ли литературоведение как самостоятельный бренд, продолжив свою работу под логотипом культурологии, в конечном счете является лишь вопросом маркетинга, а возможно, и проблемой трудоустройства.

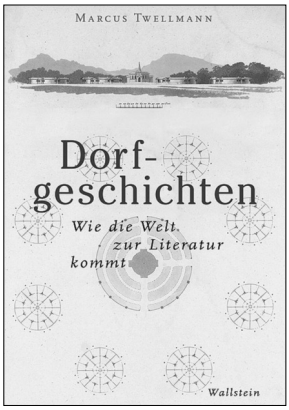
Пер. с нем. Сергея Ташкенова

Альбрехт Кошорке
(Констанц, Германия)

1. Ответить на такой вопрос нелегко, потому что в повседневной читательской практике бодро перемешаны немецко- и англоязычные тексты, последние нередко в переводе на немецкий. Конечно, в литературоведении, в отличие от естественных и общественных наук, публикации, как правило, придерживаются соответствующего национального языка, однако и здесь контуры немецкоязычного мира размываются в направлении того, что претендует на роль глобального, де-факто североатлантического мира публикаций и циркуляции знаний.



В первую очередь на ум мне приходят две книги, написанные в моем непосредственном окружении в Констанце: исследование Юлианы Фогель «На передний план: сценические протоколы от Расина до Ницше» (2018)[19] и монография Маркуса Твельмана «Деревенские истории: как мир приходит в литературу» (2019)[20]. На первый взгляд, не может быть двух более разных работ, чем эти. Фогель прослеживает историю драматургии в добротной западноевропейской манере от греческой Античности через придворный театр французского абсолютизма до Гёте, Шиллера и театральных дискурсов XIX в. Твельман же обращается к гораздо более скромной теме — истории деревни, то есть не к героико-капиталистическому жанру, а провинциальному в программном смысле. Однако, как ему удалось показать, именно этот «низкий» жанр демонстрирует чрезвычайную любовь к странствиям. Он также опирается на античные (в данном случае римские) традиции, однако путешествует не только по эпохам, но и по регионам и континентам: его пути ведут в немецкий Шварцвальд (Бертольд Ауэрбах), в колонизированную Великобританией Индию, в русский деревенский коммунизм, в Италию Грамши и в постколониальную Танзанию, и это лишь некоторые ориентиры.

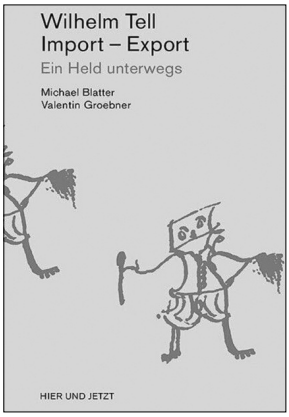


Обе работы, несмотря на все различия, объединяет интерес к вопросам жанра и литературной формы. Исследование Фогель не просто история драмы или театра, а своего рода элементарная теория театральных форм. Основной единицей, на которой она фокусирует внимание, является вступление на сцену: как, когда, на какой части сцены и в какой позе появляются dramatis personae? Как выражается их иерархия с точки зрения сценической репрезентации? Как инсценируется величественность героев через их появление перед зрителем, какому придворному и драматургическому протоколу они следуют и, самое главное, как такие величественные фигуры покидают сцену в ходе трагических перипетий? С этой точки зрения сценические со-

19 *Vogel J.* Studie Aus dem Grund: Auftrittsprotokolle zwischen Racine und Nietzsche. Paderborn: Wilhelm Fink, 2018.

20 *Twellmann M.* Dorfgeschichten: Wie die Welt zur Literatur kommt. Göttingen: Wallstein, 2019.

бытия можно с большой точностью анализировать как микрокосм отношений власти, поскольку границы между практиками эстетической и политической репрезентации становятся проницаемыми в обоих направлениях. Твельман в своей книге тоже объединяет различные точки зрения: институциональную, жанровую и теоретико-формульную. Его интересует бытовая и экзистенциально-бытовая форма «деревни» — и как воображаемая конструкция, в идиллизации и идеологическом наполнении которой решающее участие принимала литература, и как политико-административная единица, игравшая большую роль в административной конфигурации сельских регионов в Европе и на колониальных территориях. Здесь также тесно переплетаются эстетические и политические процессы.



Возможно, стоит упомянуть еще одну книгу, вышедшую, впрочем, уже шесть лет назад. Она называется «Вильгельм Телль, импорт — экспорт: герой в дороге»[21]. Оба живущих в Швейцарии автора, Михаэль Блаттер и Валентин Грэбнер, с юмором подрывают швейцарский национальный миф, связанный с героем свободы Теллем. К досаде ксенофобских швейцарских нативистов, они показывают, что Телль не только не историческая личность, но и не автохтонный швейцарец. Следы его происхождения ведут в Персию, территория которой сегодня называется Ираном и считается рассадником особо радикальной разновидности исламского фундаментализма. Когда палестинские террористы, в свою очередь, ссылаются на Телля как на свой образец для подражания, круг смыкается: перед нами странствующий мотив с устойчивой формой, но с противоположными идеологическими контекстами.

2. Эти две книги посвящены взаимодействию литературного вымысла и социального воображения. Насколько мощным может быть такое воображение и как сильно оно определяет коллективные действия, видно из сегодняшнего дня. Если сосредоточиться на этой взаимосвязи, то изучение литературы, даже если она относится к прошлому, становится политическим и актуальным. С одной стороны, соответствующие работы выделяются из филологической традиции, которая изолирует литературу от ее социально-политического окружения. Однако, с другой стороны, они относятся к своему предмету аналитически, а не активистски и преследуют ярко выраженный исторический интерес. Это отличает их от поверхностной политизации современных cultural studies. Им помогает тот факт, что в немецкоязычном исследовательском ландшафте исторические исследования, этнография, теория медиа, институциональная теория, нарратология и идея перформанса, концепция власти и анализ эстетических форм движутся навстречу друг другу и в идеале даже образуют своего рода альянс.

3. Я бы говорил о расширении литературоведения, а не (как иногда опасаются) о его самоотчуждении или потере «сущности». В отличие от все еще сильно ориентированной на марксизм социальной истории полувековой давности, литературные явления в вышеупомянутых исследованиях рассматриваются не только как производные переменные. Напротив, сама социальная реальность сегодня до глубины пронизана вымыслами, воображаемыми образами, нарративами и перфор-

21 *Blatter M., Groebner V.* Wilhelm Tell, Import — Export: Ein Held unterwegs. Basel: Hier und Jetzt, 2016.

мативами, так что эстетическое измерение — как внутреннее, так и внешнее по отношению к литературе — по-новому выходит на передний план.

4. Споры между «рефилологизацией» и «культурологическим расширением» литературоведения велись в основном на рубеже тысячелетий и с тех пор утихли. Конечно, все еще существуют различные акценты в исследованиях, но видно, что оба направления вполне совместимы друг с другом. Кроме того, сами культурные исследования, с одной стороны, стали более институциализированными, а с другой — теряют свою привлекательность как парадигма. На это есть несколько причин. Во-первых, они перестарались, — например, в области так называемой поэтики знания, — выйдя за рамки своей компетенции. Во-вторых, на них возлагают долю ответственности за то, что акцент на вопросах символического признания и культурной идентичности привел к тому, что предположительно более актуальная проблема социального неравенства и борьбы за распределение отошла на задний план. Здесь прослеживается своего рода «новый материализм», который опирается на старую социальную историю, но обогащает ее полученными за это время теоретическими знаниями. Наконец, в-третьих, на повестке дня появились новые «повороты», которые обнаруживают лишь условную связь с «культурологическим поворотом»: цифровые гуманитарные науки, когнитивная поэтика, экокритицизм. Эти новые направления исследований, большинство из которых зародились в США, гораздо дальше отстоят от традиционной филологии, чем немецкие культурные исследования, все еще работающие в значительной степени герменевтически.

5. Существуют тенденции, которые невозможно отрицать. Литература как вид искусства, привязанный в первую очередь к книжному носителю, теряет свое значение. Таким образом, различные отрасли филологии все больше превращаются в дисциплины, связанные с прошлым. Потребительские привычки меняются. Даже те, кто изучает в Германии такой предмет, как германистика, в большинстве случаев демонстрируют не столько читательскую биографию, сколько общую медийную социализацию. Школьные программы адаптируются и рассматривают культивирование так называемой высокой литературы (то есть знание канонизированных поэтов и произведений) уже как не единственную и, возможно, даже не главную задачу.

С другой стороны, в соответственно изменившихся условиях новый бум переживают поэтические практики в цифровом пространстве. Таким образом, эта область находится в состоянии текучести. Кроме того, литературоведением больше невозможно заниматься в рамках национальных филологий XIX в. Здесь встает вопрос о его транснационализации или даже больше: о возможности глобальной истории литературы. Однако этому мешает то обстоятельство, что литература привязана к вернакулярным языкам, из которых она возникла, в большей степени, чем другие виды искусства и формы знания. Как могла бы выглядеть история мировой литературы, которая не была бы просто гигантской антологией переводов на английский язык, своего рода доминирующей глобальной аксиомой? Как бы выглядела хоть одна программа по европейским литературам, которая была бы достойна этого названия, а не возникала сугубо из соображений экономии? Все это вопросы выживания литературоведения, которому в значительной степени придется изобретать себя заново.

Пер. с нем. Сергея Ташкенова

Дорис Бахманн-Медик
(Гисен, Германия)

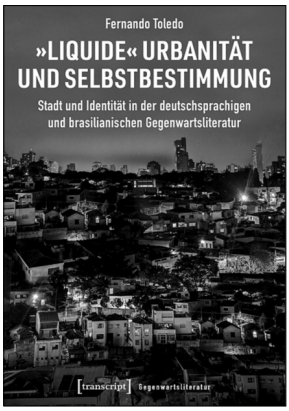
На вопрос, какие литературоведческие работы за последние пять лет произвели на меня особое впечатление, на ум не приходит какого-то одного конкретного знакового исследования. Тому есть причина. Будучи культурологом, получившим образование в области литературоведения, в последние годы я все больше фокусируюсь на теории культуры и все дальше отхожу от традиционных филологических исследований. (Под традиционными я подразумеваю прежде всего исследования, сосредоточенные на выдающихся произведениях, которые, согласно классическому пониманию гуманитарных наук, считаются продуктами индивидуума.) Однако такой отход соответствовал и новым процессам внутри самого литературоведения. В последние годы, например, немецкоязычное литературоведение уже само по себе значительно сместилось в сторону культурологической оптики. Художественные тексты все чаще рассматриваются во взаимосвязи с медиальными, полифоническими формами производства и в более широких культурных контекстах. Они исследуются с точки зрения их встраивания во всеобъемлющие дискурсы, сети, стили письма и формы повествования. В настоящее время эти изменения происходят во многих отношениях; именно поэтому я дам не один, а несколько ответов на первоначальный вопрос и приведу несколько примеров.



Начну с книги литературоведа Генриха Детеринга «Люди в мировом саду: открытие экологии в литературе от Халлера до Гумбольдта» (2020)[22]. Это исследование выделяется прежде всего тем, что не ограничивается литературоцентричным рассмотрением одного произведения или автора, — скажем, Гёте, Штифтера или Кафки (будь то внимательное прочтение под филологическим углом зрения или культурологическая, социологическая или философская интерпретация). Вместо этого Детеринг открывает целый исторический корпус литературно-экологических текстов начиная с XVIII в. (А. фон Халлер, Гёте, Арним, Новалис и др.), но не для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать на их примере всеобъемлющую экологическую перспективу и тем самым заявить о них в современных дискурсах настоящего и будущего под ярлыками «экокритицизм», «письмо о природе» или «письмо о ландшафте». Нет, гораздо более эффективной является его попытка раскрыть ранние литературные подходы к осознанию экологической перспективы исходя из самих литературных текстов. Таким образом, литература ни в коем случае не рассматривается как пассивный объект интерпретации или как простое свидетельство текущих социальных дискурсов. Скорее, она сама со всей серьезностью воспринимается как независимая интерпретирующая и проблематизирующая инстанция, которая участвует в современных дискурсах (об отношениях между людьми и природой) или даже приводит их в движение.

Схожую аргументацию использует автор из молодого «межкультурного» поколения Фернандо Толедо в книге «“Текучий” урбанизм и самоопределение: город и

22 *Detering H.* Menschen im Weltgarten: Die Entdeckung der Ökologie in der Literatur von Haller bis Humboldt. Göttingen: Wallstein, 2020.



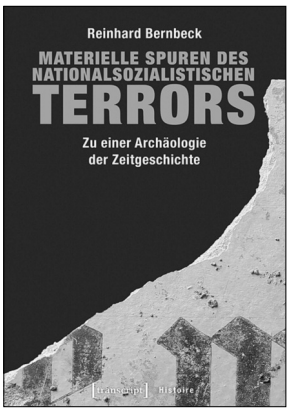
идентичность в современной немецкоязычной и бразильской литературе» (2022)[23]. В этом недавнем компаративистском исследовании также делается акцент на раскрытии потенциала самой литературы: она является здесь необходимым «испытательным пространством, в котором субъективность и восприятие пространства производятся нарративными средствами» (с. 12). В эстетико-нарративной форме литературные тексты не являются простым описанием городских реалий; они сами по себе создают многослойные городские пространства, поскольку отражают их воздействие на субъектов и их повествовательное построение (культурологическая линза пространственного поворота здесь существенно обостряет зрение). Как показывает этот интересный анализ, тексты оказываются еще одним средством преумножения пространственных и прочих идентичностей. Словно в лаборатории, они развивают спектр социальных форм восприятия, которые, в свою очередь, оказывают влияние на восприятие самого города, а также на поведение реальности вне литературы в целом.

Что поражает в таких трансграничных литературоведческих подходах к тексту (которые в настоящее время широко распространены наряду с научно-критическим изданием литературы и более узкими филологическими исследованиями), так это удивительная «размытость», гибридизация: между литературоведением и естественными науками, антропологией и литературоведением, художественной литературой и социальными дискурсами. В своем исследовании литературной экологии Детеринг неоднократно ссылается на сопоставимые концептуализации со стороны science studies, эколого-научной рефлексии, натурфилософии. Но здесь он историзирует каждый отдельный кейс, избегая его сокращения до современных дискурсов, притом что уже в XVIII в. можно найти многочисленные пересечения между литературой как поэзией природы и научными исследованиями. Именно литературоведение демонстрирует здесь, что сегодняшние проблемные ситуации также имеют глубинное измерение, которое может быть реконструировано из исторических точек литературных сопряжений. Не в последнюю очередь такой подход дает человеку важные ориентиры. Точнее говоря, здесь видна эффективность литературоведения, способного воспринимать тексты как «лабораторию точек зрения и форм мышления», как «мысленный эксперимент», пользуясь выражениями Детеринга (с. 25, 11), и плодотворно вводить их в новые экологические дискурсы XXI в. в качестве допустимых альтернатив. Таким образом, в этом движении мысли сама литература с ее идиосинкразическими и особыми эстетическими и повествовательными формами репрезентации ни в коем случае не остается в стороне. Совсем наоборот. Как субъектнозависимое средство воображения литература делает «мыслимым и артикулируемым» (с. 11) то, что современная объективирующая наука еще не может себе представить и что мы сегодня — перед лицом почти эпохальных перемен — в своих ограниченных рамках теоретического мышления и с помощью традиционных понятий зачастую даже не способны осознать.

Такое литературоведение разрабатывает модели восприятия реальности и возможные сценарии будущего на основе литературы. И она идет еще дальше, профилируя собственные методы и направляющие категории, такие как нарратив-

23 *Toledo F.* „Liquide“ Urbanität und Selbstbestimmung: Stadt und Identität in der deutschsprachigen und brasilianischen Gegenwartsliteratur. Bielefeld: transcript, 2022.

ность, производство доказательств, эвокация, мышление возможностей и т.д., до такой степени, что они оказываются продуктивными и для других наук и даже могут быть переведены в арсенал социальных действий. Первое, что бросается в глаза, это сильнейшее расширение категории наррации: нарративные формы историографии (Хейден Уайт), нарративные движущие силы экономики (Роберт Дж. Шиллер) и т.д. Более того, литературоведческая система знаний нарратологии не только пронизывает самые разные дисциплины — она практически распространяется на вездесущность нарративов в повседневной жизни, понимая их как незаменимые культурные техники, как основные паттерны порождения смыслов и ориентирования действий. С этим связан тематический выпуск «Германо-романского ежемесячника» под названием «Кризисные нарративы и сценарии», для которого я написала статью «Затяжная лиминальность: вызов для гуманитарных наук и исследований культуры в условиях пандемии»[24]. Вдохновленная коронакризисом, эта статья показывает (среди прочего) не только, как нарративы продолжают распространяться, так сказать, вирусным путем, но и как можно осмысленно с ними обращаться: отвергать их или даже придумывать альтернативные нарративы.



Наконец, нельзя не затронуть и вопросов этики повествования, ставших особенно актуальными благодаря литературоведческой рефлексии. В этом плане дальнейшее осмысление литературоведения можно найти и в одном из самых примечательных исследований последних лет — в превосходной книге Райнхарда Бернбека «Материальные следы национал-социалистического террора: к археологии современной истории» (2017)[25]. Бернбек демонстрирует захватывающий пример новой формы археологии, которая творчески переносит свои ноу-хау на современную историю и фокусируется на раскопках эпохи национал-социализма. Место раскопок Бернбека — лагерь принудительного труда и концентрационный лагерь на Темпельхоферфельд в Берлине, где среди прочих содержались подневольные рабочие из стран Советского Союза. Бернбек утверждает, что, сталкиваясь с раскопанными реликвиями страданий, необходимо найти новые «формы интерпретации, способные вызвать более благодарное отношение к предметам прошлого, не создавая в то же время какого-то доходчивого, непрерывного повествования» (с. 250). Плодотворно используемая здесь литературоведческая категория нарратива существенно расширяется. Ибо изначально довольно неприметные маленькие повседневные предметы, которые были обнаружены, нелегко ввести в контекст повествования. Однако они обладают необычайным эвокативным потенциалом. Ведь именно благодаря своей фрагментарной природе останков они бросают нам вызов, заставляя представить себе следы и остатки бесчеловечных условий существования, которые все еще цепляются за них, — для того чтобы критически их обнажить. Новаторское расширение наррации служит здесь и тому, чтобы в саму науку включить воображение как непростой вызов, чтобы сознательно открыть «пространство возможностей, которое очерчивают альтернативные нарративы» (там же). Для этого можно

24 *Bachmann-Medick D.* Anhaltende Liminalität: eine Herausforderung der Geistes- und Kulturwissenschaften in der Pandemie // Germanisch-Romanische Monatsschrift. 2020. Vol. 70. № 3/4. S. 509—520.

25 *Bernbeck R.* Materielle Spuren des nationalsozialistischen Terrors. Zu einer Archäologie der Zeitgeschichte. Bielefeld: transcript, 2017.

привлечь даже «мысленные эксперименты» чувствительного к языку геттингенского физика, естествоиспытателя и афориста Георга Кристофа Лихтенберга. Как подчеркивает Детеринг (с. 161—162), уже в XVIII в. они обуславливали продуктивные трансгрессии между научными открытиями, поэтическими фантазиями и концепциями будущего.

Однако такое «размывание» методов, интерпретационных подходов и научных оптик в самых разных дисциплинах следует рассматривать не как процесс растворения, а скорее как процесс большого обогащения. Особенно обогащающим здесь оказывается такое литературоведение, которое сохраняет свои нарративы, формы воображения и формирование аффектов открытыми для дальнейшего развития (например, в археологии), чтобы иметь возможность вновь обратиться к ним с новыми импульсами.

Ввиду такого пересечения гуманитарных дисциплин решающий вопрос: «Действительно ли литературоведение все больше поглощается культурологией?», — возможно, следует поставить несколько иначе. Ведь во времена «интеллектуальной транскультурации» (Джордж Стайнметц), к которым относится и наше настоящее, границы между дисциплинами в любом случае стали проницаемыми как никогда. Тем временем даже сами литературные тексты стали теоретизированными, поскольку ссылаются на полемические теории и концепции (гибридность, идентичность и т.д.), а нередко даже работают со сносками. Поэтому не удивительно, что литературоведение также отреагировало на это развитие гибридным образом и уже давно размыло свои границы с другими гуманитарными науками. Поэтому, возможно, нам следует ответить на этот вопрос не так огульно, то есть задаться более конкретным вопросом: «Как именно выглядят эти пересечения границ и какие формы в лучшем случае может принять культурологическое литературоведение, которое не отрицает своих специфических методов и собственных инструментов интерпретации?» Здесь можно лишь наметить несколько возможных форм:

1) культурологическая интерпретация литературы, признающая ее самоинтерпретирующую силу, которая инсценирует формы восприятия, апробирует действия, экспериментально разыгрывает мысли;

2) интерпретация литературы с точки зрения ее вклада в более широкий контекст социально значимых дискурсов (болезнь, пандемия, климатический кризис);

3) интерпретация литературы с культурологически подготовленным, систематическим вниманием к отдельным мотивам и концептам (родина, любовь, отвращение, миграция и т.д.);

4) интерпретация литературы с целью тематизации и осмысления социальных проблем (вклад художественных текстов в решение проблем);

5) профилирование методов литературоведения в рамках различных дисциплин (нарративность, эвокация, вопросы авторства и т.д.), которые используются, например, в истории, экономике и т.д. в качестве исследовательских оптик и аналитических категорий.

Вывод может показаться парадоксальным: именно благодаря экспансии культурных исследований специфические возможности и потенциал литературы становятся узнаваемыми и, в свою очередь, называемыми в литературоведческом анализе. Но перспективу познания можно и перевернуть: науки о культуре — и даже социальные и естественные науки — также нуждаются в литературоведении, поскольку в противном случае они начинают поспешно склоняться к аналитическим обобщениям и объективизациям, которые легко могут оставить без внимания субъективное восприятие, эмоции, противоречивые установки и т.д. Когда мы сегодня сталкиваемся с огромными масштабами антропоцена и планетарности, то есть с со-

творенной людьми эпохой Земли, когда приходится осознавать, что ввиду нашего экологического поведения, все больше соприкасающегося с Нечеловеческим, мы сделались как силой, так и опасностью, изменяющей Землю, — как раз тогда оказывается, что нам все еще нужны инстанции, которые направили бы наш взгляд на способы реагирования и формы повествования, на воображение и предвидение, на воспоминания, страхи и надежды отдельных людей — и не в последнюю очередь на возможность вмешаться в то, что кажется неизбежным. Литература и есть одна из таких инстанций.

Пер. с нем. Сергея Ташкенова

Наши авторы

Людмила Алябьева
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), Школа дизайна, доцент; кандидат филологических наук) lalyabieva@hse.ru.

Ольга Аннанурова
(Журнал «Новое литературное обозрение», редактор отдела «История» / РАНХиГС, преподаватель) olga.annan@gmail.com.

Павел Арсеньев
(Университет Женевы; литературно-теоретический журнал [Транслит], главный редактор; PhD) lartpaulars@gmail.com.

Алейда Ассман
(Констанцский университет, Германия; профессор; Dr. habil.) aleida.assmann@uni-konstanz.de.

Тимур Атнашев
(РАНХиГС, старший научный сотрудник, старший преподаватель; PhD) timur.atnashev@gmail.com.

Дорис Бахманн-Медик
(Гиссенский университет им. Юстуса Либига, Германия; старший научный сотрудник) mail@bachmann-medick.de.

Екатерина Болтунова
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), заведующая лабораторией региональной истории России; кандидат исторических наук) ekboltunova@hse.ru.

Ольга Вайнштейн
(РГГУ, ведущий научный сотрудник; доктор филологических наук) katermur@gmail.com.

Михаил Велижев
(Сапиенца — Римский университет, Италия; приглашенный профессор; кандидат филологических наук; PhD) nun.ce.problema@gmail.com.

Татьяна Венедиктова
(МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра общей теории словесности (дискурса и коммуникации), заведующая, профессор; доктор филологических наук) tvenediktova@mail.ru.

Ханс Ульрих Гумбрехт
(Стэнфордский университет, США; почетный профессор; PhD) sepp@stanford.edu.

Ксения Гусарова
(РГГУ, старший научный сотрудник / РАНХиГС, доцент; кандидат культурологии) kgusarova@gmail.com.

Евгений Добренко
(Университет Венеции Ca' Foscari, Италия; профессор; PhD) evgeny.dobrenko@unive.it.

Сергей Зенкин
(РГГУ, главный научный сотрудник / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (СПб.), профессор / Свободный университет, профессор; доктор филологических наук) sergezenkine@hotmail.com.

Артем Зубов
(МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель; кандидат филологических наук) artem_zubov@mail.ru.

Ольга Казакова
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), доцент; кандидат искусствоведения) ovkazakova@hse.ru.

Илья Калинин
(Принстонский университет, США; приглашенный исследователь; кандидат филологических наук) ik1939@princeton.edu.

Лёля Кантор-Казовская
(Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль; доцент; PhD) mslola@mail.huji.ac.il.

Катриона Келли
(Кембриджский университет, Тринити-колледж, Великобритания; профессор; D.Phil. FBA) catriona.kelly@new.ox.ac.uk.

Вера Котелевская
(Южный федеральный университет, доцент; кандидат филологических наук) vvkotelevskaya@sfedu.ru.

Альбрехт Кошорке
(Констанцский университет, Германия; профессор немецкой литературы и общего литературоведения; Dr. habil.) albrecht.koschorke@uni-konstanz.de.

Марк Липовецкий
(Колумбийский университет, США; профессор; доктор филологических наук) ml4360@columbia.edu.

Михаил Маяцкий

(независимый исследователь; кандидат исторических наук) mmaiatsky@gmail.com.

Марина Могильнер

(Иллинойсский университет в Чикаго, США; доцент; кандидат исторических наук, PhD) mmogilne@uic.edu.

Риккардо Николози

(Мюнхенский университет, Германия; профессор славянских литератур; PhD) riccardo.nicolosi@slavistik.uni-muenchen.de.

Ирина Паперно

(Университет Калифорнии, Беркли, США; почетный профессор; PhD) iparperno@berkeley.edu.

Кевин М.Ф. Платт

(Университет Пенсильвании, Филадельфия, США; профессор; PhD) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Николай Плотников

(Рурский университет Бохума, Германия; профессор; доктор философии) nikolaj.plotnikov@rub.de.

Надежда Плунгян

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), старший научный сотрудник; независимый куратор; кандидат искусствоведения) nadia.plu1@yandex.ru.

Лариса Полубояринова

(Санкт-Петербургский государственный университет, профессор; доктор филологических наук) l.poluboyarinova@spbu.ru.

Евгений Пономарев

(ИМЛИ РАН, ведущий научный сотрудник / Русская христианская гуманитарная академия, профессор; доктор филологических наук) eponomarev@mail.ru.

Элла Россман

(Университетский колледж Лондона, Великобритания; докторант) ella.rossman.21@ucl.ac.uk.

Эллен Руттен

(Амстердамский университет, Нидерланды; глава департамента русистики и славистики, профессор; PhD) ellenrutten@gmail.com.

Евгений Савицкий

(РГГУ, факультет культурологии, доцент / ИВИ РАН, старший научный сотрудник; кандидат исторических наук) savitski.e@rggu.ru.

Александр Семенов

(Амхерст-колледж, США; приглашенный профессор истории; PhD) abimperioas@gmail.com.

Ирина Сироткина

(ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН, ведущий научный сотрудник; кандидат психологических наук, PhD) isiro1@yandex.ru.

Клавдия Смола

(Университет Дрездена, Германия; профессор, доктор философских наук) klavdia.smola@tu-dresden.de.

Сергей Ташкенов

(ИНИОН РАН, старший научный сотрудник; кандидат филологических наук) sergey.tashkenov@gmail.com.

Елена Трубина

(УрФУ, Центр глобального урбанизма, директор / Университет Северной Каролины в Чэпел-Хилл, исследователь / Тюменский государственный университет, исследователь; PhD) elena.trubina@gmail.com.

Сергей Ушакин

(Принстонский университет, США; профессор; PhD, кандидат политических наук) oushakin@princeton.edu.

Александр Филиппов

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), ординарный профессор; доктор социологических наук) al_f_filippov@mail.ru.

Ульрих Фрёшле

(Университет Дрездена, Германия; профессор медиалогии и современной немецкой литературы; Dr. habil.) ulrich.froeschle@tu-dresden.de.

Олег Хархордин

(Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессор; PhD) kharkhor@eu.spb.ru.

Елена Чхаидзе

(Рурский университет, Германия; PhD) elena.chkhaidze@ruhr-uni-bochum.de.

Михаил Ямпольский

(Нью-Йоркский университет, США; профессор; доктор искусствоведения) mi1@nyu.edu.

Summary

Transformation of Humanitarian Knowledge in Post-Soviet Russia

Special Issue

To the History of Political Reflection

Irina Paperno's article "'This Is Not Even the Blockade or a Siege. This Is an Ordinary Soviet Day': Olga Freidenberg's Postwar Notes as a Mythopolitical Theory" analyzes the postwar notes of Olga Freidenberg (1890—1955) and offers an interpretation of this text as a mythopolitical theory in the form of a diary/memoir.

Questionnaire. The Humanities after February 24th

Those fields of the humanities dedicated to Russia, Central Asia and Eastern Europe studies, are faced nowadays with the need not only to reflect on their own imperial or colonial roots, but also to rethink their goals and guidelines. In this questionnaire our regular authors and longtime friends and colleagues **Sergey Zenkin**, **Serguei Alex**. **Oushakine**, **Alexander Semyonov**, **Nikolai Plotnikov**, **Catriona Kelly**, **Elena Chkhaidze**, **Hans Ulrich Gumbrecht**, **Ellen Rutten**, **Kevin M.F. Platt**, **Mark Lipovetsky**, **Evgeny Dobrenko**, **Riccardo Nicolosi**, **Aleida Assmann**, and **Mikhail Iampolski** answer the questions about the recent past and near future of the humanities.

Studies of Texts and Studies of Actions

This round table, initiated by **Irina Prokhorova**, the editor-in-chief of the *New Literary Observer* journal, and **Sergey Zenkin**, philologist and frequent contributor to the journal, focused on how much the humanities in Russia has changed over the last 30 years. **Sergey Zenkin** proposed that social sciences, studies of actions, could create an epistemological base for the renewal of philological research. **Alexander Filippov** spoke about the restoration of rights of reality, which is not dissolvable in texts and meanings. **Oleg Kharkhordin**'s speech was on the current theoretical potential of homiletics (the study of the art of writing sermons). **Michail Maiatsky** ruminated on the necessity of analyzing and debunking Russian "jargon of authenticity," or specialness, i.e., a "diminished" ideological paradigm. **Pavel Arsenev** presented the mediological approach in the humanities using the history of Russian literature of the 19th century in conjunction with the history of science and technology of that period.

The Evolution of Disciplines in the Institutional and Public Field

Evgeny Dobrenko's article "Reading Stalinism: Stalinist Culture as a Field of Research" analyzes the research field of Stalinist culture, which has been rapidly changing since the early 1990s, when the study of Stalinism left the sphere of traditional Sovietology and gradually became one of the dominant subjects in the history of the 20th century. Its formation was influenced by the change of generations of researchers, interdisciplinarity and methodological shifts, democratization, and the opening of archives, as well as changes in the academic economy. However, the analysis of Western and Russian historiography reveals numerous gaps in the study of Stalinism and the need for new methodological and institutional changes.

Elena Trubina's article "Thirty Years of Academic Urban Studies in the Post-Soviet Russia: Between the Fundamental and the Applied" examines the evolution of Russian urban knowledge. Having survived the transition years, today a number of research groups, research centers, MA programs, experts and activists continue the work. The intermediate result of this evolution is that the "city" — in its different modalities — is used to create ever new interdisciplinary formations and educational projects. The author addresses various attempts to combine humanities (history) and social sciences (geography and sociology), creating educational programs and research projects with "city" at their intersection. The experience of such programs prompts to address the problem of the high value of applied knowledge. The author considers what exactly knowledge about the city is applied to and what conflicts arise as the demands for making urban knowledge useful intensify.

Women's and gender history in Russia has been developing since the 1990s and began to be institutionalized in the 2000s and 2010s. **Ella Rossman**'s article "From Socialism to Social Media: Women's and Gender History in Post-Soviet Russia" analyzes the strategies for legitimizing women's and gender history applied to establish a new field. In the 2000s, these strategies included appeals to scale, geography, and a connection with the "generalized West," as well as highlighting the practical significance of women's and gender history and its connections to the classical heritage of the humanities and social sciences. Researchers in the 2010s started coming to women's and gender history by way of feminist activism and turning to social media and journalism to establish their authority within the academy.

The article "From 'Socialism with a Human Face' to 'National Socialism.' Discourses of Justice in Post-Soviet Russia" by **Nikolai Plotnikov** examines the main trajectories of discussions about justice in philosophy and social sciences after perestroika. The concept of justice was never an element of the Soviet ideological vocabulary, and only in the era of perestroika it became not only a key concept in the government's official rhetoric, but also a slogan of protest against the system. On the contrary, post-Soviet social theory has not developed any special interest in the problem of justice. Only in the last decade, in the context of the formation of new protest movements in Russia, there has been a significant increase

in theoretical interest in the problem of justice, which indicates the formation of a new paradigm in social theory.

Tatiana Venediktova's article "The Pragmatic Turn, with a Creak" discusses how the literary pragmatics presupposes attention to the text as a multilayered interaction with the participation of virtual and real subjects, taking into account multiple changing contexts that are imaginary to varying degrees. The dynamic and close involvement of philology in an interdisciplinary working alliance, as well as the appropriate reworking of insights dating back to classical philosophical pragmatism related to the nature of cultural, cognitive, and aesthetic experience. The shift in emphasis from text-as-object to text-as-interaction also gives rise to the need to refresh literary and pedagogical practices.

The Russian Empire as an Object of (Post)Colonial Research

Kevin M.F. Platt in his article "The Post-Socialist Postcolonial and the Ruins of Global History" states that the critical dictionary of postcolonial theory was rarely applied to the post-socialist and post-Soviet space prior to 2000, but this trend may be coming to an end, as shown by the success of two recent monographs by Monica Popescu and Rossen Djagalov. However, the sharp difference between the two approaches of the authors that is obvious in these two books tells a lot about the unsolved problems of integration of post-socialist and the postcolonial terms of analysis. The difference between these two approaches illustrates the impossibility at present of reconciling the history of empire and the history of ideology in a globally meaningful form.

In the article "Race in Russia as a Figure of Omission" **Marina Mogilner** asks the question about the reasons for the lack of serious reflection on race and racism in contemporary studies of the history and culture of the Russian Empire and the USSR. Emphasizing the political relevance of such reflection, the author, nevertheless, points to the limitations of exclusively ideological motivation. The article proposes an understanding of "race" as a mechanism for the selective essentialization of differences, and analyzes the consequences of the divergence in Russian studies of the traditions of studying modernity and imperial formations, which led to the marginalization of "race" as a research problem.

The article "A Regional History of Russia: The Research Field and Archival Practices (1990s — early 2020s)" by **Ekaterina Boltunova** examines the current state of the study of the history of Russia's regions. The author analyzes academic literature on the history of Russian regions that has appeared in the last two decades in English and in Russian. The article concludes that Central Russia has not been studied as a macroregion and also analyzes Russian practices of working with archives, pointing out the need to create search engines that can process large databases, including the development of automated system for navigating handwritten texts.

Ilya Kalinin and **Klavdia Smola** in their article "The Empire of the Postcolonial Situations: The Logic of the (Cold) War" discuss how the contradictory political nature of the USSR has affected the fortunes of postcolonial research develop-

ing in the post-Soviet space (and more broadly regional studies which have balanced between the use of authoritative theoretical optics borrowed from the "Western academy," and the "adherence" to material that has not been reflected upon, and the uncritical reproduction of the language of the studied tradition). As a result, the criticism of hegemony and the affirmation of moral authority, methodological constructivism and traditional primordialism, and sensitivity to the fluid game of differences and the logic of binary oppositions are pulled into an increasingly tighter knot. The historical and cultural politics of the Russia are overlaid on top of all of this, aiming to heighten the shifts and confusions listed above in order to achieve a postimperial patriotic consensus.

Intellectual History among Other Fields of the Humanities

Sergey Zenkin's article "Semiotics of Culture and Intellectual History" attempts to methodologically compare two disciplines — the semiotics of culture, developed in the Soviet Union in the 1970—1980s, and intellectual history, which is rapidly developing in the world today. The comparison parameters are the transdisciplinarity, the breadth of empirical material, a synchronic (non-narrative) approach to history, the connection with the urgent problems of society (using the examples of the academic work of Carlo Ginzburg and Mikhail Iampolsky). Intellectual history developed in parallel and not always in direct interaction with semiotics of culture, but some trends of contemporary intellectual history converge with it methodologically.

In the article "Linguistic Realism and Two Types of Intellectual History", **Timur Atnashev** and **Mikhail Velizhev** aim to describe and analyze two types of intellectual history — its historicist and postmodernist versions — in the Western and Russian academic traditions of the second half of the 20th century and early 21st century, pointing out the differences and unexpected points of intersection between them. To this end, the authors intend to address the problems of the nature of historical knowledge, the philosophy of language, presentism, and the (re)politicization of historiography. They reconstruct the two main approaches to the question of the philosophical foundations of intellectual history and try to show the advantages and sociopolitical implication of a "realist" philosophy of language as a methodological framework.

Soviet Modernism: Between Theory and Artistic Practice

Nadia Plungian's article "Soviet Modernism of the 1920s—1950s: The Experience of the Scientific and Artistic Rethinking of the Problem in the 2010s" is about the activities of a number of independent associations of Moscow art historians, philosophers, and artists of the millennial generation who worked in 2007—2022 on the rethinking and restructuring of the art archive of Soviet modernism. This work resulted in cycles of open academic seminars and mono-

graphs, as well as publications and exhibition projects of several types created at the intersection of art and art history. One of the leaders of this process was the architectural historian and curator Aleksandra Selivanova.

The article "On the Problems and Prospects of Studying the Architecture of Soviet Modernism in the Postcolonial Era" by **Olga Kazakova** describes the history of the study of Soviet modernist architecture after the dissolution of the Soviet Union. It analyzes current approaches and issues and lacunae in research and looks at the need to study and describe the "administrative apparatus" that oversaw construction and architecture in the late USSR, as well as the need to develop a tools that would enable researchers to better understand issues surrounding the relationship between the former "center" and the former "border regions" and the possibility of using postcolonial optics in further studies of the topic.

Lola Kantor-Kazovsky's article "A Look at Sretensky Boulevard from Eastern Europe and Decentralization of the Narrative of International Modernism" examines the distinctive qualities of the unofficial art of Moscow, upon which light was shed in an article the "Moscow Diary" by the Czech art critic Jindřich Chalupecký (1973). Chalupecký's observations and conclusions about art in Moscow do not match the narratives of the artists themselves. He turns his attention to the paradox of political involvement of seemingly autonomous art and sees in the works of Moscow artists an affirmation of his theory about how art can carry avant-garde political charge while remaining in the "sacral" sphere.

Lost in Translation: Formation of the Fashion Theory in the Context of Russian Humanitarian Thought

The round table, initiated by the editor of *Fashion Theory* **Lyudmila Alyabieva**, was dedicated to the formation of fashion theory as a discipline withinthe framework of the humanities in Russia. Fashion theory is a comparatively young research field that has developed in the bowels of cultural studies, the consolidation of came to be in the 1990s in the West. Over the course of the round table, the development of the discipline in the international and Russian context was discussed. **Olga Vainshtein** outlined the approaches that played a decisive role in the development of fashion studies in the international context and which of these areas were more or less in demand in Russia. **Ksenia Gusarova** talked about how the body and physicality, initially left in the peripheral vision of research, slowly entered into the theory as a significant subject of research. **Irina Sirotkina**'s speech was dedicated to the role of performance theory in studies of fashion. **Olga Annanurova** spoke about the relationship between visual studies and fashion theory and concepts that play a key role in both research fields.

Table of contents No. 178 [6'2022]

TRANSFORMATION OF HUMANITARIAN KNOWLEDGE
IN POST-SOVIET RUSSIA
Special Issue

TO THE HISTORY OF POLITICAL REFLECTION

7 *Irina Paperno.* "This Is Not Even the Blockade or a Siege. This Is an Ordinary Soviet Day": Olga Freidenberg's Postwar Notes as a Mythopolitical Theory

QUESTIONNAIRE

29 The Humanities after February 24th
(*Sergey Zenkin*, *Serguei Alex. Oushakine*, *Alexander Semyonov*, *Nikolai Plotnikov*, *Catriona Kelly*, *Elena Chkhaidze*, *Hans Ulrich Gumbrecht*, *Ellen Rutten*, *Kevin M.F. Platt*, *Mark Lipovetsky*, *Evgeny Dobrenko*, *Riccardo Nicolosi*, *Aleida Assmann*, *Mikhail Iampolski*)
(*transl. from English by* Daniil Aronson)

STUDIES OF TEXTS AND STUDIES OF ACTIONS

64 Round Table
Moderator: *Sergey Zenkin.* Speakers: *Alexander Filippov*, *Oleg Kharkhordin*, *Michail Maiatsky*, *Pavel Arsenev*

IN MEMORIAM

98 *Oleg Kharkhordin.* On the Death of Latour

THE EVOLUTION OF DISCIPLINES
IN THE INSTITUTIONAL AND PUBLIC FIELD

104 *Evgeny Dobrenko.* Reading Stalinism: Stalinist Culture as a Field of Research

125 *Elena Trubina.* Thirty Years of Academic Urban Studies in the Post-Soviet Russia: Between the Fundamental and the Applied

146 *Ella Rossman.* From Socialism to Social Media: Women's and Gender History in Post-Soviet Russia (*authorized transl. from English by* Nina Stawrogina)

166 *Nikolai Plotnikov.* From "Socialism with a Human Face" to "National Socialism." Discourses of Justice in Post-Soviet Russia

189 *Tatiana Venediktova.* The Pragmatic Turn, with a Creak

THE RUSSIAN EMPIRE AS AN OBJECT OF (POST)COLONIAL RESEARCH

201 *Kevin M.F. Platt.* The Post-Socialist Postcolonial and the Ruins of Global History (*transl. from English by* Ksenia Gusarova)

220 *Marina Mogilner.* Race in Russia as a Figure of Omission

235 *Ekaterina Boltunova.* A Regional History of Russia: The Research Field and Archival Practices (1990s — early 2020s)

251 *Ilya Kalinin*, *Klavdia Smola.* The Empire of the Postcolonial Situations: The Logic of the (Cold) War

INTELLECTUAL HISTORY AMONG OTHER FIELDS OF THE HUMANITIES

273 *Sergey Zenkin.* Semiotics of Culture and Intellectual History

281 *Timur Atnashev*, *Mikhail Velizhev.* Linguistic Realism and Two Types of Intellectual History

SOVIET MODERNISM: BETWEEN THEORY AND ARTISTIC PRACTICE

302 *Nadia Plungian.* Soviet Modernism of the 1920s—1950s: The Experience of the Scientific and Artistic Rethinking of the Problem in the 2010s

320 *Olga Kazakova.* On the Problems and Prospects of Studying the Architecture of Soviet Modernism in the Postcolonial Era

335 *Lola Kantor-Kazovsky.* A Look at Sretensky Boulevard from Eastern Europe and Decentralization of the Narrative of International Modernism

LOST IN TRANSLATION: FORMATION OF THE FASHION THEORY IN THE CONTEXT OF RUSSIAN HUMANITARIAN THOUGHT

348 Round Table Organized by the *Fashion Theory: Clothing, Body, Culture Journal*
Moderator: *Liudmila Aliabieva.* Speakers: *Olga Vainshtein*, *Ksenia Gusarova*, *Irina Sirotkina*, *Olga Annanurova*

BIBLIOGRAPHY

368 *Tatiana Venediktova.* The European Cream of the Crop from American Cultural Criticism (*Review of the book Culture^2: Theorizing Theory for the Twenty-First Century*, Vol. 1, transcript, 2022)

378 *Evgeny Ponomarev.* Emigrantica Through Thirty Years: From Emergence to Flourishing

397 *Evgeniy Savitskiy.* Globalization and Inequality in Contemporary Art History (Review of James Elkins' book *The End of Diversity in Art Historical Writing: North Atlantic Art History and Its Alternatives*, Walter de Guyter, 2021)

404 *Artem Zubov.* "Nobrow": Harmony Between Aesthetics and Commercialism? (Review of the books *American Crime Fiction: A Cultural History of Nobrow Literature as Art* by Peter Swirski, Palgrave Macmillan, 2016; *When Highbrow Meets Lowbrow: Popular Culture and the Rise of Nobrow*, ed. by P. Swirski, T.E. Vanhanen, Palgrave Macmillan, 2017; and *Theory of the Gimmick: Aesthetic Judgment and Capitalist Form* by Sianne Ngai, The Belknap Press, 2020)

QUESTIONNAIRE

416 Studies of Literature and/or Culture: The German Case (*Larisa Poluboyarinova*, *Vera Kotelevskaya*, *Ulrich Fröschle*, *Albrecht Koschorke*, *Doris Bachmann-Medick*) (*ed. and transl. from German by* Sergey Tashkenov)

437 Summary

442 Table of Contents

445 Our Authors

Our authors

Liudmila Aliabieva

(PhD; Associate Professor, Art & Design School, HSE University) lalyabieva@hse.ru.

Olga Annanurova

(Editor, *New Literary Observer* Journal; Lecturer, RANEPA) olga.annan@gmail.com.

Pavel Arsenev

(PhD; l'Université de Genève / Editor in Chief, [Translit] Literary and Theoretical Journal) lartpaulars@gmail.com.

Aleida Assmann

(Dr. habil.; Professor, University of Konstanz, Germany) aleida.assmann@uni-konstanz.de.

Timur Atnashev

(PhD; Senior Lecturer, Senior Researcher, Institute for Social Sciences, RANEPA) timur.atnashev@gmail.com.

Doris Bachmann-Medick

(PhD; Adjunct Senior Research Fellow, International Graduate Centre for the Study of Culture, Justus-Liebig-University of Gießen, Germany) mail@bachmann-medick.de.

Ekaterina Boltunova

(PhD; Head, Laboratory of Russia's Regions in Historical Perspective, HSE University) ekboltunova@hse.ru.

Elena Chkhaidze

(PhD; Ruhr University, Germany) elena.chkhaidze@ruhr-uni-bochum.de.

Evgeny Dobrenko

(PhD; Professor, Ca' Foscari University of Venice, Italy) evgeny.dobrenko@unive.it.

Alexander Filippov

(Dr. habil.; Professor, HSE University) al_f_filippov@mail.ru.

Ulrich Fröschle

(Dr. habil.; Professor of Media Studies and Modern German Literature, TU Dresden, Germany) ulrich.froeschle@tu-dresden.de.

Hans Ulrich Gumbrecht

(PhD; Professor Emeritus, Stanford University, USA) sepp@stanford.edu.

Ksenia Gusarova

(PhD; Research Fellow, RSUH / Associate Professor, RANEPA) kgusarova@gmail.com.

Mikhail Iampolski

(Dr. habil.; Professor, New York University, USA) mi1@nyu.edu.

Ilya Kalinin

(PhD; Visiting Research Scholar, Princeton University, USA) ik1939@princeton.edu.

Lola Kantor-Kazovsky

(PhD; Senior Lecturer, The Hebrew University of Jerusalem, Israel) mslola@mail.hiji.ac.il.

Olga Kazakova

(PhD; Associate Professor, HSE University) ovkazaova@hse.ru.

Catriona Kelly

(D.Phil. FBA; Honorary Professor of Russian, Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford, UK) catriona.kelly@new.ox.ac.uk.

Oleg Kharkhordin

(PhD; Professor, European University at St. Petersburg) kharkhor@eu.spb.ru.

Albrecht Koschorke

(Dr. habil.; Professor of Modern German Literature and General Literary Studies, University of Konstanz, Germany) albrecht.koschorke@uni-konstanz.de.

Vera Kotelevskaya

(PhD; Associate Professor, Southern Federal University) vvkotelevskaya@sfedu.ru.

Mark Lipovetsky

(Dr. habil.; Professor, Department of Slavic Languages, Columbia University, USA) ml4360@columbia.edu.

Michail Maiatsky

(PhD; Independent Researcher) mmaiatsky@gmail.com.

Marina Mogilner

(PhD; Associate Professor, University of Illinois at Chicago, USA) mmogilne@uic.edu.

Riccardo Nicolosi

(PhD; Professor of Slavic Literatures, Ludwig-Maximilians-University Munich, Germany) riccardo.nicolosi@slavistik.uni-muenchen.de.

Serguei Alex. Oushakine

(PhD; Professor of Anthropology and Slavic Languages and Literatures, Princeton University, USA) oushakin@princeton.edu.

Irina Paperno

(PhD; Professor Emerita, Department of Slavic Languages and Literatures, University of California, Berkeley, USA) ipaperno@berkeley.edu.

Kevin M.F. Platt

(PhD; Professor of Russian and East European Studies, Slavic Languages and Literatures, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Nikolai Plotnikov

(PhD; Professor for Russian Cultural and Intellectual History, Ruhr University of Bochum, Germany) nikolaj.plotnikov@rub.de.

Nadia Plungian

(PhD; Independent Curator; Senior Researcher, HSE University) nadia.plu1@yandex.ru.

Larisa Poluboyarinova

(Dr. habil.; Professor, Saint Petersburg State University) l.poluboyarinova@spbu.ru.

Evgeny Ponomarev

(Dr. habil.; Leading Researcher, Institute of World Literature, RAS / Professor, Russian Christian Humanitarian Academy) eponomarev@mail.ru.

Ella Rossman

(Doctoral Student, School of Slavonic and East European Studies, University College London, UK) ella.rossman.21@ucl.ac.uk.

Ellen Rutten

(PhD; Professor and Chair, Department of Russian & Slavic Studies, University of Amsterdam, Netherlands) ellenrutten@gmail.com.

Evgeniy Savitskiy

(PhD; Assistant Professor, RSUH / Senior Researcher, Institute of World History, RAS) savitski.e@rggu.ru.

Alexander Semyonov

(PhD; Visiting Professor of History, Amherst College, USA) abimperioas@gmail.com.

Irina Sirotkina

(PhD; Leading Researcher, IHST, RAS) isiro1@yandex.ru.

Klavdia Smola

(PhD, Dr. habil.; Professor, Chair of Slavic Literatures, Dresden University, Germany) klavdia.smola@tu-dresden.de.

Sergey Tashkenov

(PhD; Senior Researcher, Institute of Scientific Information for Social Sciences, RAS) sergey.tashkenov@gmail.com.

Elena Trubina

(PhD; Professor, Center for Global Urbanism, Ural Federal University / Research Fellow, University of North Carolina at Chapel Hill / Research Fellow, Tyumen State University) elena.trubina@gmail.com.

Olga Vainshtein

(Dr. habil.; Leading Researcher, RSUH) katermur@gmail.com.

Mikhail Velizhev

(PhD; Visiting Professor, Sapienza Università di Roma, Italy) nun.ce.problema@gmail.com.

Tatiana Venediktova

(Dr. habil.; Professor and Chair, School of Philology, Department of Discourse and Communication Studies, MSU) tvenediktova@mail.ru.

Sergey Zenkin

(Dr. habil.; Chief Research Fellow, RSUH / Professor, School of Arts and Humanities, HSE University / Professor, Free University) sergezenkine@hotmail.com.

Artem Zubov

(PhD; Lecturer, School of Philology, MSU) artem_zubov@mail.ru.

Editorial board

Irina Prokhorova	PhD (founder and establisher of journal)
Tatiana Weiser	PhD (editor-in-chief)
Daniil Aronson	PhD (theory)
Olga Annanurova	M.A. (history)
Alexander Skidan	(practice)
Abram Reitblat	PhD (bibliography)
Vladislav Tretyakov	PhD (bibliography)
Nadezhda Krylova	M.A. (chronicle of scholarly life)

Advisory board

Konstantin Azadovsky
PhD

Henryk Baran
PhD, State University of New York at Albany, professor

Evgeny Dobrenko
PhD, Universitá Ca'Foscari Venezia, professor

Tatiana Venediktova
Dr. habil. Lomonosov Moscow State University, professor

Elena Vishlenkova
Dr. habil. HSE University, professor

Tomáš Glanc
PhD, University of Zurich, professor / Charles University in Prague, professor

Hans Ulrich Gumbrecht
PhD, Stanford University, professor

Alexander Zholkovsky
PhD, University of South Carolina, professor

Andrey Zorin
Dr. habil. Oxford University, professor / Russian Presidential The Moscow school of social and economic sciences, professor

Boris Kolonitskii
Dr. habil. European University at St. Petersburg, professor / St. Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences, leading researcher

Alexander Lavrov
Dr. habil. Full member of Russian Academy of Sciences Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences, leading researcher

Mark Lipovetsky
Dr. habil. Columbia University, professor

John Malmstad
PhD, Harvard University, professor

Alexander Ospovat
University of California, Los Angeles; Research Professor

Pekka Pesonen
PhD, University of Helsinki, professor emeritus

Oleg Proskurin
PhD, Emory University, professor

Roman Timenchik
PhD, The Hebrew University of Jerusalem, professor

Pavel Uvarov
Dr. habil. Corresponding member of Russian Academy of Sciences. Institute of World History, Russian Academy of Sciences, research professor / HSE University, professor

Alexander Etkind
European University Institute (Florence)

Mikhail Yampolsky
Dr. habil. New York University, professor

non/fictio№24

Международная ярмарка интеллектуальной литературы

1–5 декабря

Комплекс «Гостиный двор»
Москва, ул. Ильинка, д. 4

Разделы ярмарки:

Художественная, научная и научно-популярная литература
Книги для детей и детская площадка «Территория познания»
Презентации книжных новинок, встречи с авторами
Антикварная книга и букинистика
Павильон «Наука»
Комиксы
Vinyl Club

реклама

www.moscowbookfair.ru

0+

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ EXPO-PARK